ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

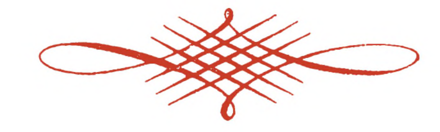
ИЗДАННАЯ
А. БЕСТУЖЕВЫМ
И
К. РЫЛЕЕВЫМ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

ИЗДАННАЯ
А. БЕСТУЖЕВЫМ
И
К. РЫЛЕЕВЫМ



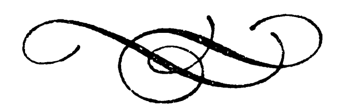
ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
В. А. АРХИПОВ, В. Г. БАЗАНОВ
И
Я. Л. ЛЕВКОВИЧ

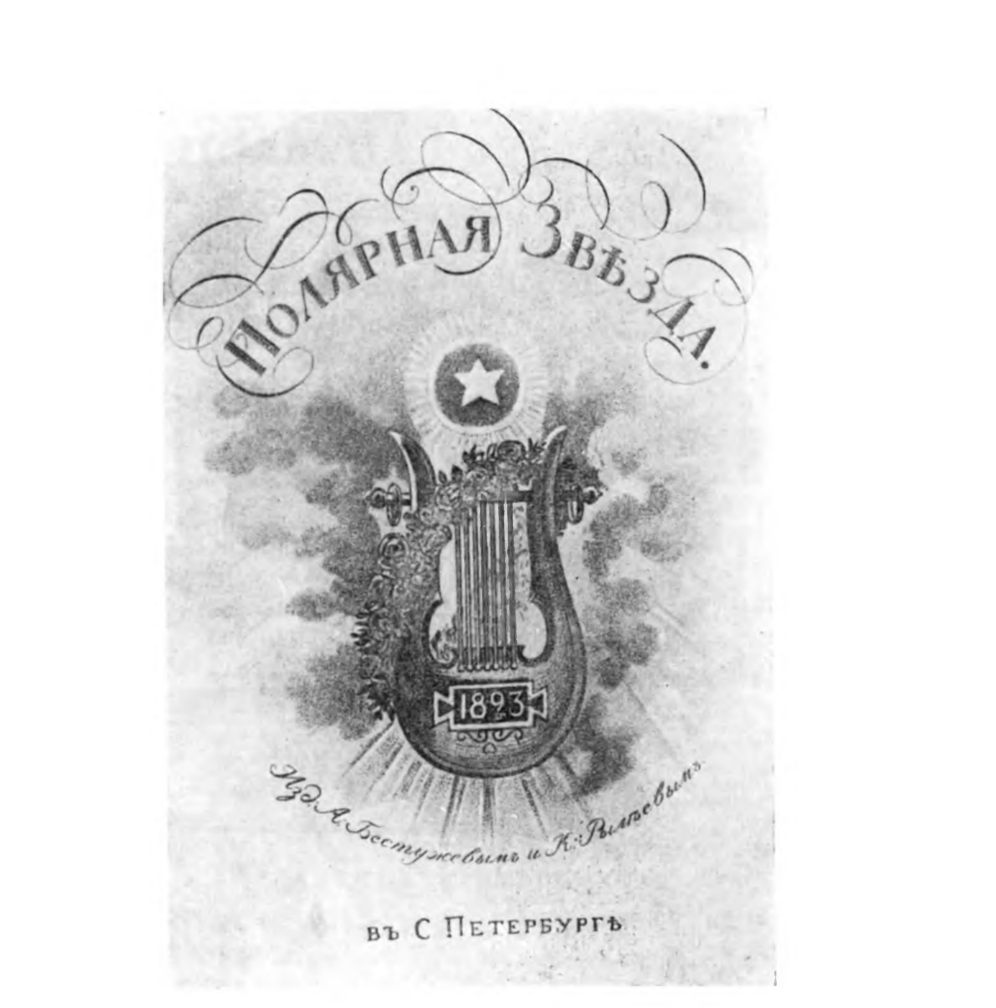
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД
1960

Ответственный редактор

В. Г. БАЗАНОВ

ТЕКСТЫ




Полярная Звѣзда.
1823
Изд. А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ
въ С Петербургѣ

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА.

КАРМАННАЯ КНИЖКА

для

любительницъ и любителей

руской словесности

на 1823 годъ,

изданная

А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ.

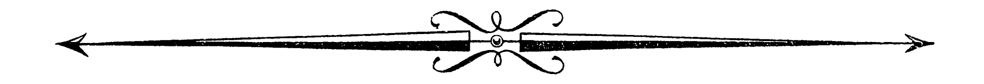
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Н. Греча.

Печатать позволено

с тем, чтобы по напечатании, до выпуска из типографии, представлены были в С. Петербургский Цензурный комитет семь экземпляров сей книги, для препровождения куда следует, на основании узаконений. Санктпетербург, ноября 30 дня 1822 года.

Цензор Александр Бируков.



ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ

Гений Красноречия и Поэзии, гражданин всех стран, ровесник всех возрастов народов, не был чужд и предкам нашим. Чувства и страсти свойственны каждому, но страсть к славе в народе воинственном необходимо требует одушевляющих песней, и славяне, на берегах Дуная, Днепра и Волхова, оглашали дебри гимнами победными. До XII века, однако же, мы не находим письменных памятников русской поэзии: всё прочее сокрывается в тумане преданий и гаданий. Бытописания нашего языка еще невнятнее народных: вероятно, что варяго-россы (норманны), пришлецы скандинавские, слили воедино с родом славянским язык и племена свои, и от сего-то смешения произошел язык собственно русский; но когда и каким образом отделился он от своего родоначальника, никто определить не может. С Библиею (в X веке), написанною на болгаро-сербском наречии, славянизм наследовал от греков красоты, прихоти, обороты, словосложность и словосочинение эллинские. Переводчики священных книг и последующие летописцы, люди духовного звания, желая возвыситься слогом, писали или думали писать языком церковным — и оттого испестрили славянский отечественными и местными выражениями и формами, вовсе ему не свойственными. Между тем язык русский обживался в обществе и постепенно терял свою первобытную дикость, хотя редко был письменным и никогда книжным. Владычество татар впечатлело в нем едва заметные следы, но духовные писатели XVI и XVII столетий, воспитанные в пределах Польши, немало исказили русское слово испорченными славено-

польскими выражениями. От времен Петра Великого с учеными терминами вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий. Нынешнее состояние оного увидим мы впоследствии; теперь мысленно пробежим политические препоны, замедлявшие ход просвещения и успехи словесности в России.

Новообращенные россияне, истребляя всё, носившее на себе отпечаток язычества, нанесли первый удар древней словесности. Скоро минул для поэзии красный век Владимиров, и на его могиле возникли междоусобия: Русь не могла отдохнуть под кроткою властию Ярославов и Мономахов, ибо удельные князья непрестанно ковали крамолы друг на друга, накликали половцев, угров, черных клобуков и воевали с ними против братий своих. Разоренное отечество331 вековало на бранях противу домашних врагов или на страже от набегов соседних; наконец гроза разразилась над ним, и гордый могол на пепелище русской свободы разбил странственную свою палатку.

Всё, что может истребить огонь, меч и невежество, гибло. Как враны, воцарилось племя Батыево над пустынями и кладбищами. Варварство заградило страхом свет с Запада и Востока. В монастырях только и в вольном Новегороде тлелись искры просвещения: зато лишь нищета и невежество ручались за безопасность прочих. Мало-помалу оправлялась Россия от бед, опершись на меч Невского и Донского; оживала в княжения Калиты и Василия (Димитриевича); но иноземное просвещение упало вместе с Новгородом и его торговлею. Иоанн Грозный призвал на Русь Науки и Искусства; мудрый и несчастный Годунов ревностно им покровительствовал; но ужасы междуцарствия, злодеяния самозванцев, вероломство Польши и расхищения от шведов задушили семена, посеянные его рукою. — Алексей образовал искусство ратное и политическими сношениями несколько приготовил россиян к важной перемене; но до благотворного царствования Петра науки были только делом, а не системою.

Итак, подивимся ли, что хладный климат России произвел немногие цветы словесности! Пожары, войны и время истребили остальное. Небрежение русских о всем отечественном немало тому способствовало.

В летописях, до нас дошедших, первое место занимает Несторова. Они писаны хронически, слогом простым, не кудрявым, но более или менее ознаменованным славянизмом. В летописях Псковской и Новогородской встречаются места трогательные, исполненные рассуждений справедливых, а не одни случаи. В Несторовой видны искренность и здравомыслие. Русская Правда — слепок с судебных законов скандинавских, и еще немногие грамоты и завещания княжеские писаны языком грубым, но кратким и сильным. — Народные песни изменены преданием, и едва ли древнее трехсот лет. Русский поет за трудом и на досуге, в печали и в радости, и многие песни его отличаются свежестию чувств, сердечною теплотою, нежностью оборотов; но беды отечества и туманное его небо проливают на них какое-то уныние, и вообще в них редко встречаются пылкие страсти и обилие мыслей. — Возвышенные песнопения старины русской исчезли, как звук разбитой лиры; одно имя соловья Бояна отгрянуло в потомстве, но его творения канули в бездну веков, и от всей поэзии древней сохранилась для нас только одна Поэма о походе Игоря, князя Северского на половцев. Там находим мы незаимствованные красоты, иную природу, отменный круг действия. Безыменный певец вдохнул русскую боевую душу в язык юный, но и самою странностию привлекательный; он украсил его цветами мечты, вымыслом народной мифологии, разительными сравнениями и чувствами глубокими. Непреклонный, славолюбивый дух народа дышит в каждой строке. Драгоценная поэма сия, принадлежащая к XII веку, писана мерною прозою и языком, вероятно, южнорусским. Кажется, время сохранило ее, чтобы сильнее дать чувствовать потерю остального! — В Песне о битве Донской (XV века) нет того огня, той силы в очертании лиц, той самородной прелести, которые отличают Песнь о походе Игоря. Впрочем, рассказ оной плавен и затейлив, и ее должно читать наравне со всеми древностями нашего слова, дабы в них найти черты русского народа и тем дать настоящую физиогномию языку.

Одним шагом переступаем расстояние пяти столетий: новая эпоха в красноречии настает от *Феофана*, в стихотворстве — от *Кантемира*. Первый (род. 1681, ум. 1736 г.), одаренный умом обшир-

ным, утонченным, двигал политические пружины государства сердцами слушателей и читателей. Красноречие его убедительно: он говорит чувствам и от чувства; но язык Феофана неправилен, изломан, испещрен польским и славянским. — Остроумный *Кантемир* (род. 1708, ум. 1744 г.) хотя неуспешно ввел французский вялый силлабический размер, хотя писал слогом неровным, жестким, хотя дружил нас с европейскими мыслями на языке народном, еще необработанном, но как философ, как верный живописец нравов и обычаев века будет жить славою в дальнем потомстве!

Подобно северному сиянию с берегов Ледовитого моря, гений *Ломоносова* (род. 1711, ум. 1765) озарил полночь. Он пробился сквозь препоны обстоятельств, учился и научал, собирал, отыскивал в прахе старины материалы для русского слова, созидал, творил — и целым веком двинул вперед словесность нашу. Русский язык обязан ему правилами, стихотворство и красноречие — формами, тот и другие — образцами. Дряхлевший слог наш юнел под пером Ломоносова. Правда, он занял у своих учителей, немцев, какое-то единообразие в расположении и обилие в рассказе; но величие мыслей и роскошь картин искупают сии малые пятна в таланте поэта, создавшего язык лирический.

В то время как юный Ломоносов парил лебедем, бездарный *Тредьяковский* (род. 1703, у. 1769 г.) пресмыкался, как муравей, разгадывал механизм, приличный русскому стопосложению, и оставил в себе пример трудолюбия и безвкусия. Смехотворными стихами своими, в отрицательном смысле, он преподал важный урок последующим писателям. — *Сумароков*, современник и соперник Ломоносова, был отцом нашего театра. Он писал во всех родах, но теперь прежние венки его вянут и облетают: неумолимое потомство отказывает ему в славе образцового писателя. В русских трагедиях подражание французским, совершенное отсутствие местности, бесхарактерность лиц, холодность страстей и сложность плана — суть всегдашние его пороки. Простота его басен, идиллий надута; веселость комедий принужденна, и вообще редкие черты чувств и красоты воображения скрыты в тяжком терновом слоге. (Род. 1718, ум. 1777 г.). — *Поповский*, первый после Ломоносова, писал чистою

прозою. Перевод *Опыта о человеке* Попа, заслуживает внимание. (Род. 1730, ум. 1760 г.).

Медленною стопою двигалась вперед словесность: учреждение семинарий, Московского университета (1755), кадетских корпусов (1732, 1762), призвание иноземных ученых разливали просвещение; но им занят был один только ум: воображение еще дремало. Писатели, даже самые посредственные, были редки. Критика и соперничество не очищали языка, не придавали ему блеску и живости. С Петра III слог деловой стал очищаться от латинской примеси. Наконец настало золотое время для словесности и ученых. Великая Екатерина II словом и делом ободряла просвещение: размножила училища, основала Академию Российскую (1783) и тем же пером, коим решала судьбы государств, писала русские стихи, собственным примером вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатерины для просвещения отечества неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством. Лирик *Петров* исполнен ярких мыслей, пламенных, смелых оборотов, быстро набросанных картин; но у него поэзия мыслей, а не стихов. Язык его разрывчат, шероховат и не всегда справедлив. (Род. 1736, ум. 1799). — *Херасков*, стихотворец эпический, по своему времени писал плавными стихами, хоть кудряво и пространно. Многие отрывки из поэм *Владимира* и *Россияды* картинны, великолепны, изобилуют местностями; из *Искателей счастия* обрисованы с приятным разнообразием. Никто из русских писателей не произвел более Хераскова во всех родах. Жаль только, что ему недоставало краткости и оригинальности. (Род. 1733, ум. 1807 г.). — *Богданович*, поэт милый и добродушный, первый написал у нас стихотворную сказку, слогом легким, сердечным, замысловатым. Рассказ в его *Душеньке* прелестен и достоин предмета столь нежного; изображения живы, природны. Он разнообразен, подобно Протею; но в некоторых местах его стихосложенье падает в прозаизм. (Род. 1743, ум. 1802 г.). — Басни *Хемницера* не писаны, а рассказаны с непритворным добродушием, и сия-то гениальная небрежность составляет прелесть, которой нельзя подражать и которой не до́лжно в нем исправлять. (Р. 1744, у. 1784 г.). — *Фон-Визин* в комедиях своих *Брига-*

дире и *Недоросле* в высочайшей степени умел схватить черты народности и, подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского дворянства. Его критические творения будут драгоценными для потомства, как *съемок* (facsimile) нравов того времени. (Р. 1745, у. 1792 г.). — *В. Капнист* известен колкою сатирою, комедиею *Ябеда*. Оды его дышат благородством мыслей. Легкие стихотворения достойны древней антологии. — Проза *Кострова* в переводе Оссиана и доныне может служить образцом благозвучия, возвышенности. Его стихи оригинальны. Перевод осьми песней Илиады не всегда равно выдержан, но силен, важен и цветист. (Р. ..., ум. 1796 г.). — Трагик *Княжнин* известен на драматическом поприще *Дидоною* и *Вадимом*; из комедий его имеют большое достоинство *Хвастун* и *Чудаки*, из водевилей *Сбитеньщик*; — прочие же театральные произведения суть рабские слепки с французских пьес. В Княжнине видно чувство. Язык его не совсем верен, но легок. (Р. 1742, у. 1791 г.). — Наконец, к славе народа и века явился *Державин*, поэт вдохновенный, неподражаемый, и отважно ринулся на высоты, ни прежде, ни после его не досягаемые. Лирик-философ, он нашел искусство с улыбкою говорить царям истину, открыл тайну возвышать души, пленять сердца и увлекать их то порывами чувств, то смелостью выражений, то великолепием описаний. Его слог неуловим, как молния, роскошен, как природа. Но часто восторг его упреждал в полете правила языка, и с красотами вырывались ошибки. На закате жизни Державин написал несколько пьес слабых, но и в тех мелькают искры гения, и современники и потомки с изумлением взирают на огромный талант русского Пиндара, певца Водопада, Фелицы и бога. Так драгоценный алмаз долго еще горит во тьме, будучи напоен лучом солнечным; так курится под снежною корой трехклиматный Везувий после извержения, и путник в густом дыме его видит предтечу новой бури! (Р. 1743, у. 1816 г.). Рядом с ним, в роде легкой поэзии, возник *Дмитриев* и обратил на себя внимание всех. Игривым слогом, остротою ума и чистотою отделки он снискал себе имя образцового поэта и заохотил русских к отечественному стихотворству. Милая разборчивая муза его, изъясняясь языком лучших обществ, нашла друзей даже в кругу светских

женщин и своим влиянием на все сословия принесла важную пользу словесности. Летучий рассказ его повестей пленителен, утонченность насмешки в сатирах примерна; равно как поэт и баснописец Дмитриев украсился венком Лафонтена и первый у нас создал легкий разговор басенный. Оригинальный переводчик с французского, он передал нашему плавкому языку всю заманчивость, всю игру. все виды первого. (Р. 1760). — Между тем как Державин изумлял своими одами, как Дмитриев привлекал живым чувством в песнях, картинностию в оригинальных произведениях — блеснул *Карамзин* на горизонте прозы, подобно радуге после потопа. Он преобразовал книжный язык русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталантных писателей и невежд-переводчиков. Он двинул счастливою новизною ржавые колеса его механизма, отбросил чуждую пестроту в словах, в словосочинении и дал ему народное лицо. Время рассудит Карамзина как историка; но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучшее. Легкие стихотворения Карамзина ознаменованы чувством: они извлекают невольный вздох из сердца девственного и слезу из тех, которые всё испытали. (Род. 1765). — В шутовском роде (burlesque) известны у нас *Майков* и *Осипов*. Первый (р. 1725, у. 1778 г.) оскорбил образованный вкус своею поэмою *Елисей*. Второй, в Энеиде наизнанку, довольно забавен и оригинален. Ее же на малороссийское наречие с большею удачею переложил *Котляревский*. *Нелединский-Мелецкий* познакомил нежными своими песнями прекрасных наших соотечественниц с родным языком, который так нежно ласкает слух и так сладостно проникает в сердце. (Р. 1751). Ему удачно последовал *граф Салтыков*. — *Бобров* изобилен сильными мыслями и резкими изображениями. В *Херсониде* встречаются оригинальные красоты, но слог его нередко напыщен и падение стоп тяжело. (Ум. 1810). — *Князь Долгорукий* отличен свободным рассказом и непринужденною веселостию. Несмотря на частые стихотворные вольности, его *Авось*, *Камин*, *К соседу* и *Завещание* всегда будут читаемы за русское их выражение. (Род. 1764). — *Граф Хвостов*,

трудолюбивый стихотворец наш, писал в различных родах, и в нем нередко встречаются новые мысли. Одами своими заслужил он недвусмысленную славу, и публика уже оценила все пиитические его произведения. (Род. 1757). — *Муравьев* (р. 1757, у. 1807 г.) писал мужественною, чистою, *Подшивалов* (р. 1765, у. 1813 г.) безыскусственною прозою. Слог обоих имеет тем большее достоинство, что они, писав в одно время с Карамзиным, соучаствовали в преобразовании слога. — *Макаров* острыми критиками своими оказал значительную услугу словесности. (Р. 1765, у. 1804 г.). — *Востоков* первый показал опыт над гибкостию русского языка для всех стихотворных размеров. Унылая поэзия его дышит философиею и глубоким чувством. (Р. 1781). — *Марин* славен острыми сатирами и забавными пародиями. (Ум. 1813). — *Князь Горчаков* превзошел его колкостию, правдою и народностью своих сатир; к сожалению, их не много. (Род. 1762). — *Пнин* с дарованием соединял высокие чувства Поэта. Слог его особенно чист. (Р. 1773, у. 1805). — *М. Кайсаров* сделал себе имя переводом Стерна. — *Мартынов* (р. 1771) переводил Дюпати, Руссо и некоторых греческих классиков — труд немаловажный, с нашим упрямым языком, для прозы общежительной. — *Князь Шаликов* писал нежною прозою. Он обилен мелкими стихотворными сочинениями. Его муза игрива, но нарумянена. — *Панкратий Сумароков* отличен развязною шутливостью в стихах своих, не всегда гладких, но всегда замысловатых. *Слепой Эрот* доказывает, что сибирские морозы не охладили забавного его воображения. — Баснописец *Александр Измайлов* рисует природу, как Теньер. Рассказ его плавен, естествен; подробности оного заставляют смеяться самому действию. Он избрал для предмета сказок низший класс общества и со временем будет иметь в своем роде большую цену, как верный историк сего класса народа. (Р. 1779). — *Беницкий* написал только три сказки, зато образцовою прозою. Из них *На другой день, или Завтра* — будет на всех языках оригинальною, ибо кипит мыслями. Смерть рано похитила его у русской словесности! (Р. 1780, у. 1809). — *Шишков* — писатель прозаический. Начатки его ознаменованы легкостью слога. Безделки, написанные им для детей, могут служить образцами в сем роде. Впослед-

ствии, когда слезливые полурусские Иеремиады наводнили нашу словесность, он сильно и справедливо восстал противу сей новизны в полемической книге *О старом и новом слоге*. Теперь он тщательно занимается родословною русских наречий и речений и доводами о превосходстве языка славянского над нынешним русским. (Р. 1754). — Стихи *Шатрова* полны резких мыслей и чувств, но слог псалмов его устарел. — *Князь Шихматов* имеет созерцательный дух и плавность в элегических стихотворениях. Впрочем, его поэзия сумрачна. — *Судовщиков* с большою легкостью и правдою обрисовал свою комедию в стихах *Неслыханное диво, или Честный секретарь*. — *Ефимьев* довольно удачно изобразил в стихотворной же комедии преступника от игры. (Ум. 1804). — *Аблесимов* известен своим старинным национальным водевилем *Мельник*. (Ум. 1784). — *Крюковской* написал трагедию *Пожарский*, в которой более патриотизма, нежели истины. В ней, однако же, есть возвышенные места в отношении к чувствам и характерам. (Р. 1781, у. 1811). — Наконец, на поприще трагическом *Озеров* далеко оставил за собою своих предшественников. Им обладали чувства глубокие и воображение пламенное — творцы великих людей или могущих поэтов. Из пяти трагедий, им написанных, Эдип берет безусловное первенство над прочими истинною выразительностию характеров и благородством разговора. Фингал одушевлен оссиановскою поэзиею; Донской изобилует счастливыми стихами, игрою страстей, народностию и картинами; но характер героя пьесы унижен. Прозаизмы редки в Озерове, и александрийские его стихи звучны и важны. (Род. 1770, ум. 1816 г.).

———

Теперь приступаю к характеристике особ, прославившихся или появившихся в течение последнего пятнадцатилетия. В ней найдут мои читатели и поэтов, составляющих созвездие Северной лиры, и писателей, кои, сверкнув, исчезали, подобно кометам, даже и тех, которых имена мелькают воздушными огнями в эфемерных журналах. Тесные рамы сего обзора не позволяют мне упомянуть о писателях, занимающихся предметами учеными и потому не прямо действующих на словесность.

И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер: его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия. Читая стихи его, не замечаешь даже, что они стопованы — и это-то есть верх искусства. Жаль, что Крылов подарил театр только тремя комедиями. По своему знанию языка и нравов русских, по неистощимой своей веселости и остроумию он мог бы дать ей черты народные. (Р. 1768). — С *Жуковского* и *Батюшкова* начинается новая школа нашей поэзии. Оба они постигли тайну величественного, гармонического языка русского; оба покинули старинное право ломать смысл, рубить слова для меры и низать полубогатые рифмы. Кто не увлекался мечтательною поэзиею *Жуковского*, чарующего столь сладостными звуками? Есть время в жизни, в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения: в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы как знакомцев встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим былое. Намагниченное железо клонится к безвестному полюсу — его воображение к таинственному идеалу чего-то прекрасного, но неосязаемого, и сия отвлеченность проливает на все его произведения особенную привлекательность. Душа читателя потрясается чувством унылым, но невыразимо приятным. Так долетают до сердца неясные звуки эоловой арфы, колеблемой вздохами ветра. — Многие переводы Жуковского лучше своих подлинников, ибо в них благозвучие и гибкость языка украшают верность выражения. Никто лучше его не мог облечь в одежду светлого, чистого языка разноплеменных писателей; он передает все черты их со всею свежестию красок портрета, не только с бесцветной точностью силуэтною. Он изобилен, разнообразен, неподражаем в описаниях. У него природа видна не в картине, а в зеркале. Можно заметить только, что он дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику, и вообще наклонность к чудесному; но что значат сии бездельные не-

достатки во вдохновенном певце 1812 года, который дышит огнем боев, в певце Луны, Людмилы и прелестной, как радость, Светланы? Переводная проза Жуковского примерна. Оригинальная повесть его *Марьина роща* стоит наряду с Марфою Посадницею Карамзина. (Род. 1783 г.). — Поэзия *Батюшкова* подобна резвому водомету, который то ниспадает мерно, то плещется с ветерком. Как в брызгах оного переломляются лучи солнца, так сверкают в ней мысли новые, разнообразные. Соперник Анакреона и Парни, он славит наслаждения жизни. Томная нега и страстное упоение любви попеременно одушевляют его и, как электричество, сообщаются душе читателя. Неодолимое волшебство гармонии, игривость слога и выбор счастливых выражений довершают его победу. Сами грации натирали краски, эстетический вкус водил пером его; одним словом, Батюшков остался бы образцовым поэтом без укора, если б даже написал одного *Умирающего Тасса*. (Р. 1787). — *Александр Пушкин* вместе с двумя предыдущими составляет наш поэтический триумвират. Еще в младенчестве он изумил мужеством своего слога, и в первой юности дался ему клад русского языка, открылись чары поэзии. Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая оным, своенравно играет сердцами. Каждая пьеса его ознаменована оригинальностию; после чтения каждой остается что-нибудь в памяти или в чувстве. Мысли Пушкина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. Не говорю уже о благозвучии стихов — это музыка; не упоминаю о плавности их — по русскому выражению, они катятся по бархату жемчугом! Две поэмы сего юного поэта: *Руслан и Людмила* и *Кавказский пленник* исполнены чудесных, девственных красот; особенно последняя, писанная в виду седовласого Кавказа и на могиле Овидиевой, блистает роскошью воображения и всею жизнию местных красот природы. Неровность некоторых характеров и погрешности в плане суть его недостатки — общие всем пылким поэтам, увлекаемым порывами воображения. (Р. 1799). — Остроумный *князь Вяземский* щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он творит новые, облагороживает народные слова и любит блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый и соображатель-

ный, он верно ценит произведения разума, научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостию и блестками ума просвещённого. Многие из мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены печатью таланта, несмотря на неровное инде падение звуков и длину периодов в прозе. Его упрекают в расточительности острот, не оставляющих даже теней в картине, но это происходит не от желания блистать умом, но от избытка оного. (Р. 1792). — В *Гнедиче* виден дух творческий и душа воспламеняемая, доступная всему высокому. Напитанный древними классиками, он сообщил слогу своему ненапыщенную важность. Поэма его *Рождение Гомера* цветет красотами неба Эллады. В его элегиях отзывается чувство необыкновенно глубокое, и самый язык в оных отработан с большею тщательностию. Ему обязаны мы счастливым появлением народной идиллии. Он усыновляет греческий экзаметр русскому вселичному языку, и Гомер является у нас в собственной одежде, а не в путах тесного, утомительного александрийского размера. (Р. 1784). — В сочинениях *Ф. Глинки* отсвечивается ясная его душа. Стихи сего поэта благоухают нравственностию; что-то невещественно-прекрасное чудится сквозь полупрозрачный покров его поэзии и, сливаясь с собственною нашею мечтою, невольно к себе привлекает. Он владеет языком чувств, как Вяземский языком мыслей. Проза его проста, благозвучна и округлена, хотя несколько плодовита. *Письма русского офицера* написаны пером патриота-воина. Стихотворения Глинки видимо усовершаются в отношении к механизму и обдуманности. В заключение скажем, что он принадлежит к числу писателей, которых биография служила бы лучшим предисловием и комментарием для их творений. (Р. 1787). — Амазонская муза *Давыдова* говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с улыбкою рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют оный. Иногда он бывает нерадив к отделке; но время ли наезднику заниматься убором? В нежном роде — *Договор с невестою* и несколько элегий; в гусарском — залетные послания и зачашные песни его останутся навсегда образцами. (Р. 1784). — *Баратынский*

по гармонии стихов и меткому употреблению языка может стать наряду с Пушкиным. Он нравится новостью оборотов; его мысли не величественны, но очень милы. *Пиры* Баратынского игривы и забавны. Во многих безделках виден развивающийся дар; некоторые из них похищены, кажется, из альбома граций. — *Милонов*, поэт сильный в сатирах и чувствительный в элегиях. В его стихах слышится голос тоски неизлечимой. Слог Милонова неуклончив, сжат и решителен; но стихосложение иногда отрывисто. (Р. 1792, ум. 1821). — *Воейков* прелестен в своих сатирических посланиях, нередко живописен в *Садах* Делиля, силен в некоторых эпизодах поэмы *Искусства и Науки*. Впрочем, он поэт, вдохновенный умом, а не воображением. Язык его не довольно высок для предмета, и течение стихов временем бывает затруднено длинными речениями. (Р. 1783). — *Рылеев*, сочинитель дум или гимнов исторических, пробил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков. Долг скромности заставляет меня умолчать о достоинстве его произведений. (Р. 1795). — Притчи *Остолопова* оригинальны резкостию и правдою нравоучений; сатиры его едки и портретны. Он оказал большую услугу словесности изданием Словаря поэзии. (Р. 1782). — *Родзянка*, беспечный певец красоты и забавы: он пишет не много, но легко и приятно. — *Мерзляков* подарил публику занимательными разборами и характеристикою наших лучших писателей. В оных без сухости, без педантства, показав твердое знание языка, умел он оттенить каждого с верностью и разновидностию. Песни Мерзлякова дышат чувством; переводы *Науки о стихотворстве*, Виргилиевых Эклог и еще некоторые — примерны. Но должно признаться, что его стихосложение небрежно и утонченный вкус не всегда водил пером автора. (Р. 1778). — *В. Пушкин* отличен вежливым, тонким вкусом, рассказом природным и плавностию, которые украшают мелкие его произведения. (Р. 1770). — *Плетнев* удачно пошел по следам Мерзлякова в характеристике поэтов. В мечтательной поэзии он подражатель Жуковского. Знание родного языка и особенная гладкость стихов составляют отличительные его достоинства; неопределенность цели и бледность колорита — недостатки. Его стихотворения можно упо-

добить гармонике. В частности, у Плетнева встречаются пьесы — игрушки стихотворства, украшенные всеми цветами фантазии. В романтическом роде лучшее его произведение элегия *Миних*. — *Дельвиг* — одарен талантом вымысла; но, пристрастясь к германскому эмпиризму и древним формам, нередко вдается в отвлеченность. В безделках его видна ненарумяненная природа. — Идиллии *Панаева* довольно естественны, очень миловидны; но они прививной плод в России. Рассказ его нежен, плавен, но язык не всегда правилен. (Род. 1792). — *Александр Крылов* имеет редкое достоинство переливать иноземные красоты в русские, не изменяя мыслям подлинника. Муза его подражательная, но стихи очаровывают своею звучностию. — Полуразвернувшиеся розы стихотворений *Михайла Дмитриева* обещают в нем образованного поэта, с душою огненною. — Переводы *Раича* Виргилиевых Георгик достойны венка хвалы за близость к оригиналу и за верный звонкий язык. — *Олин* удачно перевел некоторые горацианские оды. В его элегиях есть истина и новые мысли. — *Филимонов* вложил много ума и чувствительности в свои произведения: он успешно переводил Горация. — *Межаков* в безделках своих разбросал цветки светской философии с стихотворною легкостию. — *Козлов*, поэт-слепец, пишет мало и трогательно. — *Иванчин-Писарев* обилен картинами и словами. — Сверх означенных здесь, можно с похвалою упомянуть об *Александре Писареве, Маздорфе, Норове* и *Нечаеве*. — В стихотворениях *Анны Буниной* и *Анны Волковой* — двух женщин-поэтов — рассеяно много чувствительности и меланхолии, но механизм оных не довольно легок. Однако же *Падение Фаэтона* первой из них разнообразно красотами вымысла. Еще некоторые из соотечественниц наших бросали иногда блестки поэзии в разных журналах, и хотя пол авторов можно было угадать без подписи их имен, но мы должны быть признательны за подобное снисхождение, мы должны радоваться, что наши красавицы занимаются языком русским, который в их устах получает новую жизнь, новую прелесть. Они одни умеют избрать средину между школьным и слишком обыкновенным тоном, смягчить и одушевить каждое выражение. Тогда появится у нас слог разговорный, слог благородной комедии, чего до сих пор не было на сцене, ибо он не

слышен в гостиных. — Для трагедии ни один из живых европейских языков не может быть склоннее русского: отсутствие членов и умолчание глаголов вспомогательных творят его плавным, разнообразным и вместе сжатым. Высокость речений славянских, важность и богатство звуков придают ему все мужество, необходимое для изображения[a] страстей нежных или суровых. Со всем тем у нас не существует народной трагедии и, кроме *Озерова*, не было трагиков; но и тот, покорствуя временности, заковал своего гения в академические формы и в рифмованные стихи. — *Князь Шаховской* заслуживает благодарность публики, ибо один поддерживает клонящуюся к разрушению сцену то переводными, то передельными драмами и водевилями. Он сочинил трагедию *Дебору*, переложил *Абуфара*, но настоящее дело его есть комедия. В ней видны легкость и острота, но мало оригинального. Поспешность, с которою пишет он для сцены, опереживает отделку стихов и правила языка. Из фарсов лучшие суть: *Два соседа* и *Полубарские затеи*, ибо в них схвачены черты народные; из комедий благородных *Своя семья* и *Какаду*. Разговорный язык его развязен, текущ, но не довольно высок для хорошего общества, и нередко поблеклая мишура заемных острот портит слог его. — *Кокошкин* прелестно и верно перевел *Мизантропа*; *Грибоедов* весьма удачно переделал с французского комедию *Молодые супруги* (Le secret de ménage); стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус его, и вообще в нем видно большое дарование для театра. — *Лобанов* передал Расинову *Ифигению* с неотступною верностию и чувством оригинала. Он скоро подарит публику *Федрою*. Любители театра желают для обогащения оного иноземными классическими произведениями, чтобы у нас было более подобных ему переводчиков. Тщательная его отделка — заметим мимоходом — иногда замедляет порывы страстей пылких. — *Висковатов* написал трагедию *Ксения и Темир*, которой ход довольно правдоподобен, ибо основан на вымысле. Страсти высказаны стихами звучными, но они многоречивы, и действие связно. *Гамлет* явился на русской сцене его старанием. — В комедиях *Загоскина* разговор естествен,

---

[a] *В ПЗ опечатка:* изражения. (*Прим. сост.*).

некоторые лица и многие мысли оригинальны, но планы их не новы. — *Хмельницкому* обязаны мы самыми беглыми стихами в роде комическом. Как нельзя лучше перевел он *Говоруна* Буасси; переделал *Воздушные замки* Колен д'Арлевиля и передал нам несколько водевилей. В нем мало своего; зато в подражании нет надутости. — *Жандр*, с товарищами, перевел с французского несколько трагедий и одну комедию, отчего многоручные переводы сии получили пестроту в слоге; трагические стихи его гладки, нередко сильны и часто заржавлены старинными выражениями. — *Катенин*, переводчик *Сида*, *Эсфири*, Грессетовой комедии Le méchant и двух четвертых действий в трагедиях *Горации* и *Медея;* сочинитель баллад, критик, и антикритик, и лирических стихов. — *Борис Федоров* писал много для сцены, но мало по вкусу публики. Однако ж в отрывках его *Юлия Цезаря* виден дар к трагедии. — Имена прочих авторов и переводчиков пьес случайных известны только по бенефисным афишам и, вероятно, не переживут их в потомстве!

Оставив за собою бесплодное поле русского театра, бросим взор на степь русской прозы. Назвав Жуковского и Батюшкова, которые писали столь же мало, сколь прелестно, невольно останавливаешься, дивясь безлюдью сей стороны, — что доказывает младенчество просвещения. Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов, и не терпит повторений. От сего-то у нас такое множество стихотворцев (не говорю, поэтов) и почти вовсе нет прозаиков, и как первых можно укорить бледностию мыслей, так последних погрешностями противу языка. К сему присоединилась еще односторонность, происшедшая от употребления одного французского и переводов с сего языка. Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки. Обратимся к прозаикам. — Резким пером *Каченовского* владеет язык чистый и важный. Редко кто знает правила оного основательнее сего писателя. Исторические и критические статьи его дельны, умны и замысловаты. — Слог переводов *Вл. Из-*

майлова цветист и правилен, подобно переводному слогу Каченовского. Оба они утвердили своими игривыми переводами знакомство публики нашей с иноземными писателями. — *Броневский*, автор Записок морского офицера, изобразил, будто в панораме, берега Средиземного моря. Он привлекает внимание разнообразием предметов, слогом цветущим, быстротою рассказа о водных и земных сражениях и пылкостью, с которою передает нам геройские подвиги неприятелей, друзей и сынов России. Он счастливо избег недостатка многого множества путешественников, утомляющих подробностями. Он занимателен всем и нигде не скучен: жаль только, что язык его неправилен. — *Греч* соединяет в себе остроту и тонкость разума с отличным знанием языка. На пламени его критической лампы не один литературный трутень опалил свои крылья. Русское слово обязано ему новыми грамматическими началами, которые скрывались доселе в хаосе прежних грамматик, и он первый проложил дорогу будущим историкам отечественной словесности, издав Опыт истории оной. Греч не много писал собственно для литературы, но в письмах его Путешествия по Франции и Германии заметны наблюдательный взор и едкость сатирическая, но в рассказе пробивается нетерпенье. — *Булгарин*, литератор польский, пишет на языке нашем с особенной занимательностию. Он глядит на предметы с совершенно новой стороны, излагает мысли свои с какою-то военною искренностию и правдою, без пестроты, без игры слов. Обладая вкусом разборчивым и оригинальным, который не увлекается даже пылкою молодостью чувств, поражая незаимствованными формами слога, он, конечно, станет в ряд светских наших писателей. Его Записки об Испании и другие журнальные статьи будут всегда с удовольствием читаться не только русскими, но и всеми европейцами. — *Головнин* описал свое пребывание в плену японском так искренно, так естественно, что ему нельзя не верить. Прямой, неровный слог его — отличительная черта мореходцев — имеет большое достоинство и в своем кругу занимает первое место после слога *Пл. Гамалеи*, который самые сухие науки оживляет своим красноречием. — *Свиньин*, сочинитель живописного Путешествия по Америке и многих журнальных статей, пишет обо всем русском, достойном внимания патриотов. Его слог

небрежен, но выразителен. — В Письмах Скимнина, сочинении *Ф. Львова*, нередко вспыхивают сердечные чувства с искрами поэзии; там много новых речений, но мало новости в слоге. — В статьях *Н. Кутузова* видны цель и дух благородной души; но слог несколько пышен для избранных им предметов. — Критики *Сомова* колки и не всегда справедливы. — *П. Яковлев* обещает многое в роде Жуи: слог его оригинален, отрывист; приноровления остры и забавны. — *Кюхельбекер* одарен летучим воображением и мечтательностию. В Европейских письмах его встречаются картины удачные и новые. — *Нарежный* в Славянских вечерах своих разбросал дикие цветы северной поэзии. Впрочем, проза его слишком мерна и однозвучна. Он написал два романа, где много портретов и новых мыслей. — *Дм. Княжевич* пишет мило, умно и правильно — три вещи довольно редкие на Руси: его отечественные синонимы очень занимательны. — *Меньшенина* перевод Писем о химии заслуживает внимания равно в прозаическом, как и в стихотворном отношениях: он светел, игрив, верен оригиналу и правилам нашего слова.

Сим заключаю ряд прозаиков; ибо другие безыменные или ожидающие имен писатели, по малости или по бесхарактерности их творений, не произвели никакого влияния на словесность.

В сей картине, мною начертанной, читатели увидят, в каком бедном отношении находится число оригинальных писателей к числу пишущих, а число дельных произведений к количеству оных. Рассмотрим тому причины.

Во-первых: необъятность империи, препятствуя сосредоточиванию мнений, замедляет образование вкуса публики. Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища, умноженные благотворным монархом и поддерживаемые щедротами короны, разливают свет наук, но составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России. Недостаток хороших учителей, дороговизна выписных и вдвое того отечественных книг и малое число журналов, сих призм литературы, не позволяют проницать просвещению в уезды, а в столицах содержать детей не каждый в состоянии. Феодальная умонаклонность многих дворян усугубляет сии препоны. Одни рубят Гордиев узел наук мечом презрения, другие не хотят ученьем мучить

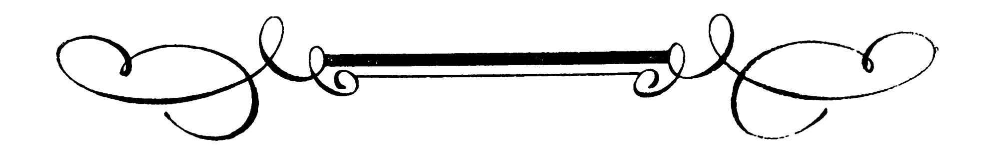
детей своих и для сего оставляют невозделанными их умы, как нередко поля из пристрастия к псовой охоте. В столицах рассеяние и страсть к мелочам занимают юношей; никто не посвящает себя безвыгодному и бессребреному ремеслу писателя, и если пишут, то пишут не по занятию, а шутя; и к чести военного звания — должно сказать, что молодые офицеры наиболее, в сравнении с другими, основательно учатся. Впрочем, у нас нет европейского класса ученых (lettrés, savants), ибо одно счастие дает законы обществу, а наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе не богаты. В отношении к писателям я замечу, что многие из них сотворили себе школы, коих упрямство препятствует усовершенствованию слова; другие не дорожат общим мнением и на похвалах своих приятелей засыпают беспробудным сном золотой посредственности.

Человек есть существо более тщеславное, чем славолюбивое. Поэт, романтик, ученый работает в тиши кабинета, чтобы собрать дань похвалы в людях; но когда он видит труды свои гибнущими в книжной лавке и безмолвие, встречающее его в обществе, где даже никто не подозревает в нем таланта; когда, вместо наград, он слышит одни насмешки, — променяет ли он маки настоящего на неверный лавр отдаленного будущего?

Наконец, главнейшая причина есть изгнание родного языка из общества и равнодушие прекрасного пола ко всему, на оном писанному! Чего нельзя совершить, дабы заслужить благосклонный взор красавицы? В какое прозаическое сердце не вдохнет он поэзии? Одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих!

Но, утешимся! Вкус публики, как подземный ключ, стремится к вышине. Новое поколение людей начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, лежащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает побегу, но дает бо́льшую твердость колосьям и обещает богатую жатву.

А. Бестужев.



РОГНЕДА

Повесть

А. А. В.......й

Потух последний солнца луч;
Луна обычный путь свершала,
То пряталась, то из-за туч,
Как стройный лебедь, выплывала;
И ярче заблистав порой,
Над берегом Лыбеди скромной,
Свет бледный проливала свой
На терем пышный и огромный.

*

Всё было тихо!.. лишь поток,
Журча, роптал между кустами,
И перелетный ветерок
В дубраве шелестил ветвями.
Как месяц утренний бледна,
Рогнеда в горести глубокой
Сидела с сыном у окна,
В светлице ясной и высокой.

*

От вздохов под фатой у ней
Младые перси трепетали,
И из потупленных очей,
Как жемчуг, слезы упадали.
Глядел невинный Изяслав
На мать умильными очами,
И, к персям матери припав,
Он обвивал ее руками.

*

«Родимая! — твердил он ей, —
Ты всё печальна, ты всё вянешь:
Когда же будешь веселей,
Когда грустить ты перестанешь?
О! полно плакать и вздыхать;
Твои мне слезы видеть больно;
Начнешь ты только горевать,
Встоскуюсь вдруг и я невольно.

*

«Ты б лучше рассказала мне
Деянья деда Рогволода,
Как он сражался на войне,
И о любви к нему народа». —
«О ком, мой сын, напомнил ты?
Что от меня узнать желаешь?
Какие страшные мечты
Ты сим в Рогнеде пробуждаешь!..

*

«Но так и быть; — исполню я,
Мой сын, души твоей желанье.
Пусть Рогволодов дух в тебя
Вдохнет мое повествованье;
Пускай оно в груди младой
Зажжет к делам великим рвенье,

Любовь к стране твоей родной
И к притеснителям презренье...

*

«Родитель мой, твой славный дед,
От тех варягов происходит,
Которых дивный ряд побед
Мир в изумление приводит.
Покинув в юности своей
Дремучей Скании дубравы,
Вступил он в землю кривичей
Искать владычества и славы.

*

«Народы мирной сей страны
На гордых пришлецов восстали
И смело грозных чад войны
В руках с оружием встречали...
Но тщетно! роковой удел
Обрек в подданство их герою,
И скоро дед твой завладел
Обширной севера страною.

*

«Воздвигся Полоцк. Рогволод
Приветливо и кротко правил
И, привязав к себе народ,
Власть князя полюбить заставил...
При Рогволоде кривичи
Томились жаждой дел великих;
Сверкали в дебрях их мечи,
Литовцев поражая диких.

*

«Иноплеменные цари
Союза с Полоцком искали,

И чуждые богатыри
Ему служить за честь вменяли».
Но шум раздался у крыльца...
Рогнеда повесть прерывает
И видит: пыль и пот с лица
Гонец усталый отирает.

*

«Княгиня! — он вещал, войдя, —
Гоня зверей в дубраве смежной,
Владимир посетить тебя
Прибудет в терем сей прибрежный». —
«И так он вспомнил об жене...
Но не желание свиданья...
О нет! влечет его ко мне
Одна лишь близость расстоянья!»

*

Вещала — и сверкнул в очах
Негодованья пламень дикий!
Меж тем уж пронеслись в полях
Совы полуночные крики...
Сгустился мрак... луна чуть-чуть
Лучом трепещущим светила;
Холодный ветер начал дуть,
И буря страшная завыла!

*

Лыбедь вскипела меж брегов;
С деревьев листья полетели;
Дождь проливной из облаков,
И град, и вихорь зашумели!
Скопились тучи... и с небес
Вилася молния змиею!

Гром грохотал — от молний лес
То здесь, то там пылал порою!..

*

Внезапно с бурей звук рогов
В долине глухо раздается!
То вдруг замолкнет средь громов,
То снова с ветром пронесется...
Вот звуки ближе и громчей...
Замолкли ... снова загремели...
Вот топот скачущих коней,
И всадники на двор взлетели!

*

То был Владимир. На крыльце
Его Рогнеда ожидала;
На сумрачном ее лице
Неведомая страсть пылала!
Смущенью мрачность приписав,
Герой супругу лобызает
И, сына милого обняв,
Его приветливо ласкает.

*

Отводят отроки коней...
С Рогнедой князь идет в палаты.
И вот, в кругу богатырей
Садится он за пир богатый.
Под тучным вепрем стол трещит,
Покрытый скатертию браной;
От яств прозрачный пар летит
И вьется по избе брусяной!

*

Звездясь, янтарный мед шипит,
И ходит чаша круговая;

Все веселятся... но грустит
Одна Рогнеда молодая.
«Воспой деянья предков нам!» —
Бояну витязи вещали.
Певец ударил по струнам —
И вещие зарокотали!

*

Он славил Рюрика судьбу,
Пел Святославовы походы,
Его с Цимискием борьбу,
И покоренные народы;
Пел удивление врагов,
Его нетрепетность средь боя,
И к славе пылкую любовь,
И смерть, достойную героя...

*

Бояна пламенным словам
Герои с жадностью внимали
И, праотцев чудясь делам,
В восторге пылком трепетали.
Певец умолкнул... но опять
Он пробудил живые струны
И начал князя прославлять
И грозные его перуны:

*

«Дружины чуждые громя,
Давно ль наполнил славой бранной
Ты дальной Нейстрии поля
И Альбиона край туманный?
Давно ли от твоих мечей
Упали Полоцка твердыни

И нивы храбрых кривичей
Преобратилися в пустыни?

*

«Сам Рогволод...» Вдруг тяжкий стон
И вопль отчаянья Рогнеды
Перерывают гуслей звон
И радость шумную беседы...
«О, успокойся, друг младой! —
Вещал ей князь, — не слез достоин,
Но славы, кто в стране родной
И жил и кончил дни как воин.

*

«Воскреснет храбрый Рогволод
В делах и в чадах Изяслава,
И пролетит из рода в род
Об нем, как гром гремящий, слава».
Рогнеды вид покойней стал;
В очах остановились слезы,
Но в них какой-то огнь сверкал,
И на щеках пылали розы...

*

При стуках чаш Боян поет,
Вновь тешит князя и дружину...
Но кончен пир — и князь идет
В великолепную одрину.
Сняв меч, висевший при бедре,
И вороненые кольчуги,
Он засыпает на одре
В объятьях молодой супруги.

*

Сквозь окон скважины порой
Проникнув, молния пылает

И брачный одр во тьме ночной
С четой лежащей освещает.
Бушуя, ставнями стучит
И свищет в щели ветр порывный;
По кровле град и дождь шумит,
И гром гремит беспрерывный.

*

Князь спит покойно... Тихо встав,
Рогнеда светоч зажигает
И в страхе, вся затрепетав,
Меч тяжкий со стены снимает...
Идет... стоит ... ступила вновь...
Едва дыханье переводит...
В ней то кипит, то стынет кровь...
Но вот... к одру она подходит...

*

Уж поднят меч!.. вдруг грянул гром!
Потрясся терем озаренный —
И князь, объятый крепким сном,
Воспрянул, треском пробужденный —
И пред собой Рогнеду зрит...
Ее глаза огнем пылают...
Поднятый меч и грозный вид
Преступницу изобличают...

*

Меч выхватив, ей князь вскричал:
«На что дерзнула в исступленье? ..» —
«На то, что мне повелевал
Ужасный Чернобог — на мщенье!» —
«Но долг супруги, но любовь?..» —
«Любовь! к кому?.. к тебе, губитель?..

Забыл, во мне чья льется кровь!
Забыл ты, кем убит родитель!..

*

«Ты, ты, тиран, его сразил;
Горя преступною любовью,
Ты жениха меня лишил
И братнею облился кровью!
Испепелив мой край родной,
Рекой ты кровь в нем пролил всюду
И Полоцк, дивный красотой,
Преобратил развалин в груду!

*

«Но, недовольный... местью злой
К бессильной пленнице пылая,
Ты брак свой совершил со мной
При зареве родного края!
Повлек меня в престольный град;
Тебе я сына даровала...
И что ж?.. еще презренья хлад
В очах тирана прочитала!..

*

«Вот страшный ряд ужасных дел,
Владимира покрывших славой!
Не через них ли приобрел
Ты на любовь Рогнеды право?..
Страдала, мучилась, стеня;
Вся жизнь моя текла в кручине;
Но, боги! не роптала я
На вас в злосчастиях доныне!..

*

«Впервые днесь ропщу!.. увы!
Почто губителя отчизны

Сразить не допустили вы
И совершить достойной тризны!
С какою б жадностию я
На брызжущую кровь глядела,
С каким восторгом бы тебя,
Тиран, угасшего узрела!..»

*

Супруг, слова прервав ее,
В одрину стражу призывает.
«Ждет смерть, преступница, тебя! —
Пылая гневом, восклицает. —
С зарей готова к казни будь!
Сей брачный одр пусть будет плаха;
На нем пронжу твою я грудь
Без сожаления и страха!»

*

Сказал — и вышел. Вдруг о том
Мгновенно слух распространился —
И терем, весь объятый сном,
От вопля женщин пробудился...
Бегут к княгине, слезы льют;
Терзаясь близостью разлуки,
Себя в младые перси бьют
И белые ломают руки...

*

В тревоге все... лишь Изяслав
В объятьях сна, с улыбкой нежной,
Лежит, покровы разметав,
Покой вкушая безмятежный.
Об участи Рогнеды он
В мечтах невинности не знает;

Ни бури рев, ни плач, ни стон
От сна его не пробуждает.

*

Но перестал греметь уж гром;
Замолкли ветры в чаще леса;
И на востоке голубом
Редела мрачная завеса.
Вся в перлах, злате и сребре
Ждала Рогнеда без боязни
На изукрашенном одре
Назначенной супругом казни.

*

И вот денница занялась;
Сверкнул сквозь окна луч багровый —
И входит с витязями князь
В одрину, гневный и суровый.
«Подайте меч!» — воскликнул он —
И раздалось везде рыданье!
«Пусть каждого страшит закон,
Злодейство примет воздаянье!»

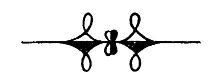
*

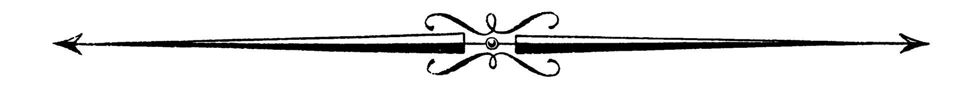
И, быстро в храмину вбежав:
«Вот меч! Коль не отец ты ныне,
Убей! — вещает Изяслав, —
Убей, жестокий, мать при сыне!»
Как громом неба поражен,
Стоит Владимир и трепещет,
То в ужасе на сына он,
То на Рогнеду взоры мещет...

*

Речь замирает на устах,
Сперлось дыханье, сердце бьется;
Трепещет он, в его костях
И лютый хлад и пламень льется!
В душе кипит борьба страстей:
И милосердие и мщенье...
Но вдруг, с слезами из очей —
Из сердца вырвалось: *прощенье!*

Рылеев.





РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА

Восточная повесть

Посвящена Ф. Н. Глинке

Die strenge Pflicht, die der Vertrag erzwingt,
Bleibt ewig Grund zu dem Gebäude:
Doch Wilde nur und Güte bringt
Ins leere Haus der Harrenden die Freude.
Seume.

Престарелый и добродетельный Ибрагим, гражданин смирнский, чувствуя приближение своей кончины, призвал четверых своих сынов и говорил им следующее: «Я вскоре должен оставить свет; без страха вижу конец моей жизни: надежда на благость всевышнего поселяет во мне спокойствие. Я во всю жизнь мою не сделал умышленного зла; ни у кого не отнял ни чести, ни имения; усердно исполнял предписания веры предков моих и старался по возможности облегчать страдания моих собратий. Если по слабости человеческой я во многом ошибался, если неумышленно оскорбил кого-нибудь, — вы, любезные дети, исправьте мои проступки, когда меня не станет, и почтите мою память добродетельною жизнию. Из всех благ земных, которыми я могу располагать, составил я четыре доли: первая есть тяжба, по которой мне следует получить три миллиона пиастров от одного коварного франка, товарища по торговле покойного моего брата. К сей доле прилагается десять тысяч пиастров на необходимые издержки. Вторую долю составляет корабль с товарами и

торговая контора в городе Розетте. Третья доля — этот перстень. За тридцать лет пред сим я спас в сражении жизнь нашему султану, когда он был еще вторым сыном царствовавшего государя.[1] Он со слезами просил меня, чтоб я требовал награды, я отказался, ибо не имел ни в чем нужды. Тогда он снял с руки своей сей перстень и поклялся пророком, что тот, кто представит ему оный от моего имени, будет принят, как родной брат, и получит право на все его милости. Вступив на трон, он неоднократно призывал меня ко двору, но я всегда отказывался, предпочитая спокойствие и независимость опасностям сераля. Четвертая доля есть мой загородный дом в *Бухар-Баши*[2] с принадлежащими к нему полями, садами и всем хозяйственным заведением. Доход с оного невелик, но может содержать скромное семейство и питать неимущих. Выбирайте, любезные дети! Если же не согласитесь в выборе, то бросьте между собой жеребий». — Старший сын, Мустафа, выбрал перстень; второй, Али, корабль; третий, Гуссейн, взялся окончить тяжбу, а младшему, Измаилу, достался хозяйский дом. «Теперь, дети мои, поклянитесь, что вы довольны разделом и что каждый из вас, в случае несчастия, будет помогать друг другу». — Они поклялись. Престарелый Ибрагим, соверша молитву, благословил детей своих и уснул тихим сном: жизнь угасла в нем без страдания и горести, как угасает на западе последний луч благотворного светила дневного.

Предав земле бренные останки добродетельного отца, братья обнялись, повторили клятву помогать друг другу, и каждый занялся новым своим состоянием. Мустафа отправился в Истамбул и ожидал шествия султана в мечеть, чтобы представить ему перстень. Лишь только повелитель музульман показался из ворот сераля, он поднял над головою приготовленную просьбу и закричал из всей силы: «Всесильный *падишах*![3] Ибрагим прислал к тебе твой перстень». — «Кто ты таков?» — спросил султан, остановившись, и, взяв перстень, надел его на палец. «Я Мустафа, старший сын Ибрагима, — отвечал он. — Отец мой, умирая, отдал мне сию драгоценную вещь и приказал вручить тебе, обладателю двух миров». — «Добродетельный Ибрагим умер? — сказал султан, отирая слезы. — Слава всевышнему, что я,

по крайней мере, могу воздать сыну за услугу, оказанную мне отцом. Явись ко мне после молитвы и вели моим именем впустить себя во внутренность сераля».[4] Мустафа не умедлил исполнить сие приказание, и едва объявил у ворот свое имя, стража с почтением пропустила его на первый двор, где силигдар-ага принял его и ввел в комнаты. Кизляр-ага поднес ему богатый *хилат*,[5] велел одеться и повел его к падишаху. При входе в комнату Мустафа повергся на землю и в безмолвии ожидал своей участи; но султан велел ему встать и сесть на *играме*,[6] у ног своих. Он долго разговаривал с сыном Ибрагима о состоянии империи, о разных отраслях правления и, уверившись, что Мустафа был человек просвещенный, сказал ему: «Мустафа! я доволен тобою, жалую тебя моим *кягия-беем*[7] и нарекаю тебя мужем сестры моей Фатимы. Раб мой, *дефтердар*,[8] немедленно выплатит тебе *500 кисе*[9] на первое заведение и назначит дом для жительства. Ступай и ожидай дальнейших моих повелений». Мустафа не мог произнесть ни одного слова от радости и удивления; он даже не помнил, каким образом вышел из султанских комнат, и тогда только пришел в себя, когда толпа придворных встретила его на крыльце с поздравлениями и низкими поклонами. Ему подвели богато убранного коня, и сам кизляр-ага взялся проводить его к новому его жилищу, дому, принадлежавшему янычар-аге, которого за несколько дней пред тем удушили за то, что он ударил на дворе сераля кошку любимой *кадыни*[10] султана. Толпа рабов упала к ногам нового своего господина, и Мустафа поселился в великолепном доме, ожидая новых повелений султана.

Вскоре его обвенчали с сестрою султана, который излил на него все возможные благодеяния; осыпал его почестями и богатством и почтил своею доверенностию. Первые чиновники государства трепетали от одного взгляда Мустафы; сам великий муфти искал его благосклонности; не было ни одного человека при дворе и в городе, который бы не почитал его счастливым и не завидовал его судьбе.

Али, второй сын Ибрагима, соделавшийся купцом, поселился в Розетте. Расчетливость в торговых оборотах, предприимчивость и точность в соблюдении договоров вскоре обратили на него богатые

дары фортуны. Море покрылось его кораблями, города Востока наполнились его товарами. Он жил, как удельный князь; домы его отличались великолепием, сады славились обширностию и красотою; гарем вмещал в себе толпы красавиц, которым бы позавидовал и сам повелитель Востока. Сам бей вменял себе в честь приглашение к его роскошному столу; сан его брата умножал всеобщее к нему уважение, и Али между купцами почитался богатейшим и счастливейшим человеком.

Гуссейн, третий сын Ибрагима, с большим рачением производил тяжбу в Алеппе. Он был отличный законоискусник, и сам занимался всеми подробностями своего дела: всякое утро посещал судей своих, всякий вечер советовался с учеными улемами; давал богатые пиры и рассылал драгоценные подарки. Истощив свою казну, прибегнул он к займам на счет будущих сокровищ, и человеколюбивые ростовщики, рассчитывая, что Гуссейн, по влиянию своего брата, должен выиграть тяжбу, давали ему деньги по пятидесяти процентов. Не взирая на проволочки, употребляемые его противником, уже приближался день, в который надлежало произнесть окончательный приговор. Справедливость дела, покровительство и рачительность, с которою Гуссейн производил тяжбу, удостоверяли всех в счастливом оной окончании. Три миллиона наследства доставляли ему большое влияние в городе: его везде угощали, принимали с разверзтыми объятиями, и многие завидовали его счастливой судьбе.

В то время, когда сии три брата столь блестящими путями шли в храм счастья, четвертый, Измаил, занимался возделыванием отцовских полей и садов, умножением стад и удобрением земли. Презирая гнусное сладострастие и будучи уверен, что истинные удовольствия жизни зависят не от *чувств*, но от *чувствований*, Измаил отвергнул обыкновение Востока, позволяющее иметь гарем, гнездилище козней и зависти. О избрал себе подругу между дочерьми трудолюбивого своего соседа Гассана. Прекрасная Зулема принесла ему в приданое невинное сердце, тихий нрав и нежную привязанность, возвышенную благодарностию за его выбор и предпочтение множеству красавиц. В то время, когда Измаил надсматривал в поле за наемными работниками, Зулема занималась домашним хозяйством и учила молит-

вам и грамоте двух прелестных малюток, залог их взаимной нежности. По вечерам Измаил читал *Сураты Курана* [11] или произведения арабских поэтов и историков. Несколько избранных друзей разделяло с ним досужее время и скромную трапезу. Жизнь сей счастливой четы протекала тихо, как чистый ручей по зеленому лугу. Они не мучились ни великими надеждами, ни лишними желаниями, но зато и не страшились большой потери. Наслаждаясь приятностями жизни, коих в мире столь много для сердец невинных, благополучные супруги без страха взирали на смерть, как на кратковременную разлуку. Всевышний благословил добродетельную чету: довольство, хотя без роскоши, их окружало; дети возрастали в здоровье и благонравии, служители любили, соседи душевно почитали их. Но городские жители говорили в Смирне: «Как жаль бедного Измаила! он проводит время в неизвестности, трудится, как невольник, единственно для прокормления своего семейства, в то время как братья его утопают в роскоши и удовольствиях, покрытые славою и почестями. Мудрый Ибрагим знал его слабоумие, назначив ему столь низкую долю. Даже братья забыли его, и он достоин ничтожной своей участи». Иногда доходили до Измаила сии толки, и он от доброго сердца смеялся заблуждениям толпы, всегда судящей по наружности.

В один приятный летний вечер, когда Измаил отдыхал в тени акаций, а жена его поливала цветы, слуга объявляет ему, что три странника просят позволения войти в дом и поговорить с хозяином. Измаил велел впустить их: являются три человека в раздранных рубищах, бледные, с поникшими главами и потупленными взорами. Горесть изображалась резкими чертами на их лицах, покрытых морщинами. Измаил с беспокойством всматривается — и узнает трех братьев своих. С распростертыми объятиями бросился он к ним, и слезы их смешались. Он не спрашивал их о причинах их злой участи, о которой мог судить по одежде, но спешил предложить им свои услуги. Нежная Зулема разделяла общую горесть, и дети, видя в первый раз плачевное явление в доме, рыдали, не зная тому причины. Мустафа первый прервал молчание. «Любезный брат, — сказал он, — мы в счастии забыли о тебе, но в несчастии вспомнили, что имеем

добродетельного и мудрого брата, и пришли к тебе просить пищи и покрова. Мы не имеем ничего, кроме жизни, преисполненной раскаянием и горестными воспоминаниями о нашем неблагоразумии. Сядем под тень сего дерева и по очереди расскажем тебе наши приключения».

Гуссейн первый начал говорить следующее: «Процесс мой в начале своем принял самый благоприятный ход. Судьи признавали справедливость моих требований и обещали дать милостивое решение; но пронырство противной стороны замедляло окончанием тяжбы, которое беспрестанно отсрочивали под различными предлогами. Наконец, по влиянию брата моего Мустафы, дело решилось в мою пользу, и я получил имение, оцененное в три миллиона пиастров. Тогда мне надлежало бы остановиться и наслаждаться моим богатством. Но бездействие было мне несносно: я полюбил тяжбы и находил удовольствие в сем занятии. Не имея собственных дел, начал я покупать все споры и тяжбы между частными лицами, и сам отыскивал и вымышлял средства и предлоги к раздорам между гражданами. Вскоре одна половина жителей Алеппа завела тяжбы с другою, и я во всех был участником или, по крайней мере, советником. Я проводил время в судах или в моем кабинете за бумагами, или за роскошным столом. Дом мой был сборищем улемов, кадиев и всех приказных. Я беспрестанно выигрывал тяжбы, но, употребляя большие суммы на производства, входил в долги, которые ежедневно умножались. По бумагам, закладным и крепостям меня почитали властителем многих миллионов, а на деле оказывалось совсем противное. Наконец, после несчастия, приключившегося с братом Мустафою, и моя участь решилась, как того ожидать надлежало. Со всех сторон посыпались к султану жалобы на расстройство, причиняемое мною между гражданами побуждением их к процессам, и на несправедливые средства, употребляемые мною к обращению оных в мою пользу. Султан запретил мне производить тяжбы, и кредит мой немедленно обрушился. Заимодавцы и товарищи моих оборотов захватили всё мое имение, а я с сумою должен был выйти из города, где меня ненавидели, как ябедника и человека беспокойного. Не имея угла, где бы мог приклонить мою голову, я решился

просить пропитания и убежища у мудрого брата моего Измаила».

«Страсть к богатству, — говорил Али, — заставила меня избрать в удел торговлю. Я умел идти вперед, но не умел остановиться. По мере умножения моих сокровищ, страсть к приобретению во мне возрастала. Я входил во всякое торговое предприятие, обещавшее большие выгоды; не будучи в состоянии моими собственными капиталами поддержать обширную торговлю, должен был составить компанию, завести кредит и поверить большую часть моих дел чужим людям. Вскоре мне недоставало времени самому заниматься всеми подробностями. Жажда к удовольствиям пылала в душе моей вместе с алчностию к злату. К тому же надлежало вести знакомство и поддерживать дружбу с множеством чиновников, угощать их, доставлять им всякие забавы, чтобы связать их существование с моими пользами. Я едва имел несколько часов в день, чтобы заняться делами, требующими деятельности неусыпной. Мои товарищи и приказчики воспользовались моею небрежностию, и воздвигнутое мною огромное здание, не имея прочного основания, начало разрушаться. Я со всех сторон получал известия то о разбитии моих кораблей, то о пожарах в моих магазинах, то о банкротстве моих должников. Между тем все участники моей торговли богатели и отделялись от меня. Я почувствовал, но уже поздно, что обширная торговля, поддерживаемая не капиталами, но спекуляциями, основанными на кредите, уподобляется отражению солнечных лучей в воде, которые блестят, но не согревают. Я доселе был справедлив, верен в слове и договорах, но страх потерять мое состояние заставил меня прибегнуть к обману, и всевышний справедливо наказал меня. В то время флот великого султана вооружался, и армия собиралась на границе империи. Я взялся доставить продовольствие войску и отдал в залог всё мое имение. Надеясь поправить и даже умножить расстроенное мое состояние, я за малые суммы закупил во всех портах Адриатического и Средиземного морей испортившийся хлеб и доставил оный в армию и флот. Капудан-паша и захаирджи-баши[12] были со мною в согласии, но визирь пребыл верен своей обязанности и представил дело султану в настоящем виде. Капудан-пашу бросили в море, захаирджи-баши

задушили в комнатах сераля, а у меня забрали всё имение, отсчитали мне 500 ударов по пятам и выгнали с бесчестием за город. Султан повелел объявить мне, что единственно из любви к отцу моему он дарует мне жизнь, запрещая, однако ж, навсегда заниматься торговлею. Оставленный друзьями и любовницами в моем несчастии, я в то же время узнал о падении брата Мустафы, направил путь к тебе и на дороге встретился с братьями».

Мустафа рассказал свои приключения следующим образом: «Ты знаешь, что данный мне покойным отцом нашим перстень доставил мне все почести, которых столько жаждала честолюбивая моя душа. Будучи мужем сестры султана и одним из первых чиновников государства, пользуясь притом бесчисленными сокровищами, я бы не должен был делать ничего, кроме продолжения моего благоденствия, и, пользуясь случаем, делать добро, которое от меня зависело. Но с умножением ко мне милости султана возрастали во мне гордость и честолюбие. Я был кягия-беем, а мне хотелось быть визирем. Высокомерная моя супруга утверждала меня в сем намерении, советовала оклеветать визиря и самому заступить его место. Я имел слабость послушаться и изрыл яму, в которую мне самому надлежало низвергнуться. В то время Порта приготовлялась к войне с персидским шахом; я сочинил подложные письма к визирю от нашего врага и готовился показать оные султану. Между тем жена моя, влюбившись в янычар-агу, приготовляла мое падение. Она сохранила копии писем и тайно послала оные к султану. Явившись пред лицом падишаха, чтоб обнаружить мнимую измену визиря, я вострепетал при грозном и гневном виде повелителя Востока. „Недостойный раб! — вскричал он, — червь, извлеченный мною из праха и превратившийся в ядовитую змею! Ты осмелился употребить во зло мою доверенность и, пользуясь оною, готовишь погибель вернейшим рабам моим! Твоя ли это рука?“ — сказал он, показывая письма. Я упал к ногам его, едва живой от страха. „Винюсь пред тобою, обладатель миров, но сестра твоя...“ Он не позволил мне продолжать: „Изверг! ты хочешь оклеветать и сестру мою. Из почтения к памяти добродетельного твоего отца дарую тебе жизнь — ты недостоин моего мщения. Рабы, изгоните сие чудовище из города!“ В одну минуту капиджи-

баши[13] схватили меня, сорвали с меня драгоценные одежды и вытолкали за город при многочисленном стечении народа, вчера упадавшего ниц передо мною, а сегодня покрывавшего меня ругательствами и насмешками. Полумертвый очутился я за городом; несколько времени скитался в лесах, питаясь дикими плодами, и наконец решился идти к тебе. Подходя к Смирне, встретился я на ночлеге, в доме бедного дровосека, с нашими братьями».

«Любезные братья! — сказал им Измаил, — я не намерен делать вам упреков, ибо сим средством невозможно возвратить прошедшего. Не хочу ничего советовать, потому что вам нужна помощь, а не наставления. Предлагаю вам дом мой и охотно поделюсь всем, что в нем находится. Надеюсь также, что вы будете разделять со мною труды мои. Истинные потребности человека столь ограничены, что их удовлетворить весьма не трудно. Пища, одежда и спокойный угол — вот всё, что я могу предложить вам. Бог милостив: он, может быть, сжалится, видя ваше раскаяние». Измаил залился слезами при сих словах и вторично обнял братьев своих. Наконец братья положили между собою, что Мустафа примет смотрение за стадом, Али будет возить на рынок земные произведения, а Гуссейн займется счетными делами по хозяйству. Зулема принесла скромный ужин, и вскоре тихое веселье воцарилось в сей беседе. Три брата поклялись загладить добродетельною жизнию свои проступки и навсегда отречься от призраков богатства и почестей.

В сие время является из-за кустов престарелый дервиш, Абдалла, друг покойного Ибрагима. Виновные не смели взглянуть на него и закрыли лица полами платья. «Я всё слышал, — сказал он. — Я видел вас, входящих в дом, и прошел в сад другими дверями. Чистосердечное ваше раскаяние возбудило во мне сострадание, и я хочу помочь вам в несчастии. Добродетельный Ибрагим предчувствовал вашу участь: он знал, что страсть к богатству, почестям и тяжбам редко имеет пределы и, превращаясь в неисцелимую душевную болезнь, бывает причиною погибели. Он оставил мне в сохранение сто тысяч пиастров: разделите их на четыре части и начните новую жизнь, пользуясь вашею опытностию». Три брата бросились к ногам почтенного старца. Измаил, обняв его, сказал: «Отец мой! я отре-

каюсь от моей части, не имея в ней нужды: раздели всё между моими несчастными братьями». Жена Измаила повторила сию просьбу, но дервиш и прочие братья не соглашались. Наконец общим советом решили, чтобы за три части суммы купить три равные участка земли с хозяйственным заведением, а четвертую отдать в верные руки на сохранение, с тем, чтоб в случае несчастия, происшедшего от непредвидимых обстоятельств, всякий из братьев мог пользоваться процентами. Половину же процентов определили на раздачу бедным, чтобы они молились за упокой души Ибрагима.

Несчастие лучшая школа для человека. Оно исправило трех братьев, и они вскоре, в недрах семейств своих (всякий из них взял себе подругу), не предаваясь пустым мечтам, вкусили блаженство, которого тщетно искали на пути величия и знатности. Здоровье, свобода, довольство, труд, отдохновение, любовь, дружба и благотворение доставляли им разнообразные удовольствия, которые не покупаются золотом и не подчинены могуществу человеков. Все четыре брата дожили до глубокой старости, воспитали многочисленные семейства, часто повторяя детям своим: «Не ищите ничего в людях, но исполняйте свои обязанности в отношении к человечеству. Кто ищет многого, тот подвержен большим потерям. Кто полагает свое благополучие в мнении людей, тот делается рабом чужого мнения и врагом своего спокойствия. Нет благороднее того, кто трудом снискивает себе пропитание. Напрасно думают некоторые, что провидение дозволяет торжествовать пороку: истинное торжество не зависит от поклонения толпы малодушных; оно состоит в одобрении людей добродетельных, и сии-то люди никогда не изменяют истине и всегда презирают порочного, в хижине ли он или в чертогах. Живите в свете, но не для света: пустыня не делает порочного добродетельным, и свет не сделает добродетельного порочным. Будьте с людьми откровенны, но не легкомысленны. Помогайте несчастным, если хотите сами иметь право на сострадание в ваших горестях, и, наконец, помните, что только добродетельный может быть счастливым, ибо душевное спокойствие и уважение людей приобретаются единственно непорочною жизнию».

Ф. Булгарин.

Примечания

[1] В прежние времена турецкие султаны не запирали своих родных: напротив того, поверяли им важные должности в армии и в правлении. Ныне их лишают жизни или запирают в старом серале, называемом эски-серай, или кафас, т. е. клетка.

[2] *Бухар-Баши* — одна из окрестностей города Смирны; там находятся загородные домы богатых жителей.

[3] *Падишах* — великий царь. Так обыкновенно турки величают своих повелителей, называя оных также властителями двух миров.

[4] Если говорится о внутренности *сераля*, то не должно полагать, что под сим разумеется *гарем*, в который вход запрещен даже родственникам султана. *Сераль* есть род особого города, состоящего из множества строений и обнесенного высокою стеною, отделяющей оный от прочих частей Царя-града: он имеет 12 000 жителей к особенным услугам султана.

[5] *Хилат* — верхняя одежда у турок, которую надевают на особ, представляющихся султану.

[6] *Играм* — малые коврики: на них садятся первые чиновники у подножия софы, на которой сидит сам султан во время аудиенции.

[7] *Кягия-бей* — наместник великого визиря.

[8] *Дефтердар* — государственный казначей.

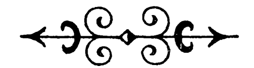
[9] *Кисе́* (киса) — мешок, имеющий 500 пиастров.

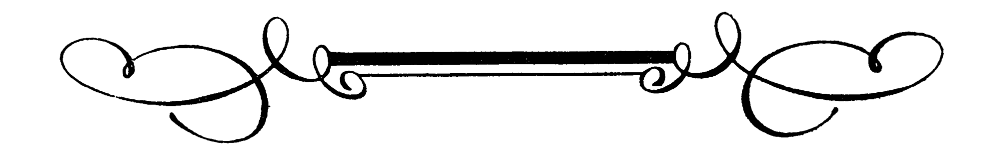
[10] Женщины, составляющие гарем великого султана, разделяются на следующие классы: *кадын*, т. е. госпожи или особенные любовницы, *гедикли* — прислужницы султана в гареме. Между ими двенадцать прекраснейших называются *одалык*, или горничные; каждая имеет особенное звание, соответственное мужеским, на мужской половине сераля, как-то: стольницы, кравчие и пр. Если которая из одалык заступит место кадын, тогда называется ибкаль, т. е. нравящаяся, или хас-одалык, первая горничная султана. Сверх того, находятся в серале надзирательницы, занимающиеся услугами у родственниц султана и кадын, также надзором над служащими девушками или *нововступившими*, коих считается более шестисот, а всех женщин в гареме более тысячи.

[11] *Сураты* — главы или разделения *Курана*, т. е. Алкорана.

[12] *Захаирджи-баши* — главный провиантмейстер.

[13] *Капиджи-баши* — исполнители воли султана.





ОВИДИЮ

Овидий! я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил,
И лиры нежный глас еще не онемел:
Еще твоей молвой наполнен сей предел.
Ты живо впечатлел в моем воображенье
Пустыню мрачную, поэта заточенье,
Туманный свод небес, обычные снега
И краткой теплотой согретые луга.
Как часто, увлечен унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою!
Я видел твой корабль игралищем валов
И якорь, верженный близ диких берегов,
Где ждет певца любви жестокая награда.
Там нивы без теней, холмы без винограда,
Рожденные в снегах для ужасов войны.
Там хладной Скифии свирепые сыны,
За Истром утаясь, добычи ожидают
И селам каждый миг набегом угрожают.
Преграды нет для них: в волнах они плывут
И по льду звучному бестрепетно идут.
Ты сам... (дивись, Назон, дивись судьбе превратной),
Ты, с юных лет, забыв волненье жизни ратной,
Привыкнул розами венчать свои власы

И в неге провождать беспечные часы;
Ты будешь принужден взложить и шлем тяжелый,
И грозный меч хранить близ лиры оробелой:
Ни дочерь, ни жена, ни верный сонм друзей,
Ни музы, легкие подруги прежних дней,
Изгнанного певца не усладят печали.
Напрасно грации стихи твои венчали,
Напрасно юноши их помнят наизусть:
Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робкие Октавия не тронут.
Дни старости твоей в забвении потонут!
Златой Италии роскошный гражданин,
В отчизне варваров безвестен, и один
Ты звуков родины вокруг себя не слышишь,
Ты в тяжкой горести далекой дружбе пишешь:
«О, возвратите мне священный град отцов,
И тени мирные наследственных садов!
О други! Августу мольбы мои несите,
Карающую длань слезами отклоните;
Но если гневный бог доселъ неумолим,
И ввек мне не видать тебя, великий Рим,
Последнею мольбой смягчая рок ужасный,
Приближьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!»
Чье сердце хладное, презревшее харит,
Твое уныние и слезы укорит?
Кто в грубой гордости прочтет без умиленья
Сии элегии, последние творенья,
Где ты свой тщетный стон потомству передал?
  Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их. Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил;
Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья

И их печальные картины поверял;
Но взор обманутым мечтаньям изменял:
Изгнание твое пленяло втайне очи,
Привыкшие к снегам угрюмой полуночи.
Здесь долго светится небесная лазурь,
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь;
На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый;
Уж пасмурный декабрь на русские луга
Слоями расстилал пушистые снега;
Зима дышала там — а с вешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младою зеленью пестрел увядший луг,
Свободные поля взрывал уж ранний плуг,
Чуть веял ветерок, под вечер холодея;
Едва прозрачный лед, над озером тускнея,
Кристаллом покрывал недвижные струи.
Я вспомнил опыты несмелые твои,
Сей день, замеченный крылатым вдохновеньем,
Когда ты в первый раз вверял с недоуменьем
Шаги свои волнам, окованным зимой...
И по льду новому, казалось, предо мной
Скользила тень твоя — и жалобные звуки
Неслися издали, как томный стон разлуки.
Утешься! не увял Овидиев венец.
Увы! среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнию, с минутною молвой...
Но если обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный —
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.

Да сохранится же заветное преданье:
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе.
Здесь лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны,
И музы мирные мне были благосклонны.
* *

ВЕСНА

На звук цевницы голосистой,
Толпой забав окружена,
Летит прекрасная весна;
Благоухает воздух чистый,
Земля воздвиглась ото сна.

Утихли вьюги и метели,
Текут потоками снега;
Опять в горах трубят рога,
Опять зефиры налетели
На обновленные луга.

Над урной мшистою наяда
Проснулась в сумраке ветвей,
Стрясает инеи с кудрей,
И, разорвав оковы хлада,
Заговорил ее ручей.

Восторги дух мой пробудили!
Звучат и блещут небеса;
Певцов крылатых голоса,

Пастушьи песни огласили
Долины, горы и леса.

Лишь ты, увядшая Климена,
Лишь ты в тоску облечена!
Весны не празднуешь одна:
Тобою младости измена
Еще судьбе не прощена.

Роптанье в грудь к тебе теснится;
Не видишь ты красы лугов:
Ах, если б щедростью богов,
Могла ко смертным возвратиться
Пора любви с порой цветов!

Баратынский.

ЭЛЕГИЯ

Богиня, льющая из урны
Прохладой дышащий ручей!
Пусть брызнет ток с руки твоей
И окропит цветы лазурны!
Пусть освежится зелень вкруг
Твоею влагою перловой —
И расцветет красою новой
Благоуханный, мягкий луг!
Быть может, здесь она прохлады
В полдневный зной придет искать
И близ невидимой наяды
Любви уроки повторять.
Быть может, сон ее обнимет
На освежившихся цветах:
Она свирель свою покинет

И позабудется в мечтах.
Где вы, златые сновиденья?
Сюда слетитеся толпой!
Кружитесь над ее главой
Порою сладкого забвенья!
Быть может, сердце скажет ей:
«Весна твоих летящих дней
Цветет счастливою любовью!» —
И я, склоняясь к изголовью,
В безмолвной радости моей
Услышу в веющем дыханье,
Еще не встретив милой взор,
Ее невольное признанье,
Любви неспящей разговор...

Плетнев.

ЭПИГРАММА

Ты говоришь, что мучусь над стихом,
Что не пишу его, а сочиняю:
В твоих стихах труда не примечаю,
Но их зато читаю я с трудом.

К. Вяземский.

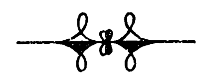
КУЗНЕЧИК

(Из Анакреона)

О счастливец! о кузнечик!
На деревьях на высоких
Каплею росы напьешься

И, как царь, ты распеваешь.*
Всё твое, на что ни взглянешь,
Что в полях цветет широких,
Что в лесах растет зеленых.
Друг смиренный земледельцев,
Ты ничем их не обидишь;
Ты приятен человекам,
Лета сладостный предвестник;
Музам чистым ты любезен,
Ты любезен Аполлону:
Дар его — твой звонкий голос.
Ты и старости не знаешь.
О мудрец, всегда поющий,
Сын, жилец земли невинный,
Безболезненный, бескровный,
Ты богам почти подобен!

Гнедич.



* В греческом: Βασιλεὸς ὅπας αἴδεισο.

НЕВЕДОМАЯ

Ф. В. Булгарину

Весна еще не утвердила своего владычества. Влажный ветер колыхал черные остроглавые сосны. Тусклая луна, как ладья на море, то возносилась, то утопала в дыму серебряных облаков. Эту картину природы видел я в ранней молодости, на чужой стороне. Со мною было тогда, что бывает с человеком, который в первый раз готовится отплыть за моря далекие. Еще не связанный отношениями земными, я по какому-то невольному побуждению смотрел на небо с глубоким невыразимым чувством наслаждения. Состояние души моей было среднее между сном и бдением. Вдруг посетила меня Неведомая. Мне еще памятны и час посещения, и вид таинственной посетительницы: молодая и прекрасная, она была в белом платье, которое с какою-то ласкою обвилось вкруг прелестного стройного стана и как будто с чувством прильнуло к живой груди, окружа ее высокую шею. Под длинными ресницами, в прекрасных глазах ее, светилось что-то неизъяснимо прелестное. По ее понятному знаку пошли мы искать уединения глубокого. Развалины старого замка, отененные молодою зеленью, стали приютом нашим.

На мшистом камне Неведомая поставила арфу свою, и ветер извлекал из нее звуки, которые проникали сердце до самой тайной глубины его: они мучили и услаждали душу! Иногда она сама касалась арфы своей, и тогда чувство, огонь и свет с силою вылетали из-под гибких перстов красавицы. Между тем молча указывала она на ти-

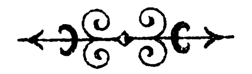
хие развалины, на город, сквозь сон шумевший, и с любовию смотрела на небо, с которого, казалось, и на нее смотрели... Не знаю, почему ее присутствие было так обворожительно. Она так усладила мою уединенную печаль, что я не променял бы ее ни на какую светскую радость. Моя душа понимала язык Неведомой. Сладкие речи ее были из тех, которые произносятся не устами. Как тонкое веяние, как мысль, едва одеянная видимым знаком, сообщались они прямо душе и чувству сердечному. Так, иногда во время сна слышим мы отрадные разговоры и, пробудясь, не осязаем говорящего!.. Я весь был умиление, слушая высокие песни ее, и часы казались минутами... Весенняя буря затихла. Звезды сменили луну; заря потопила их в румяном разливе своем. Но я, прикованный к земле, не замечал перемен неба. Только громкий говор утра вызвал меня из забвения. Природа, как невеста, наряжалась в свое цветное одеяние. Воздух становился ароматом. Теплые ветерки, как друзья, возвращенные из дальней стороны, приветливо ласкались к пробужденному творению. Всё стало движение, жизнь и радость... Но душа моя полна была мечтаний и сладостной грусти, которая порождала в ней чувствования высокие. — Скоро после того я сплавил свой легкий челнок на быстрый поток жизни. Страсти и забавы приняли юношу. Сладкие обеты кипели в устах милых предательниц. И чем далее заходил я в область жизни, тем более запутывался в волшебных сетях отношений общественных.

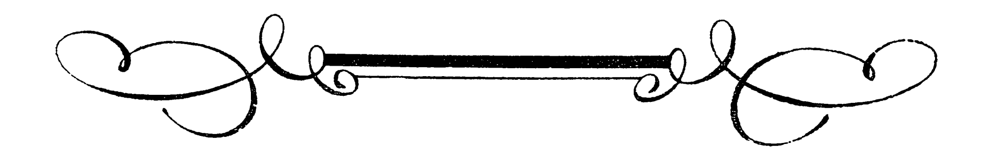
Наконец опыт, за дорогую цену, открыл мне все тайны земного бытия. Печальные тайны! Я узнал людей, и холодная медленная тоска тупым ножом своим прорезала стонающее сердце! С тех пор я уже видел, что значат предательные зазывы честолюбия и кимвальный звук славы. Я знал очаровательную прелесть любви, любви, которая так светлит, так уясняет душу, что небо со всеми своими радостями изображается в ней, как в чистом зеркале спокойного потока. Но я ведал и неутешное горе любви, когда душа рыдает над погибшими надеждами своими, как юный пловец над разбитым челном, на диком бреге безлюдном... Счастие, сказал я наконец, есть драгоценный аромат: добрый ангел, пролетая в другой, лучший мир, пронес его когда-то мимо людей и скрылся. Толпы суетливых искателей слышат очаро-

вательный запах, обегают землю, но нигде не находят драгоценности: небесный унес его с собою, как принадлежность неба. Живя и тоскуя, утешался я одною мыслию о Неведомой. Она являлась мне и после с тем же очарованием, с той же целебною силою для страждущей души. — Она явилась мне на берегах Дуная. Накануне кончилось жестокое сражение — еще не отстонало поле и не застыла кровь. Но мятеж земной не возмутил неба. Полная луна сияла; тихие волны яснели. Вдали, в старинном городе, бряцало оружие победителей и при свете удвоенных огней шумели жизнь и веселие ратное... Но не было жизни на затихшем поле: смерть подернула его черным крепом своим. И жадный ворон уже готовился спорить с могилою о тленных остатках сынов человеческих!.. Тысячи лежали в прахе. Напрасно слава по именам выкликала храбрых; напрасно товарищи звали их на шумный праздник победы!.. Опрокинутые трупы с незатворенными тусклыми очами, казалось, еще глядели на небо,.. но они не видали уже ни неба, ни земли! Они валялись разбросанные, как сосуды драгоценного напитка, раздробленные насильственною рукою... Луна, сияя в тишине великолепного своего уединения, наводила какую-то общую, синеватую бледность на сии свежие развалины человечества, в которых, за день пред тем, шумели страсти, играли надежды и свежие желания кипели, как лета пылкой юности. Тут явилась мне прекрасная, когда я сидел на высокой скале, нависшей над древним Дунаем. Уныло-сладостные звуки арфы ее слилися с тихим стоном последних умирающих, между тысячами умерших. — Я встречал ее потом и на пустынных берегах Буга, под тем небом, которое внимало некогда пиитическим сетованиям изгнанного Овидия. В сумрачные летние ночи южных стран, когда воздух сгорал от пылких молний и гроза без грома сияла в серебряной полосе реки и над сухим морем пространных степей, я принимал с чувством руку Неведомой, и мы гуляли, беседуя, по безмолвным пустыням до утреннего жаворонка, до пробуждения людей. Ее беседа, быстрая, как время, не имела пределов, как пространство воздушное. Народы и веки, поколения и державы проходили в воображении, как легкие тени, рядами, и шум их величия и отзывы славы, сменяясь, затихали, как чувства засыпающего путника.

Так! она, прелестная, провела меня, как ангел-хранитель, по скользкой стезе молодости. Она дарила мне новую и лучшую жизнь. Ее вещания, высокие, как поэзия, возвышали, облагороживали душу мою. Когда светская жизнь иссушала, обкрадывала сердце или страсти палили его болезненным зноем, я кидался в объятия Неведомой и дышал свежим и новым бытием. К ней уходил я от жизни, от ее горестей, ее обольстительных обетов; при ней находил забвение, которое слаще всякого чувства бытия!.. Развалины старинных городов и берега морей шумящих были свидетелями уединенных свиданий наших. Возвращаясь от нее, всякий раз я ходил между людьми с полнотою сердечною, как человек, который носит в руках своих полную чашу ароматного пития и боится пролить ее... Как дитя покорное, предавался я Неведомой: я считал ее ангелом небесным... Не знаю, отчего люди — конечно, завистливые — говорили про меня: «Он предается — *Меланхолии*».

Ф. Глинка.





ПОСЛАНИЕ

к И. И. Дмитриеву,
приславшему мне свои сочинения

Я получил сей дар, наперсник Аполлона,
Друг вкуса, верный страж парнасского закона,
Вниманья твоего сей драгоценный дар.
Он пробудил во мне охолодевший жар,
И в сердце пасмурном, добыче мертвой скуки,
Поэзии твоей пленительные звуки,
Раздавшись, дозвались ответа бытия:
Поэт напомнил мне, что был поэтом я.
Но на чужих брегах, среди толпы холодной,
Где жадная душа души не зрит ей сродной,
Где жизнь издержка дней и с временем расчет,
Где равнодушие, как всемертвящий лед,
Сжимает и теснит к изящному усилья —
Что мыслям смелость даст, а вдохновенью крылья?
В бездействии тупом ослабевает ум:
Без поощренья — спит отвага пылких дум.
Поэзия должна не хладным быть искусством,
Но чувства языком, иль лучше, самым чувством.
Стих прибирать к стиху есть тоже ремесло!
Поэтов цеховых размножилось число.
Поэзия в ином слепое рукоделье:
На сердце есть печаль, а он поет веселье.
Он пишет оттого, что чешется рука;

Восторга своего он ждет не свысока,
За вдохновением является к вельможе
И часто к небесам летает из прихожей;
Иль утром возмечтав, что комиком рожден,
На скуку вечером сзывает город он;
Иль, и того смешней, любовник краснощекий,
Бледнеет на стихах в элегии: *к жестокой!*
Кривляется без слез, вздыхает невпопад
И чувства по рукам сбирает напрокат;
Он на чужом огне любовь разогревает,
И *верно с подлинным* грустит и умирает.
Такой уловки я от неба не снискал:
Поется мне, пою — вот, что поэт сказал,
И вот пиитик всех первейшее условье!
В обдуманном пылу хранящий хладнокровье,
Фирс любит трудности упрямством побеждать,
И вопреки себе, а нам на зло писать.
Зачем же нет? легко идет в единоборство
С упорством рифмачей читателей упорство.
Что не читается? Пусть именной указ
К печати глупостям путь заградит у нас;
Бурун отмстить готов сей мере ненавистной
И промышлять пойдет он скукой рукописной.
Есть род стократ глупей писателей-глупцов —
Глупцы-читатели. Обильный Глазунов
Не может запастись на них своим товаром:
Иной божиться рад, что Мевий пишет с жаром.
В жару? согласен я, но этот лютый жар —
Болезнь и божий гнев, а не священный дар.
Еще могу простить чтецам сим угомонным,
Кумира своего жрецам низкопоклонным,
Для коих таинством есть всякая печать,
И вольнодумец тот, кто смеет рассуждать;
Но что несноснее тех умников спесивых,
Нелепых знатоков, судей многоречивых,

Которых все права — надменность; пренья — шум,
А глупость тем глупей, что нагло корчит ум!
В слепом невежестве их трибунал всемирный,
За карточным столом иль кулебякой жирной,
Венчает наобум и наобум казнит;
Их осужденье — честь, рукоплесканье — стыд.
Беда тому, кто мог языком благородным,
Предубеждений враг, друг истинам свободным,
Встревожить невзначай их раболепный сон
И смело вслух вещать, что смело мыслил он!
Труды писателей, наставников отчизны,
На них, на их дела живые укоризны;
Им не по росту быть вменяется в вину,
И жалуют они посредственность одну.
Зато какая смесь пред тусклым их зерцалом!
Тот драмой бьет челом иль речью; сей журналом,
В котором, сторож тьмы, взялся он на подряд,
Где б мысль ни вспыхнула иль слава, бить в набат:
Под сенью мрачною сего ареопага
Родится и растет марателей отвага.
Суд здравый заглушен уродливым судом,
И на один талант мы сто вралей сочтем.
Как мало, Дмитриев, твой правый толк постигли
Иль крылья многие себе бы здесь подстригли!
Но истины язык не внятен для ушей:
Глас самолюбия доходней и верней.
Как сладко под его напевом дремлет Бавий!
Он в людях славен стал числом своих бесславий;
Но, счастливый слепец, он все их перенес:
Чем ниже упадет, тем выше вздернет нос,
Что для иного труд, то для него есть шутка.
Отвергнув правил цепь, сложив ярмо рассудка,
Он бегу своему не ведает границ.
Да разве он один? нет, много сходных лиц
Я легким абрисом в лице его представил

И подлинников ряд еще большой оставил.
Когда читателей моих почтив корысть,
Княжнин бы отдал мне затейливую кисть,
Которой чудаков он нам являет в лицах, —
Какая б жатва мне созрела в двух столицах!
Сих новых чудаков забавные черты
Украсили б мои нельстивые листы:
Расставя по чинам, по званью и приметам,
Без надписей бы я дал голос их портретам.
Но страхом робкая окована рука:
В учителе боюсь явить ученика.
Тебе, о смелый бич дурачеств и пороков,
Примерным опытом и голосом уроков
Означивший у нас гражданам и певцам,
Как с честью пролагать блесгящий путь к честям,
Тебе, о Дмитриев, сулит успехи новы
Свет, с прежней жадностью внимать тебе готовый.
Что медлишь? на тобой оставленном пути
Явись и скипетр вновь ты первенства схвати!

О Дмитриев! рази невежества вражду,
И снова пристрастясь к полезному труду,
Согражданам своим яви пример высокий
И в новых образцах — дай новые уроки!

Князь Вяземский.

ПРОЩАНИЕ ИОАННЫ С СВОЕЮ РОДИНОЮ

Отрывок из Орлеанской Девы, трагедии Шиллера

Простите вы, поля, холмы родные,
Приютно-мирный, ясный дол,[a] прости!
С Иоанной вам уж боле не видаться!

---

[a] *В ПЗ опечатка:* Приятно-мирный, ясный дом, прости! (*Прим. сост.*).

На век она вам говорит: прости!
Друзья-луга, древа, мои питомцы,
Вам без меня и цвесть и доцветать!
Ты, сладостный долины голос, эхо,
Столь часто здесь игравшее со мной,
Прохладный грот, поток мой быстротечный,
Иду от вас и не приду к вам вечно!

Места, где все бывало мне усладой,
Отныне мы навек разлучены;
Мои стада, не буду вам оградой —
Без пастыря бродить вы суждены;
Досталось мне пасти иное стадо
На пажитях кровавыя войны!
Так вышнее назначило избранье!
Меня стремит не суетных желанье!

Кто некогда, гремя и пламенея,
В горящий куст к пророку нисходил,
Кто на царя подвигнул Моисея,
Кто отрока Давида ополчил —
И с сильным в бой стал пастырь не бледнея,
Кто пастырям всегда благоволил,
Тот здесь вещал ко мне из сени древа:
«Иди о мне свидетельствовать, дева!

«Надеть должна ты латы боевые,
В железо грудь младую заковать;
Страшись надежд, не знай любви земныя:
Венчальных свеч тебе не зажигать;
Не быть тебе душой семьи родныя,
Цветущего младенца не ласкать...
Но в битвах я главу твою прославлю!

———

«Когда начнет бледнеть и смелый в брани
И роковой пробьет отчизне час —
Возьмешь мою ты орифламму в длани
И мощь врагов сорвешь, как жница клас;
Поставишь их надменной власти грани,
Преобратишь во плач победный глас;
Дашь ратным честь, дашь блеск и силу трону, —
И Карла в Реймс введешь надеть корону».

Мне обещал небесный извещенье!..
Исполнилось!.. И шлем сей послан им!
Как бранный огнь, его прикосновенье!
С ним мужество, как божий херувим!
В кипящий бой влечет души стремленье!
Как буря, пыл ее неукротим!..
Се... битвы клич! полки с полками стали!
Взвились кони, и трубы зазвучали.

Жуковский.

ВОРОЖБА

Народное предание

Труба зазывала на пир роковой:
«На битву, на битву! враги под Москвой!»
И юноша пылкий девице: «Прости!» —
«Пречистая дева с тобою — лети». —
И смелый помчался на быстром коне.
Он там — на *Колоче* — в гремящем огне...
А дева всё ноет, всё вянет, как цвет.
Что милый? — О милом и весточки нет! —
Однажды, горюя, сидит у окна,
Кручины и думы о друге полна...

И мимо старушка, согнувшись, с клюкой...
«Гроза застигает: пусти на покой!»
Вошла и, на деву взглянув, говорит:
«Кручина, как камень, на сердце лежит!
Со мною спознайся: о друге скажу
И друга, как радость, тебе покажу!
Девица! пустой мне покой отведи
И поздно, ни с кем не спросясь, приходи!»
Что сказано, сталось; и дева-краса
Идет и боится... темны небеса,
И месяц в беззвездной выси одинок
Ныряет по тучам, как в море челнок...
Скрыпят на могилах, шатаясь, кресты...
«Сдержала ли слово, красавица, ты?» —
«Никто о приходе не знает моем». —
«Так надо. Мы *двое* тут будем *втроем*.
Невидимый видим в ночной тишине...» —
«Гадай же! — И шепчет: — Что друг на войне?»
И, бледная, видит, от страху дрожа,
На черных шнурах *три стальные ножа*,
И блеск их, как будто в тумане, погас;
Под их остриями был *медяный таз*
И *зеркало* против, на шатком столе...
У девицы думы на робком челе...
Проходят безмолвно ночные часы...
Вдруг страшно! и дыбом седые власы!
И очи старухи, как угли, горят!
И что-то, бледнея, уста говорят:
«Смотри же, девица, креста не твори!» —
И к зеркалу манит сиянье зари...
Но вдруг задымилось ... и взвыла земля!
И гнутся под ратью гремящей поля!
И кровь зашумела дождем из ножей!
И вскрикнула: *«милый!»* — Из сечи мечей
Он руки к невесте... «я гибну!»... и пал! —

«Пречистая матерь!» — Но гром затрещал
И дева без жизни! — Кругом тишина,
И храмина дымом громовым полна...
Зачем не молилась святым небесам
С надеждой, родною невинным душам? —
Так было... и быстро дни мчались побед,
И русский за Рейном, и дивится свет...
Уж боем последним Монмартр прогремел,
И воин невесту обнять полетел —
И обнял могилу... И, жадный вестей,
Он страшную повесть услышал о ней.

Ф. Глинка.

ЭЛЕГИЯ

О милый друг! оставь угадывать других
Предмет, сомнительный для них,
Тех песней пламенных, в которых, восхищенный,
Я прославлял любовь, любовью распаленный!
Пусть ищут, для кого я в лиру ударял.
Когда поэтов в хоре
Российской Терпсихоре
Восторги посвящал.
Но ты не в заблужденье,
Кого в воображенье
Я розами венчал,
Чьи длинные ресницы
Звук стройныя цевницы
Векам передавал.
И мне ли огнь желанья
В других воспламенять?
Мне ль нового искать
В любви очарованья?

Я страстен лишь тобой!..
Под именем другой
Тебя лишь славят струны,
И для тебя одной
Бросаю в вражий строй
Разящие перуны!
Восторгом упоен,
Века предупреждаю
И, миртом осенен,
Бессмертие вкушаю.

Давыдов.

ГРЕЧАНКЕ

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной.
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи: когда певец Леилы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальной стороне,
Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный
Узнал иль видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный

В его сердечной глубине.
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг! мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу;
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустию томим,
Боюсь: неверно все, что мило!

А. Пушкин.

ПЕРСТЕНЬ

О перстень, часто на руках
Увянувшей любви блестящая примета,
Или залог надежд, лелеемых в сердцах, —
Что скажешь на руке ты у меня, поэта?
Ни слова, никому, как дружбы знак простой.
Но, перстень золотой!
О милый дар волшебницы мне милой!
Ей — выскажи ты всё, тверди и про меня;
Над робкой красотой ты будь с сего же дня
Мой талисман с неотразимой силой:
Осуществи для нас любви златые сны,
И будешь, перстень, ты, которым нет цены!

Гнедич.

В АЛЬБОМ

С. Д. П—ой

По слуху мне знакома стала ты,
Но я не чужд в красавиц милой веры—
И набожно кладу мои цветы
На жертвенник соперницы Венеры...
Так юноша спешит в Пафосский храм,
И на огне усердною рукою
Сжигает он душистый фимиам,
Хотя не зрит богини пред собою.

Плетнев.

ПЕСНЯ

Ах ты ночь ли,
  Ноченька!
Ах ты ночь ли
  Бурная!
От чего ты
  С вечера
До глубокой
  Полночи
Не блистаешь
  Звездами,
Не сияешь
  Месяцем?
Всё темнеешь
  Тучами?
И с тобой знать,
  Ноченька,
Как со мною
  Молодцем,

Грусть-злодейка
  Сведалась!
Как заляжет
  Лютая
Там глубоко
  На сердце:
Позабудешь
  Девицам
Усмехаться,
  Кланяться;
Позабудешь
  С вечера
До глубокой
  Полночи,
Припевая,
  Тешиться
Хороводной
  Пляскою!
Нет, взрыдаешь,
  Всплачешься
И, безродный
  Молодец, —
На постелю
  Жесткую,
Как в могилу,
  Кинешься!

Барон Дельвиг.

ЭПИГРАММА

Из Ж. Б. Руссо

С эфирных стран огонь похитив смело,
Япетов сын двуногих сотворил
И женский пол с мужским в едино тело,

Назло богам и нам на радость, слил;
Но гневный Зевс по своенравной власти,
Разбив сосуд, раскинул на две части!
Вот отчего в поре мятежных лет
Пылаем мы сойтись с своей двойчаткой:
Здесь! здесь она! сон часто шепчет сладкий,
А наяву мы познаем, что нет!

Князь Вяземский.

К N. N.,

требовавшей экземпляра сочинений Батюшкова

Как! вы хотите знать, что грации внушили
Любимцу Аонид?
Ужель того они вам сами не открыли?
Нет таин меж харит.

Гнедич.

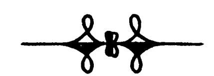
КРЕСТЬЯНИН И ОВЦА

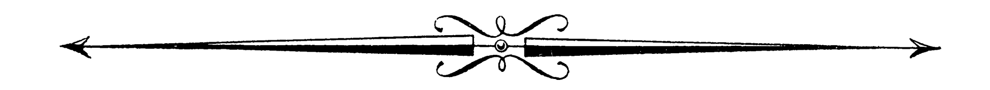
Басня

Крестьянин позвал в суд Овцу:
Он уголовное взвел на бедняжку дело.
Судьей был — Волк; оно в минуту закипело:
Допрос ответчику, другой запрос истцу,
Сказать по пунктам и без крика:
Как было дело, в чем улика.
Крестьянин говорит: такого-то числа,
Поутру, у меня двух кур не досчитались:

От них лишь перышки да косточки остались;
А на дворе одна Овца была.
Овца же говорит: она всю ночь спала,
И всех соседей в том в свидетели звала,
Что никогда за ней не знали никакого
Ни плутовства,
Ни воровства;
А сверх того, она совсем не ест мясного.
И волчий приговор вот от слова до слова:
Понеже кур Овца сильней,
И с ними ночь была, как видится из дела,
То, признаюсь, по совести моей,
Нельзя, чтоб утерпела
И кур она не съела.
А вследствие того, казнить Овцу,
И мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу.

И. Крылов.





ПИСЬМА О ШВЕЙЦАРИИ

(К А. Е. Измайлову)

I

Берн. Сентября 8, 1817 года.

Вы удивитесь, почтеннейший Александр Ефимович, получив от меня письмо из средины Швейцарии, когда ожидаете известий обо мне, по крайней мере, из Берлина. Но такова судьба человека, особенно путешественника! Плывешь прямо: подует ветерок и занесет тебя не весь куда! — В последнем письме моем извещал я вас, что сбираюсь ехать на родину, что отправил уже книги и прочий хлам в Любек для провоза в Петербург водою, а сам скоро сяду в почтовую коляску. Лишь только отправил я письмо мое на почту, Б. вбежал в мою комнату, запыхавшись от поспешности и с радости. «Вообрази себе мое счастие! — вскричал он. — Барон А.* посылает меня курьером в Штутгард и в Берн. Еду послезавтра и чрез две недели должен воротиться. Поезжай со мною, пожертвуй еще двумя неделями, и ты увидишь Швейцарию!» Я подумал — и решился. В прошедший понедельник, $\frac{3}{15}$ сентября, выехали мы вдвоем из Франкфурта на Дармштадт, Гейдельберг и Штутгард.

В 7 часов вечера приехали мы в Дармштадт, столицу герцога Гессен-Дармштадтского. Этот город лежит в 14 верстах от Франкфурта, и я нередко, отобедав под сению именитого магистрата и светлейшего законодательного сословия сего вольного имперского

* Российский посланник при германском сейме.

города, езжал в дармштадтский театр, который считается в числе лучших в Германии. Великий герцог и в старости своей, которая нередко ослабляет в людях чувство изящного, страстно любит драматическое искусство, особенно оперу, и не щадит ничего для ее успехов. Нынешняя примадонна, знаменитая певица и красавица Ашенбреннер, за которую перестрелялось в Гамбурге несколько офицеров разных войск, привлекает в Дармштадт многих посетителей. Театр невелик и некрасив: теперь строят новый, который не уступит ни венскому, ни берлинскому. — Переменив лошадей, мы пустились далее и вскоре въехали в пределы великого герцогства Баденского. Поставленные в разных местах дороги высокие кресты с изображением распятия спасителя возвестили нам, что мы находимся в стране, обитаемой католиками.

Мало-помалу смерклось. Дорого б я дал, чтоб нам возможно было проехать по сим местам во время дня: здесь пролегает знаменитая Bergstraße (горная дорога), славящаяся своими видами, которые не уступают и рейнским. Прелестный своим местоположением и развалинами Гейдельберг известен мне только по *слуху:* мы приехали туда ночью, и по стуку колес на дурной мостовой, по отголоску, раздававшемуся на улицах, и по кликам ночных стражей могли догадаться, что находимся в городе. Изредка теплились свечки в верхних ярусах: какой-нибудь трудолюбивый профессор, отнимая у сна своего несколько часов, кропает рецензию для Гейдельбергских ученых ведомостей! — Поутру проехали мы чрез Брухсаль и вскоре перебрались в Виртембергские владения. Трудно найти землю столь благоустроенную, столь хорошо и исправно заведываемую, как королевство Виртембергское! На покойного короля жаловались некоторые из его подданных, называя его крутым, жестоким; но он любил порядок и правосудие: мгновенные неудовольствия забыты, добрые дела остались навсегда. При въезде в каждое местечко, в каждую деревню видите на небольшом столбе четвероугольную доску, на коей написано имя сего места и к какому уезду оно принадлежит. Города и селения опрятны. Почтовые дворы чисты и просторны. По стенам прибиты узаконения, строго исполняемые. Чиновники исправны и учтивы. Нас принимали отменно ласково и с удоволь-

ствием, видя из подорожной, что Б. едет курьером к королеве. Приближаемся к Штутгарду. Открывается длинная аллея высоких и густых яблонь и груш. Какая картина для глаз, выросших на березе и рябине! Въехав в город, потянулись мы по главной улице, Королевской, к трактиру Римского императора. По левую сторону представилось нам вскоре длинное, великолепное здание, над фронтоном коего изображена большими золотыми буквами надпись: Königlicher Marstall (Королевская конюшня). Потом, на той же стороне улицы, показался дворец королевский, здание огромное и красивое: за ним лежит великолепный сад (Unlage), из которого идет предлинная прямая аллея в городок Каннштадт. Здания штутгардские, кроме дворца и его принадлежностей, вообще некрасивы. Город лежит в лощине, окруженной невысокими горами, покрытыми виноградниками. От сего положения воздух в нем сыр, туманен и нездоров.

Остановившись в трактире, мы отдохнули, оделись в мундиры и, наняв городскую коляску, отправились к нашему посланнику, графу Ю. А. Г. Он принял нас по-русски, то есть как нельзя лучше, Б. отправил с депешами к королеве, пребывавшей тогда в загородном замке Бельвю, а меня оставил у себя обедать. Общество было у него самое приятное: министры — английский, нидерландский и саксонский. Меня заставили говорить о России, о Франции, которую я недавно оставил, и пр. Лишь только встали из-за стола, я ушел потихоньку, чтоб отыскать старинного друга, товарища и предместника моего, И. М. Б. Не имея проводника, бродил я по всему городу, обходил весь дворец, обегал сад, но не нашел Б. Уже смерклось, и я в досаде побрел в трактир, горюя, что его не увижу. При самом входе в комнату, слышу его знакомый голос — усталость, досада, всё забыто! Узнав, что приехал русский курьер, он сам пришел в гостиницу и вместо фельдъегеря нашел старых, искренних приятелей! Мы провели вечер в приятных рассказах и воспоминаниях о России, которые разделял с нами почтенный духовник королевы В. А. А. За ужином подали сперва гохгеймского — в честь Германии, потом шампанского — в честь Европы. «Друзья! — сказал И. М., — неужели мы расстанемся без утешителя северных сердец? Подайте пуншу!» Я до такой степени забылся в этом кругу, что, увидев во-

шедшего в комнату немецкого вагеншмирера, спросил у него по-русски: готовы ли лошади? Земляки мои расхохотались, а немец, поняв по инстинкту мой вопрос, напомнил нам, что наступила минута разлуки — для некоторых из нас она была вечною! Мы расстались, сели в коляску; почтальон ударил по тощим клячам; Б., вздыхая, произнес раза два имя своей эмсской владычицы — и мы уснули. Немецкая мостовая разбудила нас в семь часов утра. «Где мы?» — спросил я у почтальона. «В Тибингене, сударь!» — отвечал он. «В Тибингене? — повторил Б., протирая глаза, — да это третья станция за Штутгардом». Мы в самом деле, не просыпаясь, проехали две станции. Добрые станционные смотрители нас не будили: переменяли лошадей, брали прогоны и водочные деньги из нашего кошелька и отправляли далее. Поверите ли, что у нас не взяли лишнего крейцера? Говорят, что не во всех землях сонные могут ездить так безопасно! В Тибингене, старинном, грязном и закоптелом, мы едва имели время напиться кофе, спеша далее. Несносное курьерство! что бы пожить денька два в этом городе, познакомиться с некоторыми из профессоров Тибингенского университета, послушать несколько лекций, посмотреть знаменитую книжную лавку Котты, оставить у него несколько талеров за хорошие книги! — За Тибингеном открылась пред нами прелестная долина, орошаемая Неккаром и Дунаем. Вид несравненный! Мы *предвкусили* Швейцарию.

Виртембергское королевство, которое мне удалось проехать во всю длину оного, принадлежит к прекраснейшим землям Германии. Пересекаясь в разных направлениях системами рек Дуная и Рейна, изобилуя всеми потребностями жизни человеческой, оно населено добрым, трудолюбивым и воздержным народом. Король и королева обожаемы своими подданными. В прежнее правление виртембергцы жаловались на излишнюю строгость законов и постановлений касательно звериной ловли и на дорогое содержание в королевском зверинце множества редких зверей, до которых покойный король был великий охотник. Нынешний их владетель немедленно по вступлении своем на престол уничтожил все отяготительные постановления о хранении и загоне дичи и приказал продать всех обитателей зве-

ринца странствующим фиглярам, которые развозят их теперь по Германии и кормят на счет любопытных. Мера сия впоследствии для доброго, благородного его сердца была тем приятнее, что в нынешнем году господствовали в сих странах дороговизна и голод: все деньги, издерживавшиеся дотоле на прокормление бесполезных животных, отданы были бедным поселянам. Желая обеспечить и утвердить благо своих подданных на вечные времена, король созвал Генеральные штаты и предложил им конституцию, основанную на самых благородных началах, а Штаты — поверите ли вы тому? — отринули оную! Причиною сего странного случая было то, что Штаты сии состояли из удельных князей, лишившихся в последние времена своего самодержавия, и из депутатов городских патрициев, которые не хотели выпустить из рук преимуществ, тягостных для народа, коего благо король преимущественно имел в виду при сочинении своей конституции. Нелепое сие сопротивление огорчило короля, но не охладило его любви к добру общему. Он употребляет всё время свое на занятия делами государственными; досужные часы проводит в беседе с любимою им страстно супругою и в чтении хороших книг. Библиотека у него отборная. Увеселений при дворе почти никаких не бывает, кроме театра, да и тот отличается от большей части театров немецких тем, что на нем преимущественно представляются трагедии и комедия, а не гаерские оперы. На сем театре играют лучшие в Германии актеры, и в их числе первый трагик немецкий Эслер. Зала театра помещается в одном флигеле дворца. Король с королевою входит из своих комнат в ложу, так что публика их не видит: зрители смеются, плачут, хлопают, свищут, не обращая внимания на присутствие двора. Одни придворные жалуются, что им скучно, — счастлива земля, в которой скучно одним придворным! Я узнал все сии подробности и множество других от приятного товарища, которого нашли мы в Тибингене, датского консула в Триесте, Реннера фон Эстеррейхера; он человек умный, просвещенный и добрый; приязни и ласк его я век не забуду. — Мы завтракали в грязном, неприятном городке Гехингене, столице небольшого удельного князя. На вершине горы, при подошве коей лежит сей городок, возвышаются прекрасные развалины замка Гогенцол-

лерна, в котором жили предки нынешнего прусского королевского дома.

Около четырех часов пополудни приехали мы в прекрасный, чистый, правильно построенный городок Тутлинген. Немецкие города вообще построены дурно; особенно безобразна та часть их, которая называется Altstadt, старый город. Тутлинген имел несчастие сгореть лет за 15 пред сим и потом имел счастие быть выстроенным правильно и порядочно. «Что это за речка?» — спросил я у почтальона, переезжая чрез мост, длиною в три сажени. «Это Дунай, сударь!» — отвечал он. — «Дунай!» — вскричал я в изумлении и пристально посмотрел на струи, которые от Шварцвальда несутся к твердыням Измаила. — От Тутлингена прекрасные виды не изменялись. За Энгеном поднялись мы на возвышение. Начало смеркаться. Взошел месяц, и влеве засеребрилось озеро Констанцское, а вправе показалось нечто похожее на горы. В Шафгаузен приехали мы уже ночью, с трудом убедили городского стража отворить для нас ворота и остановились в трактире Венца.

Проснувшись вчера поутру, я взглянул в окно и испугался. Вместо прежней ясной погоды наступила мрачная, туманная; из серых необозримых облаков падает мелкий дождь. Неприятная картина для тех, кои сбираются смотреть падение Рейна! Делать было нечего! Мы пошли в общую столовую и напились чаю, поданного в прекрасном сервизе, который служил французской императрице Марии Луизе на проезде ее из Парижа в Парму. — Город Шафгаузен похож на старинные немецкие города, построенные без плана и вкуса. Дорога от него до водопада не составляет двух верст. Мы приблизились к знаменитому сему *катаракту* сначала с правой его стороны, где построена фабрика: чувство неприятное! Падение Рейна, привлекающее в течение нескольких сот лет путешественников из всех частей Европы, приводит в движение колеса табачной фабрики! С этой стороны видели мы одну пену, слышали один нестройный шум и не могли представить себе общей картины; но когда перебрались на противный берег, картина Рейнского водопада представилась нам во всей своей прелести! Прямо напротив оного построена башня в два яруса (Schloß Wörth) для любопытных путешественников: из окна

второго яруса видишь всё — покойно и удобно. Превзошло ли падение Рейна мои ожидания, спросите вы. И превзошло и нет: я воображал, что гора, с которой река сия ниспадает, гораздо выше, но не мог представить себе, что она так широка и что вся вода сверху до самого низу превращается в мелкие брызги. Рейн падает тремя рукавами, которые разделяются на вершине двумя утесами: основания сих утесов подмыты силою воды, и вероятно, что они скоро ринутся в реку. Хозяин башни сделал нам большое удовольствие, закрыв ставни окон и показав весь водопад на белом листе бумаги посредством камеры-обскуры. Мы могли легче и *полнее* осмотреть картину, и вообразите, что в то самое время, когда мы глядели на нее в сем уменьшенном и украшенном виде, рассеялись облака, проглянуло солнце, брызги Рейна заблистали брильянтовыми искрами, над ними в водяной пыли зарделись разноцветные радуги! Чтоб иметь *тень* этой картины для воспоминания, купили мы тут же эстампы, представляющие сей ландшафт. Достойно примечания, что Рейн утихает при самом низвержении своем: на легких лодках можно плавать под самым водопадом. Мы посетили противулежащий замок Лауфен, посмотрели на падение прямо сверху, потом сошли на мостки, построенные подле самого падения: там, при оглушающем громе водопада, при неизъяснимой картине миллионов водяных капель, принимающих в падении своем бесчисленные, разнообразные виды, в секунду переменяющиеся и исчезающие, вымочило нас студеною водою, и мы взяли по *классическому камешку* на память. Насладившись таким образом, по всем правилам путешествия, картиною водопада, мы сели в лодку и пустились вниз по Рейну в Эглизау.

Мы плыли тихо по прекрасному Рейну, между высокими и крутыми берегами его, которые не так живописны и дики, как в Бингене и Биберихе, но имеют свою прелесть. «Вот русская могила!» — сказал гребец, указывая влево. Мы быстро поворотились в ту сторону. Высокий деревянный крест возвышается на левом берегу, над большим курганом. Тут погребены русские солдаты, убитые в сражении под Цирихом. Невольное уныние овладело нами... В сих местах боролись с смертию храбрые наши соотчичи, смотрели к востоку,

к России, и испускали последние вздохи. Ужасно должно быть жестокое, кровопролитное сражение; но что сравнится с ужасами военного гошпиталя и боевого кладбища! И во сколько крат счастливее те, которых приняла земля отечественная на берегах Колочи!..

В Эглизау, небольшом городке, где построен чрез Рейн каменный мост с деревянным навесом, вышли мы на берег, сели в прибывшую туда коляску нашу и поехали в Цирих. Странное дело, что в Швейцарии, в сей земле путешествий по превосходству, нет регулярных почт, как в других странах Европы. Должно нанимать извозчиков от города до города за весьма дорогую плату, ибо они берут с вас и за обратный путь. Лошади их велики и, по-видимому, сильны, но, составляя весь капитал своих хозяев, пользуются и всею их благосклонностию. Извозчики сии всегда ездят шагом, который становится еще медленнее обыкновенного при малейшем возвышении. При самом неприметном скате извозчик остановится и затормозит задние колеса, чтоб повозка не скатилась с горы своею тяжестию. И смешно и досадно! Если б не курьерство наше, то лучше всего было бы, кажется, купить верховых лошадей и по окончании путешествия продать их или даже исходить Швейцарию пешком. — Дорога в Цирих была весьма приятна. «Что это?» — спросил Б. у извозчика, указывая на край горизонта, усаженный синеватыми и белыми остроконечными облаками. «Это, сударь, наши горы!» — отвечал он, и мы все трое закричали: «Горы! горы! Альпийские горы!» Б. долго не хотел верить, что это не облака; наконец убедился в том их неподвижностию. Мы приехали в Цирих в 2 часа и в ожидании обеда бросились бегать по городу, который мне показался весьма приятным: домы большею частию выкрашены белою краскою. Не видать великолепных конюшен; но зато другие здания обращают на себя внимание путешественника: лучшее в Цирихе есть сиротский дом. Большое удовольствие принесла нам прогулка по загородным гульбищам, устроенным в бывших укреплениях; особенно прелестен вид с южного бастиона: взорам представляется Цирихское озеро, окруженное зелеными берегами, на коих белеются деревеньки с красными крышами; на заднем плане поднимаются остроконечные, снегом покрытые Альпы. В самом приятном месте загородного гульбища поставлен

монумент Геснеру. На одной стороне, под бюстом его, изображены следующие слова:

SALOMON GESSNER.

Geb. den 1 April MDCCXXX.

Starb den 11 März MDCCLXXXVIII,

а на другой:

DEM
ANDENKEN
SALOMON GESSNERS
VON SEINEN
MITBÜRGERN.

Billig verehrt die Nachwelt den Dichter, den
die Musen sich geweihet haben, die Welt
Unschuld und Tugend zu lehren.

Tod Abels. 1 Ges.*

Прекрасный монумент сей построен на том самом месте, где Геснер отдыхал после утренних прогулок и где писал лучшие свои идиллии. Переводя эту надпись, заметил я русские омонимы: потомство *чтит*, а не *чтет*, т. е. не читает его. Не знаю, как в Швейцарии, но в Германии Геснер принадлежит уже к обветшалым писателям. Даже во Франции, более нежели в Германии, восхищаются *Жеснéром*.

Мы обедали в славном трактире Меча, лежащем неподалеку от берега озера, в том месте, где быстрая Лиммата из оного вытекает. Прекрасная погода, восхитительный вид, дружеская беседа, вкусный обед, доброе вино — всё это нас восхищало. После обеда простились мы с почтенным Реннером, коего путь лежал в другую сторону, и в 5 часов пополудни отправились по дороге в Берн...

---

* Т. е. Соломон Геснер, род. 1 апреля 1730 г., умер 11 марта 1788. — Памяти Соломона Геснера от его сограждан. Потомство по справедливости чтит поэта, вдохновенного музами, для внушения смертным невинности и добродетели. — *Смерть Авеля, Песнь 1.*

Сегодня поутру въехали мы в пределы Бернского кантона. Меня поразили и восхитили прелестные крестьянские домики. Вы знаете, какой я прозаик, знаете, что идиллии не скоро доходят до души моей; но здесь понял я, что можно писать идиллии, понял, отчего лучшие буколики новых времен (Геснер и Броннер) образовались в Швейцарии. Домы крестьянские не составляют деревень, а лежат отдельно, выстроены правильно и красиво, отменно чисты и светлы; клети, хлева — всё уютно и миловидно.

Мы обедали в селе Кирхберге, по-швейцарски, т. е. очень хорошо и довольно дорого; заезжали в Гиндельбанк и смотрели тамошний знаменитый памятник пасторской жене, описанный подробно и верно генералом всех русских путешественников; к 7 часам вечера прибыли в Берн и остановились в трактире Венца (à la couronne). Достойно примечания, что в Швейцарии, земле республиканской, все лучшие гостиницы отличаются этим знаком. Б. отправился отыскивать нашего министра при швейцарском сейме, барона К., а я, взяв трактирного слугу, пошел на знаменитую террасу кафедральной церкви — единственную, беспримерную. Город Берн лежит на возвышении, поднимающемся посреди долины, орошаемой Аарою и окруженной горами средней величины. Кафедральная церковь сооружена на искусственной насыпи, возвышающейся на несколько десятков сажен и усаженной густыми каштановыми деревьями. Часть города лежит и внизу, на берегу глухо шумящей Аары. Полная луна освещает нижнюю часть города, серебрит струи быстрой реки и рисует неверными чертами верхи соседственных гор. Для одной этой картины стоило бы посетить Швейцарию! Б. засиделся у министра. Не знаю, удастся ли нам съездить еще куда-нибудь в здешней живописной стороне или прийдется ехать обратно. Между тем я кончил это письмо и отправлю на почту. Прощайте!

II

Женева, сентября 10.

...Б. возвратился очень поздно с ответом барона Кр., что ему должно приготовить бумаги для отправления во Франкфурт и что он дает нам пять дней сроку на разъезды по Швейцарии. Новость

приятная! Но куда нам ехать? Сначала думали мы отправиться в пиитическую сторону Бернского кантона (Berner Oberland), но вскоре разочли, что пяти дней на это мало и что какое-нибудь непредвиденное препятствие может задержать нас в горах долее, нежели можно, а вы знаете точность доброго моего Б. Итак, мы решились отправиться во Французскую Швейцарию, надеясь, что из Женевы удастся нам посетить долину Шамуни. По счастию, нашли мы в Берне очень хорошего извозчика Жозефа де Полиса, человека, по его званию, довольно образованного: он говорит по-немецки, по-французски и по-итальянски и на всех семидесяти двух наречиях швейцарских,* знает историю всех городов и деревень своего отечества. В субботу, 8 сентября, выехали мы из Берна и покатились по гладкой дороге к благословенному югу. Мы ехали по чресполосным владениям разных кантонов (Бернского, Фрейбургского и Ваадтского) и — поверите ли? — чувствовали по трясению коляски и по сильным толчкам на дурной мостовой, когда случалось ехать по земле Фрейбургской, управляемой древними патрициями, состоящими в строгой подчиненности у почтенных отцов иезуитов. Хорошая мостовая принадлежит к просвещению, следственно, по мнению учеников Игнатия Лойолы, к таким вещам, которые всячески должно истреблять. — Я успел купить в Цирихе несколько небольших сочинений об истории и политических переворотах Швейцарии: когда нам случится ехать по гладкой мостовой бернской и ваадтской, мы читаем; под толчками фрейбургской *рассуждаем* о читанном: следственно,

* Швейцары не имеют особенного своего языка и не присвоили себе преимущественно ни одного из соседственных: в кантонах, смежных с Франциею, говорят по-французски, прибавляя к тому некоторые провинциализмы; на границах Италии господствует язык итальянский, а в остальной части Швейцарии благовоспитанные люди говорят по-немецки. Народ говорит своими наречиями, смешанными из языков соседственных. Сих наречий считается семьдесят два: тридцать семь немецких, двадцать одно французское, восемь итальянских и шесть *романских*. В последних находятся многие следы языка древних цельтов. Общий характер сих наречий состоит в том, что они любят слова *уменьшительные* и не только в именах, но и в местоимениях и глаголах употребляют уменьшительные окончания на *ли*, *жи*, *ши*, *ти* и пр.

мостовая эта производит совершенно противное цели высокоумного Совета фрейбургского.

История получает неизъяснимую прелесть в тех местах, которые служили позорищем описываемым в ней происшествиям. — Вильгельм Телль, Вернер Штауффах, Вальтер Фюрс, Арнольд Мельхталь попеременно представлялись взорам нашим в одежде средних, суровых, но почтенных времен, сего источника новой истории и новой поэзии Европы. Но едва ли который из сих мужей Гельвеции возбудил во мне столь сильное и справедливое удивление, как Арнольд фон Винкельрид, дворянин унтервальдский, герой битвы Семпахской. Воинственный Леопольд, герцог австрийский, раздраженный жителями Луцерна, собрал многочисленное воинство и двинулся против презираемых им пастухов швейцарских в намерении истребить их гордость вместе с жизнию. Дружина Леопольдова состояла из четырех тысяч конных дворян, искусных в воинском деле, покрытых с головы до ног латами и вооруженных длинными копьями. При первом слухе о сем грозном ополчении около тысячи уроженцев лесных кантонов присоединились к четыремстам граждан луцернских: они были большею частию бедные поселяне, худо одетые и вооруженные, но воспламенялись любовию к отечеству и правотою своего дела: при хоругви луцернской поклялись они победить или умереть. В ожидании нашествия Леопольдова расположились они близ дороги, в сосновой роще. Явились войска австрийские. Леопольд, видя невозможность сражаться на конях в месте неровном и лесистом, приказал всадникам спе́шиться. Швейцары, повторив клятву свою, выходят из рощи, падают на колена и, призвав краткою, но пламенною молитвою на помощь бога, с воинственным воплем бросаются на неприятеля. Это было 9 июня 1386 года: день был жаркий и уже склонялся к вечеру. Покрытые железом воины Леопольда составляли тесную фалангу, защищаемую спереди стеною твердых щитов; длинные копья из четвертого ряда лежали на плечах передовых и удерживали нападения легко вооруженных швейцаров. Тщетны были все их усилия: им удалось сокрушить несколько древок; но железная стена была непоколебима и неподвижна. Храбрейшие швейцары пали у ног ее в тщетных набегах. Хоругвь луцернская выпала из рук

ландаммана, смертельно раненного, и фаланга неприятельская двинулась вперед с грозным шумом, чтоб раздавить малочисленную толпу своих врагов. Уже близость гибели приводила их в ужас и изгоняла надежду из сердец храбрейших, уже опускались руки их в недоумении и отчаянии. В эту самую минуту выходит поспешно из рядов Арнольд фон Винкельрид. «Друзья! — восклицает он, — я проложу вам дорогу: не оставьте жены и детей моих! Любезные сограждане, не покиньте моего семейства!» Сказав сии слова, сбрасывает он с себя кольчугу, с быстротою молнии кидается на врагов, схватывает всеми силами сколько можно более копий австрийских, вонзает их в грудь свою; падая, увлекает с собою держащих оные воинов и таким образом открывает вход в средину неприятельского строя. Швейцары пользуются благоприятною минутою и, подобно острию меча, влетают в отверстие, разбивают и опрокидывают фалангу. Враги, пораженные изумлением, падают без сопротивления, и многие из них издыхают под тяжестию своих лат. Австрийская армия была в сей день совершенно истреблена. Леопольд нашел честную смерть в рядах неприятельских. Память Винкельрида осталась в почтении и любви жителей Унтервальда. В доме его, в городе Станце, доныне живут ландамманы. Изображение его, поставленное на площади, возбуждает благоговение и любовь к отечеству в поздних потомках. — История Швейцарии богата подобными чертами геройства и великодушного патриотизма. Но где в мире найдем совершенство? Храбрые швейцары не умели возвыситься над предрассудками и варварскими обычаями веков средних. Вместо того, чтоб единодушием и любовию к общему благу упрочить свои победы, кантоны ослабили себя междоусобием, спорами за веру и, наконец, жестоким деспотизмом, с коим бернские и другие патриции владычествовали над подчиненными им областями, Ваадтом, Арговиею и другими. Еще господствовал и господствует в Швейцарии обычай странный и, можно сказать, гнусный. Тамошние правительства отдают своих подданных в *наем* разным государям, королям французскому, испанскому, папе римскому и другим, которые употребляют их для охранения своих особ предпочтительно пред своими подданными. Впрочем, в глупой, полуазиятской голове своей я столько же

удивляюсь государям, которые нанимают себе телохранителей, сколько и подрядчикам крови человеческой, которые их ставят! Мне странно показалось, когда я на другой день по приезде моем в Париж увидел на страже у Тюльерийского дворца двуличневые караулы: один солдат в синем, другой в красном мундире. Вскоре мне это растолковали: синие — французы, красные — швейцары. Я вспомнил о земле, которую здесь почитают варварскою, и лишь только хотел сообщить товарищу своему разницу, мною замеченную, как увидел вершника в богатой ливрее, скачущего во всю прыть на крутом повороте в тесную улицу Риволи и плетью разгоняющего народ в обе стороны. За ним мчалась карета, окруженная полуэскадроном гусар. «Это что?» — спросил я в изумлении. «Королевская фамилия прогуливается», — отвечали мне. Я удержался от замечания о швейцарах и в мыслях перенесся на дворцовую набережную в Петербурге и в аллеи Царскосельского сада...

Мы не видели, как прошло время, и около обеда въехали в городок Муртен, или Морат, лежащий на берегу озера. Жозеф де Полис привез нас в узенькую улицу, к трактиру под знаком Венца. Мы вошли во втором этаже в гостиную комнату и, выглянув в окно, остановились в изумлении: пред нами открылось прелестное, светлое Муртенское озеро; за противолежащими его зелеными берегами синелись горы Нефшательские. Я сел к окну и, посматривая на восхитительную сию картину, написал письмо к родным своим, которое вы, вероятно, читали. — После обеда поехали мы далее, по берегу Муртенского озера. Близ самого края оного извозчик наш остановился и под тремя тополями указал на то место, где стоял знаменитый *дом костей* (ossuaire, Beinhaus), сложенный из останков бургундских воинов, побежденных на сем месте древними швейцарами. В начале революции один французский полк, набранный из области Бургундии, квартировавший в здешних странах, разрушил сей дом и предал земле кости праотцев своих. За то и швейцары в 1814 году истребили надгробный памятник, сооруженный близ Базеля французскому генералу Аббатуччи. — К вечеру проехали мы чрез Пайерн и остановились ночевать в Мюдоне.

Третьего дня, рано поутру, пустились мы в Лозанну и приехали туда к обеду. Здесь открылось нам прекрасное Женевское озеро. К сожалению, погода нам в этот день не благоприятствовала: дождь шел беспрерывно; густые тучи носились по горизонту. Мы взошли на террасу кафедральной церкви и — странное дело! — мне показалось, что я уже когда-то был на сих берегах. Вскоре объяснилась эта загадка: мой тесть, женевский гражданин, ревностный патриот, родственник и чтитель Руссо, столько наговорил мне о Лемане, о Женеве, о Лозанне, о Морже, что я составил в воображении своем довольно точную картину сих мест, особенно потому, что при рассказах его глядел на швейцарские ландшафты, висевшие по стенам его комнаты. Провожатые мои здесь и в Женеве не хотели верить, что я там в первый раз. В лозаннской кафедральной церкви видел я надгробный памятник княгине Орловой: он сооружен из белого мрамора. Надпись на нем следующая: *Catharina Princesse Orlow, née Sinowiew, le 19 Décembre 1758, morte le 27 Juin 1781.* Церковь сия построена в XIII веке и довольно огромна. Вначале служила она несколько сот лет для исповедания католического, а в XVI веке превращена в реформатскую. Украшения, приличные римско-католическому храму, должны были уступить простоте протестантской, и в ней доныне видны следы разрушенных жертвенников, приделов, исповедных, статуй и образов — следы, напоминающие о фанатизме, с которым обе партии преследовали и терзали одна другую: скоро ли исчезнут с лица земли сии горестные для человечества напоминания! Еще показалось мне странным, неприличным и даже смешным распределение мест в храме божием, где все люди должны быть равны. Правда, что все скамьи деревянные, ничем не обитые и некрашенные: только на спинках их приклеены печатные титулы особ, имеющих право на них садиться: Membre du grand Conseil Mr..., Mr. le Landamman... Равенство не совместно ни с каким в свете правлением: в Ваадтском кантоне правление демократическое; все граждане равны, все должны нести одни те же повинности и отправлять по очереди военную службу. Казалось бы, вот совершенное равенство — а нет! найдено место *чиниться*, и где же?

После обеда выяснело, и мы покатились по прекрасной ровной дороге, лежащей по берегу озера. Верстах в двух от города, когда мы углубились в воспоминания и рассказы о любезной России, Б. выглянул из коляски и с изумлением вскричал: «Где мы?» — едут дрожки, запряженные парою рыжих вятских лошадей; кучер на козлах в бороде, круглой шляпе и в русском синем кафтане. Б. закричал: «Русский ли ты?» — «Русский, сударь, ей-богу русский!» — отвечал изумленный кучер с восторгом и в удостоверение перекрестился. Быстрые кони промчали его мимо нас. Б., который в продолжение трех лет не видал русской бороды, прослезился с радости. В Морже узнали мы, что этот экипаж принадлежит одному швейцарскому купцу, который долго жил в России и, переселившись в отечество, взял с собою русского кучера с лошадьми.

По берегу Женевского озера построены небольшие миловидные местечки: Морж, Ролль, Нион. Во всем Ваадтском кантоне жители кажутся довольными нынешним своим правлением. Прежде сего Ваадтская земля принадлежала кантону Бернскому, который поступал с ее жителями, как с завоеванными рабами, к стыду всей республики Швейцарской. В начале последнего десятилетия XVIII века жители Ваадта освободились от сего ига, но сначала дорого заплатили за свое освобождение, ибо первые понесли всю тягость пребывания чужой армии в их пределах. При низвержении императорского правления во Франции в 1814 году бернцы хотели было подчинить себе отторгнутые у них земли, но великодушным предстательством Венского конгресса, особенно нашего государя, подтвердилась независимость Ваадта, по всем правам ему принадлежащая. Подати здесь весьма невелики, промышленности и торговле дана совершенная свобода, но население превосходит силы земли, и многие из здешних уроженцев должны искать пропитания в чужих странах. Жестокая необходимость для людей, родившихся и выросших в прекраснейшей стране нашей части света! Зато и чувствуют они в полной мере сие лишение, стараются на чужбине окружать себя картинами и воспоминаниями отечественными, с жадностию слушают слова народного их наречия, плачут при звуках национальных песен. Первое место в числе оных занимает песня: Ranz des vaches, Ruhreihen, которую

поют на Альпах пастухи, пасущие коров, и которая равно известна и мила швейцарам немецким, французским и итальянским. Вот слова ее на романском наречии: Lé zarmailli dei Colombetté, de bon matin sè san léha, ha, ah, ah, ha. Liauba, liauba! por aria. Vinidé totê blantz' et nairé, rodz' et motailé, dzjouven' et otro, dézo on tschâno, ïo vo z'ario dézo on treinblo ïo, ïe, ïe, treintzo. Liauba! Liauba! por aria! (т. е. горные пастухи рано поутру встали. Коровки! коровки! пора (вас) доить! Ступайте все, беленькие и черненькие, рыженькие и пестренькие, молоденькие и другие (ступайте) под дуб, где доят вас под ветвями! Коровки! коровки! пора (вас) доить). — Мелодия сей песни унылая, похожая на тирольскую. Швейцарские солдаты, услышав ее, бросают ружья и бегут к горам своим. Во французских полках, набранных из Швейцарии, запрещено было под смертною казнию не только играть, но и насвистывать ее.

... Неподалеку от Женевы лежит местечко Коппет, принадлежащее фамилии Неккер: там погребены знаменитый министр французский и знаменитая дочь его, госпожа Сталь-Голстейн, скончавшаяся в нынешнем году в самый день приезда моего в Париж. Мы хотели видеть гробницу ее в саду замка; нас не пустили туда и сказали, что вход в фамильное кладбище заделан камнями.

Мы приехали в Женеву вчера, в воскресенье, под вечер. За городом, по прекрасным аллеям, гуляли мужчины и женщины, резвились прекрасные дети. Я внимательно рассматривал женщин, особенно здесь: известно ли вам, что здесь не смеет выйти за городские ворота ни одна супруга гражданина, надеющаяся вскоре быть матерью? Младенец, рожденный вне стен города, лишается права гражданства, которым женевцы гордятся, может быть более, нежели древние римляне гордились патрициатом. Издали Женева на краю обширного озера, при выходе из оного быстрой Роны, представляет картину прекрасную; но при въезде в город сцена переменяется. Домы высоки и дурно построены, улицы узки и темны. Рона вытекает из озера двумя рукавами, которые образуют продолговатый остров и за городом соединяются. Река сия течет весьма быстро, темно-синими струями. Во всем городе видна большая деятельность, особенно же на рынке: торг производится там и в лавках, и на улицах под огромными на-

весами, выдающимися над шестыми ярусами домов и ежеминутно грозящими разрушением. Мы остановились в трактире à l'écu de Genève и начали делать планы. В Шамуни съездить нам не удастся: мы решились провести сутки в Женеве, посетить Ферней и потом пуститься в обратный путь.

Вечером ходили мы по Трели, известному женевскому гульбищу, и посетили некоторые любопытные места. Женева, известная уже под сим именем во времена Юлия Цезаря,* по разрушении Римской империи была столицею королей бургундских, а потом сделалась предметом споров соседственных государств, в продолжение коих многие граждане ее отличились великодушным патриотизмом. Пекола отрезал себе язык, чтоб ужасы пытки не могли его принудить к открытию тайн, важных для его отечества; Бертелье и Леврери лишились жизни на эшафоте за сопротивление герцогам савойским. В 1555 году Женева приняла исповедание реформатское и приобрела свободу. 12 декабря 1602 года жители ее отразили последний приступ савойцев и утвердили свою независимость. Небольшие смятения и раздоры между разными партиями господствовали в ней беспрестанно. Но ужасное для нее время наступило в начале революции французской. И посреди добрых, трудолюбивых женевцев явились люди, которые вздумали подражать Робеспьеру и Фукье-Тенвилю: на пространном лугу под Трелью возвысились древо свободы и гильотина. Кровь несчастных жертв полилась, как в Париже и в Лионе. Неистовства, наконец, утихли; но следствием их было присоединение Женевы к Франции: в 1814 году, по низвержении Наполеона силами Европы, под предводительством Александра, Женеве возвращена прежняя свобода: округ ее распространился и составил 22-й кантон Швейцарского союза. Добрые женевцы забыли зло, причиненное им некоторыми из собственных сограждан; но

* Нынешняя соборная церковь св. Петра была в древности храмом Аполлона; но, кажется, что сей бог поэзии не имел влияния на жителей покровительствуемого им города. Достойно примечания, что Женева, славящаяся тем, что произвела Руссо, Казаубона, Бурламаки, Боннета, Соссюра и других, не имела ни одного отличного стихотворца.

месть небес их преследовала: один из бывших членов революционного суда женевского представлял взорам соотчичей ужасную картину отчаяния и угрызений совести: всякую ночь ходил он к соборной церкви и, не дерзая войти в святилище храма, повергался на паперти и испускал жалобные вопли. Граждане женевские, желая загладить следы сих печальных событий, разводят ныне на лугу, служившем лобным местом, ботанический сад. — Кстати расскажу вам любопытный анекдот. Женевцы, в какой бы они стране ни были, ежегодно празднуют 12 декабря, день отбитого приступа савойцев (l'escalade). В 1777 году, жившие в С. Петербурге женевские граждане собрались в трактире у Полицейского моста (где теперь стоит дом графа Строгонова) и за дружескою трапезою торжествовали освобождение своего отечества, озабочиваясь в то же время новыми приготовлениями Франции и Савойи подчинить Женеву своей власти. «Кто поможет нам?» — сказал со вздохом старший из них. В эту самую минуту раздались пушечные выстрелы: объявляют, что великая княгиня разрешилась от бремени принцем. «Вот наш освободитель!» — восклицают женевцы, наполняют бокалы и осушают их за здравие новорожденного: 1814 год оправдал сие счастливое предсказание.

Женева славится своею промышленностию, особенно совершенством часового искусства. Должно сказать притом, что граждане ее — люди образованные и известны даже своим *педантством*, а женщины хорошие хозяйки и также любительницы наук, искусств и литературы. Мне удалось видеть внутренность некоторых домов в Женеве. Главная комната в доме есть — кухня. По изготовлении собственными руками хозяйки чистого, сытного обеда, моют, прибирают и развешивают по стенам всю кухонную утварь. Хозяйка надевает опрятное, простое платье; сбираются гостьи, садятся в кухне, подле очага; одна из них читает хорошую книгу; прочие работают, обыкновенно цепочки для часов. Впрочем, сии патриархальные нравы господствуют не во всех семействах: французские и английские обычаи изгоняют простоту и умеренность старинной Швейцарии.

Сего дня, поутру, ходили мы на платформу соборной церкви и любовались тамошним видом: с одной стороны — пустынный Салев,

снежный Мон-блан и прочие грозные исполины Савойские; с другой, в виде полумесяца, стелется единственное в мире Женевское озеро: оно цвету сероватого; достойно примечания, что струи Роны, протекающей чрез сие озеро, не смешиваются с его водами: темно-синяя полоса идет вдоль посредине озера от впадения до истока реки. Потом посетили мы дом, в котором родился Руссо: он лежит в улице des Chevelus (называемой и Руссовою) под № 69, имеет четыре яруса, стар, ветх и очень некрасив. Над дверьми изображена, на мраморной доске золотыми буквами, следующая надпись:

ICI EST NÉ

JEAN JACQUES ROUSSEAU

le XVIII Juin MDCCXII.

В то время, когда я списывал сию надпись, подошел к нам досужий проводник любопытных странников и предложил показать скамью, на которой сиживал Руссо на улице. Мы охотно пошли за ним: он привел нас в улицу des Coutances в лавку кондитера. Руссо нередко обедывал у отца нынешнего хозяина сей лавки и, в ожидании обеда, садился на улице на скамью подле лавочки, в которой торговала его кормилица, и беседовал со старухою, будто не замечая, что народ вокруг него толпится. Это было в пятидесятых годах. Мне сказывали, что некоторые из нынешних стариков женевских помнят эти сходбища: помнят круглый парик и серое платье Жан-Жака.

После обеда ездили мы в Ферней. Надобно иметь самое пылкое и творческое воображение, чтоб представить себе в этом небольшом обветшалом доме бывшую *столицу Европейского Философа*, из которой он переписывался с государями, трогал, смешил, дурачил и обманывал Европу. Дом сей, или, как во Франции называются помещичьи жилища, замок (chateau), построен во дворе и лежит главным фасадом не к лучшей части тамошних окрестностей. Он имеет два этажа; в каждом не более шести комнат. Ключница, привыкшая

принимать посетителей, повела нас во внутренность и показала бывшую гостиную, спальню и кабинет Вольтера. Мебели покрыты полинявшею голубою шелковою материею. В спальне стоит кровать простого дерева; над нею висят лохмотья занавес, которые в течение сорока лет обрываются философами странствующими, как фразы из сочинений Вольтера обрываются пишущими. Дурно нарисованные портреты Фридериха II, Лекеня, самого Вольтера и пр. висят на стенах; в углу стоит глиняная модель монумента Вольтерова, с надписью: *Ум его везде, а сердце здесь.* Театр сломан. Церковь ветшает. Достойно примечания, что французские якобинцы в начале революции разрушили известную надпись над входом в оную: *Вольтер богу.* Она показалась им слишком христианскою! Осмотрев все уголки знаменитого *издали* Фернея и повторив замечание, сколь тленны и скоропреходящи величие и слава в сем мире, мы сели в char-à-banc (дурное подражание дрожкам) и воротились в Женеву. — Вечером погуляли мы еще по Трели, заходили в разные магазины, накупили несколько видов и других безделок на память и хотели было ехать; но извозчик наш ушел в гости к какой-то куме, и мы принуждены его дожидаться. Б. стал писать во Франкфурт к своему начальству, а я сел также за столик и привел в порядок беглые мои замечания и выписки, которые вы теперь читали. Прощайте уже до Франкфурта!

III

Франкфурт, сентября 20.

Жозеф де Полис возвратился часов в одиннадцать и навеселе, и мы в тот же час поехали из Женевы прежним путем до Лозанны и далее до Берна. К сожалению нашему, мы нигде не могли останавливаться, боясь опоздать к сроку. Самый любопытный предмет, виденный нами на сем пути, был большой альпийский орел (Lämmergeher), пойманный охотниками: он имеет между распростертыми крыльями в ширину более двух сажен. Его посадили в большую деревянную клетку и сверх того привязали крепкою веревкою: он бился во все стороны, царапал веревку и страшно смотрел на подходивших к клетке. Сии хищные птицы уносят ягнят,

козлят и даже больших собак. Один из сих воздушных партизанов схватил однажды ребенка в деревне, взлетел с ним на недосягаемую вершину горы и там растерзал свою добычу. Долгое время красное платье несчастного ребенка развевалось на снегу. Редко случается, чтоб удавалось схватить живого старого орла: обыкновенно берут птенцов из гнезд, и это сопряжено с величайшими опасностями. Г. Эбель в путеводителе своем по Швейцарии описывает приключения одного егеря Иосифа Шорина, который, убив самца, подкрался к гнезду по узкому утесу, возвышавшемуся над пропастью, и лишь только протянул руку, чтоб схватить орлят, самка кинулась на него с воздуха, схватила его за руку когтями и вонзила острый клюв свой в бок его. Стрелок не потерял присутствия духа: не двигаясь с места, поставил он на утес ружье, которое держал левою своею рукою, направил оное дулом в птицу и пальцем босой ноги спустил курок. Выстрелом убило самку, и он овладел птенцами, но долгое время страдал от ран, полученных при сем подвиге. О ловкости, скорости и неустрашимости сих охотников рассказывают в Швейцарии многие анекдоты. Редкие из них умирают естественною смертию. Обыкновенно они пропадают, и чрез несколько уже лет находят их кости в пропастях или на дне быстрых ручьев.

Мы возвратились в Берн в среду, 12 сентября. Депеши барона К. не были еще готовы, и мы прожили два дня в сем главном городе Швейцарской республики. Берн славится, кроме своего местоположения, еще аркадами, находящимися под каждым домом. Это в самом деле выгодно для пешеходов в ненастную погоду и жаркие дни, но не должно думать, чтоб сии аркады походили на пале-рояльские или даже на наши гостинодворские: они низки и темны. На самих улицах почти вовсе не видно народу, и, сверх того, они кажутся мрачными от серо-зеленоватой краски, которою выкрашен весь город Берн; но они довольно широки и весьма опрятны: вода и нечистота стекают покатыми каналами, устроенными посреди каждой улицы. Из всенародных зданий лучшее есть соборная церковь, о коей я уже упоминал. Близ восточных ворот города, на бульваре, облегающем оный со всех сторон, построен простой, но прекрасный монумент одному бернскому патрицию, на том самом

месте, где он был убит; надпись на нем следующая: Die Stadt Bern ihrem edlen Bürger Sigmund Rudolf von Werdt, der hier für ihre Befreyung streitend der Tod fand, den XVIII Sept. MDCCXCII. Er lebte XXI Jahr.* Живущие здесь иностранцы жалуются на скуку и единообразие, господствующие в Берне. Здешние патриции горды и необходительны; притом же они косо смотрят на подданных больших европейских держав, которые на Венском конгрессе прекратили владычество Берна в Ваадте и Арговии и возвратили сим кантонам их права. Под тем предлогом, что театры портят нравы, здешнее правительство не дозволяет никаких представлений, и это обстоятельство усугубляет еще скуку и недостаток развлечений, к которым люди везде невольно стремятся.

В четверток поутру ездили мы в известное поместье Гофвиль, в котором друг человечества, благородный Фелленберг, основал свои знаменитые заведения, и провели несколько часов весьма приятно. Почтенный Фелленберг показывал и объяснял нам все любопытные предметы. Описание Гофвиля составит содержание особого письма: сие место так любопытно и важно, что я не смею ограничиться поверхностным его изображением.

Мы обедаем у барона К., а вечера проводим с богатым французским книгопродавцем Т., который с женою и дочерью, молодою прекрасною вдовою, путешествует по Швейцарии и остановился в одной с нами гостинице. История дочери его, которую мать рассказывала нам со слезами, нас сильно растрогала. Они родом из М., что на границах Германии: дочь воспитывалась у одной родственницы, которая содержала пансион для молодых германских дворян, обучавшихся в М. французскому языку. В числе их находился в-ский барон Л.: он любил милую шестилетнюю Юлию и шутя называл ее своею невестою. Фамильные обстоятельства их разлучили. Юлия отправилась к отцу своему в Париж, а Л. — в отечество, вступил в службу по дипломатической части, вскоре получил

* Т. е.: Город Берн благородному гражданину своему, Сигизмунду Рудольфу фон Вердту, который пал здесь, сражаясь за его освобождение, 18 сентября 1792. Жития его было 21 год.

звание камергера, знатный чин, несколько орденов и проч. Однажды, лет чрез десять по выезде из М., услышал он, что девица Т. в Париже выходит замуж, и вспомнил свою шестилетнюю невесту: прежняя любовь возродилась в его сердце, и он написал убедительное письмо к старику Т., прося его повременить свадьбою, если Юлия выходит замуж не по страсти и если время еще не ушло. Брак сей был *методический:* отец выдавал ее за богатого книгопродавца, для соединения *двух домов*; но, любя ее, остановился. Л. приезжает в Париж, видит Юлию и решительно объявляет, что никто, кроме ее, не будет его женою. Юлия признается также, что она никогда его не забывала; но не так думают ее родственники: они видят в этой любви искусную стратагему промотавшегося камергера, который желает приданым Юлии поправить свое состояние. Л., узнав об этом, выходит в отставку, снимает с себя ордена, камергерский ключ и мундир; надевает простой сертук и вступает приказчиком в лавку Т. Все просьбы и убеждения были тщетны: Л. продал свое имение в Германии, присоединил вырученные за оное деньги к капиталу Т., в четыре года умными и счастливыми оборотами удвоил сей капитал, сделался товарищем Т. и женился на Юлии. Но есть ли в мире прочное счастие? Чрез четыре месяца после брака Л. слег в горячку и в девять дней умер... Уже прошел год со времени его смерти. Родители несчастной Юлии тщетно стараются рассеять ее тихое уныние путешествием по прекраснейшим странам Европы. Она не снимала с себя глубокого траура, не осушала глаз со дня смерти своего мужа...

Мы выехали из Берна 14 числа, в пятницу, чрез северные ворота, на коих изображены два белые медведя, герб города Берна. Во рву подле ворот содержатся медведи живые. К обеду приехали мы в Солёр, или Солотурн, главное место кантона того же имени, и осмотрели тамошнюю прекрасную католическую церковь. Мне хотелось посетить знаменитого польского героя Костюшку, живущего в Солёре, но я узнал, что он выехал за город и очень нездоров. Это было мне весьма прискорбно: люблю смотреть прелестные картины природы, произведения искусств и ума человеческого, люблю видеть развалины древности и места, ознаменованные вели-

кими происшествиями в мире; но мне всего приятнее, всего дороже — видеть людей великих, добродетельных и благородных. Я в полной мере чувствую жалобу слепца Эдипа, что он не увидит

Ни мужа кроткого, приятного чела,
Которого богов рука произвела!

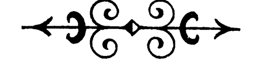
Отобедав в Солёре, поехали мы далее и вскоре заснули. Вдруг Б. будит меня: «Проснись! посмотри, где мы!» — Протираю глаза и вижу, что мы перенесены в райскую сторону. С одной стороны поднимаются крутые, зеленью увенчанные скалы, с которых падают блестящие каскады; с другой — множество невысоких холмов образует прекрасные долины, усеянные живописными крестьянскими домами. Прекрасная, невыразимая картина! Казалось, что Швейцария, прощаясь с нами, при самом выезде из ее пределов, собрала все свои красоты, чтоб сильнее дать нам почувствовать то, чего мы в ней на быстром своем пролете не видали. Сия чудесная страна лежит на дороге из Солёра в Базель, в окрестностях местечка Бальшталя. Сего дня смотрел я на сии громады, возвышающиеся над миловидными домиками, с большим противу прежнего вниманием и с некоторым ужасом. В ожидании обеда прочитал я в Солёре несколько страниц из книги доктора Цая: о несчастии, постигшем одну горную деревеньку в кантоне Цуге. Утесистые горы, наклоненные над обитаемыми долинами, нередко отмываются дождями от своих оснований, падают и убивают людей, подавляют домы, истребляют целые деревни. Лето 1806 года было самое дождливое. Жители деревни Ловерца примечали уже несколько времени, что скала, нависшая над их хижинами, отделяется от своего основания и что в ней показываются трещины; по временам, во внутренности ее, слышен был глухой шум. Вдруг показались признаки землетрясения: воткнутые в землю лопатки зашатались; открылись новые рвы; ручьи остановились в течении своем; птицы отлетели стаями с ужасным криком. Пополудни в пять часов увидели, что гора катится вниз на долину — и уже нельзя было помышлять о спасении. В несколько секунд исчезла деревня Ловерц: только те из жителей, которые бросились в бегство заблаговременно, ушли от грозной смерти — быть

раздавленными или, ужаснее еще того, заживо погребенными. Крестьянин Иосиф Вигедт, стоявший в минуту падения горы у ворот дома своего, с женою и тремя детьми, схватил двоих из них и закричал жене, чтоб она следовала за ним с третьим ребенком, который был у ней на руках; но несчастная мать хотела спасти четвертое дитя свое, пятилетнюю дочь Марианну, остававшуюся в доме. Франциска Ульрих, служанка их, видя близкое падение дома, схватила Марианну за руку и повлекла ее к дверям, но в ту самую минуту (по ее словам) весь дом закружился, как веретено, и свет дневной исчез. Марианна была исторгнута из рук Франциски, и сия последняя вдруг очутилась между развалинами, лежа вниз головою, теснимая со всех сторон бревнами и каменьями; всё лицо ее было исцарапано; ей казалось, что она погребена в великой глубине. С трудом освободила она правую руку и отерла ею изъязвленные, наполненные кровью глаза свои. В сем положении услышала она стон Марианны и кликнула ее. Девочка отвечала, что лежит на спине посреди каменьев и не может встать, но что руки ее на свободе и она видит свет и зелень. «Скоро ли освободят нас?» — спросила она. «Наступило преставление света, — отвечала Франциска, — все люди погибли; мы за ними последуем и будем блаженны в небесах». Они вместе помолились богу. Чрез несколько времени услышали они, что бьет семь часов. Франциска узнала знакомый звон колокола соседственного села, заключила из этого, что есть еще живые люди в мире и старалась утешить дитя. Бедная Марианна начала плакать и жаловаться на голод, но вскоре стоны ее затихли. Франциска лежала в самом мучительном положении, в сырой земле, и чувствовала нестерпимый холод. Прошло несколько часов, и она опять услышала голос Марианны, которая в это время спала и, пробудясь, сильнее стала чувствовать голод. Между тем несчастный Вигедт, едва спасшийся с двумя детьми, пришел на рассвете в то место, где была деревня, чтоб отыскать останки родных своих. Он нашел тело жены в полуверсте от того места, где находился их дом: она лежала под камнями, которыми убило ее и ребенка, бывшего у ней на руках. Стенания Вигедта и стук разрываемых им камней дошли до слуха Марианны: малютка начала кликать отца всеми силами. Он вскоре

нашел ее под бревнами и землею; одна ее нога была переломлена, и хотя она чувствовала великую боль, но не хотела оставить сего места, не отыскав Франциски. Ее нашли и отрыли с великим трудом. Она была несколько дней совершенно слепа: успели сохранить ее жизнь, но не могли вылечить ее от судорожных движений и невольных припадков ужаса. Спасение одного младенца было еще чудеснее: двухлетнюю девочку нашли невредимою на постельке ее посреди лужи, между тем, как дом, в котором она находилась, кровать и всё, что в нем было, исчезли с лица земли!..

Мы приехали в Базель вечером. Поужинав наскоро в гостинице Трех королей и дав усердному нашему ветурину Жозефу де Полису одобрительный аттестат на трех языках, взяли мы почтовых лошадей и помчались во Францию. Можно сказать, что мы *пролетели* чрез прекрасную Алзацию. В Страсбурге остановились на два часа для того, чтоб взойти на башню Минстера и посмотреть гробницу маршала де Сакс. В воскресенье вечером приехали мы в Висбаден: ужинали там на почте в трактире с бывшею знаменитою актрисою Шевалье и дочерью ее, родившеюся в Петербурге; долго разговаривали с ними и, уже расставшись, узнали, кто они! — В понедельник, 17 сентября, приехали мы обратно во Франкфурт, употребив только две недели на путешествие, для которого мало четырех месяцев!

Н. Греч.



СМЕРТЬ ПРИАМА

Отрывок из II песни Энеиды

Знать пожелаешь, быть может, царица, что было с Приамом.
Видя падение града, видя разрушенный замок,
Видя врага, захватившего внутренность царского дома,
Старец давно позабытую броню на трепетны плечи,
Сгорбленны тягостью лет, через силу надел, бесполезный
Меч опоясал и в сонмы врагов пошел на погибель.
В самой средине обителей царских, под небом открытым,
Был великий алтарь; над ним многолетнего лавра
Сень наклонялась и лики домашних богов обнимала:
Там с дочерьми сидела Гекуба; вотще, приютившись
Робко под жертвенник, словно как стая пугливая горлиц
В грозу под кровлю, кумиры бессмертных они обнимали.
Вдруг царица одетого бронею младости бранной
Видит Приама. «Куда ты, бедный супруг? — возгласила.—
Что ополчило тебя? К чему безрассудная бодрость?
Ныне такая ли помощь, такой ли защитник Пергаму
Нужен? Пергама не спас бы теперь и великий мой Гектор.
С нами останься, Приам; сей алтарь защитит нас
Иль умрем неразлучны!» — Сказала и, руку супругу
Давши, старца с собой посадила на месте священном.
Вдруг из убийственных Пирровых рук убежавший Политос,
Сын последний Приамов, сквозь копья, сквозь сонмища вражьи

Вдоль переходов пустыми чертогами раненый мчится;
Быстро за ним сверкающий Пирр с неизбежным убийством
Гонится: вот уж нагнал, уж достигнул железом;
К лону родителей кинулся в страхе младенец; пред ними
Пал, содрогнулся, и жизнь пролилася потоками крови.
Тут закипело Приамово сердце: сам погибая,
Он не стерпел толикого горя и гневно воскликнул:
«О чудовище! боги тебе, святотатный убийца,
Боги — если живет в небесах правосудная жалость! —
Мзду ниспошлют! По заслуге получишь награду, губитель!
Ты, перед взором моим моего растерзавший младенца!
Ты, ужаснувший погибелью сына родительски очи!
То ли Ахилл, от тебя названьем отца поносимый,
Сделал с Приамом врагом? Он, краснея, почтил униженье
Старца молящего, дал схоронить мне бездушное тело
Гектора сына, и в Трою меня отпустил безобидно!» —
Так сказал и копье бессильное хилой рукою
Бросил; оно, ударяся в медь, зазвеневшую глухо,
Тронуло выгиб щита и на нем без движенья повисло.
Яростно Пирр возопил: «Иди же с поносной о сыне
Вестью к Пелиду отцу; не забудь о бесславных деяньях
Пирра поведать ему — теперь же умри!» — Беспощадно
Он перед жертвенник дрогнувший старца повлек; сединами
Шуйцу, облитую кровью сыновней, опутал; десницей
Меч замахнул и в ребра до самой вонзил рукояти.
Так совершилася участь Приама; так он покинул
Землю, зревши добычей пожара Пергам и паденье
Трои, некогда сильный властитель народов, державный
Азии царь... и великое тело на бреге пустынном
Ныне без чести лежит, обезглавлено, труп безыменный.

С латинского — Жуковский.

БОРИС ГОДУНОВ

Дума

Москва-река дремотною волной
Катилась тихо меж брегами;
В нее, гордясь, гляделся Кремль стеной
И златоверхими главами.
Умолк по улицам и вдоль брегов
Кипящего народа гул шумящий.
Всё в тихом сне: один лишь Годунов
На ложе бодрствует стенящий.

*

Пред образом спасителя, в углу,
Лампада тусклая трепещет,
И бледный луч, блуждая по челу,
В очах страдальца страшно блещет...
Тут зрелся скиптр, корона там видна,
Здесь золото и серебро сияло!
Увы! лишь добродетели и сна
Великому недоставало!..

*

Он тщетно звал его в ночной тиши:
До сна ль, когда шептала совесть
Из глубины встревоженной души
Ему цареубийства повесть?
Пред ним прошедшее, как смутный сон,
Тревожной оживлялось думой —
И, трепету невольно предан, он
Страдал в душе своей угрюмой.

*

Ему представился тот страшный час,
Когда, достичь пылая трона,

Он заглушил священный в сердце глас,
  Глас совести, и веры, и закона!
«О, заблуждение! — он возопил. —
  Я мнил, что глас сей сокровенный
Навек сном непробудным усыпил
  В душе, злодейством омраченной!

*

«Я мнил: взойду на трон — и реки благ
  Пролью с высот его к народу;
Лишь одному злодейству буду враг;
  Всем дам законную свободу.
Начнут торговлею везде цвести
  И грады пышные, и сёла;
Полезному открою все пути
  И возвеличу блеск престола.

*

«Я мнил: народ меня благословит,
  Зря благоденствие отчизны,
И общая любовь мне будет щит
  От тайной сердца укоризны.
Добро творю, — но ропота души
  Оно остановить не может:
Глас совести в чертогах и в глуши
  Везде равно меня тревожит.

*

«Везде, как неотступный страж, за мной,
  Как злой, неумолимый гений,
Влачится вслед — и шепчет мне порой
  Невнягно повесть преступлений!..
— Ах! удались! дай сердцу отдохнуть
  От нестерпимого страданья!
Не раздирай страдальческую грудь:
  Полна уж чаша наказанья! —

*

«Взываю я, — но тщетны все мольбы!
 Не отгоню ужасной думы:
Повсюду зрю грозящий перст судьбы,
 И слышу сердца глас угрюмый.
Терзай же, тайный глас, коль суждено!
 Терзай! Но я восторжествую
И смою черное с души пятно
 И кровь царевича святую!

*

«Пусть злобный рок преследует меня
 Не утомлюся от страданья
И буду царствовать до гроба я
 Для одного благодеянья.
Святою мудростью и правотой
 Свое правление прославлю
И прах несчастного почтить слезой
 Потомка позднего заставлю.

*

«О так! хоть станут проклинать во мне
 Убийцу отрока святова,
Но не забудут же в родной стране
 И дел полезных Годунова». —
Страдая внутренно, так думал он;
 И вдруг, на глас святой надежды,
К царю слетел давно желанный сон
 И осенил страдальца вежды...

*

И с той поры державный Годунов,
 Переносяя гоненье рока,
Творил добро, был подданным покров
 И враг лишь одного порока;

Скончался он — и тихо приняла
Земля несчастного в объятья —
И загремели за его дела
Благословенья и проклятья!..
Рылеев.

ТАРЕНТИНСКАЯ ДЕВА

Элегия

Стенайте, алкионы!
О птицы нежные, любимицы наяд,
Стенайте! ваши стоны
Пусть дальние брега и волны повторят.

Не стало, нет ее, прекрасной Эвфрозины! —
Младую нес корабль на берег Камарины;
Туда ее Гимен с любовью призывал:
Невесту там жених на праге дома ждал.
При ней, на брачный день, хранил ковчег кедровый,
Одежды светлые и девы пояс новый,
И перлы для груди, и злато для перстов,
И благовонные мастики для власов.
Но, как Ниобы дочь, невинная душою.
На путь покрытая одеждою простою,
Фиалковым венком и ризою льняной,
На палубе, одна, стояла и мольбой
Звала попутный ветр и мирные светила.
И вихорь, налетя и грянувши в ветрила,
Невесту обхватил, корабль качнул, о страх! —
Она уже в волнах!..
Она уже в волнах, младая Эвфрозина!
Помчала мертвую глубокая пучина.
Фетида, сжаляся, ее из бездн морских
Выносит бледную в объятиях своих.

На крик сестры, толпой, сквозь влажные громады
Всплывают юные поверх зыбей наяды;
Несут бездушную, кладут под кипарис;
Там — принял девы прах зефиров тихий мыс;
Там — нимфы, воплями собрав подруг далеких,
И нимф густых лесов, и нимф полей широких,
И, распустив власы, над холмом гробовым
Весь огласили брег стенанием своим.

Увы! напрасно ждал тебя жених печальный:
Ты не украсилась одеждою венчальной;
Твой перстень с женихом тебя не сочетал,
И кудрей девственных венец не увенчал!

Гнедич.

ВСЯКИЙ НА СВОЙ ПОКРОЙ

Портных у нас в столице много,
Все моде следуют одной:
Шьют ровной, кажется, иглой.
Но видишь, всматриваясь строго,
Что каждый шьет на свой покрой.

Портными нас всех можно счислить:
Покрой у каждого есть свой,
И тот, кто мастер сам плохой,
Других принудить хочет мыслить
И поступать на свой покрой.

Дай бог покойнику здоровье!
Вольтер чудесный был портной:
В стихах, записочке простой,
В исторье, в сказках, в баснословье —
Везде найдешь его покрой.

Уча, нас комик забавляет:
Денис тому пример живой;
Но Вралькин сам себе большой,
И на смех прочим одевает
Он Талию на свой покрой.

Старик Федул, муж правил строгих,
Быть хочет в доме головой:
Жена пред ним равна с травой,
Но голове, не хуже многих,
Наряды шьет на свой покрой.

Язык наш был кафтан тяжелый
И слишком пахнул стариной;
Дал Карамзин покрой иной.
Пускай ворчат себе расколы!
Все приняли его покрой.

Пускай баллады — бабьи сказки.
Пусть черт качает в них горой;
Но в них я вижу слог живой,
Воображенье, чувство, краски —
Люблю Жуковского покрой.

Пусть мне дурачество с любовью
Дурацкий шьют колпак порой;
Лишь Парк бы только причет злой
Не торопился по условью
Убрать меня на свой покрой!

Князь Вяземский.

ДИТЯ И БРИТВА

Притча

Дитя, взяв бритву, бриться стало;
  Порезалось и закричало.
Вот маменька на крик бежит!
  (Уж я бы баловня такова..!)
Но маменька ему ни слова,
  Целует да крестит;
Лишь бритву всю она в кусочки изломала!
«Помилуй, душенька, — супруг ей говорит, —
  Я бреюсь ею десять лет,
  Вреда ж, по чести, нет!»

Так виновато ли, скажите, просвещенье,
Когда ему дают худое направленье?

Остолопов.

ЭПИГРАММА

  Критон, услужливый в душе,
В комедии своей из трех два акта сбавил:
  Конечно, он и зритель в барыше,
Но как-то всё он лишний акт оставил.

К. Вяземский.

К ДОРИДЕ

Дорида! ты свежа, как молодой цветок;
Твой стан, как стебель розы гибкий;
Как ты мила своею детскою улыбкой,
Легка, как на лугах душистый ветерок...
Волшебница! кругом тебя очарованье!
Он сладок мне, как жизнь, с тобой свиданья час!
И груди молодой под дымкой трепетанье,
И тихий свет прекрасных глаз

(В них что-то милое, небесное светлеет),
И русые власы... и всё в тебе краса!
Но пред тобой желанье цепенеет,
И страсть к тебе чиста, как небеса.
Моя душа твою, Дорида! душу слышит:
О друг земной! В тебе небесный ангел дышит;
Он прилетел с надзвездной вышины
И притаясь живет под тленной пеленою.
И от тебя, как от младой весны,
Мне веет негой неземною...
Но, милый друг! мне в мысль приходит иногда,
Что на земле небесное непрочно,
Что ты у нас как будто ненарочно
И что зовут тебя — *туда!..*

Ф. Глинка.

НАДПИСИ К ПОРТРЕТАМ

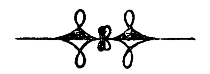
1) К портрету болтуна

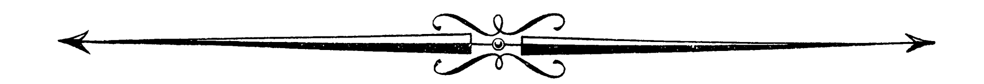
Как сходен сей портрет! в нем жизнь и пламень чувства!
Он дышит, кажется, он мыслит, он глядит,
Одна беда — не говорит:
Как счастливо, что есть границы для искусства!

2) К портрету молчаливого

В портрете сем блестит искусства превосходство:
Вот все его черты, его улыбка, вид;
Ну, только что не говорит,
И тем живее сходство!

К. Вяземский.





РОМАН И ОЛЬГА

Старинная повесть *

I

Зачем, зачем вы разорвали
  Союз сердец?
Вам розно быть! вы им сказали:
  Всему конец!
Что пользы в платье золотое
  Себя рядить?
Богатство на земле прямое
  Одно: любить!

Жуковский.

«Этому не бывать! — говорил Симеон Воеслав, именитый гость новогородский брату своему, — не бывать, как двум солнцам на небе. Правда, твой любимец, Роман Ясенский, хорош и пригож, служил верой и правдой Новугороду, потерпел много за Русь святую; горазд повесть слово на вечах, в беседах, удал на игрушках военных[1] и на всё смышлен, ко всем приветлив... Одна беда, — примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкою ключей на поясе, — он беден — стало быть, не видать ему за собой Ольги». — «У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его, Юрий Гостиный, сотник конца Славенского. — Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной!» — «Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа

к моей дочери?» — «Его чувства, Симеон, его поступки: кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтоб он не достался врагам Новагорода, тот, конечно, не променяет души на приданое!» — «Так не хочешь ли, братец любезный, чтоб я бросил мою лучшую, заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь — за человека, у которого нет три-девяти снопов для брачной постели,[2] у которого и любимый конь пасется муравою приятелей! Моей ли Ольге он чета? У нее корабли в море, у него — журавли в небе». — «Браг! не порочь доброго гражданина! Сердце Романово стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет нехудая кровь детей боярских: племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиславова».[3] — «Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданым». — «Чудный человек! ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа; ее слезы...» — «Слезы — вода, а про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать». — «Брат Симеон! сердце не слуга, ему не прикажешь!» — «Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о Романе, а ему ходить ко мне. Я хочу, чтоб она думала не иначе, как головою отца да матери: жила бы по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным, привозным обычаям. Правду молвить, в этом первою виной — германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новагорода». — «Если б не торговые выгоды!» — прервал Юрий, с усмешкою разглаживая усы свои. — «Да, да, если б не торговые выгоды! — отвечал Симеон, тронутый таким замечанием, — выгоды, которые сделали меня первым гостем новогородским, а мою дочь богатейшею невестой, у которой свахи лучших женихов обили пороги». — «И всегда и навсегда напрасно: Ольга не изберет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг! ты хорошо знаешь свои счеты, но худо страсти людские. Ольга может в твою угоду скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет — как цвет, иссохнет — как былинка на камне. Не делай же ее несчастною, не

заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться богу; исполни мою просьбу, а молодых мольбу — отдай Ольгу Роману!»... Слово: совет пробудило гордость Симеонову. — «Побереги эти советы для детей своих! — сказал он, нахмурив брови, чтобы под суровостию чела скрыть слезы, навернувшиеся на глазах от речи Юрия, — старшему брату поздно жить умом младшего».

Долго длилось молчанье. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя за помин о старшинстве: один глядел в косящатое окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака — оба искали слов к разговору и не находили. Наконец нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом. «Прощай, братец!» — тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку. «С богом, Юрий! но почему ты не остаешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским». — «Если б даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь: тоска племянницы отравит редкие твои яствы и дорогую мальвазию...» — «Вольному воля!» — повторил раза два Симеон, провожая брата. Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы: участь дочери лежала на сердце; гордость боролась с отеческою любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство, и потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастием, с своими заслугами и достоинствами казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность на вече, где Роман сильно опровергал его мнения. Симеон скоро увидел истину; но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладила в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого: судьба Романа решилась. Симеон не любил говорить дважды. «Брат посердится и уймется, — думал он, — а любовь девушки — лед вешний: поплачет она, поскучает... и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей!»

Бледен как полотно выслушал Роман из уст Воеслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного: он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждой далекою; но мог ли обольстить несчастливца! Сердце влюбленного чутко, взоры его необманчивы: Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. В исступлении немого отчаяния, вперив неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыханье; наконец природа взяла верх — в два ключа брызнули слезы из очей юноши; он, рыдая, упал на грудь великодушного друга.

В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветной улыбкою: были друзьями и недругами явно. Воеслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась росою отрады.

II

Уста раскрыв, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор.

А. Пушкин.

Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем. В высоком липовом своем тереме, в кругу нянек и сенных девушек, сидела она за пяльцами, вышивая ковер шелковый, и между тем как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцу. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческою подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви; тот незабвенный семик, когда впервые рука ее

трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку, и когда Волхов умчал гадальный венок ее, в глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступь, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты ей казалось, как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутом около стройного его стана, в зеленых сафьянных сапожках с золочеными каблуками! Казалось, она видела, как он кланяется с обычною уветливостью, как отряхает русые кудри свои, как закладывает шитые с бахромою перчатки за кушак шамаханский, — и мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новогородцев на поморье и на подолье; о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы, над крыльцом отеческим, где милый воитель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславами по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спасшего Москву от гибели верою граждан, заступлением девы пречистой, образом Владимирской богоматери![4] С каким участием провожала Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России! Описание вечноцветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами, и грозное величие бича вселенной — Тимура, его роскошный двор, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами — привлекали внимание Ольги. «Добыча целого света, запечатленная кровию миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, — говорил Роман. — Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшение дворцов Багдада, стали попонами верблюдам, многоценные пояса дев русских обратились в смычки собак; багряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые моголы,

нежась на войлоках под шалевыми палатками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царя-града». Сердце ее замирало, когда она внимала ужасам, висевшим над головою Романа во время плена, и опасностям во время бегства его на родину от берегов Черного моря. Неустрашимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает с страдальцем, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские, но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню! Его голос казался тебе, красавица, отголоском тайных чувств твоих; твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов; ты млела в каком-то сладостном забытье, и долго, долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, проницали сердце. «Неужель всё то правда, что поется в песнях?» — не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей. — «О, конечно! — отвечала няня, — в сказке — басня, а в песне — быль». И вслед затем запевала она любимые песни Ольгины, сложенные Романом, и неопытная предавалась страсти злосчастной и с потворством внимала шепоту сердца, которое от часу громче твердило: люблю, люблю Романа! — Ты спознала, непреклонная красавица, грусть, и сладкие вздохи, и неясные желания, и, в награду бессонницы — сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он, ей суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале, разве даром приснился о святках, накануне крещенья и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучший вещун — сердце ее обмануло!.. Так лелеяла надежды свои невинная Ольга; но жребий судил иначе...

Вечерел ясный день рюэня.[5] Ольга задумчиво сидела под густою яблонью, в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то спрыгнул с него, еще миг — и Роман очутился перед испуганною Ольгою. «Не беги, не пугайся, не гневайся, милая! — говорил он, схватив ее за руку, — выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастие от того зависят». Красавица вырывалась на-

прасно; рассудок советовал ей: беги! сердце шептало: останься! Что скажут добрые люди? повторял разум. Что станется с милым, когда ты скроешься? замечало сердце! Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом рука об руку и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве. «Ольга! —сказал тогда Роман, — я принес весть нерадостную: я сватался, и мне отказано! Жить без тебя я не могу, и когда твоя любовь не одни пустые речи — бежим к доброму князю Владимиру: у него найдем приют, а в сердцах своих счастье. Решайся!» Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвна сидела Ольга. Всё кончилось! все мечты — любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда, и так безнадежно, так неожиданно! Долго бушевали страсти в груди ее; долго тускнело зеркало разума под дыханием отчаяния; наконец ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги. «Бежать, мне бежать! — воскликнула она, рыдая. — И ты, Роман, мог предложить средство, позорное для моего роду и племени, пагубное для меня самой! Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать! совершить дело неслыханное, бросить край родимый, обесславить навек родителей, прогневать бога и святую Софию! Нет, Роман, нет! Отрекаюсь любви, если она требует преступлений, и даже тебя, тебя самого...» Слезы прервали речь ее.

С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспыльчивый Роман укорам девы. «Женщины, женщины! — произнес он с дикою усмешкою, — и вы хвалитесь любовию, постоянством, чувствительностию! Вы, жалостливые только до песен; вы, из тщеславия пленяющие легковерных! Любовь ваша одна прихоть, болтлива и летуча, как ласточка; но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки! И для чего ж было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды? Чтобы убийственным *нет* оледенить сердце любовника! Не для тебя ль, непреклонная, забывал я славу, и свет, и всё, меня окружающее; не замечал, как откидывались от глаз будто ненароком, при встрече со мною, фаты первых

красавиц; какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов богатейших из моих соседок? Не я ли вековал на улице, чтоб уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? не я ли посвятил тебе жизнь и счастие жизни? И ты разом всё у меня похищаешь: меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтоб золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилого супружества — немилого, говорю я?.. но ведь женская любовь — привычка; долго ль красавице позабыть прежнее!.. И, может статься, если переживу я свое несчастие, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руке скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных!..» В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но излив словами сердце, он увидел слезы ее: они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе. «Неблагодарный друг! — говорила красавица, — и ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя! Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих?.. а теперь!» — «Прости, прости меня, бесценная!» — повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку...

Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши; щеки обоих горели румянцем — и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение. «Жить и умереть с тобою!» — тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым. — Души пылкие! вам они понятны: вы изведали сии волшебные мгновенья, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг!

«Через три дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым; борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагоприятствует побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастие и, может статься, дождемся благословения отеческого». Роковое *да!* излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули — Роман удалился.

III

Они в ручной вступили бой,
Грудь с грудью и рука с рукой:
От вопля их дубравы воют —
Они стопами землю роют.

Дмитриев.

Наступил день праздника. Веселый звон колоколов огласил воздух, и Новгород запестрел народом; собираются стар и мал: граждане в церковь Софийскую, немцы к Св. Петру. Громогласно читают договорную мирную грамату с рижанами и Готским берегом; молебствие отходит, и все спешат от обедни к обеду на городище. Сановники за столами браными ждут гостей, гости ожидают друг друга. И вот уже посадник приветствует купцов ревельских, любских, армянских, союзников литовцев, земляков россиян. Владыко благословляет яствы, гремит труба — и все садятся: богач подле бедного, знатный с простолюдином, иноверец рядом с православными. Всё смешано, все дышат братством и дружеством: благодатное небо раскинуто одинаково над всеми. Казалось, тогда обновился пир Изяслава, князя любезного народу, угощавшего на этом же месте любимый народ свой. Протекли с того дня три века; изменились князья Новагорода: зато новогородцы остались те же. По-прежнему шумны, как липец, по-прежнему гнев их сердец опадает, как пена, и незлопамятная рука новогородца охотно покидает меч для кубка мирового, и недруги садятся друзьями за гостеприимный стол, за хлеб-соль русскую. Текут часы, течет вино рекою, и заздравный рог кружится между гостями, и цветные наливки румянят ланиты пирующих. Смех и шум возвещают конец обеда. Встают — и веселые, живые песни раздаются по берегу. «Милости просим, алдерман Бруно, фогт фон Роденштейн и все господа рыцари немецкие и все ясные паны Литвы! — говорил ласковый Юрий Воеслав приезжим. — Милости просим послушать песенок русских: певец Роман, верно, не откажется потешить дорогих гостей наших». Любопытные стеснились в кружок. Роман настроил гусли, робко окинул взором собрание и запел о любви дочери Ярославовой

Елисаветы к смелому Гаральду, витязю Скандинавии, изгнаннику, великодушно принятому при дворе новогородском. «Князь! — говорил ему мудрый Ярослав, — ты мил моей дочери — этого довольно: меняйтесь сердцами и кольцами, но знай, что одними песнями не купишь руки Елисаветиной, покуда слава не будет твоею свахою». — «Иди и заслужи меня!» — произнесла полумертвая княжна, и Гаральд полетел в Грецию, сражался годы за св. крест, побеждал потому, что любил, и, презрев страсть императрицы Зои, с верною дружиною варягов, между тысячами опасностей, возвратился к Новугороду, и корысти, и славу, и почести поверг к ногам верной Елисаветы.

Вдруг затихли живые струны, и светлая дума минувшего налетела на кругстоящих. Роман, зарумянясь, будто красная девушка, внимал похвалам и плескам всеобщим. Как подстреленный орел рвется в путах, завидя добычу, так билось в груди юноши сердце, когда в княжем саду увидел он Ольгу, когда заметил на лице ее улыбку одобрения: он был счастлив!

«К играм, к играм!» — прокликнул бирюч, скача на татарском коне по набережной, звуча по временам в трубу серебряную. Расхлынули волны народа, и просторный круг образовался для борьбы и для ристания. Немцы были первыми гостями на празднике: они первые въехали за веревку. Взоры всех стремятся на оружие всадников: один из них в светлом серебряном панцире, в таких же поручах и поножах, в стальных перчатках: закрыт от золотой шпоры до золотого нашлемника, расцветшего, будто махровый мак, строусовыми перьями. Забрало опущено. Черный крест украшает левую грудь; чешуйчатый прибор гремит на сером коне рыцаря. Стальной клетчатый намордник, прикрепленный к ветвистому мундштуку, охраняет конскую голову. Молодой витязь рыщет по поприщу, поднимает решетку шлема, увидя красавиц, выглядывающих сквозь ветви окружных садов, вьет пыль и окровавленною шпорою вперяет свой жар в хладнокровного бегуна фряжского. Другой тихо разъезжает кругом. Его броня чернее ночи; тяжко вооружение и меч огромен. Голова мавра видна в золотом поле щита;[6] кудри белоснежных перьев играют с ветром. Бесстрастные глаза рыцаря едва блистают сквозь крестовидные сква-

жины глухого его забрала. Но вот расскакались противники, летят навстречу, сердца зрителей бьются по скоку коней, — удар! — и копья в осколках, и кони, сгрянувшись, поверглись наземь: рыцари, запутанные, задавленные латами, лежат под своими бегунами недвижимы и невредимы. «Прекрасны ваши брони», — говорили, поднимая их, новгородцы, — но для нас несручны: русский не согласится сидеть будто в засаде в таком панцире и, как в тюрьме, дышать божьим воздухом сквозь решетку!» Литовские пятигорцы[7] на резвых конях взнеслись на площадь. Их было трое: легкие кольчуги облекают стан до колена, медвежьи шкуры веют на левых плечах, орлиные крылья шумят за спиною. Бобровые прильбицы[8] надвинуты на брови; кривые сабли их бренчат; мелькают копья, увенчанные полосатыми значками; высоки сафьянные седла их, убитые золотом, увешанные корольковыми кисточками и ременными плетнями; лядунки с снарядом огнестрельным висят на правом боку; фитили курятся в жестяных трубках. Они гарцуют и с воплем скачут по полю, крутят дротиками, мечут и ловят их на полете или, покинув повода на шею послушных бегунов, берутся за едва виденные дотоле самопалы[9] и как перуном разят перелетных ласточек и дивят народ своим проворством. «Удалы наездники! — говорят про них меж собою новогородцы, — а не раз случалось нам щипать этих орлов задвинских».

Пращи свистят; русские стрелы решетят цель; юноши опереживают ветр, бегая взапуски; всадники скачут, сопровождаемые восклицаниями, ожидаемые наградою у меты. Борьба, любимая забава племен славянских, привлекает удальцов; кулачный бой решит победу. Уже строятся стороны: особо Софийская, особо Торговая; уже громко вызывают поединщики друг друга; двое первых бойцов выходят на средину, сбрасывают с себя кушаки, цветные кафтаны и с правых рук — рукавицы, обнажают их до локтя. Айфал бьется со стороны Торговой, Буславич — от Заречья. Первый ретив, быстр, грозит взорами и словами, другой насмешливо молчалив и неподвижен. В двух шагах друг от друга колеблются они, склонясь наперед всем телом, закрыты, как щитом, левыми руками, стерегут удачного мгновенья, чтоб поразить правою — вот удар, и великан Айфал сгорел от руки Буславича; но вот и обе стены сошлись, схватились, сме-

шались; воздух стонет от кликов; удары дождят — как вдруг раздался глухой звон вечевого колокола: изумленные борцы остановились и, еще стиснув в руках противника, прислушивались к вестовому звуку. Удары повторялись за ударами, и с каждым разом росло смятение. Новогородцы забыли и бой и веселье, когда общее дело зовет их на вече. Народ потек на двор Ярослава; у каждого в глазах было написано недоумение, на всех устах летал вопрос: что значит эта неожиданность и что она сулит нам?

«Граждане! — сказал посадник Тимофей собравшемуся народу, — послы князей, Василия Димитриевича и Витовта, сына Кестутиева, привезли грамоты о делах важных и неотлагаемо хотят вручить их новогородскому вечу. Когда и как дозволите вы явиться им перед собою?» — «Теперь, сейчас, — воскликнули тысячи, — допускаем их поклониться святой Софии и по старине справить свое посольство». Послы явились. Московский боярин Константин Путный взошел на крыльцо с обнаженною головою, поклонился народу и читал:

«Василий Димитриевич, великий князь Московский, Суздальский, Ниже и Новогородский и всея Руси, шлет поклон своим верным людям новогородцам! .. Вложив меч в ножны, после кары строптивых городов ваших я три года жду покорности новогородской митрополиту Москвы — жду и не дождусь. Ужели вечно раздумье ваше? Знайте ж, что мое терпение не вечно. Это старое: желаю иного. Немцы усиливаются и богатеют в ущерб православным: обрывают соседние, союзные области и из вашего железа куют стрелы на русских. Призванный на княжение по роду, я и по сердцу блюду моих подданных и обязан предупредить вас от зла, тем вреднейшего, чем более оно похоже на пользу. С тестем Витовтом мы ссудили войну Ордену меченосцев: требуем того же от Новагорода».

Еще не смолк гул изумления, когда литовец Ямонт гордою поступью вышел на средину и громко вещал: «Новогородцы! вас приветствует Витовт, князь Чернигова, князь Белой и Червонной Руси, земли вятизей и всей Литвы. Я с вами в мире, а вы с врагами моими, рыцарями, в дружбе и совете. Принимаете и жалуете моих беглых мятежников.[10] Так ли поступают союзники? так ли платят за ласку

нового брата по вере, у которого с вами одни друзья, одни враги. Новогородцы! хочу знать решительно, меня или магистра предпочитаете? Если его, то вспомните, что Витовт не за горами, и болота не щит Новугороду. Ваши леса склонятся мостом для моих бесстрашных; я пущу огнь и меч по вашей волости и подковами вытопчу нивы. Мой зять, а ваш государь седлает коня заодно со мною. Выбирайте: жду ответа!» Невнятное жужжанье негодования пронеслось в толпе народной. Один из старших посадников[11] проводил послов до посольского дома. Граждане, по обычаю, остались судить о слышанном. Епископ, после краткой молитвы, благословил всех на правое совещанье о святом деле родины. Все сановники удалились, ибо старинный закон запрещал им присутствовать на вечах, дабы уничтожить влияние власти. Как море, шумело собрание: разногласие волновало умы; наконец огнищанин Иоанн Завережский, муж правдивый, но миролюбный, взошел на ступени и громко спросил позволения вымолвить слово; ему позволили, и вот что говорил он:

«Народ и граждане, вольные люди новогородцы! Вы слышали предложение князей; вы чувствуете неправоту оного, и обидность угроз, и высокомерие княжее; но вы знаете меру сил своих, и теперь благоразумие должно начертать ответ наш. Дело состоит в разрыве с лифляндцами или в войне с могучими князьями, и мое мнение: избрать меньшее, первое зло из двух необходимых. Правда, от Ганзы получаем мы все прихотные товары, но жизненные потребности в руках Василия: он может пересечь нам и путь к Каменному Поясу, а без соболей что будет с нашей заморскою торговлею? Это еще не всё: немцы приятели нам только в гостином дворе и злодеи в поле: набеги их на границы наши от Невы и Великой тому порукою: за них ли, чужеземцев, прольем кровь братьев, наведем беды на отечество? И без того еще не встали из пепла села и монастыри и запольские[12] посады Новагорода, недавно принесенные в жертву, великодушно, но бесполезно. Прошлый раз Василий вооружил двадцать городов: теперь один Витовт приведет более, и тяжкая сила задавит волю. Не лучше ли ж до поры до времени уступить некоторые выгоды, чем вдруг потерять все?» — «Правда, правда! — закричали многие. — Куда нам ведаться с двумя сильными врагами?» — Тогда, кипя доса-

дой и гордым мужеством, Роман просил слова. «Говори!» — зашумели все. Роман говорил:

«Вольные местичи вольного Новагорода! Не дивно было, когда послы князей винили и стращали нас по-своему: дивлюсь, как новгородец мог предложить меры, столь противные пользам соотечественников! Мы поклялись управляться в делах церкви своим епископом; мы целовали крест на мир с рыцарями — ужели будем играть душою, чтоб угодить Витовту? Ужели новогородская совесть отдана в приданое за его дочерью? Недовольный клятвопреступством, он хочет и нас сделать предателями, требуя, чтоб мы выдали Василия и Патрикия на участь Скиригайла и Нариманта, им изведенных; но можем ли, захотим ли нарушить искони славное гостеприимство наше! Изменим ли заповеди евангельской, повелевающей прощать и благотворить врагам? Витовт, забрызганный кровью наших одноземцев, хвалится, что разил врагов Новагорода, пирует с зятем в Смоленске и вооружает его на немцев. Василий жалуется на них, чтоб обвинить нас, но от кого будет сам получать парчи, бархаты, сукна, оружие? Чрез какие ворота потекут в Русь искусства, рукоделия и все новые изобретения стран далеких? Через кого мы сами богаты и сильны? Разорвется узел торговли, и обедневший Новгород — верная добыча первому пришельцу. Вспомните, граждане, старинную пословицу: пустой мех стоять не может!» Громкие знаки одобрения заглушили речь Романа. Когда утихло, он продолжал:

«Говорят, что ключ от новогородской житницы в руках Василия; но разве нет хлеба за морем? Дорогою же к золотому сибирскому дну завладеть не легко: в Двинской области у нас есть войско, которое отстоит города, примышленные копьем в поле, а не поклонами в Орде; здесь найдутся люди, чтоб их выручить. Враги наши ужасны: зато в них нет единодушия: Витовт, роскошный на обеты и угрозы, любит греться у чужого пожара и теперь, собираясь громить монголов, не завяжется в битву с соседами. Василий могущ, опасен — тем сильнее должны ополчиться мы сами. Вам предлагают купить мир — временною уступкою прав своих и вечным стыдом родины. Граждане! разве не испытали вы, что уступки становятся чужим правом? разве серебряным лезвием отразили предки булат Андрея Боголюбского? Наш

колокол не дает спать в Кремле Василию: заснем ли мы под грозою? Или забыли замученных торжецких братий своих,[13] или нет в Новегороде сердец новогородских, иль не стало мечей, или мы разучились владеть ими? Пускай же восстают тьмы русских на своего прадеда, на Великий Новгород: за нас наша мать, святая София!»

Скоро окончилось вече, и каждый понес домой страх или надежду в сердце.

IV

Ах ты, душечка, красна девица,
Не сиди в ночь до бела света,
Ты не жги свечи воску ярого,
Ты не жди к себе друга милого!

Народная песня.

Стих, стемнел шумный Новгород; гасли огни в окнах граждан и чужеземцев: сон смежил очи заботы. Покойно всё на берегах Волхова: только ты не спишь и не дремлешь, прелестная Ольга! и сильно бьется сердце девическое, высоко воздымается грудь твоя: ожидание, страх и раскаяние тебя терзают. Любимая няня уже распустила ей русую косу, сняла с нее праздничные ферези, прочитала молитву вечернюю, спрыснула милую барышню крещенскою водою, осенила крестом постелю, нашептала над изголовьем и с наговорами благотворными ступила правою ногою за порог спальни. Добрая старушка! для чего нет у тебя отговоров от любви-чародейки! Ты бы вылечила ими свою барышню от кручины, от горести, от истомы сердечной. Или зачем сердце твое утратило память юности? Ты бы провидела страсть милой Ольги, заглушила б ее еще в цвету — советами и рассеянием. Но ты сама раздувала пламень, сама напевала ей песни Романовы, хвалила его нрав и стать. Беда юноше, когда ветреная красавица только думает, что его любит; горе девушке, если она любит неложно! В шуме боевой, походной жизни, с чужеземными красавицами забывает молодец прежнюю милую, но в тиши девичьего терема гнездятся томительные страсти, и любовь глубоко впивается в невинную душу. — Ах, зачем, добрая няня, ты не ведаешь отгово-

ров от любви-чародейки? Зачем старостью отуманились твои очи!

Но вот Ольга сбрасывает с себя жаркое одеяло и робкою белоснежною рукою осторожно отдергивает камчатные завесы полога — прислушивается; дыхание замирает в груди, блеск лампады перед иконою обличает волненье беглянки. Трепеща, надевает она соболью шубку и наконец — решается встать с постели: долго ищет ножкою по холодному полу туфлей сафьянных — каждый скрып половницы бросает ее в холод. Красавица отворила окно. Всё было мертвенно, тихо в окрестности, и месяц плыл в зыбких осенних туманах. Изредка слышался крик перепелки в нивах соседних; изредка бренчанье цепей на собаках, стерегущих немецкий гостиный двор, раздавалось по Михайловской улице. Нигде ни души. Нет условного знака, страшного и желанного вместе. Склонясь на руку, уныло смотрела Ольга на сверкающий вдали Волхов, и тоска по родине сдавила ее сердце. «Прости в последний раз, всё, что семнадцать лет меня радовало! Простите, добрые, милые родители!» Ольга залилась горючими слезами, и невольно упала на колена перед спасовым образом, и в теплой молитве излила свою душу. Страсти улеглись в ней постепенно, и постепенно ярчей слышался голос раскаяния: «Где найдешь ты покой, дочь ослушная, без благословения родителей, тобою убитых? Проклятие отца отяготеет над тобою; грызение совести и общее презрение будут преследовать тебя в жизни и заградят грешнице небо; ты истаешь слезами, иссохнешь в объятиях мужа. Чуждый песок засыплет глаза твои; твое имя надолго будет укором!» Тронутая Ольга молилась с новым благоговением, и благодать низлетела в ее сердце светлою мыслию. «Нет! не огорчу, не обесславлю побегом родителей! — сказала она с благородною твердостию. — Роман ослеплен любовью, но он меня послушает — я упрошу или оплачу любезного. Пусть буду несчастна: зато невинна!» Победа над собою пролила небесную отраду в утомленные чувства красавицы, и ангел сна осенил ее крылом своим. Покойся, душа непорочная! Ты не одну еще ночь встретишь тоскою бессонницы, не одно изголовье смочишь слезами, которых не осушит ни солнце, как росу, ни поцелуй сострадательной матери, ни самое время, и долго тебе ронять их на ветер, долго ждать друга милого!

V

Под звездным небом терем мой,
И первый друг мне — мрак ночной,
И мой второй товарищ ратный —
Неумолимый нож булатный;
Товарищ третий — верный конь
Со мною в воду и в огонь;
Мои гонцы неподкупные
Летуньи — стрелы каленые.

Старинная песня.

Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге Московской. Быстро, не озираясь, несся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны; тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвевал кудри Романа; широкие полы опашня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремена. Протяжный звон службы всенощной раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел: богородице дево, радуйся, и трижды склонялся к луке поклонами молитвенными. «Мучительно оставить милую, — мыслил Роман, — когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски, но, видно, бог не хотел союза тайного, неблагословенного: да будет воля его святая!» С думою на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает: то же самое было с Романом.

Долго ехал молодец по дороге-разлучнице; кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка; только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. На-

стала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности — ужасной ему, как песнь петуха, по преданию. Чего ж нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом!

Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный; громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову — по телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним, сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекачнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимый журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно: Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прял ушами, храпел, робко ступал, — но всё было тихо: Роман думал, что ему почудилось.

«Стой, или убью!» — загремел неведомый голос, и пять удальцов, выскочив из-за обрушенных пней из-под моста, заступили ему дорогу. «Прочь, бездельники!» — вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под уздцы его лошадь, покатился от сабельного удара. «Режьте его!» — воскликнули разбойники, и кистени засвистали вкруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих: пробиться и ускакать была его единственная надежда, но бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова: он с маху рванулся в бок, скользнул и полетел с мосту и там, на дне ручья, всей тяжестию тела придавил разбитого, бесчувственного всадника...

Светало. Вкруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники; на их браных медью поясах сверкали длинные ножи. Самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях; три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сум, полных добычею, дремал сторожевой с свистком в руке; атаман с завязанною головою лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту: вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опамятовался. «Где я?» — спрашивал он у самого себя. Как давно забытый, зловещий сон, мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вече, о любви, принесенной в жертву

отечеству, о вине пути своего, наконец со страхом схватился за грудь... на ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота, ему вверенного. Обморок снова охватил чувства Романа, испуганного сею важною потерею. Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано.

«Наказ тысяцкого и посадников новогородских боярскому сыну Роману Ясенскому! Добрые люди знают тебя за твою правду; мы уверены в твоей верности: мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай! Великий князь грозится на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избегнуть; к этому один путь — золото. Бояре московские, сдружась теперь с баскаками, любят стольничать добром народа. Собирают татарской рукою двойные подати, продают правду, обманывают князей и простолюдинов. Итак, спеши в Москву; никем незнаемый, ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонять на нашу сторону княжих сановников. Не жалей ни казны, ни красного слова; представь им несправедливость требований, неверность счастия в битве, силу Новагорода и упорство новогородцев. Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговоренный, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных: с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй всё собою. Спи и гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Ильмене, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайною запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ своя голова. Когда приложишь сердце к делу правому — святая София тебе поможет и государь Великий Новгород тебя не забудет. С богом!»

Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежащему без чувств Роману. Кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы — всё напрасно: смертный сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романе — мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его; он поднял отяжелев-

шие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем как другой его окуривал жженым опереньем стрелы. «Здравствуй, земляк!» — сказал радостно атаман, смягчая грубый свой голос. Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это, и сомнительный взор его остановился на приветствующем — и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст. «Понимаю! — возразил, усмехаясь атаман. — Тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой: не дивись этому; гонец новогородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новогородец! Но говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободрись, однако, добрый молодец! ты не в худые руки попал: я не век был разбойником». С сими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительною мазью его ушибы и потчевал вином кипящим. «Благодарю! — отвечал Роман. — Я еще не пью питья хмельного: оно для меня как яд». — «Ах, кому оно полезно! — сказал атаман, вздохнувши. — Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разума. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением; но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которое мог бы я встретить твои взоры своими, не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. Одиннадцать лет тому назад весь Людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливное море — но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело; я не мог снести бедности и правдивых укоров — ложный стыд повлек меня с вольницею новогородскою на берега Волги нечестным копьем добывать золота.[14]

Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей — умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новегороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам, добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев: шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов, Сальчей, заманил ее к себе, упоил, усы-

пил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощенье. Нас двое избегли побоища, и я с раскаянной совестию спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Димитрием кончилась, но не устал в новогородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостию, и три Софийские конца вооружились против концов Торговых; грозили друг другу, разметали мост Волховский; разграбили, срыли под корень домы бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Месть глубоко заронилась в оскорбленное сердце: как лютый зверь, стерег я по дебрям и оврагам своего злодея, — и он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастие. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувства человека. Мне всюду чудятся тени, и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи как глаза мертвеца, и, кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их! О, как тяжки мучения душегубца — он не может забыть ни былого, ни вечного будущего!» Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника. «Счастливец ты! — продолжал Беркут. — У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом». Он закрыл лицо руками. В безмолвной думе пролетел час рассвета.

Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса. Конь Романа кипел под седлом; Беркут прощался с гостем. «Вот твои письма! — говорил он, — и твое золото: оно невредимо. Спеши, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новогородская. Новогородцы лишили меня счастия в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом!» Роман поблагодарил атамана и, чудясь виденному и слышанному, выехал заглохшею тропою из чащи в сопровождении одного из разбойников.

VI

«Ты без союзников!»
Мой меч союзник мне
И согражда́н любовь к отеческой стране!

Озеров.

Три дни ждали ответа послы княжие; в четвертый позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано: посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы и народ толпились за ними; всё кипело, шумело, и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все четыре стороны — посадник Юрий дал знак, и жужжанье умолкло.

«Послы московские и литовские! По своей воле и старине мы совещались миром о предложениях государей ваших, и вот, что присудило вече в ответ им». Посадник разогнул и громко прочел грамоту:

«Великому князю Василию Димитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новогородских! Господин князь великий! у нас с тобою мир, с Витовтом мир и с немцами мир».

«Только! — примолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая оный изумленному москвитянину. — Князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, Великого Новагорода». Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескания. Ямонт обратился к народу: «Новогородцы! — сказал он. — Именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз: хотите ль покоя или брани?» — «Хотим дружбы со всеми соседами! — воскликнули тысячи голосов, — но имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов!» — «Война, война! — воскликнул разъяренный литовец, удаляясь, — и гибель области Новогородской!» — «Пусть Витовт творит, что хочет: мы сделаем, что должны!» — говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим.

«Новогородцы! Еще есть время одуматься: еще гром Василия не грянул над Новым-градом за строптивость, неправду и волжские раз-

бои ваши. Как отец, он ждет раскаяния сынов заблудших; как государь, накажет ослушников. Выбирайте любое: или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть Новугороду!» Упреки Путного раздражили народ: ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на крыльце и, горя негодованием, отвечал: «Москвитянин! вспомни, что ты говоришь не слугам князя; Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно: презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча — а что им сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой: для чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного?» — «Обидные речи! — воскликнул Путный. — Вы сторицей за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над Новым-городом!» — «Мы докажем, что не забыли ее! — зашумели все, — но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя Румянца.[15] Мы станем за свою правду, за свою старину, а кто против бога и Великого Новагорода!» — Московский посол удалился при буйных кликах народа.

VII

Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы?
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?

Батюшков.

Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели; редкие обозы тянулись по ним, и гордый новогородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татарином, который, спесиво избочась, скакал на грабленом коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными

по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви: расчетливые моголы не смели касаться святынь — сего последнего убежища угнетенного ими народа, которому оставили они одно имущество — жизнь, одно оружие — терпенье, одну надежду — молитву. Развращение нравов, эта ржавчина золота, не перешло еще от бояр к бедным: в дымных, покрытых соломою хижинах находил Роман гостеприимный ночлег, и радушное «добро пожаловать!» встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего, чем бог послал, и наутро провожали его как родного, от сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья! — думал грустный Роман. — Оно поманило мне надеждой, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночи». — На девятый день к вечеру показались башни Кремля, золотоверхие церкви и многоглавые соборы московские; заревые тени играли на великанских стенах города; слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение! Радостна, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву белокаменную, когда он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждою безделкой!.. а теперь, теперь!.. С тяжким вздохом проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала.

Роман в точности выполнил поручение веча. По долгу, но против сердца, казался веселым и приветливым, нашел друзей между сановниками двора, настроил могих своею мыслию, узнал мысли великого князя: они были нерадостны новогородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож: слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новогородцам с объявлением войны; но Роман заране предуведомил купцов новогородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя: товары их не были разграблены. Новогородцы радовались, Василий негодовал.

Прошла зима, и нет приказа от веча: Роман тщетно ждет, с ноющим сердцем, тайного гонца с родины.

Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Льстивые сновидения сближали его с милою; сладко билось сердце от поцелуя мечтательного — вдруг, сквозь сон, слышит он скрып двери, бренчанье оружия — чувствует, кто-то схватил его руки; силится встать — его вяжут, клеплют рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут; но куда? но зачем? Он приходит в себя уже в тесном, сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувства пленника, и силы души цепенеют. Всё кончено. Роман узнан: позорная казнь ожидает его.

Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю великого поста, а позабытый Роман всё еще глотал ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыта, недавно бывший княжим наместником в Новегороде, — и отступил от изумления. «Тебя ли, Роман, вижу я! — воскликнул он. — Когда и как ты сюда попался?» Роман рассказал, что его схватили как врага Москвы. «Сожалею о твоей участи, — молвил Сыта, — но, посланный великим князем творить за него по тюрьмам милость и милостыню, я могу испросить тебе свободу перед его исповедью, однако ж не иначе как с условием — остаться здесь навсегда. Послушай, Роман! я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценят в Новегороде. Здесь не то: даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями; сделаю больше: издавна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которою не раз и Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь, — продолжал он, протягивая руку, — не правда ли, старый знакомец?» — «Неправда! — отвечал Роман с хладнокровием. — Я не продам своей родины за все блага в мире, не хочу вести переговоров с врагами Новагорода, когда не в руках,

а на руках моих гремит железо! Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом, — нет, Евстафий. мне видно одна невеста — смерть, и одной милости прошу от князя: не морить, а уморить меня поскорее». — «Ты получишь ее, упрямая голова!» — с гневом сказал Сыта, хлопнув дверью. С гордою, утешительною мыслию: умереть за любовь и отечество, ждал Роман неминуемой смерти.

VIII

Как мне слушать пересудов всех людских?
Сердце любит, не спросясь людей чужих;
Сердце любит, не спросясь меня самой.

Мерзляков.

Быстро текут слова повести: не скоро делается дело. Прошла зима; лето исчезло, как утренняя тень; наступили вновь зимние вьюги, а Романа нет как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмене; уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова; всё оживает, всё радуется — одной Ольге нет радости! И кому же светел день сквозь слезы? кому не долги короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увядает краса милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердечной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья; напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями: она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу. С утра до позднего вечера она любит сидеть под окном светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав и слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет! он не может изменить, — говорила

с собою невинная, — потому что я любила его нежно и нераздельно. Кто не верит чистой любви, тот не достоин взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого: когда он жив, наглядеться на него; когда ж убит, — умереть на его могиле». Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко, ей в угоду, мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем. «Ольга! полно горевать, полно упрямиться! — не раз говорил ей Симеон. — Слезами не наполнить моря; живым безрассудно мертвить себя для умерших: твой Роман пропал без вести навеки. Забываю всё прошлое, но исполни теперь мою волю, порадуй отца на старости, ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне безродном! Выбирай... женихов именитых много!..» И Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосадован выходил Симеон из девичьего терема. «Это пройдет!» — думал он и обманывался, как прежде.

Наконец созрела гроза на Новгород: Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новогородского боярина Иоанна с братьями сделал изменниками отчизне. Послышав о том, новогородцы сзвонили вече. «Князь идет на нас: что делать?» — спросили сановники. «Предложить мир и готовиться к битве!» — воскликнули все единогласно. Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха: Василий принял их, но не хотел слушать. «Да будет! — сказали тогда оскорбленные новогородцы. — На начинающего бог». Обнялись, как братья, и под благословением епископа поклялись пасть до одного. Кликнули клич: люди житые поскакали во все пятины вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину Деревскую, как самую опасную по соседству с землями Московскими.

В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери. «Прощай, Ольга! — сказал Воеслав решительно. — Я еду на службу Новагорода: чему быть, того не миновать, но если бог судит воро-

титься — мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Волотом: он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, — очень богат! — примолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. — Понравился мне — и тебе полюбится. Готовься!» Отчаяние помрачилило взор Ольги: она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских; не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. Бедная девушка, какая участь ждет тебя?

IX

Крепка тюрьма, но кто ей рад!

Русская пословица.

«Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец жаворонок! как весело вьешься ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье! Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно за стеной тюрьмы видеть весну и жизнь и каждый миг ожидать смерти; слетай, жаворонок, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге: любит ли она Романа по-прежнему, помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине!» Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка. Спустилась ночь — и кто-то стукнул в косяк отдушины. «Спишь или нет, товарищ?» — шепотом спросили Романа. Роман отозвался, и на вопрос: «кто там?» отвечали: «В этот раз добрые люди». — «Зачем?» — «Спасти тебя от плахи». — «А эта цепь, эта решетка?» — «Распадутся, как соль, от нашей разрыв-травы». И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удальца разбили его рогатки; по веревке перелезли они чрез монастырскую стену, — на коней, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, ка-

кому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова.

Наконец они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся, и Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу: загадка Романова разгадалась.

«Здравствуй, земляк! — сказал атаман. — Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом: мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтобы не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребе вместо бочонка с золотом нашли они тебя, невзначай, да кстати; говорю кстати, потому что через три дни (это узнал я от болтливого приворотника) твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыбка: куда ж едем? Отдыхать ли в Новгород, или биться к Орлецу?» — «Туда, где мечи и враги!» — воскликнул пылкий юноша; они поворотили к области Двинской.

Оставя в стороне Дмитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицею за три часа езды до Орлеца, который с самой христовской заутрени был в руках изменников двинян, предводимых княжим наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. Двадцать всадников отдыхали на поляне; к копьям привязаны были кони; одни поили их из шишаков, другие лежали вкруг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу: никто не думал о страже; кольчуги развешаны были как будто сушиться, луки распущены и сабли сброшены в одно место; сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушивал их разговоры: пленный обратил речь к десятнику: «Скажи мне, добрый

человек, куда вы меня везете?» Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговою чаркою, оборотился к нему, зевнул вслух — и замолчал. «Неужто вы, москвичи, только умеете такать?» — продолжал пленник. «Когда бы и вы, упрямые новогородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы». — «Что же там со мной сделают?» — «Что сделают? Отправят на покой!» — сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву П на воздухе; ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался с самодовольным видом. «Беркут! — сказал Роман атаману, — спасем новогородца! Нет нужды, что их двадцать человек, а нас семеро: у страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на всё». Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком: «сюда, товарищи!» обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян: через мгновенье уже не было ни одного противника. Самые храбрейшие разбежались; другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал полоненного и узнал в нем — Симеона. «Добрый, великодушный юноша! — говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку, — я не стою тебя! Но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого: посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще двадцать верст и только остаток ночи: поспешим!» Роман с радости о битве и невесте перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою.

На рассвете полки новогородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьем. «У этого копья еще не выросло ратовье! — отвечали с насмешкою москвитяне. — Впрочем, милости просим; мы готовы — мечом охристосоваться с дорогими гостями». — «Вперед!» — воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы. Новогородцы лезли и падали

в тинистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы.[16] В это мгновенье приспели наши путники. «Други! — сказал Беркут разбойникам, — мы долго жили чужбиной без чести, — погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!» Он указал на московское знамя, веющее на крепости новогородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна: русские поражали и отражали русских; победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою — но подгоревшая твердыня рухнула, и витязь исчез в ее обломках...

Затихла битва. Труба новогородская прозвучала на отступленье. но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.

X

Отворяйся, божий храм!
Вы летите к небесам,
  Верные обеты!
Собирайтесь, стар и млад,
Сдвинув звонки чаши в лад,
  Пойте: многи леты!

Жуковский.

В Новегороде носились печальные слухи: говорили о какой-то несчастной битве, о погибели первейших воинов, о приближении войска княжего. Народ толпился по площадям; все спрашивали, многие сомневались, никто не знал истины.

В один из сих вечеров волнуемая страхом Ольга молилась за спасение отца от опасностей и невольно включала в молитву свою имя любезного. Вот слышит она бег коней по Михайловской улице, топот ближе и ближе, — пронеслись мимо сада; ворота заскрыпели, и два всадника взъехали на двор, слезли с коней и, к удивлению Ольги, привязали их к почетному кольцу.[17] «Это батюшка, батюшка!» Весь дом поднялся на ноги; огни забегали по сеням, и Ольга бросилась

в объятия отеческие. «Тише, тише! — говорил Симеон ласково, — ты задушишь меня своими поцелуями — не худо бы поберечь для твоего жениха!» Это приветствие как громом поразило Ольгу. «Милый батюшка! — говорила она, рыдая, — не делай дочь свою несчастною, избавь от постылого замужества; я в святом монастыре окончу дни свои и, может быть, умолю бога, что прогневила родителя». — «Полно, полно, Ольга, что за черные мысли? к чему такое притворство? Я бьюсь об заклад, что не пройдет и получаса, и ты будешь кружиться и петь, словно ласточка». — «Нет, никогда, ни за что!» — «Эй, дочь, не ручайся за свое сердце — да вот кстати и жених: он поможет развеселить несговорчивую!» Ольга вскрикнула и закрыла лицо руками, увидя входящего юношу; но скоро любопытство преодолело: сквозь пальцы, украдкой взглянула она на приезжего. Перед нею стоял Роман Ясенский.

«Обнимитесь, дети! — сказал Симеон, сложив руки их. — Благословляю вас на брак, живите мирно и счастливо и твердите своим детям, что бог, рано или поздно, награждает бескорыстную любовь!» Долго еще проповедывал Симеон, но влюбленные не слыхали ни слова, и долго б длился поцелуй свидания, когда бы отец не прервал их восторга и своего нравоучения.

Весь город праздновал на свадьбе Романовой с тем бо́льшим весельем, что победы доставили новогородцам выгодный мир с Василием, на всей их воле и старине. Ольга с гордостию шла под венцом подле Романа, и взор ее, брошенный на подруг, говорил: «Он мой!» — «Как мила невеста!» — шептали мужчины. «Какая прелестная чета!» — твердили все.

Молодые жили благополучно. Симеон, часто любуясь на их согласие, за шахматной доскою проигрывал брату коней и слонов, и добрый Юрий говаривал: «Брат и друг! не прав ли я в выборе?» и Симеон, с слезами умиления на глазах, отвечал: «Так я *был* виноват!»

А. Бестужев.

Примечания

* Течение моей повести заключается между половинами 1396 и 1398 годов (считая год с 1 марта, по тогдашнему стилю). Все исторические происшествия и лица, в ней упоминаемые, представлены с неотступною точностию, а нравы, предрассудки и обычаи изобразил я, по соображению, из преданий и оставшихся памятников. Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок. Предмет сей книги не позволяет мне умножить число пояснительных цитат, но читатели для поверки, могут взять 2-ю главу 5-го тома *Истории государства Российского, Карамзина; Разговоры о древностях Новагорода, преосвященного Евгения* и *Опыт о древностях русских, Успенского.*

[1] Так назывались на Руси турниры. См. 5-й том Ист. гос. Рос. Карамз., примеч. 251.

[2] Брак сопровождаем был в старину множеством обрядов: перед выездом в церковь жених и невеста ступали на ковер; под венцом стояли на соболе; по приезде в дом жениха невесте расплетали косу, которой уже не могла она показывать. Во время пира подруги молодой пели приличные песни. При входе в спальню новобрачных осыпали хмелем и деньгами, чтоб они жили весело и богато. Постель стлалась на 39 снопах разного жита, и один из дружек с саблею в руке должен был разъезжать всю ночь кругом брачной клети или сенника.

[3] *Твердислав* был посадником новогородским в 1219 году. О его великодушии смотри Ист. гос. Росс. Карамз., том 3, стран. 172.

[4] Тамерлан, или Тимур, с московского пути обратился на юг России, как пишут современники, в самый тот день (26 авг. 1395 года), когда москвитяне встретили сию чудотворную икону, нарочно из Владимира привезенную. — Ист. гос. Росс., том 5, стр. ‹144—145›.

[5] Рюэнь — сентябрь.

[6] Военно-торговое общество братьев *Шварценгейптеров*, существовавшее в Ревеле и Риге, в гербе своем имело голову с. Маврикия, который был мавр по роду и воин по званию.

[7] *Пятигорцы* — род легкой кавалерии на образец венгерских пятигорцев. См. Opis starozitny Polski przez T. Swieckiego.

[8] *Прильбица* — шлем, а иногда наличник (visière).

[9] *Самопалы* — пищали или ружья. Витовт употреблял огнестрельное оружие при осаде Витебска в 1395 году. У нас вошло оно в употребление немного позже.

[10] Здесь Витовт говорит о Василии Иоанновиче, князе смоленском (который, видя свое владение изменою захваченное, Смоленск сожженный и разграбленный, бежал от братоубийцы Витовта в Новгород) и литовском князе Патрикии, сыне Нариманта, которому новогородцы дали в управление приневские области.

[11] Действительный посадник назывался *степенным*, прежние посадники *старшими*. Каждый конец, или часть города, имел своего *старосту*, делился на военные и торговые *сотни*. Первейшие *местичи*, или граждане, назывались *огнищанами* и *житыми людьми*. В *боярское* достоинство, равно как во все должности, избирал народ миром, т. е. обществом; но оно не было наследственным. Простой или черный народ пользовался одинакими правами с прочими сословиями. Купцы, или *гости*, имели свою особую расправу — в думе.

[12] *Запольские* — загородные.

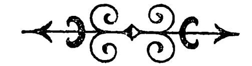
[13] Первая торговая и смертная казнь была при Димитрии Донском. Василий усугубил ее. Пленных граждан Торжка, числом 70 человек, терзали на площади московской. «Они исходили кровию в муках; им медленно отсекали руки и ноги и твердили, что так гибнут враги государя московского». Ист. Г. Р. Кар., том 5, стр. 135.

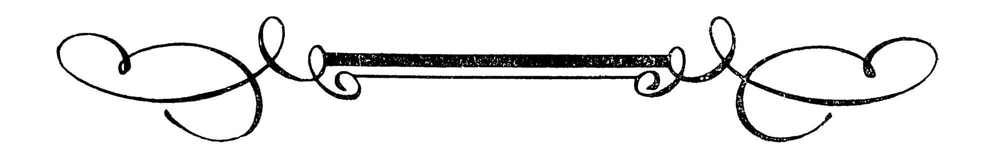
[14] Это было в 1385 году. Привыкнув грабить области рыцарей меча, новогородская вольница отправлялась в лодьях (ушкуях) по рекам и грабила чужих и своих.

[15] *Румянец*, вельможа Борисов, присоветовал ему впустить Василия в Нижний и предал своего прежнего князя в руки сего последнего.

[15] *Стрикусы, пороки* — стенобитные орудия, род таранов (bélier).

[17] На двор именитого человека мог въезжать только ему равный или высший, — если верить песням. В коновязном столбе бывали всегда три кольца: одно железное, другое серебряное, третье золотое.





КОРЗИНКА

Идиллия, из Геснера

Ириса

Я всё с корзинкой вижу Хлою?

Хлоя

Ты правду говоришь: она всегда со мною;
Я не отдам ее ни за десять овец!

(Со вздохом прижимает корзинку к груди своей и потом вдруг переменяет разговор.)

Мы снова красных дней дождались наконец.

Ириса

Но отчего ж, я б знать хотела,
Тебе корзинка так мила?
А! знаю!.. точно так, вот ты и покраснела.

Хлоя

Кто? покраснела? я?

Ириса

Ты искренней была;
К чему притворствовать с друзьями?
Притом же мы теперь одни.

Хлоя

Ну, так и быть, скажу, — но это между нами —
Корзинку подарил Аминт прекрасный мне!
Он, видно, плел ее на диво:
Взгляни, как хорошо пруточки трех цветов
Здесь перемешаны на крышке и с боков,
Как ручки сделаны красиво!
Признайся, что она мила!
Куда б я ни пошла —
В лес, в поле, в огород — корзиночка со мною!
Те розы для меня душистее, алей,
Те ягоды вкусней,
Которых наберу с корзинкой дорогою!
Но ах, сказать ли все!.. Ириса! милый друг!
Я... иногда... я иногда целую
Мою корзинку дорогую!
Да и нельзя: Аминт единственный пастух!

Ириса

Благодарю тебя за искренность такую;
Теперь уж ничего сама не потаю:
Я видела, как он корзинку плел твою.
Ах, если б знала ты — я о тебе жалею —
Что пел Аминт, трудясь над нею? —
Но согласись, ведь мой Филон
Ничем его не хуже.
Какие песенки выдумывает он!
Да лучше спеть тебе... Вот, например, хоть ту же,
Которую вчера, когда он с поля шел...

Хлоя (*перерывая ее*)

Но что же пел Аминт, когда корзинку плел?

Ириса

Сначала пропою я песенку Филона.

Хлоя

Да не длинна ль она?

Ириса

Нет, слишком коротка.
«Приятно (пел Филон) смотреть. как с небосклона
Заря вечерняя деревья, облака
И воды блеском осыпает,
Но, ах, приятней во сто крат
Ирисы говорящий взгляд,
Когда она тайком мне руку пожимает!
Не столько весело жнец поле оставляет,
Сложив снопов последний ряд, —
Как я иду домой с усталыми стадами,
Украдкой поцелуй Ирисы получив!»

Хлоя

Прекрасно! что ж Аминт? какими он словами...

Ириса

Он у реки сидел в тени кудрявых ив;
Я мимо шла, и вдруг...

Хлоя

Но что ж ты замолчала?

Ириса

Вдруг голос пастуха знакомый услыхала...

Хлоя (*перерывая*)

Ах, для чего тут не случилась я?

Ириса *(продолжает)*

Он пел: «Корзиночка моя!
Я подарю тебя любезной, доброй Хлое,
Пастушке — розе красотой.
С какою милой простотой,
Когда на днях в лесу мы встретилися двое,
Она сказала мне: А! здравствуй, пастушок!
И посмотрела так приятно,
Что стало мне с тех пор понятно,
Зачем всегда на ней любимый мой цветок.
Смотрите ж, прутики! послушнее сгибайтесь,
Сгибаясь, не ломайтесь,
Плетитесь в добрый час.
Ничем бы Хлоя так меня не наградила,
Когда почаще бы носила
Мою корзиночку с собой».

Хлоя

Прощай же; побегу!

Ириса

Куда?

Хлоя

Куда, я знаю,

Аминт пасет овец за этою горой:
Я к стаду подойду, собачку приласкаю,
И если будет он тогда невдалеке,
Скажу ему: «Взгляни: корзинка на руке!
Она подарена тобою:
Так как же не носить всегда ее с собою?»

Панаев.

НА СМЕРТЬ ***

Сельская элегия

Я знал ее: она была душою
Прелестней своего прекрасного лица.
Живым умом, мечтательной тоскою,
Как бы предчувствием столь раннего конца,
Любовию к родным и к нам желаньем счастья.
Всем милая, она несчастлива была, —
И как весенний цвет, рацветший в дни ненастья,
Она внезапно отцвела.
И кто ж? любовь ей сердце отравила!
Она неверного пришельца полюбила:
На миг ее пленяся красотой,
Он кинулся в объятия другой
И навсегда ушел из нашего селенья.
Что, что ужаснее любви без разделенья,
Простой, доверчивой любви!
Несчастная, в душе страдания свои
Сокрыв, самой сестре не поверяла,
И грусть безмолвная и жаждущая слез,
Как червь цветочный, поедала
Ее красу и цвет ланитных роз.
Как часто гроб она отцовский посещала!
Как часто, видел я, она сидела там
С улыбкой, без слезы роптанья на реснице,
Как восседит Терпенье на гробнице
И улыбается бедам.

Барон Дельвиг.

СЧАСТИЕ ВО СНЕ

Дорогой шла девица,
С ней друг ее младой:

Болезненны их лица
  И полон взор тоской;
Друг друга лобызают
  И в очи и в уста,
И снова расцветают
  В них жизнь и красота!..
Минутное веселье!
  Двух колоколов звон...
Она проснулась в келье,
  В тюрьме проснулся он.

Жуковский.

ЦВЕТЫ

Спешите в мой прохладный сад,
Поклонники прелестной Флоры!
Здесь всюду манит наши взоры
Ее блистающий наряд.

*

Спешите красною весной
Набрать цветов как можно боле:
Усей цветами жизни поле!
Вот мудрости совет благой.

*

По вкусам, лицам и годам
Цветы в саду своем имею:
Невинности даю лилею,
Мак сонный приторным мужьям.

*

Душистый ландыш полевой
Друзьям смиренным Лизы бедной;

Нарцисс несчастливый и бледный —
Красавцам, занятым собой.

*

В тени фиалка, притаясь,
Зовет к себе талант безвестный;
Любовник встретит мирт прелестный;
Спесь барскую — надутый князь.

*

Дарю иную госпожу
Пучком увядших пустоцветов,
Дурманом — многих из поэтов,
А божьим деревом — ханжу.

*

К льстецам, прислужникам двора,
Несу подсолнечник с поклоном;
К временщику иду с пионом,
Который был в цвету вчера.

*

Злых вестовщиц и болтунов
Я колокольчиком встречаю;
В тени от взоров сокрываю
Для милой розу без шипов.

Князь Вяземский.

МУЖИК И МАНЕЖНАЯ ЛОШАДЬ

Притча

Досталась Мужику манежная Лошадка.
Мужик с ней возится день целый до упадка,
А толку нет!
Лишь только на нее — лансад или курбет,
Иль пустится в галоп, или в карьер помчится,
И всадник мой — как сноп валится.
«Что делать? — Видно мне беды не миновать
С такой мудреною скотиной!» —
Сказал Мужик, и — так хватил дубиной,
Что школьную — извольте поминать!

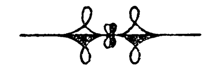
Когда бы мужичок сам ездить поучился,
Лошадки б не лишился.

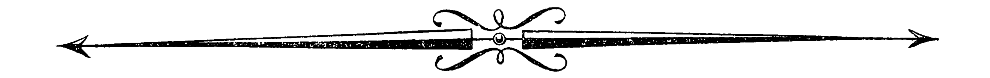
Остолопов.

ЭПИГРАММА

Один Фаон, лезбосская певица,
Тебе враждой путь к морю проложил;
Другой Фаон, по смерти твой убийца,
Тебя в стихах водяных потопил.

К. Вяземский.





ВОЕННАЯ ШУТКА

Невымышленный анекдот

Переход был невелик, и мы к самому полудню пришли на растах в город Делич, лежащий в нескольких милях от Лейпцига. Полк спешился на рынке перед ратушей, и квартиргеры раздавали билеты поэскадронно. «Прекрасная квартира! — сказал мне мой унтер-офицер, подавая билет. — Вам достался лучший дом во всем городе: хозяин, богатый аптекарь, живет, как принц, а племянница его, красавица во всем смысле слова, поет, как малиновка, и играет на фортепиано искуснее, нежели наш тромпет-мажор на своей серебряной трубе. Только квартира назначена для двух офицеров, и от вас зависит выбрать себе товарища. Притом я должен предуведомить вас, что хозяин, кажется, не очень нас жалует. Показывая мне комнаты, он что-то бормотал: Franzosen, Polacken, immer Quartier, когда я выходил из дому, то он хлопнул дверью и проворчал: schwere Noth! Я не обращал на это внимания потому, что мне некогда было с ним ссориться; но вы верно его образумите». — «Хочешь ли квартировать со мною? — спросил я у поручика Лието. — Ты слышал великолепное описание нашего жилища с заманчивым прилагательным к существительному, т. е.: красавица в богатом доме». — «Изволь, я готов! — отвечал мне Лието, — но с тем условием, чтоб ты не играл на твоем рассохшемся кларнете, не стрелял в комнате из пистолетов и не кормил за одним столом с нами своего андалузского жеребца». — «Соглашаюсь на условия, — сказал я, — но и ты должен исполнить предлагаемые мною.

Когда, по своему обыкновению, будешь сидеть запершись в своей комнате и мечтать о твоей без вести пропавшей Дульцинее, позволь мне, тобою, как сибирским медведем, постращать хозяев, для удовлетворения всех гастрономических моих потребностей». — «Делай, что хочешь!» — возразил Лието. «Быть по сему!» — сказал я; и мы оба направили путь к нашей квартире.

Поместив наших лошадей, мы пошли в назначенные для нас комнаты. Мой товарищ остался вверху и занялся чтением своих любовных писем, а я, переодевшись в новый мундир, сошел вниз познакомиться с моими хозяевами. Здесь я должен сделать маленькое отступление и уведомить моих читателей, что я имел обыкновение на всякой квартире объявлять себя принадлежащим к сословию моего хозяина. Квартируя, например, у немецкого барона, я сказывал, что принадлежу к фамилии, производящей род свой от Леха и Чеха с братьею. У мельника я назывался сыном мельника, у купца — купеческим сыном и так далее, стараясь притом по возможности вникать во все подробности их занятий, употребляя в разговорах тьму технических выражений, в которых при помощи карманного словаря я не имел недостатка. Эта военная хитрость, без сомнения, не споспешествовала выигрышу сражений, но, по крайней мере, доставляла мне и товарищам моим вкусный стол, доброе вино и фураж для лошадей, что составляет важный предмет для странствующих рыцарей, у которых обыкновенно более аппетита и потребностей, нежели денег и философии.

Таким образом и теперь я рекомендовался сыном аптекаря из Варшавы, что нас несколько сблизило между собою; начался разговор, в котором я истощил мою память, приводя названия всех микстур и порошков, о которых мне случалось слышать в моей жизни. Наконец, желая возвысить состояние аптекарей, я начал рассказывать об уважении, которым пользуются аптекари в Польше, прибавив, что в древние времена они имели право избирать королей и даже сами быть избираемы. Я ссылался на хронику (несуществующую в мире) и уверял его, что один аптекарь в награду за исцеление византийского императора получил удельное княжество в Карпатских горах, а другой аптекарь конечно был бы избран королем польским, если б

во время выборов не был отозван пустить кровь жене покойного короля: тогда противная партия, воспользовавшись отсутствием претендента, избрала на престол седмиградского князя. Аптекарь чистосердечно верил моим басням и, приняв важный вид, горделиво расхаживал по комнате, с улыбкою поглядывая на жену и племянницу, которые, как мне казалось, не столь были легковерны.

«Я думаю, — сказал аптекарь, — что вы разделите со мною скромный мой обед и пригласите в наше общество вашего товарища». Слово: скромный обед, тотчас заставило меня начать предположенную мною шутку. «Избави вас бог, — отвечал я, — от встречи с моим приятелем. Это зверь — не человек, разбойник — не воин, вспыльчив, как порох, привязчив, как шпанская муха, и за один неприятный взгляд готов превратить в пепел несколько городов: сила его превосходит человеческую, и если б не выдумка аптекаря Бартольда Шварца, пред которою бы смирился и сам неукротимый Ахиллес, то мой товарищ был бы в состоянии побить целую армию. В полку называют его белым медведем, и полковник нарочно велит мне квартировать с ним, чтобы я, зная его нрав, мог предохранять добрых хозяев от напастей». Тут я приметил, что женщины начали беспокоиться, и продолжал: «Если б я вам стал рассказывать анекдоты о моем приятеле, то вы подумали бы, что я в самом деле читаю отрывок из естественной истории о белом медведе. Например, однажды в Испании он щелчком убил своего хозяина, заметьте, доктора медицины и хирургии, за то, что он рассмеялся, когда мой приятель опрокинул за столом солонку. В другой раз, в Италии, он выбросил за окно целое семейство вместе со всеми домашними приборами за то, что вино показалось ему кислым. Но я не буду скучать вам рассказами о похождениях моего товарища, а советую только быть с ним осторожным». — «Но есть ли средство усмирить вашего товарища?» — спросил аптекарь. «Ничего нет легче! — отвечал я. — Хорошим обедом и парою бутылок доброго бургонского вина вы усыпите его, как приемом двух унций опиума. После вкусного стола он смирен, как ягненок, за гостеприимство готов работать для вас как Геркулес в доме царя Авгиаса и целые сутки толочь антимонию или другой твердый материал в самой тяжелой аптекарской иготи». — «Слышишь

ли, Маргарита? — сказал аптекарь жене своей, — надобно перестряпать обед, и я прошу тебя употребить всё свое искусство, чтоб удовольствовать наших гостей; что же касается до вина, то я смело могу уверить вас, что и сам французский император не пьет лучшего бургонского, какое у меня находится в погребе».

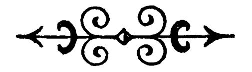
Хозяева занялись приготовлением нашего обеда, а я завел разговор с прелестною племянницей и был обворожен ее познаниями в литературе, скромностию и вежливостию. Время скоро прошло для меня в сей приятной беседе, и я даже досадовал, когда мне дали знать, что стол накрыт и товарищ дожидается меня к обеду в нашей комнате. «Ты, верно, напроказничал на мой счет, — сказал мне Лието, когда я вошел, — служанка, накрывая стол, дрожала от страха, и на все мои вопросы отвечала одними книксенами, не будучи в состоянии промолвить ни одного слова», — «Я тебя представил настоящим каннибалом, но зато угощу тебя сего дня лучше, нежели Великий Могол угощает Далай-Ламу. Из благодарности, не взирая на неистощимую твою верность к своей Дульцинее, ты должен начать трапезу здоровьем прекрасной племянницы аптекаря, красавицы, какой мне не случалось видеть на пути от Торнео до Лиссабона». — «Я не очень верю твоим похвалам, — возразил Лието. — Ты почти на каждом переходе находишь первых красавиц в мире; однако ж готов выпить за здоровье дамы». — «A propos! неужели ты поныне не имеешь известия о местопребывании твоей невесты?» — спросил я моего приятеля. «Странный случай тому виною! — отвечал он. — После моего обручения я поехал во Францию к моим родителям, на пути переведен в ваш полк, и должен был немедленно отправиться в Испанию. Я тотчас писал об этом в Магдебург, к матери моей невесты, но, не получая ответа, отнесся к тамошнему коменданту, который уведомил меня, что вскоре после моего отъезда г-жа Редер с своею дочерью уехала в Богемию для получения наследства после своей сестры и что никто не знает, в каком именно городе она находится. Не зная о моем переводе в другой полк, ни о моем путешествии в Испанию, они, без сомнения, продолжают писать в старый мой полк, и, таким образом, письма ходят по Франции, Германии и Испании, а я терзаюсь чрезвычайным беспокойством, полагая, что невеста моя может усомниться

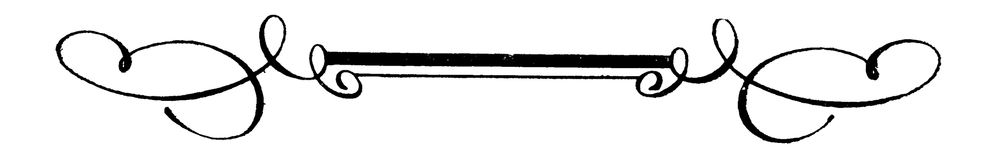
в моем характере. Наконец я прибегнул к последнему средству: объявил о себе во всех немецких газетах и ожидаю последствий». — «При сем случае, — сказал я, — предлагаю тебе два тоста: во-первых, по принадлежности за здоровье твоей невесты, а во-вторых, на память Гуттенберга, изобретателя книгопечатания, без которого ты был бы принужден, подобно рыцарю печального образа, скитаться по свету для отыскания своей красавицы, сражаться с властителями замков, ломать копья и кости на турнирах и кончить жизнь от любви у подножия какой-нибудь башни. Книгопечатание избавляет тебя от сего труда и опасностей и за несколько франков объявляет твой адрес всем и каждому, кому о сем ведать надлежит». — «Выпьем же за упокой бывшей Венециянской республики, — сказал развеселившийся мой товарищ, — которой мы обязаны введением в употребление газет». Мы чокнулись стаканами и, встав из-за стола, обнялись сердечно. Лието пошел прогуливаться в сад, а я отправился к моим хозяевам. «Доволен ли ваш товарищ?» — спросили меня в один голос аптекарь и жена его. «Как нельзя больше, и теперь не худо было бы позвать его в наше общество». — «Ради бога, не делайте этого!» — воскликнули мои хозяева, и даже прекрасная племянница усердно просила меня, чтоб я избавил их от присутствия моего дикаря. «Как вам угодно! повинуюсь вашей воле, но зато прошу вас пропеть что-нибудь». Прелестная девица села за фортепиано и едва окончила первый куплет известного романса: Je t'aime tant, как вдруг прогуливавшийся в саду Лието подбежал к окну, взглянул и, закричав, как исступленный: это она! бросился опрометью к дверям. Девица была почти без чувств и только могла вымолвить: Эдуард! мой Эдуард! и уже Лието лежал у ног ее. Нужно ли сказывать, что я тотчас понял загадку? Но представьте себе положение аптекаря, который, находясь в заблуждении насчет моего товарища, дрожал от страха, как осиновый лист, и лишь только Лието показался в дверях, упал на софу и зажмурил глаза. Добрая хозяйка спряталась за меня, и все в безмолвии ожидали окончания сего явления. Тогда я, возвысив голос, обратился к аптекарю с следующею речью: «Милостивый государь! Товарищ мой — жених вашей племянницы, избранный ее матерью. Клянусь вам честию, и племянница ваша подтвердит мою

клятву, что, считая от первого воина в роде человеческом до господина Лието включительно, не было человека скромнее, честнее и благороднее его. Басня моя о мнимом его зверстве есть сеть, которою я хотел вытащить лучшее вино из самого темного угла вашего погреба. Признаюсь, что наши военные шутки иногда подтверждают пословицу: кошке игрушки, а мышке слезки; при всем том мы люди честные и не намеревались ничем вас обидеть. Теперь вся история кончилась: извините меня и благоволите подтвердить согласие сестры вашей и выбор вашей племянницы!»

Мы обнялись чистосердечно с добрым аптекарем, и он охотно простил мне мою уланскую шутку. Я оставил доброе семейство наслаждаться своим счастием и побежал к полковнику, чтоб рассказать ему наше приключение и просить отпуска для Лието. Полковник весьма любил его и, не могши дать ему отпуска, по той причине, что перемирие приближалось к окончанию, откомандировал его в полковое депо в Стразбург, позволив остаться в Деличе пятнадцать дней для уведомления будущей своей тещи. Можно себе представить, сколь велика была радость любовников, когда я принес приказ полковника! Прожив с ними три дни, я отправился с полком в кампанию и, два года спустя, в Париже увиделся я с Лието и его супругою, которые приняли меня как родного в своем доме. В дружеской беседе мы посмеялись, вспомнив нашу шалость в доме честного аптекаря, и все собеседники согласились, что во время военных постоев случаются часто такие происшествия, которые могут служить предметом не для одной комедии.

Ф. Булгарин.





МСТИСЛАВ УДАЛОЙ

Ф. В. Булгарину

Как тучи с гор, текли косоги;
Навстречу им Мстислав летел.
Стенал поморья брег пологий,
И в поле гул глухой гремел.
Уж звук трубы на поле брани
Сзывал храбрейших из полков;
Уж храбрый князь Тмутаракани
Кипел ударить на врагов.

*

Вдруг, кожею покрыт медведя,
От вражьих отделясь дружин,
Явился с палицей Редедя,
Племен косожских властелин.
Он к войску шел, как в океане
Валится в бурю черный вал,
И стал, как сосна, на кургане,
И громогласно провещал:

*

«Почто кровавых битв упорством
Губить и войско и народ?
Решим войну единоборством:

Пускай за всех один падет!
Иди, Мстислав, сразись со мною:
И кто в сей битве победит,
Тому владеть врага страною
Или отдать ее на щит!»

*

— «Готов!» — князь русский восклицает —
И, грозный, стал перед бойцом
С коня — и на курган взлетает
Удалый ясным соколом.
Сошлись, схватились, в бой вступили...
Могущ и князь и великан!
Друг друга стиснули, сдавили;
Трещат... колеблется курган!..

*

Стоят — и миг счастливый ловят;
Как вихрь крутятся... Прах летит...
Погибель, падая, готовят,
И каждый яростью кипит...
Хранят молчание два строя,
Но души воинов в очах:
Смотря по переменам боя,
В них блещет радость или страх!

*

То русский хочет славить бога,
Простерши длани к небесам;
То вдруг слышна мольба косога:
«О! помоги, всевышний, нам!»
И вот князья, напрягши силы,
Друг друга ломят, льется пот...
На них, как верви, вздулись жилы!
Колеблется и сей и тот...

*

Глаза, налившись кровью, блещут,
Колена крепкие дрожат,
И мышцы сильные трепещут,
И искры сыплются от лат...
Но вот — Мстислав изнемогает!
Он падает!.. конец борьбе!..
«Святая дева! — восклицает, —
Я храм сооружу тебе!..»

*

И сила дивная мгновенно
Влилася в князя... он восстал,
Рванулся бурей разъяренной,
И новый Голиаф упал!
Упал — и стал курган горою...
Мстислав широкий меч извлек
И, придавив врага пятою,
Главу огромную отсек.

Рылеев.

МОИ ВОЖАТЫЕ

Ко мне прекрасные девицы,
Как гости, с ласкою, пришли
И повели меня младые
С собой в зеленые луга. —
Тогда весна ласкала землю,
Всё пело радость, всё цвело.
Ручьи как будто говорили,
Шептали с кем-то дерева;
Заря, как пламя, разгоралась
На дальней синеве небес,
И ароматный теплый вечер
Меня кропил своей росой,
Как милая любви слезами...

Ходили долго мы в лугах;
Всё было ровно перед нами:
Я не видал стремнин и гор...

*

И привели меня девицы
В палаты пышные с собой:
И сами белыми руками
Мне постилали мягкий одр
И сожигали ароматы
Кругом в кадильницах златых;
И подносили мне в покалах,
Как радость, светлое вино,
И тихо милые шептали:
«Усни, счастливец молодой!
Будь верен нам, мы будем долго
Тебя лелеять и беречь!» —
И я уснул — и в сновиденьи,
Ничем не связанный, как мысль,
Лечу, несытый, в поднебесной
Из царства в царство — и везде
Меня ласкали, мне сулили
Богатство, счастье и покой,
И я, как гость в пиру роскошном,
Из полной чаши радость пил
И таял в неге... вдруг раздался
Летящей бури страшный свист...
Мне показалось, своды неба
Упали с треском надо мной! —

*

И я проснулся!.. О превратность!
Еще не верю я глазам...
Где вы, обманщицы младые?
Где светлый дом, где пышный одр,
Где сердцу милые обеты?..

Всё было сон: — я на скале,
Нависшей над пучиной черной,
Лежал, один, в глубокой мгле!
Ужасно море клокотало,
И яркой молнии бразды
Ночное рассекали небо,
И, полосами, по волнам,
Как змеи, с свистом, пролетали...

*

Как мразом стиснутый поток
Я цепенел... власы вздымались;
В стесненных жилах стыла кровь
И замирала грудь... Но кто-то
Меня могущею рукой
Отвлек от пропасти кипящей:
Я стал свободен... я спасен...
И он шепнул мне, мой спаситель:
«Слепец! ты над пучиной спал!
И ты погиб — когда поверишь
Еще *Надеждам* и *Мечтам*!..»

Ф. Глинка.

СОН

Заснув на холме луговом
  Вблизи большой дороги,
Я унесен был дивным сном
  Туда, где жили боги!
Но я проснулся наконец
  И смутно озирался:
Дорогой шел младой певец
  И с пеньем удалялся;
За рощей скоро скрылся он —

Но струны всё звенели...
Ах! не они ли дивный сон
Мне на душу напели!

Жуковский.

ВДОХНОВЕНИЕ

Сонет

Не часто к нам слетает вдохновенье,
И краткий миг в душе оно горит;
Но этот миг любимец муз ценит,
Как мученик с землею разлученье.
В друзьях обман, в любви разуверенье
И яд во всем, чем сердце дорожит,
Забыты им: восторженный пиит
Уж прочитал свое предназначенье.
И презренный, гонимый от людей,
Блуждающий один под небесами,
Он говорит с грядущими веками;
Он ставит честь превыше всех честей,
Он клевете мстит славою своей
И делится бессмертием с богами.

Барон Дельвиг.

К N... N...

Когда из глубины души моей угрюмой,
Где грусть одна живет в тоске немой,
Проступит мрачная на бледный образ мой
И осенит чело мне черной думой;
На сумрачный ты вид мой не ропщи:

Мое страдание свою обитель знает;
Оно сойдет опять во глубину души,
Где, нераздельное, безмолвно изнывает.

Гнедич.

ЗОЛОТАЯ СТРУНА

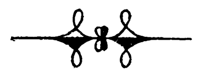
Басня

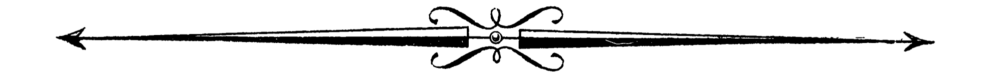
(Из Патрю)

На лире порвалась струна —
Обыкновенная была она.
Вот навязали вмиг другую,
Однако не простую,
А золотую!
И лира начала блистать;
Но стали как на ней играть,
Не та уже была гармония, что прежде.

Не дай бог с умными быть знатному невежде!

А. Измайлов.





НЕЗНАКОМЫЙ ЗНАКОМЕЦ

Великолепное освещение сияло из растворенных окон. Длинные лучи живописно отражались в сумраке росистой зелени ароматного сада. Прекрасно взошла, весело любовалась собою в серебряном зеркале реки и тихо закатилась молодая луна, но никто не заметил ее! Восхитительно пел за ближним холмом соловей: никто не слыхал его! Гости заняты были картами и бальною музыкою. Уже приметно колебались от приятной усталости белые груди красавиц; ленивее двигались смычки; тусклее сияли давно зажженные свечи. За карточными столами рассчитывались, а на других столиках, в ближней зале, появились вкусные блюда.

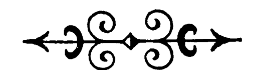
Ночь к рассвету, а пир к концу; зазвенели стаканы, закипело шампанское... и он вошел. — Всё было его: скорая, дерзкая походка, видный рост, что-то особенное в приемах и черты лица... Я не умею описать их: они беспрестанно изменялись. Он подошел к хозяину, к хозяйке, как свой, и проворно пошел искать знакомых между гостей. Того за руку, тому поклон; другому взгляд значительный, слово полупонятное. Знатные гости, маркизы и бароны, платили пришельцу за привет приветом: для него напенивали бокалы, ему подносили лучшие блюда. Дамы потчевали его фруктами. Только дети, по какому-то невольному чувству, чуждались для них неприветного гостя: он еще не был им знаком. Но ему не до детей: он щедро рассыпал поклоны и приветствия вельможам и дамам, и светские девушки твердили в один голос: «Как он мил!» Но кто этот он? — спросил один гость у другого; другой у третьего, и так все далее. На все вопросы был один ответ: «Не знаем!..» Никто не хотел сказать ни

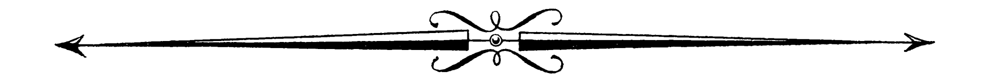
места — где, ни времени — когда с ним познакомился. Мы видим его всякий день на булеварах, в театре: он вхож в домы... но никто не называл его настоящим именем, как будто остерегаясь открыть, что его знает, а между тем всякий с ласкою ему кланялся, потому, что все делали то же. — Начались опять танцы: он приправлял их какою-то особою ловкостию, — все ласкались к незнакомому знакомцу. Он сеял огонь и заразу в словах и взглядах. В стороне сидела одна гостья, не обращая на себя особого внимания. Не первая по молодости, не первая по красоте, она по всему была единственная. Стройный рост, грудь спокойная, как дитя под пеленою колыбельною; темные глаза, в которых светилось чувство ясной души, в которых часто сверкали чистые слезы любви и участия; лицо, на которое также весело было смотреть, как слушать о благородном подвиге, как утешаться сиянием весенней радуги: вот черты красоты, не для всех прекрасной! Многие считали ее простою, деревенскою женщиною, но зато немногие называли ее несравненною. Пред ее непринужденною скромностию увядали пылкие желания, и расцветало сердце новою, святою жизнию. В порывах дерзкой вольности никем не названный незнакомец обратился в ту сторону, где сидела прелестная. Его беглый горячий взгляд встретился с ее постоянным взором: так вспыхнувший над гнилым болотом огонь встречается с сиянием занимающейся денницы... Смятенный, как узнанный преступник, остался нем и неподвижен. Казалось, очарование его зависело от одной минуты: обличенный, он потерял свою дерзость и пошел с поникшей головою, как хищник с неудачной ловитвы.

Пригожий молодой человек, наследник богатого имения (у которого сердце было — книга с белыми листами, а лицо — начатый абрис какой-то физиогномии), большими ясными глазами, которые, однако ж, ничего не говорили, смотрел на продолжение пира и терялся в каких-то неясных мечтаниях... Он был в таком возрасте, когда люди приходят к первому распутию жизни. Учитель сказывал ему, что есть две дороги: одна к добродетели, другая к пороку... «Ты будешь мой!» — сказал с жаром незнакомец, схватил его за руку и повел в дальние комнаты. Они дружески расхаживали, напенивали бокалы и с каким-то беспокойным чувством смотрели на

картины и бюсты. Угрюмый Катон не обратил их внимания; с презрительною улыбкою указал незнакомец на бюст Фенелона и, с жаром ему свойственного красноречия, порицал равнодушие молодого человека при взгляде на лицо прелестной Аспазии. — В суете общего разъезда, никем не замеченный, он умчал его с собою... И после (был слух) неосторожные родители плакали о судьбе потерянного сына.

Ф. Глинка.





ФРАНЦУЗСКИЕ ЧУДАКИ

(Отрывок из письма к А. Р. Ш.......му, о нравах и обычаях французов нашего времени)

Париж. $\frac{15}{27}$ февраля, 1820.

...Чудаков и много и мало во Франции. В обширном смысле их очень много, ибо французы имеют довольно странностей в характере: по большей части они беспечны, доверчивы, суетны, опрометчивы; любят мешаться в чужие дела и забывают о собственных; усомнятся в неоспоримой истине и поверят нелепой басне; оставят известное и прочное и бросятся искать неизвестного и неверного. Француз, одаренный природным умом, но рассеянный и легкомысленный, часто делает смешные, даже глупые вопросы; часто рассуждает о предметах важных и высоких поверхностно и ложно; часто даже действует вопреки здравому смыслу. Но француз не застрелится оттого, что он слишком счастлив и что ему жить очень весело; не запрется в темной комнате и не станет питаться сухоядением, чтобы не иметь нужды в посторонней помощи; не поселится на Сионской горе, чтоб разводить нарциссы, или на берегу Нила, чтобы воспитывать хамелеонов. Разница между странностями французов и англичан есть та, что странности первых происходят от пылкости характера, не дающего им времени обдумывать; у вторых они суть последствие холодного рассуждения и какой-то упрямой расчетливости, какого-то дикого эгоизма, побуждающего их выискивать способы чем-либо отличиться.

Рассеянность и легкомыслие французов бросаются в глаза чужестранцу. Мне смешно было видеть целые толпы народа, собравшиеся около прудов Тюльерийского сада после первого мороза * и нетерпеливо ожидающие, когда лебеди пойдут по молодому льду, чтобы позабавиться, как они будут скользить и падать. Другие толпы наклонялись до самой земли и с любопытством глядели сквозь тонкий, прозрачный лед, желая видеть, так ли весело плавают золотые рыбки (дорады) под льдом, как на поверхности воды в теплую погоду! Сотни людей простояли всю ночь на мостах парижских, ожидая, как Сена будет вскрываться. Льдом охватило одну барку подле берега между Pont neuf и Pont des arts, и вот бесчисленное множество зевак стеклось смотреть на барку, судить о том, как ее высвободить, и вслух подавать советы, из коих многие отличались своею странностию и нелепостью. Публичные листы, угождая вкусу народному, наперерыв толковали о сем происшествии, как о чем-нибудь важном. Мы, северные жители, не могли удержаться от смеха, читая сии статьи, ибо лед был так тонок, что небольшого труда стоило обрубить его вокруг топорами и вытащить барку на берег. Полиция принуждена была прибить на улицах объявления и поставить жандармов у берегов реки, чтобы не допускать любопытных переходить по ломкому льду, потому что многие из них проламывались и некоторые сделались жертвами неуместного своего любопытства.

В тесном смысле чудаков между французами весьма немного. Там более общего в характерах, и странности их, можно сказать, народные. Никто не смеет отличаться странностями необыкновенными. Каждый знает, что отличась неудачно, сделается посмешищем народа, а быть смешным в Париже — почти то же, что умереть позорною смертью. Однако ж и у них были и есть чудаки особого рода, пренебрегшие общественным мнением. Г-жа Севинье рассказывает нам о маркизе Помменаре, который хохотал во всё горло, видя, как его портрет вешают на виселице, хотя та же самая честь была б оказана и его особе, если б его узнали; о Бранкасе, который своею беспеч-

* В январе 1820 года, когда морозы простирались до 13 градусов, и река Сена стала на несколько дней.

ностию не уступал милорду Ваттену (What-then), столь забавно описанному Вольтером в Принцессе вавилонской. Вам, конечно, известны тысяча и одно дурачество маркиза Брюнуа, страстного любителя похорон и процессий.* И теперь еще живет во Франции (или по крайней мере жил очень недавно) один чудак, который странностями своими заслуживает стать наряду с первостатейными чудаками английскими. Расскажу вам некоторые забавные черты его характера и анекдоты, но, из уважения к памяти знаменитых предков, умолчу его имя.

Дюк***, пер Франции, человек с весьма просвещенным умом и добрым сердцем, отличался истинно-диогеновскими странностями. Одевался всегда вопреки годовому времени и погоде, и притом очень неопрятно. В ноябре и декабре месяцах (самых мокрых и грязных во Франции) видали его в летнем нанковом забрызганном платье, как будто он мел улицы. Путешествовал он всегда пешком, — для здоровья, по словам его, — с суковатой палкою в руке и чемоданом за плечами; ел, что попадалось, скрывал свое имя и звание, отчего часто с ним бывали самые забавные приключения.

Однажды, наскуча Парижем и шумными его веселостями, вздумал он побывать в Италии, посмотреть древнюю столицу мира. Вздумал и сделал: дожди и ветры французские попеременно его мочили и продували; жгущее солнце полуденное пекло: ничего! Он благополучно прошел чрез Невер, Мулень, Роанн — и везде оставлял по себе память какою-нибудь нелепостию. Наконец добрался он до Лиона, остановился в гостинице и узнал, что там же стоит один итальянский князь, возвращающийся в Рим и желающий найти себе передового. Наш дюк и пер является, вступает в службу итальянского князя и скачет уже верхом перед каретою его светлости, отказавшись на время от удовольствия идти пешком. Переехали через гору Ценис, проскакали Турин, Милан, Флоренцию: вот уже вдали забрезжился купол церкви св. Петра, засинелись гора Квиринальская и остатки скалы Тарпейской. Путешественники наши въезжают, приехали!

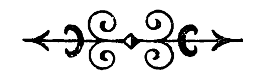
* Глупости сего чудака описаны в особливой книге под заглавием: Les folies du Marquis du Brunoy. Paris, 1805, 2 vol. in 12.

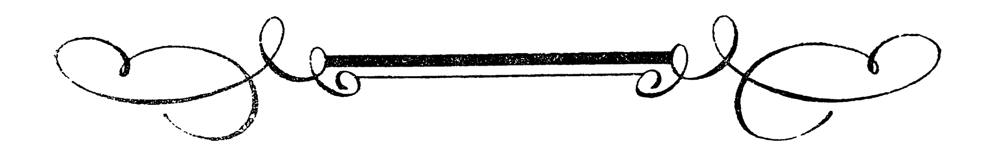
Итальянский князь останавливается в своем дворце (palazzo); благородный пер не оставляет службы и помещается там же — в людских. За столом с лакеями он не изменяет себе: ест за троих, пьет вволю и спит на одной постеле с кучером. Однако ж на другой день свежие мысли вытесняют у него из головы вчерашнее: он заснул передовым итальянского князя — проснулся дюком и пером Франции. Со всем тем он не хочет еще оставить своего *инкогнито;* одевается почище и является к богатому банкиру М***, от которого должно ему получить по векселю значительную сумму. Берет свои деньги, выходит и на лестнице встречается с его светлостию, своим господином. «Где ты был?» — спрашивает его князь. «У банкира М***». — «Что тебе делать у банкира?» — «Я справлялся об одном деле, которое поручили мне в Лионе перед отъездом в.<ашей> св.<етлости>. — «Хорошо! ступай же домой». — «Иду, сударь!» Пошел, но, не заходя в дом князя, нанимает себе квартиру в другой части города и ищет новых приключений.

Е. св. заходит к банкиру и спрашивает, зачем к нему приходил его передовой. «Я не видал и не знаю вашего передового!» — отвечает удивленный банкир. «Как! не сей час ли я встретил его на крыльце? не сказал ли он, что был у тебя?» — «Клянусь честью, в. св. ошиблись». — «Неужели ты не видал человека в таком-то платье?» — «Видел; только это не ваш человек». — «Он сам! я сию минуту с ним говорил». — «Человек, о котором вы изволите говорить, может быть, похож на вашего слугу; только уверяю вас, что это не он: это дюк Д***, пер Франции, один из самых богатых тамошних вельмож, и приходил сюда получить по векселю тысячу скудий». — «Неужели?» — «Точно так, в. св.!»

Его светлость не мог опомниться от удивления: в ту же минуту вышел и всеми мерами старался отыскать дюка, но не тут-то было! С тех пор он сделался для него невидимкою.

О. Сомов.





ПРЕЛЕСТЬ УЖАСА

Отрывок из III песни Делиллевой поэмы: Воображение

Скажи мне, почему предметы хороши,
В чем их пленительность? В потребности души
Быть раздражаемой. Тревога, мрак с грозою
Нас ужасающей прельщают красотою.
Не замечал ли ты, как любит человек
Смотреть на зарево, или, взойдя на брег,
Взирать на бунт стихий, на кораблекрушенье;
Как с сладким трепетом он смотрит на сраженье!
Я знаю, что, любя нас радующий свет,
Философ прочь бежит от зрелища сих бед;
Но я, я как поэт к их ужасам привязан
И как мудрец их здесь изобразить обязан:
Хочу на страшные их прелести взглянуть,
Гор огнедышущих к жерлу направить путь,
Приблизиться градов погибших к пепелищу
И к полю битв — людей обширному кладбищу.
С боязнью сладкою бросаю взгляд с горы
На спящий ратный строй, на пушки, на шатры.
На шлемы светлые, на ряд штыков блестящий,
От солнечных лучей, как яркий жар, горящий:
Убранство пышное, блеск погребальный сей
Битв безобразие скрывают от очей.
И страшный час пробил: перун по холмам грянул,

Как бурный океан, смятенный стан воспрянул,
И понял к битве знак нетерпеливый конь,
Но обучен скрывать, как ратники, огонь,
Ржет, скачет на дыбы, кипит от нетерпенья
И ждет от всадника послушно мановенья.
Раздался звук трубы — он мчится, он летит,
И брызжет кровь с песком из-под его копыт.
Блеск стали, молнии сверканье, громов рокот;
В ответ им скал, лесов и гор протяжный грохот,
Лесов, где сельских был доселъ приют богов
И раздавалися лишь песни пастухов.
Воображение с горящими очами
И с распущенными по ветру волосами
Теряется в рядах, в лесу штыков, мечей,
Под пылью, скрывшею свет солнечных лучей.
В дыму и пламени, по трупам падших бродит
И мне живописать сей страшный вид приходит,
Дух брани, весь в крови, ко славе вопиет,
И светлый призрак сей летит ему вослед —
И смерти ужасы цветами украшает.
Всяк ждет — и встречу к ней, убит иль убивает.
Ряд смял противный ряд, сечется меч о меч.
И бомбы лопают, и сыплется картечь.
Внимай, как вопиют убийцы, стонут жертвы!
Смотри, как оттолкнул копье врага полмертвый,
Как сей, пронзенный в грудь, для мук живет еще,
Как молит и друзей, и недругов вотще,
По собственной крови скользя, у состраданья
Он смерти требует — мук страшных окончанья,
И сею милостью обязан грабежу.
О! если воев здесь угасших разбужу
И вопрошу у них о младости счастливой,
Что скажут мне они? Один расстался с нивой,
Другой с невестою, сей кинул отчий дом,
Тот брата и сестру, надежду зревших в нем,

А тот приятные забавы сельской жизни.
Но слышите ли глас зовущей вас отчизны?
К мечам, товарищи! грудь в грудь, рука с рукой,
Ударим, разорвем густой противных строй,
Умрем иль выручим из рук врагов, из пламя
Свое кровавое, разорванное знамя!
О воин молодой, ты гибнешь в цвете лет!
Ах, сколько мать твоя горячих слез прольет!
Плачь, дружба и любовь! вы, зодчество, ваянье,
Поставьте мавзолей в его воспоминанье. —
Так грозным зрелищам войны, имеет власть
Воображение дать собственную страсть,
Характер, действие и меру отдаленья,
Разнообразить их, усилить впечатленья,
Растрогаться, грустить иль гневом воспылать,
Клясть славу иль для ней храм пышный воздвигать.
Оно по прихоти героями играет,
Полубогами их, бичами представляет,
И говорит в слезах, смотря на пепел сёл:
«Иль мало было нам природой данных зол!»
Когда б с волканами природы смел я ныне
Волканы сердца слить в одной живой картине!
Пошел, приближился к огромным сим горам,
К подземным сим, под льдом таящимся огням,
Еще ужаснейшим, чем ярой битвы поле!
Там воины летят на смерть по доброй воле!
Опасностью самой их храбрость возжена;
Смерть безобразная в блеск славы убрана
И лаврами черты чела ее покрыты.
Здесь жалкий человек без славы, без защиты
Стихиям в добычу! волн пламя, ветров гнев,
Трус, раздирающий земли утробу, рев,
Летящий бурею огонь, зола и камень,
Из ада до небес столпом встающий пламень.
Горящие ручьи, в долинах, на горах

И бегство жителей, и их гонящий страх.
А между тем в градах главы церквей, шатаясь
И с треском о верхи чертогов ударяясь,
Обрушиваются в горящее жерло.
Чье око осмотреть и выдержать могло
Сие великое и грозное явленье?
По краю пропастей бродя, Воображенье
Одно места сих кар дерзает созерцать,
Со страхом гневную природу вопрошать:
Бюффона с Плинием ведет на их стремнину,
Дарит художествам ученую руину.
С ним в глубь клокочущей и мрачной бездны сей
Я погружаюся, хочу узнать от ней
О всем, что серные здесь поглотили гробы.
Быть может, некогда, я мышлю — из утробы
Волкана явятся опять на белый свет
Сокрытые на дне от взоров столько лет
И смертных и богов изящные жилища,
Судилища, врата, театры и гульбища,
Медь бранноносная, железо алтарей
И злато с именем и образом царей.
  По бесприютному, безрадостному полю,
Где лава протекла, хожу, смотрю — и волю
Воображению даю расчислить я
То время дальнее, когда сии поля,
На коих селянин нигде не зрит угодья,
Неплодие отдаст вновь в руки плодородья.
Без тени, без плодов здесь много лет пройдет,
И поколений ряд бесчисленных минет.
Так, ежели корысть, и наглость, и коварство
До основания поколебали царство,
Законы, нравственность, искусство, долгий труд
Мгновенно падают, веками восстают:
Потухнувший волкан еще для нас ужасен!
Но тщетен ропот наш! Закон судьбы прекрасен

И утешителен: и здесь добро из зла!
Сия созревшая богатая земля
Одета гроздами и жатвою отличной —
И платит за труды оратаям сторично.

Воейков.

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОДРУГ

Сказка

Две дамы встретились в рядах.
«Ах!
Прасковья Марковна! Вы ль это?»
— Я, Анна Дмитревна; вот нынешнее лето
Из Твери приплыла. — «Ах, боже мой! лет пять
Мы с вами не видались!
Привел же бог увидеться опять».
(Тут три раза они поцеловались.)
«Как рада я! .. но как переменились вы!
Ужасно похудели!»
— И вы не очень подобрели. —
«Конечно, замужем?» — Увы!
Четвертый год... — «А кто супруг ваш?» — Крючкотворец,
Советник Праволов; богат, но страх как скуп!
Ревнив! .. — «А у меня и стар и глуп
И к этому же стихотворец!»
— Я в заперти живу, не вижу и людей;
Взгляну ль в окно — и он шумит, кричит, ругает... —
«А у меня такой злодей:
И день и ночь всё мне стихи свои читает».
— Скажу вам: муж мой ведь вдовец;
Он был женат, не знаете ль? на Ленской,
И уморил ее! — «А мой-то молодец
Двух жен отправил уж к смоленской.

Представьте: первая сошла совсем с ума;
  В чахотку он вогнал вторую;
  Не знаю, право, и сама,
  От виршей чувствую тоску такую...»
— Смотрите! вслед за мной ревнивец мой бежит;
  Не даст поговорить мне с вами! —
«И мой вон тащится!.. Душа так и дрожит...
  Ах, боже мой, и со стихами!»

Ревнивец прибежал. — «Парашенька, друг мой!
Как ты замешкалась! Пора, пора домой.
  Что ж стала?» — Не браните:
Я встретилась вот здесь с подругою моей;
  Пять лет мы не видались с ней,
А вместе выросли... — «Как рад я!.. извините...
  Рекомендуюсь вам... имею честь...
    Однако же часов уж шесть...»
    — А у меня посланье есть!
    (Вскричал, к ним подошедши,
    Рифмач седой и сумасшедший.)
Анюта, знаешь ли? тебе я написал
    Прелестный мадригал!
Послушай... — «Батюшка! да постыдись народу
И дай с знакомыми ты мне поговорить».
    — А смею вас, сударь, спросить
    Читали ли вы оду
На погребение Вавилина купца?
  У Холмогорского певца
Ей богу! нет такой! Войдемте в эту лавку:
Я оду вам прочту, да притчей пять в прибавку. —
Сказал и за ворот советника схватил,
    А тот хоть изумился,
Но за руку жену с собою потащил.
    Народ пред лавкою столпился:
И по гостиному двору прохода нет.

Бессовестный поэт
Что силы есть стихи читает,
Жена напрасно унимает,
Купец из лавки выгоняет,
Сиделец головой качает —
Он ничего не примечает,
А всё читает да читает
И от себя ревнивца не пускает.
Тот всё молчал, молчал,
Но напоследок закричал:
Ой! караул! — и побежал.
Рифмач за ним — кричит: *держи! держите!*
Я притчей не читал еще, а вы бежите,
И оба скрылися из глаз. —

«Ну, матушка! таких проказ,
(Прасковья Марковна сказала)
Ей-богу, я не ожидала!
Мой Петр Кондратьевич ревнив,
Взыскателен, сварлив;
Но всё сносней, чем ваш мучитель».
А есть — в Пекине — сочинитель,
Престрашный метроман,
Ревнив так, как султан —
Женат, к несчастию! Вот, прямо муж тиран!

А. Измайлов.

УТЕШЕНИЕ

Светит месяц; на кладбище
Дева в черной власянице
Одинокая стоит,
И слеза любви дрожит
На густой ее реснице.

«Нет его! на том он свете!
Сердцу смерть его утешна!
Он достался небесам!
Будет чистый ангел там —
И любовь моя безгрешна!»

Скорбь ее к святому лику
Богоматери подводит;
Он стоит в огне лучей —
И на деву из очей
Милость тихая нисходит.

Пала дева пред иконой,
И безмолвно упованья
От пречистыя ждала...
И душою отошла
Неприметно в мир свиданья.

Жуковский.

КЛИМЕНЕ

Понятна мне, любезная Климена,
Внезапная красы твоей измена!
Я разгадал и потупленный взор,
И прерванный невольно разговор,
И скорби вздох, тобой полусокрытый...
Покинули сестру свою хариты —
И заступил их дружество при ней
Властительный и хладный Гименей.
Не возвратят годины улетевшей
Ни жалобы любви осиротевшей,
Ни дружбы глас! — Мы все обречены
Однажды в жизнь узнать красу весны,
Расцвесть на миг — и после, до могилы,
Влачить свой век томительно унылый.

Плетнев.

МИЛОЙ ДЕВЕ

Другим судьба послала милый дар
Пленять твой ум, пленять твое бесстрастье,
Угадывать твой потаенный жар
И похищать души твоей участье;
Пускай других с тобою нежит счастье,
Пускай, тебе покорствуя, они
Забудут мир, желания, измену
И в долгие прекрасной жизни дни
Младой любви твоей познают цену.
Без зависти, смиренный до конца,
Их тайный друг, твой обожатель тайный,
Я буду ждать, что лаской, хоть случайной,
Когда-нибудь ты наградишь певца.

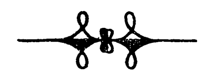
В. Туманский.

ЭПИГРАММА

Из Ж. Б. Руссо

Злой клеветник, враг чести, льстец ехидный,
Пустившись смысл на рифмах теребить,
Расчел умно; барыш тут очевидный:
Сносней вралем, чем низким плутом слыть! —
Мне мнится, он вам говорит с поклоном,
Вы, коим дан шутливым Аполлоном,
Насмешки дар и острого словца:
«Я вас прошу, меня себе в забаву
Пустите в свет под вывеской глупца,
Чтобы хоть тем мою поправить славу».

Князь Вяземский.



ВЕЧЕР НА БИВУАКЕ

... Едва проглянет день.
Каждый по полю порхает,
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.
Конь кипит под седоком,
Сабля свищет — враг валится,
Бой умолк — и вечерком
Снова ковшик шевелится.

Давыдов.

Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницей. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и клики солдат, фуражиров, скрып колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана. ***-го гусарского полка эскадрону имени подполковника Мечина досталось на аванпосты. Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну, офицеры расположились вкруг огонька пить чай. После авангардного дела, за круговою чашею, радостно потолковать нераненому о том, о сем, похвалить отважных, посмеяться учтивости некоторых перед ядрами. Уже разговор наших аванпостных офицеров приметно редел, когда кирасирский поручик князь Ольский спрыгнул перед ними с коня. «Здравствуйте, други!» — «Добро пожаловать, князь! насилу мы тебя к себе залучили: где пропадал?» — «Спрашиваются ли такие вопросы? Обыкновенно перед своим взводом, рубил, колол, побеждал.

однако и вы, гусары, сегодня доказали, что не на правом плече ментик носите: объявляю вам мою благодарность. Между прочим, вахмистр! прикажи выводить и покормить моего Донца: он сегодня ничего не кушал, кроме порохового дыма». — «Послушайте-ка, ваше сиятельство». — «Мое сиятельство ничего не слышит и не слушает, покуда не выпьет глинтвейну, без которого ему ни светло, ни тепло: давайте скорее стакан!» — «Изволь! — сказал ротмистр Струйский. — Но знай, что эта чара заветная: за нее ты должен приплатиться анекдотом». — «Хоть сотней! за ними дело не станет: я весь слеплен из анекдотов, и расскажу вам один из самых свежих, со мной случившихся. За здоровье храбрых, товарищи!

«Как-то недавно у нас не было дни в три ни крошки провианту. Кругом, по милости вашей и казацкой, стало чисто как в моем кармане, а на беду тяжелую конницу фуражировать не пускают. Что делать? голод тем более умножался, что во французской линии слышалось гармоническое мычанье быков, которое плачевным эхом раздавалось в пустом моем желудке. Рассуждая о суете мирской, лежал я, завернувшись буркою, и грыз сухарь, так заплесневелый, что над ним можно бы было учиться ботанике, так черствый, что его надо было провожать в горло шомполом. Вдруг блеснула во мне пресчастливая мысль. Сейчас же ногу в стремя — и марш. „Куда, — спросили меня, — едешь ты на своей бешеной Бьютти?“ — „Куда глаза глядят“. — „Зачем?“ — „Умереть, или пообедать!“ — отвечал я трагическим голосом, дал шпоры и, показывая вид, будто меня занесла лошадь, пустился птицею и скрылся из глаз изумленных моих товарищей. Они считали меня погибшим. Проскакав русскую цепь, я навязал на палаш платок, который в молодости своей бывал белым, и поехал рысью. „Qui vive?“ — раздалось с неприятельского пикета. „Parlementaire russe!“ — отвечал я. „Halte là“. Ко мне подъехал унтерофицер с взведенным пистолетом. „Зачем вы приехали?“ — „Поговорить с начальником отряда“. — „Для чего же без трубача?“ — „Его убили“. Мне завязали глаза, повели пешего — и через три минуты я уже по обонянию угадал, что нахожусь подле офицерского шалаша. Добрый знак! — думал я: счастливый как тут к обеду. Снимают повязку — и я очутился к компании полковника и человек осьми конно-

егерских французских офицеров: малый я не застенчивый. — „Messieurs! — сказал я им, поклонясь весьма развязно, — я не ел почти три дня, и зная, что у вас всего много, решился по рыцарскому обычаю положиться на великодушие неприятелей, и ехать к вам на обед в гости. Твердо уверен, что французы не воспользуются этим, и не захотят, чтобы я за шутку заплатил вольностью. Да и много ли выиграет Франция, если завладеет конным поручиком, которого все знания и действия очерчиваются концом палаша?“ Я не обманулся: французам моя выходка понравилась как нельзя больше. Они пропировали со мной до вечера, нагрузили съестным мой чемодан, и мы расстались друзьями, обещая при первой встрече раскроить друг другу голову от чистого сердца». — «Не из печатного ли это?» — спросил, усмехаясь, штабс-ротмистр Ничтович, который слыл в полку за великого критика. «Да хотя бы из печатного — для тебя оно все-таки должно быть новостью!» — отвечал Ольский. «А после какого дела это случилось?» — «После того самого, где ты ранен был — в сапог». Штабс-ротмистр запил пилюлю, и напрасно теребил усы, ища ответа на ответ — на этот раз остроумие его осеклось.

«Не расскажет ли нам чего-нибудь Лидин?» — сказал подполковник, обращаясь к молодому офицеру, который в рассеянности курил давно погасшую трубку. «Нет, подполковник! мне нечего рассказывать. Мой роман занимателен для меня одного, потому что обилен только чувствами, а не приключениями. И признаюсь вам: теперь вы разрушили самый великолепный воздушный мой замок. Мне мечталось, что я за отличие уже произведен в штаб-офицеры, что я сорвал Георгия с неприятельской пушки, что я возвращаюсь в Москву, украшен ранами и славою; что троюродный мой дядя, который старее Дендерского зодиака, умирает от радости, и я, богач, бросаюсь к ногам милой, несравненной Александрины!» — «Мечтатель! мечтатель! — сказал Мечин, — но кто не был им? кто больше меня веровал в верность и в любовь женскую? Я расскажу теперь случай моей жизни, который тебе, милый Лидин, может послужить уроком, если влюбленные могут учиться чужою опытностью, — для вас же, примолвлю, друзья мои, что это будет история медальона, о котором я давно обещал вам рассказать: послушайте!

«Года за два до кампании княжна София S. привлекала к себе все сердца и лорнеты Петербурга: Невский бульвар кипел вздыхателями, когда она прогуливалась; бенефисы были удачны, если она приезжала в театр, и на балах надобно было тесниться, чтобы на нее взглянуть, не говорю уже танцевать с нею. Любопытство заставило меня узнать ее покороче; самолюбие подстрекнуло обратить на себя внимание Софии, а ее любезность, образованный ум и доброта сердца очаровали меня навсегда. Впрочем, говорят, и я верю, что любовь прилетает не иначе, как на крыльях надежды — я недаром в княжну влюбился. Вы знаете, друзья, что природа влила в меня знойные страсти, которыми увлекаюсь в радости — до восторга, в досадах — до исступленья или отчаяния. Судите ж, каково было мое блаженство при замеченной взаимности! Я забредил идиллиями; мне вообразилось, что одинокая жизнь несносна, тем более, что родители Софии смотрели на меня благосклонным взором. Со мною жил тогда первый мой друг, отставной майор Владов, человек с благородными правилами, с пылким характером, но с холодною головою. „Ты дурачишься, — не раз говорил он мне, в ответ на мои восторги, — избирая невесту из блестящего круга. У отца княжны более долгов и прихотей, чем денег, а твоего именья не надолго станет для женщины, привычной к роскоши. Ты скажешь: ее можно перевоспитать на свой образец, ей только 17 лет от роду; но зато сколько в ней предрассудков от воспитания! Всё возможно с любовью! твердишь ты, но кто ж уверит тебя, что княжна вздыхает от любви, а не от узкого корсета, что она глядит в глаза твои для тебя, а не для того, чтоб глядеться в них самой? Поверь мне, что в ту минуту, когда она так нежно рассуждает об умеренности, о счастии домашней жизни, — мысли ее стремятся уже к дамскому току или к карете с белыми колесами, в которой блеснет она в Екатерингофе, или к новой шали, для показа которой тебя затаскают по скучным визитам. Друг! я знаю твое раздражительное от самых безделок сердце — и в княжне вижу прелестную, прелюбезную женщину, но женщину, которая любит жить в свете и для света, и едва ли пожертвует тебе котильоном, не только столичною жизнию, когда расчеты или долг службы позовут тебя в армию. За упреками настанет убийственное равнодушие, и тогда —

прости, счастье!“ — Я смеялся его словам, однако ж изведывал наклонности Софии, и каждый день находил в ней новые достоинства, и с каждым часом страсть моя возрастала. Между тем я не спешил объяснением: мне хотелось, чтобы княжна любила во мне не мундир, не мазурку, не острые слова, но меня самого без всяких видов. Наконец я в том уверился и решился. Накануне предполагаемого сватовства я танцевал с княжною у графа Т. и был радостен, как дитя, упоен надеждою и любовью. Один капитан, слывший тогда за образец моды, досадуя, что София не пошла с ним танцевать, позволил себе весьма нескромные на ее счет выражения, стоя за мною, и довольно громко. Кто осмеливается обидеть даму, тот возлагает на ее кавалера обязанность мстить за нее, хотя бы она вовсе не была ему знакома. Я вспыхнул и едва мог удержать себя до конца кадриля, услышав его остроты на счет княжны. Объяснение не замедлило. Г. капитан думал отыграться шутками, говорил, что он не помнит слов своих. „Но я, м. г., по несчастию, имею очень счастливую память. Вы должны просить на коленях прощения у моей дамы, или завтра в десять часов волею и неволею увидитесь со мною на Охте“. Вам известно, что я не охотник до пробочных дуэлей: мы стрелялись на пяти шагах, и первый его выстрел, по жеребью, положил меня замертво. Какой-то испанский поэт, имени и отчества не упомню, сказал, что первый удар аптекарской иготи есть уже звон погребального колокола: пуля вылетела насквозь в соседстве легких; антонов огонь грозил сжечь сердце, но, вопреки Лесажу и Мольеру, я выздоровел с помощью лекарей и пластырей в полтора месяца. Бледность лица очень мила, но чтобы не показаться княжне мертвецом, я умерил на несколько дней свое нетерпенье и, уже оправясь, полетел верхом к князю на дачу. Сердце мое билось новою жизнию: я мечтал о радостной встрече моей с Софиею, о ее смущенье, об объяснении, о супружестве, о первом дне его... Полный восторгов надежды, взбегаю на лестницу, в переднюю залу — громкий смех княжны в гостиной поражает слух мой. Признаюсь, это меня огорчило. Как! та София, которая грустила, если не видала меня два дни, веселится теперь, когда я за нее слег в смертную постелю! Я приостановился у зеркала. послышалось, будто упоминают мое имя, говорят о Дон-Кишоте;

вхожу — молодой офицер, склонясь на спинку стула Софии, рассказывал ей что-то вполголоса и, как кажется, весьма дружески. Княжна нисколько не смутилась: спросила меня с холодной заботливостью о здоровье, обошлась со мною, как с старым знакомцем, но видимо отдавала преимущество своему соседу: не хотела понимать ни взглядов, ни намеков моих о прежнем. Я не мог придумать, что это значит, не мог вообразить вины такой обыкновенной холодности — и напрасно искал в ее взорах столь милой досады, делающей сладостным примирение: в них не было уже ни искры, ни тени любви. Иногда она украдкою бросала на меня взгляды, но в них прочитал я одно любопытство. Гордость зажгла во мне кровь, ревность разорвала сердце. Я кипел, грыз себе губы, и боясь, чтобы чувства мои не вырвались речью, решился уехать. Не помню, где скакал я по полям и болотам под проливным дождем, — в полночь воротился я домой без шляпы, без памяти. „Жалею тебя! — сказал Владов, меня встречая, — и, прости укор дружбы, не предсказал ли я, что дом князя будет для тебя ящиком Пандоры? Однако ж на сильные болезни надобны сильные лекарства: читай!“ Он отдал мне свадебный билет — о помолвке княжны за моего соперника!.. Бешенство и месть, как молния, запалили кровь мою. Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел), чтобы коварная не могла торжествовать с ним. Я решился высказать ей всё, укорить ее... одним словом, я неистовствовал. Знаете ли вы, друзья мои, что такое жажда крови и мести? Я испытал ее в эту ужаснейшую ночь! В тиши слышно было кипение крови в моих жилах — она то душила сердце приливом, то остывала, как лед. Мне беспрестанно мечтались: гром пистолета, огонь, кровь и трупы. Едва перед утром забылся я тяжким сном. Ординарец военного министра разбудил меня: „Ваше благородие, пожалуйте к генералу!“ Я вскочил с мыслию, что верно зовут меня на счет дуэли. Являюсь. „Государь император, — сказал министр, — приказал выбрать надежного офицера, чтобы отвезти к генералу Кутузову, главнокомандующему южною армиею, важные депеши: я назначил вас — спешите! Вот пакеты и прогоны. Секретарь запишет на подорожной час отъезда. Счастливого пути, г. курьер!“ Тележка стояла у крыльца, и я очнулся уже на третьей станции:

великодушный Владов ехал со мною. Тут-то изведал я, что дружество утешает, но не наполняет сердца, и дорога дальная, вопреки общему мнению, только разбила, но не рассеяла меня. Главнокомандующий принял меня отменно ласково и, наконец, уговорил остаться в действующей армии. Презрение к жизни довело меня до мысли о самоубийстве, но Владов своими советами и нежным участием тронул меня. Кто жить советует, всегда красноречив, и он спас мою совесть от двух убийств, мое имя от насмешек. „Я знал всё, — говорил он мне, — но не смел объявить тебе во время болезни. Видя, что открылась тайна, и зная твой бешеный нрав, я бросился к секретарю военного министра, моему приятелю, просил, умолял: тебя послали курьером. Время лучший советник, и теперь признайся сам: стоит ли пороху твой противник? стоит ли шуму твоя любезная, избравшая в женихи человека без чести и правил, потому только, что он в тоне, что матушка ее заметила лишний против твоего нуль в звончатых титулах человека, который решился проиграть мне брильянтовый портрет своей невесты, ее подарок?“ Он отдал тогда мне этот медальон». Подполковник снял его с груди и показал офицерам. «Пусть мне тупым кремнем отпилят голову, если я вижу тут что-нибудь! — вскричал Ольский. — Вся эмаль разбита вдребезги». — «Провидение, — продолжал подполковник, — сохранило меня от смерти на берегах Дуная, чтоб долее послужить отечеству: пуля сплюснулась на портрете Софии, но не пощадила его. Прошел год, и армия, по заключении мира с турками, двинулась наперерез Наполеону. Тоска и климат расстроили мое здоровье: я на месяц отпросился на Кавказ — искать целительных вод для здоровья, живой воды для моего духа.

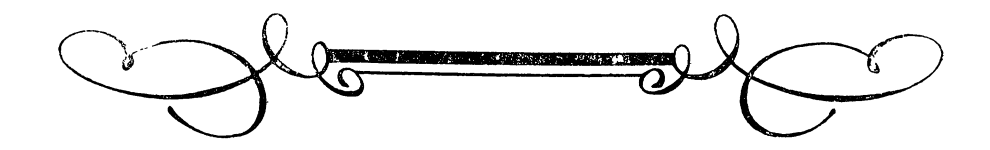
«На другой день по приезде я пошел с тамошним доктором отправить визиты. „Вы увидите, — сказал доктор, когда мы приближались к одному домику, — молодую, прекрасную особу, которая чахнет, быв жертвою брака по расчету. Родители напели ей о счастии пышности, а обиженное самолюбие завлекло ее в сети блестящего негодяя, и, обманутая минутною прихотью сердца, она кинулась в его объятия. Что ж вышло? Тетушки и матушка, искавшие в женихе богатства, нашли одно хвастовство, необъятные долги и разврат; он искал приданого и, обманутый обещаниями, в свою очередь оказался во всей

черноте: измучил жену язвительными упреками, поведением вогнал ее в чахотку и, наконец, проигравши и промотавши всё, бросил ее, ославив в свете. Теперь она приехала сюда с отцом умереть под теплым кавказским небом". Я боялся обеспокоить ее посещением. „О, нет! — говорил доктор, — ведь чахоточные умирают на ногах, и я имею правилом: коротать рассеянностью время больных, когда лекарствами нельзя продлить их жизнь". Говоря таким образом, вошли мы в комнату. — Это была София!..

«Есть невыразимые чувства и сцены. Я думал, что ненавижу Софию; уверял себя, что, если судьба приведет мне с нею встретиться, я заплачу за измену холодным презрением; но я узнал, как много любил ее, когда вместо гордой красавицы увидел несчастную жертву света, с потухшими очами, с смертною бледностью лица. На краю гроба исчезают все приличия, и когда София пришла в чувство, рука ее была омочена моими слезами и поцелуями. „Вы не клянете меня? Виктор, ты меня прощаешь? — сказала она раздирающим сердце голосом. — Благородная душа... ты сожалеешь, видя меня так жестоко наказанную за легкомыслие. Теперь я умру покойно". Жизнь, как тлеющая лампада, от дуновения вспыхнула в ней на несколько дней чем-то бывалым. Но каково было мне видеть разрушение Софии, слышать, как постепенно сокращалось ее дыханье, чувствовать ее муки, переносимые с ангельским терпением!.. Она гасла — без ропота, обвиняя во всем себя одну. — Друзья! друзья! я перенес много страданий, но ни одно мученье в мире не сравнится с мукою: видеть умирающую любезную; — ужасно и вспомнить... София умерла на руках моих!»

Подполковник не мог продолжать. Тронутые офицеры молчали, и даже с ресницы ротмистра скатилась слеза на ус и с него канула в серебряный стакан с глинтвейном. Вдруг послышался выстрел, другой, третий. Казаки с ведетов неслись мимо эскадрона. «Что, много ли неприятелей?» — спросил торопливо ротмистр, вспрыгнув на своего Черкеса. «Видимо-невидимо, ваше высокоблагородие!» — отвечал урядник. «Мундштуч, садись! — скомандовал подполковник. — Фланкеры! осмотреть пистолеты. Сабли вон! По три налево заезжай! Рысью! Марш!»

А. Бестужев.



СМЕРТЬ ИППОЛИТА

Едва оставили мы грустные Трезены,
Он в колеснице был. Печальных воев строй
Сопутствовал ему с унылой тишиной.
Ослабивши бразды над конскими хребтами,
Он в думе следовал микенскими путями.
Ретивые кони, что прежде по полям
Как вихри мчалися, послушные браздам,
Понурив головы, потупив взор угрюмый,
Казались сходными с его печальной думой.
Вдруг страшный рев и стон из глубины морской
Раздался в воздухе, как отзыв громовой;
И из утроб земных глухие завыванья
Ответствуют на рев и грозные стенанья.
Оцепенели мы; хлад разлился в сердцах,
На чутких конях вдруг подъемлет гривы страх
Внезапно на хребте водяныя равнины
Встает кипящий холм из зыблемой пучины;
Примчался грозный вал, ударился о брег
И с пеной страшное чудовище изверг.
Рогами грозное, с огромною главою,
Покрыто, как броней, златистой чешуею.
Неукротимый вол, неистовый дракон,
Вращая ошибом, крутился, прядал он.
От рева грозного брега вострепетали,
Смутились небеса, пучины восстенали,

Земля содрогнулась, тлетворен воздух стал;
Его извергший вал со страхом отбежал.
Всё кроется, спешит средь общего смятенья
В ближайший храм богов искать себе спасенья.
Один лишь Ипполит, рождение твое,
Остановил коней, схватил свое копье,
Пустил в чудовище, и меткою рукою
Глубоко в бок вонзил; кровь хлынула рекою,
От боли вспрянул зверь; ярясь, рассвирепев,
Пред коней грянулся, подняв ужасный рев,
Вращается и пасть горящу разверзает,
Их кровью, и огнем, и дымом покрывает.
Вдруг кони ринулись, несутся, и в сей раз
Ничтожны им бразды и чужд знакомый глас.
Напрасно силится возница утомленный!
Дымятся удила кровавою их пеной.
Гласят, что в ужасах и неустройстве сем
По бедрам некий бог разил их копием.
Рванулись на скалы; оцепенел возница;
Ось с скрыпом хряснула. С утеса колесница,
Сорвавшись, рухнула, рассыпалася в прах —
И сын твой пал стремглав, запутанный в браздах.
Прости мне скорбь мою! О царь, сей вид ужасный
Мне будет горьких слез источник ежечасный!
Я зрел, увы, я зрел, как твой несчастный сын
Конями был влачим меж камней и стремнин!
Зовет, не узнают, дичатся кони рьяны;
О ужас! — Ипполит, твой сын — лишь кровь и раны.
Мы воплем горестным весь оглашаем брег;
Зрим, укрощается неистовый их бег;
Смирились, доскакав до тех гробов священных,
Где почивает прах твоих отцов почтенных.
Бегу со стражею, рыдая, по следам,
Священна кровь его путь указует нам:
Скалы багровеют; на тернах обагренных

Обрывки веются волос окровавленных.
Прибег, зову его; он руку протянул,
Открыл полмертвый взор и вновь его сомкнул.
«Невинный, — он сказал, — схожу теней в обитель.
Ах! будь Арисии заступник и хранитель.
О друг мой, если царь всю истину прозрит
И некогда в слезах о сыне восскорбит:
Чтоб тень мою смирить, стенящую, унылу,
Скажи, да призрит он Арисию мне милу,
Да возвратит...» Умолк твой сын при сих словах.
Безвидный труп я зрел, простертый на песках:
Страдалец-юноша, судьбины жертва властной,
Кого бы не познал и сам отец несчастный!

М. Лобанов.

ЭЛЕГИЯ

Увы! зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живой.
Увянет! жизнью молодою
Не долго наслаждаться ей;
Не долго радовать собою
Счастливый круг семьи своей;
Беспечной, милой остротою
Беседы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу услаждать.
Спешу в волненье дум тяжелых,
Сокрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее.
Смотрю на все ее движенья,

Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.

А. Пушкин.

АРАБ И БЕЛЫЙ

Притча

Араб и Белый при огне
Вдвоем сидели:
Рассорились и зашумели.
«Ты смеешь ли, урод, противоречить мне? —
Вдруг Белый закричал. — Не на смех ли природа
Арабов создала для человечья рода?»
«Хвастун! — сказал Араб в ответ,
И тотчас черною рукою
Он потушил огонь. — Теперь я схож с тобою:
Во тьме различья нет».

Гасите свет наук, невежды, поскорее!
При свете — вы виднее.

Остолопов.

СТАНСЫ

Графине N. N.

С зари весны твоей прекрасной
До лучших юношеских лет,
Передо мной душою ясной
Ты развивалася, как цвет.

*

Я видел раннее рожденье
Твоих первоначальных дум,

Следил их робкое движенье
И вел твой любопытный ум.

*

Я видел с тайною отрадой:
Он шел с ступени на ступень,
И мне сердечною усладой
Твоей весны был каждый день.

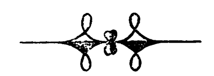
*

На обреченную разлуку
Я с хладной грустию смотрю
И, принимая тихо руку,
В роптанье тщетном говорю:

*

«Так мысль прекрасная, порою,
На миг поэта посетит
И за летучею толпою
Дум невозвратных улетит!»

Плетнев.



О ПЕРВЫХ БАЛАХ В РОССИИ*

Посвящено Кат. Ив. Гр...

Вы желали знать, милостивая государыня, как веселились наши предки. Я хотел было описать вам великолепные прежних царей обеды, шумные праздники, на коих заграничное вино, вкусные яства и скоморохи тешили пирующих. «Но, — отвечали вы мне, — на сих праздниках не было женщин, а если они и были, то безмолвными свидетельницами, никем не видимые, с робостию поглядывая сквозь длинные фаты на происходившее». Вы хотели иметь описание балов, собственно так называемых, знать, в какое время исчезла в русских грубость нравов, свойственная народу полуобразованному, и когда женский пол получил право гражданства в наших обществах. Исполняю вашу волю.

Балы введены в Россию Петром Великим, по возвращении его из-за границы, в 1717 году. Парижские общества, и тогда законодатели моды, вкуса, любезности и светского обращения, были заманчивою новостию для российского монарха. Следствием этого был указ 1719 года о неслыханных дотоле собраниях обоего пола, названных *ассамблеями*. Вот его содержание:

---

* Желающие увериться в подлинности предлагаемых здесь сведений могут найти оные в Веберовой книге: Neuverandertes Russland в журнале Беркгольца, помещенном в 19, 20 и 21 частях Битингова магазина, в Штелиновой Geschichte der Tanzkunst in Russland и наконец в книге: Letters of an English Lady, who resided some years in Russia. — *Соч.*

«1. Желающий иметь у себя ассамблею должен известить о том каждого прибитым к дому билетом.

2. Ассамблеи начинать не ранее 4 или 5 часов пополудни, а оканчивать не позже 10.

3. Хозяин не обязан ни встречать, ни провожать гостей, или для них беспокоиться, но должен иметь, на чем их посадить, чем их потчевать и осветить комнаты.

4. Каждый может приходить в ассамблею в котором часу ему угодно, сидеть, ходить или играть.

5. В ассамблеи могут приходить чиновные особы, все дворяне, известнейшие купцы, *корабельные мастера* и канцелярские служители с женами и детьми.

6. Слугам отвести в доме особые комнаты, чтобы в покоях ассамблеи было просторнее.

7. Преступивший сии правила подвергается наказанию осушить кубок *большого орла*».

Говорят, что указ сей произвел разные впечатления: заключенные в высоких теремах красавицы наши, которые только по праздникам осмеливались подходить к косящатым окнам, чтоб посмотреть на гуляющий по улицам народ, втайне радовались большей свободе. С другой стороны, матушки, воспитанные по старине, неохотно повиновались воле государевой и жаловались на развращенное время, в которое девушкам позволяется, не краснея, разговаривать и даже (чего боже сохрани!) прыгать с молодыми мужчинами.

Ассамблеи устроены были следующим образом: в одной комнате танцевали, в другой находились шахматы и шашки, в третьей — трубки с деревянными спичками для закуривания, табак, рассыпанный на столах, и бутылки с винами. Вы видите, м. г., что в первых ассамблеях господствовала смесь французского, голландского и английского вкусов, что уважение к вашему полу не было доведено еще до той степени утонченности, которая теперь столь обыкновенна всем мужчинам.

Обер-полицмейстер по списку извещал особ, у коих надлежало собираться, о наступавшей очереди. Впоследствии, когда любезность утвердила в наших обществах законы приличия, вошел в употребление

следующий обычай: хозяин подносил букет цветов даме, которую хотел отличить; дама сия становилась царицею бала, распоряжала танцами, и тот же букет торжественно отдавала другому кавалеру, назначая притом день, в который желала танцевать в его доме. Получивший цветы обязан был слепо повиноваться воле красавицы. Обыкновение сие, напоминающее времена рыцарские, в которые красота была душою всего великого, продолжалось до царствования императрицы Екатерины II.

Русская пляска, вместе с длинными кафтанами и сарафанами, осталась только у нижнего класса народа: заменили оную степенный польский, тихий менуэт и резвый английский контрданс. Пленные шведские офицеры, находившиеся в Петербурге, первые учили танцевать русских дам и кавалеров: они долгое время были единственными танцорами в ассамблеях; кроме сказанных танцев, был церемониальный, которым всегда начинались свадебные и вообще все торжественные праздники: становились, как в экосезе; при степенной музыке мужчина кланялся своей даме и потом ближайшему кавалеру; дама его следовала тому же примеру и, сделав круг, оба возвращались на свое место. Сии поклоны, повторенные всеми, заключались польским. Тогда заведывавший праздником громко объявлял, что церемониальные танцы кончились. Наставала шумная веселость: всякий из посетителей мог участвовать в танцах. В менуэтах дамам предоставлен был выбор кавалеров; кавалер, кончивший танец с выбравшею его дамою, обязан был в свою очередь выбрать даму и, протанцевав с нею, перестать. Дама же продолжала танцевать с другим кавалером. Таким образом менуэт продолжался, пока музыка не возвещала о перемене. Польские и контрдансы похожи были на нынешние, с тою только разницею, что первые были весьма продолжительны, а в последних каждая пара делала свои фигуры, повторяемые прочими.

Вскоре различные степени образования разделили общества: собрания не переставали, но их могли посещать только особы, приглашенные хозяином. Там-то важнейшие в государстве люди забывали на время свое величие; императорская фамилия в ассамблеях старалась ласковым обращением и участием в забавах не дать заметить своего присутствия. Император, императрица и великие княжны всегда

много танцевали, особенно последние. Всякому свободно было просить великих княжен, и как многие искали сей части, то они и не знали отдыха. Люди преклонных лет и почтенного звания часто также танцевали вместе с другими. Царь забавлялся их усталостию: ослушные его воле должны были осушать огромный кубок орла. Из танцующих кавалеров отличались граф Ягужинский, австрийский посланник граф Кинский, гольстинский министр Бассевиц и молодые князья Трубецкой и Долгорукий. Из дам первое место занимала великая княжна Елизавета Петровна; отличались также княжны Черкасская, Кантемир, Трубецкая и Долгорукая, бывшая впоследствии невестою императора Петра II.

Ассамблеи были не в одном Петербурге: с переездом двора в Москву в 1722 году завелись собрания и в сей столице. Собрания по указу были три раза в неделю: по воскресеньям, вторникам и четвергам. Кроме того, давались частные балы, где было посетителей менее, но более веселости: на сих последних танцевали иногда до 3-х часов пополуночи.

Музыка на ассамблеях была большею частию духовая: трубы, фаготы, гобои и литавры. Многие вельможи имели, однако ж, свои капелли: лучшая принадлежала княгине Черкаской. Герцог Гольстейн-Готторпский Карл Ульрих, приехавший в Россию в 1721 году, и который после взял в супружество великую княжну Анну Петровну, имел в своей свите капелль, состоявшую из одного фортепиано, нескольких скрипок, одной виоль-д'амур, одного альта, одного виолончеля, одного контр-баса, двух флейт и двух валторн. Пленительная игра сих музыкантов и новость привезенных инструментов доставляли им частые случаи показывать свое искусство: говорили, что тот праздник не в праздник, где не играли гольстинские музыканты.

Охота к танцам час от часу более распространялась. При императрице Екатерине I незнание танцев считалось уже в девице недостатком воспитания. Двору не было надобности приказывать ассамблеи: они вскоре и совсем уничтожились, зато частные балы не уставали. Замечательно, что около сего времени введена была в обществах карточная игра. Петр Первый не терпел карт и предпочитал им шашки и шахматы.

Императрица Анна, придавшая много великолепия двору, любила веселость. В ее царствование праздники сделались пышнее и получили более европейский вид. Табачный дым и стук шашек не беспокоил уже танцующих, и наконец совершенно уничтожилось наказание осушать кубок большого орла. В торжественные дни и при всяком необыкновенном случае были при дворе балы. Современные писатели упоминают между главнейшими об одном, на который приглашены были съехавшиеся тогда в Петербурге посланники бухарский, турецкий и китайский. Императрица Анна спросила у одного из сих последних, кто из дам, съехавшихся на бал, более ему нравится. «В звездную ночь, — отвечал китаец, — трудно решить, которая звезда всех светлее». Но увидев, что государыня не довольствуется таким ответом, он подошел к великой княжне Елисавете Петровне, низко поклонился и, отдав ей пред прочими преимущество, примолвил, что невозможно было бы перенести ее взгляду, если б только глаза ее были поменьше. Так всякий народ имеет свой вкус: большие глаза, считающиеся у нас красотою, казались азиятцу недостатком!

Весьма много шуму наделал праздник, данный в Петербурге в Летнем саду по случаю взятия Данцига в 1735 году. Бал открылся под длинным навесом из зеленой шелковой ткани, протянутым в главной аллее сада. Разноцветные огни, коими освещен был сад, поставленные в разных местах транспараны и аллегорические изображения, приличные празднуемому торжеству, представляли очаровательную картину. В начале бала ввели в палатку двенадцать французских офицеров, взятых в плен под Данцигом. Когда каждый из них поцеловал у императрицы руку, государыня, обратясь к начальнику их, бригадиру графу де ла Мотт-Перуз, сказала: «Не удивляйтесь, что я выбрала это время для вашей аудиенции: французы дурным обращением с русскими,* имевшими несчастие попасться в их руки, дают мне право к отмщению, но я довольствуюсь учиненною вам теперь неприятностию, а как народ ваш славится любезностию, то надеюсь,

* Французы, не объявив войны, овладели в то время одним российским фрегатом на Балтийском море и забрали в плен весь экипаж. — *Соч.*

что дамы здешние успеют в нынешний вечер истребить из памяти вашей тягостное ваше положение». — «Ваше величество, — отвечал граф де ла Мотт, — умели найти средство победить нас два раза: в первый, когда мы, против желания, положили оружие пред храбрыми войсками вашими, и теперь, когда охотно отдаем сердца наши прекрасным нашим победительницам!»

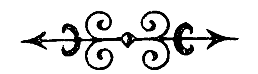
Императрица Анна любила народную пляску. Ежегодно в масленицу приглашали ко двору унтер-офицеров гвардии с их женами, которые плясали по-русски. Придворные и даже члены императорской фамилии принимали участие в этом народном увеселении.

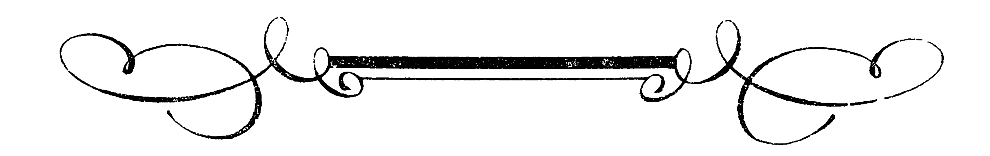
Во времена Елисаветы Петровны балы российского двора славились во всей Европе. Известный балетмейстер Ланде говаривал, что нигде не танцевали менуэта с большею выразительностию и приличием, как в России. Это тем вероятнее, что сама государыня танцевали превосходно, и особенно отличалась в менуэте и русской пляске. При ней же завелись и маскерадные балы вместо масленичных маскерадов, при Петре I бывших, которые ограничивались одним катаньем в санях. Катанья вошли в придворный церемониал, но без масок, а вместо того имевшие въезд ко двору приезжали маскированные в определенные дни танцевать во дворец. В новый год все мужчины являлись в женском, а дамы — в мужском платьях без масок. Мужской наряд весьма шел к лицу императрицы Елисаветы Петровны. Однажды, помнится 1-го января 1752 года, на одном из таковых маскарадов великая княгиня Екатерина Алексеевна, справедливо удивленная красотою государыни, сказала ей: «Il est très heureux, Madame, pour nous autres femmes, que Vous n'êtes cavalier que pour ce soir: sans cela Vous seriez trop dangereuse». — «En ce cas-là, — отвечала императрица, — c'est certainement à Vous la première que j'aurois adressé mes hommages».

Вот вам, милостивая государыня, краткий отчет о первых балах в России! Боюсь улыбки сожаления на устах ваших, особенно, когда, взглянув на исписанный лист, не нахожу ни слова о нарядах, какие были в употреблении у почтенных бабушек. Но вы сами не раз жаловались на частые перемены моды, а ветреная мода точно так же распространяла владычество на прежние степенные покрои, как на нынешние легкие одежды.

Но так и быть! чтоб избежать вашего неудовольствия, постараюсь в нескольких словах схватить некоторые эпохи господствовавшего в России вкуса в нарядах. Заимствовав у французов ассамблеи, мы у них же переняли и бальные наши платья. Не думайте, чтоб то были те легкие, эфирные ткани, в каких ныне приезжают на бал наши красавицы. Старики твердят, что в их время молодежь была степеннее нынешнего. Вообще трудно верить старикам, обыкновенно хвалящим былое, счастливые годы их славы и побед, и нарекающим на настоящее, когда они принуждены уступать другим право пленять и быть любезными; но в сем случае едва ли они не правы. Представьте себе женщину, стянутую узким костяным кирасом, исчезающую в огромном фишбейне (которые, скажу мимоходом, подали, может быть, первую мысль к изобретению аэростатов), с башмаками на каблуках в полтора вершка вышины, и танцующего с нею мужчину в алонжевом напудренном парике, в широком матерчатом шитом кафтане, с стразовыми пряжками в четверть на тяжелых башмаках, и посудите, может ли сия пара кружиться, летать по полу в экосезе с тою легкостию, с тою быстротою, какую видим ныне! Робы были большею частию одной с корсетом материи, с длинным хвостом, парчевые или штофные, шитые золотом, серебром, а иногда унизанные жемчугом и драгоценными каменьями и обшитые богатыми кружевами. Головной убор был также весьма различен. Ни над чем, кажется, мода не тиранствовала столько, сколько над волосами: каждый год, каждое собрание то повышали, то понижали прическу, а потому и весьма трудно очертить ее в нескольких словах: волосы покрывали пудрою или, оставляя в природном виде, переплетали их бриллиантами и жемчугом. Вообще пышность в нарядах заменяла вкус: дамы не одевались, как теперь, по рисунку граций, не знали пленительной простоты; в каждой безделке блистало тяжелое великолепие, а не нынешний милый, утонченный вкус.

А. Корнилович.





ИСКУПИТЕЛЬ ВО ГРОБЕ

Свершилось! на мрачной Голгофе погас
  Светильник земли лучезарный:
Воззрите, народы, в сей бедственный час
  Трепещет Израиль коварный.
    Оси мира потряслися,
    В огнь оделся небосклон,
    Тучи с вихрями взвилися,
    Закипел в брегах Кедрон,
    Раздралась завеса храма,
    Дым умчался фимиама,
    Гор раздвинулись сердца:
    Близок час миров конца!
Гром прокатился над градом Сиона,
  Гулом глухим отозвался в гробах;
Мертвые, внемля рокоту стона,
  С риз отрясают тления прах.
И вот отверзлися врата седой гробницы,
Пророков сонм грядет: в их очесах упрек;
Чело, погасшее как поздний луч денницы,
— Грядет — земля дрожит, ревет Иорданский ток
Израиль! ты внемлешь их глас вдохновенный
  Он ярой несется грозой на тебя:
«Раб низкий порока Израиль надменный!
Погибнешь и ты, громовержца губя.
Не он ли облекся в хламиду истленья

От вечныя смерти спасти свой народ,
О радость! исполнился глас предреченья
Попран, ниспровергнут геэнны оплот
Носи на себе и на чадах презренных
Страдальца небесного светлую кровь!
Так! час твой ударит — се зрим воспаленных
На гибель твою ополченье врагов!»
Бегут, крутятся на стенах,
Обрушились в огонь твердыни,
Во мгле густой чертог святыни;
О ужас! пал Сион во прах!
Хор скрылся, — и слова, как громы, пронеслися
И эхо звучное помчало вдоль лугов —
Леса отгрянули — проклятия слилися
И пали на главу Иакова сынов.
Свершилось! на мрачной Голгофе погас
Светильник земли лучезарный.
Вонми, искупитель, уныния глас!
Твой стонет народ благодарный:
«Почиешь, ты спаситель мой,
Одетый чистой плащаницей;
Сколь тих твой временный покой:
Летает смерти сон над божеской зеницей.
Тебе сей мирры фимиам,
Тебе сии благоуханья
И мироносиц воздыханья!
Почиешь, сын небес! не внемлешь их мольбам».
Скоро проглянет солнце — отрада,
Вестник нетленной славы твоей!
Рухнет престол ненавистного ада!
Небо ты сблизишь с светлой землей.

П. Абадовский.

ПЛАЧ ПЛЕНЕННЫХ ИУДЕЕВ

*«На реках вавилонских, тамо седохом
и плакахом!»*

Когда, влекомы в плен, мы стали
От стен Сионских далеки!
Мы слез ручьи не раз мешали
С волнами чуждыя реки.

*

В печали, молча, мы грустили
Все по тебе, святый Сион!
Надежды редко нам светили,
И те надежды были — сон!

*

Замолкли вещие органы,
Затих веселый наш тимпан!
Напрасно нам гласят тираны:
«Воспойте песнь Сионских стран!»

*

Сиона песни — глас свободы!
Те песни слава нам дала!
В них тайны мы поем природы
И бога дивного дела!

*

Немей, орган наш голосистый,
Как занемел наш в рабстве дух!
Не опозорим песни чистой:
Не ей ласкать злодеев слух!..

*

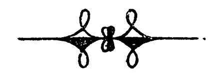
Увы! неволи дни суровы
Органам жизни не дают:
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песней не поют!..

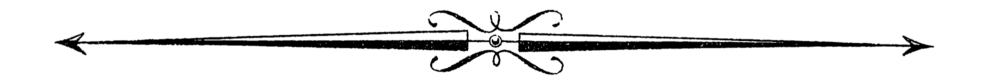
Ф. Глинка.

К ПОРТРЕТУ НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА МОРДВИНОВА

Здесь кистью оживлен Мордвинов, друг людей:
В советах, на войне, в чертогах у царей
Он разумом своим и духом отличался;
Он правду говорить и делать не боялся.

Граф Хвостов.





ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРЕМБОВЛИ

Историческое происшествие XVII столетия

Посвящается М. П. Кр.ж....ской

Души благородные, умеющие чувствовать и достойно оценять деяния великие, — для вас пишу сии строки! Друг человечества, пламенея любовию к своему отечеству, радуется, находя под чуждым небом сердца, исполненные возвышенными чувствованиями, облагороживающими природу человека. Любовь к родине и общему благу священна в диком гуроне и в образованном европейце! Но если сии доблести украшают прелестный пол, если слабая жена во время опасности отечества, победив врожденную ей робость, жертвует собою для спасения своих сограждан, — тогда должны умолкнуть все страсти, тогда чувства благодарности и удивления должны одушевлять все сердца для достойного возмездия добродетели!

Прелестные россиянки! Ваша история изобилует доблестными подвигами ваших соотечественниц. Не стану повторять оных: теперь познакомьтесь с геройскими деяниями соплеменных вам славянок, обитающих в стране, орошаемой величественною Вислою. Ныне вы составляете одно семейство, имеете одного отца; ваши дети и братья навеки соединены узами взаимного счастия. Вы должны знать и уважать друг друга: история послужит к сему руководством.

В 1675 году, при самом начале царствования польского короля Иоанна Собеского, турки и татары вторглись в Украйну и Подолию и опустошали сии области огнем, мечом и хищничеством. Многие

замки и города впали во власть неверных, но Трембовля еще сопротивлялась. Мужественный Самуил Хржановский, предводительствуя несколькими тысячами окрестных дворян и поселян, уже три месяца удерживал стремление сераскира Ибрагима, который поклялся Магометом разрушить город. — Положение осажденных было самое отчаянное: голод, болезни и недостаток в военных снарядах — всё соединилось к их погибели. Вера в бога и надежда на благоразумие начальника поддерживали мужество воинов, изнемогавших под бременем бедствий. Комендант собрал военный совет, чтобы помыслить о новых мерах к общему спасению, — и в сие время уведомляют его, что посланный из турецкого стана принес к нему письмо от друга его, Марка Маковецкого, плененного при взятии турками Заволова. Хржановский велел распечатать письмо и громогласно прочесть оное в собрании. «Любезный друг! — писал к нему Маковецкий, — не страх и не вероломство заставляет меня советовать тебе покориться превышающей силе, но дружба к тебе, любовь к моим согражданам и сострадание к их несчастным семействам, укрытым за ненадежною оградою. Заключенный в стенах Трембовли, ты не знаешь положения дел; клятвенно утверждаю тебе истину слов моих: слушай — и смирись пред судьбою. Уже Збараж, Бучачь, Заволов и многие другие за́мки и города находятся во власти сераскира Ибрагима. Гетман литовский Михаил Пац возвратился на родину и не хочет защищать Украйны. Серко, Ханенко и Дорошенко посеяли раздоры между казаками, которые не могут теперь помочь нам в крайности. Нурадин с толпою татар собирает добычу под стенами Львова, где оставленный всеми король заключился с малым числом воинов. Знамя Магомета развевается на скалах Каменца-Подольского. Откуда и от кого ты ожидаешь помощи? По моему предстательству сераскир Ибрагим усмиряет гнев свой и обещает тебе и всем твоим подчиненным милость свою, сохранение живота и имущества с тем условием, чтобы ты отдал Трембовлю, удалился с воинством и обозом за Вислу и обещал три года не служить противу Оттоманской Порты. — Прости и внемли советам твоего друга».

«Письмо сие писано по внушению сераскира Ибрагима, — сказал Хржановский. — Итак я полагаю, что должно отвечать от имени Со-

вета». Глубокое молчание царствовало в собрании: Хржановский повторил вопрос. Наконец, старый полковник отвечал: «К тебе писал Маковецкий, ты один вправе отвечать ему: Совет не входит в частную переписку». Хржановский тотчас написал в ответ следующее: «Если дела наши находятся в столь бедственном положении, как ты объявляешь, то есть еще у нас мужество и твердость духа, чтоб противостать несчастию. Если на земли нет для нас надежды на помощь — всевышний не оставит правого дела без покровительства! Ты говоришь со мною не как военнопленный, но как раб Ибрагима, и потому оставляю без внимания твои советы. Ибрагим со всем своим могуществом в состоянии лишить нас только жизни. Пускай же на сие покушается: он купит дорогою ценою удовольствие мщения. Мы все твердо решились погибнуть с честию, погибнуть под развалинами Трембовли — и от одного бога ожидаем милости: Ибрагим может быть милостив к рабам своим — и к тебе. Прости! Внемли советам прежнего своего друга и обратись на путь долга и чести!» Комендант вручил письмо посланному, и собрание разошлось, не постановив ничего решительного.

Между тем письмо Маковецкого произвело сильное впечатление в начальниках и дворянстве. Видя себя оставленными без всякой помощи, они трепетали об участи семейств своих. Ибрагим угрожал предать смерти всех без исключения: нежные сердца супругов и отцов содрогались при сей мысли. Бедствия увеличивались ежечасно: стены сокрушались от ударов неприятельских орудий; голод — сей непреодолимый враг — как ужасное привидение, устрашал самых непоколебимых воинов. Надежда угасла в твердых душах; уныние и отчаяние ослабили мужество храбрых защитников Трембовли. Общее мнение обвиняло Хржановского в упорстве и жестокости — и, наконец, сам Хржановский поколебался.

Сераскир Ибрагим прислал в последний раз предложение мира: посланный объявил, что, если к завтрашнему утру крепость не покорится на прежних условиях, турки вознамерились взять оную приступом и истребить всех жителей без различия возраста и пола. С восхождением солнца надлежало прислать ответ в стан Ибрагима.

Хржановский повелел начальникам собраться в полночь в своем доме. С унылыми лицами, в безмолвии воссели они на места свои; никто не смел первый объявить своего мнения. Толпы воинов и граждан окружали дом и вокруг пылающих огней совещались, ожидая решения своей участи. Наконец, Хржановский по своей обязанности должен был прервать молчание. Он объявил им требование сераскира Ибрагима: никто не отвечал: «Друзья! — сказал он печально, — у нас нет хлеба и пороху!» Он остановился и не смел продолжать. Вдруг отворяется дверь боковой комнаты; толпа женщин и детей вступает в залу Совета. Прелестная Элеонора, супруга Хржановского, выходит из круга и, показывая собранию два кинжала, говорит: «У вас нет хлеба и пороху, но есть руки и железо. Малодушные! вы хотите легкомысленно подвергнуть нас поруганию, а честь вашу предать вечному стыду. Ваше унылое молчание изменяет тайне дум ваших. Нет и быть не должно никаких условий с варварами!.. Они угрожают нам приступом, и так на развалинах стен наших будем искать смерти или свободы. На приступе не нужно пороху: вы встретите врагов мечами и кинжалами, а нам, слабым женам, отдайте огнестрельное оружие. Сразимся вместе, умрем или отразим врагов; с оружием в руках пробьемся сквозь густые ряды неверных и пойдем искать братий наших. Поверьте, что, испытав нашу неустрашимость, они не посмеют нас преследовать! Если же вы намерены без боя покориться гордому мусульманину, если вы захотите ценою чести искупить жизнь свою, — мы, жены ваши, отделяемся от вас. Мы решаемся умереть свободными гражданками, мы поклялись умертвить себя, вас и детей наших. К тебе обращаюсь, супруг мой, и объявляю, что один кинжал поразит мое сердце, а другой твое, если в нем угаснет любовь к свободе, чести и отечеству». «Друзья! — воскликнул Хржановский, воспрянув с своего места, — неужели мы допустим женам превзойти нас в великодушии и мужестве?» — «Нет! нет! — отвечали начальники, — мы отразим врагов или все вместе погибнем!» Тогда старейший из собрания сказал Элеоноре: «Тебе, благородная жена, мы поверяем хоругвь со знамением спасителя мира и ключи от крепости; ты удостоилась хранить знаки нашей независимости; располагай оными: мы будем тебе повиноваться!» Радостные восклицания раз-

дались в зале и вскоре повторились на площади. Воинство уже известилось о происшедшем: геройство Элеоноры, как электрическая сила, потрясло все сердца и вновь возбудило в оных усыпленное мужество. Воины желали видеть Хржановскую; она при свете факелов показалась на балконе с хоругвию в руках, и радостные приветствия восхищенного воинства доказали, что оно умело чувствовать истинное величие.

Уже ночь была на исходе, и воины заняли свои места на стенах, готовясь к отпору неприятеля.

С утраннею зарею молебный глас раздался на площади. Священники во всем облачении, с крестами и хоругвями обошли вокруг стен, благословляя воинов, и потом расположились пред проломом в самом опасном месте, чтоб первым встретить смерть за веру и отечество. Между тем в неприятельском стане происходило приметное волнение: турки с поспешностью снимали палатки; орудия и обозы вытягивались на большую дорогу; воинство устраивалось в ряды; всадники садились на коней. Осажденные, видя все сии приготовления, с нетерпением ожидали приступа.

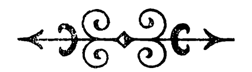
Раздался в стане звук вестовой пушки, и войско двинулось. Но сколь велико было удивление осажденных, когда турки, вместо того чтоб устремиться на стены, обратились вспять и поспешно начали удаляться по дороге к Каменцу-Подольскому! Поляки не верили глазам своим и пребывали в недоумении, не понимая причин сего внезапного отступления. Прошло полчаса — и со стен приметили облако пыли, поднимающееся в стороне Львова. Надежда воскресла в унылых сердцах; граждане и воины воссылали благодарственные мольбы к престолу всевышнего; вскоре толпа всадников приближилась к городским воротам, и они узнали своих соотечественников. Радостный восторг оживил несчастных: они со слезами обнимали милых гостей, приветствуя их именами братий и избавителей. Начальник отряда уведомил защитников Трембовли, что Иоанн Собеский, вспомоществуемый всеобщим вооружением дворянства, рассеял под Львовым хищные толпы Нурадина, что воевода Станислав Яблоновский поразил их под Злочевом и что половина турецкого воинства побита наголову при Подгайцах. Сии потери заставили

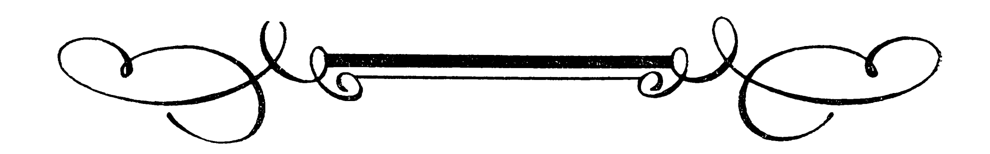
Ибрагима избегать встречи с Собеским и поспешно переправиться через Днестр. К полудню воинство Собеского расположилось уже под стенами Трембовли. Старшины приветствовали короля в стане, рассказали ему о своих бедствиях, о мужественном подвиге супруги коменданта, и герой Собеский пожелал ее видеть. Он объявил старшинам, что из ее рук хочет принять ключи города, и с многочисленною свитою отправился к Трембовле.

Воинство устроилось по обеим сторонам улицы, от городских ворот до соборной церкви; духовенство и граждане встретили короля на подъемном мосту. Элеонора поднесла ему ключи на золотом блюде. Собеский сошел с коня, приветствовал всё собрание и, поцеловав руку прекрасной героини, сказал: «Я обязан вам сохранением города; Польша — спасением своей чести; человечество — редким примером великодушия. Покуда признательное отечество придумает достойную награду вашему мужеству и добродетели, примите сию цепь в знак моей благодарности и уважения». Король снял с себя алмазную цепь с белым орлом (гербом Польши) и надел на шею Элеоноры. Радостные восклицания воинов, звуки труб и литавр раздались в воздухе. Король под руку повел Элеонору в храм для возблагодарения господа сил за спасение города. После молебствия Собеский пригласил Элеонору с ее мужем и всеми чиновниками в свой шатер. Великолепное пиршество окончило сей счастливый день, и первый бокал выпил король в честь мужественной жены, воскликнув: «Да здравствует великодушная избавительница Трембовли!»

Прошло уже полтора столетия с того времени: стены Трембовли сравнялись с землею; не видно глубоких рвов и крепких городских башен; разрушился дом, в котором жила Хржановская, но память о ее подвиге существует в предании, оживляет благородные сердца и будет переходить из уст в уста до отдаленнейшего потомства!

Ф. Булгарин.





ИВАН СУСАНИН

Дума

«Куда ты ведешь нас? .. не видно ни зги! —
Сусанину с сердцем вскричали враги. —
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега!
Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега!
Ты сбился, брат, верно нарочно с пути,
Но тем Михаила тебе не спасти!

*

Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует!
Но смерти от ляхов ваш царь не минует! ..
Веди ж нас, — так будет тебе за труды;
Иль бойся: не долго у нас до беды!
Заставил всю ночь нас пробиться с метелью! ..
Но что там чернеет в долине за елью?» —

*

«Деревня! — Сарматам в ответ мужичок. —
Вот гумна, заборы, а вот и мосток!
За мною! в ворота! — избушечка эта
Во всякое время для гостя нагрета!
Войдите — не бойтесь!» — «Ну, то-то, москаль! ..
Какая же, братцы, чертовская даль!

*

«Такой я проклятой не видывал ночи!
Слепились от снегу соколии очи! ..
Жупан мой — хоть выжми! нет нитки сухой!» —
Вошед, проворчал так сармат молодой.
«Вина нам, хозяин! мы смокли, иззябли!
Скорей! .. не заставь нас приняться за сабли!»

*

Вот скатерть простая на стол постлана,
Поставлено пиво и кружка вина,
И русская каша и щи пред гостями,
И хлеб перед каждым большими ломтями.
В окончины ветер, бушуя, стучит;
Уныло и с треском лучина горит.

*

Давно уж за полночь! .. Сном крепким объяты,
Лежат беззаботно по лавкам сарматы.
Все в дымной избушке вкушают покой;
Один, настороже, Сусанин седой
Вполголоса молит в углу у иконы
Царю молодому святой обороны! ..

*

Вдруг кто-то к воротам подъехал верхом!
Сусанин поднялся и в двери тайком...
«Ты ль это, родимый? .. А я за тобою!
Куда ты уходишь ненастной порою?
За полночь! .. а ветер еще не затих
Наводишь тоску лишь на сердце родных! ..» —

*

«Приводит сам бог тебя к этому дому,
Мой сын! поспешай же к царю молодому!
Скажи Михаилу, чтоб скрылся скорей,
Что гордые ляхи, по злобе своей,

Его потаенно убить замышляют
И новой бедою Москве угрожают!

*

Скажи, что Сусанин спасает царя,
Любовью к отчизне и вере горя.
Скажи, что спасенье в одном лишь побеге
И что уж убийцы со мной на ночлеге!» —
«Но что ты затеял? подумай, родной!
Убьют тебя ляхи! .. Что будет со мной?

*

И с юной сестрою и с матерью хилой!» —
«Творец защитит вас святой своей силой!
Не даст он погибнуть, родимые, вам:
Покров и помощник он всем сиротам.
Прощай же, о сын мой! нам дорого время!
И помни: я гибну за русское племя!»

*

Рыдая, на лошадь Сусанин младой
Вскочил и помчался свистящей стрелой!
Луна между тем совершила полкруга;
Свист ветра умолкнул, утихнула вьюга.
На небе восточном зарделась заря:
Проснулись сарматы — злодеи царя.

*

«Сусанин! — вскричали, — что молишься богу?
Теперь уж не время! пора нам в дорогу!»
Оставив деревню шумящей толпой,
В лес темный вступают окольной тропой.
Сусанин ведет их... Вот утро настало,
И солнце сквозь ветви в лесу засияло.

*

То скроется быстро, то ярко блеснет,
То тускло засветит, то вновь пропадет,
Стоят не шелохнясь и дуб и береза;
Лишь снег под ногами скрипит от мороза,
Лишь временно ворон, вспорхнув, прошумит,
И дятел дуплистую иву долбит.

*

Друг за другом идут в молчанье сарматы;
Всё дале и дале седой их вожатый.
Уж солнце высоко сияет с небес;
Всё глуше и диче становится лес!
И вдруг пропадает тропинка пред ними;
И сосны, и ели, ветвями густыми

*

Склонившись угрюмо до самой земли,
Дебристую стену из сучьев сплели!
Вотще настороже тревожное ухо:
Всё в том захолустье и мертво и глухо...
«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал.
«Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал. —

*

«Убейте! замучьте! — моя здесь могила!
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит». —

*

«Злодей! — закричали враги, закипев. —
Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!
Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело,

И радостно гибнет за правое дело!
Ни казни, ни смерти и я не боюсь:
Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» —

*

«Умри же!» — сарматы герою вскричали —
И сабли над старцем, свистя, засверкали! —
«Погибни, предатель! Конец твой настал!»
И твердый Сусанин весь в язвах упал!
Снег чистый чистейшая кровь обагрила:
Она для России спасла Михаила!

Рылеев.

К ДЕЛЬВИГУ

Дай руку мне, товарищ добрый мой,
Путем одним пойдем до двери гроба!
Дай руку мне — я чувствую, мы оба
Родилися под тою же звездой.
Нас не вотще судьба соединила,
Суровая двух добрых полюбила
И, слабая от бедствий их спасти,
Опорою друг другу быть сулила,
Чтоб с ней самой могли борьбу вести.
От детских дней знакомы мы с бедами,
Казалося — у люльки ждал нас рок:
Что ж, гневный, он свершить над нами мог?
И не всегда ль он побеждался нами?
Ты помнишь ли, в какой печальный срок
На дружбу мне ты руку дал впервые,
И думая: по сердцу мы родные —
Стал навещать мой скромный уголок?
Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой

Боролся я, почти лишенный сил?
Не ты ль тогда мне бодрость возвратил?
Не ты ль душе повеял жизнью новой?
Ты ввел меня в семейство добрых муз:
Деля досуг меж ними и тобою,
Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою!
Когда ты сам носил в душе печаль,
Кому вверял признанья в грусти тайной?
Не мне ль? скажи: и дружба не всегда ль
Тебя ждала с отрадой обычайной?
Забытые фортуною слепой,
Мы ей назло друг в друге всё имели:
Любовь, и лень, и негу, и покой,
Развеселясь, в забвенье сердца пели,
И дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели.
О верь мне в том — чем жребий ни грозит,
Упорствуя в старинной неприязни, —
Душа моя не ведает боязни,
Души моей ничто не изменит!
Так, милый друг, позволят ли мне боги
Ярмо забот сложить когда-нибудь
И весело на светлый мир взглянуть,
По-прежнему ль ко мне пребудут строги —
Всегда я твой! судьей души моей
Ты должен быть и в ведро и в ненастье:
Удвоишь ты моих счастливых дней
Неполное без разделенья счастье.
В дни бедствия я знаю где найти
Участие в судьбе моей тяжелой:
Что ж страшно мне на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой!
Еще позволь желание одно
Мне произнесть: молюся я судьбине,

Чтоб для тебя я стал, хотя отныне,
Чем для меня ты стал уже давно!

Баратынский.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Сто красавиц светлооких
Председали на турнире;
Все — цветочки полевые;
А моя одна как роза!
На нее глядел я смело,
Как орел глядит на солнце.
Как от щек моих горячих
Разгоралося забрало!
Как бунтующее сердце
Пробивало твердый панцирь!
Светлых взоров тихий пламень
Стал душе моей пожаром;
Сладошепчущие речи
Стали сердцу бурным вихрем.
И она — младое утро —
Стала мне грозой могучей!
Я помчался, я ударил —
И ничто не устояло!

Жуковский.

ПЕСНЯ

Роза ль ты розочка, роза душистая!
Всем ты, красавица, роза-цветок!
Вейся, плетися с лилеей и ландышем,
Вейся, плетися в мой пышный венок.

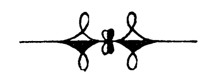
*

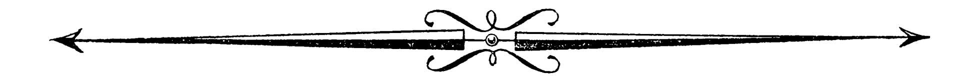
Нынче я встречу красавицу-девицу,
  Нынче я встречу пастушку мою:
«Здравствуй, красавица, красная девица!»
  Ах! .. и промолвлюся, молвлю: люблю!

*

Вдруг зарумянится красная девица,
  Вспыхнет младая, как роза-цветок:
Взглянь в ручеечек, пастушка стыдливая,
  Взглянь: пред тобою ничто мой венок!

Барон Дельвиг.





БЕДУИН

Повесть

Однажды Омар, халиф правоверных, в кругу товарищей пророка, мужей знаменитых разумом и доблестями, давал суд своим подданным. Неожиданно вошел к нему юноша, краса всех юношей; стройный богатым убором, он еще более отличался мужественными прелестями. С ним было двое молодых людей красоты блистательной, которые сопровождали или, лучше сказать, влекли его пред повелителя правоверных. Халиф, как скоро стали они перед светлым его челом, бросил испытующий взор на пришельцев, повелел выпустить юношу из рук и всем трем приближиться к трону. «Мы родные братья, — сказали юноши, — друзья правды и чести, и наша слава незапятнана ничем. Мы имели родителя — почтенного старца, родоначальника умного, уважаемого всем нашим поколением, свободного от пороков и слабостей человеческих, знаменитого своими добродетелями. Он старательно воспитал нас, ласково обходился с нами и неусыпно предупреждал все наши нужды. Сегодня вышел он в свой сад прогуляться под тенью молодых дерев, нарвать плодов, им самим храненных, — и юноша, которого видишь перед собою, убил его, совершил злодейство неслыханное. Государь! требуем казни преступнику, а тебе предлежит суд, как повелел бог в своем законе». Омар обратился к юноше: «Ты слышал, — сказал он, — в чем тебя обвиняют: можешь ли оправдаться?» Спокойно, с веселою усмешкою, приветствовал юноша халифа, красными словами и отвечал: «Властитель правоверных! всё, ими сказанное, — правда, и я ни в чем не

противоречу ей, однако расскажу всё дело, как было, а тебе предлежит суд, как повелел бог в своем законе. Я араб, чистой, несмешанной крови бедуинов, вырос на вольных кочевьях пустыни и горжусь своим происхождением от витязей, славных мужеством, которые от века не живали в темнице городов, человеку подвластных. Черная година, богатая злейшими для меня несчастиями, предводила моими стадами, в которых заключается мое отечество, мое добро и семейство, на степь, прилегающую к стенам сего города. Гоня по ней мое стадо, я зашел между загородных садов с многоплодными, обильными молоком верблюдицами, среди коих ходил верблюд благородной породы, гордой поступи, испытанного превосходства на племя. Некоторые верблюды, приближась к одному саду, стали грызть листья ветвей, висящих через ограду. В то время, как я отгонял их, явился на стене старец. Угрожая, с камнем в руке, бросался он по ней, как раненый или разъяренный лев, и в бешенстве метнул камнем в моего любимого верблюда, попал в темя и убил его насмерть. При виде верблюда, падающего на землю, мое сердце вспыхнуло пламенем гнева: я схватил тот же самый камень, ринул в старца и убил виновного орудием его вины. Послышав смертный стон его, я обратился в бегство, но двое сих юношей догнали и привели меня перед тебя». — «Ты признался в преступлении, — сказал Омар, — и достоин смертной казни: она неизбежна». — «С покорностию принимаю решение моего первосвященника и повелителя, — возразил бедуин, — и не жалуюсь на строгость законов ислама; но у меня есть малолетний брат, оставленный на мои руки мудрым, попечительным отцом моим. Перед смертью он отказал ему знатную часть имения и много золота и под клятвою заповедал мне наблюдать и верно хранить богатство брата. Сказанное золото я схоронил в землю, в месте, одному мне известном. Если меня казнишь теперь же, золото беззащитного малютки погибнет даром; ты будешь виною его нищеты, и он спросит от тебя свое достояние, когда бог станет судить народ свой с престола всемогущества. Если ж даруешь мне три дни отсрочки — постановлю над сиротою опекунов, сдам им наследство, родителем ему завещанное, и непременно явлюсь сюда для получения заслуженной казни. В этом могу дать поруку». Омар задумался и

через несколько времени, обратясь к предстоящим, спросил: «Кто из вас поручится за этого юношу? кто заверит, что он непременно сюда явится для получения заслуженной казни?» Тогда юноша окинул взглядом лица всех присутствовавших и, указав на абу-дерра, произнес: «Он за меня поручится». Халиф спросил абу-дерра, ручается ли он за виновного. «Ручаюсь, — отвечал старец, — что через три дни он явится пред лице твое».

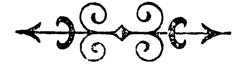
Омар принял поруку, и двое обиженных склонились три дни ждать его возврата.

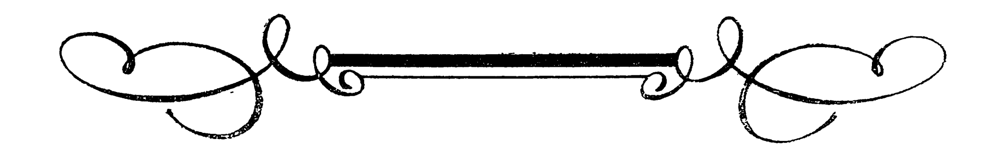
Уже время отсрочки истекало, и оба юноши стали перед советом Омара, окруженного блестящею толпою сподвижников пророка, будто месяц великолепным полчищем звезд. Пришел и абу-дерр; на исходе последняя минута отсрочки, а молодой бедуин не является перед лице халифа. «Где же преступник? — восклицали сыны убитого. — Напрасно ждать того, кто скрылся, но мы не отступимся от святой государевой поруки». — «Клянусь богом правды, — отвечал абу-дерр, — как скоро ударит последняя минута моего заложничества, и юноша не явится к суду высочайшего первосвященника и повелителя, я отдам под меч закона мою голову, а у бога найду награду». — «Но преступник уже опоздал, — сказал Омар, — и свидетельствуюсь пророком, что я на голову абу-дерра обращаю казнь, назначенную законом ислама». Слезы навернулись на глазах у всех; плач и ропот сожаления огласили палаты. Знаменитейшие из товарищей пророка уговаривали сыновей убитого принять окуп за его голову и похвалы народа за свое великодушие, но те настояли упорно в исполнении закона поручительства и не соглашались ни на какую перемену. В то время, как месть за отца, желание примирения и соболезнование об участи абу-дерра волновали предстоящих и беспорядком наполняли палаты — вошел осужденный юноша и, став перед светлым челом халифа, весело его приветствовал. Лицо его, облитое потом, блистало радостию и яснело благородством. «Я отдал дядям в опеку своего малолетнего брата, — сказал он, — разделил между ими свое имение и указал место, где закопано сокровище. Исполнив долг родства, я спешил сюда под знойным дыханием симума, чтоб сдержать обещание, как должно вольному человеку». Дивясь его бес-

страшию, спокойному духу и готовности умереть, с изумлением взирали все то на него, то друг на друга. Юноша продолжал: «Низкий обманщик никогда не познает благости всевышнего, и только праведные доступны его милосердию и щедротам, я уверен, что если суждена кому смерть, то никакая власть человеческая отразить ее не может, и потому спешил к вам, чтобы не сказали, будто добрая вера погибла между людьми». — «Владыко правоверных! — воскликнул абу-дерр, — я ручался за этого юношу, но клянусь всемогуществом бога, что не знал, никогда в жизни пред тем его не видал и о нем не слыхивал! Но когда, оглянув предстоящих, он указал на меня, как на поруку, я не хотел обмануть его доверенности, совесть не позволяла мне отказаться, и я заложил мою голову за незнакомца, чтоб не сказали, будто погибло между людьми великодушие». — «Халиф! — молвили тогда сыны убитого, — сей юноша загладил свое преступление благородным поступком, и мы прощаем ему кровь нашего отца, чтоб не сказали, будто погибло между людьми благородство души».

Омар, утешенный столь высокими чувствами, подтвердил прощение бедуину и воздал хвалу его прямодушию. Абу-дерра почтил он выше всех своих советников и в награду великодушия и доброты двух обиженных братий, повелел из казны государственной выплатить им окуп за кровь отца; но юноши отказались от принятия окупа, говоря: «Мы поступили так по долгу совести, а кто выполняет ее веления, того никакою наградою купить, никакою казнью устрашить не можно».

Перев. с арабского. *П. Сенковский.*





ЭЛЕГИЯ

Нет! полно пробегать с улыбкою любви
Перстами легкими цевницу золотую!
Пускай другой поет и радости свои,
И жизни счастливой подругу дорогую...
Я одинок, как цвет степей,
Когда, колеблемый грозой освирепелой,
Он клонится к земле главой осиротелой
И блекнет средь цветущих дней.
О боги! мне ль сносить измену надлежало!
Как я любил! в те красные лета,
Когда к рассеянью всё сердце увлекало,
Везде одна мечта,
Одно желание меня одушевляло,
Всё чувство бытия лишь ей принадлежало!
О Лиза! сколько раз на марсовых полях,
Среди грозы боев я, презирая страх,
С воспламененною душою
Тебя, как бога, призывал
И в пыл сраженья мчал
Крылатые полки железною стеною.
Кто понуждал меня, скажи,
От жизни радостной на жадну смерть стремиться?
Одно, одно мечтание души,
Что славы луч моей на милой отразится,
Что, может быть, венок, приобретенный мной
В боях мечом нетерпеливым,

Покроет лавром горделивым
Чело стыдливое подруги молодой!
Не я ли, вдохновен, касался струн согласных
И пел прекрасную! Еще Москва полна
Моих, в стихах, восторгов страстных;
И если ты еще толпой окружена
Соперниц, завистью смущенных,
И милых юношей, любовью упоенных,
Неблагодарная! не мне ль одолжена
Ты торжеством своим? .. Пусть пламень пожирает,
Пусть шумная волна навеки поглощает
Стихи, которыми я Лизу прославлял! ..
Но нет! изменницу весь мир давно узнал —
Бессмертие ее уделом остается;
Забудут, что покой я ею потерял
И до конца веков, средь плесков и похвал,
Неверной имя пронесется!
А я — мой жребий пасть в боях,
Мечом победы пораженным,
И, может быть, врагом влеченный на полях,
Чертить кремнистый путь челом окровавленным...
Так! я паду в стране чужой,
Далеко родины, изгнанником невинным:
Никто не окропит холодный труп слезой,
И разбросает ветр мой прах с песком пустынным!

Давыдов.

МЕЧТА ВОИНА

Война! .. Развиты, наконец,
Шумят знамена бранной чести.
Увижу кровь, увижу праздник мести,
Засвищет вкруг меня губительный свинец!
И сколько новых впечатлений
Для жаждущей души моей:

Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений,
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений,
Разбудят мой уснувший гений.
Всё ново будет мне: простая сень шатра
Огни врагов, их чуждое призванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты жажда гибели, свирепый жар героев?
Венок ли мне двойной достанется на часть?
Кончину ль темную сулил мне жребий боев?
И всё умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и братьев и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты любовь? — Ужель ни бранный шум,
Ни грозные труды, ни ропот грозной славы,
Ничто не заглушит моих тревожных дум?
Я таю — жертва злой отравы.
Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

**

ВИДЕНИЕ

На берегах задумчивой Эсмани,
Чуть слышимой в шумящих камышах,
Унынием встревоженный, в мечтах,
Платил я прошлой жизни дани.

*

Видения носились надо мной,
Виденья дней, погибших без возврата:
В толпе их я узрел, опять в красе земной,
Отца, и мать, и брата.

*

Узрел утраченных друзей,
Среди надежд, блаженства и свободы,
И в утренней небрежности своей
Мои младенческие годы.

*

«Привет вам! — я вскричал без ропота, без слез
С душою, полной встречи тайной, —
Привет вам, легкие посланники небес,
Иль гости милости случайной!

*

«Приходом вашим ожил я,
Как узник, милою утешенный в неволе.
Побудьте же со мной, небесные друзья,
Порадуйте меня подоле!

*

«О, дайте мне вкусить всю сладость сих минут,
Все тайны вашего явленья,
Постигнуть ваш удел, воздушный ваш приют,
И горних тел прикосновенья.

*

«Скажите, добрые, вы счастливы ль вполне?
Не нужны ль и для вас желанья?
Не ожидали ль вас, в небесной тишине,
Еще дальнейшие за небом упованья?

*

«Скажите, помните ль вы прежней жизни круг:
Волненье юности, мечту любви прелестной,

Или прошедшее, как недостойный дух,
Не прикасается к обители небесной?

*

«Скажите...» но уж их, как бурей унесло;
  Сверкнула лишь толпа святая,
И только матери знакомое крыло
  Повеяло мне лаской, улетая...

В. Туманский.

ТРИ ПУТНИКА

В свой край возвратяся из дальней земли,
Три путника в гости к старушке зашли.

«Прими, приюти нас на темную ночь!
Но где же красавица? где твоя дочь?» —

«Принять, приютить вас готова, друзья!
Скончалась красавица, дочка моя!»

В светелке свеча пред иконой горит;
В светелке красавица в гробе лежит.

И первый, поднявши покров гробовой,
На мертвую смотрит с глубокой тоской:

«Ах! если б на свете еще ты жила,
Ты мною б отныне любима была!»

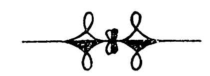
Другой покрывало опять наложил,
И горько заплакал, и взор отвратил:

«Ах! милая, милая, ты ль умерла?
Ты мною так долго любима была!»

Но третий опять покрывало поднял
И мертвую в бледны уста целовал:

«Тебя я любил! мне тебя не забыть!
Тебя я и в вечности будут любить!»

Жуковский.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА

изд. А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ.

1824.

С. Петербургъ.

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА.

КАРМАННАЯ КНИЖКА

НА 1824-й ГОДЪ.

ДЛЯ

ЛЮБИТЕЛЬНИЦЪ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
РУСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

изданная

А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ Военной Типографіи Главнаго Штаба
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Печатать позволяется

с тем, чтобы по напечатании, до выпуска из типографии, представлены были в С. Петербургский цензурный комитет семь экземпляров сей книги, для препровождения куда следует, на основании узаконений. Санктпетербург. Декабря 20-го дня 1823 года.

Цензор Александр Бируков.

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАРТИНКИ

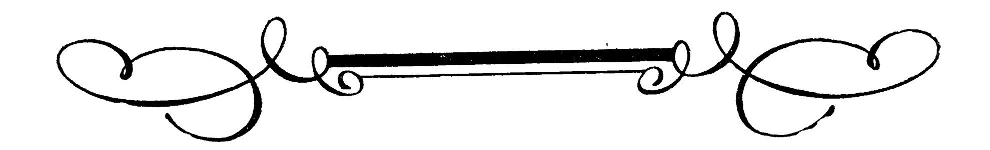
ПРОЗА

СТИХОТВОРЕНИЯ

НОТЫ

Слова песни: *Давным давно* князя Вяземского, музыка графа Виельгорского.

———————



ИЗЪЯСНЕНИЕ КАРТИНОК

I

Из Водопада Державина

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далеко рев в лесу гремит. — И проч.

* *
*

Под наклонным кедром вниз,
При страшной сей красе природы,
На утлом пне, который свис
С утеса гор на яры воды,
Я вижу некий муж седой
Склонился на руку главой. — И проч.

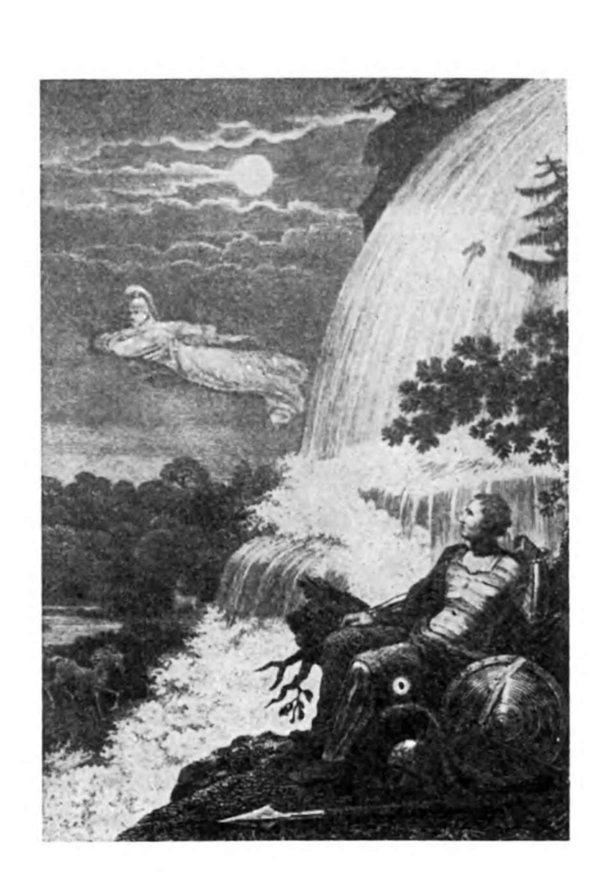
* *
*

Это Румянцев. Он забывается сном, но содрогание всей природы пробуждает его. «Знать умер некий вождь, — говорит он со слезами, — и поэт, вложив в уста его речь мудрой доблести, олицетворяет тень Потемкина».

Но кто там идет по холмам
Глядясь, как месяц в воды черны?
Чья тень спешит по облакам
В воздушные селеньи горны?
На темном взоре и челе
Сидит глубока дума в мгле?

* *
*

Какой чудесный дух крылами
От севера парит на юг?
Ветр медлен течь его стезями,
Обозревает царства вкруг;
Шумит и, как звезда, блистает
И искры в след свой рассыпает. — И проч.



II

Из Душеньки Богдановича

(Книга вторая)

Исполняя веление Оракула, родственники Душеньки оставляют ее одну на теме ужасной горы, во мраке и посреди страшилищ.

. . . .

Но Душенька едва уста свои открыла
Печальну жалобу на небо произнесть —
Помчалась к небу вдруг, куда никто невесть.
Без крыл несла ее невидимая сила;
    И царское дитя
Едва не обмерло, по воздуху летя.
Невидимый Зефир, воздушный нимф
                    носитель,
Который был ее и спутник, и хранитель,
    Увидев дивну красоту,
Запомнил Душеньку уведомить сначала
    Какая власть его послала
    Ее восхитить в высоту;
Все мысли устремил к неслыханному диву,
И вне себя взвевал ей платье на лету.

Но видя наконец он Душеньку чуть живу,
Приятным голосом сей страх ее пресек,
Сказав ей с тихостью, приличною Зефиру,
Что он несет ее к блаженнейшему миру.

III

Из Ермака Дмитриева

Стихотворец, нарисовав великолепную картину Иртыша, внимает речам двух изгнанных сибирских шаманов.

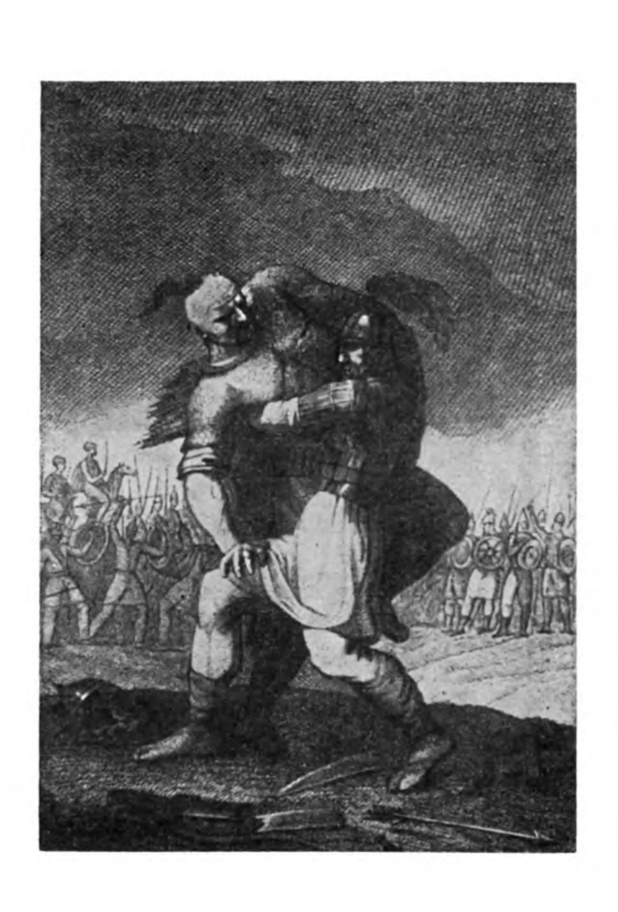
Старый

Я зрел с ним* бой Мегмета-Кула,
Сибирских стран богатыря:
Рассыпав стрелы все из тула
И вящшим жаром возгоря
Извлек он саблю смертоносну.
«Дай лучше смерть, чем жизнь поносну
Влачить мне в плене», — он сказал;
И вмиг на Ермака напал.
Ужасный вид! Они сразились,
Их сабли молнией блестят,
Удары тяжкие творят —
И оба разом сокрушились.
Они в ручной вступили бой,
Грудь с грудью и рука с рукой;
От вопля их дубравы воют,
Они стопами землю роют.

---

* С Ермаком.

Уже с них сыплет пот, как град
Уже в них сердце страшно бьется,
И ребра обоих трещат;
То сей, то оный на бок гнется,
Крутятся — и Ермак сломил.
«Ты мой, теперь, — он возгласил, —
И всё отныне мне подвластно».



IV

Из Вадима Жуковского

Вадим, исхитив из рук исполина княжну киевскую, застигнут с нею грозой.

...И в зареве открылась им
Пещера под скалою.
Спешит к убежищу Вадим;
Заботливой рукою
Он снял сопутницу с коня,
Сложил с рамен кольчугу,
Зажег костер и близ огня,
Взяв на руки подругу,
На броню сел. Дымясь сверкал
В костре огонь трескучий;
Поверх пещеры гром летал,
И бунтовали тучи.

И прислонив к груди своей
Вадим княжну младую,
Из золотых ее кудрей
Жал влагу дождевую,
И к персям девственным уста
Прижав, их грел дыханьем;
И в них вливалась теплота,
И с тихим трепетаньем

Они касалися устам;
  И девица молчала,
И к юноши прильнув плечам,
  Рука ее пылала.

Лазурны очи опустя,
  В объятиях Вадима
Она, как тихое дитя,
  Лежала недвижима.

V

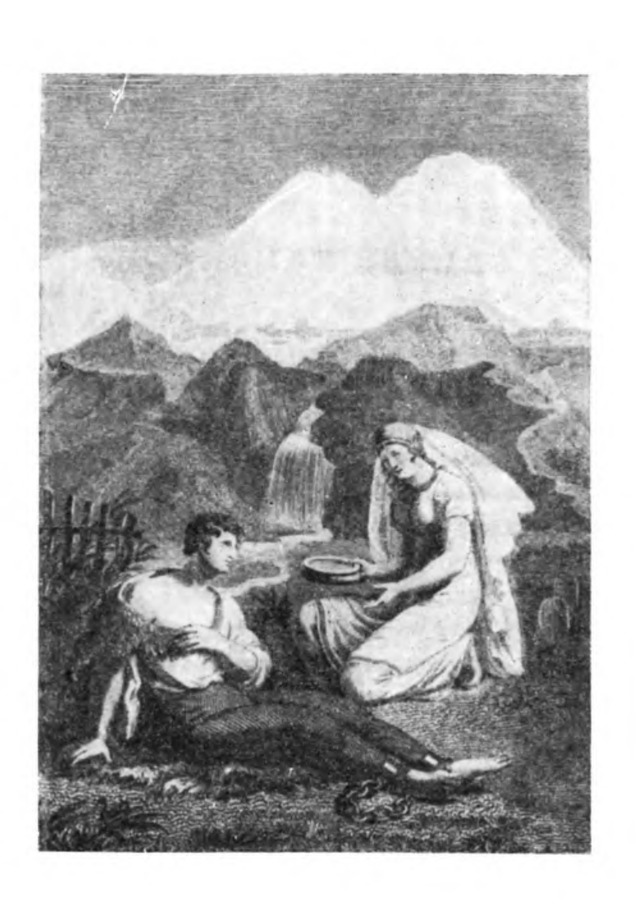
Из Кавказского пленника А. Пушкина

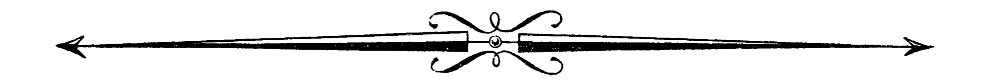
(Песнь 1)

Русский офицер захвачен в плен черкесом, и полумертвый привлечен в горский аул. — Он приходит в чувство, и закованные ноги уверяют его в ужасной истине — он раб!

. . . Все в ночной тени
Объято негою спокойной;
Вдали сверкает горный ключ,
Сбегая с каменной стремнины;
Оделись пеленою туч
Кавказа спящие вершины. . .
Но кто в сиянии луны,
Среди глубокой тишины
Идет, украдкою ступая?
Очнулся русский. Перед ним,
С приветом нежным и немым,
Стоит черкешенка младая.
На деву молча смотрит он
И мыслит: это лживый сон,
Усталых чувств игра пустая.
Луною чуть озарена,

С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс прохладный
Подносит тихою рукой.
Но он забыл сосуд целебный;
Он ловит жадною душой
Приятной речи звук волшебный
И взоры девы молодой.
Он чуждых слов не понимает;
Но взор унылый, жар ланит,
Но голос нежный говорит:
Живи! И путник оживает.





ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1823 ГОДА

В старину науки зажигали светильник свой в погасающих перунах войны, и цветы красноречия всходили под тению мирных олив. В наши времена, когда состояние ученого и воина не сливается уже в одну черту, мы видим совсем противное: топограф и антикварий поверяют свои открытия под знаменем бранным; гром отдаленных сражений одушевляет слог авторов и пробуждает праздное вниманье читателей; газеты превращаются в журналы и журналы — в книги; любопытство растет, воображенье, недовольное сущностию, алчет вымыслов, и под политическою печатью словесность кружится в обществе. Это было и с нами в отечественную войну. Наполеон обрушился на нас — и все страсти, все выгоды пришли в волнение; взоры всех обратились на поле битвы, где полсвета боролось с Россией, и целый свет ждал своей участи. Тогда слова *отечество* и *слава* электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением. Похвальные песни, плохи или хороши они были, раздавались по улицам и им рукоплескали в гостиных — одним словом, всё тогда казалось прекрасным, потому что все было истинным. Но политическая буря утихла; укротился и энтузиазм. Внимание наше, утомленное блеском побед и подвигов, перевысивших все затейливые сказки Востока, и воображение, избалованное чудесным, напряженное великим, — постепенно погрузились опять в бездейственный покой. Огнистая

лава вырвалась, разлилась, подвигнула океан — и застыла. Пепел лежит на ее челе, но в этом пепле таится растительная жизнь и когда-нибудь разовьются на ней драгоценные виноградники. Вот картина любви наших соотечественников к словесности после войны; но теперешнему ее состоянию были еще и другие причины. Отдохновение после сильных ощущений обратилось в ленивую привычку; непостоянная публика приняла вкус ко всему отечественному, как чувство, и бросила его, как моду. Войска возвратились с лаврами на челе, но с французскими фразами на устах, и затаившаяся страсть к галлицизмам захватила вдруг все состояния сильней чем когда-либо. Следствием этого было совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку и поэтам, начинавшим возникать в это время — и наконец совершенное оцепенение словесности в прошедшем году. Так гаснет лампада без течения воздуха, так заглушается дарованье без ободрений! О прочих причинах, замедливших ход словесности, мы скажем в свое время.

Приступаю к делу.

Ни один еще год не был беднее оригинальными произведениями прошедшего 1823. За исключением книг, до точных наук относящихся, вся наша словесность заключалась в журнальных, притом весьма немногих статьях. Лишь печатные промышленники тискали вторым и третьим изданием сонники и разбойничьи романы для домашнего обихода в провинциях. Порой появлялись порядочные и сомнительные переводы прекрасных романов Вальтера Скотта, но ни одно из сих творений не вынесло имя переводчика на поверхность сонной Леты; во-первых, потому, что пора славы за прозаические переводы уже миновала, а во-вторых, и слог их слишком небрежен.

Из оригинальных книг вышли в свет истекшего года: *Новейшие известия о Кавказе* С. Броневского и *Путешествие по Тавриде* Муравьева-Апостола. Обе сии книги во всех отношениях заслуживают внимание европейцев и особенную благодарность русских. Точность исторических изысканий, новость сведений географических и чистота слога венчают их похвалою археологов и литераторов, и вообще делают их необходимыми книгами для ученого и светского человека. Г. Булгарин, в своих *Записках о Испании*, как очевидец,

описал живо и завлекательно многие случаи народной войны испанцев с французами, обычаи первых и панораму благословенной стороны вторых. Рассказ его свеж и разнообразен, изложение быстро и выбор предметов нов. Г-н Мерзляков издал *Краткое начертание изящной словесности*, весьма полезное для учащихся и учащих, где он удачно подражал Эшембургу. Слог его облечен убеждением, силою и красотою. Сочинение г. Бутурлина *О нашествии Наполеона на Россию* и книжечка графа Ростопчина *Правда о пожаре Москвы* только по именам сочинителей принадлежат к русской словесности, потому что писаны по-французски; что же касается до слога переводов их, он неровен и полон галлицизмов. В числе книг полемических заметны: *Примечания* г. Грамматина *на Слово о полку Игоревом*, в котором он разрешил многие сомнительные места; но тон самоуверенности не всегда доказывает, что его доказательства бесспорны. Г. Греч издал опыт новой Русской грамматики под именем *Корректурных листов*, где развертывает совершенно новые и ближайшие к природе русского языка начала. К. Калайдович, почтенный археолог наш, посвятивший себя старине русской, напечатал статью: *Археологические изыскания в Рязанской губернии*, где виден зоркий взгляд знатока и опытность ученого. *Новое детское чтение* С. Глинки по слогу и цели своей имеет большое достоинство, и его же *краткая Русская история* достойна быть ручною книжкою в семействах. Сим заключается книжная фаланга.

Маленькая поэма *Оскар и Альтос* г-на Олина и перевод *Воспоминаний* Легуве, г-на Глебова, были единственными отдельными стихотворениями. Содержание первой взято из Оссиана; в ней беглые стихи, несколько удачных картин, искры чувства — и только. Достоинство же другой заключается в верности перевода и плавности стихосложения. Говоря о театре, трудно решить: актеры, авторы или публика были виною упадка оного? Вероятно, что все в свою очередь; но то уже бесспорно, что никогда театр и сцена не были пустее. Не считая пьес, которые не читаются и не играются, одни старинные оперы забавили праздничных зрителей, а драмы и переводные водевили продовольствовали публику в теченье недели. Из числа последних, князя Шаховского берут безусловное первенство над

прочими. *Деревенский философ, комедия* г. Загоскина развертывает забавные черты наших баричей, доказывая комической дар автора. *Сафо*, лирическая трагедия г. Сушкова, имеет только один недостаток: именно, что героиня пьесы топится в 4-м, а не в 1-м акте. В *Персее* г. Ростовцова есть сильные стихи, удачные сцены, счастливые мысли — и недостаток действия. Две последние трагедии не были представлены, и только прекрасный перевод *Федры* г. Лобановым одушевил умирающую сцену. В ней: жар чувств, и прелесть стихов, и краткость выражений переданы точно и плавно. Публика увенчала переводчика рукоплесканиями, а критика заслуженною похвалою.

Чтения публичные в литературных обществах, возбуждая соревнование между молодыми писателями, разливают и в публике вкус к родной словесности. Нередко те, которые приезжают туда, чтобы других посмотреть или показать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с полезнейшею охотою. По обычаю, императорская Российская Академия имела свое годичное торжественное заседание, и там знаменитый историограф наш, Н. М. Карамзин, растрогал слушателей отрывком своим из 10 тома Ист. гос. Росс. о убийстве царевича Димитрия. Что сказать о совершенстве слога, о силе чувств! Сии качества от столь прекрасного начала идут всё выше и выше, как орел, устремляющийся с вершины гор в небо. Г. Жуковский читал прекрасный отрывок из переводимой им *Энеиды*, и князь Шаховской отрывок из высокой комедии своей *Аристофан.* Общество соревнователей благотворения и просвещения имело тоже одно публичное заседание, где разнообразие предметов шло наравне с занимательностию их и любопытством слушателей. Между прочими достойными пьесами отличалась трогательная сцена из Шиллеровой *Иоанны д' Арк* Жуковского и *Послание к Державину* г. Туманского; оно обличает талант молодого певца. В прозе Греча и князя Вяземского отрывки из жизни И. И. Дмитриева. Общество при Московском университете собиралось для публичных заседаний ежемесячно; труды оного напечатаны. Должно сознаться, что литературные журналы всей Европы при нынешней естественной умонаклонности к политике — весьма незначительны, и в этом отношении русские нередко берут над ними преимущество. Из периодических изданий

отличается у нас полезными изысканиями до отечественных древностей и языка относящимися: *Труды общества при Московском университете.* В каждой части оных всегда есть много дельного. В *Сочинениях и переводах*, издаваемых Российскою Академиею, заключались переводы с старых и новых языков, критики и этимология слов русских. *Модный журнал* (издатель г. Шаликов, в Москве) пленял читателей чужою любезностию, невинными критиками, довольно нелюбопытными письмами и милыми стишками. *Журнал художеств* (изд. г. Григорович, в С. Петербурге), достойный благодарности по цели и похвалы по исполнению; составлялся из прекраснейших критических, теоретических и описательных статей, до изящных художеств касающихся, написанных с чувством знатока и языком опытного художника. Его еще мало у нас оценили. *Сибирский вестник* (изд. г. Спасский, в С. Петербурге) содержал в себе весьма любопытные известия о Сибири, которая менее известна нам самим, чем земля эскимосов. *Инвалид* (изд. г. Воейков, в С. Петербурге) принадлежит к словесности только своими *прибавлениями*, в коих, если он был беднее других прозою, зато богатее всех хорошими стихами. Стихотворения г. Языкова, некоторые пьесы г. Плетнева, князя Вяземского, Жуковского, прелестное *Послание к Гнедичу* Баратынского и *Невское кладбище* самого издателя украсили оный. *Благонамеренный* (изд. г. Измайлов, в С. Петербурге) забавен для своего круга. *Журнал общества соревнователей просвещения и благотворения* (в С. Петербурге), издаваемый с столь священною целью, нередко включал в себе достойные его листки. Между прочим: *О древних посольствах в Россию* г. Корниловича, *О романтизме* г. Сомова и *Разбор русских писателей* князя Цертелева достойны внимания. *Отечественные записки* (изд. г. Свиньин, в С. Петербурге), хотя не всегда с историческою точностию, но всегда с патриотическим жаром, хранили и передавали черты народного нрава, частных дел и замечательных событий. *Вестник Европы*, (изд. г. Каченовский, в Москве), патриарх русских журналов, правда далеко отстал в поэзии от петербургских периодических изданий, но по части прозаической шел обыкновенным своим твердым шагом. В нем в прозе заметны статьи: г. Гусева *О метафизиках немецких* и

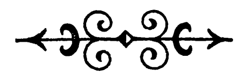
О русском языке неизвестного; по стихотворениям: отрывок из комедии *Лукавин* г. Писарева и его же *Пир мудрецов*. *Северный архив* (в С. Петербурге), издатель оного г. Булгарин, с фонарем археологии спускался в неразработанные еще рудники нашей старины и сбиранием важных материалов оказал большую услугу русской истории. Все новейшие путешествия, наши и чужестранные, являлись там первые. Там же *Критика* Леллевеля на *Историю государства Российского* была приятным и редким феноменом в областях словесности; беспристрастие, здравый ум и глубокая ученость составляют ее достоинство. *Прибавления к Северному архиву* г. Булгарина же оживляют на берегах Невы Парижского пустынника. Живой, забавный слог и новость мыслей готовят в них для публики занимательное чтение, а оригиналы столицы и нравы здешнего света — неисчерпаемые источники для его сатирического пера. *Сын отечества* (изд. г. Греч, в С. Петербурге), неизменный поборник чистоты языка, по привычке заключал в себе много дельных статистических статей и очень хороших стихотворений. В числе критик (мимоходом, весьма плодовитых) особенно замысловаты: *Письма на Кавказ* самого издателя. В произведениях поэзии заметны: *Василёк*, прекрасная басня И. А. Крылова; *Путешественник* Жуковского; *Последний Бард* Мансурова; *Май* Туманского, отрывок из *Освобожденного Иерусалима* Раича, и некоторые другие. *Прибавления к Сыну отечества* (изд. г-да Княжевичи, в С. Петербурге) отличаются прекрасным выбором повестей и чистым, плавным языком. Между немногих оригинальных пьес носит отпечаток народности *Иван Костин* г. Панаева; прочие переведены с разных языков. Вообще же во всех почти журналах число оригинальных произведений к числу переводов относилось как два к десяти, а пропорция чисто литературных статей к ученым была едва ль не тоще: это печально.

Мало-помалу Европа сквозь тусклые переводы начинает распознавать нашу словесность. В прошлом году почти все повести из Полярной звезды были переданы на немецкий язык в журнале г. Ольдекопа и повторились в других заграничных журналах. Г. Линде перевел на польский все статьи, до истории русской литературы касающиеся, и приложил при переводе книги о том же пред-

мете г. Греча, наконец г. Сен-Мор, по следам Боуринга,[1] Борха[2] и Гетце,[3] примерных переводчиков-поэтов, издал ныне на французском языке *Русскую антологию;* но опыт его был равно неудачен, как перевод и как сочинение: в копии нет и следов национальности образца. Русские цветы потеряли там не только запах, но даже и самый цвет свой. Так прокрался в вечность молчаливый прошедший год; казалось он был осенью для соловьев нашей поэзии и только в Полярной звезде отозвались они, — и умолкли снова; только (с благодарностию замечаем) по быстрому и благосклонному приему Полярной звезды, заметно было, что еще не погас жар к отечественной словесности в публике; впрочем, надобно и то сказать, что русский язык, подобно германскому в XVIII веке, возвышается ныне, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Теперь ученики пишут таким слогом, которого самые гении сперва редко добывали, и, теряя в числительности творений, мы выигрываем в чистоте слога. Один недостаток — у нас мало творческих мыслей. Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то, — но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец-Алкид, который в колыбели еще удушал змей! — И вечно ли спать ему?

P. S. Лишь теперь вышло в свет: *Путешествие около света* г. Головнина. Первая часть оного посвящена рассказу и описаниям истинно романическим; слог оных проникнут занимательностию, дышет искренностию, цветет простотою. Это находка для моряков и для людей светских. Еще спешим обрадовать любителей поэзии: маленькая и, как слышно и как несомненно, прекрасная поэма А. Пушкина *Бакчи-Сарайский фонтан* уже печатается в Москве.

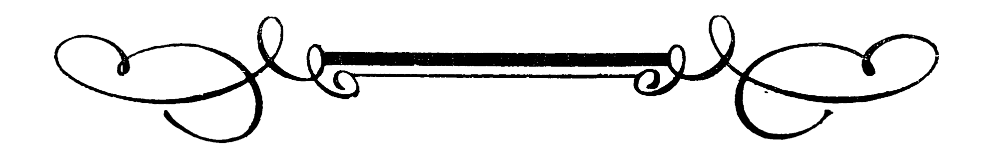
Александр Бестужев.



[1] Russian Anthology.

[2] Poëtisshe Erzeugnisse der Russen.

[3] Stimmen des Russischen Volks.



СЦЕНА ИЗ ОРЛЕАНСКОЙ ДЕВЫ

ДЕЙСТВИЕ 4. ЯВЛЕНИЕ 1

Богато убранная зала; колонны обвиты гирляндами из цветов; вдали слышны флейты и гобои; они играют во всё продолжение первой сцены.

Иоанна

Стоит в задумчивости и слушает; потом говорит:

Молчит гроза военной непогоды!
Спокойствие на поле боевом!
Везде шумят по стогнам хороводы,
Алтарь и храм блистают торжеством;
И зиждутся из ветвей пышны входы;
И гордый столб обвит живым венцом;
И гости ждут венчательного пира:
Готовы трон, корона и порфира!

И всё горит единым вдохновеньем;
И груди всем подъемлет мысль одна;
И счастие волшебным упоением
Сдружило всё, что рознила война;
Гордится франк своим происхожденьем!
Как будто всем отчизна вновь дана!
И с честию примирена корона!
Вся Франция в собрании у трона!

Лишь я одна, великого свершитель,
Ему чужда бесчувственной душой;
Их счастия, их славы хладный зритель,
Я прочь от них лечу моей мечтой;
Британский стан любви моей обитель,
Ищу врагов желаньем и тоской;
Таюсь друзей, бегу в уединенье
Сокрыть души преступное волненье.

Как? Мне любовию пылать?
Я клятву страшную нарушу?
Я смертному дерзну отдать
Творцу обещанную душу?
Мне, усладительнице бед,
Вождю спасенья и побед,
Любить врага своей отчизны?
Снесу ли сердца укоризны?
Скажу ль о том сиянью дня?
И стыд не истребит меня!

Звуки инструментов за сценою сливаются в тихую, нежную мелодию

Горе мне! Какие звуки!
Пламень душу всю проник!
Милый слышится мне голос!
Милый видится мне лик!
Возвратися, буря брани!
Загремите, стрелы, копья!
Вы ударьте, строй на строй!
Битва! Дай душе покой!
Тише, звуки! Замолчите,
Обольстители души!
Непснятным упоеньем
Вы ее очаровали!
Слезы льются от печали!

Помолчав, с большею живостию:

Могла ли я его сразить? О! Как
Сразить, узрев его прекрасный образ!
Нет! Нет! Себя скорей бы я сразила!
Виновна ль я, склонясь душой на жалость!
И грех ли жалость? .. Как! .. Скажи ж, Иоанна,
Была ль к другим ты жалостлива в битве?
И жалости ль покорен был твой меч,
Когда младой валлиец пред тобою
Лежал в слезах, вотще моля о жизни!
О сердце хитрое! Ты ль небеса
Всезрящие заманишь в ослепленье?
Нет! Нет! Тебя влекло не сожаленье.

Увы! Почто дерзнула я приметить
Его лица младую красоту!
Несчастная! Сей взор твоя погибель!
Орудия слепого хочет бог!
Идти за ним должна была ты слепо;
Но волю ты дала очам узреть —
И от тебя щит божий отклонился,
И адская тебя схватила сеть!

Задумывается, вслушиваясь в музыку, потом говорит:

Ах! Почто за меч воинственный
Я мой посох отдала,
И тобою, дуб таинственный,
Очарована была!
Мне, владычица, являла ты
Свет небесного лица!
И венец мне обещала ты...
Недостойна я венца!

Зрела я небес сияние,
Зрела ангелов в лучах...
Но души моей желание
Не живет на небесах!
Грозной силы повеление
Мне ль бессильной совершить!
Мне ли дать ожесточение
Сердцу жадному любить?
Нет! Из чистых небожителей
Избирай твоих свершителей!
С неприступных облаков
Призови твоих духов,
Безмятежных, не желающих,
Не скорбящих, не теряющих...
Деву с нежною душой
Да минует выбор твой!
Мне ль свирепствовать в сражении?
Мне ль решить судьбу царей?..
Я пасла в уединении
Стадо родины моей!..
В бурну жизнь меня умчала ты,
В дом владыки привела!
Но... лишь гибель указала ты!..
Я ль сей жребий избрала?

Жуковский.

ИСТИНА

Ода

О счастии с младенчества тоскуя,
Всё счастьем беден я,
Когда ж, и где, и в чем его найду я,
О судьи бытия!

Младые сны от сердца отлетели;
Не узнаю я свет!
Надежд моих лишен я прежней цели,
А новой цели нет.

Безумен ты и все твои желанья!
Мне тайный голос рек,
И лучшие мечты моей созданья
Отвергнул я навек!

Но для чего души разуверенье
Свершилось не вполне?
Зачем же в ней слепое сожаленье
Живет о старине?

Так некогда обдумывал с роптаньем
Я тяжкий жребий мой;
Вдруг Истину (то не было мечтаньем)
Узрел перед собой.

Светильник мой укажет путь ко счастью, —
Вещала, — захочу,
И страстного отрадному бесстрастью
Тебя я научу.

Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный разлюбишь
И ближних, и друзей.

Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой;
Я оболью суровым хладом душу,
Но дам душе покой.

Я трепетал, словам ее внимая,
И горестно в ответ
Промолвил ей: о гостья неземная!
Печален твой привет!

Светильник твой — светильник погребальный
Последних благ моих;
Твой мир, увы! Могилы мир печальный,
И страшен для живых!

Покинь меня, в твоей науке строгой
Я счастья не найду;
Покинь меня, кой-как моей дорогой
Один я побреду.

Прости — иль нет! Когда мое светило
Во звездной вышине
Начнет бледнеть, и всё, что сердцу мило,
Забыть придется мне...

Явись тогда, раскрой тогда мне очи,
Мой разум просвети,
Чтоб жизнь презрев, я мог в обитель ночи
Безропотно сойти.

Баратынский.

КАРАМЗИНУ

Когда на играх олимпийских
В надежде радостных похвал,
Отец Истории читал,
Как грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушил —
Народ, любитель громкой славы,
Забыв ристанья и забавы,
Стоял, и весь вниманье был.

Но в сей толпе многонародной,
Как старца слушал Фукидид!
Любимый отрок аонид,
Надежда крови благородной;
С какою жаждой он внимал
Отцов деянья знамениты!
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!

И я так плакал в восхищенье,
Когда скрижаль твою читал
И гений твой благословлял
В глубоком сладком умиленье.
Пускай талант не мой удел,
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.

К. Батюшков.

ПЕСНЯ

Что, красотка молодая,
Что ты, светик, плачешь?
Что головушку, вздыхая,
К белой ручке клонишь?
Или словом, или взором
Я тебя обидел?
Иль нескромным разговором
Ввел при людях в краску?

*

Нет, лежит тоска иная
У тебя на сердце!
Нет, кручинушку другую
Ты вложила в мысли!
Ты не хочешь, ты не смеешь
Молодцу открыться,
Ты боишься милу другу
Заповедать тайну!

*

Не узнали ль злые люди
Нашей тайной страсти?
Не спросили ль злые люди
У отца родного;
Не спросили ль сопостаты
У твоей родимой:
«Чей у ней на ручке перстень?
Чья в повязке лента,
Лента, ленточка цветная
С золотой каймою;
Перстень с чернью расписною,
С чистым изумрудом?»

*

Не томи, открой причину
Слез твоих горючих!
Перелей в мое ты сердце
Всю тоску-кручину,
Перелей тоску-кручину
Сладким поцелуем:
Мы вдвоем тоску кручину
Легче растоскуем.

Барон Дельвиг.

ДРУЗЬЯМ

Вчера был день разлуки шумной,
Вчера был Вакха буйный пир;
При кликах юности безумной,
При блеске чаш, при звуке лир.

Так! Музы вас благословили,
Венками свыше осеня,
Когда вы, други, отличили
Почетной чашею меня.

Честолюбивой позолотой
Не ослепляя ваших глаз,
Она не суетной работой,
Не резьбою пленяла нас.

Но тем одним лишь отличалась,
Что, жажду скифскую поя,
Бутылка полная вливалась
В ее широкие края.

Я пил, и думою сердечной
Во дни минувшие летал,

И горе жизни скоротечной,
И сны любви воспоминал.

Меня смешила их измена —
И скорбь исчезла предо мной,
Как исчезала в чашах пена
Под зашипевшею струей.

А. Пушкин.

СОНЕТ С. Д. П—ОЙ

При посылке книги: *Воспоминание об Испании* соч. Булгарина

В Испании Амур не чужестранец,
Он там не гость, но родственник и свой,
Под кастаньет с веселой красотой
Поет романс и пляшет, как испанец.
Его огнем в щеках блестит румянец,
Пылает грудь, сверкает взор живой,
Горят уста испанки молодой;
И веет мирт, и дышет померанец.
Но он и к нам, всесильный, не суров,
И к северу мы зрим его вниманье:
Не он ли дал очам твоим блистанье,
Устам коралл, жемчужный ряд зубов,
И в кудри свил сей мягкий шелк власов
И всю тебя одел в очарованье!

Барон Дельвиг.

К ХЛОЕ

(Гораций. Ода XXIII, книга 1)
Vitas binnuleo me similis, Chloe...

О, Хлоя! Ты бежишь меня,
Подобно серне легконогой,
Когда послышав лай далекий,
Рога на спину преклоня,
Она бежит во мрак глубокий
Пустынных, дремлющих лесов,
Таится, ждет коварных псов;
В ней сердце бьется, замирает,
Огонь в глазах ее потух,
Вся превратилась в тонкий слух...
И близкой смерти ожидает.

Но, Хлоя, я не страшный лев
Степей Гетулии бесплодной,
Не тигр свирепый и голодный —
Я робкий пленник юных дев.
Не бойся, Хлоя, быть со мною,
Покинь, покинь отца и мать,
И друга, белою рукою
Приди, прекрасная, обнять.

В. Вердеревской.

АГЛАЕ

О своенравная Аглая!
От всей души я вас люблю,
Хотя, другим не подражая,
Довольно редко вас хвалю.
На ваших ужинах веселых,

Где любят смех и даже шум,
Где не кладут оков тяжелых
Ни на безумье, ни на ум,
Где для глупца или невежды
Слов не размериваем мы, —
Я основал мои надежды
И счастье будущей зимы.
Ни в чем не следуя пристрастью,
Даете цену вы всему:
Рассудку, шалости, уму,
И удовольствию, и счастью.
Свет пренебрегши в добрый час
И притеснительную моду
Всему и всем забавить вас
Вы дали полную свободу;
И потому далеко прочь
От вас бежит причудниц мука,
Жеманства пасмурная дочь,
Всегда зевающая скука.
Иной порою, знаю сам,
Я вас браню по пустякам;
Простите мне мои укоры:
Не ум один дивится вам,
Опасны сердцу ваши взоры:
Они лукавы, я слыхал;
Самолюбивее другого,
От упоения слепого
Спасти рассудок я желал.
Я в нем теперь едва ли волен,
И часто, пасмурный душой,
За то я вами недоволен,
Что недоволен сам собой.

Баратынский.

НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел нереиду.
Сокрытый меж олив едва я смел дохнуть.
Над[a] ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

А. Пушкин.

К НЕЙ

Не цвета небесного очи твои
Не розы — уста твои, дева!
Не лилии — перси и плечи.
Но что б за весна в стороне той была,
Где б розы такие, такие лилеи
Цвели на зеленых лугах;
И небо и всё, что под небом,
Блистало, как очи твои голубые!

Туманский.

БАСНИ

1

ВАСИЛЁК

В глуши расцветший Василёк
Вдруг захирел — завял почти до половины
И, голову склоня на стебелек,
Уныло ждал своей кончины.

[a] *В ПЗ опечатка:* как. (*Прим. сост.*).

Зефиру между тем он жалобно шептал:
«Ах! Если бы скорее день настал,
И солнце красное поля здесь осветило,
Быть может, и меня оно бы оживило!»
«Уж как ты прост, мой друг! —
Ему сказал, вблизи копаясь, жук. —
Неужли солнышку лишь только и заботы,
Чтобы смотреть, как ты растешь,
И вянешь ты или цветешь?
Поверь, что у него ни время, ни охоты
На это нет.
Когда б ты мог летать, да знал бы боле свет,
Ты видел бы, что здесь луга, поля и нивы
Им только и живут, им только и счастливы:
Оно своею теплотой
Огромные дубы и кедры согревает
И восхитительной для сердца красотой
Цветы душистые богато убирает.
Да только те цветы
Совсем не то, что ты:
Они такой цены и красоты,
Что само время их, жалея, косит.
А ты ни пышен, ни пахуч;
Так солнца ты своей докукою не мучь,
Поверь, что на тебя оно луча не бросит,
И добиваться ты пустого перестань,
Молчи и вянь».
Но солнышко взошло — природу осветило,
По царству Флорину рассыпало лучи,
И бедный Василёк, завянувший в ночи,
Небесным взором оживило.
О вы, кому в удел судьбою дан
Высокий сан!
Вы с солнца моего пример себе берите!
Смотрите:

Куда лишь луч его достигнет — там оно
Былинке ль, кедру ли — благотворит равно
И радость по себе и счастье оставляет,
  Зато и вид его горит во всех сердцах,
Как чистый луч в восточных хрусталях,
  И всё его благословляет.

И. Крылов.

2

МОЛОТОК И ГВОЗДЬ

«По милости твоей я весь насквозь расколот, —
  Кирпич пенял гвоздю. — За что такая злость?»
«За то, что в голову меня колотит молот», —
  Сказал с досадой гвоздь.

Кн. Вяземский.

3

ОРЕЛ И ФИЛИН

Орел стремил полет свой к Фебову престолу,
А Филин говорил: от солнца мука вам.
Так доблесть ясный взор возводит к небесам,
  Злодейство опущает долу.

* * *

4

БОГАЧ И ПОЭТ

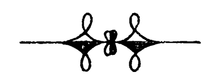
«Поэт, и горд еще! — Сказал спесивый Клим, —
А чем богат? Ума палата!»
«Купи бессмертие себе ценою злата, —
Ответствовал поэт, — и я смирюсь пред ним».

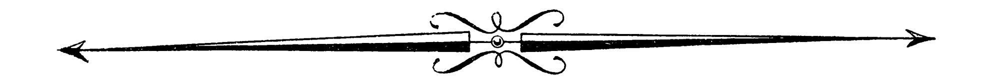
***

ЭПИГРАММА

Наш доктор мил, о том нет спора:
Здоровым смех, больным умора.

Л—в.





ОБ УВЕСЕЛЕНИЯХ РОССИЙСКОГО ДВОРА ПРИ ПЕТРЕ I

Посвящено бар. А. Е. А.

Век Петра I есть одна из любопытнейших эпох в истории наших нравов, сказал я вам однажды, милостивая государыня, когда, глядя на изображение кремлевских теремов, вы заговорили о том, как жили наши предки. Царствование его представляет странную борьбу между обыкновениями, освященными временем и обычаями прививными, вывезенными из-за моря, смесь прежних полуазиятских обыкновений со вновь вводимыми полуевропейскими. Вы потребовали на это объяснения, т. е. чтобы я описал вам светские наши общества во время Петра. Дабы исполнить сие в точности, надлежало бы войти в большие подробности, которые утомили бы ваше внимание. На сей раз позвольте мне ограничиться описанием одних увеселений двора, имевших непосредственное влияние на начало и забавы наших обществ.

Светские общества, в которых участвовали мужчины и женщины, начались при Петре Великом. Государь ввел оные, справедливо полагая, что ничто более обращения с женщинами не может благоприятствовать развитию нравственных способностей российского народа. Чтоб сблизить все состояния, двор давал праздники, учреждал гулянья, маскарады. Торжественные дни и воспоминания о победах, которые были часты в блистательное царствование Петра, нередко подавали к тому повод. В то время указами предписываемо было участвовать в забавах двора, и, таким образом, жители столицы

съезжались часто, ибо одна только болезнь извиняла отсутствовавших.

Придворные праздники делились на летние и зимние. Первые давались в Царском и Царицыном саду (нынешние летние — верхний и нижний); последние в Сенате или на почтовом дворе (там, где ныне Мраморный дворец). Иногда сзывали гостей барабанным боем или афишками; иногда, после обедни, в соборе святыя Троицы, желтый флаг с изображением двуглавого орла, держащего в когтях четыре моря (Белое, Балтийское, Черное и Каспийское), выставленный на одном из бастионов Петропавловской крепости, и пушечные выстрелы возвещали жителям столицы, что должно собираться после обеда в сад. Чиновные особы, дворяне, канцелярские служители, корабельные мастера и даже иностранные матросы имели право приходить туда с женами и детьми. В 5 часов пополудни являлись в сад государь и вся императорская фамилия. Посетители собирались в трех галереях, построенных на берегу Фонтанки. Государыня и великие княжны, держась старинного обыкновения, как хозяйки сада, подносили знатнейшим из гостей по чарке водки или по кружке вина. Император же угощал таким образом из деревянных больших кружек гвардию, полки Преображенский и Семеновский, которые строились на Царицыном лугу. Прочим посетителям предоставлено было самим черпать из бочек с пивом, водкою и винами, которые стояли в стороне от главных аллей. После того каждый мог забавляться по произволу: одни гуляли по саду, другие оставались в галереях, где были приготовлены разного рода закуски, иные садились за круглые столики в разных углах сада, на которых находились трубки с табаком и деревянными спичками или бутылки с винами. Более всего замечательны непринужденность и простота в обращении, царствовавшие во время сих праздников. Казалось, все были заняты одним желанием — веселиться, и забывали о различии сословий. Сам государь, отбросив весь этикет, обходился со всеми, как с равными: иногда, сидя с трубкою за столом с матросами, говорил он о трудностях морской службы или, ходя с некоторыми под руку по длинным аллеям сада, рассказывал о своих походах. В другое время рассуждал с духовными о богословских предметах или вел переговоры с иностран-

ными министрами. С наступлением вечера сад был освещен. Начинались танцы в аллеях или, в дождливое время, в галереях сада. Праздник оканчивался фейерверком, зажигаемым на судах, расположенных на Неве. Тут, между прочим, горели всякий раз транспараны с аллегорическими картинами, приличными предмету празднуемого торжества. Во всё время праздника ворота сада были заперты; никто не смел уйти от оного прежде государя без особенного на то позволения.

Из числа известнейших праздников упомяну о двух, более достойных внимания: об одном, который дан был 27-го июня 1721 года в воспоминание Полтавской победы, и другом, по случаю заключенного в Нейштате мира. В первый служили молебен в открытой палатке пред собором св. Троицы. У входа палатки стоял государь с эспонтоном в одной и простреленною шляпою в другой руке, и в том же платье, которое носил во время сражения: в зеленом мундире с небольшими красными обшлагами и старою лядункой чрез плечо, и зеленых чулках с башмаками на высоких каблуках; позади находились подполковники гвардии: фельдмаршал князь Меншиков и генерал-лейтенант Бутурлин. Императрица с царицею Прасковьею Федоровною и придворными дамами находилась в близлежащем доме на балконе. Во весь день производилась пушечная пальба с царского фрегата, стоявшего на Неве против летнего сада. Ввечеру, после гулянья и танцев в сем саду, был дан фейерверк, в котором аллегорические картины изображали успехи российского оружия против шведов.

Праздник 28-го генваря 1722 года, данный в Москве по случаю Нейштатского мира, отличался необыкновенным великолепием. После обедни в соборе Успения пресвятыя богородицы двор и все знатнейшие особы собрались в устроенном на сей случай пред Кремлевским дворцом обширном здании. Мужчины были в праздничных кафтанах; дамы в платьях, шитых золотом и серебром, с великолепными головными уборами. Одна только вдовствующая царица Прасковья сохраняла право одеваться по старинному обыкновению, т. е. в черной бархатной шубейке с меховою шапкою на голове. После пышного стола, который был накрыт на 1000 кувертов, раздавались золотые ме-

дали, выбитые по случаю мира. Праздник кончился танцами, за коими последовал великолепный фейерверк. Между прочим, представлялся тут храм Януса, освещенный 20 000 плошек; за ним, в некотором отдалении, видны были на волнах синеющегося моря корабли, над коими летал голубь с масличною ветвию. Пред храмом, на высоких подмостках, лежали для народа жареные быки с позлащенными рогами; по сторонам били фонтаны белого и красного вина.

Вскоре пример двора перешел и к частным людям. Русские вельможи, следуя законам сродного им гостеприимства, охотно исполняли государеву волю. Тогда не знали зазывных билетов: приглашали только самых знатных; прочие знакомые и незнакомые приходили в назначенный час, садились за стол и, покушав хлеба-соли, уходили, часто не заботясь о хозяине. Пирушки были часты. Вкусные обеды Меншикова, вина Шафирова, роскошное угощение Строганова и радушный прием Апраксина обратились в пословицу. Хозяин или хозяйка встречали гостей в дверях, при звуке труб и литавр, поклоном и рюмкою водки или вина. Обеды, начинавшиеся в 12 часов, были продолжительны и состояли из множества блюд. В частных собраниях, когда съезжались одни короткие знакомые, жребий назначал даме кавалера, который должен был вести ее к столу, садиться рядом с нею и услуживать за обедом. В торжественные дни дамы находились в одной, а кавалеры в другой комнате. В конце стола подносили дамам сахарные закуски, к мужчинам же приносили ящики с винами: венгерским, рейнскими и некоторыми французскими. Начинались тосты: обыкновенно предлагал оные сам хозяин. Когда случалось, что государь находился в числе пирующих, то первым тостом было всегда *благоденствие семейству Ивана Михайловича Головина*, то есть флоту.* Петр считал сей тост столь важным, что обещал

* Генерал-майор Головин отправлен был Петром I-м в конце XVII века в Венецию для обучения корабельному строению; но сии занятия были не по его вкусу. Четыре года своего пребывания в Венеции посвятил он на изучение музыки и один только раз был на тамошней верфи. Несмотря на то, государь, как будто в шутку, сделал его адмиралтейским советником и главным надзирателем С. Петербургской корабельной верфи. Петр любил Головина за его испытанную верность и за оказанное в сражениях мужество.

шуту своему Лакосту 100 000 рублей, если бы ему случилось когда-нибудь пропустить оный. Во время стола государь уходил отдыхать и через час возвращался. После обеда гости переходили в другую комнату к дамам, где ждали их чай, кофе и лимонад. Если общество было немногочисленно и нельзя было танцевать, то призывали домашнего козака, который тешил посетителей пляскою с припевом и игрою на торбане или на балалайке. В другое время, когда не случалось гостей, пред коими надлежало чиниться, садились играть: мужчины между собою в кости, шахматы или шашки, дамы с некоторыми кавалерами в короли, марияж, ломбер, ламуш или лантре.

В орденские кавалерские праздники один из кавалеров (обыкновенно Меншиков) давал обед; все же другие угощали друг друга тремя кружками вина: одну выпивали за благоденствие флота и войска, другую за здоровье всех кавалеров, третью за здоровье хозяина. Число кавалеров в столице определяло число кубков, осушенных ими в таковые дни.

Одною из любимых забав Петра I было катанье в лодках. Вам известно, милостивая государыня, что в Петербурге во всё время его царствования не было на Неве мостов. Государь раздал всем для переправы суда. Первоклассным вельможам по яхте, буеру и по 2 шлюпки, одну в 12, другую в 4 весла. Прочим из жителей менее, смотря по чинам. Каждый хозяин обязан был содержать суда свои в целости и отвечал за них. В назначенный для катанья день выставляли в четырех концах города флаги: все суда, под опасением значительного штрафа, должны были собраться близ Петропавловской крепости у дома 4-х фрегатов, неподалеку от Троицкого моста. По пушечному выстрелу флотилия сия выступала в поход. Адмирал Апраксин открывал шествие с яхтою своею, имевшею для отличия красный с белым флаг. Никто не смел опередить его или уехать без его позволения. Потом следовала императорская шлюпка, где находились государыня и великие княжны, а рулем правил сам Петр, одетый в белое матросское платье; а за сею шлюпкою прочие без разбора. Знатные возили с собою музыку. Сие множество судов, стройно следовавших одно за другим, согласные усилия гребцов в белых ру-

башках и звуки труб, литавр и валторн, далеко раздававшиеся по волнам, очаровывали зрение и слух. Катанья обыкновенно оканчивались у загородных дворцов Екатерингофа и Стрельны. Там всякий раз готовы уже были закуски: гуляющие, вышед на берег, полдничали, ходили по рощам и с наступлением вечера возвращались в город в том же порядке. Иногда предпринимались дальнейшие поездки: т. е. в Ораниенбаум, принадлежавший князю Меншикову, в Кронштадт и даже в Ревель. Беспрестанная пальба с судов и гром музыки оглашали воздух во время пути. Иногда сии забавы имели неприятные следствия. Не говоря уже, что многие дамы долго не могли приучиться к плаванию в открытом море, неуменье управлять судами во время бури приводило в страх и часто подвергало опасности гуляющих. Подобный случай был 21 мая 1714 года. В то время приезжал в Петербург посланник бухарского хана Гаджи-Могамед-Багадира. Царь пригласил его принять участие в предлполагаемом путешествии в Кронштадт. По неопытности капитана, шнява, на которой находился посланник, канцлер граф Головкин и несколько сенаторов, попала между мелей. Пока было тихо, опасность была невелика; но к 9-ти часам вечера восстала сильная буря: разбило шлюпку, привязанную сзади, оторвало якорь и бросило судно на мель; всё, казалось, грозило шняве погибелью. Посланник, никогда до того не видавший моря, дрожал от страху: но видя, наконец, что нет надежды на спасение, закутался в шелковое одеяло, лег на палубе и велел мулле своему, став на колена, читать над собою молитвы из Корана. К утру буря утихла, и присланные от царя галеры привели шняву в Кронштадт.

Говоря о катаньях по воде, могу ли не упомянуть о спусках кораблей? Петр, создатель русского флота, не мог не радоваться успехам великого своего предприятия. Оттого всякий корабельный спуск был истинным для него праздником. Накануне извещали о сем происшествии барабанным боем. В самый день по пушечному выстрелу из крепости все отправлялись в Адмиралтейство. По совершении молебна на новопостроенном судне царь, взяв в руки топор, подрубал одну из подпорок, на которых стоял корабль. Звуки труб и литавр, громкие восклицания народа и пушечные выстрелы с крепости и

Адмиралтейства оглашали воздух. Когда якорь был брошен, Петр в матросской куртке всходил первый на корабль и приветствовал приходивших к нему с поздравлениями поцелуем в голову. Императрица и великие княжны подносили всем по рюмке вина. Между тем в каютах накрыты были столы, в верхних для дам, а в нижних для мужчин. За стол, где находился государь, садились по правую сторону корабельные мастера, плотники и все участвовавшие в постройке вновь спущенного судна, по левую — знатнейшие особы. Не было обедов шумнее: сам Петр был всегда за оными чрезвычайно весел. Между гостьми его царствовала совершенная непринужденность: тосты быстро следовали один за другим. Вино, особенно венгерское, лилось полной чашей. Сии пирушки на кораблях продолжались от 4 часов пополудни до 2 пополуночи, и всякий обязан был принимать в оных равное участие.

Говорить ли вам, милостивая государыня, о масленичных маскарадах, где маски, собравшись по пушечному выстрелу на площади против собора св. Троицы, у так называмой пирамиды 4 фрегатов,* по сигналу, поданному самим государем, который был одет барабанщиком, скидали плащи и показывались в своих нарядах; где посреди множества испанцев, греков, турок, китайцев, индейцев являлись карлы в длинных бородах, возившие в тележках гайдуков царских, спеленанных как дети? Говорить ли вам о зимних катаньях, где между множеством огромных саней, которые сделаны были наподобие лодок, иные в 20 футов длины, и в которых находились в костюмах царская фамилия, иностранные министры и знатнейшие особы обоего пола, — видны были Нептун в раковине с трезубцем, влекомый двумя сиренами, Бахус, едущий на бочке с кубком в одной и ливером в другой руке; государев шут, одетый медведем, в санях, запряженных шестью медведями же; камчадал и камчадалка, ехавшие на собаках, и, наконец, множество арлекинов и масок, изображавших разных зверей и птиц? Подобные маскарады и катанья продолжались целую неделю.

---

* Пирамида сия была деревянная и построена в память первой морской победы над шведами при Гангёудде в 1714 году.

Опасаясь наскучить вам подробностями, ограничусь одним только замечанием, что все масленичные маскарады во время Петра I носили на себе отпечаток вкуса грубого, необразованного, в то время еще общего в Европе.

Я упоминал уже о музыке в письме моем о русских ассамблеях. Некоторые вельможи имели свои капели, но между высшим сословием весьма немногие сами занимались музыкою. По известиям современных писателей из русских дам княгиня Кантемир и Черкаская, и графини Головины, воспитанные в Швеции, где отцы их, генерал-лейтенант князь Трубецкой и генерал-адмирал Головин находились в плену, умели только играть на фортепиано. Прочие считали неприличным посвящать часы досуга сему занятию. Концерты были, однако же, в моде. Прусский посланник барон Мардефельд, сам превосходно игравший на лютне, не раз забавлял оными петербургскую публику. Голстинский министр граф Бассевиц также давал музыкальные собрания. В великий пост 1722 года вся Москва съезжалась к нему слушать духовные оратории, игранные музыкантами голстинского герцога Карла Фридриха. Вы знаете уже, какою славою пользовались сии музыканты в Петербурге. В дни Нового года, светлого воскресенья или именин государыни герцог до рассвета являлся с ними под окнами императрицы и серенадами приносил ей свои поздравления. Рюмка вина, подносимая великою княжною Анною Петровною герцогу и всей его свите, была обыкновенно наградою за их внимание.

Из сказанного выше вы видите, милостивая государыня, что все увеселения времен Петра I имеют нечто отличное, свойственное своему времени. Вы еще более в том удостоверитесь, взглянув на множество карл и шутов, которые занимают немаловажное место в летописях тогдашних забав. В конце XVII и в начале XVIII века карлы и шуты были еще в употреблении при всех европейских дворах. Оттого вы встретите их во множестве и у нас, как при дворе, так и в частных домах. Государю вздумалось однажды позабавить герцога и герцогиню Курляндских свадьбою карл. Петр повелел одному из них выбрать себе супругу из девушек одинакого с ним роста. 13-го ноября 1710 года назначена была свадьба. Созвали на сей праздник

указом 19-го августа 1710 года* всех карл, находившихся тогда в Москве и Петербурге. Накануне свадьбы двое из них, бывшие шаферами, поехали в колясочке о трех колесах, в одну лошадь, убранную разноцветными лентами, звать гостей, имея впереди верхом 2-х официантов в ливрее. На другой день, когда все гости съехались в назначенный дом, молодые отправились в большом торжестве к венцу. Впереди шел карла, исправлявший должность маршала, с жезлом, к концу которого привязан был букет из лент. За ним жених и невеста с шаферами; потом сам царь, множество дам, некоторые министры и другие знатные особы. Шествие заключалось 72-мя карлами и карлицами, первые в светлоголубых или розовых французских кафтанах, треугольных шляпах и при шпагах; последние в белых платьях с розовыми лентами. После церемонии все отправились к князю Меншикову, где ожидал молодых богатый обед. Карлы сидели в средине: столы жениха и невесты были под шелковыми балдахинами, а над стулом невесты висели три лавровых венка. Маршал и 8 человек шаферов имели для отличия кокарды из кружев и разноцветных лент. Кругом по стенам залы сидели царская фамилия и прочие посетители. Праздник кончился пляскою, в коей участвовали одни карлы.

Шуты или, как их тогда называли, дураки, были едва ли не в большем числе, нежели карлы. При дворе и во всяком почти доме находились шуты или шутихи. Дура днем играла с барынею в дураки и не смела никогда выиграть; вечером рассказывала ей сказки, чтоб прогнать ее бессонницу. В праздничные дни или когда случались

* Вот Указ в подлиннике:

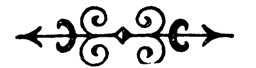
«Карл мужеска и девическа пола, которые ныне живут в Москве в домах боярских и других ближних людей, собрав всех, выслать с Москвы в С. Петербург сего августа 25-го дня, а в тот отпуск в тех домех, в которых те карлы живут, сделать к тому дню на них, карл, платье: на мужской пол кафтаны и камзолы нарядные цветные с позументами золотыми и с пуговицы медными золочеными, и шпаги, и портупеи, и шляпы, и чулки, и башмаки немецкие добрые; на девическ пол верхнее и исподнее немецкое платье, и фантанжи, и всякой приличной доброй убор и в том взять тех домов и стряпчих сказки и проч.

19 августа 1710».

гости, разряженная как 18-тилетняя девушка, дура забавляла собрание прыжками, кривляньем и пеньем. Преимущественно старались выбирать для сего старых женщин, полагая, что чем дура старее, тем она охотнее к рассказам и тем забавнее в пляске.

Вот вам, милостивая государыня, некоторые черты общественной жизни при Петре I; я исполнил, сколько мог, ваше требование. Если слабый труд сей удостоится лестного вашего внимания, то я буду продолжать начатое: скажу несколько слов о церемонии, наблюдаемой в ту важную для девушки эпоху, когда отец или мать объявляли ее вышедшею из детского возраста, о свадебных обрядах при Петре I и пр. Потом постараюсь показать постепенный ход наших обществ, состояние оных при Анне и Елисавете и, наконец, совершенное их преобразование при Екатерине Великой. Снисходительный взор ваш будет лучшею наградою для автора, улыбка вашего одобрения придаст ему новые силы и заохотит его к новым трудам.

А. Корнилович.



ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

(Отрывок из Делиллевой поэмы: Воображение)

Вчерашнее забыв, о завтрем без забот,
Дитя с игрушкою ложится и встает.
Но миновавшее и будущее время
Для сердца детского есть тягостное бремя;
Для них потребных сил и места в оном нет.
Миг настоящий всё — и угол целый свет;
В руках гремушка клад, сажень есть бесконечность.
И вечер — будущность, и день единый — вечность.
Но целый человек в младенце заключен,
Как в тесном желуде огромный дуб вмещен.
Чувств пылкость юношу слепого увлекает;
Он настоящее, несытый, пожирает,
Восторгов пламенных и дум мятежных полн,
Не в силах удержать порыв сердечных волн;
Он изливает их, как бурная стихия,
Кидает с яростью на брег валы седые.
Предупреждает он грядущего полет,
Внимает славы глас, побед блестящих ждет,
Зовет веселости, искусства, игры, смехи,
И веруя любви, надежный на успехи
Из золота прядет нить жизни своея.
О возраст счастливый! о возраст милый! я
Желал бы не любви, не славы, не геройства,

Не красоты твоей, но лучшего их свойства:
Надежда в спутницы тебе судьбой дана —
И заменяет все сокровища одна.
Теперь на зрелого мы взглянем человека:
Останавляется, достигнув полувека,
Бросает долгий взор вокруг, назад, вперед;
Без страха — далее, без горя — вспять идет.
Уж здесь он не в весне: хотим не упований
И не цветов — плодов, богатств — не обещаний.
Уж остывает в нем пылающая кровь;
Дельней труды, скромней восторги и любовь;
Его рассудок — наш, спасительны советы,
Полжизни есть урок на остальные леты.
Прошедшим будущность умея измерять,
Предвидеть для него есть только вспоминать.
Увы! совсем не то со старостию грозной:
Уже нам от нее плодов ждать новых поздно!
Читает ли она в грядущих временах?
Уж не надежды луч во взоре виден — страх.
Взгляни на старый дуб: он в лета молодые
Широко осенять любил поля родные,
Смелее каждый день; высок, пригож, могуч,
Стопами внутрь земли, вершиной выше туч;
Но корень очерствел, глава его завяла,
И мачиха-земля питать его престала:
Вот старость! сердце ей не согревает вновь
Ни честолюбие, ни жаркая любовь.
Нет обожателей у солнца на закате!
Старик скорбит душой о юных дней утрате,
И зря, что лишний он на сцене, сходит с ней
И ничего не ждет от время и людей.
Лишь настоящего целительны минуты...
Что говорю? оно его мучитель лютый,
И ни малейшей в нем отрады он не зрит.
Тогда к прошедшему — любимому спешит,

В воспоминаньях благ там ищет утешений
От настоящих бед и будущих мучений,
И даже как летит к нему последний день,
Одряхший, он еще вкушает счастья тень.
У жизни на пиру, богами приглашенный,
Гость запоздалый, брашн вкуснейших пресыщенный,
И не завидуя, и не грустя, он тут
Хоть сам и не живет, но видит, как живут.
В чем сам участвовал, тем вчуже веселится,
И настоящее ему прошедшим зрится.
Бродил ли ты когда вдоль Темзы берегов
И видел ли чертог для воинов-пловцов
В приют отечеством созданным благодарным?
Пред взором их, морям вверяяся коварным,
Стремится молодость по пенистым валам
И возвращается к отеческим брегам.
Что ж старые пловцы? В мечтах бывалым дышат,
Зрят дальние страны, сражений громы слышат,
Воспоминают всё: свой путь, возврат, отъезд,
И просят у морей, у ветров и у звезд
Неопытным пловцам могущего покрова,
И мысленно в судах вкруг света мчатся снова.
Так любит человек, в преклонности своей,
Воспоминать и грусть, и радость прежних дней,
И образ обновлять сей жизни коловратной.
Так сердце создано: ему мечтать приятно.
Во всяком возрасте утехи льзя найти:
Пусть руководствует нас разум в сем пути.
Пусть скажет детству он: «Блаженствуй, наслаждайся,
С беспечностью своей живи, не разлучайся.
Сон жизни молодой бывает часто лжив;
Но счастья призраком обманутый счастлив.
Хочу не прогонять мечты воображенья
И не будить тебя, но выбрать сновиденья».
Он скажет юноше, готовому упасть:

«Рассудка призови спасительную власть,
Умерь желания; в припадках сладострастья
Жизнь отрешаешь ты, безумец, от участья
В наследстве будущих ей присужденных благ.
Ты поздно призовешь раскаянье в слезах.
Употреблять всегда и всё ко счастью можно,
Во зло употреблять нам ничего не должно».
Случается, дикарь о завтрем без забот,
С бесплодной жадностью сорвать желая плод,
И дерево, и с ним надежду подрубает.
«Вот самовластие!» нам Монтескьё вещает.
А я скажу о сем безумстве: «Вот порок!
Он счастья нашего исчерпывает ток
И будущего цвет, не распустившись вянет».
Жизнь — путь; беда, коль нам припасов недостанет!
За наслажденьем вслед без памяти глупец.
Мед бережно берет с цветка сего мудрец.
Сорви, коль пышная пленяет роза взглядом.
Но пощади шипок, висящий с нею рядом.
Мы в зрелом возрасте к забавам холодней,
Но честолюбие в нас действует сильней;
Оно является в сиянии пред нами;
А разум говорит: «Укрась себя звездами,
Чинами, лентами — и их укрась собой.
Да, сердце чистое сияет под звездой».
Иное старику и правило и слово:
«Быть может, не видать тебе уж жатвы новой;
Уходит день за днем, всему своя пора,
Спеши ж, не отлагай дел добрых до утра».
Когда охотник лес обставит тенетами,
Пространство видимо стесняется пред нами:
Так годы гонят прочь желания от нас
И удовольствий круг стесняет каждый час.
Не чувствую ль уже как старость, враг открытый,
Терзает жизни ткань и обрывает нити?

Как! разве дружбы нет досуги усладить
И все веселости с избытком заменить?
Как! разве нет сынов? храни, лелей их детство;
Им добродетели и замыслы в наследство!
Труды, начатые любовью нашей к ним,
Не конча, довершить мы предоставим им.
Так к смерти близко быв, есть средство возраждаться
И в жизни милых нам вновь жизнью наслаждаться.
Так свет соединен, так день с грядущим днем.
Так крепко бог связал союз детей с отцом.
Приятны здравого рассудка поученья;
Жизнь поле дикое и требует раченья.
Плод счастия на нем случайно не растет
И, сын природы, он искусства в помощь ждет.

Воейков.

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ

«Привет вам, первенцы весны,
Младые дети нежной Флоры!
От вас луга оживлены;
Юнеют сумрачные горы;
Брега цветут; свободных вод
Я внемлю новое плесканье;
И чистый воздух жадно пьет
Густых полей благоуханье.
Но для меня веселья нет!
Я встретить вас пришла без брата:
И грустен первый мой привет
Поре весеннего возврата.
Одна брожу с моей тоской;
К утехам сердце охладело,
И всё, что радует весной,
Во след за братом улетело.
С младенчества друг верный мне,

Он душу всю делил со мною,
И в одинокой тишине
Мне долго заменял собою
Утрату матери моей.
Когда недуг последних дней
Его тягчил последней мукой;
Еще мою он руку жал
И неизбежною разлукой
Надежд любви не возмущал;
Но он увял, мой друг единый,
Как подсеченный цвет долины.
Цветы, веселие полей!
С зарею каждою вы краше:
Не для меня веселье ваше;
Не расцвести душе моей!
Мои поблекнули ланиты;
Мой недалек последний день;
Передо мною гроб открытый:
И только милая мне тень
Меня проводит до могилы.
Когда ж весной прошлец унылый
К гробнице подойдет моей;
Он не узрит в тоске глубокой
Ни роз душистых, ни лилей,
С утра покинутых на ней
В отраду тени одинокой».
Печаль свой жребий прорекла.
Еще весна не совлекла
Своих ковров с долины злачной;
А дева, в красоте безбрачной,
Во гроб безвременно сошла;
И на кладбище из селенья,
В слезах тоски и сожаленья,
Ее никто не провожал.
Но долго след к ее гробнице

Густой травой не заростал;
И долго, с каждою денницей,
К ней друг безвестный поспешал,
Скрываясь робко меж древами;
И каждый раз он осыпал
Могилу свежими цветами.

Плетнев.

ЭЛЕГИЯ

О, дни любви и сладких обольщений!
Поспешно вы, поспешно протекли,
И навсегда с собою унесли
Покой души и радость наслаждений!
Рассталося веселие со мной,
Змея-печаль мне сердце разрывает
И светлую природу одевает
Ненастливой, туманной пеленой.
Любуюсь ли я нивой золотою,
Спешу ль дубрав в раскидистую сень:
Она за мной последует, как тень,
И красота их вянет предо мною.
Приближу ли к трепещущим устам
Златой бокал, фалерном воспененный;
Велю ли вновь цевнице запыленной
Ответствовать летающим перстам:
Она в покал отраву подливает,
И тяжкий вздох струит кристалл вина,
И горькою слезой омочена
Струна моя трепещет и смолкает.
О, Делия! ты бед моих виной!
Ты юноши веселье погубила!
О если б вновь меня ты полюбила,

Оно бы вновь сдружилося со мной!
Жестокая! уже ль мои стенанья
Твоей души не могут умягчить?
Клянусь презреть, клянусь тебя забыть
И всё люблю виновницу страданья!

Загорский.

В АЛЬБОМ МАЛЮТКЕ

Играй, Адель,
Не знай печали!
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна:
Для наслаждений
Ты рождена;
Час упоений
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви,
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

А. Пушкин.

ЛЕС

Свежо и прохладно
Под тенью густой:
Сколь дышешь отрадно
Здесь в тягостный зной!
От липы душистой
Какой аромат!
Сколь весело чистый
Сияет закат!

*

Источник дубравный,
Сквозь темных ветвей,
Горит своенравный
В багрянце лучей;
На влажные гроты
Нависли листы:
Нигде глас заботы
Не будит мечты!

*

Лишь звонкой свирели
Из тонких тростей
Забытые трели
С младенческих дней,
Лишь песнью далекой
Беспечный пастух —
В тиши одинокой
Мой трогают слух!

*

Здесь первая младость
Вновь душу живит,
И прежняя радость
Со мной говорит:

Игры и забавы
  Пленительный рой!
И сельские нравы
  С своей простотой!

*

Когда же туманы
  Встают над землей,
Певец, обаянный
  Волшебной луной,
Мечты чудотворной
  Здесь слушает глас,
То важный, то вздорный,
  Все новый рассказ!

*

В дичи запустелой
  Чуть шорох пройдет —
Зверок ли несмелый,
  Иль птицы полет;
Все мнится, виденья
  Мелькают в листах,
И звук вдохновенья
  Дрожит на струнах.

Мих. Дмитриев.

РИМ

Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель!
    Ты был ли, о свободный Рим!
    К немым развалинам твоим
Подходит с горестью их чуждый навеститель.
За что утратил ты величье прежних дней,

За что, державный Рим, тебя забыли боги?
Град пышный! где твои чертоги?
Где сильные твои, о родина мужей?
Тебе ли изменил победы верный гений?
Ты ль на распутии времен
Стоишь в позорище племен,
Как пышный саркофаг погибших поколений!
Кому еще грозишь с семи твоих холмов?
Судьбы ли всех держав ты грозный возвеститель,
Или, как призрак обвинитель,
Печальный предстоишь очам твоих сынов?

Баратынский.

13 АВГУСТА

Не вин заморских светлым током
Не песней громкою хвалой
На береге праздную далеком
Твое рожденье, ангел мой!
Отступник жизни своевольный,
В разлуке с милою моей
Не знаю радости застольной,
Не знаю стройных я речей.
Сей день, восторгу посвященный,
В чужбине праздную, мой свет,
Один, мечтою умиленный —
Последним благом прошлых лет.
Я чужд веселости напрасной,
Но мысли внятны мне твои;
И грусть моя в сей день прекрасный
Есть вдохновение любви.

* *

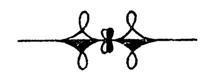
Одесса.

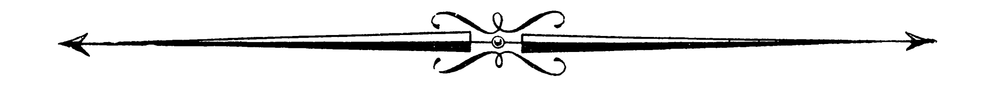
ОТВЕТ С. Т. Т.

Когда она называла себя *мрамором, льдом*
и *алмазом*

Вы *мрамор*, точно так, чтоб чувства сохранять,
Как надпись вверенну резцом неизгладимым;
Вы *лед* взаимности, чтобы прохладу дать
Сердцам к вам страстию жарчайшею томимым;
Вы тверды, как *алмаз*, и тут найду я толк;
Не так ли как *алмаз* вы ценитеся миром?
И счастлив тот, кому позволит рок
Быть вашим ювелиром!

Ар. Родзянка.





МОДНАЯ ЛАВКА, ИЛИ ЧТО ЗНАЧИТ ФАСОН?

(Посвящается всем добрым мужьям)

Однажды дверь с шумом отворилась в моей комнате, и вошел старый мой совоспитанник, с которым мы не видались 25 лет. Сначала мы было не узнали друг друга, но, вспомнив наши детские и юношеские лета, сердечно обрадовались сему свиданию, бросились обниматься и, наконец, стали рассказывать друг другу свои похождения. Мой совоспитанник говорил таким образом: «Ты знаешь, что философы называют жизнь драмою; я прожил около полувека и играю теперь 3-е действие моей пиесы. Первое действие, т. е. по выпуске из корпуса в артиллерию, провел я в военной службе. Это самая веселая часть сей драмы. Я служил, отчасти хорошо, отчасти лениво, вел себя честно, но не всегда добропорядочно, играл в карты, танцевал мазурку, влюблялся; иногда мимоходом заглядывал в книги и, таким образом проводя время, таскался за моею пушкою по белому свету и беспощадно стрелял в турок и французов ядрами и картечами. Уже я попал на путь, ведущий в храм славы и почестей: получил знак отличия и штаб-офицерский чин. Уже обманчивая надежда, в облаке порохового дыму, указывала мне генеральские эполеты и пр. и пр. Вдруг все мои мечтания исчезли: французский егерь одним выстрелом остановил мое стремление к бессмертию, перешиб мне ногу пулею, принудил отретироваться в деревню и заставил кончить первое действие. — Приехав домой, я сначала был неутешен. Честолюбие мучило меня более, нежели моя рана; но вскоре я опомнился, уверившись, что с благими намерениями можно и в деревне быть полезным человечеству, стало быть и отечеству. Я решился не выезжать из моей деревни и заняться благосостоянием крестьян, которых судьба вве-

рила моему попечению. Здесь начинается второе действие моей драмы. Я удобрил пашни, развел фруктовые сады у поселян, размножил стада, уменьшил оброк, завел школу, выстроил церковь, нашел умного священника, одним словом, делал что только мог для образования моих крестьян и их благосостояния. В свободные часы занимался изучением латинского и греческого языков, чтением отличных книг, и десять лет промчались, как десять дней. Наконец, мне захотелось иметь подругу, помощь и утешение в жизни — т. е. я вознамерился жениться. Долго не мог я решиться и всё откладывал от году до другого; наконец самолюбие подстрекнуло меня и заставило вступить в супружеское состояние. Дальние родственники начали беспокоить меня вежливыми письмами и посещениями; и в нашем околотке уже поговаривали о богатом наследстве, которое я для них прочил. Это меня взбесило, и я пожелал иметь моих собственных наследников. Выбор мой пал на дочь моего соседа, девицу умную, прекрасную, добрую и к тому ж воспитанную в деревне; она пленяла меня своею любезностию, ласковым обхождением и невинностью. Я женился, и сим начал 3-е действие моей пиесы. Вот уже 6 лет, как я обладаю этим сокровищем, люблю жену мою без памяти и (как кажется) любим взаимно. Умею чувствовать цену всех ее добродетелей и любезных качеств, но при всей моей любви не так слеп, чтоб не видеть ее недостатков. Мы, все смертные, подвержены одним законам в любви и только пред свадьбой не примечаем недостатков и слабостей в наших суженых. Итак, знай, что жена моя принадлежит к тем эфирным существам, которые всю жизнь грезят и живут воображением в надоблачном мире, где кусточки и листочки разговаривают между собою, где сладостная нежность и упоение чувств служат им пищею, вздохи — атмосферою, а слезы чувствительности — источником блаженства. Одним словом, жена моя, воспитанная в кругу романтических и сентиментальных родственников, как говорится, идиллиями *повита*, балладами *возлелеяна*, романами *вскормлена*. Вообще, все сии романтики и сентименталисты весьма добрые люди — но слабы, как дети, и всю жизнь забавляются игрушками. Жена моя по какому-то чувству изящного и прекрасного любит до безумия моды, платья и шляпки. Я бы лучше хотел, чтобы ей нравились бриллианты, серебро или золото, ибо в этом

есть прок, а нынешние модные вещи со всяким временем года исчезают, как цветы. Тщетно старался я истребить эту страсть в жене моей, но ни просьбы, ни советы не имели никакого действия. Правда, что она всегда обещает исправиться и даже не наскучает мне своими просьбами, но у женщин свои уловки: проезжая со мною мимо модного магазина, она так тяжело вздыхает или, говоря с притворным равнодушием о нарядах, так искусно выхваляет платья и шляпки, виденные ею у своих приятельниц, что я смягчаюсь: дела принимают прежний оборот, и мы снова пускаемся путешествовать по всем модным углам и закоулкам». — При сем рассказе моего приятеля я без всякого умысла начал поправлять колпак на голове моей, а он, взяв это движение на свой счет, засмеялся и сказал: «Ты, верно, хочешь назвать меня колпаком?» — «Нет! — отвечал я, — но слабость твоя...» — «Слабость, — возразил он, — можно ли не быть слабым с прекрасною и умною женщиною? От Адама до меня включительно все мужья были и будут жертвами своей слабости, только под разными видами и в разных случаях. Но как бы ни было, — продолжал он, — я должен тебе признаться, что пока я знал модные лавки из комедии И. А. Крылова, то не имел ни копейки долгу, а как узнал сии заведения на опыте — то приехал заложить мою деревню». — «Что ж, — сказал я, — не хочешь ли, чтобы я похлопотал для тебя? Изволь!» — «Нет, — отвечал приятель, — я пришел к тебе посоветоваться в другом деле. Жена моя по причине беременности осталась в деревне и дала мне разные поручения в модные лавки: пособи мне в покупке!» — «Но я ничего не смыслю в модах», — сказал я. «Возможно ли! — воскликнул приятель, — ты журналист, а ваша братья всё знают и обо всем судят». — «*Судить* и *знать* суть две разные и часто противоположные между собою вещи, которые, не взирая на французскую пословицу: les extremités se touchent, редко сходятся вместе. Судить о модах я готов; за суждения мы не платим денег, напротив того, получаем оные; но я не хочу выказывать моих познаний или невежества насчет твоего кармана и никак не могу быть полезен тебе в сем случае». — «Так по крайней мере, — сказал приятель, — проводи меня в модную лавку, ибо я так напуган ими, что вхожу в светлый и чистый магазин, как в мрачную пещеру или в дремучий Богемский лес». — «Рад сердечно

тебе сопутствовать», — сказал я; оделся и пошел с моим приятелем.

Уже было 10 часов утра, когда мы пришли на Невский проспект. На всяком почти доме находится вывеска: Modes et robes. — «Куда идти?» — спросил меня мой приятель. — «Обыкновенно, где цельные стекла, богатые занавески и более блеску в окнах», — отвечал я. Мы вошли в модную лавку. Несколько девушек убирали оную, сметали пыль, и одна из них довольно приятно напевала известную арию из оперы Русалки: *«Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут»*. — Молодой человек приятной наружности, сидевший за бюро над счетною книгою, встал, поклонился и спросил: чего вам угодно? Мы сочли его конторщиком и просили позвать хозяина или хозяйку лавки. Молодой человек объявил нам, что он *муж хозяйки* и просил нас подождать немного. Мой приятель между тем вынул из кармана лист бумаги, исписанный кругом, и начал громогласно читать список потребностей своей супруги. Признаюсь, что я хотя довольно твердо знаю французский язык, но не понимал ни одного слова из всего читанного, ибо вовсе не учился модной технологии и терминологии. Я мельком слышал названия разных животных, романические имена мужеского и женского рода, заглавия комедий и романов, разные химические и минералогические выражения, но всё так перемешано в применении к названиям лент, капотов, перьев и шляпок, что я не мог довольно надивиться изобретательному духу французского народа и понятливости нашего! Хозяин, или, как он называл себя, *муж хозяйки*, во время чтения моего приятеля от радости несколько раз переменялся в лице. Он повторил свою просьбу, чтобы мы подождали хозяйки, которая сего дня должна непременно приехать с дачи к завтраку. В это время прекрасная карета, запряженная парою лошадей, подъехала к крыльцу, и женщина средних лет в богатом неглиже и в белой турецкой шали взошла на лестницу. Хозяин бросился опрометью к дверям и встретил даму с низким поклоном. Мы сперва подумали, что это какая-нибудь зажиточная барыня, но вскоре узнали, что сия дама есть сама хозяйка.

Приятель мой, приметив раболепство мужа и видя, что он играет ролю всепокорнейшего и усерднейшего слуги пред своею женою, несколько обрадовался и утешился. Вообще мы любим встречать наши

слабости в других людях: это некоторым образом оправдывает нас в собственных глазах наших.

Мадам, услышав от своего мужа о списке моего приятеля, чрезвычайно разнежилась, просила нас войти во внутренние комнаты и позавтракать с нею. Мы согласились, а *муж хозяйки* занялся между тем выкладкою счетов и рассматриванием вещей, требуемых моим приятелем.

В то время, как мы пили левантский кофе из драгоценного фарфора Севрской фабрики, вошла девушка, держа в руках ситцевое платье и простой петинетовой чепчик, и уведомила, что человек пришел за оными. Я спросил у хозяйки, для чего она занимается такими маловажными вещами, каковы, например, ситец и петинет. — «Какая мне нужда? — отвечала она, — chacun à son gout (у всякого свой вкус), пусть одеваются хоть в рогожки — мое дело *фасон»*. — «Сколько стоит подобное ситцевое платье?» — подхватил мой товарищ. «Пятьдесят рублей!» — отвечала хозяйка. «Помилуйте!» — вскричали мы в один голос. «За что же? — продолжал мой приятель. — Мне известно, что самый лучший ситец продается в Гостином дворе по 2 рубля с полтиной; на это платье довольно 9 аршин, итак всё стоит 22 рубля с полтиной; за работу довольно 8 рублей, за что же остальные 19 рублей с полтиной?» — «Мы берем не за работу, но за *фасон!»* — отвечала хозяйка. «Этот *фасон* есть самый дорогой товар в вашей лавке», — примолвил я. «Позвольте спросить, что стоит этот петинетовый чепчик?» — сказал мой товарищ. «Безделица, — отвечала хозяйка, — 25 рублей». Товарищ мой, старый артиллерист, следовательно математик, и как сведущий в женских нарядах, снова стал рассчитывать: «Аршин петинету продается в Гостином дворе по 2 рубля с полтиной, — говорил он, — здесь не более $^3/_4$ аршина, и так весь петинет стоит 1 рубль 87 копеек; 3 аршина лент не дороже 1 рубля 50 копеек; а потому весь прибор придется в 3 руб. 37 коп. За что же остальные 21 руб. 63 копейки?» — «Какою ценою вы продаете эту легкую прозрачную шляпку? — сказал я. — Только один букет припоминает, что она сделана из произведений земли, а не из облаков». — «Всё это стоит только 40 руб-

лей!» — отвечала хозяйка. Приятель мой снова принялся за математику и вычислил, что газ, букет, ленты и проволока стоят 20 рублей. «Неужели за работу такой безделки вы берете 20 руб.?!» — сказал он, нахмурив брови. «Не за работу, но за *фасон!*» — отвечала хозяйка, улыбаясь. «Но что значит этот *фасон?* — спросил я, — в Словаре Французской академии сие слово означает *форму, вид, образ,* сообщаемый художником или ремесленником его произведению». — «Это *обыкновенное* значение слова, — сказала хозяйка, — но в техническом смысле оно представляет совсем другое». — «Пожалуйте, растолкуйте нам, — сказал я хозяйке, — ваше техническое слово *фасон!*» И товарищ мой повторил мою просьбу. «Очень хорошо! — отвечала хозяйка, — но дайте мне честное слово, что вы в моем магазине сделаете все ваши комиссии; уверяю вас, притом честью модной торговки, что вы нигде не найдете дешевле; ибо *фасон* (примолвила она улыбаясь) существует во всех модных лавках под одним *фасоном*».* Мы дали честное слово, и хозяйка продолжала таким образом: «*Фасон* значит: наем квартиры и магазина, содержание служителей, плата швеям, выписка моделей из Парижа, нитки и иголки, мебели, дача за городом, ложа в театре, экипаж, стол, одежда, parties de plaisirs (забавы) и, наконец, капитал, с которым надобно будет возвратиться во Францию, прожив несколько лет под 59°, 56′ 2″ северной широты». — «Нет спору, — сказал я, — что всякий должен иметь вознаграждение за свои труды; но сие вознаграждение должно быть соответственно употреблению и прочности предметов. Например, мрамор и бронза не могут быть сравниваемы с газом и атласом. Одно существует в продолжение веков, а существование другого считается минутами; итак, в вещах столь скоропреходящих 21 рубль 63 копейки барыша на 3 рубли 37 коп. капитала мне кажется более нежели излишним». — «Но разве вы ни во что ставите, — возразила хозяйка, — труд умственный и усилия воображения, чтобы из этих тряпок (de ces chiffons) составить предмет роскоши и моды, обращающий на себя внимание лучшего общества в столице? Произве-

---

* Я, может быть, не слишком вразумительно перевел сию игру слов: parce que la façon existe partout sur la même façon.

дения моды суть творения гения и должны цениться одинаким образом, как произведения поэзии, живописи и ваяния, а не так, как черная работа портных и домашних швей. Здесь оценяется не материал, но изобретение и вкус. Ум, дарования, знание света и человеческого сердца везде получают награду». — «Позвольте вам заметить, — сказал я, — что вы, говоря о произведениях ума, без сомнения, говорите не о книгах, потому что у нас произведения ума в сем отношении...» Хозяйка в жару рассказа не дала мне кончить и громко воскликнула: «Всё равно, всё равно, в каждом роде торговли ум есть первое условие и главнейший товар. Торговый ум состоит в том, чтобы в расчетах принимать в соображение не умы, а слабости человеческие. Кто работает для умных людей, то немногого должен надеяться, во-первых, потому, что умных людей везде немного, а во-вторых, что они слишком разборчивы и взыскательны. Умные люди должны иметь дело с тщеславием и самолюбием, и тогда верный успех. Лучшие вывески в торговых оборотах суть: новость, дорогая цена и более наружного блеску, нежели внутреннего достоинства. При всем этом, чтобы продать товар лицом, надобно уметь льстить самолюбию покупателей, например: если пожилая или бывшая красавица, примерив у меня шляпку и спросив о цене, скажет: я после заеду за ней (это обыкновенная отговорка людей, не желающих купить вещь), тогда муж мой, как будто нечаянно взглянув, восклицает: Ах, как вам это к лицу! — Я с моей стороны с умилением говорю: прекрасно, бесподобно! (c'est charmant)! — и скупая дама, воображая, что моя шляпка произведет те же ощущения во всех булеварных щеголях, покупает шляпку. Когда какой-нибудь даме понравится готовое платье, то я уверяю, что оно заказано графинею или княгинею N. N., которая хочет *первая во всем городе* показаться в сем модном наряде. Слово *первая во всем городе*, как электрическая сила, потрясает сердце, ибо почти каждая женщина почитает себя *первою во всем городе*, и платье мое, которому, может статься, должно было истлеть в темном углу моего магазина, продается с добрым *фасоном*. Вот вам вкратце изъяснение слова *фасон* и тайна *модной торговли*. Но извините, что я должна прервать наш разговор: мне надобно заняться делами, и если вам угодно сдержать ваше слово, то прошу

доставить мне список ваших надобностей, и чрез несколько дней всё будет готово к вашим услугам».

Приятель мой, опустив руку в боковой карман, долго медлил вынуть роковой список. «Не затрудняйся, любезный друг! — сказал я, — слово нас связывает, притом же мы обязаны здесь благодарностью за откровенность, за урок практической философии — а я особенно и за статью для моего журнала».

Тогда мой товарищ с печальным лицом отдал хозяйке свой список *необходимых* вещей и 500 рублей задатку; и жалостно просил пощадить его в счете за *фасон* ради неурожая и практической философии. Мадам обещала быть снисходительною — и мы вышли из модной лавки.

«О жены! о женщины!» — воскликнул мой приятель, вышедши на улицу. Я ему отвечал: «О мужья! о мужчины!» — «О премудрые французы!» — продолжал мой товарищ. «О терпеливые русские!» — возразил я. Мне хотелось дать ему почувствовать, что он столько же виноват, как и те, которых он обвиняет, ибо кто добровольно делает ошибки, тот не имеет права ни на кого жаловаться. «Теперь я понимаю, — сказал мой приятель, — для чего французы столь равнодушно уступили англичанам свои колонии в Америке, Иль де Франсе и в Индии. На что им колонии? Сколько хлопот и труда в добывании индиго, сахару, хлопчатой бумаги и прочих колониальных товаров! Какие издержки потребны для содержания флота, крепостей, войска, чиновников и проч. Французские колонии существуют *везде*, где только заведены *модные лавки*. Вот золотые рудники Потози! Вот алмазные горы Голконды! Вот жемчужная ловля цейланская! Наш Гостиный двор есть богатый рудник, а модные лавки — горнила, где переплавливаются металлы и где чистое золото, отделяясь, плывет быстрою рекою во Францию. Этот *фасон* всю жизнь будет раздаваться в моих ушах и не выйдет никогда из головы».

«Любезный друг! — сказал я ему, — умерь свой гнев. Не в одних модных лавках существует *фасон*. Осмотрись, вникни хладнокровно в общество и ты увидишь, что почти везде, где только люди имеют между собою сношения, *фасон* играет большую роль. Все люди, от колыбели до могилы, в некоторых случаях платят, а в других получают за *фасон*».

Ф. Булгарин.

ЮНОСТЬ ВОЙНАРОВСКОГО

(Отрывок из поэмы: Войнаровский)

Враг хищных крымцев, враг поляков,
Я часто за Палеем вслед
С ватагой храбрых гайдамаков
Искал иль смерти, иль побед.
Бывало, кони быстроноги
В степях и диких, и глухих,
Где нет жилья, где нет дороги,
Мчат вихрем всадников лихих.
Дыша любовью к дикой воле,
Бодры и веселы без сна,
Мы воздухом питались в поле
И малой горстью толокна.
В неотразимые наезды
Нам путь указывали звезды,
Иль шумный ветр, или курган;
И мы, как туча громовая,
Внезапно и от разных стран,
Пустыню воплем оглашая,
На вражий наезжали стан,
Дружины грозные громили,
Селения и грады в прах,
И в земли чуждые вносили
Опустошение и страх.

Враги везде от нас бежали,
И, трепеща постыдных уз,
Постыдной данью покупали
У нас сомнительный союз.
Однажды, увлечен отвагой,
Я с малочисленной ватагой
Неустрашимых удальцов
Ударил на толпы врагов.
Бой длился до ночи. Поляки
Уже мешалися в рядах,
И, строясь дале, на холмах,
Нам уступали поле драки.
Вдруг слышим крымцев дикий глас...
Поля и стонут, и трясутся...
Глядим — со всех сторон на нас
Толпы враждебные несутся...
В одно мгновенье тучи стрел
В дружину нашу засвистали;
Вотще я устоять хотел;
Враги все боле нас стесняли,
И, наконец, покинув бой,
Мы степью дикой и пустой
Рассыпались и побежали...
Погоню слыша за собой,
И раненый, и изнуренный,
Я на коне летел стрелой,
Страшася в плен попасть презренный.
Уж Крыма хищные сыны
За мною гнаться перестали;
За рубежом родной страны
Уж хутора вдали мелькали.
Уж в куренях я зрел огонь;
Уже я думал — вот примчался!
Как вдруг мой изнуречный конь
Остановилсч, зашатался

И близ границ страны родной
На землю грянулся со мной...
Один, вблизи степной могилы,
С конем издохнувшим своим.
Под сводом неба голубым
Лежал я мрачный и унылый.
Катился градом пот с чела,
Из раны кровь ручьем текла...
Напрасно помощь призывая,
Я слабый голос подавал;
В степи пустынной исчезая,
Едва родясь, он умирал.
Всё было тихо... лишь могила
Уныло с ветром говорила.
И одинока, и бледна
Плыла двурогая луна
И озаряла сумрак ночи.
Я без движения лежал;
Уж я, казалось, замирал;
Уже, заглядывая в очи,
Над мною хищный вран летал...
Вдруг слышу шорох за курганом
И зрю, покрытая серпяном
Казачка юная стоит,
Склоняясь робко надо мною,
И на меня с немой тоскою
И нежной жалостью глядит.
О незабвенное мгновенье!
Воспоминанье о тебе,
Назло враждующей судьбе,
И здесь страдальцу упоенье!
Я не забыл его с тех пор!
Я помню сладость первой встречи,
Я помню ласковые речи
И полный состраданья взор.

Я помню радость девы нежной,
Когда страдалец безнадежный
Был под хранительную сень
Снесен к отцу ее в курень.
С какой заботою ходила
Она за страждущим больным,
С каким участием живым
Мои желания ловила.
Я все утехи находил
В моей казачке черноокой;
В ее словах я негу пил
И облегчал недуг жестокий.
В часы бессоницы моей,
Она, приникнув к изголовью,
Сидела с тихою любовью,
И не сводя с меня очей.
В час моего успокоенья
Она ходила собирать
Степные травы и коренья,
Чтоб ими друга врачевать.
Как часто нежно и приветно
На мне прекрасный взор бродил —
И я казачку неприметно
Душою пылкой полюбил.
В своей невинности сначала
Она меня не понимала;
Я тосковал, кипела кровь!
Но скоро пылкая любовь
И в милой деве запылала...

Рылеев.

УМЕРШАЯ КРАСАВИЦА

Я был свидетелем печального обряда.
Я видел красоту, увядшую в весне.
Подруги томные, предавшись в тишине
Заботе горестной последнего наряда,
Ей приготовили румяные цветы,
И возложили их трепещущей рукою
На тихое чело отцветшей красоты,
И облекли ее лилейной пеленою.
И в очередь свою, с унынием очей,
Подруга каждая приближилася к ней:
Последний знак любви, последнее лобзанье
Ей отдали они при воплях и рыданье.
Но я смотрел на гроб без жалости и слез:
Я тайно чувствовал безвестную отраду.
О дева прелести, ты лучшую награду
За жизнь минутную прияла от небес!
Почия тихим сном без ропота и муки,
Еще не преступив предела лучших дней,
Не испытала ты болезненной разлуки
С неверною красой и радостью своей;
И, неизменная в живом воспоминанье,
Ты будешь для души, как сладкое мечтанье.

Плетнев.

МАЛИНОВКА

(Басня)

Малиновка моя из клетки улетела;
Неблагодарная! как я ее любил,
Лелеял и кормил!
Она ценить моих стараний не умела.
Бывало, поутру, я слушаю ее

И пеньем восхищаюсь;
А ныне с ужасом, несчастный! просыпаюсь,
Она взяла с собой веселие мое.
Что вижу я? в саду, с кусточка на кусток
Изменница летает;
Подкрадусь к ней — надежды луч блистает:
«Малиновка, сердечный мой дружок,
Я здесь, зову тебя. Ах! сжалься надо мною
И в прежнее жилище возвратись!
Опасной воли берегись:
Она подчас бывает нам бедою.
С какою радостью тебе я дам покров,
И в клетке золотой не будешь ты бояться
Ни бури, ни дождя, ни хищных ястребов,
А только петь и забавляться».
Неверная, моих не слышит слов,
Летит — и, веселясь судьбою,
Щебечет, слышу я: «Быть может, что с тобою
Я снова б согласилась жить,
Но поступаешь ты совсем неосторожно:
О клетке было мне, я признаюсь, не должно
Так скоро говорить».

В. Пушкин.

БЕССМЕРТИЕ ВОЖДЯ

Как быстро облака несутся в высотах,
И воды с гор бегут в сребристых ручейках,
И вешний ветерок летает над цветами!
Но ах! быстрее облаков,
И струй, и вешних ветерков
Мелькают дни за днями.
Когда средь тишины промчится легкий челн

По лону светлому Ильменских синих волн,
За ним, среди зыбей, на миг один блеснувших
Вновь исчезает беглый след.
Так гибнут в темной бездне лет
Следы времен минувших.
Счастлив, кто век провел златой
И с тихой дружбою, и резвою мечтой.
Счастлив, кто избранный богами и судьбою,
Не знавши старости туманных хладных дней,
Сошел в безмолвный дом теней,
Простившись с радостью и жизнью молодою.
Он видел мир, как в сладком сне,
Цветною радугой сквозь занавес тумана;
На темной сердца глубине
Он не читал притворства и обмана.
И упованья юных лет
Пред ним во мгле не исчезали;
Счастливца в жизни не встречали
Ни длань судьбы, ни бремя лютых бед,
Ни чувство тяжкое, ужаснее печали,
Души увядшей пустота.
Нет! радость дни его цветами усыпала,
Надежда сладкая пред юношей летала,
И дочь благих небес, лелеяла мечта.
Но счастливей стократ, кто с бодрою душою
За родину летел в кровавый бой,
И лучезарною браздою
Рассек времен туман густой.
Он лег главой непобежденный
В объятьях гроба отдохнуть
Не так, как старец утомленный,
Свершивший многотрудный путь,
Но так, как царь светил, спокойный, величавый,
Нисшедший в рдяные моря;
Он лег — и в след за ним вспылала вечной славы

Неугасимая заря.
И имя Витязя, гремя в веках далеких,
Как грозный глас трубы на вторящих горах,
Пробудит в гражданах весь пламень чувств высоких
И ужас в дерзких пришлецах.

К ЛИГУРИНУСУ

(Гораций. Ода X, к. IV)

Посвящена Я. И. Сабурову

O crudelis adhuc. . . .

Недолго юноша жестокий
Гордиться будет красотой;
Сей грудью, полной и высокой,
И кудрей черною волной,
И белизной лилейной шеи,
И свежей розою ланит —
Дарами щедрой Цитереи;
Недолго! — день за днем летит;
Тогда, о Лигуринус милый!
С разочарованной душой
Ты полетел бы за весной —
Но не поймаешь легкокрылой!
Пред верным зеркалом тогда
Ты сядешь грустный, молчаливый
И скажешь: «Возраст мой счастливый!
Ужель ты скрылся навсегда?..
Не тем огнем душа пылает...
О юность! возвратися вновь!»
Но старца резвая любовь
С коварным смехом убегает.

В. Вердеревский.

К МОРФЕЮ

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви.
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милой.
Когда ж умчится ночи мгла
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!

А. Пушкин.

ПЕСНИ

I

Голова ль моя головушка,
Голова ли молодецкая,
Что болишь ты, что ты клонишься
Ко груди, к плечу могучему.
Ты не то была, удалая,
В прежни годы, в дни разгульные,
В русых кудрях, в красоте твоей,
В той ли шапке, шапке бархатной,
Соболями отороченной.
Днем ли в те поры я выеду,
В очи солнце — ты не хмуришься,
В темном лесе в ночь ненастную
Ты найдешь тропу заглохшую;

Красна ль девица приглянется —
И без слов ей всё повыскажешь;
Повстречаются ль недобрые —
Только взглянут и покаются.
Что ж теперь ты думу думаешь,
Думу крепкую, тяжелую?
Иль ты с сердцем перемолвилась,
Иль одно вы с ним задумали?
Иль прилука молодецкая
Ни из сердца, ни с ума нейдет?
  Уж не вырваться из клеточки
Певчей птичке коноплянoчке:
Знать и вам не видеть более
Прежней воли с прежней радостью.

Барон Дельвиг.

II

Сын бедный природы
Так песню певал:
«В давнишние годы
Я счастие знал!

*

В давнишние годы
Был мир веселей,
И солнце, и воды
Блистали светлей!

*

В то время и младость
Резвее была,,
И долее радость
Нам кудри вила!

*

И лес был тенистей
Стыдливой чете;
И розы душистей,
И люди не те!

*

Тогда к хороводу
Сбирались смелей;
И пели природу
Средь диких полей.

*

В то время с весною
Любовь нас ждала:
В то время... со мною
Подруга жила».

Мих. Дмитриев.

ПРОЩАНИЕ НЕЕРЫ

(Элегия в древнем вкусе)

О нимфы резвые ручьев лесистой Оссы! *
Сложите на мой гроб златые ваши косы!
Простись, Лициний мой, простися с девой той,
Чьей восхищался ты младою красотой.
О небеса! земля! о голубые воды!
О горы и леса! луга — ковры природы!
Напоминайте вы ему красой своей
Нееру, жизнь его, Нееру, свет очей,
Которую он звал Неерою своею!

* Гора в Фессалии.

Рассталась для него я с матерью моею!
И принужденная из края в край бежать,
Я долго на людей не смела глаз поднять...
Светила ль ясные двух братиев Элены,
Под кораблем твоим смиряют Понт смущенный,
В садах ли Пестума, где под твоей рукой
Цветут два раза в год и розы, и левкой,
Где тихим вечером, с растроганной душою
Томиться будешь ты незнаемой тоскою, —
Везде, Лициний мой, везде зови меня!
Я с неба прилечу к тебе с паденьем дня;
Тень легкая моя сквозь занавесы рощи
Прокрадется; иль в час безмолвной светлой ночи,
Младого месяца в таинственных лучах
Сойду блестящая — и отражусь в волнах...
Я назову тебя — и голос мой, быть может,
Твой слух внимательный и душу потревожит!..

Норов.

К РАДОСТИ

1

О, радость! радость! что же ты
Нам скоро изменяешь?
И сердца милые мечты
Так рано отнимаешь?

2

Зачем, небесная, летишь
Пернатою стрелою,
И в мраке бедствия горишь
Далекою звездою?

3

Зачем же прелестью своей
Ты льешь очарованье,
И оставляешь... светлых дней
Одно воспоминанье?

4

Минувшее с твоей мечтой
Как в душу ни теснится,
Его бывалой красотой
Душа не оживится.

5

Дух пылкий ею увлечен,
Дни счастья вспоминая,
Тревожит сердца тяжкий сон,
Тоски не услаждая.

6

Так месяц светит над рекой,
В струях ее играет,
И блеск сребристо-золотой
Над ними рассыпает.

7

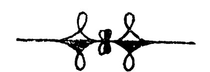
Река в сиянье пламя льет,
Горит его лучами,
И в море синее течет
Холодными волнами.

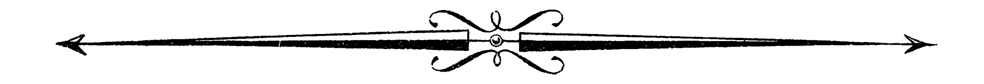
И. Козлов.

ПОДСНЕЖНИК

«Что мне зима?— сказал Подснежник, ранний цвет. —
Пускай ее страшатся розы;
Я всё превозмогу: и бури, и морозы» —
Для гения препоны нет.

***





ПУТЕШЕСТВИЕ ПО САКСОНСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ

(*в 1821*)

Пильниц. Ломен. Ottowalde-grund. Время было несколько туманно, когда мы (я и мой товарищ О... в) оставили Дрезден; но в Пильнице встретили мы ясную погоду, и во весь этот день солнце (несмотря на несколько дождевых эпизодов) было к нам довольно благосклонно. О Пильнице не могу сказать вам ничего: окрестности его приятны, но сам дворец и сад мало достойны примечания. Напившись кофе в трактире, мы поехали далее, в городок Ломен, где оставили свою коляску, и отсюда началось наше пешеходство; коляску же отправили мы дожидаться нас в деревню *Ратевальде*. В Ломене есть старинный замок: с высокой его террасы взглянули мы на речку Везеницу, которая течет живописными берегами, — вид прекрасный! Перед глазами часть городка и мельница, которой колеса приводятся в движение быстрым водопадом. Из Ломена пошли мы полем и скоро по крутой тропинке спустились в Ottowalde-grund (Grund, я думаю, можно перевести словом: дебрь); это не долина, а узкий, глубокий и длинный проезд между утесами — дорога, которую в старые времена проложила себе вода, проточившая камни. Внезапная противуположность той глубины, в которой мы очутились, с тою веселою равниною, которую мы покинули, была весьма разительна: вдруг всё дико, мрачно и сурово; — идешь узкою тропинкою между огромных камней, покрытых старым мохом, и в ужасном беспорядке набросанных на дно долины; по обеим сторонам стены утесов, покрытые елями и соснами; над головою узкая полоса го-

лубого неба; кое-где на вершинах свет солнца; внизу же свежесть и сумрак, и нельзя описать того разнообразия, в каком представляются здесь утесы: то вдруг огромная отделившаяся колонна, на которой вместо капители мох и сосны; то вдруг целая стена, треснувши, наклонилась и грозится тебя задавить; то вдруг странные фигуры камней поражают глаза и воображение, и эти странные фигуры подали повод ко многим народным басням. Наш болтливый проводник (которого на всё путешествие взяли мы в Ломенс) рассказывал нам биографию некоторых утесов: так, например, в Ottowalde-grund есть глубокая низкая пещера, которая называется Teufelshöhle: в ней жарит свою дичь и, вероятно, угощает ею дьявола так называемый *дикий охотник* (der wilde Jäger), здесь известный под именем *безголового Дидриха*; он часто по ночам с ужасным криком, вихрем и градом бегает по утесам и забавляется охотою; есть место, которое называется *Steinernes Haus:* на дне долины лежит обрушившийся камень, имеющий фигуру дома. Долина, почти везде весьма узкая, вдруг так стесняется, что едва можно пройти двум человекам, и несколько камней, сорвавшись с высоты, увязли в ущелье и образовали кровлю: это место называется *Ottowalde Thor*. Сквозь эти ворота входишь в Raindgrund, потом в die Hölle, потом узкою дорожкою начинаешь подыматься вверх: вокруг тебя всё дико по-прежнему; кажется, что находишься в таком месте, где никогда не была нога человеческая: всё в разрушении, дико и сурово; но взобравшись на высоту, видишь себя вдруг на лугу: кругом кустарник и веселая густая роща; тропинка вьется через рощу, и тут кое-где сквозь деревья начинают проскакивать виды на голубую даль с светлым небом и начинаешь подозревать, что величественное зрелище близко... Чтобы вполне насладиться неожиданностию, я не дал воли своему нетерпению; как ни манили меня выглядывавшие из-за деревьев утесы, я шел, уставив глаза на свою тропинку и на вялые листья, которыми она была покрыта; наконец вдруг исчезли деревья, и мы очутились на Bastey.

Die Bastey. Как жаль, что надобно употреблять слова, буквы, перо и чернила, чтоб описывать прекрасное! Природа, чтоб пленять и удивлять своими картинами, употребляет утесы, зелень деревьев и лугов, шум водопадов и ключей, сияние неба, бурю и тишину;

а бедный человек, чтоб выразить впечатление, производимое ею, должен заменить ее разнообразные предметы однообразными чернильными каракульками, между которыми часто бывает гораздо труднее добраться до смысла, нежели между утесами и пропастями до прекрасного вида. Что мне сказать вам о несравненном виде с Bastey! Как изобразить чувство нечаянности, великолепие, неизмеримость дали, множество гор, которые вдруг открылись глазам, как голубые окаменевшие волны моря, свет солнца и небо с бесчисленными облаками, которые наводили огромные подвижные тени на горы, поля, воды, деревни и замки, пестревшие перед глазами с удивительною прелестью. Каждый из этих предметов можно назвать *особенным* словом, но то впечатление, которое все они *вместе* на душе производят, — для него нет выражения; тут молчит язык человека, и ясно чувствуешь, что прелесть природы — в ее невыразимости! Надобно, однако, посвятить несколько чернильных каракулек описанию Bastey. Это утес во сто сажен перпендикулярной вышины, выдавшийся из ряду других утесов над самою Эльбою, которая у подошвы его извилась дугою; вправо и влево такие же крутые, но не столь высокие утесы; перед глазами все горы Саксонской Швейцарии, или, лучше сказать, огромные камни, со всех сторон обтесанные и неприступные: высокий Lilienstein с кудрявою вершиною, Königstein с своими башнями, Pfaffenstein, Papstein, и множество других, влеве der grosse Winterberg, на горизонте die Erzgebirge, вправе Пирна, вдали Дрезден; деревни по берегам Эльбы кажутся карточными домиками, а лодки, плывущие на парусах по реке, светлыми тихоползущими мошками.

На утесах, торчащих влево от Bastey, стоял в старину, как уверяет предание, разбойничий замок; еще видны скважины, означающие место бывшего моста; некоторые щели утесов и теперь закладены камнями, а на некоторых скалах, по которым нынче трудно и ползти, остались еще колеи от колес; этот замок, конечно, был в старину неприступен, но после он был разрушен пушками с противоположных утесов, которые и поныне называются шанцами, и на которые мы взбирались. С них представляется глазам совсем другая картина: точно стоишь на крутой скале, торчащей из моря, только

вместо волн окружают тебя вершины елей и сосен, и между ими, как острова, белеют и чернеют другие утесы, страшно разорванные и разбросанные: случай оживил для нас эту картину, пленительную мертвым своим ужасом, и воображению довольно живо представилось старое время, когда на этих крутизнах гнездились разбойники, *тираны окрестностей* (как говорит Делиль). В то самое время как мы от Bastey спустились по крутизне на дно пропасти, на высоте затрубили в рог; эхо проснулось, раздалось по скалам, и всё опять замолчало; опять тот же звук, тот же отзыв и то же молчание; вслед за рогом заиграла арфа и запел голос. Как ни глубока была пропасть, но звуки струн доходили до слуха; кто играл, было невидимо, но окружающая дичь казалась оживленною: мы долго стояли, слушали, наконец, пошли; скоро звуки замолкли и всё опять одичало. Надобно знать, что около Bastey есть несколько дощатых хижин; там можно всегда найти обед и там всегда встретишь арфистов: их-то песня нам слышалась.

Дорога от Bastey в Шандау. С высоты Bastey спустились мы в Ratewalde-grund и ущелиями, подобными первым, пошли к деревне Ратевальде, где нас дожидалась наша коляска. Тропинка вилась между такими же камнями, как и первые, но окружающие виды были еще живописнее, а утесы огромнее и величественнее: одна громада этих утесов называется, не знаю почему, die grosse Gans, другая — die kleine Gans; один утес, der Lamm, в самом деле похож на ягненка, лежащего на крутой скале; о другом утесе, называемом die Mönchsteine, рассказывает предание, что он есть памятник божия гнева, наказавшего преступную любовь: он есть не иное что, как монах и монахиня, окаменевшие в минуту встречи на месте назначенного свидания. (То же самое рассказывают об одном утесе близ Эйзенаха). На одной высокой скале видишь группу мелких камней: их называют Affensteine, ибо они должны изображать обезьян в разных положениях. Долиною Grünbachthal по берегу ручья, от которого она получила имя, начали мы снова взбираться на высоту: воды этого ручья в своем течении образуют два водопада, которые в начале весны или после проливных дождей должны быть весьма живописны; но мы видели один только мелкий, быстрый ручей, который приятно шумел и

пробирался между камней. Первое падение называется Amselloch, потому что камень, с которого он падает, образует пещеру, довольно глубокую; видишь серебряную струю, перерезывающую надвое темный вход пещеры, а вошедши под навес, видишь ту же струю, которая кажется прозрачным кристальным столбом; сквозь брызги видна вся бегущая вниз долина, и в самом конце задвигают ее, дымящеюся от паров громадою, огромные скалы Affensteine. Довольно устав от своего путешествия, пришли мы наконец в деревню Ратевальде, сели в коляску и поехали в Шандау через Ziegenrück, с которого имели прелестный вид на окрестность при заходящем солнце. Шандау известен своими минеральными водами и ваннами; мы остановились за городом, в трактире, где находятся и ванны. Его положение живописно, но нам было не до живописных положений; усталость и ее родной брат, голод, нас мучили; от голода избавились мы вкусным ужином, а усталость пригнала услужливый сон.

Kuhstall. Мы не дали себе воли нежиться, встали рано и, позавтракав, пустились в путь. Несколько времени — пока было можно, и, чтобы не тратить напрасно сил, — ехали мы берегом источника Кирнича в коляске; наконец дорога наша оборотилась в тропинку; мы пошли пешком и начали взбираться по крутизне к Kuhstall. Достигнув с трудом до высоты, пришли мы дорожкою, обсаженною стрижеными елями, ко входу пещеры или, лучше сказать, к огромным воротам, сделанным самою природою посреди утесов; эти ворота называются Kuhstall, потому что в 30-тилетнюю войну жители окружных мест прятали под их сводом от хищничества шведов свою скотину; и они так огромны, что под ними могло скрываться довольно большое стадо. В наши времена этот приют несчастия сделался одним предметом беззаботного любопытства, и память минувших ужасов только оживляет то удовольствие, которое производит чудесный вид пещеры и пропастей, ее окружающих. Свод ее и стены кажутся мозаикою: так испещрены они именами путешественников, которые везде хотят оставить вечный след своего минутного пребывания. И нам захотелось отведать вечности: О.....в взгромоздился на лестницу, и пока я занимался временным, то есть утолял свой голод жареным картофелем, начертил для будущих времен свое и мое имя на

таком месте, далее которого ничья смелая рука не достанет. В пещере есть всё для этого нужное: кисти и чернила. В стенах ее в одном месте выдолблена кухня, в другом погреб: во всё лето живут здесь люди, которые угощают путешественников обедом и кофе; нашлись также и арфисты. На утесах, образующих Kuhstall, много предметов, достойных любопытства: некоторые напоминают ужасную 30-летнюю войну, например, одна маленькая пещера называется Wochenbett; в ней, по преданию, скрывалась от шведов беременная женщина, родила своего младенца и провела первые дни родов в безопасности; один нависший над пропастью камень, с которого страшно посмотреть вглубину, называется die Kanzel: с него проповедывал какой-то священник, сброшенный после в пропасть, и место, с которого его столкнули, наименовано Pfaffensprung. Здесь встарину скрывались и разбойники; их замок, стоявший на вершине, над самым Kuhstall, назывался Wildenstein; взобраться к нему можно только сквозь темную узкую трещину, в самой средине утеса находящуюся, куда едва может протесниться один человек; мы коекак пролезли и с высоты, где нет уже и признаков замка, любовались ужасом окрестностей. Всё это место окружено лабиринтом пещер, в которых было легко и скрываться, и защищаться, и в одной из них, называемой Schneiderloch (по имени разбойника Шнейдера, который долгое время в ней прятался), один человек мог оборониться от целой армии: к ней надобно карабкаться по узким камням, висящим над бездною, согнувшись в дугу, потому что и над головою висят такие же камни; в самой же пещере нельзя стоять, так она низка, но вид из нее удивительный: всё вокруг тебя, перед тобою, над тобою и под тобою в развалинах; здесь царство разрушения, одно только эхо здесь существует — минутный, быстро исчезающий житель, только разительнее напоминающий о ничтожестве. Наш проводник начал кричать, и эхо по нескольку раз повторяло его крики, и молчание, которое всякий раз сменяло голос, было еще разительнее после мгновенного звука. Осмотрев все эти предметы (их можно теперь видеть без всякой опасности, ибо везде для проходящих поделаны перилы), мы опять сошли в Kuhstall и, провожаемые арфою, начали спускаться в глубину долины, через которую надобно было

пройти, дабы потом подняться на Klein Winterberg. На дне долины мы остановились и увидели над головою Kuhstall, который снизу показался нам едва заметною трещиною; мы увидели несколько мужчин и дам, пришедших по следам нашим в пещеру, и в трубу могли различить, что они вальсировали под арфу, которой звуки нам явственно слышались; из пропасти закричали мы им *браво!* и полезли на Klein Winterberg.

Klein Winterberg. Фортуна, до сих пор к нам благосклонная, покинула нас у подошвы этой горы: небо задернулось облаками, и начался дождь, сначала мелкий, потом довольно сильный; мы промокли до костей. Одно утешение нам осталось: проводник уверял нас, что на высоте горы найдем мы защиту. Хотя мы и шли всё лесом, но это нисколько не спасало от дождя, напротив — его удвоивало; ветер шатал деревья, и капли, сыпавшиеся с листьев, составляли крупный древесный дождь, который нимало не уступал небесному. Но вот мы на вершине, и дождик перестал. Спешу к обещанному убежищу, что же? Это не иное что, как каменная беседка, со всех сторон открытая, в которой бушевал сильный холодный ветер. На первую минуту чувство обманутой надежды было весьма неприятно: но часто живейшие удовольствия находишь там, где их не ожидаешь. Новое чудесное зрелище поразило нас: облака разорвались огромными массами и страшно летали над нашими головами, голубое небо выглядывало и исчезало; на всех пунктах горизонта являлись тучи, одни уходящие, другие идущие; в некоторых местах они были совершенно черные, и под ними чернели далекие горы, которые врезывались в них своими вершинами; в других местах тучи сливались дождем с горизонтом, и казалось, что там был промежуток пустоты: как будто что-то разрушилось и один только столб пыли остался. Ближние предметы были еще чудеснее! Лесистые горы, долины, деревья, утесы — всё смешалось в один хаос; дождик перестал, и со всех сторон начали подыматься пары: там вилась ужасная белая змея в клубящемся облаке дыму; там множество легких облаков летали, как стая привидений; там вершина горы была перерезана туманною полосою; там целая гора синела на воздухе и под нею волновались облака; там вдоль глубокой долины тянулась и подымалась длинная

полоса паров, похожая на дым от обширного пожара в лесу или на необъятную разбросанную седую гриву какого-нибудь чудовища, которую раздувал и рвал сильный ветер, — словом, зрелище было неописанное; я забыл холод и мокроту и не мог наглядеться на этот величественный хаос. А арфа как тут! Вошедши в беседку, мы и не приметили, что в углу ее притаился старый богемец с маленькою дочерью; увидев путешественников, он принялся исполнять свою должность, заиграл и запел, а малютка начала ему вторить! И что же они запели? *Прощание Бонапарте с Франциею* (я списал эту песню, она, кажется, стала народною: я слышал ее и на Bastey и после на Schlofsberg, подле Теплица). Признаюсь, такая неожиданная гармония посреди туманного волнения между утесов поразила меня. Пение было неискусное, но в соединении дрожащего голоса старика с звонким и еще несозревшим голосом младенца было что-то трогательное, а содержание песни разительно согласовалось с тем местом, на котором она нам слышалась: вокруг нас всё было пустынно и дико; утесы стояли неподвижно, и между ими легким дымом, ничтожными призраками летали остатки минувшей бури: поневоле виделось тут бурное, разлетевшееся величие Наполеона! И что-то было прискорбно-поражающее в этом имени, недавно грозном, которое (без всякого о нем понятия) старик и младенец повторяли в глухой дичи, чтоб получить несколько крейцеров от проходящего. На наше счастие вблизи беседки, построенной для удовольствия путешественников, нашлась лачужка, в которой развели мы огонь, обсушились и даже напились кофе. Пока мы грелись и морщились от дыму, наш проводник рассказывал нам сказки. Через полчаса мы опять отправились в путь, но на вершине большого Winterberg, с которого в ясную погоду можно видеть, как в панораме, все горы Саксонии и часть гор Богемских, не видали мы ничего: опять начался мелкий дождь, и всё слилось в однообразный непроницаемый туман.

Prebisch Thor. Вздохнув о потере удовольствия и не надеясь переждать ненастья, которое, казалось, совсем овладело небом, пошли мы далее; но дождик вдруг перестал, мы ободрились и, наконец, миновав утесы, называемые die Schäfersteine, и переступив за границу Богемии, очутились на высоте утеса, называемого Prebisch Thor

С этой крутизны имели мы почти такой же вид, как и с Klein Winterberg, но впечатление, которое он сделал над нами, было точно похоже на радость: прояснившееся время прояснило и душу. Воспоминание о Prebisch Thor есть самое приятное из всех, оставшихся мне от Саксонской Швейцарии. Prebisch Thor есть такая же сквозная пещера, как и Kuhstall, только несравненно уже и выше; сперва всходишь на верх того камня, который образует ее свод, потом уже спускаешься под самый свод; но как описать это чудесное место! Вообразите узкую скалу, длиною в десять или пятнадцать сажен, а шириною не более четырех аршин, положенную на два других стоячих утеса; на этой узкой каменной полосе стоит, будучи окружен спереди, справа и слева пропастями во сто сажен глубиною, из которых как страшилища высовываются другие голые утесы; за ними зеленеют с трех сторон долины; позади их подымаются лесистые невысокие горы, между которыми также видишь дно извивающихся долин, а за этими близкими и зеленеющими горами стоят, как привидения, далекие, синие, и над всем этим неописанным разнообразием гор и долин вообразите тот же чудесный туман, волнующийся, летающий, но гораздо более прозрачный, так что по временам можно было различить всё, что таилось под его воздушными волнами; но иногда вдруг он совершенно сгущался, и в эти минуты казалось, что стоишь на краю света, что земля кончилась и что за шаг от тебя уже нет ничего, кроме бездны неба. Рядом с Prebisch Thor находится другая скала, отделенная от первой пропастью, гораздо выше, уже и круче: она называется Prebisch-Wand. Мы лазили на нее, чтобы взглянуть на Prebisch Thor; с боку — вид несравненный: не понимаешь, для кого созданы природою в пустыне эти таинственные ворота и куда ведут они: кругом их бездны, сквозь их отверстие виден один волнующийся туман и что-то, как будто из другого света, мелькает сквозь этот полупрозрачный сумрак, и на высоте утеса, образующего их свод, на голом граните, растет одинокая ель; корни ее совсем обнажены; не знаешь, откуда берут они свою пищу, но она зелена, свежа и бури ее не трогают! У самого Prebisch-Wand стоит, как будто ее сторож, ужасная уединенная скала Prebisch Kegel: это гранитный столб со всех сторон неприступный: никто, кроме разве орла, не бывал

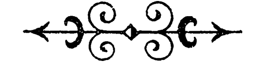
на его вершине, и эта неприкосновенность придавала ему какое-то величие.

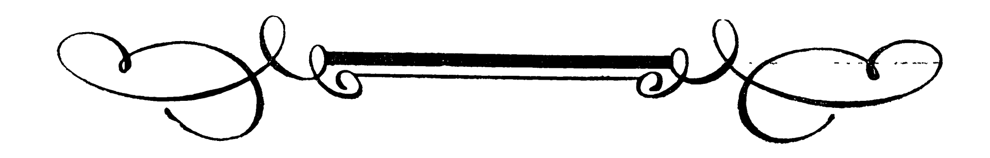
Возвращение в Шандау. Солнце выглянуло из туч, когда мы от Prebisch Thor спустились во глубину долины по лесистой горе, называемой die Heiligen Hallen, и которая, как необъятный разрушенный амфитеатр, с бесчисленными ступенями, подымалась позади нас; утесы образовали стены, своды, ложи и галереи: надобно было идти по крутому их скату почти целую версту, чтобы добраться до дна долины. Всё потемнело, когда мы спустились в Bielgrund и, по берегу быстрого ручья пошли к Hirnischkietschen — пограничное местечко, где находится австрийская таможня, — здесь кончится Саксония и начинается Богемия. В Hirnischkietschen дожидалась нас лодка, и мы поехали Эльбою к Шандау. Несмотря на вечернюю сырость, наше плавание было приятно; между утесами, которые, как стена, подымаются на правом берегу реки, один достоин примечания по своей фигуре: его называют die Königsnase. В самом деле, видишь профиль огромной головы, смотрящей на воды из-за скалы, и эта голова с движением лодки беспрестанно переменяет и физиономию, и положение; наконец, она ложится и пропадает: несколько елей, выросших на высоте, кажутся букетом, пришпиленным ко груди каменного великана. Была почти ночь, когда мы возвратились в Шандау.

Lilienstein-Brand. Hohstein. Не стану подробно описывать вам остального нашего путешествия: ничто не будет ново в описании, хотя виденные нами предметы имеют, каждый, много отличного. Мы взбирались в жар по песку на крутой Lilienstein, с которого видишь вблизи Königstein и необъятную гористую окрестность; на краю горизонта можно различить, как светлую точку, Ноллендорфскую часовню. У подошвы Лилиенштейна в 1813 году расположились укрепленным лагерем остатки французской армии, почти уничтоженной в России, — и теперь еще видны батареи. Это, как заметил мой товарищ, было предсказанием того, что случилось после: Наполеонова армия нашла защиту под камнем Лилии, в виду роковой Ноллендорфской часовни. С Лилиенштейна через поля и свежую долину Tiefegrund достигли мы около вечера до утеса, называемого der Brand: он очень сходен с Bastey, и вид с него, если не обширнее,

то привлекательнее: перед самыми глазами, в глубине, зеленая долина, вдоль которой, по излучинам ручья, вьется дорога; к ней примыкает другая долина, также свежая и зеленая; за ними густая темная роща, за которою в двух местах блистает Эльба и синеют те же горы, которые видны с Bastey: вечернее солнце удивительно украшало и разнообразило эту картину. Прежде нежели оно закатилось, успели мы прийти в городок Hohestein и осмотреть находящийся в нем старинный замок: можно сказать, что он висит над пропастию и что скала, его держащая, всякую минуту готова с ним обрушиться. Часть этой пропасти, в которую со страхом глядишь с террасы за́мка, обращенной ныне в цветник, называется Bärengarten. В ней когда-то за высокими стенами живали медведи, которых ловили в окружных лесах; из окон замка можно было любоваться их дикою домашнею жизнию. В замке показывают остатки старинных тюрем. Одна из них, темная и низкая, называлась die Marterkammer и была определена для пытки: нынче хранится в ней один картофель; в другой, полуразвалившейся, содержался преступник Клеттенберг (за делание фальшивой монеты); этот несчастный вздумал было спастись и, из соломы, служившей ему постелью, свил веревку, спустился по ней из окна, но веревка была слишком коротка; он прянул и переломил ногу; его поймали и казнили; а предательницу-веревку и теперь показывают путешественникам. В Hohestein кончилось наше странствие. Здесь дожидалась нас коляска наша, приехавшая сюда из Шандау. Было гораздо за полночь, когда мы возвратились в Дрезден.

Жуковский





ДВЕ СЦЕНЫ ИЗ КОМЕДИИ: АРИСТОФАН, ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВСАДНИКОВ

ДЕЙСТВИЕ I

ЯВЛЕНИЕ 8

Клеон, Антимах, Феогней, Евгалий, Иппербол и Хавес

(Предыдущая сцена заключает в себе заговор означенных персонажей против Аристофановой комедии *Всадники*, в которой он вывел на сцену Клеона, казнодара афинского).

Клеон

Так, Антимах, сберем в театр своих друзей;
Я встану, вы вскочите
И все за мной кричите:
Аристофан злодей!

Хавес и Евгалий

Аристофан злодей!

ЯВЛЕНИЕ 9

Те же, Ксантиппа и Херофонт

Ксантиппа *(входя)*

Аристофан злодей!

Феогней

Нам небо отвечает.

Ксантиппа

Не небо, это я, Сократова жена.

Антимах

Ксантиппа.

Херофонт

Так! она.

Ксантиппа

А! это Херофонт, наш друг.

Антимах

Кто вас не знает!

Ксантиппа

А я не знаю вас, да это не беда!
Вы люди честные, когда
Зовете наглого насмешника злодеем.

Хавес

Извергом злобным, Мегерой вскормленным, ругателем.

Евгалий

Так!

Клеон

И доказательства прекрасные имеем,
Что он с своим умом и остротой...

Ксантиппа

Дурак,
И лгун, и клеветник, и человек премерзкий.

Хавес

Я то же говорю.

Ксантиппа

Отец его был плут,
Мать дура, дядя вор, а он бесстыдник дерзкий.

Феогней

Я то же говорю.

Ксантиппа

Без чести и без правил.

Евгалий

Я то же говорю.

Ксантиппа

Чем он себя прославил?
Ругательством порядочных граждан.

Иппербол

Я то же говорю.

Ксантиппа

Да кто Аристофан?
И отчего он волю взял такую,
Бранить умней себя?

Антимах

Я то же говорю.

Ксантиппа

Да как развяжется со мной, я посмотрю.
Он, говорят, наврал комедию?

Клеон

Презлую.

Евгалий

И вывесть в ней дерзнул Клеона самого.

Ксантиппа

А мне что нужды до него?
Я век мой бегала от этого Клеона,
В нем нет ни правды, ни закона,
Ни чести, ни души.

Херофит

Да знаешь ли?

Ксантиппа

Молчи... Вы тоже говорите.
Неправда ли?..

Хавес, Феогний и Евгалий

Неправда.

Ксантиппа

Как хотите,
А я свое твержу: кто может, тот пиши
Против Клеонов, Иппербoлов,
Неправсудных Триоболов,
Бездушных трагиков и комиков дурных:
Пусть и философов иных;
Но моего Сократа
Задел Аристофан, и только наш сосед
Мне это намекнул, я кинула обед
И с ним везде была: у Пникса, у сената
Кругом обегала Агору, Митраон,
Одеум, храм Зевесов,
Часть Керамикскую, уткнулась в Депилон.
Оттудова назад по улице Эрмесов,
И через улицу Треножников сюда...
Что ж? злоязычника нигде не отыскала;
А уж устала так, как в жизни никогда
Еще не уставала.

Херофонт

Уф!

Ксантиппа

За Сократа я готова хоть в огонь·
Как сметь его тронуть?

Клеон

А прочих разве можно
И трогать и срамить?

Ксантиппа

Не только можно, должно
Срамить дурных людей, да честного не тронь.

Клеон

Так что же, твой Сократ один в Афинах честен?

Ксантиппа

Один иль не один; однако ж нет его,
Все говорят, умнее никого.
Он даже в Персии ученостью известен.

Клеон

Пусть он учен
И дома у себя оратор;
Да званием каким в народе отличен?
Что он в Республике? архонт, стратиг, сенатор,
Ипарх, филарх или хоть всадник?

Ксантиппа

Он мой муж.

Клеон

И только?

Ксантиппа

Для меня и этого довольно.

Херофонт

Сократ философов светильник.

Ксантиппа

И к тому ж
Он смирный человек, так мне до сердца больно.
Когда бранят его.

Антимах

Зато уж ты сама
Трудишься.

Ксантиппа

Да браню: и, если б не бранила.
Давно бы от его высокого ума,
Вам скажет Херофонт, без мантии ходила.

Херофонт

Он занят мудростью.

Ксантиппа

Как слушаешь его,
Так первый он мудрец, и спрячет свет в коробку,
А поглядишь, не знает и того,
Что соль кладут в похлёбку...
Да что и говорить: со всем его умом
Он просто ничего: и без меня б весь дом
Пошел вверх дном.

Херофонт

Но философия...

Ксантиппа

От философских бредней
Не ты один теряешь ум последний.
И всякий философ, хоть будь осьмый мудрец,

Не муж своей жене и детям не отец.

Антимах: *(Херофонту смеясь)*

Что ж? отвечай?

Ксантиппа

Над кем изволишь забавляться?

Антимах

Над философией.

Ксантиппа

На философке я
Женила бы тебя:
Забыл бы ты смеяться.
Уж смерклося; а бедный мой Сократ
Еще об эту пору
Не ест и ждет меня; да сам же виноват:
Зачем он комиков задрал с собой на ссору;
Аристофану я, однако ж, не спущу,
Хоть в море спрячься он, и там его сыщу.
Пойдем. *(Уходит с Херофонтом).*

Антимах

Каков язык?

Евгалий

И слушать та́к ужасно.

Феогней

О, как она клевещет...

Клеон

Не она:
А эхо мужнино — жена.

Евгалий

Так точно, всё Сократ.

Хавес

Под суд его.

Клеон

Напрасно.
Нет, надобно философов беречь;
Пусть их ученикам твердят: что небо печь,
Что мы в нем уголья, что землю, как жаркое.
Вертит какой-то вихрь: а мы, пока
Они с премудростью летят за облака,
На площади обделаем земное;
Оставим их, они оставят нас,
И всякий пусть своим займется без помехи;
Да время объяснит, чьи выгодней успехи.

ДЕЙСТВИЕ II

ЯВЛЕНИЕ 2

Алкиноя и рабыни

Алкиноя

Нет, никогда с Клеоном в грабеже
Участницей не буду;
Подарок свой считает он за ссуду
И наперед уверен в платеже;
Но подкупы со мной напрасно тратит,
И, может быть, он в первый раз
Услышит от даров отказ,
И мне за праздник мой своим стыдом заплатит
Весельем, плясками и хитростью своей,
Подруги милые, избавьте
Поэта славного Клеоновых сетей.
Но вот Аристофан, — вы с ним меня оставьте

ЯВЛЕНИЕ 8

Алкиноя и Аристофан

Алкиноя

Ну, что сказал Архонт?

Аристофан

Что *Всадников* дадут

Алкиноя

И в храм бессмертия они тебя введут.
Но ты вздыхаешь...

Аристофан

Я?

Алкиноя

Да, ты совсем расстроен.
Что сделалось с тобой?

Аристофан

Какой бесстрашный вождь, устроя войски в бой,
Перед сражением бывал спокоен?

Алкиноя

И ты боишься?

Аристофан

Признаюсь,
Но не Клеона я, а сам себя боюсь.
Ах! самолюбия прельщенье
Легко нас может обмануть.
Я знаю, как тяжел, как скользок к славе путь;
На нем, что шаг — то преткновенье.
Как трудно возбудить в народе умный смех,

Как комик должен быть в изображеньях точен,
Разборчив, весел, жив — и как его успех
  Всегда сомнителен, и редко прочен!

Алкиноя

Но ты уж превзошел поэтов наших всех,
Любим народом...

Аристофан

Так, пока еще я молод,
Пока в моей крови
Унылой старости еще не льется холод,
Достойным, может быть, кажусь его любви;
Но знаю, как народ забывчив, своенравен...
Ты вспомни, что бывал и Магнес прежде славен,
Народ боготворить был Магнеса готов;
Но ни смешение различных голосов,
Ни прелести его игрательниц на лютнях,
Ни хитрости ролей искусных в плутнях,
Ни разрисовка лиц, ни наглая игра,
  Ни все его лидийцы,
  Когда прошла его пора —
И старость и болезнь, душевных сил убийцы,
Воображения веселость унесли,
Его от жалкого забвенья не спасли.
  Неблагодарности народной
  Кротиний нам еще пример живой:
Вся Греция о нем наполнилась молвой,
И как источник многоводный
Срывает пажити, несет и дуб и клен —
Так славою его народ был увлечен,
  И в молодости прежней
Себе соперников Кротиний не знавал.
Он посреди торжеств, и плесков, и похвал
  На прочность славы был надежней,

Чем сам отец стихов Омир:
И мог ли думать он иначе?
Кто был его успехами богаче?
Какое торжество, какой веселый пир
Приятными казались,
Где песнями его сердца не услаждались?
Но что ж теперь? когда
В нем лета остроту обычно притупили,
Я предпочтен ему, его уж разлюбили;
И он от голода, и жажды, и стыда,
Как Канний, кончил век в венце своем поблеклом,
Хотя и заслужил давно,
Чтоб в Пританее пить народное вино.
Но что я говорю? с Эсхилом и Софоклом
Не так ли же поступлено?
Эсхил, поэтов царь, Зевеса в сожаленье
Своим изгнанием и горестью привел;
С Олимпа посланный орел
Души его мученье
Мгновенной смертию в чужой земле пресек.
И честь Афин, Софокл, кончая долгий век,
Неблагодарность и обиду
От родины своей и от своих детей
Был должен перенесть: и что всего грустней.
Разнеженному Эврипиду
Скиптр трагиков его принудили отдать;
Так мне чего ж осталось ждать?

Алкиноя

Бессмертия; оно твоя, как их, награда.

Аристофан

И ты мне льстишь!

Алкиноя

Кто? я?
Ах! Нет; душа моя
От лести далека; но, признаюсь, я рада
Быть эхом о тебе всеобщей похвалы;
И слушала с сердечным восхищеньем,
Как, возвратясь из Сусс, спартанские послы
Рассказывали всем: что мудрым уваженьем
Великий царь почтил твои труды
И гражданином звал отечеству полезным.
Иль нынче, проходя Кипридины сады,
Я встретилась с любезным,
Сократовым учеником...

Аристофан

С Алкивиадом?

Алкиноя

Нет, с Платоном; но потом,
Встречаясь иногда не с тем, кого мы ищем,
Я не нашла тебя и встретила его.

Аристофан

Алкивиада?

Алкиноя

Да; что ж в этом?

Аристофан

Ничего.
Но что сказал Платон?

Алкиноя

Что для себя жилищем
Хариты выбрали Аристофана грудь.

Аристофан

Он это говорил — но скоро перемену
Ты в нем увидишь.

Алкиноя

Как?

Аристофан

Я вывести на сцену
Философов хочу.

Алкиноя

Ах, друг мой! Не забудь,
Что философия непримирима в злобе;
Покоя от нее тебе не будет в гробе;
Учители ее вселят в учеников,
Она распространится,
В потомстве вкоренится
И клеветой везде родит тебе врагов.

Аристофан

Тем лучше: пусть потомство знает
Мою к софистам неприязнь;
Ученье их меня, быть может, оправдает;
А вся моя боязнь,
Что только будут знать меня, пока Афины
Цветут; но алчностью охолодя сердца,
Забыв богов, они уж близки от кончины...
Так, мало мне ленейского венца —
Хочу бессмертия, его душою жажду,
О нем богов прошу;
Пусть от философов и от Клеонов стражду,
Пусть нищего суму в чужой земле ношу,
Пусть голодом умру, но жив останусь славой;
И комики других народов и веков

Почерпнут из моих стихов
Искусство мудрое: полезным быть забавой.

Алкиноя

Ах! верь любви моей, что твой бессмертен дар:
Так, мало для тебя одних венцов ленейских;
Души твоей небесный жар
Воспламенит умы в странах иперборейских,
Как сердце ты мое воспламенил.

Аристофан

Когда тебе я мил,
Когда со мной мои восторги разделяешь,
То для любви твоей я всё забыть готов.
И славу и венцы...

Алкиноя

Как часто для стихов
Меня позабываешь.

Аристофан

Я забываю! — Нет,
Кто может так любить?..

Алкиноя

Ты любишь, как поэт,
Когда не занят сочиненьем;
А я, забытая тобою, с восхищеньем,
В восторге, вне себя, стихи твои твержу.

Аристофан

Так что ж: я нахожу,
Что и меня ты любишь как поэта,
Не правда ль?

Алкиноя

Нет; но моего ответа
Не стоишь ты.

Аристофан

Не стою? Почему?
Твоей прелестной остротою,
Любезностью, душой и красотою
Мила ты сердцу моему;
А нравлюсь я тебе моим счастливым даром,
Так что ж дурного тут? ты знаешь, у людей
Ничто не делается даром.

Алкиноя

И он же прав еще!

Аристофан

Когда любви твоей
Я, чем бы ни было, собой или стихами
Достойным быть успел,
Коль боги мне дают бессмертие в удел,
То сделай более, сравняй меня с богами,
Соединись со мной!

Алкиноя

Но, что любима я тобой,
Ты точно ль сам уверен?

Аристофан

Кто? я?

Алкиноя

Да, ты; поэт во всем чрезмерен:
Предавшися мечтам,
Он любит, чувствует одним воображеньем:
Восхитит, увлечет, — а там
Убьет холодным небреженьем.

Аристофан

Убьет? Какая мысль! Убьет?.. Но признаюсь,
В словах твоих есть что-то с правдой схоже, —
Я оскорбить тебя и мыслию боюсь,
  Ты в мире мне всего дороже,
А часто мы с тобой проводим розно дни.

Алкиноя

Не дни, а месяцы.

Аристофан

                    Пусть так, но не вини
Любовь мою, она ни в чем не виновата,
Она велит мне жизнь у ног твоих провесть;
  Да у меня, как у Сократа,
К несчастью, свой домашний демон есть;
  Его — большой учитель
  Всему, чего не знает сам,
    А мой — мучитель,
  С охотой смертною к стихам,
До глупости чужой ужасный неохотник,
  Его всё бесит и смешит,
Что б ни случилося, он мне писать велит;
  А я, как купленный работник,
    Мучителя кляну,
    Однако же начну;
Сперва раздразнит он мое воображенье,
Потом я сам влюблюсь в мое творенье,
    И самолюбия в чаду
Успехом будущим заране восхищаюсь;
  Меж тем сто раз к тебе сбираюсь —
    И наконец пойду;
Но что ж? В дверях вдруг с мыслью повстречаюсь,
    Вписать ее спешу,
  Бросаюсь, тороплюсь, пишу,

Окончу, перечту; хочу кой-что поправить;
Поправки же всегда
Для авторов беда:
Начнем, — и всё прощай; не думай их оставить.
Покуда от труда,
А чаще от досады
Не выбьешься из сил, не выйдешь из себя;
Тогда хочу идти; но вспомня, что отрады
В наморщенном лице немного для тебя,
Я остаюсь, бешусь, бросаюся на ложе,
Клянусь не сочинять, что сделал — всё деру;
А поутру
Опять примусь за то же.

Алкиноя

В кого же ты, в стихи или в меня влюблен?

Аристофан

Она ж смеется!

Алкиноя

Да, ты право, мне смешон,
И должен согласиться,
Что часто комик сам в комедию годится,
Ах, если б я, как ты, умела сочинять!

Аристофан

То вывела б меня на сцену?

Алкиноя

И с успехом.

Аристофан

Так что ж? советую начать,
Я помогу, и над собою смехом
Народ развеселю; уж план мой сочинен:
На сцене сам себя воображаю живо,

Как буду я смешон!
А чтоб комедия окончилась счастливо,
Пускай веселая развязка в брачный храм
Введет обоих нас.

Алкиноя

Прекрасно, только там
Твоя веселая развязка
Вряд сочинителю счастлива будет.

Аристофан

Как?

Алкиноя

Когда желаниям подрежет крылья брак,
Когда спадет Эрота с глаз повязка,
Тогда что скажешь ты?

Аристофан

Всё то же, что теперь.
Ах! Алкиноя, верь,
Что без тебя мне нет блаженства в мире,
Когда ж благословит союз наш брака бог,
Когда небесной Ире
Угодно будет нам послать любви залог,
Тогда... прости, я забываюсь,
В надежде радостной, в мечтах моих теряюсь.

Алкиноя

Аристофан, оставь свои мечты,
Кто знает... может быть...

Аристофан

Чего ж боишься ты?

Алкиноя

Того, о чем без восхищенья
Я думать не могу.

Аристофан

Ах! Объясни, чего?

Алкиноя

Тебя и дара твоего.
Быть может, завтра же с тобою разлученье
Готовит мне комедия твоя.

Аристофан

Но если завтра я
Из битвы славной
С злодеем общим и моим
При плесках выйду невредим,
Почтешь ли от небес то помощию явной?
И убедясь, что я храним
Всесильными богами,
Ты согласишься ль, наконец,
Зеленый мой венец
Украсить брачными цветами?

Алкиноя

Аристофан!

Аристофан

Молчишь, и слезы на глазах!..
Но отвечай...

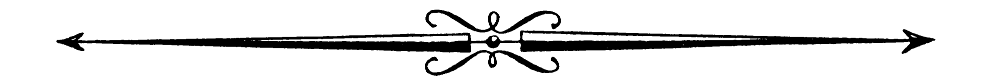
Алкиноя

Еще ли ждешь ответа!
Читай его в моих слезах.

Аристофан

Ах! все счастливцы света,
Предметы зависти людской,
Хвалиться счастием не смейте предо мной.

Князь Шаховской.



ЗАМОК НЕЙГАУЗЕН

Рыцарская повесть

Посвящена Д. В. Давыдову

I

Летний день западал, и прощальные лучи солнца бросали уже волнистые тени на круглые стены замка Нейгаузена. Туман подернул поверхность речки, обтекающей кругом холма, на котором воздымаются твердыни, и она гремя бежала вдаль сереброчешуйною змейкою. Ворота замка были отворены, и сквозь них, среди широкого двора, виделись терема рыцарские. Остроконечные их кровли пестрели разноцветною черепицею; все углы обозначались стрелками, и на многих висели башенки. Неровной величины окна с чудными изображениями были разбросаны в стенах без всякого порядка, и контрофорсы, упираясь широкою пятою в землю, поддерживали громаду здания. Казалось, оно не было древним, но молодой мох лепился уже по стенам, из неровного плитняка сложенным, и местами зеленил мрачную их наружность. Двухъярусные переходы вокруг бойниц амфитеатром замыкали окружность — и на них грудами лежали каменья, бревна, станки для огромных самострелов, тяжелые топоры, даже стенные пищали — тогда весьма редкие и столь же опасные своим, как врагам; словом, всё доказывало близость опасного соседа и возможность незапной осады. Часовые в шишаках, однако ж без лат бродили по гребню, и в замке

было так тихо, что слышалось пенье кузнечика. Направо от ворот щипал мураву статный конь; влеве тянулись полосатые гряды огорода. Между ими, оперши́сь на заступ, стоял садовник Конрад и с высоты любовался на закат солнца. Он не заметил, когда подошел к нему рыцарь в бархатной, сереброшвейной мантии и в весьма коротком полукафтанье малинового цвета. Лицо его было нахмурено, и руки, сложенные на груди, закрывали до половины осмиконечный малтийский крест. Тщательно завитые волосы и вообще щеголеватость в одежде показывали, что он чужеземец, ибо тогда ливонские рыцари не пышно рядились. «Пусть крапива забьет твои гряды!» — сказал он мимоходом Конраду, и Конрад, почтительно бросив свою шапку на землю, отвечал: «Благодарю за желание, благородный рыцарь; но у меня и без того плохо идет работа. Здешнее солнце светит только по праздникам, а эти башни и совсем не пускают его заглянуть в огород...»

«Старый дурак! Когда строят корабль, думают ли о приволье мышам?»

«Преумно и премилостиво, бл<агородный> р<ыцарь>. Но вы, кажется, рассержены; смею ли я, старый слуга ваш, спросить о причине?»

«Бесстрастное творенье! разве не понимаешь ты, что нежданный возврат барона разрушает все мои надежды: теперь Эмма станет еще неприступнее. Впрочем, я на всё решился. Конрад! Меняй свой заступ опять на кинжал, поедем лучше галерою бороздить море. Право, доходнее резать турецкие головы, чем сажать турецкие огурцы».

«Я всегда в вашей воле, рыцарь!»

«Если б ты к моей воле прилагал и свою — эта честолюбивая женщина не ускользнула бы из рук моих!»

«Пусть каждый шиллинг, от вас полученный, прожжет мой карман, если я даром брал награды. Всякий раз, когда госпожа приходила сюда учиться заморскому садоводству, я издалека заводил речь о вашей славе, о вашем богатстве, потом о вашей красоте... потом намекал о вашей любви, о вашей страсти, рыцарь! Вы сами

знаете, что есть вещи, о которых молчать невыгодно, а самому их высказать нельзя... и эти-то вещи были все рассказаны мною — похвалы сыпались у меня, как чечевица».

«И просыпались мимо. Нет, ты не умел, Конрад, посеять в ее сердце ко мне соучастия и взаимности».

«Благородный рыцарь! любовь растет скоро, как кресс-салат, но она всё-таки не огородный овощ. Ее зародить в баронессе было ваше, а не мое дело. Впрочем — терпение!»

«Терпение — добродетель верблюдов, а не людей».

«Может быть, не таких, как вы, бл<агородный> р<ыцарь>; но вы сами видите, как наш русский пленник Всеслав своею терпеливостью отбивает у поспешных прекрасную Эмму. Ну, право, на него глядя, можно подумать, что он вырос в школе странствующих меннезингеров: только и дела, что вздыхает, а между тем баронесса поглядывает на него очень умильно».

«Проклятый утешитель! Ты раздираешь мне сердце намеками, которые давно мне кажутся истиною. Любовь палит меня, но еще более ревность грызет душу. Так, я уже решился на всё. Я хочу, я жажду удалить и мужа, и этого воздыхателя-новогородца, чтобы самому сблизиться с нею. Ты знаешь, Конрад, что я говорю не с ветра и не на ветер, — теперь требую твоего совета?»

«Мое мнение, рыцарь, начать с гостя, то есть намекнуть барону о склонности его супруги к Всеславу — и русский соперник ваш уберется восвояси».

«Ты прав, Конрад; ты сто́ишь золотой петли за эту богатую выдумку. Так: я неприметно волью в его чувства отраву, которая льется в моих жилах; передам ему все затейливые подозрения ревности и с ним разделю ненависть к общему сопернику, а потом найдем средство удалить и ненавистного супруга. О! Я уже предвкушаю торжество мое: мои арабские бегуны умчат нас за тридевять земель. Для Эммы сброшу я эту командорскую мантию, забуду почести Ордена и славу света, чтобы в забытом углу его найти с нею счастие!..»

«Скорее ваш меч разрастется в ножнах нежели Эмма согласится бежать...»

«Но скорее рука моя будет вращать веретено, вместо копья, чем я откажусь от своего намерения. Для моей воли нет завета, ни препон — кроме гибели. Пусть Эмма добродетельна, верна — но ведь она женщина, она прекрасна и, следовательно, тщеславна. Одним словом, Конрад, я истощу весь арсенал обольщений: буду нежен, как дамская перчатка, гибок, как страусовое перо, стану звенеть золотом и железом, пролью слезы и кровь, и волею или неволею, но Эмма будет в моих объятиях — или Ромуальд фон Мей в когтях демона. Что же до самого барона...»

Конрад прервал его запальчивость, показав на часового, который приближался к ним по зубчатой стене. Рыцарь понизил голос, но по его движениям, по его сверкающим взорам видно было, что дело шло о чем-то важном. Конрад сомнительно покачал головою, и два злодея расстались.

II

Круглая зала Нейгаузена освещена была двумя большими свечами из желтого воска, воткнутыми в двурогий железный светец. Пламя их веяло по воле ветра, проникающего в неровный свинцовый переплет готических окон, — но блеск не достигал под вершину остроконечных сводов, зачерненных дыханием времени, и только изредка отсвечивались по стенам щиты и кирасы, и двойная тень мелькала от оленьих рогов, между ими прибитых. Две тяжелые печи, испещренные муравленными украшениями, стояли друг против друга. Дебелый дубовый стол занимал средину комнаты. За ним сидел рыцарь Ромуальд фон Мей и беспечно стучал шашкою по доске... игра была не кончена, стаканы опрокинуты, и владетель замка Эвальд фон Нордек ходил быстрыми шагами по зале. По неровному звуку его шпор, по волнению в груди заметно было, что он вне себя: — его лицо пылало гневом, и кровавые глаза разбежались.

«Да, да, — вскричал он, остановившись против Мея, — теперь вижу, что был до сих пор слепцом, был игрушкою жены своей. И я был так прост, что доверился этому русскому варвару, оставил волка в овчарне. Теперь не дивлюсь, что жена моя — что Эмма, хотел я сказать, так нежно ухаживала за его ранами, так жаловала его

песни и разговоры. Теперь понятно мне, отчего шепчут рыцари, когда я вхожу в их общество, отчего дамы так часто спрашивают об ее здоровье. Лицемерная, неблагодарная женщина! Не я ли презрел для нее все обычаи предков и все толки дворян — извел ее из пыли ничтожества и из безродной сироты сделал владетельницей Нейгаузена; но что более всего: не я ли любил ее так нежно, так пламенно! О, какое яркое пятно положила ты на славное имя Нордеков. Что сказал бы теперь дед мой, гермейстер Ордена, если бы такие обиды могли воскрешать мертвых, как они умерщвляют живых!»

«Думаю, — сказал Мей двусмысленным голосом и пожимая плечами, — он сказал бы то же самое, что и я повторяю: что люди завистливы и, статься может, слухи об этой связи — пустые». — «Нет, друг Ромуальд, не утешай меня, как ребенка: я знаю, что подобные вести позже всех доходят до ушей мужа, и, верно, уже они имеют вес, когда ты. чужеземец, их знаешь...» Ромуальд встал, чтобы скрыть волнение души и как будто нечаянно подошел к окну... «Они еще не едут с охоты...» — сказал он притворно равнодушным голосом.

«Не едут — и, поверь мне, еще долго не будут, — отвечал Эвальд нетвердым тоном презрительного бесстрастия. — Они не ждут меня из похода, а часы летят для них так скоро, что они и не думают о возврате... или, что я говорю, может они нарочно ждут вечера... лес широк, тропинки излучисты... мудрено ли заблудиться!»

«Какие черные мысли, Эвальд; разве не могло, в самом деле, случиться, что их соколы разлетелись».

«Я скличу их завтра на тело Всеслава!»

«Едут, едут!» раздалось по замку; топот коней и восклицания охотников огласили окружность; оконницы дребезжа отозвались на звук вестового рога с башни, и сердце барона оледенело... Он бросился в широкие кресла и закрыл глаза рукою. Кто-то бежал по лестнице, дверь скрыпнула, Эвальд вскочил; яростным взором встретил он входящего — и напрасно — это был паж баронессы. «Скажи госпоже твоей, — крикнул он, — чтобы она дожидалась меня в своих покоях, но, чтобы она не входила сюда... это моя воля, мое приказание, слышишь ли: мое приказание».

Изумленный паж удалился с трепетом — и опять мертвая тишина в зале. Ромуальд молчал, Нордек не мог говорить. Наконец, с шумом вбежал Всеслав в комнату. На нем был красный кафтан, на полах вышитый золотом. За кушаком татарский кинжал — на руке шелковая плетка, и красные каблуки его сапогов пестрели разноцветною строчкою; яхонтовая запонка и жемчужная пронизь на косом воротнике доказывали, что Всеслав не простого происхождения; но смелая, развязная поступь, открытое лицо и быстрые взоры еще более заверяли в его благородстве. С радостным челом, с дружеским приветом кинулся он обнять Эвальда, но Эвальд яростно оттолкнул его. «Прочь изменник, — воскликнул он, — прочь, не пятнай меня своим иудиным лобзаньем...»

«Что это значит, Эвальд?» — произнес Всеслав, пораженный видом и выраженьем барона.

«Ты слишком хорошо знаешь об чем говорю я; но притворство ни к чему не послужит... признайся!»

«Ты потерял рассудок, Эвальд!»

«О, как бы желал я потерять его, но, к несчастию, он теперь яснее, нежели когда-нибудь. Я теперь вижу, чем ты заплатил за мое гостеприимство, как ты отвечал на мою доверенность. Я с тобой, со врагом, поступил как с братом, а ты, обольститель, ты с другом поступил будто со злейшим неприятелем».

Лицо Всеслава загорелось негодованием. «Эвальд, — вскричал он, — не для того ли ты возвратил мне жизнь, чтоб отнять честь; не для того ль почтил пленника гостеприимством, чтобы сильнее оскорбить гостя клеветою?»

«Это правда, это ужасная правда! — И... не заставь меня употребить силу... если ты в ней не сознаешься, то богом клянусь, Всеслав, тем богом, которого ты забыл, — волки и во́роны будут праздновать мой гнев твоим трупом».

Всеслав, внимая этим угрозам, гордо сел в креслы и спокойным голосом отвечал: «Рыцарь фон Нордек, я пленник твой, делай что хочешь. Но ты видел под Вейзенштейном, когда рубился я с твоими латниками, пугала ли меня смерть! Ужели думаешь теперь застращать ею? Поверь, Эвальд, мне легче будет умирать безвинному,

чем тебе жить после злодейства. Впервые вижу я такое утончение злобы: зачем было не умертвить меня на поле битвы, чтобы здесь выхолить на убой!»

«Затем, что ты был тогда лишь неприятелем Ордена, а теперь стал моим личным врагом, моим кровным злодеем, похитив любовь легковерной Эммы!»

«Рыцарь! Именем чести и доброй славы невинной супруги твоей, требую доказательств!»

«Невинной?.. Давно ли волки проповедуют невинность лисиц, давно ли русские говорят о чести?»

«Русские всегда ее чувствуют. Вы, германцы, ее пишете на гербах, а мы храним в сердце».

«В твоем черном сердце — не бывало искры других чувств, кроме неблагодарности, обмана и обольщения!»

«Слушай, рыцарь, — вскричал Всеслав, вскакнув, — низко и в поле ругаться над безоружным, но еще ниже обижать в своем доме. Я бы умел тебе заплатить за обиду, если бы моя свобода и сабля были со мною».

«Ты будешь иметь их на свою пагубу, — отвечал в бешенстве Эвальд, — и суд божий поразит вероломца!»

«Когда ж и где мы увидимся?» — спросил Всеслав.

«Как можно скорее и как можно ближе. Я удостоиваю тебя поединка, чтобы иметь забаву самому излить твою кровь и ею смыть пятно со щита моих предков. Оружие зависит от твоего выбора. Я готов драться пеший и конный, с мечом и с копьем, в латах или без оных. Бросаю тебе перчатку не на жизнь, а на смерть».

Всеслав хладнокровно поднял перчатку. «Итак, на рассвете, — сказал он, — с мечами, пешие и без лат. У меня нет товарища, а потому и Нордека прошу не брать свидетелей. Место назначаю отсюда в полумиле, по дороге к Веро, под большим дубом. Там я жду обидчика для свиданья, чтобы сказать ему вечное: прости».

«Но куда ж спешите вы, благородный русский?» — спросил Мей с тайною радостию, подозревая, что Всеслав сбирается скрыться.

«Куда глаза глядят, — отвечал Всеслав, снимая со стены свою саблю и шлем, висевшие в числе трофеев. — Чистая совесть постелит

мне ложе в лесу дремучем, и мне не будет там душно, как в этом замке, где меня берегли, чтобы чувствительнее обидеть».

Он вышел из замка; со вздохом взглянул на окно Эммы и побрел в темноте по сыпучему песку.

III

Спешно и радостно встало утро над замком, но в замке всё было угрюмо и печально. Старик Отто, отец Эвальда, в беличьем полукафтанье сидел в своей комнате у окна; подле него лежала Библия, но он уже не мог читать ее, он с беспокойством глядел в поле сквозь цветные стекла. Эмма, заливаясь слезами, молилась перед распятием, и бледное лицо ее, и белокурые волосы, разметанные по плечам, ярко отделялись от черного камлотового, опушенного горностаями платья, которое длинными складками упадало на пол:

«Не плачь, не крушись, моя милая, добрая Эмма, — с нежностию сказал старый барон; но голос его доказывал, как трудно было исполнять ему совет свой. — Прости моему Эвальду и надейся на всевышнего, может всё кончится счастливо. Злые наветы заставили моего вспыльчивого сына обидеть безвинного человека... но ведь не каждая рана смертельна, — а по-моему, лучше носить язву на теле, чем убийство на совести. Солнце уже высоко — и он, верно, скоро воротится. Рыцарь Мей с капелланом давно поехали на место поединка узнать, чем он кончился, но вот пылят по дороге...» Сердце в Эмме забилось часто и сильно, голова кружилась, дыханье занялось в груди... она не смела ни взглянуть в окно, ни услышать, может быть, радостной, может быть, смертельной вести.

«Это они, это точно они, — воскликнул Отто... Уже я распознаю жеребца Ромуальдова, вот и капеллан... вот и пегий бегун Эвальда... но... боже мой! .. он убит!»

«Кто убит, батюшка? кто?»

«Он, Эвальд. — Эмма, у тебя нет более супруга; бедный Отто, у тебя нет уже сына. Он, единственный мой Эвальд, — убит, убит». С воплем опустился Отто в кресла и потерял чувства. Эмма вскочила, шатнулась и едва могла удержаться о распятие. Взоры ее померкли, голос замер, и голова скатилась на грудь. Это зрелище представилось Ромуальду и Всеславу, когда они, запыленные, вошли в комнату.

«Где, где он? — вскричала Эмма, которой приход их возвратил жизнь. — Отдайте мне моего Эвальда!»

«Его нет», — сурово отвечал Мей.

«Рыцарь, не обманывайте меня... впервые прошу вас, Ромуальд, — скажите мне всю правду. Где муж мой?»

«Я не лгу, баронесса, он пропал без вести...»

«Скажите лучше без возврата». Рыдания Эммы раздули искру жизни в старом Отто, и тот же вопрос был повторен Мею. — «Мы искали его везде, — отвечал Мей, — обскакали кругом на милю, перешарили все кустарники — и следу нет. Вероятно, разбойники, или наездники русские, — примолвил он, взглянув подозрительно на Всеслава, — схватили и увезли его за свой рубеж».

Казалось, внезапный луч осветил мысли Эммы. Все и всё обвиняло Всеслава. В самом деле, для чего избрал он такой уединенный час поединка и место на границе русской? Для чего желал видеть противника без лат, без свидетелей? О, это верно, это несомненно. Удар наемного кинжала есть скорейшее средство избавиться сильного неприятеля. Эмма, как помешанная, бросилась к Всеславу, который, опершись на окно, с глубокой тоской смотрел на нее. «Кровопийца, — вскричала она, — разве недоволен ты, лишив меня доверия и любви моего супруга, когда теперь потаенно убил его? Признайся в своем злодействе? Отвечай, где совершил ты преступление? Куда бросил его тело? Скажи, чья кровь дымится на руках твоих? ..» Эмма не могла продолжать.

«Эмма, Эмма! — с укором возразил до глубины души огорченный Всеслав, — и ты могла подумать, что я способен на такое низкое дело! Неужели все, кого так искренно любил я, кого так беспредельно уважал, сговорились подозревать, обвинять меня в гнуснейшем вероломстве и преступлении, едва вероятном для самых закоснелых злодеев!» Слезы навернулись на глазах Всеслава. Все умолкли, наблюдая друг друга. Какое-то злобно-радостное чувство просвечивало сквозь угрюмую физиономию Мея, но его взор выражал то сожаление к Эмме, то ненависть к обвиненному. Отто отирал серебряными волосами глаза свои, но ни одна слеза не выкатилась, чтобы облегчить растерзанное сердце отеческое. С живым участием,

но с мучительною тоскою обвиненного человека, который жаждет и не может утешить своих обвинителей, боясь упрека в ласкательстве, — стоял Всеслав между ими, но его взгляд был горд и покоен. Эмма в забытьи, с бродящими окрест взорами опиралась на плечо Отто. Все беды, все горести слились для нее в одно тяжкое ощущение, в чувство хладного и немого отчаяния. Картина была ужасна.

Молчание прервано было криком Сигфрида, щитоносца Эвальдова. «Беда, беда... вопиял он, вбегая в залу, — горе и смерть нашему бедному господину, он схвачен тайным судом: вассалы видели, как утром провезли его связанного, и три зарубки на воротах это доказывают!» *

«Всё погибло!» — диким голосом вскликнула Эмма и, как труп, упала к ногам Оттовым.

IV

В глухую полночь тайное Аренсбургское судилище[1] собралось под открытым небом в дремучем сосновом лесу, осенявшем некогда берега Эзеля; собралось, чтобы судить привезенного рыцаря. Нордеку развязали глаза, и он с изумлением увидел себя на поляне перед камнем судным. На средине его иссечен был крест; на нем лежали кинжал и книга. Четыре факела, вонзенные в землю, проливали какой-то зеленоватый свет на грозные лица присутствующих — и при каждом колебании пламени тени дерев, как привидения, перебегали через поляну. Члены, опершись на длинные мечи свои, закутавшись в мантии, сидели недвижны, вперив на обвиненного тусклые очи. Черно было небо, гробовые ели шептались с ветром — и, когда стихал их говор, порой слышался плеск волн между камней прибрежных.

«Твое имя рыцарь?» — спросил председатель.

Нордек величаво стоял между стражей, закинув за плечо цепь и накрест сложив руки. «Мое имя? — повторил он, озирая с любопытством заседание, — странный вопрос, ежели ты судья, и бесполезный, когда разбойник. Зачем же лишили меня свободы, как преступника, еще не зная, кто я таков?»

«Такова форма суда. Кто ты, рыцарь?»

«Меня должен знать каждый, кто не бегал, а дрался лицом

к лицу. Впрочем, я, не краснея, могу высказать свое имя и достоинство; я рыцарь Эвальд фон Нордек, владетель Нейгаузена и ротмистр Монгеймовых латников».

«Рыцарь Эвальд фон Нордек! Ты предстоишь священному, тайному суду Аренсбургскому, судящему на земле и водах преступников совести и чести. Итак, именем сего суда объявляем тебе: я, Оттокар фон Оснабрюк, фрейграф Аренсбурга, брат Эзельского епископа Германа III и мы все духовные и рыцари Тевтонского ордена, что ты обвинен в зажигательстве и в измене Ордену по сношениям с врагами его русскими. Оправдывайся, если можешь!»

«Скажи лучше, если захочу, а я не могу и не должен хотеть этого. Я не признаю другой расправы, кроме орденской».

«Здесь ты видишь многих собратий своих».

«Собратий по епанче, не по мечу — потому что вы воюете веревкой и кинжалом, не по кресту — вы изменили ему, преступив клятву повиноваться одному гермейстеру. И значит, вы враги Ордена, когда обвиняете за то же самое, за что славил меня гермейстер: за верное исполненье воинской должности».

«Но ты забыл тогда долг человека».

«Фрейграф!.. Пролитая кровь, пожары и расхищенья святыни и все злодейства, необходимые спутники войны, лежат на ответе епископа Иоанна и гермейстера Монгейма, а я был только орудием высшей воли. Монастырь Дюнамюнда вредил нам при осаде Риги как крепость, и я взял его приступом, как солдат, а следствия упрямого отпора известны. Но там духовные сражались и гибли, как рыцари, — а вы, рыцари, судите за военное дело, будто за святотатство».

«Вольные члены! В первом обвинении фон Нордек признается».

«Я горжусь тем как воин, но сожалею о том как человек. Об остальном же нелепом и низком обвинении скажу, что настоящие сыны Ордена не подражают примеру вашего Фехтена[2] и не братаются с язычниками литовцами для грабежа братних имений. Впрочем, как можете вы вступаться за Орден, когда сами его первым случаем вините? Разве можно быть вдруг и за епископа и за гермейстера?»

«Истина не принадлежит ни к какой стороне, и правосудие казнит без лицеприятия!»

«Истина не имеет нужды пресмыкаться во мраке и тайне; правосудие обвиняет гласно и казнит всенародно, а не уязвляет, как змея в пятку, не поражает, подобно бандиту, из-за угла. Еще раз спрашиваю, какое право имеете вы судить меня?»

«Рыцарь! Ты должен здесь только отвечать; можешь только просить, а не спрашивать».

«Мне просить! Вас просить! Ты смешишь меня фрейграф! Послушайте, вы г-да самозванные судьи мои, я знаю, что здесь обвинение есть уже смертный приговор и что вы привлекли меня в этот вертеп не для того, чтоб судить, но осудить; со всем тем не надейтесь, чтобы страх смерти заставил меня в жизни унизиться. Знайте, что я всегда ненавидел вас и даже теперь презираю, что я умру в сладостной уверенности на отмщение вам, моего друга Монгейма, и верьте, что каждый волосок, каждый состав мой выкупится сотнями черепов безземельных ваших рыцарей, белое знамя гермейстерское очервленится вашею кровью, и огонь очистит землю от трупов злодейских. Таково будет наказание от человека, г-да судьи... я уже не говорю о воздаянии всевышнего судии! Ваша совесть вам скажет о нем перед смертным часом — и не будет вам отрады, ни прощения».

«Нордек! Ты напрасно расточаешь брань и угрозы. Тайный суд бесстрастен, как привидение, и неумолим, как судьба».

«Но кто дал вам, безумные люди, взор провидения, кто вручил вам меч судьбы? Разум, дар неба и земная власть гроссмейстера отвергают суд ваш. Я не признаю его определений!»

«Так испытаешь его силу, — с злобною усмешкою отвечал Оттокар. — Г-да вольные члены тайного Аренсбургского суда: по статутам и законам нашим, клянитесь за мною судить обвиненного по совести и чести!» Все склонили колена и подняли правые руки... Эвальд услышал следующую клятву:

«Клянусь стоять за тайный суд против отца и матери, против жены и детей, против друзей и кровных, против ветра и огня, противу всего, что солнце греет и дождь кропит, противу всего, что между землею и небом находится; и пусть на душу мою обратится

проклятие, а на мою голову казнь, присужденная преступнику, если не выполню я судного приговора».

Как злые духи, встали и уселись опять члены суда, бренча оружием. Фрейграф продолжал:

«Итак, вольные сочлены мои, перед вами стоит рыцарь фон Нордек, уличенный в святотатстве; измена же его против Ордена, тайная связь с русскими, которым хотел он предать пограничный свой замок Нейгаузен, доказана еще в прошедшем заседании клятвенными показаниями известного вам сочлена. Братья и члены, что присудите вы за такие ужасные злодейства?»

Молчание.

«Гельмольд фон Лоде, твой приговор?»

«Рыцарь Эвальд фон Нордек осужден!» «Verfemt»,[a] — раздалось со всех сторон. «Verfemt, — радостно повторил фрейграф, — лишен покрова всех законов и обречен на смерть. Секретарь, занеси в книгу его имя и преступление. Стражи!..» Фрейграф махнул рукою, и несчастного увлекли.

«Рыцарь Ромуальд фон Мей, член тайного суда Вестфальского, ты был обвинителем Нордека — вручаю тебе кинжал для его казни. Еще сутки будет он жить, чтоб выведать из него тайны гермейстерские, потому что он был во всем правою рукою Монгейма, но потом соверши, что начал и объяви главному суду красной земли,[3] как подвизается здешний для общей пользы и славы».

Ромуальд безмолвно встал, склонил голову в знак согласия и, взяв кинжал, хладнокровно пробовал его остроту... но взоры предателя сверкали злобно, как глаза волка на добычу. Члены попарно медленным шагом скрывались в мраке и чаще леса.

V

Видали ль вы восход солнца из-за синего моря? Уже холодеет раннее утро, и заря зарумянилась на небе. Легкие туманы улетают к ней навстречу, и пролетом их едва тускнеет стеклянная поверхность морская, подобно зеркалу, тускнеющему под дыханьем красавицы.

[a] *У Бестужева:* Fervehmt. (*Прим. сост.*).

Дальний берег, мнится, висит в воздухе и зеленою стрелкою исчезает в небосклоне. Всё тихо; только изредка клик плещущихся вдали лебедей по заре раздается, и нетерпеливый ветерок порой заигрывает с звонкими камышами. И вот вспыхнул восток, и золотая к нему тропа пересекла воды: солнце в лоне туманов, без блистания, как бы в раздумье, стоит на краю небосклона и, вдруг воспрянув от вод, величественно устремляется по небу.

Такое утро сияло над диким берегом Ливонии, когда человек двадцать русских гостей любовались им. Две большие высокогрудые их ладии стояли близ утеса. Невдалеке светлели высокие башни замка Пернау, недавно отстроенного гермейстером Иокке. Двое в кольчугах с секирами стояли на страже. Другие лежали беспечно, раскинувшись вкруг огонька, лишь по дыму заметного против солнца. Это были товарищи молодого и богатого гостя Андрея Гремича. В то время все новогородцы вырастали в море и в воде, и звание купца было неразлучно с достоинством воина. Случалось нередко, что торговцы, отправляясь в чужбину за мирными прибылями, возвращались с добычею битвы. Каждый своевольно, когда пробуждался в нем боевой дух или корысть к себе манила, вооружался и разгуливал по Варяжскому морю и озеру Ладожскому, на страх немцам и шведам. К такому же разряду, казалось, принадлежала дружина Андреева. Тяжелое их оружие не могло принадлежать людям непривычным к битве, и жилистые их руки были способнее наносить раны, чем нарезывать бирки [4] или выкладывать на счетах.

«Эй, земляки!» — раздалось над их головою, и русские увидели на утесе рыцаря в вороненых латах на гнедом мекленбургском коне. «Мы все земляки, все из земли сделаны», — грубо отвечал ему один из гостей, зажигая фитиль самопала. «Что тебе надобно, рыцарь?» — «Узнать, где можно безопаснее к вам спуститься?» — отвечал тот. «Пусть молния опалит мне бороду, если я не спущу тебя вниз одним прыжком!» — возразил Илья, прикладываясь, но рыцарь мелькнул и исчез. «К ружью», — закричал Андрей, хватаясь за меч. Русские повскакали и приготовились принять незваного гостя. Между тем незнакомец показался опять, тихо съезжая к ним по узкой тропинке.

«Бьюсь об заклад, — сказал Илья, — что это передовщик какой-нибудь ватаги бродящих немецких рыцарей. Ну уж народец! С ними не плошай ни в торгу, ни в мире. Как ворон крови, так они жаждут золота, и хоть деньги ничем не пахнут, но они чутьем своим как раз спроведают, где есть пожива. Сказывали, они еще недавно разграбили наших купцов в самом Юрьеве. Проклятые язычники!» — «Они, кажется, христиане, — важно заметил один из гостей». — «Да, да, христиане! . .»

Рыцарь приблизился, слез с коня, вонзил копье в землю и смело пошел в середину русских. Бесстрашный Андрей вышел к нему навстречу; они сошлись.

«Андрей!» — воскликнул рыцарь... и с поднятым наличником кинулся обнимать его. «Брат, Всеслав, ты жив еще!» Сладостно было свидание братьев. Они плакали и усмехались, прерывистые восклицания и безответные вопросы летели. Умиленные новогородцы столпились вкруг своих начальников, кланялись, жали руку Всеславу, целовали и обнимали его как воскресшего: на родине его давно считали убитым.

«Полно, полно, — сказал Андрей, вырываясь из объятий братних, — ты сломал мне грудь своими латами; но скажи, пожалуй, зачем ты променял свою серебряную кольчугу на этот кирас, в котором гуляешь, словно черепаха?» — «Затем, чтобы безопаснее проехать по Ливонии, но брат и друг, мне надо освежить свою душу рассказом...» Братья удалились к стороне: сели под иву, которая шатром развесилась над берегом, и рука в руке, взоры в глазах друг друга, разговаривали они об родных и родине, и все чувства души, и все страсти сердца мгновенно отсвечивались на прозрачном облике Всеслава, и он жадно ловил рассказы о подвигах соотечественников, о их славе. Он забыл о себе, внимая о Новегороде... ах! Кто не заслушается вестью об родине, как пением райской птички!

«А я, — сказал наконец Всеслав, на повторенный вопрос брата, — как ты знаешь, пал окровавленный, избитый и израненный на полях Вейзенштейна, куда удальство завлекло меня с горстью бесстрашных. Я не знал, где я очувствовался. Прошлое для меня исчезло, память истощилась с кровью — и всё, что тогда увидел я наяву, мне

чудилось, будто во сне. Надо мною вздымались плитные своды, как в могильном погребе, на мне, как саван, белое покрывало, и тусклая лампада едва освещала окружность. Я ужаснулся, мне представилось, будто я погребен заживо! Холодный пот проступил на лице... приподнимаю голову, озираюсь... у моего изголовья сидела прелестная, как ангел, женщина... признаюсь тебе, я обомлел, суеверное воображение представило мне, что в ней вижу я свою душу, которая, перед отлетом на небо, прощается с бренным своим жилищем. Брат, это была супруга рыцаря фон Нордека, великодушного моего победителя». «Нордека! — воскликнул пылкий Андрей, — этого рыцаря словом и делом, который первый под градом камней и проклятий влез на стены Дюнамюндские, которого рижане страшатся, как божьего гнева! Я недавно видел его, когда он обок гермейстера въезжал в пролом покорившейся им Риги, в пролом, который был для них победными воротами. Этот Нордек ехал так горд, глядел так смело всем в глаза... что... признаюсь, меня взяла охота померять с ним силы, — он должен быть славный человек». — «Он в самом деле таков, — продолжал Всеслав, — вспыльчив до бешенства и неустрашим до безрассудства, зато как добр и радушен. Теперь буду говорить о себе: между тем как медленно возвращались мои силы, раздоры Ордена с Новымгородом продолжались, и мне невозможно было в целые полгода дать весточки, нельзя было спроведать о родимых. О, как часто, друг, у меня было тяжко на сердце — и некому было открыть тоски своей, не с кем погоревать вместе. Часто, каждый день, глядел я с башни Нейгаузена на Псковскую дорогу, которая вилась и скрывалась в лесу: иногда скакал по ней русский всадник — и надежда моя воскресала, сердце билось крепко; но мнимый вестник скрывался — и вновь оно ныло и замирало. Только с Эммою находил я отраду; и благодарность за ее нежные попечения об раненом превратилась во мне в какую-то неизъяснимо тихую к ней привязанность». — «Неизъяснимую? — перебил, грозя пальцем Андрей, — для меня это очень понятно: ты влюбился в нее...» — «Нет, Андрей, нет; эта не была та бурная любовь, которую судьба судила мне испытывать. В этом неприхотливом чувстве нет волнений, нет бешеной веселости без причины, нет отчаяния от безделиц, огонь не снедал

моего сердца и ревность не раскаляла его. Только не знаю отчего, при ней я дышал свободнее, с нею был веселее, но совесть моя была светла, как клинок твоей сабли. Мы почти не разлучались — все трое езжали на охоту, на прогулку, утром учили друг друга родным языкам своим, а вечером рассказывали повести. Добрый Эвальд радовался, что пленнику нескучно; гостеприимство и доверенность царствовали в доме, время мчалось, и пагубная минута пробила. К Эвальду приехал погостить старинный друг его, вестфалец фон Мей, малтийский рыцарь, который в числе воинов прусского графа Аренсбурга помогал гермейстеру на русских. В его душе сходились все знойные страсти Востока с необузданною волею, которая всего желала и всё могла. Он вспыхнул страстию к прекрасной Эмме и употребил все средства опытного волокитства, все тонкости тщеславия, все обольщения богатства, чтобы преклонить ее на любовь. Гордая невинностию Эмма не хотела даже приметить этого, и ее презрение возбудило в развратном его сердце злобу. Он оклеветал ее в глазах мужа, заставил меня взяться за оружие, чтобы отвечать на обидный вызов Эвальда, и — должно подозревать, обвинил его перед тайным судом, потому что Эвальда схватили и увезли на Эзель. И что сказать тебе еще о злодействах этого разбойника? Он, пользуясь смятением, похитил Эмму, туда же увез сестру мою, нашу Эмму — и может быть... как еще кровь не брызжет из жил моих — она поругана, обесчещена! Что же ты смотришь на меня с таким изумлением? Да, там я нашел сестру, ту самую Марфу, которая еще двухлетняя похищена была у родителей наших при набеге рыцарей на предместие Пскова. Отто, отец Эвальда, сжалился над погибающей малюткой — привез домой и воспитал как дочь, под именем дальной родственницы, не открывая никому тайны ее рода, ибо он знал, как ненавидят германцы всё русское племя. Я узнал о том нечаянно перед ее похищением, когда Отто хотел благословить меня крестом русским для поиска об Эвальде. Брат, вот он, вот семейный наш крест — вот и половина кольца с перста чудотворной вел<ико>м<ученицы> Варвары, которым нас, близнецов с Марфою, благословил архиепископ, разломив на полы. Подобный крест и полкольца уверили Эмму — и я прижал к груди моей погибшую сестру, я нашел ее — и мы

потеряли ее, может быть, навсегда. О брат, брат, мы ее потеряли!»

«Чего же медлим, — воскликнул Андрей, — для чего ж волочем время в рассказах, когда наш зять теряет, может быть, жизнь, а сестра честь свою! О, как бы обрадовались наши старики такою находкою; а чего не сделаю я, чтобы их обрадовать. В поход, товарищи! Мечите в море лишний груз — надобно жертвовать драгоценным благороднейшему. На Эзель, в Аренсбург, в этот притон тайного суда, об котором довольно наслышался я, в это гнездо плутов, которые во зло употребляют слово правосудие и льют кровь невинных».

«На Эзель, в Аренсбург, — восклицал Всеслав, вскакивая в ладью, — и дай мне руку, брат, на смерть беззаконникам, если казнь уже постигла благородного Эвальда. Я подкрадусь туда, как тать, и зарежу их, как разбойник; в крови отцов утоплю детей, дымом пожара задушу всё племя злодейское, и пламень — знамя истребления разовьется над главами башен». Якорь был уже поднят, когда Андрей послал одного из своих на берег. «Возьми братнину лошадь, — говорил он ему, — и скачи по берегу, ищи русских, расскажи им дело и сбери удалых в Ревеле. Там господами датчане, и они будут с нами заодно. Если чрез два дни нет вести — то спешите на Эзель и совершайте по нас поминки, как знаете. Прощай!» Паруса размахнулись, и ладья, разбрызгивая волны, полетела по морю.

«Счастливого пути вам, други! — думал оставшийся новогородец на берегу. — Спешите: ветер изменчив, и злодейство не теряет минут. Кто знает, на избавление или на бесплодную месть вы спешите».

VI

Скован, как злодей, осужден, как преступник, лежал Эвальд на полу в одной из башен аренсбургских. Неумолкающая тоска грызла его сердце, и все насмешливые воспоминания счастия, и все жестокие ощущения души будто нарочно роились в воображении, чтобы отравить последние минуты жизни. Пять дней тому назад он был счастливейшим человеком в свете. Увенчан молвою, отличен гермейстером, почтен равными себе, спешил Эвальд в объятия пре-

лестной супруги и друзей, ему обязанных. А теперь: о боже мой, боже мой! Кто испытал вдруг столько душевных и вещественных несчастий! Обманут другом, изменен женою, безвозвратно оклеветан, очернен пред рыцарством, перед потомками, осужден беззаконно и безвинно на гибель, на смерть, на казнь! .. «Умереть легко, — думал он, — но умереть на поле чести или на ложе предков, не на плахе потаенного палача, на которой не застыла еще кровь какого-нибудь бездельника. Погибнуть столь внезапно, оставить без награды лучших друзей, без отмщения злейших врагов! .. Умереть так темно, что ни один наследник, даже для виду, не придет поплакать на прах мой... его развеет ветр, размоют волны, и хищные птицы разнесут по лесам и болотам... о, это ужасно! Это нестерпимо». В отчаянии грыз Эвальд оковы, и слезы ужаса бесчестной смерти замерли в очах его. К счастию человечества, сильные удары страстей непродолжительны. Выстрел потрясает твердь, но исчезает мгновенно; так и отчаянье Эвальда утихло, как стихает ниспавшая волна водопада. Казалось, разум сжалился над несчастным и отлетел прочь. Настоящее, прошлое и будущее смешались для него в хаос. Мечты, будто сонные видения, проходили, кружились, сталкивались в воображении; но тусклое понятие не могло схватить ни одной черты, ни одной мысли — всё было мрачно, как могила, и безначально, как вечность. Наконец звук цепей извлек Эвальда из его ничтожественного забытья. «Может быть, — подумал он с горьким вздохом, — эти цепи заржавлены слезами других обвиненных, до меня здесь погибших... может быть, и они были также невинны, также несчастны, как я! .. Их уже нет... скоро и меня не станет, и поздний потомок найдет наши имена, записанные в кровавой книге преступлений! .. Худая слава живет долее доброй, и, статься может, имя Нордека, которым гордились доселе рыцари ливонские, предастся на поругание в веках грядущих. Так! Благодетели людей тлеют в гробах наравне с теми, кому благотворили они, а ненависть переживает поколения. Знаменитые подвиги умышленно забываются завистью, неодолимые замки исчезают под бороною, славные удары могучих снедает время и ржавчина, с сокрушенными от них бронями, а между тем низкая клевета таится в архивах, и предатель-пергамин чрез сотни лет выдаст

сказки за истину, обесславит добрых и возвеличит ничтожных злодеев!.. Но разве нет вечного судии, чтобы творить награду и суд независимо от прихотей случая и обманчивых понятий человека? Разве нет другой жизни, где всё истина и всё благость?..» Сердце Эвальда смягчилось, общая судьба людей примирила его с своею судьбою, и какой-то внутренний голос вопиял ему: молись! И Эвальд молился. Правда, он часто забывал молитву в боях и на пирах; но теперь, на пороге смерти, он молится, и молится не от страха, но от умиления сердца. Часто забывают смерть в припадках чести на поединках, ее не замечают в блестящей мантии славы на сражениях; но не тогда, кака она является во всей своей наготе, со всеми ужасами неизбежной казни. — Эвальд молился чистосердечно, искренно... и час его пробил. Визгнули тяжкие засовы, скрипя отворилась дверь на пятах, и убийца с фонарем и кинжалом предстал осужденному.

VII

«Куда вы везете меня?» — говорила умоляющим голосом Эмма в эстонской ладье своим бесчувственным похитителям; говорила, и буйный ночной ветер развевал ее волосы, уносил ее слова. «Конрад, Конрад! Сжалься хоть ты надо мною, вспомни мои всегдашние к тебе милости... злой человек, чем заслужила я от тебя такую измену!.. Любезный Конрад, скажи куда и зачем везут меня?» — «На Эзель, сударыня, на славный остров Эзель, в гости к прекрасному господину моему, рыцарю фон Мею». — «Но увижу ль я там моего Эвальда?» — «О, конечно; он, верно, дожидается вас на первом дереве, а не на висилице — в этом я уверен, и это же самое докажет вам, что г. Эвальд осужден не гражданским, а тайным судом. Да, впрочем, вам, высокорожденная баронесса, печалиться не о чем. Такая красавица, как вы, в женихах нужды иметь не будет. Ромуальд вас повезет с собою в Вестфалию, а там не то, что ваша Ливония, где не найдешь, прости господи, кочна цветной капусты; там, сударыня, шпанских вишен куры не клюют, а винограду больше, чем здесь рябины; а рейнвейн-то, рейнвен! О, да вы будете жить припеваючи. Правда, ему нельзя явно жениться на вас; так что ж? Вы обвенчаетесь с левой руки, а ведь с левой руки и сердце!»

«Святая Мария! Подкрепи меня, — воскликнула Эмма, рыдая, — до чего я дожила: последний вассал смеет надо мною насмехаться, о злодей Ромуальд, я проклинаю тебя».

«Ведь я говорил, что напрасно снимать повязку со рта баронессы — она может простудиться, говоря так много. Ух! Как качает, как плещет! Не правда ли, сударыня баронесса, что ветер здесь немножко посильнее, чем ветер от вашего опахала? Не поблагодарите ли вы меня за эту прогулку по морю! Могу похвастаться, что я избавил всех от погони: это была мастерская штука; я каждой лошади вколотил в ногу по гвоздику. Ба, да вот и огни в Аренсбурге; посвищи, друг Рамеко, чтобы еще крепче задул ветер. Скоро, скоро мы выйдем на берег, скоро вино польется в горло и деньги в карманы». Вдруг взглянул Конрад в сторону: огромная ладья на всех парусах с наветра катилась к ним наперерез. «Кто едет? — оробев закричал Конрад. — Кто, друзья или неприятели?»

«Это он, это изменник Конрад», — заревел в ответ громовой голос, и вмиг русская ладья врезалась к ним в бок. Ужас охватил сердце Эммы... она слышит треск досок, хлопанье парусов, крики битвы и клятвы умирающих. Мечи скрестились, искры сверкают по шлемам — и вот несколько выстрелов, и опять сеча, и наконец вопли о пощаде... «Нет пощады, топите разбойников!» — раздалось, и вмиг ярящиеся волны заплескались над тонущими и залили их пронзительные голоса. Конрад схватился было за край, — но мольбы злодея были бесплодны, и он, проклиная себя, с обрубленными руками опустился на дно морское.

Какой переход от отчаяния к надежде, от чувства страха к нежным ощущениям. Спасенная Эмма опамятовалась в объятиях братьев!

«Слушай, Рамеко, — говорил Всеслав избегшему от смерти кормщику эстонской ладьи, — дарую тебе жизнь и свободу, но веди нас мимо камней, прямо к Аренсбургу, прямо к той башне, где заключен пленный рыцарь. Ты сего дня оттуда, следовательно должен всё знать. Веди — или я познакомлю тебя с рыбами!» Эстонец повино-

вался охотно, ибо он ненавидел владельцев своих столько же, сколько их страшился.

Между тем буря свирепела от часу более, дождь лил ливмя, и только блеск молний показывал близость замка. «Смотри, — говорил Всеслав брату, — как дождь гасит ложный маяк, сложенный из бревен разбитого корабля, чтобы приманить другие к погибели. Смотри, как вьется молния вкруг шпицов замка, воздвигнутого на костях несчастных пловцов, и не для защиты, а для угнетенья людей, — но минута карающего гнева приспеет, и гроза небес испепелит грозу земли».

«Сюда, сюда, — тихо говорил кормчий, устремляя бег ладьи на высокую стену. — Опустите паруса, снимите мачты, склонитесь сами: мы проедем сквозь низкий свод, оставленный для протока воды по рвам, к самому подножию башни». Не без трепета и сомнения пустились русские под свод, где измена и гибель могли встретить их. Страшно плескали волны залива в стену и, отраженные, стекали из-под свода, журча между расселинами камней, но там всё было тихо, и каждый шорох вторился многократно. Чрез минуту они уже были во рву между башнею и стеною. «Вот окно заключенника», — сказал проводник, и русские остановились в недоумении; окно было, по крайней мере, четыре сажени от земли.

«Wer da?» — закричал часовой, беспечно прохаживаясь по стене, и завернулся в плащ в полной уверенности, что над ним потешаются злые духи. «Я укорочу тебе язык, зловещая птица» — тихо сказал Гедеон: стрела взвилась, и часовой полетел в воду.

«Счастливый путь, товарищ! Спасибо, что ты открыл нам дорогу наверх... посмотри, брат Всеслав, его плащ зацепился за зубец, и раскинулся по стене... помогите мне, друзья, достать кончик: так, теперь крепко, не сорвется. Тише, тише... я уже наверху, а отсюда не более полуторы сажени до окошка. И ты уже здесь, брат Всеслав, это славно! Теперь, товарищи, вырвите из частокола бревно и подайте его сюда, оно послужит нам вместо лестницы и тарана».

Чрез четверть часа десять удальцов были на гребне стены и по приставленному бревну, скользя и обрываясь, лезли к башне. К счастию, подле рокового окна выдавалась над рвом висячая стрельница,

и с нее-то Всеслав достиг до него. Приложив ухо к решетке, ему послышался голос, но это не был голос Эвальда! Неужели же все труды напрасны, неужели его обманули?

VIII

Всеслав приник внимательнее к решетке, не смея, однако ж, заглянуть в нее... гневные слова раздавались в башне: то говорил Ромуальд: «Вероломец, изменник, предатель, говоришь ты; такие названия мне сладостны из уст моей жертвы. Так, я изменил дружбе, я скрывал свои чувства, я предал тебя сторонникам Иоанна, чтобы удовлетворить свои страсти, а мщение есть первейшая моя страсть. Помнишь ли, Эвальд, турнир в Кенигсберге, помнишь ли тот удар копья, которым ты выбил меня из седла; это еще я мог простить тебе: тут была обижена только гордость, но помнишь ли, что вместе с призом ты похитил у меня и сердце ветреной Аделаиды, — этого я не мог простить и никогда не прощу тебе, и с той же минуты погибель твоя была решена. Ревность заставила меня облечься в эту мантию и загнала на скалы Африки, но месть привела сюда. Ты видел, умел ли я притворяться, теперь узнай еще, что я оклеветал твою Эмму и очернил Всеслава, чтобы заставить тебя их обидеть; этого еще мало, Эвальд: недовольный, что я поругал твое имя, что вонзил в твое сердце муки совести, — я похитил твою Эмму — теперь она уже в руках моих, и, вышед отсюда, зарезав тебя, я осушу ее слезы поцелуями. Эмма женщина: я ручаюсь, что через два дни она будет уже играть этим кинжалом, который напьется кровью ее супруга». — «Изверг природы, — воскликнул Эвальд, всплеснув руками, — человек ли ты?» — «О, конечно, не ангел, — злобно отвечал Мей, — но какие существа мне не позавидуют: я наслаждаюсь мучениями моего врага... ну... полно тебе жить Эвальд, теперь я хочу жить за тебя». Ромуальд взмахнул кинжал, но вдруг сбитая решетка, гремя, ринулась к ногам его. Убийца оцепенел — и Всеслав, как ангел мщенья, ворвался в темницу и одним ударом меча обезоружил Ромуальда. «Полно тебе злодействовать, Мей, — загремел он. — Твой час пробил. Выкиньте этого тигра в окно, — сказал он своим, —

чтобы он не заражал воздуха своим дыханием!» Новогородцам не нужно было повторять приказа; Ромуальда схватили, раскачали и вышвырнули в окно с башни. «Бездельник не утонет, — сказал Гедеон с насмешкою, прислушиваясь к падению Мея, — у него препустая голова: слышишь ли как звенит она, стукаясь о камни».

«Его и дребезгов не останется, — отвечал Илья, — прежде нежели долетит он до низу: все стены утыканы частоколом».

«По делам вору и мука, — примолвил Гедеон, — он был великий злодей». В одно мгновение разбил Всеслав рукоятью меча цепи Эвальдовы, и Нордек склонил перед ним колено. «Склоняюсь перед невинно обиженным мною, — воскликнул он, — и объемлю моего великодушного избавителя». Они взирали друг на друга с чувством безмолвного восторга, и горячие слезы удивления и раскаяния смешались. «Спеши к Эмме, — сказал Всеслав, — она невинна и добра, как прежде, — она здесь, внизу. . .» С криком безумной радости спрыгнул Эвальд на стену, с нее в ладью, и счастливый, прощенный супруг упал в объятия восхищенной супруги. Для таких сцен есть чувства и нет слов.

Гроза стихала, и наши пловцы выбирались из-под свода, когда чей-то стон привлек их внимание. Всеслав выпрыгнул на каменья, чтобы посмотреть, кто это, и ужаснейшее зрелище поразило его взоры: Ромуальд, изможденный, проткнутый насквозь заостренным бревном, висел головою вниз и затекал кровью; руки замирали с судорожным движением, уста произносили невнятные проклятия. «Чудовище, — сказал Эвальд, содрогаясь от ужаса, — ты жаждал чужой крови и теперь задыхаешься своею». Зажав уши, отвратив глаза, бежал он прочь. Но долго после того ему слышалось впросонках смертное хрипение Мея, и картина его казни представлялась как живая.

Ладья летела будто окрыленная, и новые родные уже беззаботно предались излиянью чувств и рассказам. «Посмотри брат, — сказал Андрей Всеславу, — как расцветает над замком зарево, — это мое дело; я вместо тебя распустил на башне огненное знамя истребления

и позаботился, чтобы нам было светло в дороге. Огонь горячо принялся за наше дело, да и ветер раздувает его так усердно, будто приверженец гермейстера. Послушайте, как кричат они, как стелется дым и кидает уголья во все стороны. О, это утешно, это будет памятная отплата г-дам тайным судьям за явные их проказы. Однако ж посоветуй зятю Эвальду не выезжать вперед без свиты. У него не две головы, и мщенье не обманывается дважды».

Спешите к берегу, молодые счастливцы! Там встретит вас дружба и под щитом своим проведет на родину. Спешите! В Нейгаузене ждет вас радость и ликованье; гостеприимство и приветы найденных родителей ждут вас в Новегороде.

Я видел живописный Нейгаузен; и в нем не раздавался уже звук стаканов, ни гром оружия. Верхом въехал я в круглую залу пиршества — там одно запустение и молчанье. Этот замок, построенный Валтером фон Нордеком в 1277 году и наступивший пятою на границу России, доказывал некогда могущество Ордена; теперь доказывает он силу времени. Лишь одна круглая башня, прекрасной готической архитектуры, устояла; остальное распалось. По карнизам стелется плющ, деревья венчают зубчатые стены; из бойниц, откуда летали некогда меткие стрелы, выпархивает теперь мирная ласточка, и ручей, пробираясь между развалин, омывает главы обрушенных башен, которые когда-то гляделись с высоты в его поверхность.

Александр Бестужев.

Примечания

* Эпохою своей повести избрал я 1334-й год, заметный в летописях Ливонии взятием Риги герм. Эбергардом фон Монгеймом у епископа Иоанна II-го; он привел ее в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности (Sönebref), разломал стену и через нее въехал в город. Весьма естественно, что беспрестанные раздоры рыцарей с епископами и неудачи сих последних должны были произвести в партии рижской желание обессилить врагов потаенными средствами.

[1] Тайное судилище (Freigerichte, Femegerichte, Heimliche Gerichte) — это пугалище средних веков из Германии с рыцарством перешло и в Ливонию. Заседания их (Freistuhl) были в замках Арраше и Аренсбурге, где доселе находится множество костей, в стену закладенных. Позывы свои оно делало посредством зарубок на воротах или на деревах. Впоследствии гроссмейстер Эрлингсгаузен запретил особым декретом повиноваться сему суду, основанному вначале для удержаний насилий самосудных баронов и впоследствии превратившемуся в скопище разбойников, влекомых корыстью или мщением. Слово Femegerichte происходит от старинного саксонского слова verfemmen — проклясть, осудить, лишить убежища законов (vogelfrei).[а]

[2] Рижский епископ Фехтен, воюя против герм. Думпесгагена, в 1286 соединился с литов. кн. Витовтом.

[3] Rotes[б]-land, так называли в старину Вестфалию, где находился главный тайный суд, который уже заведывал всеми.

[4] Бирки и доныне употребляются русскими подрядчиками в виде векселей. Это не что иное, как лучинки, из которых нарезываются кресты и палочки, означающие количество. Потом эта лучинка раскалывается надвое и половинки хранятся у отдатчика и приемщика до расчета.

[а] *У Бестужева:* Vehmgerichte, Freistul, fervehmen, fogelfrei. (*Прим. сост.*).

[б] *У Бестужева:* Roter-land.

ЛГУН

Сказка

Павлушка *медный лоб* (приличное прозванье!)
Имел ко лжи большое дарованье.
Мне кажется, еще он в колыбели лгал!
Когда же с барином в Париже побывал
И через Лондон с ним в Россию возвратился,
Вот тут-то лгать пустился!
Однажды ... ах, его лукавый побери!..
Однаждыы этот лгун бездушный
Рассказывал, что в Тюльери
Спускали шар воздушный.
«Представьте, — говорил, — как этот шар велик!
Клянуся честию, такого не бывало!
С Адмиралтейство... что? Нет, мало! —
А делал кто его? — Мужик,
Наш русский маркитант коломенский мясник:
Софрон Егорович Кулик,
Жена его Матрена
И Таня, маленькая дочь.
Случилось это летом в ночь,
В день именин Наполеона.
На шаре вышиты герб, вензель и корона,
Я *срисовал* — хотите? — Покажу...

Но после... слушайте, что я теперь скажу:
На лодочку при шаре посадили
Пять тысяч человек стрелков
И музыку со всех полков.
Все лучшие тут виртуозы были.
Приехал Бонапарт, и заиграли марш;
Наполеон махнул рукою,
И вот Софрон Егорыч наш,
В кафтане бархатном, с предлинной бородою,
Как хватит топором...
Канат вмиг пополам; раздался ружей гром,
Шар в небе очутился,
И вдруг весь газом осветился.
Народ кричит: *vive, vive Napoleon!*
Bravo, bravo monsieur Sophron!
Шар выше, выше всё, и за звездами скрылся...
А знаете ли где спустился?
На берегу морском, в Кале!
Да опускаяся к земле,
За сосну как-то зацепился
И на суку повис;
Но по веревкам все спустились тотчас вниз;
Шар только прорвался и больше не годился...
Каков же мужичок *Кулик?*»
— Повесил бы тебя на сосну за язык, —
Сказал один старик, —
Ну, Павел! Исполать! Как ты людей морочишь!
Обманывал бы ты в Париже дураков,
Не земляков.
Смотри, брат, на кого наскочишь!
Как шар-то был велик? —
«Свидетелей тебе представлю, если хочешь:
Ну так в объеме — с полверсты».
— То как же прицепил его на сосну ты?
За олухов что ль нас считаешь?

Прямой ты *медный лоб!* Ни крошки нет стыда! —
«Э, полно, миленький, неужли ты не знаешь,
Что надобно *прикрасить* иногда».

Измайлов.

СЛАВА

(Из Ламартина)

Две разные стези открыты перед вами,
Спешите избирать, питомцы Пиерид!
Здесь вас блаженство ждет; там — яркими венцами
Бессмертие блестит.
Певец! Ты выполнил всеобщие уставы;
Ты музы ранними дарами ущедрен
И дни твои сплелись из горестей и славы:
К чему же скорбь и стон!
Стыдись завидовать бесплодному покою,
Которым дорожит ничтожный человек;
Все блага жизни сей даны ему судьбою,
Но лира наша век!
Твои ряды веков! Ты гражданин вселенной,
По смерти алтари потомство зиждет нам,
Где беспристрастною рукою воскуренный
Не гаснет фимиам.
Так к царству бурь орел взлетает в дерзновенье
И, с гордым торжеством ширяясь в облаках, —
Вещает смертному: и я земли рожденье,
Но дом мой в небесах!
Так, слава ждет тебя! Но тяжкою ценою
В ее священный храм купить ты должен вход;
Смотри: несчастие с поникшею главою
Врата его стрежет.

Слепец Ионии, томимый нищетою,
Блуждает по морям; под гнетом злых судеб,
Ценою гения, омоченный слезою
Вымаливает хлеб,
Торквато роковым огнем воспламененный,
Страдающий в цепях за славу, за любовь,
Готовый пальмою венчаться заслуженной —
Нисходит в сень гробов.
Везде изгнанники, страдальцы злополучны!
Тех сила грозная, тех зависть угнела;
И небо, кажется, сердцам великодушным
Готовит боле зла.
Престань же сетовать о лютом злоключенье;
Лишь сердце слабое несчастие страшит;
Но ты, ниспадший царь!* Пусть гордое презренье
Оно тебе внушит.
Что нужды, что тебя жестокость удалила
От милых берегов страны твоей родной?
Что нужды, где тебе почтенная могила
Назначена судьбой.
Ни ссылка тяжкая, ни все гоненья бедства
К ней славы навсегда не прикуют твоей;
Ее востребует отчизна как наследства,
Оставленного ей.
Восплачут варвары о злобе их неправой —
Афинский пантеон изгнанникам открыт;
Кориолан погиб, но Рим своею славой
Героя славу чтит.
Вступая в мрачную Плутонову державу,
Овидий к небесам десницу простирал:
Сармату оставлял он пепел свой; но славу
Он Риму завещал.

М. Загорский.

---

* Так Ламартин называет Маноеля — одного из нынешних испанских поэтов.

РОДИНА

Есть любимый сердца край;
Память с ним не разлучится:
Бездны моря преплывай,
Он везде невольно снится.

Помнишь хижин скромных ряд,
С холма к берегу идущий,
Где стоит знакомый сад
И журчит ручей бегущий.

Видишь: гнется до зыбей
Распустившаяся ива
И цветет среди полей
Зеленеющая нива.

На лугах, в тени кустов,
Стадо вольное играет;
Мнится, ветер с тех лугов
Запах милый навевает.

Лиц приветливых черты,
Слуху сладостные речи —
Узнаешь в забвенье ты,
Без привета и без встречи.

Возвращаешь давних дней
Неоплаканную радость
И опять объемлешь с ней
Обольстительницу-младость.

Долго ль мне в мечте одной
Зреть тебя, страна родная,
И бесплодной жить тоской,
К небу руки простирая?

Хоть бы раз глаза возвесть
Дал мне рок на кров домашный
И с родными рядом сесть
За некупленные брашны!

Плетнев.

ЭЛЕГИЯ

Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине,
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для взоров мило;
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной неги полный,
Над морем я влачил задумчивую лень;
Когда на хижины сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла.

А. Пушкин.

ВОЛИ НЕ ДАВАЙ РУКАМ

1

Воли не давай рукам! —
Говорили наши предки;
Изменяли тем словам

Лишь тогда, как стрелы метки
Посылали в грудь врагам.

2

Мы смеемся старикам,
Мы не просим их советов;
По Парнасу, по судам,
От архонтов до поэтов
Волю все дают рукам.

3

Волю беглым дав рукам,
Карп стихи, как сено, косит;
Пальцы с ртутью пополам,
В голове зато лишь носит
Он свинец на горе нам.

4

Загляни к Фемиде в храм:
Пусть слепа, да руки зрячи;
Знает вес давать вескам:
Гладит тех, с кого ждет дачи,
Бедных бьет же по рукам.

5

Но не всё ж злословить нам;
Живо в памяти народной,
Как в сенате в страх врагам
Долгоруков благородный
Смело волю дал рукам.

6

Мой Пегас под стать ослам,
Крыльев нет, не та замашка;
Жмут оглобли по бокам,
Лишь лягается бедняжка,
Крепко прибранный к рукам.

Кн. Вяземский.

НА ПАМЯТЬ МАРИИ

Как тихой вечера порою,
Не встретив на небе ни молний, ни дождей,
Играет облако под влагой голубою
В сиянье розовых лучей;
Так сердце чистое, Мария молодая,
Тяжелых дум не испытав,
Не ведая забот, любви не понимая,
Блистает ясностью младенческих забав.

Туманский.

К МИЛОЙ

Расставшись, может быть, и вечно,
С той, кем живет душа моя,
Ты хочешь знать, мой друг сердечный,
Чем в горе занимаюсь я?
Тем занимаюсь постоянно,
Чего отнять нельзя судьбе:
Вчера, сегодня, беспрестанно
Люблю — и мыслю о тебе!

Аркадий Родзянка.

ЛИЛЕЯ

Где тени сень ложится от дубов,
Где плющем вязы перевиты,
Лилея там, красавица лугов,
Цветет среди пустынь забытых.

*

Пускай блестят под жемчужной росой
Ее лазурные уборы,
Но мне милей блистали под слезой —
Прекрасной пламенные взоры.

*

Угаснет вмиг перловая роса,
Лишь полдень загорится ясный, —
Надолго ли прощальная слеза
Увлажила глаза прекрасной? . .

В. Григорьев.

РОМАНС

Прекрасный день, счастливый день:
И солнце и любовь!
С нагих полей сбежала тень,
Светлеет сердце вновь.
Проснитесь, рощи и поля,
Пусть жизнью всё кипит;
Она моя, она моя!
Мне сердце говорит.

*

Что вьешься, ласточка, к окну,
Что, вольная, поешь?

Иль ты щебечешь про весну
И с ней любовь зовешь?
Но не ко мне, и без тебя
В певце любовь горит.
Она моя, она моя!
Мне сердце говорит.

Барон Дельвиг.

АПОЛОГИ

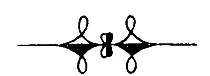
1

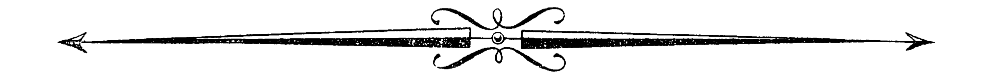
Между репейником и розовым кустом
Фиалочка себя от зависти скрывала;
Безвестною была, но горестей не знала. —
Тот счастлив, кто своим доволен уголком.

2

Полз светлый червячок; встречается змея,
И ядом вмиг его смертельным обливает.
«Убийца! — он вскричал, — за что погибнул я?» —
«Ты светишь», — отвечает.

* * *





ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ НА МОРЕ

Письмо к***

Пользуясь впечатлением, которое осталось в вас от последнего посещения Кронштадта, спешу отвечать на вопрос, сделанный вами прежде: почему я избрал себе скучный род морской службы. Я нарочно ожидал случая, чтобы доказательства мои были подкреплены собственным вашим убеждением; для меня довольно было, что вы видели военный корабль и восхищались его устройством. Вам понравилось всё на этой плавающей машине; вы признались, что живое чувствование неожиданно великого до сих пор еще наполняет ваши мысли приятным воспоминанием. «Но опасности, — говорите вы, — но скука долгого плавания, вечное однообразие предметов, молчанье страстей — красы нашей жизни, не позволяют видеть в службе моряков ничего приятного».

Послушайте меня — и если вы не согласитесь, что наша служба может быть приятна, по крайней мере я лишний раз поговорю о ней с удовольствием.

Не буду разбирать: судьба или наши наклонности заставляют избирать род службы; жребий мореходца решается в самой юности, и в десять лет должно быть записану в Морской корпус. Надобно знать, что последние три года пред выпуском кадет посылают на кораблях в море для практики... Сии, возвращаясь осенью из своих походов, рассказывают случившееся, описывают виденное — и юные слушатели, кипя от восторгов, с неизъяснимым чувствованием ожидают той счастливой минуты, когда успехи в науках и отличие в поведении доставит им случай самим видеть и испытать слышанное

от товарищей. Таким образом, с молодых ногтей, еще не быв на море, они заранее с ним знакомы, питают и укрепляют сердце свое заблаговременными повествованиями, и вместе с другими страстями их растет любовь к службе.

Первое прибытие на корабль довершает очарование воображения, которое в сем случае идеалом своим уступает вещественности. В самом деле, никто не вообразит того впечатления, которое производит огромный корабль, плавающий на воде, вооруженный громадою пушек в несколько этажей, снабженный мачтами, превосходящими высочайшие деревья, перепутанный множеством веревок, из коих каждая имеет свое название и назначение, обвешанный парусами, невидными, когда подобраны, и ужасными величиною, когда корабль взмахнет ими, как крыльями, и птицею полетит бороться с ветрами и волнами. Сотни людей населяют его; для юного сердца он кажется целым плавающим городом. Настают бури, пучина разверзается, корабль стонет, — неопытный юноша смотрит на выражение лиц начальников своих — видит спокойствие и думает, что буре так быть надобно. Не понимая ужасов, беспечно любуется борьбою стихий; они становятся для него предметом любопытства, и прежде, нежели разум его постигнет меру опасности, он уже знакомится с нею, привыкает ее видеть без боязни и хладнокровно уже впоследствии встречает ее.

Таким образом, с самой юности, мореходец вменяет в ничто ужасы природы, и силою привычки он также беззаботно пускается в море, как вы ложитесь в вашу постелю.

При таком спокойном расположении духа — вы, конечно, поверите — можно найти удовольствие на море; чтобы исчислить их, надобно бы описать всю нашу жизнь корабельную, но, не входя в подробности, я постараюсь начертать легкий ее абрис.

Не распространюсь о том, что прежде выступления корабля в море надобно вооружить и оснастить его; что это вооружение имеет свои приятности, ибо каждый, изготовляя корабль, заботится о нем столько же, как бы строил себе дом, с тою только разностью, что соревнование службы и товарищества берут здесь сильное участие в самолюбии каждого. Казалось бы, что общая форма в воору-

жении всех кораблей должна быть одинакова; но со всем тем каждый корабль некоторым образом носит отпечаток вкуса и сведений того офицера, который его вооружает. Есть тонкости и в этом искусстве, неприметные глазу неопытному, но составляющие красоту форм вооружения, и в сих-то тонкостях заключаются удовольствия моряков, полагающих славу свою, надежды и безопасность в искусстве, с которым приготовляют они корабли к походу.

С выступлением корабля на рейд каждый из офицеров заботится устроить маленькое свое жилище, в котором он располагается всем домом, — вы видели, что младшие живут внизу и днем зажигают там огонь, потому что их жилище под водою. Старшие помещены в так называемой каюте-компании, или общественной, от которой тонкая парусинная перегородка их отделяет; пушка стоит в каждой каюте, и при малейшем приготовлении к сражению, переборки подымаются, каюты опрастываются, и чистая батарея готова грянуть громом.

В сей-то каюте-компании собираются все служащие на корабле офицеры. Воспитанные в одном месте, как бы дети одной матери, с одинаковыми привычками, одинаким образом мыслей, общество офицеров морской службы отличается тою дружескою связью, тем чистосердечным прямодушием, каких не могут представить другие общества, составленные из людей, с разных сторон пришедших. Между сими людьми сердце каждого отдыхает от трудов, им понесенных, и деятельная жизнь корабельная дает полное право веселиться в минуты отдыха. Одни играют в карты, другие занимаются музыкою; иногда общая веселость уступает место вниманию при поучительных повествованиях. Рассуждения практические и тактические оживляют умы, искры противоречия освещают истину, но никогда не зажигают пламенника вражды и раздора. Поверите ли вы, что от создания российского флота у нас между флотскими не было ни одной дуэли?

Конечно, человеку постороннему на корабле, а следственно и праздному, жизнь наша покажется единообразна. Установленное для занятий время, положенные часы обеда, ужина и пр., число удовольствий ограниченное, и самые удовольствия слишком простые, потому что заключаются не во внешних предметах, переменою своею ласкаю-

щих чувства прихотливых любимцев счастия, но в наших сердцах, в чувствованиях, не всегда и не всякому понятных. Например, как изъяснить удовольствие сидеть за столом, где двадцать человек офицеров, различных характеров, но проникнутых каким-то общим духом, представляют семейственную картину и общими силами стремятся ко взаимному удовольствию. Живость характера одних, в противоположности с флегмою других, радость надежд юности и воспоминания опытности, всё это вместе действует на душу, принимающую участие в беседе, тихим, но приятным образом. Конечно, математическая, точная жизнь наша делает и характер наш будто холодным и равнодушным, но поверьте мне, что человек, рожденный с пылким сердцем. силою привычки принимающий равнодушие, не переменит своих чувствований; только образ выражения его будет иной; поверьте, что равнодушный человек не есть еще хладнокровный и что между тем и другим такая же разница, как между текучею и стоячею водами, льдом покрытыми; наружный вид обоих одинаков, но одна промерзает до самого дна, другая не перестает течь и журчать под своим непроницаемым покровом. — Конечно, служба наша, требующая несмигаемого надзора за непостоянною стихиею, — надзора, от которого зависит жизнь нескольких сот людей, внушая порядок в образе мыслей и поступков, не дает времени воображению подстрекать страстей наших: зато она сохраняет к случаю всю живость их и ощущение, ими производимое, неизъяснимо приятнее в наших сердцах, нежели в тех, которые, опустив узду страстей своих, несутся вскачь на поприще жизни и падают, не добежав меты. Не смотрите на скромный, иногда застенчивый вид мореходца, который делает его оригинальным и даже странным в обществе — ежели вы не судите людей по наружности, дайте ему руку и поговорите с ним. Ежели вы захотите блеснуть умом большого света — он будет отвечать здраво, но скажет мало, потому что ему редки были случаи развернуть свои дарования и сделать их блестящими в свете; но ежели разговор ваш пойдет от сердца, вы увидите человека рассудительного, который не бросится в ваши объятия с уверениями, но в продолжение времени поступками своими докажет, что недаром загорается огонь в глазах его при имени любви и дружбы. Не то железо горячо к ощущению,

от которого брызжут искры, но то, которого поверхность уже темнеть начинает.

С таким расположением характера самые обязанности делаются для нас удовольствием, а это бывает очень редко. Оттого-то и удовольствия наши становятся уже не единообразны: ибо служба наша столько же имеет перемен, сколь непостоянно море со своими случаями; оттого-то мореходцы, разлученные со светом, с его обольщениями и веселостями, на краю гибели каждую минуту, отделенные от смерти одною доскою, умеют находить в самих себе источник радостей и привязываться к такой жизни, в которой другие видят одну только скуку. Душа человеческая всегда жаждет неизвестного; мысль наша всегда стремится вдаль; несытая, летит воображением в страны далекие — и что же может быть приятнее, когда мореходец, удовлетворяя потребностям души своей, несется по беспредельным морям и видит туго натянутые паруса, округляемые попутным ветром, когда в мечтании сидя на корме, чувствует ее содрогание от скорого хода, видит катящиеся сзади волны, от которых убегающий корабль приближает его к желанному берегу. Взоры его с удовольствием обращаются в ту страну горизонта, куда совет магнитной стрелки обратил его путь. Настают ли бури, подымаются ли противные ветры? Его наслаждение увеличивается гордостию победы над стихиями. Не так ли обладание любимым предметом становится дороже от препятствий?

Вам самим известны прелести воображения, известно и то, что надобно слишком быть знакому с самим собою, слишком независиму от внешних впечатлений, чтобы наслаждаться мечтами и воспоминаниями. Это наше наслаждение; и в то время, когда другой мучится бездействием и отыскивает способы к новым удовольствиям, мореходец, уединенный в своей каюте, при свече, которой пламень волнуется в ту и другую сторону сообразно колебанию корабля, окружает себя призраками своего воображения, переносится мысленно на родину, перебирает воспоминания и часто на походном висячем столике своем приводит мысли в порядок в скромном журнале, который пишется не для публики, но для образования сердца и отчета собственных чувствований.

Конечно, часто море держит нас вдали от берегов целые недели и месяцы, и нельзя, чтоб грусть не закрадывалась в сердце, как вода пробирается в корабль потому, что на всё есть мера, но, во-первых, человек носит печаль и радость в собственном сердце, и смотря по тому, спокойно ли оно, и окружающие предметы кажутся ему грустны или веселят его. Во-вторых, неужели вы не сочтете во что-нибудь дружбы, прелестной в самой рассеянности света и еще драгоценнейшей в одиночестве? Дружба наша усиливается малочисленностию людей, на корабле заключенных; и в сем случае оную можно уподобить свече, у которой чем менее круг освещения, тем сильнее светят ее лучи, тем ближе они к своему началу. Напротив, на большом пространстве лучи расходятся, слабеют, светятся, но не освещают. Сверх того, я похвалюсь, что дружеские связи крепче между моряками, потому что у них друзья приобретаются в самой юности. Обманываются те, которые думают найти друзей в зрелых летах. Юноши, как воск, удобно принимают впечатления, и склонности одного врезываются в другом; время утверждает мягкий состав души и в форму, образованную давним дружеством, не придется новое. Что же приятнее, когда после трудов, в теплой каюте, за чайным столиком, беседуя с другом, изливаешь ему сердце, рассчитываешь надежды, и так обманываешь скуку, разделяя время между дружбой и службою. Конечно, для жизни совершенно приятной недостаточно одного дружества; человек не сотворен быть в сообществе одних мужчин; и самой дружбе сгрустнется в отдалении от милых сердцу, но разве одиночество наше вечно? Разве откажете вы мореходцам в нежных чувствованиях, оживляющих сердце других человеков? Неужели вы думаете, что влажная стихия, по которой мы плаваем, может ужасать страсти? Знаете ли, что нарочно прыщут водою на угли, чтоб увеличить жар их? — Как часто ветрам морским вверяются вздохи, и на крыльях бури посылаются тайные обеты туда, где остались любезные наши! Какое обновленное ощущение несет каждый из нас после долгого плавания в свое отечество!

Это весьма естественно. Но что скажете вы, когда я, описывая удовольствия мореходца, думаю включить туда же самые бури и сражения? Конечно, ежели смотреть на то и на другое как на зло и

судить по впечатлению, ими производимому, с первого взгляда мое мнение покажется странно; но ежели, вооружась бесстрастием, приобретенным привычкою, хладнокровно смотреть на священные ужасы природы и чувствовать в душе своей силу противустать ее силе, тогда, поверьте мне, на все усилия ярящегося моря вы будете смотреть, как на картину, представленную для удовольствия особенного рода — не живого, не пылкого, но меланхолического. Есть какое-то тайное сочувствие природы с сердцем человека: чего он не боится, то уже ему нравится; есть в душе струны, которые по своенравию или по потребности, как на эоловой арфе, отдаются приятно при реве бурь и ветров, — и сколько ни грозят человеку гибелью бездны морей, — он только приобретает новую решительность, новые силы презирать опасности и не уважать смертью.

Это неуважение к смерти — в самый час сражения, когда свистящие картечи и ядра рвут воздух и оставляют за собою тысячи смертей и опустошение, когда со зверством человека соединяются самые стихии на пагубу, тогда, говорю я, это высокое чувствование равнодушия и смерти и вместе чувствование собственного достоинства, повелевающего всем ужасам, изображает на спокойном лице мореходца гордую улыбку и наполняет душу каким-то тайным, неизъяснимым восторгом. Я не говорю уже о радостях победы, о упоении славы!..

Не думайте, однако же, чтобы все удовольствия наши были только воображаемые. Приходим ли мы к якорному месту? Прелестные прогулки ожидают нас. Хотим ли кататься? Свежий и ровный ветер вызывает охотников; легкие шлюбки с белыми парусами, с музыкой и песнями, как ласточки рея по волнам и едва бороздя воду, гоняются одна с другою. Желаете ли охотиться за дичиною на берегу? Идете с ружьем. Хотите ли ловить рыбу? Садитесь на борте корабля с удою и в прозрачной океанской воде видите на 10 сажен и более, как резвая рыбка приближается к вероломному крючку; часто жадные камбалы хватаются одна за хвост другой, и вы до половины вытаскиваете вдруг две рыбы на уде. Редко крючок ваш закидывается понапрасну, а это не безделица для охотника.

Но есть еще удовольствия приятнейшие: мы знакомимся с береговыми жителями; настают праздники, мы веселимся от сердца, потому что балы нам не прискучили; — зовем новых своих друзей к себе: корабль оживляется, всё на нем принимает новый вид. Я опишу вам один из наших корабельных праздников.

На шканцах, т. е. на верхней палубе, убираются пушки и растягивается палатка, борды украшаются флагами, зелеными ветвями и цветами, из которых вязи, освещенные разноцветными огнями, изображают имена почетнейших наших гостей; в пушечных окошках стоят блестящие фонари; в углах подвешенные подносы отягощены закусками, плодами и прохладительными напитками; в каюте приготовлено угощение для мужчин. Музыка гремит; гости подъезжают на шлюбках к освещенному кораблю; по лестнице, покрытой коврами и увешанной флагами, они всходят и принимаются хозяевами, каждый выбирает занятие, ему приятное: одни садятся в каюте за карточные столики, других подводят к чашам, в которых зажженный ром, арак и другие напитки окружают синим пламенем тающие сахарные головы и распространяют благоухание в воздухе. Вино пенится и брызжет. Наконец начинаются танцы. Прохладный морской воздух освежает танцующих; каждому предоставлена свобода. Иной, утомясь от движения, идет на нос корабельный и, пользуясь свежестию вечернего ветерка, безмолвно наслаждается зрелищем звездной ночи и моря, отражающего на верхушках легких волн блеск праздничных огней. Рассеянные чувствования собираются, сердца начинает волноваться тише, сообразно колебанию струй, на которые устремляются взоры.

Наконец все утомлены! Настает пора ужина. Гости, попарно с хозяевами, идут по всему кораблю из палубы в палубу, их желают занять, покуда накрывается стол, и показывают расположение корабельное, чистоту и порядок. Обошед таким образом по всему ярко освещенному кораблю, поднимаются опять наверх, где готовый стол ожидает гостей. Вы можете себе представить, что за столом присутствуют не придворный этикет с выученными разговорами и приветствиями, но искренность людей добродушных, развязанная вниманием и изощряемая веселостию. После ужина еще несколько легких

вальсов заключают праздник, и гости при звуках музыки и при повторениях громогласного ура разъезжаются на шлюбках.

Таковы наши забавы внутри корабля; но есть также приятные случаи, приходящие извне.

Хотите ли видеть, как встает солнце, нигде с таким великолепием не восходящее, как на море? Представьте, что вы в должности с полночи до пятого часа утра, проходите Зундом и остановились на якоре против Гельзенера у крепости Кронборга. Август месяц в начале; безлунная ночь темна, хотя звезды сияют во всем блеске. На корабле ударило три склянки, или по береговому половину второго часу, и мало-помалу на северо-востоке серый небосклон начинает становиться светлее — еще светлее. Вы начинаете различать предметы: становятся приметны крепость Кронборг, оба берега пролива, стоящие на рейде корабли; но тонкий туман, как покрывало, лежит на спящих окрестностях. Ветер не шевелит флюгерами; море спит и будто дышит от колыхания легкой зыби, тихо идущей от севера. Показалась утренняя звезда; заря подвигается вправо по небосклону; туманы, понемногу поднимаясь, образуют сребристые облака и потом, будто волшебством, подобно брызгам растопленного золота, загораются они на востоке. Грянула заревая пушка с брантвахты, и при грохоте ее отзывов солнце по светлому небу катится из-за мшистых камней Шведского берега. Ветерок дунул; море тронулось быстрее; нити дыма над городом потянулись к востоку; всё проснулось навстречу царю светил небесных. Предметы, освещаемые мало-помалу, выходя как бы из воды, рисуются одни за другими, и великолепная картина живописного Зунда представляется глазам вашим. Налево гордый замок Кронборг возвышается на Датском берегу. Окопы с двойным рядом орудий блестят яркою зеленью. На ближнем бастионе ходит часовой — его нельзя различить, но виден отблеск лучей на светлом ружье, когда он поворачивается, расхаживая мерными шагами по валу. Подле красивый Гельзенер; высокий берег усеян садами, мельницами, веселыми и чистыми домиками. Назади высокий и ровный остров Твен, жилище и обсерватория славного Тихобраге перегораживает горизонт пролива. Направо картина переменяется: натура дика; серые угрюмые камни Швеции, изредка покрытые краснова-

тым мохом, и бедный Гельзинборг между ними разительно противоположат смеющейся Дании. Расстояние не велико: девятиверстный пролив разделяет их, но влеве — роскошь природы, направо — печать ее отвержения. Против Кронборга вдруг пролив расширяется, и на светло-зеленых водах его видны окрыленные корабли; далее высокие Шведские скалы ограничивают зрение и, теряясь в синеве дали, кажутся громадами туч на горизонте.

Наконец корабль ваш снимается с якоря, проходит Зунд. Попутный ветер прогоняет вас засветло мимо всех опасностей Каттегата. К вечеру остается вправе маяк Мальстранд подле камней Патерностера, у берегов Шведских; потом проходите влеве Шкаген, предостерегающий от далеко лежащих отмелей, сыпучих песков Ютланда, и вступаете в Немецкое море. Ночь стемнела, тучи сдвигаются над головою, горизонта не видно. Легко покачиваемый корабль зарывается в волнах, которые, с плеском разбегаясь, загораются мгновенным фосфорическим сиянием, бьются в корабль, брызжут светлые искры и, соединяясь за кормою в длинную струю, означают путь корабля огненной бороздою. Вдруг сияние угасает, — вдруг загорается снова, и глаз не устает смотреть на эту игру природы.

Проходит ли корабль срединою Немецкого моря чрез Доггербанку и Фиш-банку, так называемые по особенно малой глубине, и если ветер стихнет, спускают трал или большую сеть, и корабль тихо ее тащит, едва подвигаемый по зеркальной поверхности вод. Час или два наполняют сеть для обеда почти всего корабля множеством вкусной рыбы и различных чудовищ, на дне моря обитающих. Во время лова трески и сельдей вы встречаете на сих местах целые флоты рыбаков: тогда тихая ночь после солнечного заката представляет очаровательную картину. Небо, как опрокинутая чаша, с алмазными звездами своими отражается в совершенно тихой поверхности моря. Края горизонта исчезают в сумраке, воды не видно: такое же небо, такие же звезды внизу; мрак удвояет обман, и корабль, кажется, летит по воздушному пространству, усеянному бесчисленными огнями на рыбачьих лодках.

Еще ли говорить вам о удовольствиях плавания в страны далекие, о приятности новизны, о прелестях любопыства? Путешествен-

ник, едущий сухим путем, постепенно переменяет свои впечатления, с каждым шагом привыкает к окружающим его предметам. Новая страна для него уже не нова, потому что он каждую минуту видел ее признаки, видел ее приближение. У нас не так: как бы волшебством переносимые с домами своими из страны в страну, мы не видим промежутков путешествия, и очарование новости не понемногу, но внезапно поражает взоры и чувствования наши.

Говорить ли вам о красотах морей, где незаходимое солнце в продолжение нескольких дней для того только скатывается к горизонту, чтобы, опершись на край моря, с новым блеском востечь на безоблачные небеса и оттуда рассыпать яркие лучи, которые, дробясь миллионы раз, горят огнями радуги в зеркальных горах льдов, миру современных. Ночь и день сливаются там в одном беспрерывном свете лучей, и солнце, опускаясь к полночи, катится по волнам, не погружая лица своего. Иногда только качаемый зыбью корабль мгновенно теряет его из виду и опять открывает во всем величии. Иногда поднявшаяся волна, закрывая солнце, вдруг освещается сама и во всю длину свою сквозит какою-то яркою неизъяснимою эмалевою зеленью. Таковы полярные моря летом; осенью же мраки продолжительных ночей рассекаются там живым блеском луны и звезд, и чудным метеорным сиянием, которое беспрерывно, подобно шатру, раскидывается над головами плавателей.

Послужит ли нам счастье обрести неизвестные страны? Как изъяснить прелесть нового, неиспытанного чувствования при виде особенной земли, при вдохновении неведомого бальзамического воздуха, при виде незнаемых трав, необыкновенных цветов и плодов, которых краски вовсе незнакомы нашим взорам, вкус не может быть выражен никакими словами и сравнениями. Сколько новых истин открывается, какие наблюдения пополняют познания наши о человеке и природе с открытием земель и людей нового света! Не высока ли степень назначения мореходца, который соединяет рассеянные по всему миру звенья цепи человечества. Прежде мореплавания самая даже мысль не смела нестись далее столпов Геркулесовых и всякий раз смиренно ложилась к их подножию; ныне всякое новое изобретение, мысль, чувствование, понятие обтекают кругом целый свет,

сообщаются, усвоиваются и получают право гражданства везде, куда только ветры могут занести отважного человека. Теперь посредством мореплавания повсюду настлан широкий мост благодетельному просвещению, нет более препон для сообщений к пользе человеков. Одно только любопытство еще встречает их во льдах полярных, но оно уже борется с ними и, конечно, вскоре пробьется к самим полюсам, на коих утверждена незыблемая ось мира.

Не думайте, однако же, чтобы прелесть морских путешествий заставляла нас забывать об отечестве. По долгом отсутствии мы, наконец, привыкаем к окружающим новым предметам; любопытство удовлетворено; мало-помалу тоска по отчизне закрадывается в сердце, представляя родину в ярких красках, туманит безоблачные небеса чужой стороны и набрасывает тень на ее цветущие берега. Задумчивость овладевает самыми живыми характерами, мысли и разговоры посвящены одному только отечеству. Но настает счастливый день отплытия, и все оживляются. С радостными восклицаниями поднимают якорь, весело распускают паруса, и мысли нетерпеливых сердец летят впереди быстро плывущего корабля. Время пути сокращается приятностию надежды, и вскоре по пройденному расстоянию полагают себя близко отечественных берегов; тогда все, как пригвожденные к корабельному борду, в беспокойстве какой-то радостной грусти, с трепетанием сердца устремляя взоры вперед, стараются различить на горизонте признаки близкой земли. Вдруг с верху мачты раздается радостный крик: берег! берег! И потрясает всех электрическим ударом. Где возьму слов выразить сладость чувствования, с которым жадные взоры наши ловят каждый предмет, подымающийся понемногу из-за черты, разделяющей небо с морем! Восходящий дым, светлые кресты на церквах, благовест колокола, едва доносимый ветром, напечатлевают радость на самых неподвижных лицах. Брошен якорь, и с последним трепетанием подбираемых парусов счастливцы, необязанные должностию на это время, летят приветствовать родную землю и забыть труды долгого плавания в объятиях дружбы и, может быть, чувствований еще нежнейших.

Н. Бестужев.

ГОРЕ И БЛАГОДАТЬ

«И воста яко спя господь!»

Из псал. 86

I

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели,
Оковы и мечи звенели,
И сильный слабого терзал.
Не стало дел, ни прав священных,
Молчал обиженный закон,
И востекал от притесненных
Глухой, протяжный, тяжкий стон...
Как дым прошло сиянье славы,
Сокрылась кроткая любовь,
И человеков род лукавый
Был вид повапленных гробов!
Простились люди с тишиною —
Везде мятеж и грустный мрак,
И глад с кровавою войною
На трупах пировал свой брак...
Стихии грозно свирепели
И мир чего-то ожидал...
Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели!

II

Какая всходит там заря?
Кто раскалил небесны своды?
Почто бледнеете, народы?
Куда бежите вы моря?
Златое солнце покраснело
И не дает своих лучей;
И для земли осиротелой
Не стало утра, ни ночей...
И грады падают, как класы,
Когда их дождь и бури бьют,
И раздались *незримых* гласы:
«Господь, господь идет на суд!»

III

Но он пришел неизреченный!
И только грешных поразил!..
Он светом молний по вселенной
Все тайны злобы обнажил...
Не устояли грех и сила...
От блеска божиих очес:
Их съела вечная могила...
И новый век настал чудес...
Неправда — тяжкая обида
Была и людям, и творцу!
Бог избрал кроткого Давида;
И дал он юному борцу
Свой дух, свое благословенье
И повелел престать беде.
И скрылось смутное волненье...
Хвалилась милость на суде.
Не смел коварствовать лукавый,
И не страдал от сильных правый.

Закон, как крепкая стена,
Облег израильские грады:
Цвели спокойно вертограды,
Лобзались мир и тишина...
Господь как будто почивал,
Но на земле *дела светлели;*
Звучал тимпан, и девы пели,
И всякий бога величал!..

Федор Глинка.

БЕГСТВО МАЗЕПЫ

(Отрывок из поэмы: Войнаровский)

Полтавский гром загрохотал...
Но в грозной битве Карл свирепый
Против Петра не устоял!
Разбит, впервые он бежал,
Вослед ему — и мы с Мазепой.
Почти без отдыха пять дней
Бежали мы среди степей,
Боялся вражеской погони;
Уже измученные кони
Служить отказывались нам...
Дрожа от стужи по ночам,
Изнемогая в день от зноя,
Едва сидели мы верхом...
Однажды в полночь, под леском,
Мы для минутного покоя
Остановились за Днепром.
Вокруг синела степь глухая,
Луну затмили облака,
И тишину перерывая,

Шумела в берегах река.
На войлоке простом и грубом,
Главою на седло склонен,
Усталый Карл дремал под дубом,
Толпами ратных окружен.
Мазепа, пред костром сосновым,
Вдали, на почерневшем пне,
Сидел в глубокой тишине,
И с видом мрачным и суровым
Как другу открывался мне:

«О, как неверны наши блага!
О, как подвластны мы судьбе!
Вотще в душах кипит отвага:
Увы! настал конец борьбе!
Одно мгновенье всё решило,
Одно мгновенье погубило
Навек страны моей родной
Надежду, счастье и покой...
Мазепе ль духом унижаться?
Не буду рока я рабом;
И мне ли с роком не сражаться,
Когда сражался я с Петром?
Так, Войнаровский, испытаю,
Покуда длится жизнь моя,
Все способы, все средства я,
Чтобы помочь родному краю...»

Замолкнул он, глаза сверкали;
Дивился я его уму;
Дрова, треща, уж догорали,
Мазепа лег, но вдруг к нему
Двух пленных казаки примчали.
Облокотяся, вождь седой,

Волнуем тайно мрачной думой,
Спросил у них, взглянув угрюмо:
Что нового в стране родной?
«Я из Батурина недавно, —
Один из пленных отвечал, —
Народ Петра благословлял,
И, радуясь победе славной,
На стогнах шумно пировал.
Тебя ж, Мазепа, как Иуду,
Клянут украинцы повсюду;
Дворец твой, взятый на копье,
Был предан нам на расхищенье,
И имя славное твое
Теперь — и брань и поношенье!»
В ответ, склонив на грудь главу,
Мазепа горько улыбнулся,
Прилег, безмолвный, на траву
И в плащ широкий завернулся...

Рылеев.

ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

Зри: пылает дивный храм,
Римский меч сверкает в дыме...
Тишь во граде, казнь рабам!
Раздалось в Иерусалиме.

*

На стенах, по стогнам кровь,
Грудой тел Кедрон стесненный
Плещет пеной обагренной,
Выступая из брегов.

*

Иерусалим, Иерусалим!
Не жди от казни избавленья. . .
Ты пал нечестием своим,
Сбылись господни предреченья.

*

Прославлен вышний в небесах.
Солима крепкий щит распался,
Святыни храм повержен в прах,
На камне камень не остался.

*

Пред Римом пал Иуды град,
Орел взлетел на верх Сиона
И устремил свой алчный взгляд
На пепел царства Соломона.

Абадовский.

ОТРЫВОК ИЗ ПОСЛАНИЯ

В. Л. П—ну

Что восхитительней, живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней кратких дней —
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах
Вдали забав, и нег, и граций.
Как жил бессмертный трус Гораций

В тибургских сумрачных лесах;
Не знают света принужденья,
Не ведают, что скука, страх;
Дают обеды и сраженья,
Поют и рубятся в боях.
Счастлив, кто мил и страшен миру,
Об ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!

А. Пушкин.

В ШЛЯПЕ ДЕЛО

Иным что шаг, то неудачи;
Что шаг, то радости другим:
Слепец над бездной невредим,
Упал на ровном месте зрячий.
Кто отыскал к фортуне след,
За всё тот принимайся смело:
В сорочке он родился в свет,
И в шляпе дело!

*

С бургонской пробкой, за прибором,
Как ставят мне медок простой,
Или красотке пожилой
Блеснуть захочется убором,
Иль барин, пополам с грехом,
Плюмаж свой выставляет белый,
Я говорю себе тайком:
Не в шляпе дело!

*

Кто не богат, тот бегай спора
И в суд за правдой не гонись,
Или в сенях без шляпы жмись
И жди год целый приговора.
Богатому и тут люли!
Хоть дело черно, будет бело:
Из шляпы высыплет рубли,
И в шляпе дело!

*

На картах проиграв именье,
Эраст женился на вдове;
И в доме и на голове —
Везде Эрасту приращенье.
«Пусть надо мною, — говорит, —
Подшучивает город целый,
Но мне тепло: я счастлив, сыт,
И в шляпе дело!»

*

Когда везло Наполеону,
За колесницей вел он свет,
Но русский царь взял жезл побед
И сшиб с чела его корону.
Теперь, припомня прежний сон,
Как всё в глаза ему глядело:
«Имел, — вздыхая скажет он, —
Я в шляпе дело!»

Кн. В...ий.

К ДЕЛЛИЮ

Из Горация, Книга II, Ода 3

Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem, etc.

(Посвящено Ф. Ф. Ралю)

Будь тверд, несчастьем удрученный,
И в счастье, гордостью неослепленный,
Умерен будь. — О Деллий! Ты умрешь...
Печально ль жизнь ты провождаешь,
На дерне ль нежася, ты в праздник отдыхаешь
И старое вино, красу Фалерна, пьешь,
О Деллий! Всё умрешь.
Где тополь белая с высокою сосною,
Сплетясь ветвями меж собою,
Гостеприимну тень дают,
И вьется ручеек дрожащею струею...
О Деллий! Пусть туда несут,
В приют уединенный,
Вино, и аромат, и розу, цвет мгновенный...
Живи! Коль юность позволяет лет,
Заботы тяжкой, горя нет,
И черна нить тремя не прервана сестрами...
Расстанешься с роскошными садами,
Оставишь скупленны леса, дом сельский свой,
Вкруг Тибром желтым орошенный;
Богатства скопленны возьмет наследник твой. —
Потомок Иноха, богатством наделенный,
Из черни ль низкой ты,
Без крова, жертва нищеты,
Добычей Орка быть твое определенье!
Судьба нас всех влечет к мете одной:
Всех в урне жребии вращает роковой;

Заутра, ныне ли падет и жребий твой —
И в вечное, в ладье, помчится заточенье...

Филимонов.

НЕВИННОСТЬ

В толпе красавиц здешних
Есть краше всех одна:
Как май, мила она
И роз свежее вешних.
Любовь ее зовет
Своей меньшой сестрою
И нежною рукою
Нередко подает
Сама цветы из саду
Ей в праздник для наряду;
Она среди полей
С ней часто рядом ходит
И на берег приводит,
Где катится ручей;
Там, стоя над водою
С подругой молодою,
Она поверх зыбей
Ей кажет в полдень ясный
Портрет ее прекрасный,
Но все невнятны ей
Желанья, и уроки,
И ласки, и упреки
Задумчивой любви.
Она не знает скуки,
Ни пламени в крови,
Ни тайной сердца муки.
Идет ли вдоль лугов,
Где взор нетерпеливый,

С тоскою молчаливой
Знакомых пастухов,
Иль звук их нежных слов
Ее сопровождает:
Она не понимает
Их ласковых речей
И быстро исчезает,
Как серна, из очей.

Плетнев.

ОДЕССА

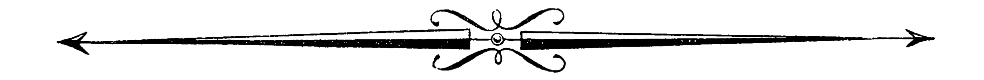
В стране, прославленной молвою бранных дней,
Где долго небеса — отрада для очей,
Где тополы шумят, синеют грозны воды —
Сын хлада изумлен сиянием природы.
Под легкой сению вечерних облаков,
Здесь упоительно дыхание садов.
Здесь ночи теплые, луной и негой полны,
На злачные брега, на сребряные волны
Сзывают юношей веселые рои. . .
И с пеной по морю расходятся ладьи.
Здесь тихой осени надежда и услада —
Холмы увенчаны кистями винограда.
И девы, томные наперсницы забав,
Потупя быстрый взор иль очи приподняв,
Равно прекрасные, сгорают наслажденьем
И душу странника томят недоуменьем.

Туманский.

СОБАКА И ПЕРЕПЕЛ

За перепелом пес вдоль нивы крался летом;
Но перепел не слеп: он с места вмиг спорхнул
И песню с высоты в насмешку затянул:
«Изменник! Ты берешь ползком, а я полетом».

* * *



РАФАЭЛЕВА МАДОННА

(Из письма о Дрезденской галерее)

Я смотрел на нее несколько раз, но видел ее только однажды так, как мне было надобно. В первое мое посещение я даже не захотел подойти к ней: я увидел ее издали, увидел, что пред нею торчала какая-то фигурка с пудреною головою, что эта проклятая фигурка еще держала в своей дерзкой руке кисть и беспощадно ругалась над великою душою Рафаэля, которая вся в этом чудесном творении. В другой раз испугал меня сам директор галереи (который за червонец показывает путешественникам картины и к которому я не рассудил прибегнуть): он стоял перед нею с своими слушателями и, как попугай, болтал вытверженный наизусть вздор; наконец, однажды только было я расположился дать волю глазам и душе, подошла ко мне одна моя знакомка и принялась мне нашептывать на ухо, что она перед Мадонною видела Наполеона и что ее дочери похожи на Рафаэлевых ангелов. Я решился прийти в галерею как можно ранее, чтобы предупредить всех посетителей. Это удалось. Я сел на софу против картины и просидел целый час, смотря на нее. Надобно признаться, что здесь поступают с нею так же непочтительно, как и со всеми другими картинами. Во-первых, она, не знаю для какой готтентотской причины, уменьшена: верхняя часть полотна, на котором она написана, и с нею верхняя часть занавеса, изображенного на картине, загнуты назад (это сказывала мне Me. Humbolt), следовательно, и пропорция и самое действие целого теперь уничтожены и не отвечают намерению живописца; второе, она вся в пятнах, не

вычищена, худо поставлена, так что сначала можешь подумать, что копии, с нее сделанные, чистые и блестящие, лучше самого оригинала; наконец (что не менее досадно), она, так сказать, теряется между другими картинами, которые, окружая ее, развлекают внимание: например, рядом с нею стоит портрет сатирического поэта Аретина, Тицианов, прекрасный, — но какое соседство для Мадонны! И такова сила той души, которая дышит и вечно будет дышать в этом божественном создании, что всё окружающее пропадает как скоро посмотришь на нее со вниманием. Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не знал, что на нем будет: вдохновение не приходило; однажды он заснул с мыслию о Мадонне, и верно какой-нибудь ангел разбудил его — он вскочил! *Она здесь!* закричав, он указал на полотно и начертил первый рисунок. И в самом деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-то неестественное происходит (особливо если смотришь так, что ни рамы, ни других картин не видишь), и это не обман воображения: оно не обольщено здесь ни живостию красок, ни блеском наружным! Здесь душа живописца без всяких хитростей искусства, но с удивительною простотою и легкостию передала холстине то чудо, которое во внутренности ее совершилось. Я описываю ее вам как совершенно для вас не известную; вы не имеете об ней никакого понятия, видевши ее только в списках или в Миллеровом эстампе; не видав оригинала, я хотел купить себе в Дрездене этот эстамп, но, увидев, не захотел и посмотреть на него: он, можно сказать, оскорбляет святыню воспоминания. Час, который провел я перед этою Мадонною, принадлежит к счастливым часам жизни, если счастием должно почитать наслаждение самим собою. Я был один, вокруг меня было всё тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространялась; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. *Гений чистой красоты* был с нею:

Он лишь в чистые мгновенья
Бытия слетает к нам

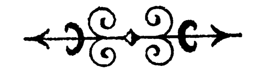
И приносит откровенья,
Благодатные сердцам:
Чтоб о небе сердце знало
В темной области земной,
Лучшей жизни покрывало
Приподъемлет он порой;
А когда нас покидает
В дар любви, у нас в виду
В нашем небе зажигает
Он прощальную звезду.

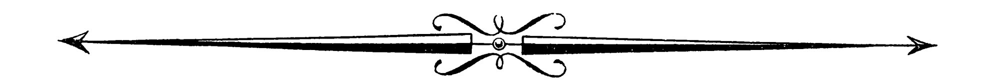
Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное; перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и всё стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, всё необъятно, всё не ограничено! И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздернулся и тайна неба открылась глазам человека. Всё происходит на небе; оно кажется пустым и как будто туманным, но это не пустота и не туман, а какой-то тихий, неестественный свет, полный ангелами, которых присутствие более чувствуешь, нежели замечаешь: можно сказать, что всё, и самый воздух обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной мимоидущей девы. И Рафаэль прекрасно подписал свое имя на картине: внизу ее, с границы земли, один из двух ангелов устремил задумчивые глаза в высоту; важная, глубокая мысль царствует на младенческом лице: не таков ли был должен быть сам Рафаэль в то время, когда он думал о своей Мадонне: будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной! И как мало средств нужно было для живописца, чтобы произвести нечто такое, чего нельзя истощить мыслию! Он писал не для глаз, все обнимающих во мгновение и на мгновение, но для души, которая чем более ищет, тем более находит. В богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения, но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается; на лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения *понятного*, имеющего *определенное имя*, но в нем находишь в каком-то таинственном соединении всё: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мир-

ное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной; в глазах ее нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного, а для нее уже нет случая — всё совершилось!), но в них есть какая-то глубокая чудесная темнота, в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное; она не поддерживает младенца, но руки ее смиренно и свободно служат ему престолом: и в самом деле, эта богоматерь есть не иное что, как одушевленный престол божий, чувствующий величие сидящего. И он, как царь земли и неба, сидит на этом престоле; и в его глазах есть тот же никуда не устремленный взор, но эти глаза блистают, как молнии, блистают тем вечным блеском, которого ничто ни произвести, ни изменить не может! Одна рука младенца с могуществом вседержителя оперлась на колено, другая как будто готова подняться и простереться над небом и землею. Те, перед которыми совершается это видение, св. Сикст и мученица Варвара, стоят так же на небесах: на земле этого не увидишь. Старик не в восторге: он полон обожания мирного и счастливого, как святость; святая Варвара очаровательна своею красотою: великость того явления, которого она свидетель, дала и ее стану какое-то разительное величие, но красота лица ее человеческая, именно потому, что на нем уже есть выражение *понятное:* она в глубоком *размышлении,* она глядит на одного из ангелов, с которым как будто делится таинством мысли. И в этом нахожу я главную красоту Рафаэля картины (если слово *картина* здесь у места). Когда бы живописец представил обыкновенного человека зрителем того, что на картине его видят одни ангелы и святые, он или дал бы лицу его выражение изумленного восторга (ибо восторг есть чувство здешнее: он на минуту, быстро и неожиданно отрывает нас от земного), или представил бы его падшего на землю с признанием своего бессилия и ничтожества. Но состояние души, уже покинувшей землю и достойной неба, есть глубокое постоянное чувство, возвышенное и просвещенное, постигнувшее мыслию безмолвное, неизменяемое счастие, которое всё заключается в двух словах: *чувствую и знаю!* И эта-то блаженствующая мысль царствует на всех лицах Рафаэлевой картины (кроме, разумеется, лица спасителева и Мадонны), все в размышле-

нии, и святые, и ангелы. Рафаэль как будто хотел изобразить для глаз верховное назначение души человеческой. Один только предмет напоминает в картине его о земле: это Сикстова тиара, покинутая на границе здешнего света. — Вот то, что я думал в те счастливые минуты, которые провел перед Мадонною Рафаэля; какую душу надлежало иметь, чтобы произвести подобное! Бедный Миллер! Он умер в доме сумасшедших! Удивительно ли? Он сравнил свое подражание с оригиналом, и мысль, что он не понял великого, что он его обезобразил, что оно для него недостижимо — убила его. И в самом деле надобно быть или безрассудным, или просто механическим маляром без души, чтобы осмелиться списывать эту Мадонну: один раз душе человеческой было подобное откровение: дважды случиться оно не может.

Жуковский.





ДВЕ АЛЛЕГОРИИ

I

ПРОХОЖИЙ

Отец престарелый завел мимоходом сына-юношу на большой дороге в гостиницу. «Потерпи здесь, — сказал он сыну, — веди себя порядочно, а я, погодя, зайду за тобою; если ты не сделаешь *худого*, мы придем *в хорошее* место».

При том отец вверил сыну кроткую *горлицу* и белого воска *свечу* с фонарем надежным. И был такой завет от отца: «береги, дитя, эту горлицу, как зеницу своего ока, и не давай никому гасить свечи, от меня зажженной...»

Ушел отец, остался сын. И стали находить люди, все незнакомые. Столпилось много народу и много *страстей* и *пороков*... и видит юноша великую неправду, и презорство, и мстительность, и видит зависть, и злость, и гнусную ябеду с клеветой и коварствами... Видит — но в утешение себе говорит: «что мне до них — я ведь *прохожий!* Здесь худо, но придет отец и проводит меня *туда*, где хорошо! *Он* сказал: я верю!» И вот он ждет, и кому может помочь помогает, и кого может спасти — он спасает, а не может спасти — сожалеет!.. Вот люди пьют и едят, и друг друга обдаривают, а *прохожего* всё мимо, и *других*, кого могут, обносят... И у тех, *других*, кого миновали, кипит в душе черная досада, и сохнут, желтеют они... а *прохожий* спокоен!

«Что мне в их дарах и наградах, — говорит он, — они так нечисты, так грубы! .. Отец, конечно, даст мне *лучшее!*» Но люди, завиствуя, не оставили в покое прохожего... Обуяв от пьянства, они напускали ястребов и коршунов, чтобы сгубить его невинную *горлицу*, и с громким хохотом махали нечистыми одеждами, чтобы загасить его *заветную свечу*... Бедный, едва мог уберечь свое сокровище! .. Но сон одолел упоенных, а между тем подошло к окнам прекрасное свежее утро и вместе с солнцем явился отец! Он верен в слове своем. И похвалил он терпение сына, и повел его *в лучшее место*.

«Отец! — говорил дорогою сын, — ты долго оставлял меня с худыми; ох, грустно и душно мне было: там пахнет пороком и смертию! ..» — «Зато, когда умел ты быть хорошим с худыми, теперь будешь ты между лучшими лучший». Так отвечал с улыбкою отец, — и они пришли в веселое место.

После старцы, передавая внукам сие предание, толковали так: что невинная горлица — есть наша *чистая совесть*, а свеча в фонаре — наш *здравый рассудок*.

2

СТРАШНАЯ ГОСТЬЯ

Дедушка! Отчего бываешь ты часто так задумчив и так печален, так уныл? ..

Дед

Ах, дитя! Скоро придет ко мне *страшная гостья* и уведет меня далеко отсюда...

Внук

А какова она, дедушка, собою? ..

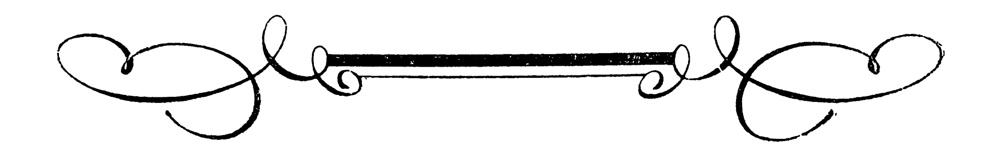
Дед

Ах! Страшная, страшная! Голый костяной остов: на ней нет ни одежды, ни кожи; на плечах только череп безвласый, и зубы... она ходит всегда с ужасною острою косою... ах, дитя! От ее холодной улыбки замирает сердце; в ее тесных объятиях вся кровь застывает.

Внук, доброе дитя, всякий день смотрел и прислушивал, не придет ли *страшная*... но прошла туманная осень; леса и дубравы с унылым воем пороняли свои желтые листья; луга завяли; земля намокла и застыла, а страшная гостья не являлась. — Пришла зима и застлала долины мягкими снегами: она убирала леса и кустарники в хрустальные зеркаловидные привески; часто на рассвете морозного утра посыпала поля алмазными искрами и как будто хитрою кистию рисовала на стеклах узоры кудрявые... а *страшная* всё не приходила. Снежные бугры, подтаяв снизу, вдруг обрушились и полились разновидными ручьями, которые шептали днем и громким говором в безмолвии яснолунной ночи извещали природу о близкой весне и свободе. — Наконец, бог знает откуда, слетела ласковая весна: зазеленели местами долины; показались *подснежники;* первые пчелы, еще полусонные, полетели на ароматный запах млечновидной черемухи; взвились жаворонки, роняя с высоты рассыпистые звуки умильной песни своей; засвистали малиновки, и громкий соловей утешал природу, как влюбленный *жених* свою прекрасную невесту.

В один роскошный весенний вечер вместе с лучами зари и с благовонным дыханием лугового ветерка вдруг вошла в хижину величавая гостья, как тихое сновидение... на ней было платье белое и тонкое, как утренний туман, стройный стан опоясан златым поясом, русые волосы, струясь, мешались с легким зеленым покрывалом, и на голове сиял чистый золотой венец с свежими незабудками; на ладони правой руки несла она бабочку, которая только что выпорхнула из мертвой оболочки своей к новой жизни, к новому неизвестному ей бытию. *Незнакомая* вошла неожиданно. Не слыхать было походки ее — и двери сами собою перед нею растворились. Она вошла, и заперлася дверь без скрыпу, и послышался ласковый голос. — Долго разговаривала она со старцем *языком неведомым*... наконец тихий шепот замолк, и гостьи не стало. — Внук созвал соседей, и увидели, что дед опочил сном беспробудным... «А где же *страшная?*» — спрашивал внук с любопытством у всякого... «Для *добрых*, — отвечал ему сельский священник, — не бывает *она* никогда страшною...»

Федор Глинка.



ПЕТЕРБУРГ

(Отрывок)

1818 года

Я вижу град Петров чудесный, величавый,
По манию Петра воздвигшийся из блат,
Наследный памятник его могущей славы
Потомками его украшенный стократ!
Повсюду зрю следы великия державы,
И русской славою след каждый озарен.
Се Петр, еще живый в меди красноречивой!
Под ним полтавский конь, предтеча горделивый
Штыков сверкающих и веющих знамен.
Он царствует еще над созданным им градом,
Приосеня его державною рукой,
Народной чести страх и злобе страх немой.
Пускай враги дерзнут, вооружаясь адом,
Нести к твоим брегам кровавый меч войны,
Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом,
Готовый пасть на них с отважной крутизны.
Бегут — и где они? — снежные сугробы
В пустынях занесли следы безумной злобы.
Так, Петр! Ты завещал свой дух сынам побед,
И устрашенный враг зрел многие Полтавы.
Питомец твой, громов метатель двоеглавый,
На поприще твоем расширил свой полет.

Рымникский пламенный и Задунайский твердый!
Вас здесь согражданин почтит улыбкой гордой.

Но жатвою ль одной меча страна богата?
Одних ли громких битв здесь след запечатлен?
Иные подвиги, к иным победам ревность
Поведает нам глас красноречивых стен:
Их юная краса затмить успела древность.
Искусство здесь везде вело с природой брань
И торжество свое везде знаменовало;
Могущество ума — мятеж стихий смиряло,
И мысль, другой Алкид, с трудов взыскала дань.
Ко славе из пелен Россия возмужала,
И из безвестной тьмы к владычеству прешла.
Так ты, о дщерь ее, как манием жезла,
Честь первенства, родясь в столицах, восприяла.
Искусства Греции и Рима чудеса —
Зрят с дивом над собой полночны небеса.
Чертоги кесарей, сады Семирамиды,
Волшебны острова Делоса и Киприды!
Чья смелая рука совокупила вас?
Чей повелительный, назло природе, глас
Содвинул и повлек из дикия пустыни
Громады вечных скал, чтоб разослать твердыни
По берегам твоим рек северных глава,
Великолепная и светлая Нева?
Кто к сим брегам склонил торговли алчной крылья
И стаи кораблей с дарами изобилья,
От Утра, Вечера и Полдня к нам пригнал?
Кто с древним Каспием Бельт юный сочетал?
Державный дух Петра и ум Екатерины
Труд медленных веков свершили в век единый.
На Юге меркнул день — у нас он рассветал.
Там предрассудков меч и светоч возмущенья

Грозились ринуть в прах святыню просвещенья.
Убежищем ему был Север, и когда
В Европе зарево крамол зажгла вражда
И древний мир вспылал, склонясь печальной выей, —
Дух творческий парил над юною Россией
И мощно влек ее на подвиг бытия.
Художеств и наук блестящая семья
Отечеством другим признала нашу землю.
Восторгом смелый путь успехов их объемлю
И на рассвете зрю лучи златого дня.
Железо, покорясь влиянию огня,
Здесь легкостью дивит в прозрачности ограды,
За коей прячется и смотрит сад прохлады.
Полтавская рука сей разводила сад!
Но что в тени его мой привлекает взгляд?
Вот скромный дом, ковчег воспоминаний славных!
Свидетель он надежд и замыслов державных!
Здесь мыслил Петр об нас: Россия! Здесь твой храм!
О! Если жизнь придать бесчувственным стенам
И тайны царских дум извлечь из хладных сводов,
Какой бы мудрости тот глас отзывом был,
Каких бы истин гром незапно поразил
Благоговейный слух властителей народов!
Там зодчий, силясь путь бессмертию простерть,
Возносит дерзостно красивые громады.
Полночный Апеллес, обманывая взгляды,
Дарует кистью жизнь, обезоружив смерть.
Ваятели, презрев небес ревнивых мщенье,
Вдыхают в вещество мысль, чувство и движенье.
Природу испытав, Невтонов ученик
Таинственных чудес разоблачает лик,
Иль с небом пламенным в борьбе отъемлет смелый
Из гневных рук богов молниеносны стрелы!
Мать песней, смелая царица звучных дум,
Смягчает дикий нрав и возвышает ум.

Здесь друг Шувалова воспел Елисавету,
И юных русских муз блистательный рассвет,
Его счастливее, как русский и поэт,
Екатеринин век Державин предал свету.
Минервы нашей ум Европу изумлял:
С успехом равным он по свету рассылал
Приветствие в Ферней, уставы самоедам,
Иль на пути в Стамбул открытый лист победам,
Полсветом правила она с брегов Невы
И утомляла глас стоустыя молвы.
Блестящий век! И ты познал закат условный!
И твоего певца уста уже безмолвны?

Кн. Вяземский.

К**

Влюбился я, полковник мой,
В твои военные рассказы!
Проказы жизни боевой
Никак веселые проказы!
Не презрю я в душе моей
Судьбою мирного лентяя;
Но мне война еще милей;
И я люблю, тебе внимая,
Жужжанье пуль и звук мечей.
Как сердце жаждет бранной славы,
Как дух кипит, когда порой
Мне хвалит ратные забавы
Мой беззаботливый герой!
Прекрасный вид! — В веселье диком
Вы мчитесь грозно — дым столбом!
Оружий блеск! Оружий гром!

Разбитый враг покрыт стыдом,
И страшный бой с победным кликом
Вы запиваете вином.
А Елендорфские трофеи?
Проказник, счастливый вполне,
С веселым сыном Цитереи
Ты дружно жил и на войне.
Стоят враги толпою жадной
Кругом окопов городских;
Счастливец! Ты защитник их;
С тобой семьею безотрадной
Толпа красавиц молодых.
Враги повсюду, милый воин,
Они доверены судьбе,
Благому небу и тебе;
Но ты ль их веры недостоин!
Ты сна не знаешь — сквозь туман
Неверный день едва проглянул,
Уж витязь мой на вражий стан
С дружиной быстрою нагрянул.
Врагам иль смерть, иль строгий плен!
Меж тем красавицы младые
Пришли толпой с высоких стен
Глядеть на игры боевые.
Сраженья вид ужасен им;
Дивятся подвигам твоим,
Шлют к небу теплые молитвы:
Да возвратится невредим
Любезный воин с лютой битвы!
О, кто бы жадно не купил
Молитвы сей покоем, кровью!
Но ты не раз увенчан был
И бранной славой, и любовью.
А я, любезный командир,
Молвой забытый, о досада!

Ношу свой унтерский мундир
Для щегольства и для парада!
Когда ж певцу дозволит рок
Узнать, как ты, веселья боя
И заслужить хотя листок
Из лавров милого героя?

Б.

СИРОТА

Еще в долине тьма ночная;
Едва за дальнюю горой
Заря мерцает молодая;
Повсюду царствует покой:
Одна я рано убегаю
Его томительных оков;
И в ночь душой не отдыхаю,
Не ведая веселых снов.

*

В кустах зефиры пробужденны,
Колебля гибкую синель,
Птенцов, еще неоперенных,
Качают легку колыбель!
Я видела, как их крылами
Объемлет ласковая мать,—
И взор мой залился слезами...
Мне век любви такой не знать!

*

Часовни сельской у порога
Оставленная сирота,

Я состраданьем, ради бога,
В семью чужую принята;
Колен отца не обнимала,
Лаская детскою рукой,
И головы не преклоняла
На лоне матери родной.

*

Как дочь отверженна природы,
Никем сестрой не названа,
Я не вступаю в хороводы,
Когда сзывает их весна;
Дарами осени богатой,
В объятьях веселясь детей,
На праздник не зовет оратай
Забытую от всех людей.

*

Ничьих забав не разделяя,
Бегу от них в глухую даль,
Туда, где средь могил святая,
Мне милая, живет печаль:
Ищу хоть праха там родного
Под кровом смертной тишины,
Но чуждой для всего земного,
Увы! И гробы все равны...

*

Один приют не затворенный
Бездомным в мире сиротам
Под сению твоей священной,
Уединенный божий храм;
Стихает ропот отчужденья
В гостеприимных сих стенах:
Отец незримый утешенье
Здесь изливает мне в слезах.

*

Где ж ты, злосчастие которой
Лишило матери меня?
Я с ранней жду тебя Авророй,
Я жду тебя с закатом дня:
Завесой тайны не скрывайся,
Склонись на жалобный мой глас,
И ласки детской не чуждайся:
Дай мне обнять тебя хоть раз! ..

*

Но тщетно скорбная взывала:
Не приходил желанный друг...
Весна ее не отцветала, —
А слезный взор навек потух!
На той обрушенной ступени,
Где прежде брошена была,
Склонясь пред храмом на колени,
Она от мира отошла.

*

Носился после слух в долине,
Что незнакомка — на челе
С покровом черным — по пустыне,
Где предан сирый прах земле,
Блуждала в горести глубокой;
Над ним хотела возрыдать,
Но не могла в траве высокой
Следов могилы отыскать.

Нечаев.

АВТОР И МЫШИ

У автора в шкафу труды его бесщадно
Так грызли мыши день и ночь,
Что стало автору досадно.
Чего не делал он, чтоб отогнать их прочь...
Пускал и кошек в шкаф, и ставил мышеловки,
Переменял и кабинет,
А нет.
Всё то ж, да то ж: назло проклятые воровки
Подкрадутся, и всё теребят и вертят
Что на зуб попадет, и в злости не щадят
Ни прозы, ни стихов. Рассказ ли об герое
Покрытом блеском славных дел?
Любовью ль песенка, внушенная в честь Хлои?
Всё гложут. Автор наш от сердца закипел!
(А сердцу гневному писатели не рады
И сами, верьте мне, я опыт в том имел).
И что ж? Он с горя и досады
На дно чернильницы, стоящей на бюро
Горсть бросил мышьяку; потом, схватив перо,
Присел к трудам. Чрез две, иль много три недели,
Все мыши до одной в шкафу переколели!
И дельно, скажете, их автор отравил!
Нет, я, я не такого мненья.
Чьего, скажите мне, не грызли сочиненья?
Кого из авторов зуб критики щадил,
Какую б ни имел он славу?
Но кто вливал в перо отраву,
Тот сам его пятном бесславия покрыл.

В. Измайлов.

СВЯТОПОЛК

1

Три утра день, тяжелой мглой объятый,
Багровил небеса;
За мрачным днем скрывала ночь трикраты
Холмы, поля, леса.

* *
*

Блеснет звезда, — и воют трубы брани;
Закатится звезда, —
Враги меча не выбросят из длани,
Не сбросят с плеч щита.

* *
*

От ног их прах до дальних туч поднялся;
Стон воздух колебал;
От трупов Днепр кипел и колыхался,
Чернел от крови вал.

* *
*

Воздвиглись чада древнего Славена;
Восстал на брата брат,
Сошлись — не скоро свьются их знамена:
Их голоден булат!

* *
*

Родимый брег утесистый и хладный
Оставя за собой,

Плывет варяг, богатства, чести жадный:
    Он хищник и герой!

* *
*

Для битвы днесь любовник смелый славы
    От кораблей притек;
И прискакал на пир славян кровавый
    Злодей их, печенег.

* *
*

За Доном кочевал в лугах роскошных
    Свободный сын степей;
Но он забыл неистовых и мочных
    Бесчисленных коней.

* *
*

Без пастыря в равнинах необъятных
    Их бродят табуны;
Он на одном колчаном стрел булатных
    Гремит в полях войны.

* *
*

Ярится бой над грозною могилой:
    Уж бьются на телах!
Но вдруг рванул, погнал чудесной силой
    Бесстрашных быстрый страх!

* *
*

Тогда орел над Ярославом взвился:
Содрогся печенег,
Железный рус в ряды его врубился
И обратил их в бег!

* *
*

Не вепрь, копьем на вылет пораженный,
В заглохший кроясь бор,
Грозит клыком и мещет раскаленный
На стаю гончих взор.

* *
*

Под градом стрел в уход от них стремится
Ужасный Святополк:
Так в облаках зловещий вран кружится,
В пустыне рыщет волк!

* *
*

Бежит тиран, муж крови, раб боязни,
Являет тыл врагам:
С ним на коне несется ангел казни;
Смерть мчится по пятам.

* *
*

Его душа добыча всех мучений;
В свирепом сердце ад;
Дрожит, как лист, своей трепещет тени.
Не взглянет он назад!

* *
*

И вот уже замолкнул гул сраженья;
Бегущих принял лес.
Уже злодей в туманах отдаленья
Из глаз моих исчез!

2

Но где, на ком мне кажет туск доспехов
Вечернюю зарю?
Отчизна гор, страна отважных чехов,
Я над тобой парю!

* *
*

Здесь между скал, среди дубрав дремучих
Ждет путника разбой;
Здесь удальцов бездомных и могучих
Витает дерзкий рой!

* *
*

Глухая ночь во глубине пещерной
Объемлет их стада; *
Над тучами возводят свод безмерный
Огромные врата.

* *
*

Здесь две горы: их темя оснежает
Несменная зима,

---

* 1) Пещера в Богемии, Ruhstall; 2) тут же два сросшихся утеса: Prebischthor; 3) две зимние горы (der grosse und kleine Winterberg).

И по себе им имя нарекает:
    Я зрю — их кроет тьма.

* *
*

Увы! Здесь сын злосчастной Гориславы
    Блуждает меж стремнин,
Живой сосуд убийственной отравы,
    Дик, проклят и один!

* *
*

На камень сел, но мутен взор безумный;
    Он сорвал свой шелом;
Чугун стучит, рокочет отзыв шумный,
    Гулит в долинах гром:

* *
*

«Сей череп вы примите, духи ада,
    Услышьте, вас зову!..
Мне казнь — огонь его немого взгляда!
    О, прочь сию главу!

* *
*

Так это ты, Борис неумолимый,
    Ты, мученик младой!
Или ты встал из гроба невредимый
    И не зарезан мной?

* *
*

Но там и ты в парах седого неба
Несешься, Святослав! —
О горе мне! — Се мертвый образ Глеба,
С чела до ног кровав!

* *
*

Жестокий сонм, призраки, духи ада,
Я слышу, слышу вас! —
Ваш жадный вопль одна моя отрада;
Меня зовет ваш глас!»

* *
*

Он встал, власы воздвиглися горою,
Он бел, как саван, был:
Вдруг обуян губительной мечтою
Он в бездну соскочил!

* *
*

В ту бездну, всю окрестность оглашая
С раската на раскат,
Гора пучин огромная, седая —
Валится водопад.

* *
*

И, сбросив труп, волнами сокрушенный,
Он ощущает гнев,
Он весь кипит испуган, раздраженный,
И утрояет рев.

В. Кюхельбекер.

ЗАМЕРЗШИЙ ВИНОГРАД

Что сохнешь ты и листья опустил,
Мой виноград, унизанный кистями?
Знать и тебя на гибель застудил
Холодный ветр, промчавшийся полями.

*

Друзья твои глядят с немой тоской
На твой приют: уж стены запустели,
Где ты вился зеленою лозой,
Где в пурпуре твои плоды созрели.

*

Жизнь пылкая угаснула в стеблях,
Свернулся лист, безвременно иссохший:
Взойдет заря — и пропадет твой прах,
Как след людской среди пустынь заглохших.

*

Ах, как и ты, умрет младой певец!
В цепях тоски его душа хладеет,
И не далек безрадостный конец:
Как в зной роса, в нем жизнь уже скудеет.

В. Григорьев.

ВОСПОМИНАНИЕ

Меня парнасский бог в чужбине навещал,
Когда, не ведая притворства,
Я речи милых уст с любовью подчинял
Законам стройным стихотворства.

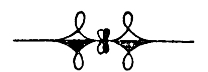
Блаженством юности, надеждой лучших дней
Они мой слух обворожали,
И, обновленные гармонией моей,
Как прежде, душу потрясали...

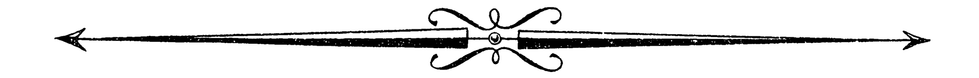
Туманский.

ЭПИГРАММА

В досаде на забвенье света
Клеон, забравшись в уголок,
Оставил барабан поэта
За грязный критика свисток.
И вот как мыслит наш политик:
«Ну, право, малый я с умом;
Теперь поспорят хоть о том,
Что хуже я: поэт иль критик».

Туманский.





РОМАН В СЕМИ ПИСЬМАХ

I had a dream that was not all a dream

Byron.

Письмо первое

Ах, как она мила, Жорж, как она мила! Я уверен, что если б ты увидел очаровательницу Адель в ее кабинете, где и зимой раскинулись цветники, где всякая безделка льстит глазу и заговаривает воображению; когда б ты взглянул на нее, одетую в легкое платье, окруженную благовонною, розовою атмосферой, веющей с кассолета: ты бы назвал ее воздушною полубогинею пери, порхающею в испарении цветов; и каждое ее слово — поэзия, каждый взор облечен в мысль. Не шутя, любезный друг, я боюсь, чтобы твое предсказание не сбылось, то есть чтобы мне не влюбиться в самом деле. Я впервые теперь начинаю чувствовать, что мундир мне узок в груди — а эта плохая примета для сердечного здоровья. Впрочем, я хоть и нередко вижу ее во сне, но сплю так спокойно, что еще сего дня опоздал на проездку. А на прошедшем бале, когда мне случилось сидеть против Адели за ужином, мой аппетит был в разительной противуположности со влюбленными моими взорами; и я не раз прятался за вазы с цветами, чтобы под приютною их тенью скрыть обломки пастета или остов рябчика. Я вижу, что ты, улыбаясь, произносишь уже свой приговор, будто эта склонность принадлежит к числу еженедельных офицерских страстей, которые загораются от шарканья во француз-

ском кадриле и тухнут в вихре двух или трех котильонов. Признаться, и от одного зевательного случалось мне не однажды разлюблять некоторых красавиц, на взгляд милых, как радость: не удержите иную — и, кажется, она улетит; взглянет — вы таете, отворит ли прелестный ротик свой — зажмите уши... но такой пример нейдет к Адели, — с нею, не скучая, можно провертеться около земного шара, так она умна и любезна. «Все это занимательно и прелестно, — скажешь ты, — но разве эта девица особенно благосклонна к тебе, что ты посвятился в ее рыцари? Разве?..» Сделай милость, не докучай такими вопросами; я и сам не знаю, как это сделалось, и никак не уверен в ее взаимности. Ты знаешь, до какой умертвительной холодности дошло здесь обращение, до какого утомительного единообразия доведен разговор; притом везде тысячи глаз, которые не близоруки только для критики, и столько же ушей, чтобы на полете ловить полуслова и составлять из них целые басни, а потому, подобно всем влюбленным, скажу: *мне кажется... я надеюсь* и только. Без сомнения, самолюбие обманывает нас часто и горько; толкует в свою пользу каждое словцо и нередко записывает на свой счет взгляды, к другому посланные; но... но или она слишком ко всем чувствительна, или я настоящий глупец, если ошибся.

S.

Письмо второе

(Месяц спустя)

Адель любит меня! Когда б ты, Жорж, был здесь, я бы выкупал тебя в шампанском на такой радости! Вообрази, она носит мой любимый цвет, поручила мне выбор романов для чтения и учит наизусть отмеченные мною места, и, словом, множество безделиц, видных и важных только влюбленным, изменяют ее тайне, льстя моему самолюбию. Конечно, ты можешь сказать: «Она носит твой цвет — это значит, что она любит его, а не тебя; она полагается на твой выбор в словесности, из этого я вижу, что ваши вкусы сходны; но из чего же следует, что взаимны ваши склонности?» Пусть это

так, друг мой, но если б ты видел ее радость при нечаянном возврате моем из курьерской поездки, — ее румянец, изменивший внутреннему волнению, если б чувствовал прерывающееся ее дыхание — ты бы сознался, что до такой степени не достигает никакое притворство. А я примолвлю, что с той минуты она мне стала милее всех и всего дороже, и ни одна женщина, кроме ее, не будет любима мною, доколе бьется в моей груди маятник жизни. О, как часто летаю я ныне, танцуя с нею, от бального паркета за седьмое хрустальное небо. Всё, кроме ее, исчезает для меня, все мелькают перед глазами, будто китайские тени, и я в каком-то сладостном восторге дышу упоительною атмосферою. Можешь догадаться, что я не пропускаю ни одного случая танцевать с нею, — и я счастлив. Ты напрасно не любишь балов: без этой благодетельной выдумки наши девушки умерли бы от скуки, посреди праздников и увеселений своих, потому что в театре у нас едва кланяются знакомым, а на вечерах прекрасный и непрекрасный пол зевают особенно. Мудрено ли же после этого, что девушки страстно любят балы и танцы как средства избавиться от скучного надзора и вечного молчания. Там, одна желает блеснуть бирюзами, другая бирюзовыми глазками, третья показать прекрасную ножку, иная ловкость в новом парижском *па*, а все увидеть и дружески позлословить друг друга. Все довольны, любопытство удовлетворено, тщеславие находит пищу, сердце бьется сильнее, и под шумок котильона (танца, которого изобретение я ставлю наравне с паровою машиною, компасом и летанием по воздуху) речи льются, улыбки расцветают — и вот красавице снятся эполеты суженого, — а там и кольца, как в руку сон. — Завтра же, не далее как завтра, буду я танцевать котильон с нею, и прости мне мое ребячество... мне уж воображается, будто я собираюсь на бал, верчусь перед зеркалом, рву с нетерпенья перчатки... минуты длятся, часы стоят — кажется век не придет пора! Но вот бьет десять — я кричу: пошел к князю Г., и в карете качусь, выдумывая фразы, которых не удастся высказать. Но вот приехали... подножка падает — и я прыгаю на лестницу, унизанную дремлющими лакеями, два шага — и я в передней зале, оправляю волосы, осматриваю пуговки и крючки, и с трепещущим сердцем, но спокойным лицом вхожу в танцевальную

залу, где музыка гремит, и всё горит, всё блещет. Кланяюсь хозяйке, прошу кого-нибудь, чтобы мне указали хозяина, — и, наконец, даю волю глазам искать ту, которая одушевляет для меня бал и единственно для кого я ринулся в вихрь света. Взор мой перепрыгивает через перья и цветы — скользит мимо шалей и блонд, блуждает, можно сказать, в цветнике красот — и нет ее! .. Вот кажется ее стан, ее походка... — но сердце безмолвно, это не она... но там далее... о, я ее увижу, я ее увижу.

S.

Письмо третье

(Чрез две недели)

Что я напишу ей в альбом? Что я могу ей написать? Видно, неприязненный дух нашептал Адели это желание. Когда я спросил ее: на каком языке должно написать? «На языке истины», — отвечала она. На языке истины! Как легко это сказать, как легко можно бы и выполнить, но терпят ли в свете правду, и осмелюсь ли сказать: *Адель, я люблю вас?* Но я не люблю павлиниться чужими чувствами, я ненавижу все бездушные комплименты, на розовом масле замешанные, все эти мгновенные следы людского ничтожества. Притом по-русски писать красно меня не учили, а я слишком горд, чтобы изъясняться на языке чуждом, и Адель так любит родину, что ей это не может понравиться. Научи, Жорж, что делать? Ты исписался и печатался, твои стихи горели и на папильотках красавицы и над трубкою гусара. Но для меня тесен, холоден наш язык, когда нужно выразить кипящие страсти и радужные их изменения. О, для чего не могу я создать огненного наречия для своей пламенной любви, или зачем не могу я любить *обыкновенно*, как другие! Зачем кровь, а не молоко течет по моим жилам! Зачем, например, не похож я на этих молодчиков, которых везде видят и никто не помнит, которые всем заняты и собой предовольны; или на товарища моего Форста, который набожно вдыхает в себя флегму предков из наследственной трубки и, чтобы влюбиться классически, ждет ротмистрского чина?

С таким расположением духа я бы написал или списал в альбом Адели какую-нибудь глупость и заснул бы после этого с самодовольными мечтами. — Но теперь совсем иное: все мои мысли растопились в чувства, все чувства слились в одну страсть... я теперь весь — сердце. Будь моей головою, Жорж, разбуди во мне хоть одну искру ума. Написать ново — не умею, пустяков марать не хочу, а правду высказать — нельзя!

S.

Письмо четвертое

(Полтора месяца спустя)

Друг! Я получил письмо твое, я приложил к сердцу твои советы; они очень справедливы, но до того холодны, что от них можно простудиться. Ты рассматриваешь любовь сквозь микроскоп философии, как насекомое; между тем как ты бы должен был оторвать ее от моего сердца, как змею; ты хочешь набросить на нее покров смешного, когда она стала уже гибельна для друга твоего. Ах! Все сильнейшие средства, все чувствительнейшие укоры не помогли мне вырвать из души своей впившуюся в нее страсть!

Ты знаешь, Жорж, уступал ли я враждующей судьбе? Как же теперь подумать мог, будто я без борьбы отдался в плен любви? Нет, конечно, нет. Я строг к своим слабостям, я судил и удерживал себя, — но мой черед пришел — я падаю пред сокрушительною прелестью скудельного творения. О, как горько идти мне по широкому выгону воздыхателей, над которыми я всегда насмехался и которых названия страшился наравне с именем труса. Как стыдил я самого себя, что мужчина, солдат, не переводя дыхания, ждет одного ласкового слова, с трепетом ловит каждый взор девушки, губит время и забывает службу в пустых надеждах, в детских желаниях, в ничтожных игрушках любви! Как злобно высчитывало мне честолюбие все потери, неразлучные с супружескими видами. В мои лета, с кипящим здоровьем, с решительностию, с кой-какими военными познаниями — заключить свое поприще детскою комнатою, ржаветь в бездействии, заживо обречь себя забвению, чтобы в то время, когда товарищи

будут рвать лавры, мне стричь мериносов и вписывать свое имя не в книгу веков, а в женины векселя!! Это ужасно, Жорж, и тем ужаснее, что оно бесполезно. Влюбленное сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадежное счастие. Завидна участь пловца, который тонет сонный, — но я вижу куда стремлюсь и не имею сил остановиться. Любовь к Адели поглотила все мои способности — я ничего не могу читать, нет другой мысли, кроме о ней, нет другого занятия, кроме страсти к ней. — Спеши ко мне, друг мой, спаси меня от самого меня!

S.

Письмо пятое

(Через неделю)

Нет! Я не из тех людей, над которыми смеются безнаказанно. Мне кровавыми слезами заплатит она за обман, если сбудутся мои подозрения... и соперник мой скорее обручится с смертною пулею, чем с Аделью. Но меня спросят, какое право имею я требовать отчета в склонностях Адели? Какие обязанности имеет она быть мне верною?.. О, конечно, никаких, если дело идет о наружных приличиях; но все возможные, все священнейшие, если добровольное слово есть закон для душ благородных. Я не обольщал ее притворством, не скрывал своего бурного характера, казался не таким, как должно быть, не таким, как желал бы казаться, но каков был в самом деле. Впрочем, эта неверность, может быть, есть создание моей ревности... одно желание нравиться!.. О слабое сердце! Ты жаждешь обмануться, чтобы не найти обмана в сердце Адели — и, конечно, я долго обманывал себя, но не меня обманывать другим!! Нет, моя участь решена. Разве не видел я ее замешательства, когда мы сходились с Эрастом вместе? разве не ощущал принужденности ее ответов и обхождения? разве не заметил, как прокралась слеза на длинную ее ресницу при вести, что он упал с коня?.. Сперва, принимая с холодностию приветы молодых людей, она давала мне заметить, что это для меня; теперь мы сменялись местами с Эрастом.

Правда, он благородный человек: любезен, мил... но разве всё, что любезнее или красивее меня, должно пленять ее внимание? Почему ж для меня не существует пола с тех пор, как я люблю ее? Почему ж я лишь для нее имею сердце, глаза и дар слова? Только ею, только для ней живу!

Он, кажется, ищет моей дружбы; кажется, он сожалеет меня!.. Какая обидная дерзость; я бы жалок стал самому себе, если б нуждался в сожалении моих врагов. Ненавидим или любим хочу я быть, и ему не дружбы, а гибели моей искать должно! Жестоки жгучие мучения ревности: в солнце нет для меня отрады, и у ночи не вымолю я сна; ад во мне и вокруг меня.

Но если она в самом деле любит его?.. Тем хуже для них: я ли потерплю, чтобы он с усмешкою повел под венец ту, в которой любил я жизнь? Чтобы предпочтенный мне унижал меня своими к ней ласками, чтобы гордость моя ежеминутно язвилась двузначными взглядами, чтобы я стал баснею города... чтоб меня произвели в неудачные женихи? Нет, этого не будет. Я или он должен кровию своею связать союз соперника с Аделью, — далее что будет, то будет, но во всяком случае лучше жить памятью мести, чем иссыхать от мук ревности.

S.

Письмо шестое

(Чрез неделю)

Кончено. Через полчаса я стреляюсь с Эрастом — и на смерть: причину к тому найти было не мудрено. Жаль, Жорж, что тебя нет здесь, — мне бы многое нужно тебе высказать; но желание не ковер-самолет, и потому я за глаза душевно благодарю тебя за твою нежную ко мне дружбу. Мало таких людей, как ты, и едва ли есть подобные друзья; я любил тебя; много любил!.. Слеза, которая упала теперь на письмо, вероятно, есть последняя жертва дружеству... Завещаю тебе одну священную вещь — свою любовь к родине; живи для ней! Я сожалею лишь о том, что не для нее умру. Говорю, умру, потому что я решился ждать выстрела... я его обидел. К родным

я написал — утешь их; оставляю своего Ивана — призри его. Если увидишь Адель, когда меня не станет, скажи ей, что я любил ее — и никого не мог ненавидеть. Секунданты здесь, пули пригнаны, пистолеты готовы; я еду — прости!

S.

Письмо седьмое

(Четыре дня после)

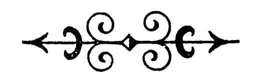
Я убил его, убил этого благородного, великодушного человека! Как он уговаривал меня, сколько жертв приносил моему счастию и своей чести, — я был неколебим: ложное честолюбие окаменило мое сердце, и слепая судьба влекла на убийство, на злодейство. Как не послушался я внутреннего голоса, меня обвинявшего! Да... так... и эта душная тоска, залегшая в сердце накануне, разве не была отголоском будущих угрызений? И совершилось! Мы близились с двадцати шагов, я шел твердо — ведь уже три пули просвистали мимо этой головы — я шел твердо, но без всякой мысли, без всякого намерения: скрытые в глубине души чувства совсем омрачили мой разум. На шести шагах, не знаю отчего, не знаю как, давнул я роковой шнеллер — и выстрел раздался в моем сердце! .. Я видел как Эраст вздрогнул... Когда пронесло дым — он уже лежал на снегу, и хлынувшая из раны кровь, шипя, на нем застывала. Удалите, удалите от глаз моих эту картину, сдвиньте с сердца о ней воспоминание! Я кинулся к нему... он отходил... взглянул на меня без гнева, подал мне руку, прижал к устам ленту, которая навязана была у него на руке, — это был пояс Адели. «Адель! .. — произнес он тихо, и свет выкатился из очей — слушаем... пульс молчит; подносим к устам сабельную полосу — нет следов дыхания: *он умер!*

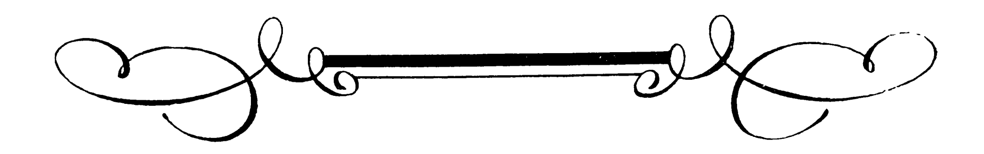
Сколько раз я слышал это слово равнодушно, но тогда этот звук голоса, как гора, на меня обрушился. В забвении стоял я над хладным трупом Эраста и напрасно припоминал, за что убил его. Я чувствовал свое преступление и не находил ему вины, и напрасно искал извинения в своей страсти — она как будто развеялась с выстрелом,

будто застыла в крови соперника. Мне казалось, напротив, что я убил лучшего друга, любимейшего брата. Наконец ужасный пламень совести осветил мой разум: какое право имел я быть судиею между жизнию и смертию? Какое безумство было требовать, что ни от кого из нас не зависело! Можно ли повелевать сердцу; как можно было *его* не любить? И она любила его, и, конечно, была бы с ним счастлива: мой бешеный нрав не сходился с ее кротким нравом. Но я из зависти разорвал венок ее счастия, думал, что в страстном любовнике забудет она убийцу любезного, и в моих кровавых объятиях любовь к другому. Если ж бы он убил меня, — то пусть бы страшные сны отравили покой их, и моя тень везде бы их преследовала!.. Несчастный! Я позабыл тогда о себе, я не знал, что, готовя месть ему, обрек себя на отчаяние!

Я уже на гауптвахте. Военный суд наряжен... жестокое и справедливое наказание ждет меня, но что значит всё это, когда божий перст на мне тяготеет!.. Теперь ночь — всё дремлет кругом, но не спит червь моего сердца. День проходит в угрызениях совести; ночь населяет темноту страшилищами и... поверишь ли, друг: каждый стук, каждый оклик часового заставляет меня вздрагивать. Забываюсь ли утомленный — привиденья бродят кругом постели и что-то шепчут мне на ухо. Засыпаю ль — и ужасные грезы волнуют сердце: роковой выстрел звучит, смертное стенание раздирает слух мой; то опять шепчущая тишина, то вдруг похоронное пение, надо мною стук заступа, мне душно, я вдыхаю могильную пыль... гробовая доска давит грудь... червяк ползет по лицу... Га... вскакиваю, и капли холодного пота мне чудятся каплями крови... О, кто избавит убийцу ненавистной жизни! Для чего мы не на войне... для чего не расстреляют меня!

Александр Бестужев.





СИНОНИМЫ

1

(В альбом И. Х. Ч.)

Исполняя волю вашу, пишу в ваш альбом: пишу — синонимы, потому что они всего более занимают меня; избираю слова *милый* и *любезный* потому, что в беседе с вами они скорее всего приходят на ум.

Милым и *любезным* называем мы то, что производит на нас особенно приятное впечатление, но *милое* нравится нам, *любезное* привязывает нас; *милое* располагает в свою пользу, *любезное* влечет к себе; *милое* достойно похвалы, *любезное* достойно любви.

Это общее значение сих слов во всех отношениях, но когда они употребляются в отношении к людям,* то имеют еще большие оттенки.

Милое трогает душу; *любезное* привлекает сердце. *Милое* состоит в нежности, в гармонии частей, сливающихся в необыкновенно приятное целое; *любезность* в особенной заманчивости целого.

Для того чтоб быть *милым*, довольно иногда одних наружных достоинств или по крайней мере врожденных качеств: невинности, добродушия; для того чтоб быть *любезным*, нужны преимущественно внутренние и приобретенные: ум, воспитание, образование и пр. (Дети почти всегда *милы*, но как часто те, которых мы обязаны звать

* В отношении к вещам слово *любезный* употребляется весьма редко. Причина очевидна из его определения.

любезными, всего менее любезны). По сей-то причине люди в мнениях своих о *милом* чаще согласны, нежели в мнениях о *любезном;* качества, потребные для первого, виднее, бросаются даже в глаза; потребные для второго, надобно узнавать, угадывать. По сей же причине *милое* всегда для нас *мило; любезное* можем мы иногда находить *любезным,* но не *любить.*

Остается пояснить примерами.

Пролаз скуп. Ему *милее* всего его *любезные* денежки, однако же... Пролаз, хоть и Пролаз, но муж, как и другой.

На ласковую просьбу Премиды:

«Послушай, жизнь моя!
Мне к празднику нужна обнова,
Пожалуй, у мадам Бобри купи тюрбан,
Да слушай, душенька, мне хочется экран
Для моего камина;
А от нее ведь три шага
До англинского магазина;
Да если б там еще... нет, слишком дорога
А ужасть как мила!» —

Отвечает:

Да что, мой свет, такое?
«Нет, папинька, так, так пустое
По чести! мне самой твоих расходов жаль!»
— Да что, скажи, откройся смело;
Расходы знать мое, а не твое уж дело? —
«Меня... стыжусь... пленила шаль;
Послушай, ангел мой! Она такая точно,
Какую, помнишь ты, выписывал нарочно
Князь для княгини, как у князя праздник был?»
С последним словом прыг на шею
И чок два раза в лоб, примолвя: «как ты мил!» *

* Прошу прощения, что невольно выписал столько стихов несравненного *Дмитриева,* — стихов, которые все знают наизусть.

И Ваничка седой, за такую цену, спешит исполнить желание своей *любезной* супруги.

Вы видели портрет Климены. Не правда ли, что она очень *мила?* Открытое лицо; большие черные глаза, полные души; обворожительная улыбка на устах. Но узнайте подлинник, и вы скажете, что можно быть *милою*, не быв *любезною*. Так необходимо образование и для самой красоты. — Напротив того, взгляните на Арисию: она не только не имеет в себе ничего *милого*, но в ней есть даже много неприятного. При всем том кто откажет ей в необыкновенной *любезности?* Так внутренние достоинства заменяют наружные.

Но зачем ходить далеко за примерами? Когда вы сидите в задумчивости за работою или за фортепиано, устремя с любовию глаза на своего малютку, которому вы аккомпанируете, то я всегда с восхищением говорю себе: как она *мила!* Когда же вы вступаете в залу общества и все окружают вас, все теснятся к вам, чтоб вас видеть, чтоб вас слышать, и на лице каждого написано сердечное удовольствие, тогда, конечно, не один я думаю: можно ли быть ее *любезнее?*

2

(В альбом С. Х. В.)

Я не поэт и потому не мог написать в альбом ваш стихов. Но желая оставить вам на память что-нибудь *свое*, решился поместить здесь небольшой разбор *синоним*.

Слова: *уважение* и *почтение** означают внимание, которое оказываем мы другим и сообразно с которым располагаем свои поступки, но

Уважают заслуги, *почитают* личные достоинства. *Уважение* — дело ума, расчетливости; *почтение* — движение сердца.

Уважение есть дань признательности или удивления: мы обязаны им тем, которые почему-либо поставили себя на высшую пред нами

* Уважение происходит от *вага, важить* — *весить*. *Почтение* ст слова *честь, чествовать, чтить* — чувствовать цену. На сем происхождении основывается их различие.

степень; *почтение* есть дань привязанности. Подчиненные должны *уважать* начальников; дети *почитать* родителей. *Уважение* отдается высшим, потому что в них уже предполагаются заслуги; *почтение* должно быть неразлучно с сердечною приверженностию.

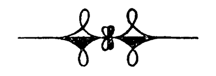
«*Уважай* доблести души и в людях низкого состояния; *почитай* добродетель и в несчастии!» — золотое правило, к сожалению, часто пренебрегаемое.

Вот еще одно, которое мне случалось, не помню где-то, читать: «Будь справедлив и благороден, если хочешь, чтобы тебя *уважали;* будь снисходителен и добр, если хочешь заслужить *почтение*».

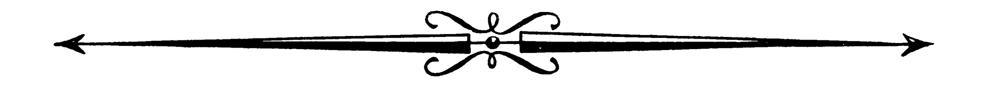
Впрочем, есть люди, которых наружность вселяет уже *уважение; почтение* приобретается со временем.

Любовь моя к вам, милая сестрица, основана на особенном *уважении,* которое почувствовал я при первом свидании с вами, и на *почтении,* которое, чем короче я узнавал вас, тем глубже укоренялось в моем сердце — следовательно, она останется вечна и непременна.*

Дм. Княжевич.



* *Почтение* принимается у нас иногда и за наружное изъявление *уважения.* Так, например, говорят: при его появлении все с *почтением* поклонились. Мне кажется это одно злоупотребление сего слова, вместо *почтительности.*



ВИТЯЗЬ БУЛАНОГО КОНЯ

(Арабская кассида) *

Халиф Омар спросил однажды у Караб-эль-Зобейда, кого он в жизни своей признал за храбрейшего? «Охотно расскажу тебе, властитель правоверных, — отвечал Караб. — В один день выехал я на коне славнейшего поколения бегунов *Недждy*,[1] которому пищею был ветер пустыни и пойлом волны *Сурабу*.[2] Рыская по степи, я кидал коня моего влево и вправо, проскакал много пространства и ничего не видал, кроме следов гиены. Вдруг зачернело что-то на краю небосклона, и чрез несколько мгновений стал передо мной юноша, стройный, как дерево баму. Первый пух молодости едва проседал на милом его лице, и никогда от рожденья не видал я прекраснейшего юноши. Он вежливо приветствовал меня, приближаясь; я отвечал ему тем же и спросил: кто ты, витязь? „Я Харес, сын Саада, витязь буланого коня“, — ответствовал он. Берегись же, — я воскликнул ему, — ты должен со мной сразиться. „Но кто ты такой?“ — вопросил меня Харес. Мое имя Амру-Караб, я сын Маада и Зобеиды; Перуном пустыни зовут меня бедуины! „Ничтожный враг, — вскричал он, — лишь твое бессилие спасает тебя от смерти!“ Разорвалось мое сердце от такого самохвальства. Клянусь богом, — возразил я, — что только один из нас воротится к своей палатке, бедуин! Нагую истину скажу тебе: завтра песок занесет здесь труп твой! Знай, что я из поколенья, в котором еще ни одна мать не оплакивала смерти витязя-сына, и ни одна красавица не обрезывала долгих кудрей своих по убитом женихе. „Выбирай же, — воскликнул он, — ты ли будешь убегать, а я до-

гонять тебя, или я пущусь на уход, а ты нападать станешь?“ Буду нападать, — сказал я, — и вмиг бедуин помчался стрелою. Я стремился вослед... уже мыслил копьем пронзить его насквозь, когда он исчез с коня; я, уже миновав его, увидел, что он гибкою подпругою обвился вокруг конского тела. Пришла его череда: он достиг меня и, копейным железом ударив по голове, сказал: „Вот тебе первый раз, Омар! Копьем моим заклинаюсь, что если б не жаль было убить такое красивое создание, — теперь бы уже твой конь ржал над твоим трупом“. Я сгорел со стыда, халиф правоверных, и смерть показалась мне милее обиды. Нет, — воскликнул я, — один только из нас увидит свою палатку. Он снова предложил, и я опять избрал первую очередь. Конь мой летел — я, казалось, касался наездника — как вдруг разостлался он по хребту коня и тем уникнул верного удара. Очередь оборотилась: он наскакал на меня и, несмотря на всё мое искусство, на все мои уловки, — снова улучил ударить в голову. „Вот и другой раз, Омар“, — произнес он. Гнев и стыд охватили мою душу. Решено, — вскричал я, — или ты мой, или я твой дротик привезем в свое поколенье. Вместо ответа юный бедуин ринулся вперед, — я гнал его, доспел — и уже меткое копье за плечами, как в нем... но он спрыгнул на землю, и когда удар миновал седла, то опять на коне очутился. С череды пустился бедуин за мною, наскочил — и я не мог ускользнуть от него. „Омар, вот тебе и третий раз“, — сказал он, ударив меня по голове. Лучше убей меня, — воскликнул я, — чтобы услышали арабские наездники о вражде нашей. „Знаешь ли, Омар, — отвечал он, — что я только до трех раз прощаю!“ И потом он продолжал стихами,[3]

Тобой клянуся, меч стальной,
Ты не кропился кровью чистой!
Коль раз еще мы вступим в бой —
Ты кровли не узришь холмистой,
Намёта родины святой!

Признаюсь, властитель правоверных, меня устрашило боевое искусство его, и я, смущенный, сказал: Харес, у меня есть до тебя одна просьба! „Какая?“ — спросил он. Возьми меня к себе в това-

рищи! „Ты не годишься быть моим товарищем“, — отвечал Харес. Это выраженье огорчило, но не отвратило меня. Я спросил его снова и так пристально — что, наконец, он сказал мне, усмехаясь: „Беда тебе со мною; знаешь ли куда спешу я?“ Конечно нет! — был ответ мой. „Еду, — продолжал он, — туда, где ожидает меня кровавая смерть, которой жажду, как отрады“. Всюду с тобой, — я воскликнул, — и туда, где ждет нас кровавая смерть. Мы ехали целый день и часть ночи и, наконец, наехали на одно из поколений арабских. „Омар, — сказал тогда юный мой витязь, указывая на кочевые шатры оного, — здесь найдем мы кровавую смерть. Хочешь ли ты подержать моего коня, а я пойду за тем, чего мы ищем, или дай мне своего и сам поди за тем, чего мне надо“. Подержу коня твоего, — отвечал я, — ты лучше ведаешь, чего тебе нужно. Легко спрыгнул с коня юноша, бросил мне поводья и скрылся во мраке, как падучая звезда исчезает в пустынном воздухе. Я рад был служить ему за конюшего в таком случае; между тем бесстрашный юноша проникнул в глубь стана, и вскоре из одной палатки вывел двух верблюдов и девицу, прекраснейшую молодого месяца; такой красоты никогда не зрели очи мои ни в пустынях Аравии, ни в краях, подвластных царям. Посадив ее на быстроногого верблюда, мы пустились в дорогу. „Омар, — сказал мне бедуин, по кратком молчании, — хочешь ли ты вести верблюдов, а я повезу девушку, или ты примешь на себя эту должность?“ Лучше я буду проводником верблюдов, а ты охраняй нас своим оружием, — возразил я. Он, отдав мне поводки, заметил, чтобы я правил бег свой на восходящие плеяды.[4] Так ехали мы, и уже день начал заниматься, когда молчаливый мой витязь мне промолвил: „Оглянись, Омар, не видно ли кого-нибудь?“ Видны за нами верблюды, — отвечал я. „Удвой шаг“, — сказал он и замолкнул снова; но через несколько минут он опять произнес: „Посмотри еще раз; и если их мало — укрепись мужеством — то кровавая смерть следит нас; если же много, то не бойся!“ Их четверо или пятеро, — отвечал я. „Погоняй сильнее“, — сказал он и смолк. Более часу бежали мы и остановились не ранее, как топот погони послышался вблизи. Юноша велел мне стать по правую сторону верблюдов, а сам занял место с левой. Скоро явились перед нас на конях двое статных юношей из поколения

бекров и с ними седовласый старец, который возвышался между ними, как огромная смоковница между тонкими пальмами. То был отец красавицы, то были ее братья. „Отдай мне девицу, сын мой“, — сказал, приблизившись, старец. „Не для того я похитил ее“, — гордо ответствовал Харес. Тогда отец велел одному из сыновей сразиться с моим храбрым товарищем. Юноша выступил, потрясая копьем; Харес соскочил с коня ему навстречу и вот что сказал стихами:

Тебя теперь, о витязь сильный,
Омочит крови дождь обильный;
Любовник пламенный с тобой
Горит схватиться в смертный бой!
И весть о нем к родным стрелою
Одна примчится — иль со мною.

Битва длилась недолго: Харес пронзил копьем противника. „Иди, померься с ним, — сказал старец другому сыну, — смерть краше бесславия!“ Юноша выступил против Хареса, который, ринувшись на него, воскликнул:

Посмотри, как дротик зыбкий [5]
Верной смертию грозит!
Знай: жестоки кровных сшибки!
Лишь кончина разлучит
Нас с сестрой твоей невинной,
Пусть умру, зато в пустынной
Аравийской стороне
Не расскажут обо мне:
Он любезной изменил,
Он ее на жизнь сменил.

Настал бой, и та же участь постигла другого брата. Тогда отец, спокойно смотревший на кончину двух сыновей своих, приблизился в Харесу и произнес: „Сын мой, отдай мне дочь или во мне найдешь ты не мальчика!“ — „Никогда я никому не уступлю ее“, — отвечал Харес. Старец, услышав это, сошел с верблюда и обнажил саблю, то же сделал и Харес, весело встречая его словами:

Мне смерть милей, чем поношенье,
И пусть рассказ об этом мщенье
Взволнует бекров поколенье.

Старец, ставши перед ним, возразил:

Не драгоценнее мгновенья,
Жизнь многолетная моя,
Когда за славу поколенья,
За девы честь сражаюсь я.

„Избирай, — сказал он ему, — я даю тебе право первого удара, но если и тогда не убьешь меня, то простись с жизнию!“ — „Охотно“, — отвечал юноша и занес саблю; но с другого же взмаху старец, увидев, что не может отразить удара, летящего ему в голову, пронзил грудь Хареса... и оба поверглись мертвы. Властитель правоверных! Во всё это время страх и сожаленье во мне сменялись; но когда я узрел кончину и двух остальных витязей, то собрал их сабли, копья, коней и верблюдов и, приступивши к девице, сказал ей: теперь принадлежишь ты мне. — „Нет, — отвечала печальная красавица, вспыхнув гневом, — по смерти братьев, отца и любезного, я никому не принадлежу. Впрочем, когда желаешь владеть мною, отдай мне копье и коня Харесовы и пустимся гнаться. Если ты успеешь до меня дотронуться — я твоя, но ежели тебя достигну, то убью тебя“. Совсем не желаю этого, — отвечал я, — видно, из какого вы все роду, — но и без битвы ты моя добыча. „Если ты араб от настоящей крови арабов, — возразила она, — то отведешь меня к моему поколению“. Соглашаюсь на это, — ответствовал я, — но с условием: оправдать меня перед твоими родными и преломить со мною хлеб гостеприимства. „Клянусь смертью отца и любезного выполнить это“, — сказала красавица. Мы пустились в путь по старым следам, но через несколько времени, когда оглянулся я назад, то заметил, что девица пропала с верблюда. Не сомневаясь, что чувствительность увлекла ее к месту битвы, я быстро поворотил коня и прискакал туда, отколе мы недавно уехали. Велико было мое удивление, когда вместо четырех трупов я нашел там тела только двух братьев. Озирая повсюду, я не мог

придумать, куда девались остальные, как вдруг заметил следы влеченных по земле тел. По них-то дошел я до лежащего за несколько сот шагов камня, к которому ветром намело груду песку. Осмотрев пристально холмик сей, я увидел полу одежды, и разрыв оный. я узрел... Властитель правоверных... тело отца, Хареса и подле них умершую красавицу! — Она, сокрыв в землю всё, что было для нее драгоценнейшим на земле, сама с ним же схоронилась. Не мог удержаться я от слез и долго горевал над столь плачевным зрелищем. Наконец, положив подле девицы тела ее братьев, я вместе зарыл всю благородную семью и пустился вспять, к родному стану. Вот, властитель правоверных, те люди, которых мужественнее не знавал я в жизни моей!»

С арабского *И. Сенковский.*

Примечания

* Пустынные арабы так страстно любят коней своих и столь ими гордятся, что от масти или имен своих бегунов дают себе прозвища. Кассидою же называется у них небольшая поэма.

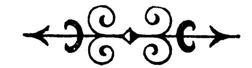
[1] *Неджд* — часть Аравийской пустыни, славная породистыми конями. Некогда там, на месте, за заводскую кобылицу плачивали от 40 до 60 тысяч турецких пиастров.

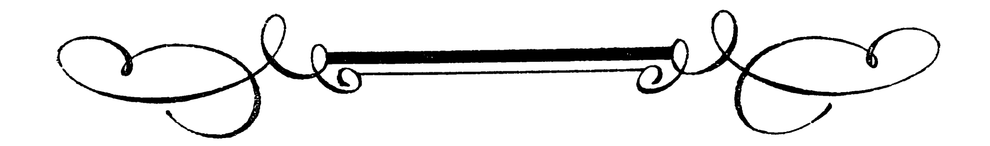
[2] *Сураб* — воздушный феномен, частый в Аравии, есть не что иное, как пар земли, который, представляя издали подобие рек и озер, обманывает путника.

[3] *Арабы*, особенно бедуины, имеют чрезвычайно много природного дара к поэзии. Часто простой бедуин без всякого приготовления импровизирует посреди разговора несколько прекраснейших стихов.

[4] В бездорожных пустынях своих бедуины всегда путеводствуются звездами.

[5] Дротики бедуинов, сделанные из длинного и гибкого тростника, почти всегда из багдадского, беспрестанно зыблются.





ПРИСТУП К ЧЕРТОГАМ ПРИАМА

(Из II-й песни Энеиды)

Я устремился на стон, огласивший чертоги Приама.
Там все ужасы брани стеклися, как будто во граде
Не было битвы иной и нигде никого не разили!
Так свирепствовал Марс, так бешено греки рвалися
В замок и, сдвинув щиты черепахой, на вход напирали.
Множеством лестниц унизаны стены; вверх по ступеням
Лезут данаи, шуйцей щиты над главами под копья
Наши подставив, десной за вершину ограды хватаясь;
Тевкры, готовя отпор, разоряют и башни, и домы,
Вместо оружий сбирают обломки, с намереньем грозным
В битве отчаянной ими врага раздавить, погибая;
С шумом державного дома царей позлащенны убранства
Падают; меч обнаживши, другие, у врат осажденных
Тесной дружиной столпясь, ограждают святилище прага.
Взорванный гневом, стремлюсь на защиту Приамова дома:
Были сокрытые двери в стене высокого замка,
Ход потаенный из внешнего града в царево жилище;
Часто во дни благоденствия Трои ко свекру Приаму
Оным путем Андромаха несчастная тайно ходила
Взор престарелого деда порадовать внуком цветущим.
Оным путем пробираюсь к тому возвышенью, откуда
Тщетно последние стрелы на греков бросали трояне.
Там воздымалась стремнистая башня, весь град перевыся:

С кровли ее неприступной видимы были вся Троя,
Все корабли мирмидонян, весь греческий стан отдаленный.
Там где она со стены висела громадою всею
Грозно над градом, как туча, мы острым железом подрыли
Сплоченны камни и двинули башню... горою развалин
С громом она повалилась и вся необъятна на греков
Пала; раздавленных быстро сменили другие, и страшным
Градом и стрелы, и копья, и камни опять полетели.
Всех упредя напирал на преддверие Пирр бедоносный,
Грозен, как пламенной медной броней и стрелами сияя.
Так на солнце змея, напитавшися ядом растений,
Долго лежав неподвижна под тягостным холодом снега,
Вдруг чешуи обновив, расправляет красы молодые,
Скользкий волнует хребет, золотистую грудь надувает,
Вьется в лучах и жалом тройным, разыгравшися, блещет.
С ним великан Перифрас и правитель Ахилловых коней
Оруженосец Автомедон и дружина скариян
Шумно к чертогам теснятся и пламень бросают на кровли.
Сам же у всех впереди он огромной, двуострой секирой
Рушит затворы, с притолок тяжких, окованных медью,
Петли сбивает, брусья дробит, и плотные доски
Вдруг прорубил — широкою щелью разинулись двери:
Видимы стали и внутренний двор и ряды переходов,
Видима древняя храмина прежних царей и Приама,
Видимы в сенях и стражи, хранители царского прага.
В самом же доме и жалобный крик, и шум, и волненье;
Звонкие своды чертогов наполнив пронзительным стоном,
Жены рыдают, к звездам подымает отчаянье голос.
Бедные матери, бегая в мутном безумии страха,
Праги объемлют дверей и к ним прилипают устами.
Вдруг вторгается Пирр, как отец неизбежно-ужасный!
Тщетны заграды, низринута стража; таран стенобойный
Сшиб ворота; расколовшись, огромные рухнули створы;
Силе очистился путь, и в пролом, опрокинув передних,
Ринулся грек, и врагами обители все закипели.

Менее грозен, плотину прорвав, из брегов выбегает
Пенный поток и, волнами стену ломя и равнину
Шумным разливом окрест, потопив стада и заграды,
Мчит по полям. Я видел убийством яримого Пирра,
Видел обоих Атридов, дымящихся кровью в обители царской,
Видел Гекубу и сто невесток ее, и Приама,
Кровью своей воздвигнутый ими алтарь обагривших;
Вдруг пятьдесят сыновних брачных чертогов, надежда
Внуков толиких, и стены, добыч многочисленным златом
Гордые пали: пожаром забытое схвачено греком.

Жуковский.

ПРИЗНАНИЕ

Притворной нежности не требуй от меня;
Я сердца моего не скрою хлад печальный:
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня
  Моей любви первоначальной.
Напрасно я себе на память приводил
И милый образ твой, и прежних лет мечтанье;
  Безжизненны мои воспоминанья!
 Я клятвы дал, но дал их выше сил.

 Спокойна будь: я не пленен другою;
Душой моей досель владела ты одна;
Но тенью легкою прошла моя весна:
Под бременем забот я изнемог душою,
  Утихнуло волнение страстей,
 Промчались дни; без пищи, сам собою
  Огонь любви погас в душе моей.
Верь, беден я один: любви я знаю цену,
  Но сердцем жить не буду вновь,
Вновь не забудусь я! Изменой за измену
  Мстит оскорбленная любовь.

Предательства верней узнав науку,
Служа приличию, Фортуне, иль судьбе,
Подругу некогда я выберу себе
И без любви решусь отдать ей руку.
В сияющий и полный ликов храм,
Обычаю бесчувственно послушный,
Введу ее, и деве простодушной
Я клятву жалкую во мнимой страсти дам...
И весть к тебе придет; но не завидуй нам;
Не насладимся мы взаимностью отрадной,
Сердечной прихоти мы воли не дадим,
Мы не сердца Гимена связью хладной —
Мы жребий свой один соединим.

Прости, забудь меня; мы вместе шли доныне;
Путь новый избрал я, путь новый избери,
Печаль бесплодную рассудком усмири,
Как я безропотно покорствуя судьбине.
Не властны мы в самих себе,
И слишком ветрено в младые наши леты
Даем нескромные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе!

Баратынский.

ЭЛЕГИЯ

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви несчастное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех даришь надеждою пустой?
Твой чудный взор, то нежный, то унылый,
Мной овладел, мне чувства омрачив;

Уверена в любви моей безумной,
Не видишь ты, когда, в толпе их шумной,
Беседе чужд, угрюм и молчалив
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокий!..
Хочу ль уйти, — с боязнью[a] и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор, —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе?.. скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим, наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою...
Тебе смешны мучения мои...
Но ты верна, тебя я понимаю.
Мой милый друг! Не мучь меня, молю!
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю!

*

[a] *В ПЗ опечатка:* с болезнью. (*Прим. сост.*).

РОМАНС

Не говори: любовь пройдет,
Того не знать твой друг желает;
В ее он вечность уповает,
Ей в жертву счастье отдает.

*

Зачем гасить душе моей
Едва блеснувшие желанья,
Хоть миг позволь мне без роптанья
Предаться нежности твоей.

*

За что страдать? Что мне в любви
Досталось от судеб жестоких
Без горьких слез, без ран глубоких,
Без утомительной тоски?

*

Любви дни краткие даны,
Но мне не зреть ее остылой;
Я с ней умру, как звук унылый
Внезапно порванной струны.

Барон Дельвиг.

К ПЛАЧУЩЕЙ ЮЛИИ

(С английского)

Коль слезы горести струят твои глаза,
Коль не мечтательны души твоей страданья,
Приди на грудь мою, слезящая краса!
И постараюсь я прервать твои рыданья.

Но если от мечты, прелестная, грустишь,
Когда беда твоя — одно лишь сновиденье;
Сквозь слезы ты, клянусь! так сладостно глядишь,
Что жалко прерывать их милое теченье!

Олин.

МИНУТА В ЛУЧШЕМ МИРЕ

Я был *у них*, в стране, нам неизвестной;
Минутный гость, я пил восторг небесный...
Как ясно там цветет заря!
Как тихи светлые моря!
Какие пышные картины!
Там не ложится ночи тень
На их веселые долины;
У них безночный, долгий день,
Как наше утро свеж и ясен,
Как сон невинной девы тих —
О, друг! Как этот край прекрасен!
Как весело гостить *у них*.
Там воздух — есть любви дыханье!
Там вместо солнца *благодать*
И бога вечного сиянье...
У них и слова нет *страдать!* ..
Их пища — из зари и света
Живит их, как восторг поэта...
Им льется *питие* в сердца
Из *ока* светлого отца,
Когда вселенну обтекая,
И в беспредельности сияя
Оно любовию горит
В лучах, под солнцем неизвестных;

И с тихой ласкою глядит
На них, *невинных* и *прелестных*,
Как наша *детская* любовь,
Как наша девственная младость,
Как та живая сердца радость
Когда мы по морю плывем
И видим брег страны родимой...
Есть край, *уму* непостижимый:
Но сердцу весело быть в нем!
Где ж он, сей край? — Он скрылся, мне безвестный...
И я опять в пределах *жизни тесной*.

Федор Глинка.

ДОМОВОМУ

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, наш добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги;
Да в пору благотворны снеги
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полунощного вора
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани;
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором;
Люби зеленый скат холмов,

Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью.

А. Пушкин.

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

*

ЗЕНЕИДЕ

I

В любезной резвости своей
Вы сохранили детских дней
Простосердечные привычки.
Вас тешат бабушкины сны,
Наряды, пляски старины,
Цветы и комнатные птички.
Живя по воле каждый миг,
Вы избалованы бездельем
И не привыкли для других
Счастливым жертвовать весельем.
Не раз пред модным женихом
Вы шутке вольной предавались,
Ловили поступь, речи в нем,
Или нахмуренным лицом
В беседе важной забавлялись.
Вы не умеете скучать:

Беспечной радостью, забавой
С рожденья прыгать, хохотать
Дано законное вам право.
Они заране от любви
Вас увели прекрасным следом,
И вашей младости неведом
Огонь, играющий в крови.
Непостижимы вам желанья
Неволи милого страданья,
И к нежным бредням наших лет
У вас ни крошки веры нет.
Хотя, подслушав, что толкует
Язык молвы в досужный час, —
Не первый юноша от вас
Украдкой плачет и тоскует...

II

Но всё изменится вокруг!
Придут и к вам иные годы
Похитить резвый ваш досуг,
Затеи детства и свободы.
Быть может, скоро, перестав
Утеху звать невинным взором,
Вы грустным встретите укором
Беспечных нынешних забав.
Вам будет жаль сих дней бесценных
В очаровании своем,
Ни с кем, ни с кем не разделенных
И не замеченных никем.
Во след за томным размышленьем
Тоской, желаньем, огорченьем
Со всех сторон теснимый ум
Предастся жару новых дум,
Тогда простится с вами радость,

Тогда понятны будут вам
Тревоги, сродные сердцам,
Мечты, терзающие младость! . .

Эпилог

Так непритворными стихами,
Без утомительных похвал,
Внушенный Музою, пред вами
Я вас самих изображал.
Под небом юности прекрасной,
За рубежом грядущих дней
Мой взор следил ваш образ ясный,
Я пел вас лирою моей.
За то не осудите строго,
Когда, от правды отступя,
Иль предсказал я слишком много,
Иль слишком мало видел я.

Туманский.

ДАВНЫМ ДАВНО

Давно ли ум с Фортуной в ссоре,
А глупость счастия зерно?
Давно ли искренним быть горе,
Давно ли честным быть смешно?
Давно ль тридцатый год Изоре?
Давным давно.

Когда Эраст глядел вельможей,
Ты, Фрол, дышал с ним заодно.
Вчера уж не в его прихожей

Музыка Графа Віельгорскаго, слова Князя Вяземскаго

Allegro

Forte Piano

давно ли умъ съ фортуной въ ссорѣ а глупость счастія зерно давно ли

искреннимъ быть горе давно ли честнымъ быть смѣшно давно ль тритцатый годъ и-

зоръ давнымъ давно давнымъ давно давнымъ давно когда я -

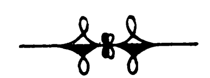
Вертелось счастья веретно:
Давно ль с ним виделся? — «О боже,
Давным давно».

«Давно ль в ладу с здоровьем, силой;
Честил любовь я и вино?» —
Раз говорил подагрик хилый;
Жена в углу молчала, но...
В ответ примолвил вздох унылый:
Давным давно.

Давно ль знак чести на позорном
Лишь только яркое пятно,
Давно ль на воздухе притворном
Вдруг и тепло и студено,
И держут правду в теле черном?
Давным давно.

Кн. Вяземский.

Конец



31 Полярная звезда

Печатать позволено

с тем, чтобы по напечатании, до выпуска из типографии, представлены были семь экземпляров сей книги в С. Петербургский цензурный комитет для препровождения куда следует, на основании узаконений. Санктпетербург, 20-го марта, 1825 года.

Цензор Александр Бируков.

ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА,

КАРМАННАЯ КНИЖКА

НА 1825-й ГОДЪ,

ДЛЯ

ЛЮБИТЕЛЬНИЦЪ И ЛЮБИТЕЛЕЙ

РУСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

ИЗДАННАЯ

А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ Военной Типографіи Главнаго Штаба
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

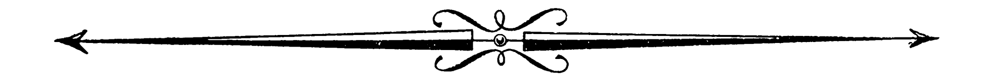
ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЗА

СТИХОТВОРЕНИЯ

---

* Другого автора.



ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛЕ 1825 ГОДОВ

Словесность всех народов, совершая свое круготечение, следовала общим законам природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных чувств и гениальных творений. Простор около умов высоких порождает гениев: они рвутся расшириться душою и наполнить пустоту. По времени круг сей стесняется; столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают их. Жажда нового ищет нечерпанных источников, и гении смело кидаются в обход мимо толпы в поиске новой земли мира нравственного и вещественного; пробивают свои стези; творят небо, землю и ад родником вдохновений; печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой характер, озаряют обоих своей славою и всё человечество своим умом!

За сим веком творения и полноты следует век посредственности, удивления и отчета. Песенники последовали за лириками, комедия вставала за трагедиею; но история, критика и сатира были всегда младшими ветвями словесности. Так было везде, кроме России, ибо у нас век разбора предыдет веку творения; у нас есть критика и нет литературы; мы пресытились не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать причины столь странного явления.

Первая заключается в том, что мы воспитаны иноземцами. Мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею, и это чувство, не согре-

тое народною гордостию, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унизить даже и то, что есть. К довершению несчастия мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка. Застав ее, после блестящих произведений, в поре полемических сплетней и приняв за образец бездушных умников века Людовика XV, мы и сами принялись толковать обо всем вкривь и вкось. Говорят: чтобы всё выразить, надобно всё чувствовать; но разве не надобно всего чувствовать, чтобы всё понимать? а мы слишком бесстрастны, слишком ленивы и недовольно просвещены, чтобы и в чужих авторах видеть всё высокое, оценить всё великое. Мы выбираем себе авторов по плечу: восхищаемся д'Арленкурами, критикуем Лафаров и Делилев, и заметьте: перебранив все, что у нас было вздорного, мы еще не сделали комментария на лириков и баснописцев, которыми истинно можем гордиться.

Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей: теперь мы начинаем чувствовать и мыслить — но ощупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум — дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но не занятый политикою — весьма естественно, что деятельность его хватается за всё, что попадется, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества заражены тою же болезнию. Мы, как дети, которые испытывают первую свою силу над игрушками, ломая их и любопытно разглядывая, что внутри.

Теперь спрашивается: полезна или нет периодическая критика? Джеффери говорит, что «она полезна для периодической критики». Мы не можем похвалиться и этим качеством: наша критика недалеко ушла в основательности и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности и более в забаву, чем в пользу. Словом, я думаю, наша полемика полезнее для журналистов, нежели для журналов, потому что критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало: но между тем листы наполняются, и публика, зевая над статьями, вовсе для ней незанимательными, должна разбирать по складам надгробия безвестных людей. Справедливо ли, однако ж,

так мало заботиться о пользе современников, когда подобным критикам так мало надежды дожить до потомства?

Мне могут возразить, что это делается не для наставления неисправимых, а для предупреждения молодых писателей. Но, скажите мне, кто ставит охранный маяк в луже? Кто будет читать глупости для того, чтобы не писать их?

Говоря это, я не разумею, однако ж, о критике, которая аналитически вообще занимается установкою правил языка, открывает литературные злоупотребления, разлагает историю и, словом, везде, во всем отличает истинное от должного. Так, где самохвальство, взаимная похвальба и незаслуженные брани дошли до крайней степени, там критика необходима для разрушения заговоренных броней какой-то мнимой славы и самонадеянности, для обличения самозванцев-литераторов. Желательно только, чтобы критика сия отвергла все личности, все частности, все расчетные виды; чтобы она не корпела над запятыми, а имела бы взор более общий, правила более стихийные. Лица и случайности проходят, но народы[a] и стихии остаются вечно.

Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо следует другой: отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных? Предслышу ответ многих, что: от *недостатка ободрения!* Так, его нет, и слава богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение — их горнило. Порох на воздухе дает только вспышки, но сжатый в железе он рвется выстрелом и движет и рушит громады...

[a] *В ПЗ опечатка:* породы. (*Прим. сост.*).

и в этом отношении к свету мы находимся в самом благоприятном случае. Уважение или, по крайней мере, внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили всё внимание толпы, — но тут в проигрыше, конечно, не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда недостает собственной решимости вырваться из бисерных сетей света — но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе, как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества; скрывать искру божества, как пятно, стыдиться доблести, как порока!! Уединение зовет его, душа просит природы; богатое нечерпанное лоно старины и мощного свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!

Однако ж такие чувства могут зародиться только в душах, куда заране брошены были семена учения и размышленья, только в людях, увлеченных случайным рассеянием, у которых есть к чему воротиться. Но таково ли наше воспитание? Мы учимся припеваючи и оттого навсегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва имеем время на лету схватить отдельные мысли; но связывать, располагать, обдумывать расположенное не было у нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст ума и учения, он уже в службе, уж он деловой — и вот все его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним напряжением, и он целый век остается гордым учеником оттого, что учеником в свое время не был. Сколько людей, которые бы могли прославить делом или словом свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества, мелькают по земле, как пролетная тень облака. Да и что в прозаическом нашем быту на безлюдье сильных характеров может разбудить душу? что заставит себя почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный!

Так ли жили, так ли изучались просветители народов? Нет! в тишине затворничества зрели их думы. Терновою стезею лишений

пробивались они к совершенству. Конечно, слава не всегда летит об руку с гением; часто современники гнали, не понимая, их; но звезда будущей славы согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, которое вопрошали они, дабы разгадать современное и научить потомство. Правда, и они прошли через свет, и они имели страсти людей: зато имели и взор наблюдателей. Они выкупили свои проступки упроченною опытностию и глубоким познанием сердца человеческого. Не общество увлекло их, но они повлекли за собой общества. Римлянин Альфиери, неизмеримый Бейрон гордо сбросили с себя золотые цепи Фортуны, презрели всеми заманками большого света — зато целый свет под ними и вечный день славы их наследие!!

Но, кроме пороков воспитания, кроме затейливого однообразия жизни нашей, кроме многосторонности и безличия самого учения (quand même), которое во всё мешается, всё смешивает и ничего не извлекает, — нас одолела страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? когда будем писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней мере, наша муза остается невестою-невидимкою. Конечно, можно утешиться тем, что мало потери, так или сяк пишут сотни чужестранных и междоусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя водить на помочах. Оглядываясь назад, можно век назади остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас с образцами. Притом все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они, следовательно подражать им рабски в других обстоятельствах — невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только мерою достоинства наших творений. Так чужое высокое понятие порождает в душе истинного поэта неведомые дотоле понятия. Так, по словам астрономов, из обломков сшибающихся комет образуются иные, прекраснейшие миры!

Я мог бы яснее и подробнее исследовать сказанные причины; я бы должен был присовокупить к ним и раннее убаюкивание та-

лантов излишними похвалами или чрезмерным самолюбием; но уже время, оставив причины, взглянуть на произведения.

Прошедший год утешил нас за безмолвие 1823. Н. М. Карамзин выдал в свет X и XI томы *Истории государства Российского.* Не входя по краткости сего объема в рассмотрение исторического их достоинства, смело можно сказать, что в литературном отношении мы нашли в них клад. Там видим мы свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности оборотов языка, столь послушного под рукою истинного дарования. Сими двумя томами началась и заключилась, однако ж, изящная проза 1824 года. Да и вообще до сих пор творения почтенного нашего историографа возвышаются, подобно пирамидам на степи русской прозы, изредка оживляемой летучими журнальными бедуинами или тяжело движущимися караванами переводов. Из оригинальных книг появились только *повести г. Нарежного.* Они имели б в себе много характеристического и забавного, если бы в их рассказе было поболее приличия и отделки, а в происшествиях поменее запутанности и чудес. В роде описательном *путешествие Е. Тимковского чрез Монголию в Китай* (в 1820 и 21 годах) по новости сведений, по занимательности предметов и по ясной простоте слога несомненно есть книга европейского достоинства. Из переводов заслуживают внимание *записки полковника Вутье* о войне греков, переданные со всею силою, со всею военною искренностию г. Сомовым, к которым приложил он введение, полное жизни и замечаний справедливых, *История греческих происшествий из Раффенеля,* Метаксою, поясненная сим последним, *Добродушный,* очень игриво переведенный г. Дешаплетом, *3-я часть Лондонского пустынника,* его же, и *жизнь Али-Паши Янинского,* г. Строевым. К сему ж числу принадлежит и книжечка: *Искусство жить* — извлеченное из многих новейших философов и оправленное в собственные мысли извлекателя, г. Филимонова. Появилось также несколько переводов романов Вальтера Скотта, но ни один прямо с подлинника и редкие прямо по-русски.

История древней словесности сделала важную находку в издании *Иоанна экзарха болгарского,* современника Мефодиева. К чести

нашего века надобно сказать, что русские стали ревностнее заниматься археологиею и критикою историческою, сими основными камнями истории. Книга сия отыскана и объяснена г. Калайдовичем, неутомимым искателем русской старины, а издана в свет иждивением графа Н. П. Румянцова, сего почтенного вельможи, который один изо всей нашей знати не щадит ни трудов, ни издержек для приобретения и издания книг, родной истории полезных. Таким же образом напечатан и *Белорусский архив*, приведенный в порядок г. Григоровичем. Общество истории и древностей русских издало 2-ю часть записок и трудов своих; появилось еще 15 листов *летописи Нестора по Лаврентьевскому списку*, приготовленных профессором Тимковским.

Стихотворениями, как и всегда, протекшие 15 месяцев изобиловали более, чем прозою. В. А. Жуковский издал в полноте рассеянные по журналам свои сочинения. Между новыми достойно красуется перевод Шиллеровой *Девы Орлеанской*, перевод, каких от души должно желать для словесности нашей, чтобы ознакомить ее с настоящими чертами иноземных классиков. Пушкин подарил нас поэмою *Бахчисарайский фонтан;* похвалы ей и критики на нее уже так истерлись от беспрестанного обращения, что мне остается только сказать: она пленительна и своенравна, как красавица Юга. Первая глава стихотворного его романа *Онегин*, недавно появившаяся, есть заманчивая, одушевленная картина неодушевленного нашего света. Везде, где говорит чувство, везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества, — стихи загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу. Особенно разговор с книгопродавцем вместо предисловия (это счастливое подражание Гёте) кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком. «Блажен», — говорит там в негодовании поэт:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!

И плод сих чувств есть рукописная его поэма *Цыгане*. Если можно говорить о том, что не принадлежит еще печати, хотя принадлежит словесности, то это произведение далеко оставило за собой всё, что

он писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, воссгал в первородной красоте и простоте величественной. В нем-то сверкают молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природою. И всё это, выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры? — И. А. Крылов порадовал нас новыми прекрасными баснями; некоторые из них были напечатаны в повременных изданиях, и скоро сии плоды вдохновения, числом до тридцати, покажутся в полном собрании. Н. И. Гнедич недавно издал сильный и верный свой перевод (с новогреческого языка) *песен клефтов* с приложением весьма любопытного предисловия. Сходство их с старинными нашими песнями разительно. На днях выйдет в свет поэма И. И. Козлова *Чернец*; судя по известным мне отрывкам, она исполнена трогательных изображений, и в ней теплются нежные страсти. Рылеев издал свои *Думы* и новую поэму *Войнаровский*; скромность заграждает мне уста на похвалу в сей последней высоких чувств и разительных картин украинской и сибирской природы. *Ночи на гробах* князя С. Шихматова в облаке отвлеченных понятий заключают многие красоты пиитические, подобно искрам золота, вкрапленным в темный гранит. Ничего не скажу о *Балладах и романсах* г. Покровского, потому что ничего лестного о них сказать не могу; похвалю в *Восточной лютне* г. Шишкова 2-го звонкость стихов и плавность языка для того, чтобы похвалить в ней что-нибудь. Впрочем, в авторе порою проглядывает дар к поэзии, но вечно в веригах подражания. Наконец упоминаю о стихотворении г. Олина *Кальфон* для того́, что сей набор рифм и слов называется поэмою. Присоединив к сему несколько приятных безделок в журналах, разбросанных Н. Языковым, И. И. Козловым, Писаревым, Нечаевым... я подвел уже весь итог нашей поэзии.

Русский театр в прошедшем году обеднел оригинальными пьесами. Замысловатый князь Шаховской очень удачно, однако ж, вывел на сцену Вольтера-юношу и Вольтера-старика в дилогии своей *Ты и вы* и переделал для сцены эпизод *Финна* из поэмы Пушкина Людмила и Руслан.

В Москве тоже давали, как говорят, хороший перевод *Школы стариков* (Делавиня) г. Кокошкина и еще кой-какие водевили и драмы, о коих по слухам судить не можно; а здесь некоторые драмы обязаны были успехом своим сильной игре г. Семеновой и Каратыгина. Я бы сказал что-нибудь о печатной, но не игранной комедии г. Федорова *Громилов*, если бы мне удалось дочесть ее. К числу театральных представлений принадлежит и *Торжество муз*, пролог г. М. Дмитриева на открытие большого Московского театра. В нем, хотя форма и очень устарела, есть счастливые стихи и светлые мысли. Но всё это выкупила рукописная комедия г. Грибоедова *Горе от ума*, феномен, какого не видали мы от времен *Недоросля*. Толпа характеров, обрисованных смело и резко, живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах. Всё это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее, не смеявшись, не тронувшись до слез. Люди, привычные даже забавляться по французской систематике или оскорбленные зеркальностию сцен, говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится, — но пусть они говорят, что им угодно: предрассудки рассеятся, и будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных.

Удача альманахов показывает нетерпеливую наклонность времени не только мало писать, но и читать мало. Теперь ходячая наша словесность сделалась карманною. Пример Полярной звезды породил множество подражаний: в 1824 году началось *Мнемозиною*, которая, если не по объему и содержанию, то по объявлению издателей, принадлежит к дружине альманахов. Страсть писать теории, опровергаемые самими авторами на практике, есть одна из примет нашего века, и она заглавными буквами читается в Мнемозине. Впрочем, за исключением диктаторского тона и опрометчивости в суждениях, в г. Одоевском видны ум и начитанность. Сцены из трагедии *Аргивяне* и пьеса на *смерть Бейрона* г. Кюхельбекера — имеют большое достоинство. — На 1825 год театральный альманах *Русская Талия* (издатель г. Булгарин) между многими хорошими отрывками заключает в себе 3-е действие комедии *Горе от ума*, которое берет без-

условное преимущество над другими. Потом отрывок из трагедии *Венцеслав* Ротру, счастливо переделанной Жандром, и сцены из комедии *Нерешительный* г. Хмельницкого и *Ворожея* кн. Шаховского. Кроме этого, книжка сия оживлена очень дельною статьею г. Греча о *русском театре* и характеристическими выходками самого издателя. — *Русская старина*, изданная г.г. Корниловичем и Сухоруковым. Из них первый описал век и быт Петра Великого, а другой — нравы и обычаи поэтического своего народа — казаков. Оба рассказа любопытны, живы, занимательны. Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают свое безличие и обращаются к родным старинным источникам. — *Невский альманах* (изд. г. Аладьин), нелестный попутчик для других альманахов. — Наконец *Северные цветы*, собранные бароном Дельвигом, блистают всею яркостью красок поэтической радуги, всеми именами старейшин нашего Парнаса. Хотя стихотворная ее часть гораздо богаче прозаической, но и в этой особенно занимательна статья г. Дашкова *Афонская гора* и некоторые места в *письмах из Италии*. Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут потому только, что они живы, — но у всякого свой вес слов, у каждого свое мнение. Из стихотворений прелестны наиболее: Пушкина дума *Олег* и *Демон*, *Русские песни* Дельвига и *Череп* Баратынского. Один только упрек сделаю я в отношении к цели альманахов: Северные цветы можно прочесть не улыбнувшись.

Журналы по-прежнему шли своим чередом, т. е. все кружились по одной дороге: ибо у нас нет разделения работы, мнений и предметов. *Инвалид* наполнял свои листки и *Новости литературы* лежалою прозою и перепечатанными стихами. Заметим, что с некоторого времени закралась к издателям некоторых журналов привычка помещать чужие произведения без спросу и пользоваться чужими трудами безответно. *Вестник Европы* толковал о старине и заржавленным циркулем измерял новое. Подобно прочим журналам, он, особенно в прошлом году, изобиловал критическою перебранкою; критика на предисловие к Бахчисарайскому фонтану, с ее последствиями, достойна порицания, если не по предмету, то по изложению. Подоб-

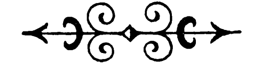
ная личность вредит словесности, оправдывая неуважение многих к словесникам. Этого мало: кто-то русский (*Бахтин.* — *Сост.*) напечатал в Париже злую выходку на многих наших литераторов и перед глазами целой Европы, не могши показать достоинств, обнажил, может быть, мнимые их недостатки и свое пристрастие. Другой, там же, защищал далеких обиженных, хотя не вовсе справедливо, но весьма благородно, и полемическая наша междоусобица загорелась на чужой земле. 1825 год ознаменовался преобразованием некоторых старых журналов и появлением новых. У нас недоставало газеты для насущных новостей, которая соединяла бы в себе политические и литературные вести: г.г. Греч и Булгарин дали нам ее — это *Северная пчела.* Разнообразием содержания, быстротою сообщения новизны, черезденным выходом и самою формою — она вполне удовлетворяет цели. Каждое состояние, каждый возраст находит там что-нибудь по себе. Между многими любопытными и хорошими статьями заметил я *о романах* г. Сомова и *нравы* Булгарина. Жаль, что г. Булгарин не имеет времени отделывать свои произведения. В них даже что-то есть недосказанное; но с его наблюдательным взором, с его забавным сгибом ума, он мог бы достичь прочнейшей славы. *Северный архив* и *Сын отечества* приняли в свой состав повести; этот вавилонизм не очень понравится ученым, но публика любит такое смешение. За чистоту языка всех 3-х журналов обязаны мы г. Гречу, ибо он заведывает грамматическою полициею. В Петербурге на сей год издается вновь журнал *Библиографические листки* г. Кеппеном. Это необходимый указатель источников всего писанного о России. В Москве явился двухнедельный журнал *Телеграф,* изд. г. Полевым. Он заключает в себе всё, извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего Телеграфа, а *смелым владеет бог*, его девиз.

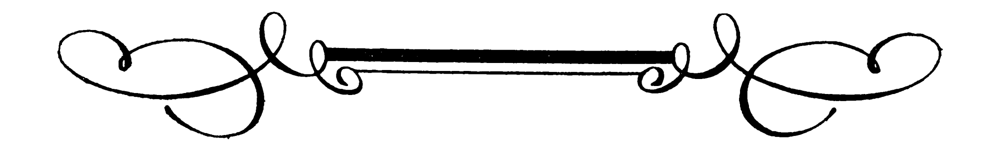
Журналы наши не так, однако ж, дурны, как утверждают некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным. Назовите мне хоть один сносный литературный журнал во Франции, кроме Revue Ency-

clopédique? Немцы уж давно живут только переводами из журнала г. Ольдекопа, у которого, не к славе здешних немцев, едва есть тридцать подписчиков, и одни только англичане поддерживают во всей чистоте славу ума человеческого.

Оканчиваю. Знаю, что те и те восстанут на меня, за то и то-то, что на меня посыплется град вопросительных крючков и восклицательных шпилек. Знаю, что я избрал плохую методу — ссориться с своими читателями в предисловии книги, которая у них в руках... но как бы то ни было, я сказал, что думал — и Полярная звезда перед вами.

А. Бестужев.





ЦЫГАНЕ

(Отрывок из поэмы)

Цыгане шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле;
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недальний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,
И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно всё; луна сияет

Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.
В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальнее глядит,
Ночным подернутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле,
Она привыкла к резвой воле,
Она придет; но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далеких облака;
Земфиры нет как нет, и стынет
Убогий ужин старика.
    Но вот она, за нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
«Отец мой, — дева говорит, —
Веду я гостя; за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.
Он хочет быть как мы цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко; он
Готов идти за мною всюду».

Старик

Я рад. Останься до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш, привыкни к нашей доле,

К бродящей бедности и воле —
И завтра, утренней порой,
В одной телеге мы поедем.
Примись за промысел любой:
Железо куй, иль песни пой
Да села обходи с медведем.

Алеко

Я остаюсь.

Земфира

Он будет мой!
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашел; поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит...

. . . .
. . . .

Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира, солнце всходит,
Проснись, мой гость, пора, пора!
Оставьте, дети, ложе неги!»
И с шумом высыпал народ;
Шатры разобраны, телеги
Готовы двинуться в поход;
Всё вместе тронулось — и вот
Толпа валит в пустых равнинах:
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,

Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег —
Всё чудно, дико, всё нестройно,
Но всё так живо — неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной!
. . . .
. . . .

А. Пушкин.

СЛАВЯНЕ

Где вы, веков минувших нравы,
Когда дух вещий в лирах жил;
Когда питомец древней славы
Перуна в молниях молил!

Копье в руке, на раме лира,
Ведомый Лядом тек он в бой:
И гордый Рим, владыка мира,
Поник державною главой.

С огнем в очах, отваги полный,
Куда еще стремится в путь?
Дунайские ль разбрызгать волны
Иль Дона шлемом почерпнуть?

Нет, он летит в страну Гомера
Героев тени разбудить;

Иль рать несметну Дагобера
Узреть, настигнуть, сокрушить.*

Одни, в тиши святой беседы,
Над пеплом, дымом, на воде
Гадают жены, ждут победы,
Готовя песни Коляде.

С брегов Корсунских к Италийским
Их думой весь измерян Юг;
Звенят уж златом византийским,
Катают мыслями жемчуг.

Но храбрый к старцам возвратился
Под сень отеческих богов;
Он Радегасту поклонился:
И враг иди к нему под кров.

Он с ним взойдет на скат утеса,
Когда восходит Световид,
И даром щедрого Волоса
Ему трапезу утучнит.

Бог света стрелы полдневные
Прострет на землю — он уснет;
И мирны духи домовые,
И Зива кровных бережет.

Красна Зимцерла вечерея;
В туманы холмы облеклись;
Летит Погода, в струны вея:
Живые сами сотряслись!

* Славяне подступали к стенам Константинополя и устрашили императора. На Западе они разбили многочисленную армию франков, предводимую королем Дагобером. См. Ист. Росс. госуд., 1-е изд., том 1, стр. 21, 28 и 57.

Воспел — и старцы молодеют,
Он славу родины поет!
Смягчились звуки — девы рдеют:
Он Ладо в их сердца зовет!

Зовет надежду и желанье,
И всё, чем наши дни цветут:
И струн согласных рокотанье
Леса горам передают!

Ник. Иванч. Писарев.

СМЕРТЬ ЧИГИРИНСКОГО СТАРОСТЫ

(Отрывок из поэмы: Наливайко)

С пищалью меткой и копьем,
С булатом острым и с нагайкой
На аргамаке вороном
По степи мчится Наливайко.
Как вихорь, бурный конь летит,
По ветру хвост и грива вьется,
Густая пыль из-под копыт,
Как облако вослед несется...
Летит... привстал на стременах,
В туман далекий взоры топит,
Узрел — и с яростью в очах
Коня и нудит, и торопит...

Как точка, перед ним вдали
Чернеет что-то в дымном поле;
Вот отделилась от земли,
Вот с каждым мигом боле, боле...
И, наконец, на вышине,

Средь мглы седой, в степи пустынной
Вдруг показался на коне
Красивый всадник с пикой длинной...
Казак коня быстрей погнал;
В его очах веселье злое...
И вот — почти уж доскакал...
Копье направил роковое,
Настиг, ударил — всадник пал,
За стремя зацепясь ногою,
И конь испуганный помчал
Младого ляха под собою.

Летит, как ястреб, витязь вслед;
Коня измученного колет
Или в ребро, или в хребет,
И в дальный бег его неволит.
Напрасно ногу бедный лях
Освободить из стремя рвется,
Летит, глотая черный прах,
И след кровавый остается...

Рылеев.

РОДИНА

Краса полуночной природы
Любовь очей, моя страна!
Твоя живая тишина,
Твои лихие непогоды,
Твои леса, твои луга,
И Волги пышные брега,
И Волги радостные воды —
Всё мило мне, как жар стихов,
Как жажда пламенная славы,

Как шум прибережной дубравы
И разыгравшихся валов.

*

Всегда люблю я, вечно живы
На крепкой памяти моей
Предметы юношеских дней
И сердца первые порывы;
Когда волшебница-мечта
Красноречивые места
Мне оживляет и рисует,
Она свежа, она чиста,
Она блестит, она ликует.

*

Но там, где русская природа,
Как наших дедов времена,
И величава, и грозна,
И благодатна, как свобода, —
Там вяло дни мои лились,
Там не внимают вдохновенью,
И люди мирно обреклись
Непринужденному забвенью.

*

Целуй меня, моя Лилета,
Целуй, целуй; опять с тобой
Восторги вольного поэта,
И сила страсти молодой,
И голос лиры вдохновенной!
Покинув край непросвещенный,
Душой высокое любя,
Опять тобой воспламененный,
Я стану петь и шум военный,
И меченосцев, и тебя.

**

ГРАФИНЯМ С. И. и С. И. ЧЕРНЫШЕВЫМ,

в проезд их через Москву

Зачем вы едете от нас,
Или зачем нас посетили?
Непрочность радости, мелькнувшей нам на час,
Мы сожаленьем заплатили!

*

Зачем хотите вы нам подтвердить урок,
Который и без вас нам мудрость натвердила,
Что наслаждение нигде не старожила
И что прекрасное дается здесь на срок!

*

Вы увлекательны, как счастья образ милый,
Как первая любовь неопытной души;
Как радость, ясны вы, как младость, хороши,
Зачем же, как они, вы также легкокрылы?

*

Неведеньем о прелестях своих,
Любезностью, непринужденьем
Вы служите счастливым исключеньем
В кругу соперниц молодых.

*

Ах! будьте исключеньем дивным
И в мире нравственном назло самим судьбам
Заставьте верить нас отрадам непрерывным
И постоянство благ вы оправдайте нам!

*

Не дайте знать печаль разлуки
И, оставаясь здесь, докажете собой,

Что радость милая, которой вы поруки,
Неперелетный гость в обители земной.

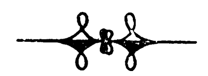
К. Вяземский.

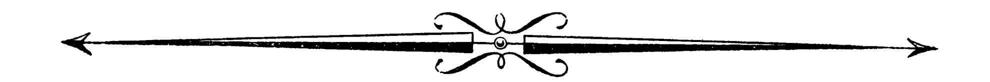
8 декабря 1824.

К ВЕСЕЛОЙ КРАСАВИЦЕ

Когда с беспечностью игривой
Ты веселишь своих подруг,
Поешь, кружишься или вдруг
В своей невинности счастливой
С улыбкой взглянешь на меня,
И с тайным чувством встречу я,
Как две звезды средь ясной ночи,
Твои сияющие очи:
Не наслажденье, не любовь
Тогда в лице моем волнует
Внезапно вспыхнувшую кровь;
Мое предчувствие рисует
Близ каждой радости печаль;
Душа моя полна участья,
Меня тревожит жизни даль;
Я твоего боюся счастья:
Чем лучше утро настает,
Тем реже солнце днем сияет,
И цвет скорее отцветает,
Чем он прекраснее цветет.

Плетнев.





РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

I

«Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. — Теперь я отворю вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по правде».

*

Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле всё шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем за кружкою пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любуясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем *широкой*. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, т. е. с сединою, Буртнек был человек лет 50-ти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество. Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные

узоры. По углам со всех панелей развевались фестонами кружева Арахны. Печка, подобие рыцарского замка, смиренно стояла в углу на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешанная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось, как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Безцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блестят наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

«Нагулялся ли ты, любезный доктор?» — спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лонциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости московцев, отчасти задержанный городскою думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду, не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого. «Нагулялся ли ты?» — повторил барон, отирая с усов своих пену.

«И с пользою нагулялся, барон, — отвечал весельчак-доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц, разнородные растения. — Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали? .. на вышегородских укреплениях! .. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине

главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия; и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более трав, если бы комендантские коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований».

«Ну, каковы ж тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?»

«Ваши грязные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены; а грозны они только издали: половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофелю, нежели картечей».

«Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни!»

«Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее, как вчерась, я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля».

«И заливал, конечно, не водою, доктор?»

«Без сомнения мальвазиею, г. барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? а ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня».

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но, между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара. «Тебе завтра будет вдоволь работы», — продолжал он, сводя разговор на турнир.

«Работы, барон, разве я кузнец! — отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива. — Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор, как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храб-

рость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве наковальней! Право от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..»

«Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов. Спроси-ка лучше у русских, любы ли они им! Наши латники гоняют кольчужников тысячами».

«Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставать вас по-домашнему — в замше. Сказывают, в Новгороде очень дешевы из нее перчатки!.. оно и немудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного».

«Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку — я бы нагнал удальцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...»

«У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна».

«У прочих... у других!.. другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встреч со мною под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!»

«Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии, — сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели б тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, — я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье».

«Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! некстати ему мерять плечо с мальчиками. Притом же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить».

«Только обещал? — это не много. Он два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его; хотя я вовсе не прошу г. гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до княжеского дворца, а у забывчивых будто прибивают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев также приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, явясь сюда с первыми жаворонками, — воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды».

«Может ли это статься! мое дело так ясно, как мой палаш; так право, как эта правая рука».

«Зато барон Унгерн, хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...».

«А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеды, от гостей да в гости — а смотришь, деньги улетают, как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь — мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чахотки?»

«Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось: у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет — тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть *умеренность*». За этим словом, не знаю, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопою об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

«Понимаю, — сказал с улыбкою рыцарь. — Понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду. Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря».

«Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?»

«Немного моложе *потопа*, г. доктор; но ты увидишь, что оно совсем не водяно». Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами; вбежал и смирно остановился у притолки с раболепно-вопросительным лицом.

«Друмме, — сказал ему Бернгард, — скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок, — продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту), — и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме, — слышишь ли, глупец!»

Друмме, трепеща, покрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

«Чего ты боишься, истукан, грозно закричал рыцарь, — кружка эта пуста, как твоя голова... куда нечесаное животное, куда? чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ, — продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения, — скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Икскулю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала».

«Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон».

«Не мое ремесло рассуждать: глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится.* Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же,

* Прошу читателя вспомнить о феодальных правах.

как вы больных, — безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково винцо, доктор? ..»

«Гораздо лучше ваших обычаев. — Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?»

«О, конечно не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замарал пальцы чернилами в деле с Унгерном».

«И по всей вероятности, напрасно».

«Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать, — у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду. Сыграем-ка лучше партию—другую в пилькентафель: * это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце».

«И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: utile dulci».

«Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово vale». Так говоря, они вышли из залы.

II

На радуге воображенья
Воздушный замок строит он:
Его любви лелеет сон...
Но бьет минута пробужденья!

Угадываю любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном, — и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

* Род бильярда.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; всё их тщеславие ограничивалось нарядами, всё честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц скользили взоры... но какие взоры! — От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотою и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать, — но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее; но книга света была пред нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро приметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастия; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в 18-ть лет — порох; одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтрему. В углу за занавесом вокруг длинного стола сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетушка

Минны дремала в другом углу под тенью крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее одеваться. Перед Минною стоял белокурый, статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепочку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам; золотая бахрома украшала цветные отвороты замшеных сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

«Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин?» — сказала Минна, повертываясь перед зеркалом. — И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?»

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любование красотою Минны.

«Пробудитесь, Эдвин», — сказала она вполовину тронутым, вполовину ласковым голосом.

«Так, я грезил, фрейлин Минна, простите меня или лучше самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него».

«Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!»

«Еще раз виноват, фрейлин Минна, — я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо!» Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял пред прекрасною девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником пред светскими красавицами? Кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце — остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угро-

зами. И что ни говори — я не верю многословной любви в романах.

«Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет», — сказала Минна.

«Лесть, но не искренность, Минна! — Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зеркало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду), вы и сами не сомневаетесь?»

«Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?»

«Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего».

«Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блестит Ревель!»

«И недаром блестит, фр. Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором».

«Кто же эта первая? — спросила Минна нетвердым голосом. — И для всех, или только для вас она кажется такою? не подкуплены ли глаза ваши сердцем? ..»

«Я думаю наоборот, фр. Минна: глаза ее очаровали мое сердце».

«Вы рассказываете про свои чувства — а мне бы хотелось знать ее имя, — сказала Минна холоднее, — могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?»

«Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе». Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила свои — и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен — Минна чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать, и чувствовать; а рыцари ливонские могли только смешить и редко, редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие; говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским, и образованностию, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях; рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою,

предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности, — Эдвин говорил ей о *ней* самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей — он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги — он любовался ее очами. Следствие угадать не трудно, ибо состояния выдуманы не для любовников, — и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего английского магазина (т. е. местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать по-новому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал пред тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину, — слушал ее с восхищением; и обыкновенно горький вздох развевал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную — не сводил их с ее окна — и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастие, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! пожалейте того, кто любил подобным образом.

«И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой», — наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким

нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинова смешалось в одно мгновение с умилительным, голос замер, сердце как будто пронзилось — но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна. Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд. Минна пришла в себя.

«Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?»

«Навеки, навсегда, фр. Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшенья земли розового; я бы избрал, продолжал он пламенно, схватив ее руку, — прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна!» Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

«Ах! зачем вы не рыцарь!» — прошептала она. Воздушный замок Эдвина разлетелся.

«Ах! зачем я не рыцарь! — вскричал он вне себя. — Зачем я злосчастен своим благополучием!» И в одно время на руке Минны напечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

«Минна, Минна!» — закричал отец из другой комнаты. «Минна», — повторила впросонках ее тетушка!

III

В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.

Кто не читывал рыцарских романов? кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титло царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ль — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома; вот и сошлись избранные судьи турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избра-

ния — пошумели, поспорили, кого избрать; и когда от кружения козьей ноги* у них закружились головы и отнялись ноги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею. Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу. За нею последовал Эдвин.

«Благодари господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею, — сказал барон, потирая от удовольствия руки... — Благодари, я за себя и за тебя дал слово...»

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из трефов коронку, и, смущенная нечаянностию, Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

«Я не поздравляю вас, — тихо сказал Эдвин, положа руку на сердце, — вы и без короны владели сердцами»,

Минна покраснела и молчала. Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны. «Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей, — сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь... — Соколом моим, фр. Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь, — конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фр. Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф — у меня уж и чепрак лиловый заказан».

«Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою».

«И быть полосатым шутом», — тихо примолвил доктор.

«Знатная мысль, — воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши, — вот, что называется, соглашаться, не сказав да. Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе».

---

* Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревельских рыцарей в честь Ревеля, которого имя производят они от слова Ree-fall — падение серны.

«Милости прошу присесть, господа, — говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту. — Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества — моей дочери; растолкуйте ей должность царскую, — а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле». Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столику.

«Добро пожаловать, старая кукушка, — сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера, — добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!»

«И, батюшка, ваша высокобаронская милость! что вздумали, — отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога. — Я ведь, как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, также часто и также верно вещую на прибыль, как и на убыль».

«Что же нового, Фрейлих?»

«Чему быть новому на этом старом свете, г. барон? — продолжал словохотливый немец, развязывая сумку, — у меня даже для завтрашнего праздника и новой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям».

«Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды».

«Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу».

«Не лучше ли выпить за мое здоровье, — сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги. — Конечно, повестки от гермейстера?»

«Приказы, благородный рыцарь!»

«Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..»

«Где нам это знать, г. барон, — стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру — я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего».

«Правда, правда, — ворчал про себя Буртнек, — ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя лягавая собака о вкусе

перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих. (Читает). Ба—ба—барону... Бур... Бур... провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца — это так связно, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами!» *

«О! конечно», — сказал, не слушая его, рыцарь Доннербац.

«Без сомнения, — прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

«Это еще учтивее, — примолвил с усмешкою доктор, — письмо написано ломаным языком».

«У тебя он очень гибок на споры, — возразил Буртнек, — посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... у меня глаза слабы — не могу разобрать: буквы мелки, как маковые зернушки, и меня недаром берет дремота с одной строчки».

«Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них, сказал доктор, пробегая бумагу глазами. — От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггенея пре... при...»

«Возьми очки», — сказал барон.

«Возьмите терпенье, — возразил доктор... Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь».

«Далее, далее?»

«Не далее, а назад, барон! мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: гермейстер Бруггеней благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста, барону Эммануилу Христофору Конраду... фон Буртнеку, урожденному...»

«Ты рехнулся, доктор...»

«Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс *при смерти* не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной такой-то...*»

«Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! — Ни дать, ни взять ты,

---

* Fraktur-Buchstaben.

словно мой конюх Дитрих, который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...»

«Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу: приказ, кажется, дан в придачу титулам: он и весь в четырех словах: «Исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

«Пусть он сам его перемащивает своим пергамином — а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу».

«Не ездите? так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде — они не журавли — не перелетят чрез болото».

«Это уж их дело, а не мое».

«Но ведь большая дорога вещь мирская, а как она идет через ваше владение...»

«Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать».

«Это значит, что где многие делают всё, что хотят, там все терпят то, чего не хотят».

«Другую, другую, доктор...»

«Разве третью», — сказал Лонциус, наливая стопу...

«Я говорю про бумагу», — с досадой произнес Буртнек.

«А я думал про стопу», — отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи. (Читает) «Гермейстер... и тому подобное... По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и беззаконно, наездом и вооруженною рукою, и насилием, и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело, *нашли*...» «Ошибка против грамматики», — вскричал доктор, останавливаясь.

«Скажи лучше, против правды, — возразил Буртнек... Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...»

«Рассмотрев, *нашел* по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами, а потому объявляем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе

употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на полюбовные сделки и многократные свои требования,—и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия, и положить новую границу от ручья Куремсе до озерка Пигуса, до заводи, где коней купают; оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к новой Пойгиной бане, а оттуда...»

«Оттуда пусть он убирается к черту!» — вскричал барон, вскокнув со стула... и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны...

«Вот правосудие! вот законы!.. когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами, — тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон *так* кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копье вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет, — а теперь, смотри, пожалуй! — Эти ходячие чернильницы, это черепокожные писаря вздумали притиснуть границу к самому рву зáмка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья — и какой воды!»

«Без воды обойтиться можно...» — возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение... «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...».

«Пусть только явится ко мне... Пусть только приедет... я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..»

«И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте

новой разграничички, чтобы они ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

«Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать... всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласился обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..»

«А что скажет на это гермейстер?»

«То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью? его флюгерною дружбой! Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без бою — даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незванного гостя найдется живой частокол с железными маковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси». Так восклицал раздраженный барон, топая ногами, — и громче и громче раздавался голос его до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга. Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка — и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием. Добрый Лонциус, сбросив с лица шутливое выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.

«Да, да, — продолжал Буртнек, — я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей».

«Честию клянусь, — вскричал Эдвин от души. — Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше».

«Располагайте, — сказал, пошатываясь, Доннербац, — мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда».

«Благодарю... Сердечно благодарю... — отвечал умиленный барон, подавая им руки... — Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. завтра турнир — и Унгерн наверно попрежнему сорвет награду, и моя дочь должна будет увенчать моего

злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами, — и где же? — Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья... Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен, и сломишь Унгерна, как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе... но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг — кто бы ни выбил Унгерна из седла — я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность».

«Руку и слово, барон, — вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку, — и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке, — если не также сомну его!» С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

«Батюшка, милый батюшка!» — воскликнула испуганная Минна...

«Минна... я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волѐю, а моя воля — твоим желаньем; что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником».

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

«Куда, куда, любезный Эдвин?» — кричал в след ему Буртнек; но ответа не было. «Чудак... а славный малый, — примолвил он, — скажи слово — и Эдвин отдает всё без росту и закладу».

«Молодец, — повторил Доннербац, — даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских».

«Преумница, — прибавил доктор, — хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...»

«Прекрасный юноша, бесценный человек!» — ду́мала полумертвая Минна... но она не сказала этого вслух.

IV

I write in haste, and if a stain
Be on this sheet, 'tis not what it appears
My eyeballs burn and throb, but have no tears.

Byron.

Как бешеный, вбежал Эдвин домой. Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелися вдребезги — и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

«Кончено... Решено... говорил он, скрежеща зубами, — турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду», — вскричал он слуге своему.

«Куда?» — спросил тот с изумлением.

«Кто смеет спрашивать, куда? я еду — и этого довольно; ветер хорош, кораблей много: готовься».

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!.. Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме, вот оно:

«Для меня всё решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно — тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец, я безумец! из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. или ты думал, что пылкое, верное сердце стоит рыцарского герба! Ты думал... нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву... — Вы знаете ли, прелестная Минна, что такое яд ревности; испытали ли вы муки безнадежной, отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня — и, кажется, все часы, все дни, потерянные

в рассеянности, промелькнувшие в восторге, — склубились теперь в минуты, в бесконечные минуты!!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неумолимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость — еще один взор, как сего дня... и я причарован — и что тогда? мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливца, которому выпадет мое счастие, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыться, — не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будет мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна, — и верьте сердечному, хотя не рыцарскому, слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите. — Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Эдвина, который, прислонясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампады — и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись, как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, — и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем, метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

«Amour aux dames, honneur aux braves!

Летит, как вихорь, как огонь,
Пред недвижимым строем;
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.

*

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали сребристооблачной бахромой касался воде полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо — и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; всё было оживлено, всё дышало радостию, всё праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг и Брейт-штрассе — две дороги, ведущие к дом-плацу в Вышгороде, заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж немногие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вкруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями. Под балдахином сидел гермейстер, в белой бархатной мантии, с черным на левом плече крестом, в полукафтанье с разрезами, унизанными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски. Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домаш-

нем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизанной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем, как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность, — Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся окружность, — и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась злословием и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

«Мне жаль бедную Минну, — сказал доктор, которому все казалось в забавном виде. — Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы; какое противоречие — гермейстер и Минна!»

«Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи! — отвечал Эдвин. — Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин ревельских, — следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статуйку, — жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворочает рулем нашей думы и не

раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной: они горят одною страстью — к стеклу, т. е. он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу, — дворянка Зегефельс. Он, сказывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой — это ландрат Эзелькранц; за ним сидит певица фрейлейн Лилиендорф — знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою, — баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...»

«Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?»

«Всем, кому угодно, доктор! .. он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт — он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова изо всего Ревеля».

«Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние; но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?»

«Это мученик и образец щегольства... фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга: *

* Гер. Плеттенберг в 1503 году издал для удержания роскоши указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий, но это осталось без действия.

шейная цепочка его весит ровно в 30-ть фунтов, и посмотри<те>, в какие перстни закованы его пальцы. — Он имеет *вес* между рыцарями».

«Ну, а тот с бекасиною фигурою, низенький?»

«И низкий человек? Это продажная душа, вицбетрейбер Рабенштраль; но вот въезжают и рыцари: в голове их командор Везенберга Гарткнокх: он прост, как строус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвибель; сквозь его прозрачность * можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женино ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...» Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари при звуке труб и литавр по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копья перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но всё это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржание коней, бренчание сбруи и плески и разнообразие кругом — всё изумляло странностию, было дико, но пленительно. И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба — и уже копья ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат, более чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копья поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ловят промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой

* Sein<e> Durchlaucht — его светлость, его прозрачность, немецкий титул.

увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился через голову с конем своим. Забавнее всего был удар копья Унгернова — он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на ноги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников. Бросив повода и опершись на копье, величаво стоял он среди площади. Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала, — никто не являлся. Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду — отдать лучшую храбрейшему!»

«Отворите!» — закричал неизвестный рыцарь, приближаясь, — и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее. Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле — только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрянули от удара. Минуту стоял он, как вкопанный, слегка поигрывая поводами, — как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом, поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотою насечкой. Огненный цветом и ходом конь его храпел и форкал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвеваемой его ногами.

«Какой статный мужчина!» — сказала, прищуриваясь, фрейлейн Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

«Какой жеребец! — воскликнул ее брат, — во всех статях — даже и хвост трубою. Это картина — не конь. Крестец, хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... Только что не говорит».

«Эту привилегию имеют только ослы», — с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

«Это я вижу теперь, — смеючись отвечал фон Клокен. — Но кто этот неизвестный удалец?»

«Это Доннербац», — отвечали многие голоса!

«Неужели он так скоро успел просушить свою голову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида».

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копье, низко, низко поклонился Минне — и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко осадил коня, что муштук звукнул о муштук... «Что это значит?» — с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

«Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике, — насмешливо отвечал неизвестный, — то брошенная перчатка значит вызов на бой!»

«Рыцарь, я уже давно этою указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремена!»

«Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединок».

«Ха! ха! ха! Ты, меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!»

«Чему ты смеешься, гордец? я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали».

«Ах ты, безымянный хвастун! — ты стоишь быть стоптан подковами моего коня».

«Наглец и пустослов, — поднимай перчатку или убирайся вон из турнира».

«Я выгоню тебя вон из света, безумец, — вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника, — и также воткну на копье твою голову».

«Пощупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!»

«Это твой приговор... поклонись в последний раз петуху на Олаевской колокольне, — вы уж больше не свидитесь...»

«А ты приготовь поздравительную речь сатане...»

«Посмотрим, какого цвету кровь, двигающая этот дерзкий язык!.. Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца», — говорили рыцари, разъезжаясь. И вот герольды разделили им пополам свет и

ветер, сравняли копья — и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склонясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха, сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн сбирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьем. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится... Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два — и копьев как не было; но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завеяли платками в одобрение Унгерна. Таковы-то люди, таковы-то женщины — они всегда на стороне победителя.

«Славно, славно, земляк! — кричали ему ревельцы, — ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадью».

«Едва ли это не правда», — примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив, ни мертв ждал развязки боя.

«Теперь он знает, каково рвать незабудки с копья Унгернова», — прибавил другой.

«Я, чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь», — сказал третий.

«Распечатай его наличник!» — кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты, — так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороху.

Снова, с новыми копьями устремились рыцари навстречу; один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились — и Унгерн пал.

Разгорячен, спрыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыли, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

«Ну, Унгерн. Кто победитель?»

«Судьба», — отвечал тот едва внятно.

«И смерть — если ты не сознаешься, кто победил тебя?»

«Ты, ты!» — отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

«Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней — или чрез минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет? ..»

«Я на всё согласен!»

«Слышите ли, герольды и рыцари! я лишь на этом условии дарю ему жизнь».

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу. «Слава великодушному, награда и честь победителю!» — раздалося в громе рукоплесканий. «Ему, ему награду», — восклицали все.

«Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок», — решили судьи турнира, и герольды провозгласили то. Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты, поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

«Благородный рыцарь! — сказал гермейстер Бруггеней, стоя, — ты оказал свою силу, свое искусство и великодушие — покажи нам победное лицо свое для принятия награды!»

«Уважаемый гермейстер! Важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство».

«Таковы уставы турнира».

«В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться». Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

«Храбрый паладин, — сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским... Неужели откажетесь вы ответствовать на мой привет за здоровье победителя? .. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...»

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

«Нет, нет, — говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем — он колебался. — Минна! — воскликнул он, наконец, хватая кубок, — да будет! .. я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здравие и счастье царицы красоты!»

При громе труб незнакомец поднял наличник...

VI

Не встанешь ты из векового праха;
Ты не блеснешь под знаменем креста,
Тяжелый меч наследников Рорбаха,*
Ливонии прекрасной красота.

Н. Языков.

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет 15 спустя после введения лютеранской веры. Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттенберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новогородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудрено ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами от чистой души уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примолвить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унизить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный изо всех обитателей Ливонии, льстимые легкостию стать дворянами чрез покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностию, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари в борьбе с ними обоими закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное

* Рорбах был первым магистром Ордена лифляндских меченосцев (Swerdt <Schwert> Brüder).

следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду: слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество черноголовых (S<ch>warzen-Häupter),[а] как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню, но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие.

На чем бишь мы остановились?

VII

«Что будет, то будет, что будет,
то будет, а будет то, что бог даст».

Богдан Хмельницкий.

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

«Эдвин!» — воскликнула Минна!

«Купец!» — закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию. «Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает месть!» — раздавалось отовсюду; и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище. «Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца, — кричали рыцари, — он не наш».

«Он будет наш, — возражали шварценгейптеры, стеснясь в кружок около бесчувственного Эдвина; мы не дадим тронуть его волоском...»

«Кто не даст, кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский?» — шумели дворяне.

[а] *У Бестужева:* Swartzen-Häupter

«Не из милости, а по праву».

«Кто дал права, тот может и взять их».

«Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью».

«Старые песни, старые сказки... храбрость ваша качается на весовой стрелке, — а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...»

«Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...»

«Аршинники — разбойники!» — летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельвиг вскочил на перила и громовым голосом говорил: «Дворяне и рыцари! вот следствие нашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата — и преимуществ Ордена; не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переду. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку».

«Да будет, да будет!» — загремели дворяне и рыцари; и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копья в турнире».

«Так мы сломим их в битве», — зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

«А коли так, — бейте черноголовых», — закричали рыцари.

«Рубите пустоголовых», — восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и в миг мечи запрыгали по латам, и бой завязался. Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех; ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира — никто не слушал, никто не замечал его.

Наконец, усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. — Обе стороны склонились на увещания доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнию за эту игрушку.

Эдвин всё еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая за Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

«Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!»

«Но мои предки, г. доктор, мои предки! Лучше не сдержать слово, чтобы поддержать имя. Коротко сказать — Эдвин очень высоко задумал; я вовек не выдам Минны за человека без славного имени».

«Зато с доброю славою».

«За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба».

«У него их тысячи, барон, и все на золотом поле».

«Хоть весь он рассыпься червонцами — я не соглашусь раздвоить * свой щит с вывескою».

«Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручил вам отнятое Унгерном, — неужели за великодушие заплатите вы неблагодарностию?»

«Добродетель — не титул...»

«Мы производим его в командоры шварценгейптеров», — гордо возразили старшины сего сословия. Он заслужил это достоинство храбростию».

«Слышите ли? — сказал доктор... — Это почти рыцарское достоинство!»

---

* Écarteler — геральдическое выражение.

«Батюшка, — вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная, — он оживает — мой Эдвин оживает. — Простите... — продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами... — я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину». Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии, — и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустилась на плечо отца. Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы — хотел поцелуем призвать в нее жизнь — и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице. Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее. «Он богат, прекрасен, командор и храбр — это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишить счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...»

«Дай мне подумать хоть день, хоть час...»

«Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце.. И так, Эдвин зять ваш?»

«Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!»

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку. Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьем в руке...

«Куда едешь, любезный Доннербац?» — спросил Буртнек.

«На турнир», — отвечал тот, протирая глаза...

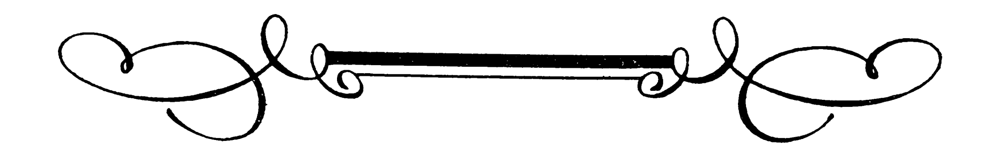
«Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу», — с усмешкою сказал Эдвин.

«На твою свадьбу, — неужели с фр. Минною? .. не сон ли это?»

«Дай бог век не просыпаться от такого счастливого сна».

Шумно промчался поезд мимо — и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.

А. Бестужев.



ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ

Бежит неверное здоровье,
И каждый час готовлюсь я
Свершить последнее условье,
Закон последний бытия.
Ты не спасешь меня, Киприда;
Пробьют урочные часы,
И низойдет к брегам Аида
Певец веселья и красы.

*

Простите, ветреные други,
С кем беззаботно в жизни сей
Делил я шумные досуги
Веселой юности моей!
Я не страшуся новоселья,
Где б ни жил я, мне всё равно;
И там я буду от безделья
Хвалить забавы и вино.
Не изменясь в подземном мире,
И там порой на тихой лире
Превозносить я буду вновь
Покойной Дафне и Темире
Неприхотливую любовь.

*

О, Д... слезы мне нужны;
Любим я жребием — и весь
Я не умру ни там, ни здесь:

Со мною музы были дружны.
Не жалки мне земные дни!
У тихих вод спокойной Леты
Прочту Катуллу и Парни
Мои небрежные куплеты —
И улыбнутся мне они.

*

Когда из таинственной сени,
От темных Орковых полей,
Здесь навещать своих друзей
Порою могут наши тени, —
Я навещу, о други, вас,
Сыны забавы и веселья!
Когда для шумного похмелья
Вы соберетесь в праздный час,
Приду я с вами Вакха славить,
А к вам — молитва об одном:
Прибор покойнику оставить
Не позабудьте за столом.

*

Меж тем за тайными брегами
Друзей вина, друзей пиров
Веселых, добрых мертвецов
Я подружу заочно с вами.
И вам известною порой
Закон губительный Зевеса
Велит оставить мир земной:
Мы встретим вас у врат Айдеса
Знакомой, дружеской толпой,
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид.

Б.

ВЕСНА

Идиллия Мелеагра

(С греческого)

Бури и вьюги печальной зимы улетели с эфира,
Вновь улыбнулась весне цветоносной румяная Ора,
Мрачное поле украсилось бледно-зеленой травою,
Вновь дерева, распускаясь, младыми оделись листами.
Утро, питатель цветов, мураву напояет росою:
Луг засмеялся угрюмый, и роза на нем заалела.
Звонкой свирели в горах раздалися веселые звуки;
Белое стадо козлят пастуха забавляет играньем.
Вдаль по широким валам мореходец отважной понесся;
Веяньем легким зефира наполнился трепетный парус.
Все торжествуют на празднике гроздолюбивого Вакха,
Веткой плюща и лозой виноградной власы увивая.
Делом своим занялись из тельца происшедшие* пчелы:
С дивным искусством и пламенным рвением в улье слепляют
Белые, медом златым и душистым текущие соты.
Яркие клики и песни пернатых несутся отвсюду:
С волн Алькионы стенанье, чирликанье ласточки с кровли,
Крик лебединый с реки, соловьиные свисты из рощи.
Если ж и листья приятно шумят и поля расцветают,
Голос свирели в горах раздается и резвится стадо,
Вдаль мореходец плывет, Диониз заплясал от восторга,
Весело птицы поют и трудом наслаждаются пчелы,
Можно ль весною певцу удержаться от радостных песней?

Масальский.

---

* Некоторые из древних думали, что пчелы происходят из убитых и зарытых в землю быков.

К ***

Зачем божественной Хариты
В ней расцветает красота,
Зачем так пурпурны ланиты,
Зачем так сладостны уста?
Она в душе не пробуждает
Возвышенных, изящных дум,
При ней безумье не скучает,
И пламенный хладеет ум.
Как дочь невежества простая,
Она не любит пиэрид,
Она, очами не сверкая,
Поэта имя говорит.
Слуге сует, слуге забвенья
Ее любовь обречена;
Но жизнь любимца вдохновенья
Поймет и скрасит не она;
Так след убогого челна
Струя бессильная лобзает,
Когда высокая волна
Через него перелетает.

Н. Языков.

ЮНОСТЬ

Недолог век сердечной воли,
Недолго игры тешат нас:
Счастлив, кто взял у строгой доли
Для юности хоть лишний час!

Как часто дева, расцветая,
Уж видит тягостные сны,

И блекнет красота младая,
Не пережив своей весны!

Как часто, розами увитый,
Задумчив, юноша молчит,
И на румяные ланиты
Слеза неслышимо бежит!

Толпой веселых окруженный,
Он улыбается порой,
Но, думой грустной отягченный,
Не делит радости душой.

Так на проталине весною
Былинка ранняя стоит
И хладной скована зарею
Красой безжизненной блестит.

Плетнев.

ПОСЛАНИЕ К А.

Мой милый, как несправедливы
Твои ревнивые мечты!
Я позабыл любви призывы
И плен опасной красоты;
Свободы друг миролюбивый,
В толпе красавиц молодых,
Я, равнодушный и ленивый,
Своих богов не вижу в них.
Их томный взор, приветный лепет
Уже не властны надо мной:
Забыло сердце нежный трепет
И пламя юности живой;

Теперь уж мне влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежде верить безрассудно,
Мужей обманывать грешно.
Прошел веселый жизни праздник!
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надежной?»
И ничего не нахожу.
Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Когда любовник исступленный
Тоскуя плачет предо мной
И для красавицы надменной
Клянется жертвовать собой;
Когда в жару своих желаний
С восторгом изъясняет он
Неясных, темных ожиданий
Обманчивый, но сладкий сон
И, крепко руку сжав у друга,
Клянет ревнивого супруга
Или докучливую мать,
Его безумным увереньям
И поминутным повтореньям
Люблю с участием внимать;
Я льщу слепой его надежде,
Я молод юностью чужой
И говорю: так было прежде
Во время оно и со мной.
И что ж? изменой хладнокровной
Я ль стану дружеству вредить,
И снова тактики любовной

Уроки хитрые твердить?
Люби, ласкай свои желанья,
Надежде, сердцу слепо верь.
Увы! пройдут любви мечтанья
И будешь то, чем я теперь.

А. Пушкин.

ВЕСНА

Весна! живи и луг и лес!
Сними с полей зимы уборы,
Одень в блистанье свод небес
И в зелень сумрачные горы!
Ручей, уснувший в берегах,
Буди живительным дыханьем,
Веди наяд луны с мерцаньем
Плескаться в зеркальных струях!
Зови любовников счастливых
В приют хранительных аллей —
Пусть их пленяет соловей
И сумрак рощей молчаливых!
Леса! раскиньте сень свою!
Цветы полей — благоухайте!
И негой томною питайте
Лень прихотливую мою!
Пошлите сердцу упоенье,
Заботам тягостным — покой,
Любви — жар юности живой,
Сну — тень, и лире — вдохновенье.

Е. З—ий.

АБАЗИЯ

Забуду ли тебя, страна очарований!
Где дикой красотой пленялся юный ум,
Где сердце силою пленительных мечтаний
Узнало первые порывы смелых дум
И в дань несло восторг живейших удивлений!
    Волшебный край! приют цветов!
    Страна весны и вдохновений!
Где воздух напоен дыханием садов
И горный ветерок жар неба прохлаждает,
Где нега томная в тиши густых лесов
К забвенью и мечтам так сладостно склоняет!
    Где поражают робкий взор
Кавказа льдяного зубчатые вершины,
Потоки быстрые, леса по цепи гор,
Аулы дикарей и темные долины!
Где всё беседует с восторженной душой!
    Так сладостно ночей теченье,
    Роскошны сны и тих покой!
Там в грудь мою лились восторг и наслажденье, —
И я дышал огнем поэзии святой!

Е. З—ий.

1823, июня 6 дня.
Сухум-Кале.

МИНУТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Кто ты, прекрасный посетитель!
Какого мира тайный житель?
Ты весел, призрак молодой,
Как светлый месяц над водой:
Я вижу образ девы чистой;

Она легка, как ветерок,
И на челе ее, душистый
Белеет розовый венок!
Ты, миловидная, украдкой
Ко мне нежданная сошла;
И тонет сердце в неге сладкой,
И вся душа моя светла...
Ужель забвенной лиры звуки
Иль нестерпимы сердца муки
Тебя, мой гость, свели с небес,
К моей ладье, в пучине зыбкой?..
Но грусть снята твоей улыбкой,
И мрак с души моей исчез...
Ты чистою своей рукою,
Зачерпнув жизни в небесах,
Ко мне, убитому тоскою,
Ко мне, утопшему в слезах,
Как луч от ясных звезд слетела:
И улыбалась мне и пела...
И как те песни сладки мне
О неизвестной стороне! —
Какие свежие долины
Я видел в синей, дальной мгле,
Иль в очарованном стекле? —
Твои волшебные картины,
Как светлой юности мечты:
В них, полны жизнью, дышат розы,
Как перси юной красоты!
И как любви счастливой слезы
Горит жемчужная роса...
И голубые небеса
Верхи лесов и гор лобзают...
Бывало часто налетают
К моей доверчивой душе
Мечты о счастии прекрасном,

Когда я в сумраке ненастном
Дремал в походном шалаше...
Ты, дева, золотить любила
Те перелетные мечты
И ласково с чела сводила
Следы забот и суеты;
И проясняла вид угрюмый
Какой-то сладкой, тайной думой...
С любовью пылкой и святой
Лобзал я пояс золотой
И белую, как день, одежду...
Кто ж ты, приветная краса!
Твой дом какие небеса? —
Но я узнал в тебе — *надежду*...
Ах! погости теперь со мной,
Как прежде с юношей гостила,
Когда мне вести приносила
О сладкой жизни неземной!
Но тени ночи пролетели,
Светилы неба догорели,
Настал земной тревоги час —
И дева скрылася от глаз!..

Ф. Глинка.

СТАНСЫ

(К. А. Б—ву)

Не сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей:
Горький жребий одиночества
Мне сужден в кругу людей.

Слишком рано мрак таинственный
Опыт грозный разогнал,
Слишком рано, друг единственный,
Я сердца людей узнал.

Страшно дней не ведать радостных,
Быть чужим среди своих,
Но ужасней истин тягостных
Быть сосудом с дней младых.

С тяжкой грустью, с черной думою
Я с тех пор один брожу,
И могилою угрюмою
Мир печальный нахожу.

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные
Иль бессмысленных детей...

Рылеев.

ДЕВУШКЕ,

которой имя было: Аврора

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари!
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой, и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

Б.

ОТРЫВКИ

из письма о Швейцарии

...Я приехал ночью в Мерсбург, маленький городок на берегу Констанцского озера. На другой день, переждав жаркое время, в три часа пополудни, пошел я на берег; свой Stuhlwagen отправил на перевозном судне прямо в Констанц, а сам в маленькой лодке поплыл на остров Мейнау, находящийся в Северном заливе озера. Время было ясно-тихое, но зной еще не миновался; скоро повеял попутный ветр, гребцы подняли парус и положили весла. Лодка плыла без движения, и я, сидя под тенью паруса, видел перед собою великолепное зрелище: у меня перед глазами была, как будто в сокращении, вся Швейцария; я видел вдруг три кантона ее: Тургау, Аппенцель и С. Галлен; на берегах, которые отвсюду полугорою сходили к равнине озера, было рассыпано бесчисленное множество сел, за́мков, домов, рощ, пажитей и садов; берега кантона Тургау, прелестные своим изобилием, были плоски; над Аппенцелем и С. Галленом подымались Альпы; но прелестнейшую картину представляло само озеро; нельзя изобразить словами тех бесчисленных оттенков, в которых является его поверхность, изменяющаяся при всяком колыхании, при всяком ветерке, при всяком налетающем на солнце облаке; когда озеро спокойно, видишь жидкую тихотрепещущую бирюзу; кое-где виолетовые полосы, а на самом отдалении яркий, светло-зеленый отлив; когда воды наморщатся, то глубина этих морщин кажется изумрудно-зеленою, а по ребрам их голубая пена с яркими искрами и звездами; когда же облако закроет солнце, то воды, смотря по цвету облака, или бледнеют, или синеют, или кажутся дымными. Плаванье мое продолжалось час с четвертью. Мейнау есть маленький островок, покрытый виноградниками, огоро-

дами и рощами; некогда принадлежал он Мальтийскому ордену, а теперь в за́мке командора живет старая вдова с прекрасною дочерью, и эта пустынная красавица показывала мне пустынные горницы за́мка; в нем одни голые стены, но вид с балкона несравненный: я просидел на нем около часа; жар между тем миновался; я взял проводника и пошел пешком в Констанц: Мейнау соединен с берегом узким мостиком, сделанным для одних пешеходов. Дорога от него до Констанца довольно приятная: идешь по большей части лесом, который часто раскрывается, и тогда по сторонам представлялись глазам моим поля и пажити, освещенные заходящим солнцем. Констанц, город некрасивый и неоживленный. Я осмотрел в нем некоторые здания, достойные примечания: дряхлая деревянная палата, в которой были заседания Констанцского собора, обесславившего себя убийством Гусса, есть не иное что, как сарай в 80-т шагов длины и в 40-к ширины: он служит теперь магазином для складки товаров во время ярмонки. В одном углу этой палаты, на небольшом возвышении, стоят два стула, на которых во время собраний сидели император и папа, оба весьма скромные, но императорский выше папского, и *рядом* с ними (в доказательство, сколь правосудно время) лежит кузов той повозки, в которой несчастный Гусс отвезен был на место казни: посетитель смотрит на него с большим чувством и уважением . . . . Доминиканский монастырь, в котором был взят и заключен в темницу Гусс, огромное готическое здание, есть не иное что, как огромная развалина; кельи монахов обращены в ситцевую фабрику, более всего сохранилась Гуссова тюрьма: маленький чулан со сводом, в три шага длины и ширины; но церковь вся в разрушении, кое-где на стенах видны остатки живописи; кровля упала; три ряда высоких столбов ничего не поддерживают; . . . . но одно разрушенное окно служит рамою прекрасного ландшафта, в нем расцвела молодая береза; легкий ветр, едва нарушая тишину развалин, колебал ее ветвями, и сквозь их подвижную решетку видно было озеро и отдаленные светлые берега его. Вечер этого дня провел я на колокольне кафедральной церкви и видел удивительную картину заходящего солнца.

...Из Констанца через Фрауэнсфельд и Винтертур поехал я в Цирих, где пробыл несколько дней. Отсюда по-настоящему начинается мое швейцарское путешествие. Доктор Эбель, с которым я познакомился, оракул всех посещающих Швейцарию, дал мне несколько нужных советов, и я, нанявши проводника и оставив весь свой багаж в Цирихе, пустился в путь 3-го августа н. с. рано поутру. Завернув на высоту Альбиса (с которой обширный вид на Цирихское и Цугское озеро), доехал я с фурманом до Цуга; здесь сел в лодку и прелестным озером Цугским переплыл в Арт; откуда, вооружившись длинною альпийскою палкою, полез по крутому всходу на высоту Риги. Это путешествие продолжалось более трех часов, весьма утомительных. На высоте я застал захождение солнца, и хотя облака покрывали небо, но зрелище, которое видел я, было великолепное: я ночевал в трактире на Rigi Staffet и на другой день всходил на самую вершину горы (Rigi Culm), чтоб видеть первую минуту солнечного восхождения. Обе картины были так пленительны, что, покидая вершину Риги, я обещался опять навестить ее на возвратном пути своем. Я спустился вниз тою же дорогою, по которой взошел, потом поворотил вправо, и мимо ужасных развалин горы, задавившей двенадцать лет тому назад прелестную деревню Goldau, пошел к деревеньке Ловерц, полуразрушенной тем же падением; переплыл маленькое Ловерцкое озеро, посреди которого уединенно цветет зеленый островок Schwanau, и к вечеру очутился в Швице, в очаровательной долине, полной жизни, изобилия и отвсюду окруженной великолепными горами. Следующий день был один из самых утомительных дней моего пешеходства. Я встал вместе с солнцем, но утро было душное. Дурными, вымощенными крупным камнем, дорожками пошел я чрез Steinen (место рождения Штауффахера; там, где стоял его дом, построена теперь часовня) к Моргартену, где была одержана первая победа свободы швейцарской. И на этом месте также стоит часовня. Отсюда чрез Sattel Rothenthurm в Einsideln. Зной был несносный; дорога по камням убийственная для ног: пришед в Эйнзидельн, я почти ничего не мог порядочно осмотреть от расслабления; отдыхать же было некогда; надобно было засветло воротиться в Швиц, ибо возвратный путь шел через крутую гору Haggen. Признаюсь, Эйнзидельн

не имел для меня ничего привлекательного: положение монастыря неживописное; я видел богатую церковь, толпу богомольцев и процессию монахов, — но усталость и боль в ногах мешали моему вниманию. Но конец этого дня вознаградил за неприятное начало его: возвратный путь через зеленую долину Alpthal, всход на Haggen и потом спуск по крутизне при блеске начинающейся грозы в долину Швица — останутся навсегда в моей памяти. Гроза только украсила для меня ночную картину гор, которые чудесно являлись и исчезали при быстром блистании молний: она началась во всей своей силе, не прежде как по возвращении моем в трактир. Я думал, что на другой день ноги откажутся мне служить, но проснулся свеж и здоров и, напившись кофе, пошел в Бруннен; там сел в лодку и поплыл к Grutli, восхищаясь диким величием, окружающим озеро *четырех кантонов*, самое живописное из всех озер швейцарских. Grutli есть маленькая, покрытая зеленым дерном площадка, до которой в десять минут можно достигнуть. На ней нет памятника; но свобода Швейцарии еще существует! Это место удивительно трогает своею тихою прелестию посреди грозного величия окружающих его утесов. Я не мог долго на нем остаться: гребцы предвидели грозу, и надобно было спешить, дабы предупредить южный ветр (Föhn), который обыкновенно здесь начинается пополудни и бывает часто опасен в этой части озера, окруженного крутыми берегами, к которым нигде пристать невозможно. Мы поплыли к Телевой часовне (Tells Platte), а оттуда к деревне Früelen. Гроза началась, когда я пришел в Альторф, и кончилась к концу моего обеда, после которого я ходил в Бюрглень, место рождения Теля. Там нашел я живописца Триннера, который невеликий артист, но был для меня привлекателен тем, что мог рассказывать как очевидец о Суворове, которого видел в этом месте. Из окон башни, обросшей плющом, в которой живет Триннер, взглянул я на вершину Кинцингкульма, доступную только горным пастухам, чрез которую наш Аннибал перевел свое войско, томимое голодом, но непобежденное. Der alte war doch lustig (сказал мне Триннер). Er pfiff, und sang, und lachte und sprang wie ein Kind. Место, где жил Вильгельм Тель, означено часовнею. Этот обычай строить вместо великолепных памятников скромные олтари благодарности богу на

местах славы отечественной трогает и возвышает душу. Но такого рода памятники особенно приличны Швейцарии. В пустынях Египта можно дивиться пирамидам и обелискам — чтобы они были у подошвы Альпов! Зато на вершине Риги стоит простой деревянный крест, и маленькая часовня Теля таится между огромными утесами; но они *не исчезают* посреди этих громад, ибо говорят не о бедном могуществе человека, здесь столь ничтожном, но о величии души человеческой, о вере, которая возносит ее туда, куда не могут достигнуть горы своими вершинами.

...В два дни моего путешествия через С. Готар видел я природу во всех ее изменениях: близ Альторфа все горы зелены; но это печальная, однообразная зелень елей и сосн, между которыми в разных местах блистает светлая зелень горных пажитей. Рейсса еще спокойна, у Амстега всё становится мрачнее, горы круче, ели реже, скалы виднее; дорога вьется над пропастями, в которых Рейсса, то видимая, то невидимая, шумит, образуя беспрестанные каскады. Когда я шел, небо было туманно, вершины гор, исчезая в темных облаках, казались бесконечными, но изредка проглядывало солнце и на минуту зажигало быстрые волны и пену Рейссы. Чем далее вперед, тем разительнее дикость: наконец у Gestinen исчезает растение; видишь одни утесы, покрытые изредка мохом и травою; видишь, как время разрушает их мало-помалу зноем, холодом, дождем, морозом и бурями: камни, беспрестанно отваливающиеся, лежат повсюду живописными грудами, и эта долина камней становится наконец столь узкою, что одна только Рейсса, падающая шумным каскадом, занимает ее дно: поперек долины, над самым каскадом, изгибается *Чертов мост*: к нему с одной стороны ведет узкая дорожка, до половины выдолбленная в утесах, до половины поддерживаемая каменными сводами; с другой стороны — почти такая же узкая дорожка, подымаясь вкруть, упирается в скалу, которую пробила насквозь промышленность человеческая: глазам представляется темное отверстие, как будто ведущее в глубокую бездну; но что же?.. Мое счастие и здесь меня не покинуло! Солнце выглянуло из туч и ударило на прелестный Андерматт в самую ту минуту, как я выходил из-под Урнерского свода. Ничто не

может быть очаровательнее этой противуположности: вдруг после густого мрака пещеры видишь светлую, окруженную зелеными холмами, долину, и в глубине ее веселая деревня. Зрение обмануто: думаешь, что перед тобою низкие дерновые пригорки; но эти пригорки не иное что, как вершины высоких гор, окружающие скрытую меж ними долину и близкие к снежной вершине С. Готара. Я ночевал в Андерматте, который чрез минуту после моего прихода исчез в тумане; пошел дождь, смешанный с снегом, но к утру всё миновалось; осталась одна клубящаяся мгла над высотами, и, окруженный ею, взошел я на вершину С. Готарской дороги: неописанное зрелище природы, которой здесь нет имени! ибо здесь она ни с чем знакомым не сходствует; кажется, что стоишь на таком месте, где кончится земля и начинается небо; пред тобою равнина, вымощенная огромными голыми плитами гранита; кругом низкие холмы, но уже не зеленые, ибо здесь и трава исчезает, а снежные или просто нагие растреснутые утесы; с одной стороны маленькое светлое озеро не более дождевой лужи; из него тихо бежит ручей; с другой стороны такое же озеро и такой же тихий ручей. Это Тессин и Рейсса; здесь они навсегда разлучаются; отсюда бегут один на юг, другая на север, и в быстром течении разрывают гранитные горы. И с этого места начинаешь быстро спускаться в Айроло, имея вправе шумный Тессин, который скоро является во всем своем могуществе, и, наконец, близ самого Айроло образует каскад, удивительно живописный. На самой вершине уже увидел я спор светлого Юга с угрюмым Севером: со стороны Италии проглядывало голубое небо, со стороны Рейссы клубились туманные облака; и небо сделалось ярко-лазурным, когда я, спустившись к Айроло, вдруг очутился посреди роскошной италианской природы. Уже близ Айроло ели и сосны становятся реже; их место занимают буки, ореховые деревья, потом каштаны, и, наконец, пред глазами очаровательная Левантинская долина, посреди которой шумит Тессин в тени зеленых ольх, оживленная селами, церквами, замками, уже имеющими характер италианский. Я недолго отдыхал в Айроло, ибо надобно было засветло дойти до Aldazzio grande, чтобы видеть чудесный мост чрез Тессин и ночевать потом в Faido. Этот вечер принадлежит к прелестнейшим в жизни. Какое разнообразие в зрелищах! Какое удивитель-

ное захождение солнца! По-настоящему солнце, посреди высоких гор, не всходит и не заходит *для глаз*. Оно еще высоко на небе, а для тебя уже его нет! но чудесно освещенные бока долин, но утесы, которые медленно угасают, долго еще говорят о невидимом. Я шел долиною Левантинскою, солнце уже было за горами, но Сен Готар весь в огне стоял над Айроло и светил в долину, и с одной стороны на половине гор, сливающихся в одну стену, леса пылали; этот розовый пламень мало-помалу подымался, черная тень бежала за ним из долины, наконец осталась одна светлая полоса, подобная огненной гриве на хребте горном, и та скоро исчезла, и звезды Италии загорелись... В каком прозрачном небе! с какою неизъяснимою ясностию!

...Оставив Милан поутру рано, я был уже в четыре часа пополудни в Sesto Calende на берегу Lago Maggiore; время было несравненное, и я поплыл к островам Борромейским, остановился у Ароны, чтобы взглянуть на колоссальную статую Карла Борромея; потом, при захождении солнца, вышел на берег у Бельжирато, дабы дождаться луны и при свете ее пуститься к Isola Bella. Этот вечер был волшебный!

...От Domo d'Ossola начинается горная Симплонская дорога, дивный памятник Наполеона; но на этой дороге видел я нечто еще более разительное, нежели сама она. Я видел лежащую на ней мраморную колонну, вытесанную из одного камня: эта колонна была приготовлена для триумфальных ворот Наполеоновых, полувоздвигнутых в Милане и к которым должна была примыкать дорога Симплонская! Но эта колонна лежит неподвижно на чудесной дороге Наполеоновой, а чудесная дорога Наполеонова примыкает к развалинам. Весь жребий Наполеона в одном мраморном обломке!

...Я был в за́мке Фернее, который нынче принадлежит гражданину Budet. В нем сохранены в прежнем состоянии только гостиная и спальня Вольтеровы; в спальне стоит кровать с полуистлевшим

занавесом, на стенах живописные портреты Фридриха II, m-me du Châtelet, тканый портрет Екатерины и несколько гравированных; на печи стоит деревянная, довольно дурная урна, в ней некогда хранилось сердце Вольтера. Теперь осталась одна надпись: «Son esprit est partout et son coeur est ici», но и та до половины уничтожена; от начала пропало *son*, а от конца *ici*, и вышла галиматья; в гостиной, где на старинной печи стоит Вольтеров бюст, есть несколько весьма дурных картин, между которыми одна, изображающая Вольтеров апотеоз, заметна своим уродством: Вольтера встречает, кажется, Минерва, а врагов его — Фрерона и прочих секут змеями мстительные гении. Аллея, по которой прохаживался Фернейский пустынник, и липовый лесок, им насаженный, сохранены в целости; надпись, сделанная им над входом построенной им церкви (Вольтер богу), уничтожена философами революции. Почти все домы в Фернее, ныне существующие, построены самим Вольтером. — Остальное время моего пребывания в Женеве посвятил я обозрению города и Бонстеттену, у которого был два раза: живой, свежий, веселый старик, с которым время прошло неприметно; он много рассказывал мне о M-me Stael, Миллере, Песталоцци и лорде Бейроне, который долго жил в Женеве нелюдимом. Из Женевы чрез Лозанну, где пробыл я три дня, поехал я в Веве, где хотел отдохнуть на просторе, написать письма и насладиться окрестностями Женевского озера; но всё не удалось: дождик, заметив, что я сижу под кровлею, пошел ливмя, а письма помешало мне писать мрачное расположение духа, которого я не захотел предать бумаге. Из окрестностей Веве я видел, однако, Кларан, куда ходил пешком накануне моего отъезда из Веве, и эта прогулка была прекрасная. Можно сказать, что небо было со мною в заговоре: всякий раз, когда я покидал свой приют, оно становилось ясным или покрывалось живописными облаками, от которых зрелище природы становилось еще великолепнее. Моим товарищем до Кларана был старый крестьянин из Montceux, с которым я сошелся на дороге. Probablement (спросил он меня) vous allez à Clarens à cause de Mr. le Baron d'Etange et de sa fille. Je vous montrerai la place où était autrefois leur maison. — *Et-ce-que vous avez lu cette Histoire?* — Oui, c'est joli comme un roman, quoique tout soit parfaitement vrai! И он просто-

душно начал мне описывать место, где жила Жан-Жакова Юлия, с полною уверенностию, что Новая Элоиза не выдумка. В тот день, в который я оставил Веве, успел я съездить на лодке в замок Шильон: я плыл туда, читая The prisonner of Chillon, и это чтение очаровало для воображения моего тюрьму Бонниварову, которую Бейрон весьма верно описал в своей несравненной поэме. Дорога от Веве до Фрибурга чрезвычайно гориста, и легко можно слететь в глубокую пропасть с повозкою и лошадьми. Я не мог порядочно осмотреть Фрибурга, видел только кафедральную церковь, самую высокую в Швейцарии, и муртенскую липу, посаженную в день победы над Карлом Смелым; глаза мои, разболевшиеся от зноя, помешали мне бродить по улицам, но свежесть вечера возвратила им здоровье, и я мог вполне насладиться окрестностями Берна, в который приехал довольно поздно. Бернская природа соединяет в себе с удивительною обработанностию (везде чувствительно изобилие и довольство) все простые прелести сельские и всё великолепие альпийское. Ни в одном из кантонов, мною виденных, не находил я таких живописных домов, как в Бернском: их архитектура совершенно сельская и весьма оригинальная. Чистота внешняя и внутренняя пленяют глаза и удовлетворяют чувству. В Швейцарии понял я, что поэтические описания блаженной сельской жизни имеют смысл прозаически справедливый. В этих хижинах обитает независимость, огражденная отеческим правительством; там живут не для того единственно, чтобы тяжким трудом поддерживать физическое бытие свое, но имеют и счастие, правда, простое, неразнообразное, но всё счастие, то есть свободное наслаждение самим собою. В Берне пробыл я недолго: спешил воспользоваться временем, которое было прекрасное, хотя знойное. Я успел только осмотреть музеум и провести целый день в Гофвиле у Фелленберга.

———

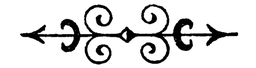
. . . Окрестности Луцерна, может быть, самые живописные в Швейцарии. Нельзя изобразить того великолепия, которое представляет хаос гор, окружающих озеро 4-х кантонов, и видимых с Луцернского моста, особливо при захождении солнца, когда горы снежные сияют и мало-помалу гаснут. — В Луцерне есть теперь памятник, которому

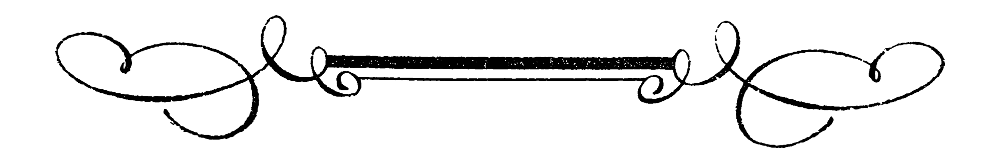
нет подобного в огромности: в высокой скале высечена пещера, и в глубине ее лежит на щите, означенном лилиями, умирающий лев. Этот лев ростом своим отвечает огромному своему пьедесталу: перед скалою пруд, в котором отражается вся эта громада. Торвальдсен сделал рисунок льва, а скульптор есть некто Ahorn из Констанца. Памятник воздвигнут в честь швейцарам, погибшим в Париже 10-го августа 1792-го.

Я сдержал обещание, данное мною Риги, и из Люцерна поплыл в Weggis, откуда ведет весьма покойная и обильная прекрасными видами дорога на высоту горы, и в этот раз имел я несколько незабвенных минут: видел всю бездну гор, освещенных вечерним и утренним солнцем. Я возвратился тою же дорогою и из Веггиса поплыл в Кюснахт, чтоб видеть die Hohle Gosse, где Вильгельм Тель застрелил Геслера; потом через Цугское озеро в Цуг, где насладился въездом папского нунция, принятого с пушечными выстрелами и с коленопреклонением. Берегом Цириха дошел я только до деревни Wädenswyl, откуда хотел переплыть в Rapperswyl, чтобы потом богатыми деревнями, лежащими на противном берегу озера, идти в Цирих пешком; но дождик, соединенный с сильным противным ветром, помешал мне исполнить этот план. Это было во второй раз во всё мое путешествие. Но, потеряв с одной стороны, я выиграл с другой. Я поплыл из Wädenswyl прямо в Цирих: сильный ветер и дождик меня преследовали, но я видел удивительную картину волнующегося озера; было что-то величественное, разительно напоминающее о провидении в этой легкой лодке, которая, несмотря на брызжущие кругом волны, всё плыла своею дорогою, в этих облаках, которые сзади налетали с дождем, но сквозь которые изредка проглядывало небо, и в этом сильном ветре, который своею бурею только быстрее мчал к пристани. И невдали от этой пристани всё утихло, и солнце удивительно украсило и берега, и горы, и воду, и близкий, как будто выходящий из озера, Цирих. Очутившись опять на том месте, с которого за полтора месяца началось мое путешествие, столь богатое разнообразными ощущениями, я подумал, что совсем не покидал его. Я видел прекрасный сон; но воспоминание бережет прошедшее. Из Цириха поехал я через Эглизау

в Шафгаузен, чтобы взглянуть на Рейнский водопад. Он поразил меня, но не пленил, как некоторые другие швейцарские водопады, гораздо более живописные. Если смотреть на него как на водопад, если видеть всю полную картину падения, то он не имеет ничего особенно разительного. *Спереди* он не иное что, как невысокий водяной уступ, шумящий и пенный, посреди которого чернеет несколько утесов, изрытых силою воды; *сверху* видишь всю реку, тихо идущую к тому уступу, с которого она падает, и сила падения почти неприметна: пленяешься блеском солнца на воде и радугою на пенном тумане. Но разительное, неописанное зрелище представляется глазам, когда смотришь на падение вблизи, с галереи, построенной на берегу у самого водопада: тут уже нет водопада, нет картины; стоишь в хаосе пены, грома и волн, не имеющих никакого образа; и это зрелище без солнца еще величественнее, нежели при солнце: лучи, освещая волны, дают им некоторую видимую, знакомую форму; но без лучей всё теряет образ; мимо тебя летают с громом, свистом и ревом какие-то необъятные призраки, которые бросаются вперед, клубятся, вьются, подымаются облаком дыма, взлетают снопом шипящих водяных ракет, один другому пересекают дорогу и, встречаясь, расшибаются вдребезги; словом, картина неописанная. На галерее можно стоять без малейшей опасности, но волны так беспорядочны, что иногда совсем неожиданно бываешь облит с головы до ног. Рейнский водопад достоин своей славы. Посреди самого падения торчит несколько утесов: со временем они исчезнут; один из них так истерт водами, что ему не прожить и полвека. На вершине самого высокого стоит деревянная фигура; она была выкрашена, но краску смыло водою, осталась одна надпись: Deus mea spes! Бог моя надежда! мысль прекрасная! В маленьком замке Wörth можно видеть весь водопад в камеробскуре: на бумаге представляется всё падение, вода волнуется, солнце светит и исчезает, ветр разносит брызги, и слышный невдали шум довершает очарование. — В Шафгаузене я простился с Швейцариею.

Жуковский.





АРМИДИН САД

(Из Тасса)

У раззолоченных палат
  Скруглялися ограды,
В средине зеленелся сад —
  Лелеятель прохлады,
И в мире не было садов
  Прелестней и пышнее;
Кругом, по манию духов,
  Покорных мощной фее,
Возникли теремов ряды,
  Раскинулись дороги,
И перепутали следы
  Дедалами в чертоги.

В волшебный сад вели сто врат;
  Пришельцы молодые
Высокими вратами в сад;
  Из серебра литые,
Они вращались на пятах
  Из золота литого;
И лицы видны на вратах —
  Полмира там земного,
Все живы — лишь не говорят,
  А, кажется, всё слышат,

Взаимный понимают взгляд
  И чувством страсти дышат.
Там виден с прялкой Геркулес;
  Герой, надежда света —
Смиритель ада, сын небес
  Прядет руно Милета.
И смотрит на него Эрот
  С улыбкою лукавой.
Омфала палицу берет,
  Расставшуюся с славой,
Бессильная — едва, едва
  Ее приподнимает;
На белы плечи кожу льва
  Немейского взлагает.

Там — над равниной вод морских
  Белеют холмы пены,
И в два ряда суда на них
  На битву ополченны:
С оружий брызжет дождь огней,
  И в заревах всё море;
За славу обладать землей —
  Два честолюбца в споре;
Здесь Август и полки римлян
  Сдавили флотом воды,
А там Антоний, враг граждан, —
  И чуждые народы.

Казалось — от своих основ
  Оторваны Циклады,
Носились по хребтам валов
  И стали пенны гряды;
Иль, духом брани оживясь.
  С горами горы бились;
Летали копья, огнь не гас,

Валы в крови дымились...
Еще сомнителен успех,
И битва не решилась,
А чуждая царица в бег
Несчастный обратилась.

И друг ее за ней бежит,
Смутился взор веселый,
И трон вселенной им забыт,
И сердце оробело...
Нет, нет! он сечей не бежит,
Он увлечен царицей:
Всмотритесь — огнь любви дрожит
Под влажною ресницей,
И пышет на лице позор:
В нем борются две силы:
То к битвам бросит беглый взор,
То на ее ветрилы.

И скоро Нил его приял
В излучине безвестной...
Там смерти он беспечно ждал
В объятиях прелестной;
Умильны ласки, страстный взор
И поцелуев нега
Стирали с памяти позор
Несчастного побега...
Пришельцев юная чета
Всё взором обежала
И за высокие врата —
И в сад уже вступала.

Меандр, в брегах своих виясь,
То всходит, то нисходит,
То вскрыт для глаз, то скрыт от глаз,
То в море волны сводит,

То, к урне возвратясь своей,
 Родные встретит воды:
Таков был лабиринт путей,
 И входы, и исходы;
Но витязи на дар святой,
 На свиток посмотрели,
На свитке яркою чертой
 Означен путь их к цели.

Идут и не глядят назад,
 Прошли все переходы, —
И вот открылся пышный сад!
 Везде живые воды,
Луга расписанных цветов,
 И холмики пушисты,
И купы молодых кустов,
 И рощицы тенисты,
И гроты, и ковры долин...
 Искусство не жалело
Здесь редких красок для картин
 И скрыться в них умело.

Всё просто здесь, во всём видна
 И легкость и свобода,
Казалося, о всем одна
 Заботилась природа,
И приняла здесь в первый раз
 За образец искусство;
Здесь воздух, чарам покорясь,
 На всё навеял чувство.
Везде могущества следы:
 Там на древах ветвистых,
Выходят тучные плоды
 Из-за цветов душистых.
Там — на смоковнице одной,

Под теми же листами
Пьет роскошь жизни плод младой
Меж зрелыми плодами;
Там в полном яблоки соку,
И яблоки зелены,
К тому ж прильнули стебельку;
Там грозды благовонны
Глядятся в виноградник вниз;
Одни лишь наливают,
Другие пурпуром зажглись
И нектаром пылают.

Качаясь на ветвях дерёв,
Пернатых хор прекрасный
Наперерыв поет любовь,
Вздыхая сладострастно;
И не шелохнутся листки,
И воды онемели,
И притаились ветерки...
Пернатые пропели —
И ветерок заговорил
С струями и листами,
И песнь любови повторил,
Лобзаяся с цветами.

Меж сих певцов один летал,
Чудесный красотою;
Он ярким пурпуром блистал
И нежной бирюзою,
И тысячью других цветов
Его пестрелись крила,
И с языка созвучность слов,
Как у людей, сходила.
Он сел на ветвь, он песнь запел,
И все ему внимали,

И ветерок дохнуть не смел,
 И струйки не плескали.

«Смотрите: роза — нежный цвет,
 Прелестная, младая,
Стыдится выглянуть на свет,
 Шипок свой развивая;
Она мила, пока мала,
 Пока не развернулась;
Глядишь — покров разорвала
 И смело улыбнулась...
Глядишь — и роза уж не та,
 Которой меж цветами
Искала не одна чета
 Влюбленными очами.

Цвет нашей жизни с каждым днем
 Приметно блекнет, вянет;
Весну не раз переживем,
 Не раз к нам май проглянет;
Любовь веснует только раз,
 Раз в жизни сердце — греет:
Рви розу в светлый утра час,
 Пока не побледнеет;
Спеши сорвать цветок любви,
 Пока все чувства живы,
Пока еще кипят в крови
 Желания порывы».

Затихла песнь, замолк певец,
 И горлицы, воркуя,
В восторге пламенном сердец
 Пьют сладость поцелуя;
И всё удвоило любовь,
 Всё к неге пробудилось,

И сердце твердое дубов
  Любовию забилось;
Кусты, и травки, и цветки —
  Весь луг живой эмали,
Земля, вода и ветерки
  Любовию вздыхали.

Раич.

Д — У

Я безрассуден, и не диво;
Но рассудителен ли ты,
Всегда преследуя ревниво
Мои любимые мечты!
«Не для нее прямое чувство;
Одно коварное искусство
Я вижу в Делии твоей;
Не верь прелестнице лукавой:
Самолюбивою забавой
Твои восторги служат ей».
Не обнаружу я досады,
И проницательность твоя
Хвалы достойна, верю я;
Но не находит в ней отрады
Душа смятенная моя.
  Я вспоминаю голос нежный
Шалуньи ласковой моей,
Речей открытых склад небрежный,
Огонь ланит, огонь очей;
Я вспоминаю день разлуки,
Последний, долгий разговор,
И полный неги, полный муки
На мне покоившийся взор.
Я перечитываю строки,
Где, увлечения полна,

В любви счастливые уроки
Мне самому дает она.
И говорю в тоске глубокой:
«Ужель обманут я жестокой?
Иль всё досель в безумном сне
Безумно чудилося мне?
О, страшно мне разуверенье!
И об одном мольба моя:
Да вечным будет заблужденье,
Да век безумцем буду я».

Когда же с верою напрасной
Взываю я к судьбе глухой
И вскоре опыт роковой
Очам доставит свет ужасный,
Пойду я странником тогда
На край земли, туда, туда,
Где вечный холод обитает,
Где поневоле стынет кровь,
Где, может быть, сама любовь
В озяблом сердце потухает.
Иль нет, подумавши путем,
Останусь я в углу моем.
Скажу, вздохнув: горюн неловкий,
Грусть простодушная смешна;
Не лучше ль плутом быть с плутовкой,
Шутить любовью, как она?
Я об обманщице тоскую,
Как здравым смыслом я убог!
Ужель обманщицу другую
Мне не пошлет в отраду бог?

Б.

Отрывок из повести:

РАЗБОЙНИКИ

Синее влажного ветрила,
Над Волгой туча проходила;
Ревела буря; ночь была
В пучине зыбкого стекла;
Порой огонь воспламенялся
Во тьме потопленных небес;
Шумел, трещал прибрежный лес
И, словно Волга, волновался.

1

Гремят и блещут небеса,
Кипит отвага в сердце нашем!
Расправим, други, паруса
И бодро веслами замашем!

2

Не чуя страха средь зыбей,
Душой не слушаясь природы,
Мы бьемся как-то веселей
При диком вое непогоды!

3

В лесах, в ущельях наши дни
Всегда свободны, беззаботны,
Как туча, сумрачны они,
Зато, как туча, быстролетны!

4

Гремят и блещут небеса,
Кипит отвага в сердце нашем;

Расправим, други, паруса
И бодро веслами замашем!

*

Такая песня раздавалась
На скате волжских берегов,
Где своевольных удальцов
Станица буйная скрывалась.
Заране радуясь душой,
Они сбирались на разбой;
Как пчелы, шумно окружали
Продолговатые ладьи
И на ревущие струи
Их дружно с берега сдвигали.

Могучи духом и рукой,
Закон и казни презирая,
Они пленительного края
Давнишний рушили покой.
Не раз пожары зажигала
В соседних селах их рука,
Не раз бурливая река
Погонь за ними не пускала,[a]
И жертвы мести роковой
Непобедимою волной
На дно песчаное бросала.
Многоречивая молва
Об них далеко говорила;
Уму несмелому их сила
Казалась даром волшебства;
Их злочестивые слова,
Их непонятные деянья,
Угрозы, битвы, предсказанья

---

[a] *В ПЗ опечатка:* напускала. (*Прим. сост.*).

Пугали старцев и младых,
Им жены с трепетом дивились,
И прослезались, и крестились,
Рассказы слушая о них.

Н. Языков.

ПЕСНЯ АЛЬПИЙЦА

Раскинулся плющ, как зеленая ткань,
По скатам Мон-блана седого,
Мелькает над бездной пугливая лань
При кликах ловца молодого.
Бывало, играл я по воле стрелой,
Душа охладела — и лук обессилел с охладшей душой!

*

Свирель пастуха пробудилась в горах,
В долинах звучат колокольчики стада,
Алеют снега на угрюмых скалах,
И радужно блещут струи водопада.
Бывало, свергался я с гор, как река,
Душа охладела — и быстрые ноги сковала тоска.

*

И кто ж благотворный огонь погасил,
Которым душа согревалась?
Кто в сердце убийцу-тоску поселил?
С ним радость давно ли раззналась.
Мой друг! ты погаснул, и с жизнью твоей
Погасло светило моих лучезарных, безоблачных дней.

*

Я помню, как с другом при трелях рожка,
За робкой козой беззащитной
Летел со скалы на скалу в облака,

Как горный орел ненасытный.
Лавина с синеющих льдов сорвалась,
Гремящая, с другом в бездонную пропасть стрелой унеслась.

*

С тех пор не отраден семейственный круг,
С тех пор опостыла долина.
Блуждаю в горах, где покоится друг,
Где в бездне белеет лавина.
Тоской безутешной томясь, одинок,
Я в бездну закинул с душою моей несогласный рожок.

Пл. Ободовский.

ЭЛЕГИЯ

Не озабочен жизнью я!
Равно мой ум и сердце праздны:
Как бой часов однообразный,
Однообразна жизнь моя.

Напрасно возвратить я мнил
Под благосклонным небом Юга
Напевы счастья и досуга
И бодрость юношеских сил.

Напрасно сердце обновить
Алкал любви очарованьем
Иль славы гордым обладаньем
Любви потерю заменить.

Не изменился жребий мой!
Я вяну, скукой изнуренный,
Как вянет цвет, перенесенный
Под небо родины чужой.

Т—ий.

Одесса.

ПОСТОЯНСТВО

Как в море плаватель, живущий без забав,
Средь звезд бесчисленных одну звезду избрав,
Младый, зовет ее любовию своею,
В пустынном странствии обрадованный ею,
Следит ее восход и в тишине ночей
Сладчайши имена придумывает ей, —
Так я, задумчивый, средь жен и дев прекрасных,
То резво-ласковых, то горделиво-страстных,
О дева милая! звезда любви моей!
Везде ищу тебя со сладостью очей,
С волшебной гибкостью и поступи и стана.
И полный страстного, отрадного обмана,
Незримый для тебя, с мечтою о тебе
Одну тебя люблю наперекор судьбе.

Т—ий.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Три звездочки на небе есть;
С них не могу и глаз я свесть:
Идут все рядом, и сияют,
И утром вместе погасают.
Быть может, в стороне иной,
Как солнца свет, и их сиянье
То льется по небу зарей,
То нежит землю теплотой
И шлет дубравам одеянье.

Но для души моей оне
Все говорят о старине.
И мне три звездочки сияли,
И сердце сладко согревали:
То дружба, слава и любовь.

Я помню их очарованье:
Но не кипит, как прежде, кровь,
И не согреет сердца вновь
Их благодатное сиянье.

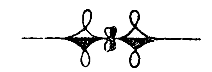
Плетнев.

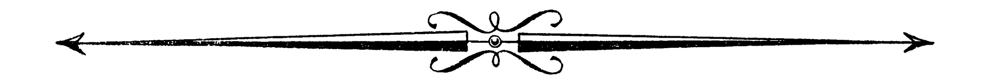
ЭКСПРОМТ

На прощание с друзьями А. И. и С. И. Т.

Прощайте, милые друзья!
Подагрик расстается с вами,
Но с вами сердцем буду я —
Пока еще храним богами.
Час близок; может быть, увы,
Меня не будет — будьте вы.

Вас. Пушкин.





ЗА БОГОМ МОЛИТВА, А ЗА ЦАРЕМ СЛУЖБА НЕ ПРОПАДАЮТ

(Исторический анекдот)

Кто был зимою или в начале весны в южной России, тот имеет понятие о вьюгах, свирепствующих иногда в обширных тамошних степях. Небольшое белое облако, появляющееся среди ясного дня на синем небе, возвещает жителям о предстоящей грозе. Многочисленные стада, спокойно отыскивавшие под снегом скудной пищи, вдруг, как будто бы по волшебному мановению, без призыву рожка, сами собою сбираются, мнутся и бегут все в одну сторону, как бы желая спастись от погибели. В одно мгновение облако распространяется по всему небу. Сильный ветр начинает мести землю, унося с собою всё, что ни встречает на пути. При дневном свете не видишь дня. Снежные равнины представляют вид волнующегося моря: в одном месте видите высокие сугробы снега; в другом — голую землю. И счастлив путник, не застигнутый в дороге сею ужасною бурею!

Теперь уже обитаема страна, прилежащая в большой Московской дороге между Павловским и Воронежем; но сто лет тому назад она представляла обширную степь. Летом высокий ковыль, в котором исчезал человек верхом, зимою однообразные равнины снега встречали унылый взор путешественника. В знойные летние дни ни одно деревцо не манило странника под свою гостеприимную тень, ни одно человеческое лицо не напоминало ему, что он не один в природе.

По сей-то дороге, в сумерки, с лишком сто лет тому назад быстро неслись длинные сани, запряженные тройкою малорослых степных ло-

шадей. В них сидело двое мужчин: один в черной овчинной шапке, в тулупе из калмыцких мерлушек, покрытом красною материею, он часто поглядывал то вправо, то влево, как будто бы ехал по знакомой стране. Другой оставался неподвижно на месте и только иногда выглядывал из-под медвежьей шубы, чтоб следовать за движениями первого. Казалось, что он хотел ловить его желания, предупреждать его волю. Между тем ночь спускалася на землю: густые тучи, гонимые ветром, быстро неслись в одну сторону; поднялась метель, лошади помчались дружнее, и ямщик, не видя дороги, занесенной снегом, пустил их на волю в надежде, что они сами собою привезут его к какому-нибудь жилью. Путешественники, закутавшись в свои шубы, не говорили друг другу слова, и только слышен был скрып саней и пронзительный свист ветра, волновавшего снег.

Наконец, тот из путешественников, о котором мы упомянули прежде, прервал молчание.

«Скоро ли перемена?» — спросил он, привстав, у ямщика, который, опустив вожжи, напевал про себя унылую песню.

«Да бог весть, ведь у нас, барин, лошадей держат в землянках, а в эту непогоду и чутьем их не найдешь».

Между тем ночь час от часу становилась темнее; ветр не уставал, и лошади, которые до того неслись стрелою, приметно начали сокращать свой бег.

«Что, брат Василий, — продолжал первый, обратясь к товарищу своему, закутанному в медвежьей шубе, — не весело ночевать под открытым небом в такую метелицу; того и смотри, что занесет снегом».

«Твоей милости это не в диковинку, — отвечал почтительно Василий, — ты в походах, и на сухом пути, и на море, видал не эдакое время... Да если мне не чудится, кажись, вправо брезжится огонек».

Первый из разговаривавших тотчас обратился в ту сторону, устремил глаза в темноту и громко прокричав: «Туда», — опять улегся в сани. Ямщик взял вожжи в руки, и усталые кони, как бы чувствуя, что скоро настанет время отдыха, помчались быстрее.

Огонек, который манил к себе странников и обещал им приют от ненастья, светил из дому, находившегося верстах в 15-ти от большой дороги, у подошвы крутого кургана. Домик сей, построенный из глины и хвороста, с соломенною крышкою, которая выказывалась в некоторых местах из-под снега, обнесен был плетнем. Небольшая прорубь в ограде служила воротами. За курганом рассеяно было несколько изб.

Быстро примчались путешественники к дому. Василий, выпрыгнув из саней, подошел к окну, из которого выходил свет; постучал в ставень и просил ночлега для проезжих, сбившихся с дороги.

Вместо ответа вышел старый слуга с зажженною тростинкою, чтоб проводить их в дом. «Милости просим», — раздалось в комнате, примыкавшей к сеням, и первый из приезжих, скинув с себя в сенях тулуп и картуз, вошел в покой. Он был в зеленом суконном кафтане с широкими полами и откладным воротником, с золотым позументом по краям, в коротких лосиных панталонах и полусапожках из оленьего меха, из-за которых показывались шерстяные чулки. Высокий рост, гордая поступь и важная осанка внушали к нему невольное почтение. Он был средних лет, но глубокие морщины на челе являли в нем человека, перенесшего в жизни немало трудов. Черные волосы, вьющиеся локонами, густые брови и усы придавали ему грозный вид: но в глазах, исполненных огня, изображалось какое-то неизъяснимое благоволение, влекущее к нему каждого и внушающее смелость самым застенчивым. Незнакомец встречен был девушкою лет 18-ти.

«Батюшка уехал к св. Димитрию, — сказала она, встречая приезжего на половине комнаты, — но это не помешает вам найти здесь пристанище от бури и покой от усталости. Милости просим», — примолвила она, поклонившись.

При сих словах, произнесенных дрожащим голосом, живой румянец выступил на щеках красавицы, и она потупила голубые глаза в землю, как бы сама дивясь своей смелости и решимости заговорить с незнакомым гостем.

Приезжий не успел еще отвечать на приветствие, а хозяйка уже скрылась. На просторе он занялся рассматриванием дома, в который судьба привела его столь неожиданным образом.

В первой комнате, которая была, по-видимому, род гостиной, несколько икон в углу, в серебряных окладах, и под ними дубовый стол, кругом по стенам деревянные скамьи, покрытые ковриками; там шкаф с посудою, печь из синих изразцов с фигурными изображениями из Эзоповых басен составляли весь убор. Боковая дверь вела к спальне помещика. Налево — большая печь с лежанкою; кровать, над которой висели в золотых рамах патенты на чины, подписанные Петром, из которых виделось, что хозяин был отставной капитан Бердин. Далее кресла, обитые черною кожею и, вероятно, служившие хозяину для послеобеденного отдыха, обратили на себя внимание странника. На стенах развешаны были: преображенский мундир, покрытый простынею, серебряный значок с золотым ободочком и вычеканенным из синей эмали Андреевским крестом; шляпа, отороченная золотым узеньким позументом, и длинная шпага, на черной перевязи, на коей изображено было серебром вензловое имя Петра Первого. За спальнею находилась еще небольшая светелка. Здесь всё так же просто, как и в предыдущих комнатах, но всё отличалось чистотою и опрятностию. На полу разостлан был белый холст для проходящих; перед постелью, завешенною ситцевою занавесью, лежал ковер; в углу на столике стояла икона, теплилась лампада; далее видны были пяльцы с начатыми цветами и, наконец, в другом углу — сундук, и над ним в стене вделанное зеркальцо, окруженное гирляндою засохших полевых цветов. Незнакомец, осмотрев работу в пяльцах, которая только что была оставлена, возвратился в приемную, где ожидал его ужин. На столе, покрытом белою скатертью, поставлено было блюдо с ветчиною, тарелка яиц, масло в деревянной кадочке, кружка с квасом и ржаной хлеб. Большие кресла, передвинутые из спальни, стояли перед прибором главного гостя, как бы из уважения и для отличия перед Василием, который сел на лавке. «Милости просим, чем бог послал», — сказала Наталья, налив рюмку пенника и подавая ее незнакомцу с поклоном и потупленными очами.

«Твое здоровье... как твое имя, голубушка?» — спросил незнакомец.

«Наталья», — отвечала красавица.

«Итак, за здоровье Натальи. . . но куда ты сама спешишь? Ты, видимо, мало видишь людей, что так нас дичишься?»

«Что ни воскресенье, батюшка возит меня в Павловск; а там всегда бывает куча народу; не только простые, но и генералы с женами».

Незнакомец усмехнулся: «Отец твой служил, кажется, в военной службе?»

«Он был под Азовым и под Нарвою и воротился раненый из-под Орешка».

«Не он ли первый кинулся на стены Шлюссельбурга, а за ним и все солдаты, и это движение решило участь крепости», — примолвил Василий.

«Может быть, — продолжала Наталья, — батюшка не раз говаривал мне, что сам царь после дела изволил поцеловать его в голову при всех войсках и что сам перевязывал ему раны».

Незнакомец задумался. Между тем Наталья, ободренная его благосклонностию, продолжала застенчиво: «Батюшка спросит меня, кто сделал честь пожаловать к нему; ваша милость кто такой?»

«Я проезжий офицер; зовут меня Петр Михайлов».

«Петр Михайлов! — вскрикнула девушка, и выступивший на лице ее румянец, быстро сменяемый томною бледностию, показывали в ней радость и надежду. Ах! не тот ли, что ездит в Воронеж строить корабли, что слывет. . .»

«Чем слывет?» — спросил холодно незнакомец.

«Ах, если б он сжалился над нами! Отец мой, весь израненный на его службе, отставлен капитаном, а получает только жалованье порутчика. Всего у него 20-ть душ, а ему надобно содержать меня и брата, который также в царской службе».

«Где?»

«Во флоте констапелем, под командой лейтенанта Муханова», — продолжала Наталья, покрасневши и потупив глаза в землю.

«У лейтенанта Муханова? Ты его знаешь?»

«Он иногда жалует к батюшке», — отвечала она еще в большем замешательстве, тихим, едва слышным голосом.

«Знать, царь не ведает про дело отца твоего, у него, правда, забот много; мог и запамятовать».

Между тем путешественники отужинали. Петр Михайлов, не вставая с кресел, продолжал разговаривать с Натальей: «Скажи мне, дитя мое. училась ли ты чему-нибудь?»

«Отец мой учил меня читать и писать, а покойная матушка показывала мне шить и ходить за хозяйством».

«Не худо; прочитай-ка что-нибудь». С сим словом он вынул из бокового кармана в поле мундира книжку Бринкена об искусстве кораблестроения и подал ее девушке. В голосе его, похожем на голос человека, привыкшего повелевать, было столько благоволения, что Наталья невольно повиновалась сему приглашению.

«Отец твой трудился, видно, недаром, — прервал ее проезжий чрез несколько минут. — Но я еду завтра в Воронеж. Кстати бы дать о себе знать брату. Напиши к нему и покажи мне свое письмо».

Девушка отправилась в свою комнату, чтоб исполнить желание странника. Между тем он вынул из кармана записную книжку и начал сам что-то писать в ней карандашом. Он не успел кончить, как Наталья воротилась и дрожащею рукою подала ему письмо. «Хорошо, — сказал Петр Михайлов, прочитав его, — но учтивость требовала, чтоб ты поклонилась и командиру».

Наталья не отвечала ни слова, но вспыхнувшее лицо и легкое трепетание показывали, что Муханов был для ней более, чем простой знакомец ее отца.

Между тем сон призывал усталых путешественников к покою. «Жаль, что я не тот Петр Михайлов, которого тебе надобно, — сказал приезжий, вставая с кресел: но молись усердно богу, а я, может быть, донесу об вас царю при случае: он меня знает и жалует». Потом, взяв у Василия из рук кожаный мешок с серебряными деньгами: «Вот тебе пять рублей, дитя мое; возьми их не за угощение, а в память того удовольствия, которое ты мне доставила». С сим словом проезжий поцеловал Наталью в лоб и ушел в спальню Бердина, где Наталья приготовила две постели, одну для Петра Михайлова на кровати своего отца, другую на лежанке для Василия.

Она также ушла к себе в спальню, но сон не приходил ей на ум. Вся душа ее была наполнена мыслию о незнакомом госте. Тщетно расспрашивала она об нем у няни, которая пришла раздевать ба-

рышню. Няня, предугадывая ее желание или, может быть, подстрекаемая женским любопытством, всячески старалась заговорить с Василием; но сей избегал расспросов и, как бы не надеясь на свою скромность, не отходил почти от своего господина. Важный вид проезжего, его участие к положению ее родителя, благосклонность, с которою он ее слушал и, наконец, что-то неизъяснимое в нем, которое при всей его простоте в обхождении внушало невольное к нему уважение, подавали ей надежду, что, может быть, старанием сего Петра Михайлова улучшится судьба ее отца. С другой стороны, она нехотя обнаружила пред ним тайну, которую до тех пор старалась скрывать даже от самой себя. Она узнала, что не может оставаться равнодушною при имени Муханова. Муханову было 28 лет, Наталье 18. Муханов, посещая отца, увидел дочь, пленился ее красотою и добросердечием и обворожил ее своею любезностию и образованием, привезенным из чужих краев, где он воспитывался с государем. Но он был небогат, и она жила в бедности. Как решиться оставить отца, которого существование она поддерживала трудами рук своих, которому она служила подпорою и утешением в старости! Любовники понимали друг друга, но молчали, питая надежду на будущее.

На другой день Наталья встала ранее обыкновенного, чтоб как должно отпустить гостей в дорогу, но их уже не было. Вместо Петра Михайлова встретил ее старик Бердин. Он выслушал рассказ о страннике и, судя по описанию дочери, угадывал, кто ночевал у него. Но по скромности ли, или опасаясь польстить отцу пустою надеждою, Наталья умолчала о разговоре своем с проезжим офицером. Между тем прошла неделя и две, прошел целый месяц, и Наталья, проводившая в ожиданиях первые дни после отъезда странников, стала думать об них реже и реже.

Настал май, прелестный везде, но еще прелестнейший в степях необозримых. Здесь полосатые луга, испещренные цветами, при малейшем ветерке играют на солнце тысячами оттенков; душистые травы наполняют воздух очаровательным благоуханием. Стаи птиц, вьющих гнезда в траве, порхая над вами, весело поют свободу и сливают голоса свои с песнями крестьянина, плугом режущего землю, с напевами деревенских девушек. Благотворное солнце живит здесь всё без от-

мены. Дыхание легче, и неизъяснимое чувство веселит душу при виде обширной равнины, где ничто не мешает земле сливаться с небом, ничто не теснит взора и духа.

Одним утром ранее обыкновенного Наталья вышла из дому, чтоб подышать чистым воздухом и посмотреть на сельские работы. Медленными шагами взошла она на курган, при котором стоял домик ее отца. Золотая полоса на востоке возвещала скорое восхождение солнца; стадо овец мирно паслось по степи под надзором пастуха, игравшего на волынке; табуны диких лошадей резвились на долине. Но она равнодушно смотрела на сию картину природы. Она мечтала о трудном положении отца, о милом друге, о счастии быть с ним вместе: ужасалась при мысли о препятствиях, которые предстояли ее благополучию, и слезы горести навертывались у ней на глазах. С воспоминанием о странниках надежда закрадывалась в сердце; но это заблуждение длилось недолго; ей тотчас приходило на мысль, что прошло уже три месяца, а об них не было никакого слуху, и утешительное чувство ожидания исчезало, как искра, теряющаяся во мраке ночи.

Вдруг звон колокольчика пробудил ее от мечтания: облако пыли расступалось и вновь скрывало телегу тройкою, быстро несущуюся по дороге к их домику. Наталья, вышед из дому в утреннем платье: легкой кофточке из тонкого полотна, платочке, небрежно наброшенном на голову и желтых сафьяновых сапожках, поспешила домой, чтоб не встретить приезжих в таком наряде. Едва успела она вбежать к отцу со словом: «батюшка, гости!» — как тройка подъехала к крыльцу. Молодой белокурый мужчина в зеленом мундире с черною чрез плечо портупеею, к которой привешен был кортик, вошел в комнату и бросился в объятия Бердина. Но вдруг, как бы устыдясь сего невольного движения и вспомнив, что есть еще кто-то в комнате, он обратился к Наталье, молча низко поклонился ей, может быть, чтоб скрыть на лице своем краску, и подал ей письмо. На печати изображен был двуглавый орел, на обороте простая надпись: «Наталье». Удивленная неожиданностию, робко посмотрела она в глаза юноше: кто мог писать к ней, почти не видавшей никого, почти не выезжавшей из отцовского хутора? Трепетною рукою взяла она письмо и подала его отцу.

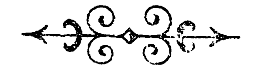
Вот в чем оно заключалось:

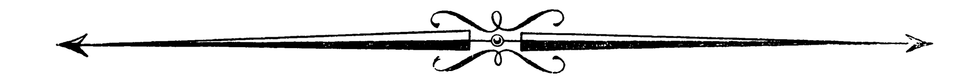
«Бывший у тебя в гостях Петр Михайлов есть тот самый, которого ты желала видеть. За богом молитва, а за царем служба не пропадают. Отцу твоему дарю капитанское жалованье, тебе же за твою любовь к нему посылаю пятьсот рублей в приданое и жениха, который, кажется, тебе по сердцу. Прощай

Петр».

Вы угадаете конец.

А. Корнилович.





ДЕРЕВЯННАЯ КРАСАВИЦА

(Восточная повесть)

Мудрецы давних веков согласились как в одно слово, что неправдой присвоенная чужбина впрок не пойдет. В дни счастливого Эвренкзибова владычества в богатом и красивом Гиндостане случилось сойтись в одном караван-серае города Аллах-эбада * четырем путникам. Один из них был ваятель, другой серебряник, третий портной, а четвертый дервиш, родом турок, и все четверо шли домой к Дели. Вот, взваливши на плеча котомки с орудиями и пожитками, пустились они в путь-дорогу и, ночуя однажды в месте безлюдном и лесистом, раскинули между собою, «что если мы все поснем, какой-нибудь заблудящий в этой пустыне лев может напасть на нас и всех передушит, или разбойники, которые вечно в таких дебрях держат притон, найдут нас сонных и заберут все наши пожитки: так не лучше ли каждому из нас посменно пробыть часть ночи на страже, когда трое прочих спокойно почивать будут!» Потом разложили из сухих ветвей большой огонь, и после легкого ужина трое путешественников легли на землю спать, а четвертый остался на часах. Первой жеребий пал на ваятеля. Он, чтобы разгулять себя, добыл из котомки резцы и из деревянного обрубка стал гладко вырезывать красивую статую женщины. Вырезал и положил на землю. На другую смену для охраны товарищей поднялся портной. Бродя около пепелища, видит он что-то похожее на человека, простертого на земле. Приглядывается

---

* Город, лежащий недалеко от Бенареса, при впадении Джемны в Гангес.

и узнает в том куклу прелестной женщины, свежо вырезанную из дерева. Оборачивает ее на все стороны, дивится красоте, соразмерности членов и работе искусной; наконец вспадает ему на мысль: «коли товарищ наш так удачно показал свое искусство, сем-ка и я удивлю его своим ремеслом!» Говоря это, вынимал он куски тонких тканей, снял с куклы мерку и скроил и сшил на нее мигом щегольской наряд и напялил его на деревянную красавицу. Рад, что окончил удальство свое, будит портной серебряника на стражу, а сам спать залегает. Скоро увидел серебряник эту убранную куклу и, удивленный находкою, пристально ее озирал и перевертывал, и хвалил мастерство своих товарищей; однако ж, хотя удивить их взаимно, присел за работу и украсил деревянную девицу серьгами, и ожерельем, и поясом, и зарукавьями, и всем, что мог изобрести его ум для усовершенствования самого затейливого убранства. Потом, поставив за себя на часы дервиша, отправился на покой. Лишь очнулся дервиш от сна, тотчас умылся песком для того, чтоб восстановить тело свое в первобытную чистоту. Прочел один намаз по обряду, а четыре в запас для всякого случаю. Произнес девяносто девять имен божеских и сорок четыре имени пророка и, наконец, позевывая, начал рассуждать о небесном счастии и прекрасных райских краях, где для каждого богобоязненного человека цветет роскошный сад, дышущий благовонным воздухом, красующийся очаровательными для взора и вкуса плодами. Там ждут его семьдесят великолепных палат, и в каждых палатах семьдесят пышных покоев, и в каждом покое семьдесят царских кроватей, на которых возлежат прелестные гурии, из которых если б хоть одна явилась на землю в час глубокой ночи, то блеск ее прелестей так бы озарил небосклон, что и семьдесят солнцев вместе не могли с тем поравняться. — Утопая в стихиях столь обольстительных мечтаний, дервиш ненароком взглянул кругом себя и с изумлением увидел образ красавицы, подле него лежащей. «Нет иного божества, кроме бога, а Мугаммед пророк бога! — воскликнул он в восторге. — Без сомнения, небо ниспослало мне райскую жительницу в награду за точное исполнение всех обрядов веры избранного пророка!» Говоря это, встает он, тихо приближается к кукле и, присев у ней в головах, запевает страстную песню. Потом наш дервиш принялся и за сердеч-

ные изъяснения, но, видя, что предмет любви его ничего отвечать не изволит, робко отваживается он взять у красавицы руку; берет и жмет, и тянет ее, и не может надивиться, отчего у небесных гурий такие твердые и недвижные члены. Наконец, смущенный и пристыженный, узнает он ошибку свою и затейливое искусство товарищей, которые, по его мнению, сыграли ему это в насмешку. «Так вы хотели подшутить надо мною, приятели! — сказал он, — постойте же, я вас пристыжу и проучу за это. Боже, ты, что дал несомненную книгу слуге и пророку твоему Мугаммеду! что ниспослал ему небесного бегуна Эль-бурракa, полувид красавицы имеющего, на котором возлетел он в седьмое небо и опять спустился в блистательную Медину! Ты, что простер бритвоострый мост Эль-сыррат над бездонною пучиною ада, по которому правоверные пройдут спокойно в рай, а гяуры скользнут в вечную муку! Если я угодил тебе в течение двенадцати лет и по двенадцати часов ежедневно вертясь во славу твою на одной пяте, если молитвы мои когда-нибудь ласково были тобой выслушаны, сотвори, чтобы бездушная эта кукла ожила и встала. Где же сила, кроме тебя! Мы все твое творение и все в тебя возвратимся!»

Так молился дервиш; и в это время Бедхах, дух зла и хитрости, который кружил по той пустыне, улучая минуту подшутить над прохожими, подслушал слова его и решился воспользоваться случаем для наказанья святоши. Припал он к кукле, дхнул в нее и оживил дерево. Подобна прелестной пери или полному месяцу, девица красоты несказанной поднялась с земли перед дервишем, который в радостном восторге изо всей мочи завопил: «Алла, алла! Власть и сила только у бога; мы все от бога и все в него возвратимся!»

Пробужденные криком дервиша, вскочили от сна его товарищи и, видя перед собой чудесную красавицу, не могли очнуться от изумления; каждый из них, чувствуя в сердце рождающуюся к ней любовь, захотел присвоить ее себе нераздельно. «Она моя, — говорил резчик, — потому, что я сделал ее из дерева». — «Неправда, — возражал портной, — она принадлежит мне, потому что я одел ее своим добром и дал ей вид женский». — «Я равное имею на нее право, — прибавил серебряник, — за то, что убрал ее в многоценные перстни и украшения,

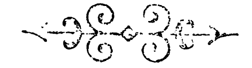
без которых женщина — не женщина». — «Всё это совершенная правда, — произнес дервиш, — но все-таки без моей святыни эта красавица осталась бы деревом; заслугами моими у бога она теперь живет — следовательно, живет для меня». Спор четырех попутчиков разгорался более и более, и никто не хотел уступить ее другому. Наконец, надо было идти на расправу к кадию в Дели, откуда они были уже недалеко.

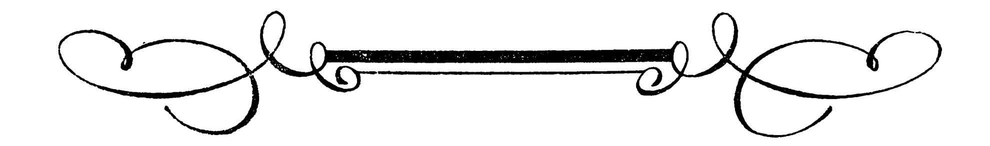
Ставши перед кадием, рассказали они ему, что спор у них идет о невольнице, найденной в пустыне. «Приведите ее ко мне, — сказал судья, — чтобы я от ней самой мог узнать, кому она принадлежит». — «Она нема», — отвечали тогда ему все четверо. «Тем нужнее мне ее видеть, — продолжал кади. — Приведите ее сюда немедля». С кадием шутить нечего: привели мнимую невольницу; но едва кади успел увидеть ее, то закричал: «Как, бездельники! вы хотите завладеть собственною моею невольницею, которую купил я у моего наиба * и которая месяц тому от меня сбежала!» — «Совершенно так, — примолвил важно наиб, — она невольница его справедливости нашего наилаского судьи; я ему продал ее за 1200 рупий. Имя ее Рахшана, а вы — обманщики!» Потом обратился к кадию: «Кажется, если не ошибаюсь, это тот недоверок резчик, который, невзирая на заповеди Корана, делал идолов браминам; тот самый, которого ваша справедливость сбирались при первом досуге повесить. Другой, портной, был уж однажды у нас в лапках за шатание в ночную пору по лавкам, якобы для купли тканей на платья». — «Так, припоминаю, — отвечал кади, — и даже уверен, что третий есть тот серебряник, на которого давно имеется подозрение в делании фальшивых денег; это вещь несомненная. Люди их ремесла очень опасны и стоят быть посажены в тюрьму для надзора. А тот дервиш, как догадываюсь, — турецкий побродяга, которого мы однажды застали в шинке пьющего вино — напиток, ненавистный небесам, за что давно хотел я ему по праву ислама отсчитать сто пятьдесят одну палку по пятам. Но я милую вас. Прощаю вам ваше бездельничество за то, что поймали мою беглянку. Убирайтесь вон, плуты!» Махнул — и придверники выгнали

* Секретарь кадия.

челобитчиков палками из судилища, а кади велел добычу свою отвести в гарем. Красота девицы сей так пленила сердце его чрезмерною любовию, что он скоро на ней женился; и тогда-то оправдалось сказание мудрецов давнего времени, что наказан бывает тот, кто неправдой присвоит чужое. На свадьбе, когда молодые хотели поцеловаться с сладостным вздохом, в один миг злой дух, оживлявший невесту, перепорхнул в голову кадия. Деревянная красавица снова стала бездушным деревом, а несправедливый судья сошел с ума.

С татарско-азербайджанского
наречия перевел *И. Сенковский.*





СЛЕПЕЦ, СОБАКА ЕГО И ШКОЛЬНИК

(Баснь)

Бедняк, живой пример в злосчастии смиренья,
Согбенный старостью, притом лишенный зренья,
С котомкой чрез плечо и посохом в руке,
Бродил по улицам в каком-то городке,
Питаясь именем Христовым —
Обедом, не всегда наверное готовым.
Но он и в бедности сокровищем владел:
В вожатом друга он примерного имел:
Кто ж это, брат, сестра родная,
Иль просто родственник? нет. — Выжлица дворная,
Которую слепец *Добрушкой* называл;
Не по шерсти он ей, по свойствам имя дал.
Снурочком к поясу привязана слепцову,
Она, — всегда была его послушна слову:
Бежала перед ним, то глядя на него,
То вдоль по улице: чутьем своим искала
Благотворителя. Не раз сама бывала
Без пищи до ночи: все это ничего;
Терпела и молчала.
Однажды мой слепец
Бредет с собачкой мимо школы:
Откуда ни возьмись мальчишка-удалец;
Ну теребить слепца, трясти за обе полы.

Потом собачку отвязав,
«Ступай, — кричит он ей, — даю тебе свободу.
К чему тебе за добрый нрав
Покорствовать уроду,
И по миру ходить? знай нищий свой порог
У церкви; стой он там и жди, что пошлет бог».
Добрушка слушает и к старцу только жмется,
Как будто думая: кто ж без меня займется
Несчастным? Нет, не разлучусь с тобой.
«Ступай же, дурочка!» — толкнув ее ногой
Шалун еще сказал — она к земле припала,
И молча на слепца умильный взор кидала.
«Так сгинь же вместе с ним!» — повеса закричал:
И, делая прыжки, к собратье побежал.
А нищий ощупью, дрожащею рукою,
Вожатку на снурке за пояс прицепил;
И благодарною кропил ее слезою.

Жестокий эгоист! а ты — не раз бранил
Смиренным именем добрейшей твари в свете!
Содрогнись: ты один у басни сей в предмете.

* * *

КИЕВ

(Отрывок из поэмы: Наливайко)

Едва возникнувший из праха,
С полуразвенчанным челом,
Добычей дерзостного ляха
Дряхлеет Киев над Днепром.

Как всё изменчиво, не прочно!
Когда-то роскошью восточной
В стране богатой он сиял;

Смотрелся в Днепр с брегов высоких,
И красотой из стран далеких
Пришельцев чуждых привлекал.
На шумных торжищах звенели
Царь-градским золотом купцы,
В садах по улицам блестели
Великолепные дворцы.
Среди хазар и печенегов
Дружиной витязей храним,
Он посмевался, невредим,
Грозе их буйственных набегов.
Народам диво и краса:
Воздвигнуты рукою дерзкой,
Легко взносились в небеса
Главы обители Печерской,
Как души иноков святых
В своих молитвах неземных.
Но уж давно, давно не видно
Богатств и славы прежних дней,
Всё Русь утратила постыдно
Междуусобием князей:
Дворцы, сребро, врата златые,
Толпы граждан, толпы детей —
Всё стало жертвою Батыя;
Но Гедимин нанес удар:
Прошло владычество татар!
На миг раздался глас свободы,
На миг воскреснули народы...
Но Киев на степи глухой,
Дивить уж боле неспособный,
Под властью ляха роковой,
Стоит, как памятник надгробный
Над угнетенною страной!

Рылеев.

К НЕЙ

Где ты, мой друг, моя родная,
В какой теперь живешь стране?
Блаженство райское вкушая
Несешься ль мыслию ко мне?
Ты слышишь ли мои рыданья?
Ты знаешь ли, что в жизни сей
Мне без тебя нет ясных дней
И нет на счастье упованья?
Кто будет заниматься мной?
И чья душа с моей душой
Нежнейшей дружбой съединится?
Где ты, о ангел добротой?
Дай мне туда переселиться!
Там плача и вздыханий нет,
Там тихий, невечерний свет
Для добродетельных сияет!
Взгляни с небесной высоты:
Твой брат и друг к тебе взывает!
Да будет горней красоты
С тобой он созерцатель вечный!
Прости на время, друг сердечный!

Вас. Пушкин.

К ГЛИЦЕРИИ

Глицерия! твой друг тебя не узнаёт:
Что шепчешь, с лаской, мне приветными устами?
Зачем кругом тебя ласкателей народ?
Нет! ни твоя глава, увитая цветами,
Ни в соке роз потопленны власы,
Меня в твои не завлекут оковы...
Где недоступные твои красы?
Где скромный, светлый взор — для дерзкого суровый?

Где делася души святая тишина,
Невинность милая, как счастье неземное?
Ты вся страстей и суеты полна!
Ах! где твое прекрасное былое?..
Какой преступный огнь горит теперь в очах,
И свежая твоя куда девалась младость?
Когда в твоей душе, как друг, гостила радость,
И тихая молитва на устах,
Как первое благоуханье розы?..
Мила улыбка нам, блеснувшая сквозь слезы:
Так прежде ты была, Глицерия, мила
Когда младенческой невинностью цвета!..

Ф. Глинка.

ИЗ ГОРАЦИЯ, КНИГА II, ОДА 18

«Non ebur, etc».

(Посвящено М. П. Гусятникову)

Не кость слоновая, не своды позлащенны
Простой мой украшают кров;
Гиметски брусья в нем не бременят столпов,
В странах Ливийских иссеченных;
Безвестный, не стяжал Аттала я дворцов;
Мне пурпура клиентов знатных дщери
Лакедемонского не ткут:
Но честен я, поэт, и богачи идут
К моей уединенной двери.
Своей доволен я судьбой!
Богов не бременю мольбой
И другу сильному я просьбой не скучаю;
Сабинским уголком богат
И боле счастья не желаю. —

За днями быстро дни летят,
И новыя луны уж близко захожденье...
Готовишь мрамор ты, а завтра — погребенье,
Уж гроб отверзт — ты строишь дом —
Богач! на берегу морском
Имеешь в Баиях обширное владенье;
Но не доволен твердой ты землей:
Ты берег в море выдвигаешь
И волны шумные упорно вытесняешь...
Почто сдвигаешь ты межи своих полей?
И клиентов рубеж почто переступаешь,
У бедных отнимаешь кров,
Семейства гонишь раззоренны?
И жены, и мужья, лишенные домов,
Выносят на груди отеческих богов,
Детей без вретищ, обнаженных.
Но в гроб сокровища возьмешь ли ты с собой?
Жилище Орково — чертог вернейший твой.
Зачем стремиться вдаль в своих мечтаньях смелых?
Жилище всем назначено одно.
Земля правдивая разверзнется равно
Для узника в цепях и для детей царевых.
Прельщенный золотом, не возвратил Харон
Лукавого из ада Прометея;
Тантала гордого, весь род в нем держит он;
О бедных, страждущих, жалея,
Он, призванный иль нет, их облегчает стон.

В. Филимонов.

К ЖЕСТОКОЙ

Неизвинительной ошибкой,
Скажите, долго ль будет вам
Внимать с холодною улыбкой
Любви укорам и мольбам?

Одни победы вам известны;
Любовь нечаянно узнав,
Каких лишитеся вы прав
И меньше ль будете прелестны?
Ко мне примерно нежной став
Вы наслажденья лишены ли,
Дурачить пленников других,
И гордой быть, как прежде были,
К толпе соперников моих?
Еще ли нужно размышленье!
Любви простое упоенье
Вас недовольствует вполне;
Но с негой страстной поклоненье
Соединить не трудно мне,
И ваш угодник постоянный,
Попеременно я бы мог
Быть с вами запросто в диванной,
В гостиной быть у ваших ног.

Б.

ТОГО-СЕГО

Того-сего пленительную смесь
Всегда люблю, везде желаю;
Однообразием скучаю
И за столом прошу и здесь
Того-сего.

Старик Вольтер дар угождать имел
Царям, философам, повесам,
Он рассыпался мелким бесом
И кстати подносить умел
Того-сего.

Фирс жил в гостях, теперь домком живёт.
Фирс, верно, получил наследство?

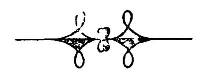
Нет! он нашел вернее средство:
В суде устроился на счет
Того-сего.

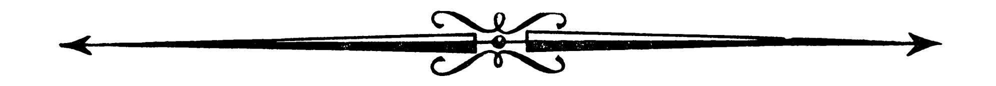
Куда как пуст Лужницкого журнал!
Какой он тощий и тяжелый!
Ни то ни сё в тетради целой,
Хотя он в ней и обобрал
Того-сего.

Смотрите: льстец в сенях у бар больших,
Вертится он, как флюгер гибкий:
Торгует вздохами, улыбкой,
Всегда придерживаться лих
Того-сего.

И сам Зевес, дав волю процветать
Злым, добрым, хмелю и крапиве,
Хотел, чтоб на житейской ниве
Пришлося нам поиспытать
Того-сего.

К. Вяземский.





ГИБРАЛТАР

Письмо I

...Чувствуешь приближение к Испанским и Португальским берегам: в 20-ти милях от земли утренний ветер наносит уже благовоние померанцевых и апельсиновых деревьев. Неизъяснимо чувствование, пробуждаемое вдохновением этих ароматов, зрелищем безоблачного неба и ощущением живительной теплоты после туманов Англии, запаху каменного угля и беспрерывных непогод, царствующих около Англинского канала.

Друзья мои, весело в море, когда благоприятствует погода; и посреди самого океана, где беспредельность воды ограничивается только беспредельностию неба; где человек не замечает ничего, кроме пустоты, которая еще ощутительнее, когда прозрачные небеса здешней стороны кажутся гораздо отдаленнее — и в этой пустыне, говорю я, сердце наполняется радостью, если попутный ветр гонит корабль к желаемому пристанищу. Тогда заботы прекращены, по всему кораблю слышны песни или громкий смех добрых моряков, меняющихся шутками за веселыми играми, которые они мгновенно оставляют, бросаясь смотреть на стадо резвых касаток, быстро выпрыгивающих из воды, ныряющих и гоняющихся одна за другою. Иногда явление важного кита, его кувырки и фонтаны, его старание опередить корабль забавляет долго неозабоченных плавателей. — Ясная ночь еще лучше: звезды и луна населяют эфирное пространство; пределы зрения ближе, человек и корабль его не кажутся так малы, так ничтожны, как днем, и сам он становится важнее. Тогда место шумной веселости

заступает тихое удовольствие; половина команды спит, другая на стороже, смирно и внимательно расположена по своим местам; только где-нибудь протяжная вполголоса песня, мешаясь с шумом пены, прерывает торжественное молчание.

От самого Англинского канала мы шли попутным ветром и приближились к Гибралтару в 12-ть дней. Это было счастливое плавание. Спускаясь к проливу, пришли на вид Кадикса: средней высоты берег пересекался вдали горами; с правой стороны довольно высокая гора оканчивала славный мыс Трафалгар; еще правее виден был высокий Африканский берег. Прежде, нежели поровнялись с проливом, стемнело, и мы, не решаясь идти ночью в узкость, где теченья так переменчивы, поворотили от берега в море, в намерении вступить в пролив не прежде рассвета. Ясный и жаркий день сменился темною, туманною и холодною ночью, которую мы провели поблизости Африканского берега, поворачивая к нему и отходя прочь, как скоро по счислению полагали его близко.

Рассвет был также туманен: мы легли прямо в берег, подошли к нему, но густая мрачность скрывала возвышения, и потому невозможно было судить о его положении. Дождавшись солнечного всхода, рассеявшего туман и давшего способ опознать берег, мы поворотили вдоль оного; ветр следовал за всеми изворотами нашими — и мы, обогнув мыс Спартель, от которого начинается узкость, вступили в пролив между столпов Геркулесовых.

Путь наш был подле самого Африканского берега, в виду Испании и Африки, потому что самая большая ширина пролива только 12-ть морских миль, а есть места, где он не шире 7-ми. Утреннее солнце не совсем рассеяло туман: высокие горы обоих берегов имели вид величественный, задернутые прозрачным покрывалом испарений, которые, разносясь ветром и опять задерживаясь горами, переменяли фигуру их бесчисленными образами, или спускаясь нитями по бокам их наподобие бахромы, или венчая возвышенные вершины белыми кудрями.

Мы прошли в правой стороне Тангер; видели белые стены домов, минареты мечетей, вытащенные лодки; шли к берегу так близко,

что казалось, будто слышался прибой волнения о прибережные камни.

Вскоре открылась влеве Тарифа и ее башня, служащая для плавателей маяком; потом увидели французский фрегат перед островком у Тарифы; услышали выстрелы с фрегата и крепости — и, зная, что перед нами из Бреста вышла французская эскадра к Кадиксу для крейсирования, — мы не обратили на это внимания.

Наконец, показалась гора Гибралтар и мало-помалу отделилась от Испанского берега. Она возвышалась наподобие сахарной головы; за нею синелось Средиземное море; на правой стороне, совершенно против Гибралтара, пролив оканчивался обезьянною горою (Абилла), почти такой же фигуры. Течение и ветр быстро несли нас, и в 2 часа по п. д. мы уже бросили якорь в губе, вдающейся в берег между мысом Карнеро и горою Гибралтара.

Еще не улеглись волны, вспрыгнувшие от брошенного якоря, к нам пристали с обеих сторон шлюбки, одна с офицером, посланным для поздравления от капитана небольшого английского шлюпа, и другая с самим капитаном порта, г. Свитландом (Sweetland). Англичане в своих портах очень спесивы с иностранцами; кто бы ни явился под их крепостями, они отвечают на пушечную салютацию менее двумя выстрелами. Мы не хотели салютовать; но Свитланд уверил, что здесь в вольном городе (Porto-franco) они отвечают учтивостью за учтивость. Мы сделали 17-ть выстрелов, и вдруг на вершине горы блеснула молния, показалось облако, другое, третье, а за ними раскаты и грохот гор повторили 17-ть громовых ударов. Когда уже пронесло дым, мы увидели незамеченную сначала под облаками батарею, с которой нам отвечали.

Со Свитландом познакомились очень скоро: он пригласил капитана и меня к себе обедать; — мы поехали на шлюбке вдоль всех укреплений с приморской стороны, возвышающихся бастионами сажен на 7-мь от поверхности воды. Каменная высокая гора в 1200 футов (200 сажен) отвесной высоты соединяется весьма низким песчаным перешейком с Испанским берегом. Три холма ее теряются иногда в легких облаках, собирающихся сребристою дымкою около вершины; красновато-желтый цвет Гибралтара противоположит веч-

ной зелени гор Испанских. Редко промелькивающие кустики и дерева на камне еще более выказывают наготу природы в этом месте.

Вид города с рейды прекрасный: чистые домики с плоскими крышами возносились одни над другими амфитеатром почти до трети высоты горы, которая с этой одной стороны имеет такую отлогость, что можно прилеплять к ней строения. В самом деле, в некоторых местах есть домы, приставленные к горе боком. На рейде стояло до 400 судов разной величины и между ними множество тартан, шебек, каюк и других мелких судов Средиземного моря; у пристани едва можно было проехать, на ней самой едва пройти, потому что шлюбки и грузовые суда затесняли пристань с одной, а толпа народу и телег, выгружающих или принимающих товары, не давали проходу с другой стороны.

По несносному зною, еще сильнее отражавшемуся от скалы, мы прошли несколько улиц, между домами всячески защищенными от жара. Окна закрыты жалузями, марокезами; над плоскими крышами поставлены палатки — везде ходит сквозной ветр. Наконец добрались до дому г. Свитланда, обращенному на рейд и стоящему на самом берегу; мы были представлены жене хозяина, очень любезной и весьма образованной англичанке.

За семейным обедом говорили о Гибралтаре.

Гибралтар построен маврами; еще в 714 году по р. х. Тариф Абензакка дал свое имя городу и горе, которая с сих пор стала называться *Гибель-аль-Тариф*, или скала Тарифа. Испанцы, выгнав мавров, завладели сим местом, и имя его превратилось в Гибралтар. В 1704 году англичане отняли его у испанцев и укрепили как только было можно, хотя и при тех он считался уже неприступным. Обстроившийся у новых хозяев город объявлен свободным (porto-franco) и сделан складочным магазином меновой торговли. Купцы Германии, Франции, Италии, Греции и всего Средиземного моря не имеют никакой надобности везти свои товары далее Гибралтара, потому что, сбывая их там без пошлины, беспошлинно же получают все произведения северных морей. Оттого в прошлом 1823 году здесь было до 12 000 кораблей, из коих большая часть назначена была в Гибралтар, где живут консулы всех наций. В мирное время в нем содержится пять

полков, что составляет 3000 чел. (считая по 600 чел. в полку); в военное — гарнизон удвоивается, и тогда всё содержание крепости восходит до 200 т. пиастров (1 000 000 руб.).

«Теперь понимаю, — подумал я, — почему англичанам надобна эта голая скала. Англия оперлась на нее локтем, простирая руку в Средиземное море за левантскою торговлею».

Солнце уже было близко заката, когда мы с хозяевами поехали в коляске осматривать город. Что можно сказать о нем, — я уже сказал. Загородные дороги, высеченные в камне, очень хороши и с обеих сторон обсажены деревьями; тополь и кактус, похожий на лопаточный алой, составляют живые ограды дорог.

Уступы дороги вывели нас до $\frac{1}{3}$ части высоты горы, т. е. почти на 70 саж. над поверхностию моря. Внизу под нами виден был на скате город, подле него сад, далее Испанский берег, объемлющий полукругом Гибралтарский рейд, на котором корабли казались маленькими мошками. Заходящее солнце, бросая из-за гор последние свои лучи, рассыпало их по морю, которое, подобно ковру, затканному золотом, развертывалось под ногами нашими. Проезжая далее, подвинулись мы к утесистому отрубу южной оконечности горы, названному мысом Европы. Дорога, идущая по западную сторону утеса, круто поворачивается на этом мысе на восточную его сторону и вдруг открывает обширность Средиземного моря и теряющийся в горизонте Африканский берег. По восточной дороге, в версте от поворота, стоит летний дом губернатора с прелестным садиком. Здесь светит только утреннее солнце: в 11-ть часов утра оно переходит гору, которая закрывает сама себя тенью на весь остаток дня. Но это одно только место, где можно найти прохладу в Гибралтаре: дорога оканчивается домом губернатора, и далее гора неприступна.

Солнце садится здесь очень скоро и не оставляет за собою зари, так что переход от света к темноте почти без сумерек. Покуда мы выходили из коляски и сделали несколько шагов к утесу, чтоб посмотреть на море и ступить на самую южную точку Европы в этом месте, день сменился ночью, как театральная декорация, — мы поехали обратно. В самом деле, вся картина переменилась: город забли-

стал бесчисленными огнями по всей горе; Испанский берег во всем протяжении освещался различными фигурами и в разных направлениях от горящей для удобрения земли; огни на судах и всё это освещение кругом залива отражалось в тихой поверхности моря и, переливаясь в легкой зыби, идущей от прилива, представляло какую-то волшебную иллюминацию. К довершению очарования, на краю бездны, не видя ничего под ногами и обманываемый колебаньем коляски, я воображал, что лечу под самым небом, на котором звезды, озаренные ярким блеском, невиданным в наших странах, казались оттого вдвое больше и ближе над самою головою. То было совсем другое небо, другие созвездия! Наша Медведица двигалась медленно по самому горизонту — а ваша Полярная звезда, друзья мои, немного ее выше.

Из-под небес мы приехали домой пить чаю.

Здесь мы должны были в свою очередь рассказать хозяевам наши русские обычаи, жизнь общества и прочее. Хозяйке более всего было занимательно описание костюмов наших дам; в особенности понравился ей русский простонародный наряд. Она обещалась нынешнею зимою наряжаться в маскарады в русское платье: для этого я нарисовал ей полную пару, начиная от кокошника до черевичков.

Мы хотели уехать на фрегат, но опоздали; городские ворота, запираемые с закатом солнца, хотя и были исключительно для русских отперты до десяти часов, но мы не видали времени, пролетевшего далеко за полночь; итак, мы ночевали в трактире.

Письмо II

Редкостей в городе, кроме самого города, нет, зато он один стоит которого-нибудь из семи чудес. Не хочу входить в подробности, что за городом есть сад, где стоит несколько бюстов, напоминающих англичанам великих людей и их деяния; что в городе есть две библиотеки, одна для гарнизона, другая для купечества; что есть плохой театр, где изрядные певицы, приехавшие из Лиссабона, сердятся вместе со слушателями на дурную музыку; не стачу говорить о том, что на этом голом камне, местами в ущелинах есть садики и

деревья; что жители воду пьют дождевую, а свежую привозят туда на ослах из Испании; что говядину им продает по контракту марокский владелец — всё это вещь обыкновенная: скажу нечто о крепости.

Гора имеет отлогость только с той стороны, где стоит город; с востока к Средиземному морю и с севера к песчаному перешейку она возвышается совершенно отвесно. К отлогой стороне с моря изгибаются каменные укрепления, а к перешейку в вертикальной 200-саженной стене вырваны порохом казематы, служащие крепостью для обороны на Испанскую сторону.

Эту крепость и пошли мы смотреть. Мы взбирались туда по крутой улице, которая вела в старый мавританский замок, служащий входом в казематы. Во времена испанцев в нем существовала инквизиция; ныне толстые его стены сделались домами многих семейств, во внутренности их живущих, и весь он вообще превратился, с помощью нескольких новейших укреплений, в цитадель. С лишком тысячу лет башня и тройные стены за́мка стоят почти невредимы; кроме верхних частей и осыпавшихся углов в некоторых местах, камни слились в один состав, и ни время, ни испанские ядра, испестрившие стены сии, ни многочисленные переделки снаружи и в самой толстоте стен для жилья не могут отнять величественного вида, с которым возвышается за́мок над городом. Это Велизарий, в слепоте и нищенстве, но в котором узнает каждый бывшего защитника отечества.

Из за́мка крутая дорога, высеченная извилинами в скале, привела нас ко входу в казематы. После несносного жара охватил нас холодный и сырой воздух. Галереи, образующие эту подземную крепость, идут коленами в высоту постепенно; каждая из них пробита беспрестанными амбразурами, из которых торчат пушки. Толщина наружной стены галереи будет около четырех сажен; амбразуры, в ней пробитые, образуют около каждой пушки каземат, в котором люди удобно могут действовать орудием; ширина галереи и высота ее около 18-ти фут, иногда более, иногда менее.

Если скажу, что сих галерей, высеченных в камне, шесть, и они вооружены 700-ми пушек, что на каждом уступе горы лепится наружная батарея, что каждый ее уступ имеет фланковую оборону: тогда вы можете представить, награждены ли труды создания крепости, защи-

щающей каменную непроницаемую стену? Напрасно испанская артиллерия гремела против сих невероятных укреплений: бессильные бомбы и ядра скатывались обломками к подножию скалы; невредимые батареи гибралтарские беспрестанно зажигали деревянные редуты испанцев, и пять тысяч англичан, под командою Эллиота, целые пять лет противустояли всем усилиям соединенных армий и флотов испанских и французских.

Посреди галерей есть две круглые залы, называемые св. Георгия и Корнваллис, куда часто жители собираются на пикники, избегая жаров лета: но, признаюсь, надобно быть очень привычну, чтоб переносить быструю перемену из жара в чувствительный холод и сырость, а иногда и сквозной ветер.

Один из выступов скалы, образованной самою природою наподобие башни, называется Мавританскою башнею, потому что мавры первые сделали в ней галереи с бойницами. Недалеко от выхода из третьей галереи, сквозь просеченную в горе арку, есть выход на площадку над Средиземном морем: мы вышли туда. Восточный ветр гнал волны прямо на скалу, и единообразное море то бросалось белою полосою пены, наступая на острые камни у подошвы, то окраивалось черною лентою при отступлении, обнажая камни сии, почерневшие от нападений воды и времени. Мы остались тут не долго; неприятный сквозной ветер заставил нас воротиться, и тем скорее, что видеть более было нечего: оба берега, Испанский и Африканский, были покрыты туманом, обыкновенно ложащимся на землю при восточных ветрах.

По узкой крутой лестнице, называемой *чертовою*, мы взошли на самый гребень скалы, оканчивавшейся трехпушечною батареею. Эта часть горы выше всех прочих ее вершин, с нее видно во все стороны и слышно во все шесть галерей посредством отверстия, просеченного сквозь камень, наподобие слуховой трубы. Отсюда под ногами нашими, у самой подошвы к перешейку, видны еще укрепления со рвами, наполняющимися водою посредством шлюзов, далее по перешейку кордонные домики, разграничивающие владения англичан и испанцев, за ними видны укрепления последних, пришедшие в упадок; справа к этому песчаному языку примыкает Испанский берег и виден даже до Малаги; влево белеются на прелестном возвышении домики С. Роха;

с сей стороны берег заворачивается и образует рейд, в котором на противной стороне виден в лощине между живописных гор красивый Алгезирас; подле — развалины замка, называемого старым Гибралтаром; еще далее — мыс Карнеро, за которым берег в самом проливе виден до Тарифы. Тут сквозь пролив синеется небольшой промежуток Атлантического океана, и тотчас подле возвышаются Африканские горы и оканчиваются против Гибралтара Абиллою и Цейтою; вид их дик и суров, густая атмосфера давит их, опоясывает облаками и закрывает вдали какою-то фиолетовою полосою. Я прежде полагал, что расстояние между берегов Африки и Европы гораздо более; теперь от высоты берегов оно кажется не много более расстояния Кронштадта от Ораниенбаума.

Нам хотелось побывать на всех трех вершинах Гибралтара: но как проводник сказал, что надобно идти вниз и взбираться туда особыми дорогами, то мы, несмотря на его убеждения, предпочли карабкаться прямо по горе, скользить по серебристой полыни и мелкой душистой мяте до обсерватории, устроенной на среднем холме. Горные куропатки и дикие козы попадались нам во множестве; в некоторых оврагах видели обезьян, которые с криком разбегались и из-за выступов швыряли в нас каменьями. Это довольно опасно, и хотя жители жалуются на дерзость сих животных, кидающихся в гуляющих и обкрадывающих их фруктовые садики, но им жаль истреблять обезьян, потому что голая скала Гибралтара есть единственный пункт в Европе, где они водятся. Притом же природа так скупа в этом месте, что и последний из ее даров кажется здесь бесценным. Для сего запрещено делать какой-либо вред обезьянам, козам и куропаткам.

С трудом добрались мы до обсерватории, где нас встретил смотритель и предложил освежиться плодами; когда же мы собирались спускаться, он просил вписать имена наши в книгу, в которой многие путешественники были прежде нас записаны; против имени каждого он сам выставил чин; а бывшего с нами слугу одного из товарищей он почел натуралистом, потому что этот человек держал в руке несколько трав и камешков, собранных им на вершине.

Спускаясь, набрели мы на кладбище мавров: разрушенные памятники с чалмами, высеченными из камней, и полуистертые араб-

ские надписи свидетельствовали о именах погребенных. Сказывают, что находили во многих местах кости человеческие в самих камнях. Это возможно потому, что известковое свойство камня наполняло могилы капельником и кости заплывали каменною массою. Доказательством тому служат многие известковые накипи в галереях и целая сталактитная пещера немного ниже кладбища, называемая гротом св. Михаила, где капельники образовали множество столбов, странные фигуры зверей, человеков и проч. Глубина сей пещеры, говорят, ниже горизонта воды; мы не смели опуститься туда без проводника, без свечей и веревок, и отложили посещение оной до другого дня, — но это нам не удалось, равно как и видеть две огромные в горе ямы, сделанные испанцами наподобие мортир, из которых они намерены были выстрелить каменьями в англичан во время приступа; но эту опасность отвратил нечаянный случай, доставивший Гибралтар в руки последних.

На третьей вершине мы видели башню, построенную для телеграфа, но разбитую громом, который каждый раз бьет в это место. Полюбовавшись еще прекрасною панорамою, мы спустились вниз утомленные чрезвычайно и поехали на свой фрегат отдохнуть.

Письмо III

Сегодня мы были с визитом у губернатора, который, как я сказал, живет в своем загородном домике. Старик лорд Чатам, старший брат славного Питта, принял нас очень ласково; говорил с нами слегка о разных материях, но его нездоровье сократило наш визит. Ему по виду около 80-ти лет; хотя англичане и уверяют, будто он не старее 70-ти.

Мы ездили туда поутру; солнце пекло нестерпимо, маленькие мушки (mosquites) беспокоили чрезвычайно. Часовые по валу стоят под нарочно устроенными из ценовок зонтиками, иначе оставаться на открытом месте невозможно. Здесь несносно жарко в продолжение короткого дня; но зато росистые ночи очень холодны. Говорят, что климат довольно здоров и одни только восточные ветры приносят с собою жаркую, удушливую и сырую погоду, которая, расслабляя человека, причиняет простуды, головные боли и другие припадки.

Уверяют, будто при этом ветре ничего не должно запасать впрок, разливать вина, солить мяса и проч., иначе всё будет вскорости испорчено.

Я сказывал уже, что испанская граница недалеко от Гибралтара: через $\frac{1}{4}$ часа вы уже в Испании. В Алгезирас можно доехать не с большим в 2 часа, заливом же расстояние не более часовой езды — и при таком близком расстоянии мы не могли быть там по причине беспокойства от инсургентов. Весь испанский берег от Кадикса был в движении во всё то время, пока мы были в Гибралтаре. Идучи проливами, мы видели лежавший у Тарифы французский фрегат и слышали с него и с крепости выстрелы, но не могли догадаться о причине; наконец, по прибытии в Гибралтар, это объяснилось следующим образом.

Остатки конституционных испанцев в числе 700 человек, преследуемые во всех направлениях, собрались под начальство подполковника Вальдеса (Waldez), бросились в Тарифу, имевшую маловажный гарнизон, овладели городом и затворились в нем в твердом намерении не сдаваться без обороны.

Покуда французские войска, рассеянные в окружностях, могли собраться в довольном числе, из Алгезираса вышел стоявший там французский фрегат и, подошед к лежащему против города островку Тарифе, начал канонаду, полагая принудить к сдаче находящийся на этом островке за́мок. Не сделав ничего и получив большое повреждение в мачтах, он должен был уйти того же вечера, обитый, в Алгезирас. Эту самую перестрелку мы и слышали, проходя Тарифу.

В продолжение суток под городом собралось до 3000 чел. французских войск; другим партиям дан был приказ двинуться к берегу, по которому стали заметны большие движения между испанцами, ободренными примером инсургентов в Тарифе. Они начали собираться толпами; везде показалось оружие; раздались песни вольности; смятение становилось всеобщим; беспорядки начались; личная безопасность была нарушена; тайные убийства сопровождались явными угрозами — и только военная сила удерживала народ от совершенного возмущения.

В самый день прибытия нашего, для удержания сих беспорядков, расстреляны были четверо самых пылких революционистов. В долине перед Алгезирасом выведены были войска и при стечении множества народу была совершена казнь. Один из инсургентов не хотел завязывать глаз, но, увидя генерала О'Донеля в числе зрителей, схватил с нетерпением платок и сказал: «Не хочу осквернять последних минут жизни моей видом человека, предавшего отечество и пришедшего любоваться кровью сограждан». С сими словами он был расстрелян.

Инсургенты, узнав в Тарифе казнь четырех своих собратий, выставили на другое утро с городских стен головы двух монахов и двух французов напоказ войскам.

На другой день в Алгезирасе опять были расстреляны четыре испанца — и мена сия продолжалась бы ежедневно, если б участь Тарифы не решилась формальным приступом. Французские войска разделились на три части и атаковали город с трех сторон. Многие граждане приняли сторону конституционных; многие были против них; сражение происходило внутри и вне стен города; инсургенты сражались отчаянно, наконец город был занят войсками. Множество граждан побито и почти весь корпус революционеров истреблен; только пятьдесят человек с самим Вальдесом, оставшиеся в живых, могли спастись в зáмок на островок Тарифу.

Лишенные всей надежды, инсургенты могли бы долго защищаться в крепком и почти неприступном зáмке, если б недостаток воды, которой не могли заготовить в продолжение короткого владычества над городом, не заставил их поколебаться. Мнения разделились; увещания Вальдеса не действовали, страх томительной смерти поселил уныние в сердцах малочисленного гарнизона; раздался ропот; начали говорить о том, чтобы отворить ворота; наконец, повиновение к начальнику исчезло. Вальдес, видя такое расположение умов, воспользовался темнотою ночи и уехал на маленькой лодке с шестерыми в Гибралтар; еще несколько человек бежали на Африканский берег, а остальные, отворив на другое утро крепость, были взяты и перевешаны французами. — Так рассказывали об этом в Гибралтаре.

Истребление этой партии, последней надежды инсургентов, восстановило спокойствие в народе. Осада, взятие Тарифы, завладение зáм-

ком происходили в продолжение пяти дней нашей бытности в Гибралтаре; с высоты горы можно было в трубу видеть дым сражения. Вальдес приехал ночью накануне нашего отъезда.

В Гибралтаре безопасен всякий, пришедший укрыться под защиту англинских законов; таким образом многие из испанских конституционных министров, как-то: Лопес-Баньос, Наварро, Эспиноза и много других укрываются до сих пор в Гибралтаре, но положение их, впрочем, самое жалкое. Англинское правительство, давая им убежище, позволяет только жить на рейде, но не вступать в город. Одна безопасность составляет все их выгоды, потому что они едва имеют насущный хлеб для своего пропитания, и то частные люди дают некоторым из них по $\frac{1}{4}$ испанского пиастра (по 1 руб. 25 коп.). Лопес-Баньос, Наварро, Алава, Квирога, Мина и другие, все вместе не имели более 100 пиастров, когда приехали в Гибралтар.

Письмо IV

Гибралтар, как и вообще вольные торговые города на юге Европы, представляет удивительное разнообразие в жителях и посетителях. Кроме всех почти наций нашей части света, видишь жидов, индейцев, турок, мавров, варварийцев в их костюмах, с их обычаями. Всего удивительнее, что португальцев гораздо более в Гибралтаре, нежели испанцев: португалец там настоящий жилец, испанец только привозит на продажу свои продукты или приезжает покупать товары, которые после перепродает тайным образом в Испании. Контрабандисты составляют особливый класс людей и особливые даже селения по берегу и горам. Решительность, мужество, верность в слове, самая честность в их бесчестных поступках, а более всего наличные деньги заставляют их уважать в Гибралтаре. В городе, где торговля отправляется беспошлинно, всякий тот честен, кто платит исправно деньги; но в Испании законы противу непозволенной торговли весьма строги. Однако, несмотря на преследования, эта торговля очень значительна; местное положение, туманы, темные ночи, совершенное познание берегов и их опасностей, куда ни одна душа не отважится следовать за контрабандистами, избавляют их от весьма бдительного, впрочем, надзора.

Одежда испанского простолюдима очень красива, особенно если она побогаче. Мне показали одного контрабандиста, который, вероятно, имел способ хорошо одеться. Соломенная шляпа с круглой тульей и весьма широкими полями, около которых висят шелковые кисточки, куртка с наплечниками, обшитыми позументом, большие пуговицы, оплетенные золотом, шелковый пояс, бархатные штаны, вышитые золотыми шнурками по швам и застегнутые во всю высоту сбоку на крючки, башмаки и штиблеты из белой кожи, выстроченные узорами и обхватывающие статную ногу, — составляют одежду. Небрежно накинутая на левое плечо короткая епанча оканчивает наряд.

Испанок, превозносимых всеми путешественниками, я не видал; малое число их в Гибралтаре состояло из низшего класса женщин, по которым не можно было судить о всем поле их. Однако же блестящие, живые глаза, одни только видные из-за покрывала, кинутого фатою на голову и схваченного впереди или рукою или булавкой перед самым носом, чрезвычайно маленькая нога и прекрасная поступь, даже в этом классе людей, заставляли нас думать, что мы лишились большого удовольствия, не видав красавиц Андалузии и особенно славящихся красотою женщин Кадикса.

Нас принимали в Гибралтаре как нельзя лучше; флотских здесь не было; зато мы подружились с офицерами полков, составляющих гарнизон; особенно с 43-м полком. Отлично воспитанные, прекрасные собою молодые люди не разлучались с нами во всё пребывание наше. Красивые шлюбки, на которых сами офицеры в щеголеватых матросских платьях сидели вместо гребцов и полные любопытствующими дамами, беспрестанно приставали к нашему фрегату. Нам едва доставало времени, чтоб обегать Гибралтар: мы или принимали посещения, или должны были ездить с своими гостями на обеды и вечера. Общество офицеров имеет общий стол; женатые живут своим хозяйством, но часто холостые беседы оживляются присутствием дам; здесь в Гибралтаре дамы не выходят из-за стола по окончании обеда; здесь изгнаны из обществ продолжительные послеобеденные возлияния в честь Бахуса.

Задул попутный ветер от востока; нам нельзя было терять его: должно было сниматься с якоря. Все наши знакомцы приехали прово-

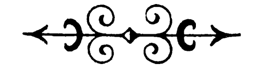
дить нас; мы благодарили за гостеприимство. «Не за что, — отвечал Свитланд, — кроме того, что любим русских, мы рады видеть чужестранцев, с которыми можно поговорить: здесь видим много людей и мало таких, с которыми бы можно было возобновить свои идеи. Все новости наши состоят в газетах, которые возвещают здесь уже то, что состарилось для других частей Европы, и теперь единственный для нас источник новостей — война инсургентов — иссяк со взятием Тарифы. Необходимость иметь что-нибудь новое заставляет газетчиков выдумывать свое; так, например, о вашем прибытии сюда в нашей газете стоит следующее: „Сюда прибыл российский фрегат, которого назначение неизвестно; офицеры на вопросы отвечают таинственно и двусмысленно, что дает причину полагать в этой экспедиции какое-нибудь скрытное и важное намерение. Но, кажется, это намерение разгадано и состоит в завладении *Порт-Магоном*. Офицеры говорят, что останутся здесь несколько дней для отдыха команде; но, как кажется, они ожидают своей эскадры, вышедшей в море вместе с ними и прошедшей в океан севернее Англии для лучшего скрытия своих намерений“».

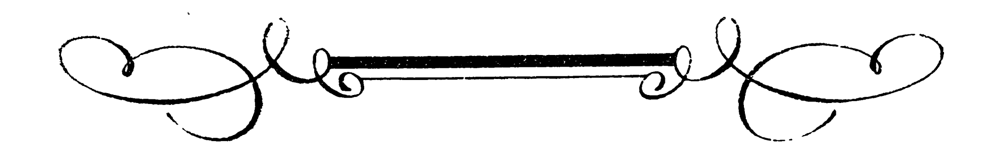
«Как же удивится г. газетчик, — вскричали мы, — когда увидит, что вместо востока мы пойдем к западу!» — Прощайте, любезные наши хозяева! С сими словами паруса наши развернулись, якорь был поднят, и мы при пушечном громе с фрегата и с крепости, при громких восклицаниях ура с шлюбок нас провожавших, с ветром и с теченьем понеслись в отечество.

Прощай, благословенная Андалузия! Желание возвращения на родину смешивается с грустью при мысли, что взоры наши, уставшие видом моря, неба, туманов и камней, не отдохнули на вечнозеленых твоих виноградниках.

Прощай! Синяя полоса твоих берегов уже исчезла, одна только морская ласточка вьется за кормою и щебетаньем напоминает близость земли — скоро и та оставит нас!..

Н. Бестужев.





ВОСПОМИНАНИЯ[1]

Посвящается Вас. Фед. Тимковскому

Я видел край благословенный,
Где изобилие не куплено трудом:
Там зреет виноград рукой ненасажденный,
Роскошный крин цветет в раздоле луговом;
Там с грушей абрикос беспечно обнялися,
И топол не носил порфиры ледяной.
Станицы мирные героев Танаиса,
Священной искони поимые волной!
Я ваши зрел брега, унизанны садами,
Поля, пожатые обломками мечей,
И воды копьями плененны рыбарей,
И степь, утоптанну летучими конями...

Я пред тобой, седой Кавказ, благоговел,
Когда с подножия громады пятиглавой[2]
Мой взор скользил по дебри величавой
И на тебе встречал творению предел.
Твой грозный царь, Эльбрус великолепный,
Виссоном покровен из девственных снегов,
Средь недоступнейших хребтов
Казался свитою объмлем раболепной.[3]
У ног его кипит вражда,

И рдеют льды от зарева пожаров,
И с воплем падает от роковых ударов
К его стопам прибегшая Орда, —
Подъемлясь к небесам челом своим надменным,
Гигант глядит с спокойством неизменным
На пагубу племен, которым жизнь дает
Шумящими со скал его реками;
Окрест один другим сменяется народ, —
Он торжествует над веками,
И посмеваяся судьбами,
Безмолвный дел великих соглядатай,
Он равну тень дарил неравным знаменам
Ермолова и Митридата.

И вам я жертвы приносил,
О нимфы, славные целебными струями!
В объятьях пламенных, на миг лишая сил,
Вы жизни молодой прелестными дарами
Любимца своего спешите увенчать.[4]
С благоговением дерзал я лобызать
Фиал кипящий вод нарзанны, —
И мнилось радостному мне,
Пермеса нектар обаянный
Вкушать в волшебной стороне.
Вокруг стоящи великаны
Покой в долине стерегли
И отделяли от земли
Обитель райскую Игеи;
Тираны северных пустынь
Не слышны были там Бореи;
Один ручей, пробивший грудь твердынь,
Стремился с шумом за наядой,
И эхо спящее по вздохам пробуждал:
Я понял эту грусть, и о любви бряцал
Улькуша страстного с застенчивой Кассадой.[5] —

Я посетил обширный сад,
По долам Терека цветущий,
И пастырей шатры средь неисчетных стад,
И славных гребенцов гостеприимны кущи.
За бурною рекой враждебны племена
Стрегут измены час, не ведая покоя:
Их ремесло — грабеж, богатство — плод разбоя,
Им ненавистна сел прибрежных тишина;
Их мщенье, притаясь, весь день сидит у прага
И рыщет в тьме ночной, как зверская отвага.
Но грозным казакам безвестны страхи битв:
С пищалью меткою союз они скрепляют
И, оградясь щитом молитв,
На все опасности дерзают...
Под кровом дротиков я смело пролетел
За влажный их рубеж к врагам непримиримым,
Чтоб взором вопросить пытливым
Последний вольности оставшийся удел...
Под сенью скромного чертога
Там Дружба Верность обрела,[6]
И детская любовь природу превзошла,[7]
Там дивны прелести Востока
Цветут, как лилии, среди родных полей.
Мне памятен огонь пронзительных очей,
Сей вестник нежности глубокой.
И томность страстная ланит,
Невыразимая словами,
И перси пышные харит
Прикрыты черными кудрями —
Всё мне являло в них богинь окрестных гор:
Назвать их смертными не смел я изумленный...
Меж тем маститый бард на лютне вдохновенной
Героев падших пел — и заунывный хор
Чеченцев мрачных песнь передавал долине[8]
Туманный вечер наступал;

Недолго луч зари на ледяной вершине
Казбека гордого сиял.[9]
Под ризой сумрака, обвитый облаками,
Он в погребальный креп казался облечен...
Предчувством тайным возмущен,
Певец тоску свою с слезами
На струны тихо изливал, —
И скорбь он пробудил в униженном народе,
И мнилось мне, он возглашал
Надгробный гимн своей свободе...[10]

Но далее меня манили на восток
Пирамидальные раины:[11]
Здесь ринувшийся с гор стремительный поток,
Стихая медленно в объятиях равнины,
Как в дельте благотворный Нил
Обильный тук полей струями расточает,[12]—
И хитрый армянин, не истощая сил,
В дарах его плоды сторичны пожинает.[13]
Забыв вечнозеленый дол
Боготворимого Гангеса,
Питатель Азии на сих брегах нашел
Отчизну новую с климатом Бенареса.[14]
Под тенью тутовых ветвей
Художник тканей драгоценных
Здесь полюбил труды свершать уединенны.[15]
Здесь царство пышное зыбей
Залетный гость с полей Мемфийских
Священный ибис поделил
С красавцем берегов Каспийских,
Блестящим силою и белизною крил.[16]
Здесь наконец усталый отдыхает
Нептун на мягких камышах, —
И ложе влажное отвсюду окружает
Неисчислимый полк и рыб, и черепах.[17]

На север дикая простерлася пустыня,
Стяжанье древнее тритонов и сирен.[18]
Там ныне и ловцов стыдливая богиня,
И козлоногий Пан, и друг забав Силен
	Нашли приветную обитель
	Среди кочующих племен.
	Тяжелой роскоши презритель,
	Избегший городских забот,
Затерянный в степях и позабытый светом,
Там праздный элеут под войлочным наметом
Нам неизвестную свободу бережет,
По вольной прихоти на пажитях блуждает
И всё, что зоркими очами обоймет,
Своим владением по праву почитает.[19]
	В местах, где мутная волна,
	Блуждая на брегах пологих,
Заснула, — и ничто ее не будит сна,[20]
Я навестил татар летучие чертоги:
	Как стая птиц, песчаный дол
	Они, пестрея, покрывали,
	Но час единый не прошел, —
	И взоры места не узнали...
Где шумный город был, — безмолвная, как гроб,
	Там тишина уже вселилась!
	В глухую даль Орда пустилась, —
И скрыпом лишь одним навьюченных ароб
	За ней пустыня огласилась.[21]

	О, мирных пастырей народ,
Куда девался блеск твоей воинской славы!
	Где Чингисханов славный род
	И кровожадные уставы? —
Всё изменилося, и замыслы и нравы:
Восстал отмститель бог, — и попранным врагам
Бесплодну степь дает из милости Россия...

К чьим приближаюсь я разрушенным стенам?
Кто мира знамена святые
В вертепе водрузил, где крылась вечна брань? —
Лобзай меч грозный Иоанна,
О, пышной Волги дочь венчанна,
Любимая Гермием Астрахань!
Благоговей пред дивными следами
Во всем Великого Петра! [22]
Как туча, облечен громами,
Летел он с Севера — и реки лил добра:
По манию его, добыча запустенья,
Расторг тиранства цепь порабощенный Юг;
Под юной пальмой просвещенья
Нашли прохладну тень искусства и досуг; —
И Мономахова порфира,
Простертая Петром на раменах полмира,
И Запад, и Восток прияв под свой покров,
Европу, Азию узлом родства связала,
И Бельта с Каспием, с Биармией Бенгала
Сдружила счастливой разменою даров.

Сарепта скромная! ужель когда забуду
Благочестивую любовь твоих детей?
Я не застал уже тебя в красе твоей:
Развалин обгоревших груду,
Как сонм угрюмый голых скал,
Мой огорченный взор на Сарпе повстречал.[23]
Но вскоре грусть моя в святое умиленье
С отрадой тайной перешла...
Я видел торжество покорного терпенья
Над искушением нечаянного зла:
Стихия грозная, все блага поглощая,
Сокровища сердец похитить не могла.
Там с Трудолюбием Надежда молодая,
Порядок строгий с тишиной

И Вера твердая с молитвою смиренной
Опять грядут чредой обыкновенной
Довольство расточать и охранять покой
На страже братства неизменный.
Отселе началось владычество степей,
Стократ засеянных киргизскими стрелами;
Отсель царица рек обилие зыбей
Вращает медленно широкими браздами,[24]
Чтоб данью, собранной от снеговых вершин
Валдая, Веси и Рифея,
Зной лютый утолит полуденных равнин.[25]
Отсель ее брега, в дали пустой чернея,
Как стелющийся дым теряются в очах. —
И вдруг Донских валов гора сторожевая,
Чело седое воздымая,
Сретает странника Европы при вратах...
Природа ждет его иная:
Прохлада рощей, шум ручьев,
Веселые пригорков виды,
Между пестреющих холмов
Златые класов пирамиды
И нежный изумруд лугов, —
Всё сердце веселит, всё громко возвещает
Пенатов сельских благодать,
И безопасностью хранимая блистает
На всем досужества печать.

Но далее еще прелестнее картина,
Резвее Фауны, Дриады веселей,
Приятней стелется равнина,
Щедрей благая Элевзина[26]
С Помоною делит наследие полей.[27]
И наконец тебя усматривают взоры,
Священный Алаун, отеческие горы,
Где тихий Дон, свою оставя колыбель,

Струями плещется, как счастливый младенец,
Где в юности моей, брегов его владелец,
Я в первый раз прижал пастушечью свирель
К устам трепещущим от радости безвестной...
　　О, милой родины страна,
　　Какою тайною прелестной
　　С душою ты сопряжена?
Что мне перед тобой все красоты чужбины?
Что может заменить безмолвный сей привет
　　Знакомой от пелен долины,
　　Не изменившейся от лет
　　Нас изменяющей судьбины?
Нет! боле не пленит меня роскошный Юг
Ни ясностью небес, ни вечными цветами:
Я предпочту всему родное царство вьюг
　　С его глубокими снегами.
　　Одна улыбка вешних дней
　　И лета краткое лобзанье
　　Исполнят всё мое желанье
　　В семье стареющих друзей.
Увы! немного их в отраду мне осталось:
Мой путь на свете сем между могил протек;
Но сердце от любви еще не отказалось...
О, дайте, дайте мне близ них окончить век!

Нечаев.

Примечания

[1] В 1823-м году я был на водах Кавказских не с одним намерением поправить свое здоровье, но гораздо более для того, чтоб удовлетворить справедливое любопытство, чтоб осмотреть весь полуденный восток России. Из Москвы выбрал я путь кратчайший на Воронеж и Черкасск, но из Георгиевска возвратился в свою сторону совсем другою дорогою, чрез Моздок, Кизляр, Куманскую степь, Астрахань и Сарепту. Стихотворение, к которому присоединены сии пояснительные примечания, есть не что иное, как беглый обзор любопытнейших предметов, поразивших меня в сем путешествии.

[2] Гора Бештау, при которой находятся минеральные источники.

[3] Вершина Эльбруса по справедливости почитается самым высоким пунктом Кавказских Альпов.

[4] Пользование кавказскими водами обыкновенно разделяется на две части: сначала употребляют теплые серные ванны, которые более или менее приводят в расслаблении усиленною испариною; потом подкрепляют себя холодными кислыми водами, известными под названием Нарзанны, или Богатырского ключа. Согласное в цели, но противное в действиях влияние их невольно напоминает древнее сказание о чудесах *мертвой и живой воды.* Разительное несходство в местоположении главных источников и происходящее от того неровное расположение духа еще более присвоивают им сии титла.

[5] Это относится к моему стихотворению *Ручей Улькуш,* где упоминается о слиянии сих двух речек в Нарзанской долине. Оно помещено было в Мнемозине и Вестнике Европы 1824 года.

[6] Кому не известны *кунаки* горских народов, сии друзья неизменные, готовые жертвовать имуществом и жизнью за человека, снискавшего их любовь и доверие?

[7] Именитые жители Кавказа отказывают себе в утешении воспитывать детей своих дома, чтоб не повредить им родительским снисхождением.

[8] У горцев есть свои песнопевцы под именем *егоко.* Содержание их рапсодий имеет большое сходство с поэмами шотландскими. Та же природа, та же страсть к военным подвигам. Простые аккорды *пандура,* похожего на цитру, сопровождают голос егоки; к нему обыкновенно присоединяется несколько человек, заключающих каждую строфу однообразным протяжным припевом.

[9] Касбек есть высочайшая гора на восточной стороне Кавказа.

[10] Решительные меры нынешнего начальника наших войск на Кавказе быстро приближают время совершенного покорения всех горских народов.

[11] Род топола, лучшее украшение кизлярских садов.

[12] По мере приближения к морю Терек теряет быстроту свою. Во время разлива, который бывает в летние только месяцы от таяния горных снегов, он наводняет окрестные поля и орошает виноградники посредством каналов, проведенных во множестве с особенным искусством.

[13] Армяне, вызванные Петром Великим на берега Терека, составляют главную и наиболее промышленную часть населения Кизляра.

[14] При устье Терека с большим успехом сеется сарачинское пшено, в котором состоит единственная почти пища азиатских народов.

[15] Шелководство, распространяющееся по всей кавказской линии, в одном Кизлярском уезде доведено до такой степени, что может приносить уже значительную прибыль.

[16] Египетский ибис и великорослый лебедь принадлежат к числу птиц, населяющих берега сего края.

[17] Поросшие камышом западные заливы Каспийского моря наиболее привлекают промышленников выгодною рыбною ловлею.

[18] Есть признаки, несомненно доказывающие, что низменная степь между устий Терека, Волги и Дона покрыта была морем.

[19] Элеуты, или элёты есть общее название народа, которого племена, подвластные России и ей сопредельные, известны нам под именем калмыков.

[20] Быстрая в горах Кума не имеет почти никакого течения в степях, где служит рубежом калмыцким и ногайским кочевьям.

[21] *Ароба*, или *арба*, есть двухколесная телега, особенно употребляемая татарами. Замечательно, что они никогда не подмазывают своих экипажей и нимало не скучают пронзительным их скрыпом. Напротив, между сими номадами господствует мнение, что одному вору свойственно ехать на смазанных колесах так тихо, чтоб не слыхать его было.

[22] Астрахань наполнена воспоминаниями о бессмертном государе: в соборе показывают грамоту, данную еще юным монархом; в арсенале хранят боты, которыми управляла рука, вращавшая кормилом полсвета; в садах ограждают место, на котором отдыхал порфироносный вертоградарь. Везде видишь его изображения, везде слышишь его имя. Кажется он вчера только оставил облагодетельствованный им город.

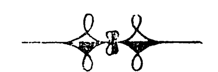
[23] Незадолго до моего прибытия две трети благоустроенной Сарпинской колонии соделались добычею пожара.

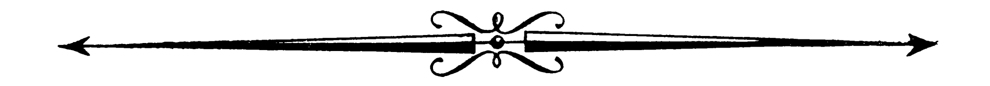
[24] Под сим титлом трудно не узнать величественной Волги, достойной царского венца между всеми реками России и целой Европы.

[25] Здесь разумеются главные реки, с севера впадающие в Волгу: Тверца, истекающая из окрестностей Валдайских гор, Молога и Шексна, имеющие начало свое в стороне, которая в древности называлась Весью, и Кама, обогащенная водами Уральского хребта.

[26] Одно из наименований богини земледелия, полученное от таинств, которые совершались в честь ее в древней Аттике.

[27] Известно, что в южных наших губерниях плодовитые деревья растут купами в полях, и между пшеницею и просом засеваются многие десятины арбузами, дынями и пр. *Соч.*





ИСТИННОЕ ВЕЛИКОДУШИЕ

(Восточная повесть)

При халифе Сулеймане, сыне Ауд-ел-меликовом, жил-был в поколении Асед некоторый человек именем Хазим, сын Бетра. Благородство и великодушие его равнялось с богатствами, которые наследовал он от предков и умножил своею промышленностию. Никогда странник не переступал его порога необдаренный; никогда бедный не отходил от его дверей без пожизненного содержания. Щедрость Хазима вошла в пословицу не только между сынами Аравии, но самой Персии далекой. Такое гостеприимство и щедрость и непредвиденные несчастия довели его наконец до убожества. Напрасно искал он пособия у тех, кому помогал золотом и благодеяньем; напрасно прибегал к тем, что недавно хвалились его дружеством. Все устранялись его, никто не хотел пустить к себе. Раздраженный неблагодарностию, воротился он домой. «Асима, — сказал он жене своей, — бездельники, которых осыпал я добром, — меня отвергли: не хочу долее быть с людьми и забавлять их своим уничижением и злосчастием. С этих пор не выйду за порог моего дома, покуда смерть не придет снять с меня горе или небо не сошлет нам какой нежданной помощи!» Захлопнул он двери для всех и жил убого, продавая остатки украшений, некогда наполнявших его дворец. Скоро вышло и это, и щедрый, великодушный Хазим остался без пропитания в ужаснейшей нищете.

В то время был наместником арабского полуострова Акрам Эль-Байраж. Случайно услышал он в приятельской беседе, что сталось

с Хазимом. «Бедный, — сказал тогда Акрам, — так вот плоды его доблестей! И неужели никто не утешил его, не помог ему в беде?» — «Никто», — отвечали витязи, и Акрам замолк.

Когда все разошлись и ночь смерклась, Акрам насыпал в мешок четыре тысячи золотых динариев, велел оседлать коня и вооруженный поскакал в путь с одним из своих оруженосцев. Въехав в улицу, Акрам велел оруженосцу остановиться и один приблизился к поземной хижине прежнего богача. Постучался; Хазим вышел на зов, и наместник, отдавая ему золото, сказал: «Прими это от меня, великодушный старец, на поправку твоего состояния!» Хазим, взяв мешок и чувствуя тягость его, от души воскликнул: «Кто ты, благородный человек? скажи мне имя свое и я сложу за тебя голову!» — «Не для того избрал я темную пору, чтобы стать известным», — отвечал Акрам. «Скажи, поведай твое имя, — возразил Хазим, — иначе я не приму твоего дара». — «Я помощник добрым в беде», — сказал Акрам и быстро умчался от Хазима. Обрадованный старец сейчас же побежал к жене своей, крича: «Развеселись, Асима; бог обдарил нас; вот мешок с деньгами! встань-ка проворней, да засвети свечку поглядеть, что послало небо». — «И рада бы засветить, — отвечала жена, — но ты знаешь, что у нас давно не бывало свечи в доме». Огорченный этим Хазим принужден был потешить свое любопытство в потемках, нетерпеливо перебирая деньги ощупью. Здавалось ему, что они золотые, но он не смел сам себе верить.

Воротясь во дворец, Акрам нашел жену свою в слезах от беспокойства о ночной его поездке, о которой ей тот же час шепнули. Подозрение и ревность зажгли ее мысли и сердце. «Ты здесь наместник, а выезжаешь о полуночи украдкою в город без свиты и охраны! Наверно, у тебя есть где-нибудь другая жена или полюбовница. Признайся, скажи по всей правде, куда выезжал ты?» — «Клянусь тебе, — отвечал Акрам, — что нет у меня ни той, ни другой». — «Какая ж необходимость припала тебе так спешить?» — «Верно что-нибудь важное вызвало меня ночью из дому, и очень тайное, когда я никого не взял, чтобы никто о том не ведал?» — «Все-таки ты должен мне рассказать это дело, иначе не уступлю

я тебе ни шагу!» Женины слезы, просьбы и упреки принудили наконец Акрама открыть ей тайну под клятвою: никогда о том не вспоминать.

Назавтра Хазим, расплатясь с заимодавцами, решился отправиться ко двору халифа, который находился тогда в Палестине. Сулейман, зная Хазима лично и наслышавшись о его доброте и щедрости, велел немедленно впустить к себе почтенного старца сего и спросил: «Отчего Хазим так давно с нами не видался?» — «Владыко правоверных, — отвечал тот, — бедность не дозволяла мне насладиться этим счастием!» — «Для чего ж не пришел ты ко мне?» — «Недостатки тому виною: как мог я без денег предпринять столь дальное путешествие!» — «Как же теперь ты приехал?» — «Какой-то незнакомец, который назвался *помощником добрых в беде* и который под этим именем помогал уже многим несчастливым, как я доведался после, великодушно пособил мне». Тут Хазим рассказал халифу как было дело и прибавил: «Зная, что в наших краях нет человека щедрее и скромнее тебя, властитель правоверных, я не сомневался, что подарок этот пришел от тебя, и приехал воздать тебе мое благодарение». — «Не благодари меня напрасно, Хазим, — сказал Сулейман, — я даже не ведал о том. Напротив, я горю желанием узнать этого добродетельного человека, чтобы достойно наградить его. Что ж до тебя — я знаю твои достоинства, знаю, как великодушно владел ты своим имением, — и теперь тебя не оставлю». Сказав это, велел он подать себе калем * и написал собственноручно указ о назначении Хазима наместником арабского полуострова на место Акрама, которым почему-то он был не доволен.

Как скоро новый наместник приблизился к столице новой своей области, Акрам выехал к нему навстречу в кругу лучших горожан. Оба приветствовали друг друга учтиво, но холодно, потому что издавна, по ссоре, жили в открытой неприязни. Едва вступил Хазим во дворец, то объявил своему предшественнику, что он должен представить за себя поруки для ответа в целости областной казны.

* Писальная трость.

Потом принялся за поверку счетных книг и открыл там важный недостаток. На требование выплаты оного, прежний наместник отвечал только, что он не может этого сделать, ибо оставил свою должность беднее, чем вступил в нее. Недруги Акрамовы твердили наместнику, будто он притаил свои богатства, и наконец Хазим велел его ввергнуть в темницу и чрез несколько дней послал снова напомнить о выплате недочету. «Скажите наместнику, — отвечал Акрам [a] — что я не из тех людей, которые на службе живятся добром общественным, а сходя с должности, стараются неправдою утаить недобром нажитое имение!» Тогда неумолимый Хазим велел заковать его в железа; и целый месяц прошел без улучшения судьбы человека, которого вся вина состояла в готовности помогать терпящим нужду.

Между тем жена Акрамова всеми средствами старалась чрез родных и друзей умилостивить суровую справедливость наместника или подвигнуть их на уплату казне за мужа; но видя, что ее старания бесплодны, а мучения Акрама горче и хуже, решилась переступить клятву. «Ступай, — сказала она одной верной своей невольнице, — ступай во дворец наместника и скажи, что имеешь открыть важное дело и что только одному ему открыть его можешь. Когда же станешь перед его очи, то проси, чтобы он наедине тебя выслушал и тогда выговори слово: „Хазим! неужель темница, оковы и муки должны быть наградою *помощника добрых в беде*“». Невольница в точности исполнила волю госпожи своей, и Хазим, услышав то, в отчаянии воскликнул: «О горе мне, горе! Так это был он, он, мой старинный, великодушный неприятель?» — «Он сам», — отвечала уходя невольница.

И вот наместник, пораженный стыдом и жалостию, велит поспешно скликать лучших горожан, садится на коня и в их поезде скачет к темнице Акрама. Несчастный сидел в темном и мокром подземелье, бледный и чахлый; горесть и отчаяние видны были во всех чертах его лица. Видя входящего Хазима с толпою вельмож, он робко взглянул на них и, проникнутый чувством уничижения, скло-

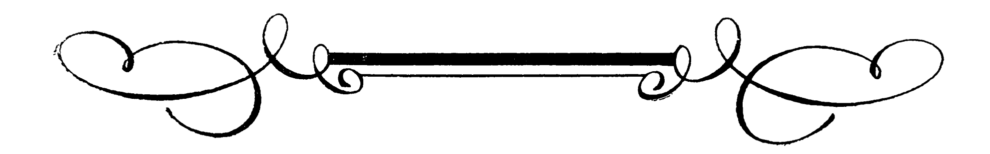
[a] *В ПЗ ошибочно:* Хазим. (*Прим. сост.*).

нил голову. Залившись слезами, кинулся наместник ему в ноги и целовал их покорно. Изумленный тем пленник, поднял голову и спокойно спросил: «Что это значит, Хазим? какая причина привела тебя сюда?» — «Великодушие моего врага», — отвечал глубоко тронутый Хазим. Тогда же, в снятые с пленника оковы, наместник велел заковать свои ноги. «Что хочешь делать?» — возопил Акрам Хазиму. «Покарать себя, — возразил тот, — и столько же вытерпеть мук, сколько я заставил терпеть моего благодетеля». — «Богом и его силою и твоею душею заклинаю тебя, — прервал Акрам, — не делай этого, если не хочешь отравить моей жизни».

Наместник с честию проводил Акрама в дом свой, и тот же час отправились в мыльню. Потом задал ему там пышный завтрак, на котором сам услуживал благодетелю. Потом доставил ему всё, что может усладить жизнь, и взялся внести в казну недочет. Просил его также выходить у жены ему прощение и расстался с ним со слезами. Через несколько дней наместник, взявши с собою Акрама, приехал ко двору халифа, который в то время жил в Рамле. Как скоро доложили Сулейману о приезде Хазима, он закричал: «Как! Наместник Аравии приезжает сюда без моего указу? Верно какое-нибудь важное дело заставило его предпринять эту поездку!» Немедленно велел он Хазиму к себе явиться, и когда тот вошел, Сулейман, не давши ему времени даже поклониться, торопливо спросил: «Эмир, с чем ты приехал?» — «С счастливою вестью, — отвечал наместник, — я привел к тебе *помощника добрых в беде*, которого ты, властитель правоверных, так жаждал увидеть». — «Кто же он такой?» — «Акрам-Эль-Байраж, мой предместник», — сказал Хазим. Тогда Сулейман велел ему стать перед собою, принял его очень ласково, осыпал похвалами и прибавил: «Ты видишь, Акрам, что если бы ты не был великодушен, то остался бы несчастен. Я был недоволен твоим излишним снисхождением к мятежным обитателям твоей области; но теперь проси о какой хочешь милости». — «Властитель правоверных, — сказал тогда Акрам, — во время моего правления я поручался за многих посаженных за долги в темницу; оплатить их я не могу — то пусть же за них опять в тюрьму возвращуся». — «Напиши мне имена заимодавцев — я сам заплачу за

тебя», — возразил халиф. Потом велел одеть его в богатое платье и, дав ему 10 000 золотых динариев, наконец примолвил: «Назначаю тебя, Акрам, наместником в Аравию и Ирак и отдаю на твою волю, самому заняться должностию или передать ее Хазиму». — «Утверждаю его, — радостно воскликнул Акрам, — потому что никогда в жизни моей я не мог дать большего и достойнейшему!» Халиф похвалил его великодушие и назначил наместником в Сирию: оба друга с тех пор пользовались неограниченною милостию самовластителя и до его смерти правили высшими должностями.

С арабского *И. Сенковский.*



ВНУТРЕННЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ И СВЕТСКАЯ СУЕТА

(Две картины, занятые из сокровищницы души человеческой)

Провидение, милостивое к человеку и в земном его заточении, подарило его прекрасною способностию уединяться в самого себя, познавать себя и наслаждаться у себя и своим. Из тесного уголка, из бедной хижины, воображение, как волшебная пчелка, летает из страны в страну по лесам, городам и пустыням и везде находит что-нибудь такое, что может принести домой, чтоб повеселить душу, которая, разгневавшись на шумный, суетливый, беспокойный мир, уединяется сама в себя, и в сладкой ненарушимой тишине любуется мечтами, как будто картинами волшебного фонаря. — В это время *ум* отдыхает; *голова* покойна; *страсти* — сии подпольные жители сердца — заперты в своем погребу: их пробуждает только тревога; *совесть* — если она чиста — светит в сердце так весело, как первое утро в храмине новобрачного, когда он, проснувшись первый, смотрит на розовые ланиты своей подруги и ожидает, когда откроются ее голубые глаза... Тут душа наслаждается тем удовольствием, которое ни у кого не отнято, никому не мешает, которому никто не завидует и которое выше всякого наслаждения чувственного. А *чувства?* что ж делают чувства? — Они дремлют, как слуги в передней, когда господин их занимается у себя своим делом... Вот тайна непокупного и непродажного наслаждения внутреннего, тайна, которую *кто-то* сказывает добрым, когда они утомятся в свете, который вечно шумит и кружится, как мельница на полном ветру и мелет всё, что в него ни попадает... Но вот — *другая картина* — вдруг подлетает

к душе-уединеннице суета земная. — Прощай спокойствие! всё приходит в волнение... *чувства* жадно ловят впечатления — добрые и худые; — *ум*, встрепенувшись, гордо осматривается и умствует... *страсти* тотчас выползают, вспыхивают, рвутся и, толкая друг друга, толпятся в сердце; мысли волнуются; голова кружится, как жернов; во всех этажах человека страшная тревога: тут говорят, спорят и ссорятся о чести и почестях; о видах, надеждах и желаниях; тут слышно шипение зависти, ропот самолюбия; — и цепь отношений, приличий и обязанностей мгновенно накинута на душу, как аркан горского разбойника, и влечет бедную из минутной независимости в рабство и тревогу, называемую *светскою жизнию*, где ум изгибается и коварствует, язык лжет и *лицо*, как искусный актер, играет такие роли, каких настоятельно требуют — *обстоятельства*.

Ф. Глинка.

СВИДАНИЕ В ЛУНЕ

В кипящей юности моей, когда я ничего не знал еще о жизни, людях и свете, я видел жизнь и свет в голубых глазах красавицы. Эльмира было имя ее. Одно только безмолвие может сказать, как она была прекрасна. Рано по утрам, когда я вместе с птичками подстерегал восход солнца, я часто оставался в нерешимости: что прекраснее — природа ли, пробуждаемая алым утром, или милая дева, опочивающая на белом ложе, под тонкою дымкою, так покойно, как чувство ясной надежды и тихой любви почивает в груди человека. Мечты и видения, казалось, соглашались забавлять невинную: ей всегда снилось что-нибудь прекрасное, ибо улыбка всегда порхала на прекрасных устах ее. Казалось, полная молодая роза жила и дышала на сих свежих устах!.. На часах моей жизни ударил час разлуки. И дни, и месяцы, и годы как будто слились в одно *вчера* и наступило то *завтра*, которому надлежало быть последним для нашего последнего *прости!* Теплый весенний дождик умыл лицо природы. Благословение сошло на обновленную землю. Густой аромат черемухи и тонкий запах фиалки, как бользам весны, незримый, но ощущаемый, освежал, облагораживал воздух. Протяжными перекатами

свистал соловей, как будто с кем-то перекликаясь... Всё было весело, только печалились мы.

Скоро пространство разделит нас! чужие земли, города, реки и народы станут между нами. Когда и где увидимся с тобою, моя Эльмира?... Человек есть раб отношений и места; это ссылочный узник, влачащий по земле телесные оковы свои. Но мысли его свободны! Где ж найдем *точку*, в которой бы встречались наши мысли, чтоб можно было сказать: теперь глаза друга устремлены *туда*... за взорами мысли, за мыслями души повстречались бы на одном предмете?.. В это время, когда мы так говорили, засветлелся серебряный дым облаков и ласковая полноликая луна выступила и улыбнулась приветливо, как будто подслушав разговор расстающихся.

Новая мысль сверкнула как молния... Будь она — указывая на луну — нашею посредницею, привычным местом свидания наших душ!.. И условие сделано: где бы кто ни был, смотреть на луну в час ее восхождения и заката и думать, что в некоторое мгновение мысли обоих могут повстречаться в ней... И так прошло долго, долго после разлуки с милой. Высокие огни военного стана пылали на лесистых берегах Немана: кони ржали. оружие бряцало. С утром ожидали боя... славы... и смерти... Я прислонился к корню вековой ели и ожидал луны... Рассыпчатое серебро заблистало в волнах реки: она взошла, и я увидел — в лице луны — лицо моей Эльмиры: лиловое покрывало осеняло русые волосы, белая роза сияла на челе... Уста ее, казалось, что-то произносили, и слух души моей уловил только сии слова: «Я разгадала загадку жизни! Не называй смертию минутный переход! любовь соединяет миры; любви уступает пространство... Любовь — стихия неба; будь она стихиею твоего сердца, и небесное соединится с земным! — Прощай! мы розно — и вместе, пока не разорвется нить душевного союза». Сии слова напечатлелись на моем сердце, и с тех пор не раз в светлые минуты туманной жизни земное возвышалось до небесного, а небесное сливалось для меня с земным.

Ф. Глинка.

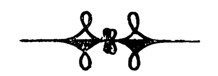
КАРТИНА ЗАЛИВА

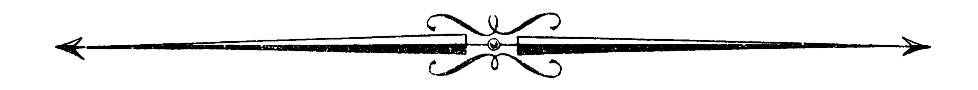
Из окна моей комнаты люблю я смотреть чрез кущи зеленых дерев, чрез луга и равнину на тихий залив перламутрового цвета — таковым он кажется в некоторые часы дня, — когда розовый край неба отливается в нем так ясно, как высокие истины веры и благодати в чистой, безмолвной душе человека, который не умствует, а верит... Гряда отдаленных лесов синею дугою окружает заливы. Воображение скользит мимо шумного города, который видится вдали, как великолепное сновидение, и охотно любит останавливаться на белых парусах величаво идущих кораблей и смиренно причаливших лодок. — Я всегда думаю: там, на сих кораблях, на сих челнах есть люди, у каждого свои мечты, свои надежды, свои желания... Под разными полосами неба качались их колыбели и где застигнут их могилы? — В вечерних туманах нашего Севера одни мечтают о сладком воздухе Италии, где прекрасные виды веселят душу, как роскошная музыка, — ибо всё в природе есть гармония: в звуках, цветах и в стройном разнообразии видов — где моря, как светло-зеленый бархат, сияют отливом щедрого, великолепного солнца; где вечер сходит, как мир, успокаивая природу и чувства человека. Другие воображают берега полуденной Франции, так прекрасно изображенные Вернетом на картинах его, в которых природа дозволила ему снять с себя столь верный портрет!.. Те воспоминают себе края, где вершины гор земных стоят выше громов небесных и красуются как великаны в ледяных венцах своих: они блистательны и хладны, как люди, окруженные сиянием величия, но лишенные теплоты милосердия! — Вспоминают иные о долинах, где сладкий пурпур и янтарь, в роскошной неге, как идеи человека, надежно огражденного законами, беспечно зреют в виноградниках для того, чтоб сок, извлеченный из кистей, свободно созревших, перешел, как сокровище, в потомство позднейшее... Иным представляются оливковые рощи, и, кажется, слышится еще благовонный запах цветущих померанцев, далеко лиющийся по счастливым долинам, лежащим у подножия холмов, увенчанных развалинами древних красивых замков, где еще видимы сады, и фонтаны, и мозаические

картины на разрушенных стенах, где в давние времена победоносные мавры изобразили золотом и яркими красками сладкозвучные стихи Корана и тайны мудрости восточной в символических знаках, кои привыкли считать теперь за простые узоры... Там некогда, под живым навесом пальм и ясминов, плавая в ароматах роз, среди жемчугу, фарфора, хрусталей и зеркал, под песнию соловья и горлицы, и при звуках цитры воинственного мавра и вдохновенного трубадура, в прохладе биющих фонтанов и в сильно ударяющем на чувства благоухании *мускуса* почивала роскошная красавица, воздыхая о счастии земном, и смиренно сидел, изнуренный голодом *дервиш*, искавший пути к небу, которого тайны еще не открыты были пророком его...

Но не всегда представляется мне залив спокойным зеркалом. Он померкает вместе с небом. Восстает ветр, и влажная долина холмится... Иногда белые волны подымаются, ходят и пасутся, как стада на своих пажитях... Иногда вдруг налетевший порыв вихря колышет лес, крутит пыль на большой дороге, свивает облака в небе и буровит до дна воды залива... Это явление невольно напоминает о тех случаях жизни, когда одно налетное чувство приводит в движение всю природу человека.

Ф. Глинка.





УРОК НЕБЛАГОДАРНЫМ

(Восточная повесть)

Отъезжая в Дамаск ко двору халифа Абд-эль-Мелика, Абу-Мухаммед эль-Хедзаж, наместник Аравии, взял с собою любимца своего Ибрагима, которого он весьма уважал и часто давал ему значительные поручения. «Владыко правоверных, — сказал Абу-Мухаммед, — я представлю тебе человека, выше которого в благородстве души, в доброте сердца и в обширности ума я никого не знаю в Аравии; что же касается до необыкновенных его способностей и верности ненарушимой, то смело могу сказать, что нет ему равного. Его имя Ибрагим, сын Тальхи!» Халиф с радостию пожелал его видеть и позволил его к себе представить.

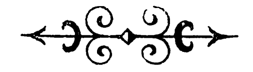
Как скоро Ибрагим вошел и обычно поприветствовал властителя, тот принял его ласково, посадил на средину софы и сказал: «Абу-Мухаммед много нам говорил о твоих доблестях в расправе, о твоем благородном образе мыслей, о твоей неизменной верности. Поведай же нам: чего себе желаешь? ибо мы не хотим оставить втуне живые за тебя просьбы и благодарность Абу-Мухаммеда. Говори, какой совет имеешь дать нам?»* — «Для себя в этой жизни ничего не желаю, — ответствовал Ибрагим с набожным видом, — а в будущей жажду только быть в раю, в лоне пророка. Что ж до совета — я имею поверить тебе очень важный». — «Я готов его выслушать», — сказал халиф. «Не могу высказать его в присутствии

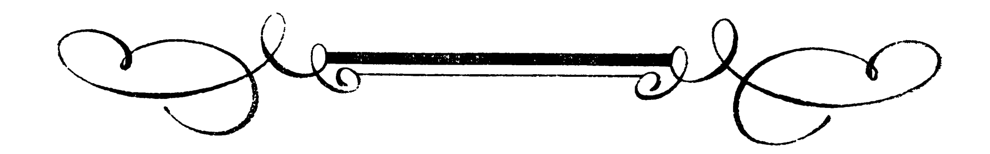
* Обыкновенная при восточных дворах формула.

третьего». — «Неужели не можешь открыться при твоем наилучшем друге и покровителе?» — «Даже и он не должен быть участником этой тайны». Абу-Мухаммед, смущенный и пристыженный такою недоверчивостию человека, от которого в самых сокровенных делах и мыслях не таился, не знал куда взглянуть, куда ступить; но халиф дал ему знак удалиться, потом, обратясь к Ибрагиму, сказал: «Теперь смело можешь открыть мне тайну свою, и если в ней заключается твое желание, то обещаю оное исполнить». — «Властитель правоверных, — сказал тогда Ибрагим. — Ты назначил Абу-Мухаммеда наместником знаменитой Мекки и ясной Медины, сих обиталищ сынов товарищей пророка и источников чистой веры ислама, хотя ведал об его буйном нраве, его жестоких склонностях, его неуважении к обрядам и неправоте в суде. Он угнетал иманов и святотатственно потоптал их старинные права, не нарушенные дотоле ни одним мусульманином. Какой ответ дашь ты, властитель правоверных, в последний день на суде пророка за утесненных при тебе особ, столь дорогих его сердцу? Государь! страшись божьего гнева; скинь его с наместничества и карою виновного заслужи у пророка на будущую жизнь!» — «Как жалко обманулся Абу-Мухаммед, представив тебя человеком, полным чести», — сказал халиф, бросая на лицемера взор презрения, и дал знак рукою, чтобы он вышел. Абу-Мухаммед долго говорил с халифом, снова к нему позванный, между тем как Ибрагим сидел в сенях, терзаемый отчаянием неудачи и угрызением совести, сей обычной мучительницы преступных душ, трепещущих от предчувствия неизбежной казни. Неблагодарный не сомневался, что смерть или вечная тюрьма будет наградою коварства против благодетеля, но всего более страшился, чтоб не выдал его халиф головою, мести обиженного друга. Вдруг поспешно выходит Абу-Мухаммед, сжимает его в объятиях и удаляется, сказав: «Ибрагим, благодарю тебя за дружбу и постараюсь быть достойно ее благодарным. Узнаю теперь, что не умел ценить тебя!» Эти слова поразили его как громом. Видя погибель, он не знал, куда ему деться, когда придверник кликнул его к халифу. Бледнея и трепеща, вошел Ибрагим в палату властителя. «Приятель, — сказал ему Абу эль-Мелик, — я послушался твоего со-

вета и сменил Абу-Мухаммеда с наместничества Мекки и Медины; но я уверил его, что ты, исполненный к нему благодарности, просил меня наградить друга по-царски и возвысить в важнейшее достоинство; что я по твоей просьбе жалую его наместником обоих Ираков. Удались, подлый человек; ты поедешь с ним вместе, и пусть он заплатит тебе добром за зло, которое хотел ты ему сделать. Если есть в тебе душа, то пусть стыд при каждом от него благодеянии обратится в тяжкое наказание твоей низости. Удались, но помни, что я знаю твое сердце!»

С персидского *И. Сенковский.*





ИЛИАДА

Песнь XIX

(Отрывок)

Ахиллес, примирясь с Агамемноном, принимает от него дары, вооружается и выезжает на битву.

Ст. 278 ... дары торопливо приняв Мирмидоны,
С ним пошли к кораблю Ахиллеса, подобного богу;
Их разложили по кущам, а пленниц младых посадили;
Коней погнали в табун Ахиллесовы верные слуги.
Бризова ж дочь, златой Афродите подобная ликом,
Только узрела Патрокла, пронзенного медью суровой,
Вкруг мертвеца обвилась, возрыдала и начала с воплем
Перси терзать, и нежную выю, и лик свой прелестный;
Плача жена, как богиня прекрасная, так говорила:
«О мой Патрокл! о друг, для меня злополучной, бесценный!
Полного жизни тебя я оставила, сень покидая,
В сень возвратясь, нахожу бездыханного, пастырь народа!
Так постигают меня беспрерывные бедство за бедством!
Мужа, с которым меня сочетали родитель и матерь,
Видела я перед градом пронзенного медью суровой;
Видела братьев троих (родила нас единая матерь)
Всех, однако, мне милых, погибельным днем поглощенных.
Ты ж, утешитель мой был — и тогда, как Пелид-градоборец

Мужа сразил моего и обитель Минеса разрушил:
Плакать ты мне не давал, говорил, что меня, Пелейону,
Сделаешь юной супругой, что скоро во Фтийскую землю
С ним возвратишься и брак с мирмидонами праздновать будешь.
Мертв ты! тебя мне оплакивать вечно, юноша милый!»
Так говорила, рыдая; стенали вкруг оной и жены
С вида, казалось, о мертвом, но в сердце о собственном горе.
Тою порой посещали Пелида ахейские старцы,
Пищей прося укрепиться, но он отвергал их стенящий:
«Други! молю вас, когда между вами я друга имею,
Нет, не просите меня, чтоб питьем, чтоб какой-либо пищей
Сердце насытил: его раздирает жестокая горесть!
Солнце пока не зайдет, не коснуся я к пище, решился».
Так говоря, отпустил он из сени других властелинов:
Оба ж Атриды остались, остался и Нестор почтенный,
Идоменей, Одиссей и старец воинственный Феникс:
Грустного сердцем они утешали; но сердцем он весел
Не был, покуда не бросился в бездну кровавого боя.
Он, о былом вспомянув, тяжело застонал и воскликнул:
«Прежде, бывало, мне ты, злополучный возлюбленный друг мой!
Сам под кущей моею приятную снедь предлагаешь,
Скоро всегда и заботливо, если, бывало, Данаи
Бой поспешают нанесть укротителям коней, троянам:
Ныне лежишь ты растерзанный; сердце мое отвергает
Снедь и питье, и тебя, о Патрокл мой, единого жаждет!
Нет, ничего уже горшего мне не испытывать в жизни.
. . . .
. . . .
338. Так он, рыдая, вещал; и старейшины тихо вздыхали,
Вспомнив, что каждый в отечестве милого сердцу оставил.
Их, омраченных тоскою, узря, умилился Кронион;
Речи крылатые он устремил к светлоокой Афине.
«Дочь! неужели ты вовсе оставила славного мужа?
Сердце тебе неужели нимало Пелид не заботит?

Се он, воззри, пред кормами своих кораблей быстролетных
Сидя, тоскует по друге любезном; к трапезе аргивцы
Все разошлись, а Пелид остается и гладный и томный.
Шествуй, амврозии сладкой и нектара светлого мужу
В перси геройские влей, да его не обымет истома».
Рек, и подвинул Афину, давно влекомую сердцем:
Быстро она, как орел зычногласый, ширококрылатый,
С выси небес низлетела по воздуху. Тою порою
Рать аргивян ополчалась по стану. Пелееву сыну
Нектара Зевсова дочь и амврозии сладостной тихо
В перси влила, чтобы голод его не осилил жестокий,
И к олимпийскому дому отца Громовержца богиня
Вновь вознеслась; а полки от судов разливалися черных.
Словно как снежные клоки от Зевса слетают густые,
Ветром суровым гонимые, мраз наносящим Бореем:
Так же густые от черных судов по равнине неслися
Шлемы, игравшие блеском, щиты, воздымавшие бляхи,
Крепкие брони и длинные копья, сверкавшие медью.
Блеск до небес восходил, земля улыбалася окрест,
В молниях меди лучащаясь; стук из-под стоп подымался
Ратных мужей; а в среде их Пелид ополчался могучий:
Зубы его скрежетали от ярости; быстрые очи,
Словно как пламень, светилися; сердце ему проходила
Грусть нестерпимая. Так на пергамлян он пышущий гневом
В дивное бога созданье, в дары облекался Гефеста.
И сперва наложил он на быстрые ноги поножи
Пышные, сребряной снизу смыкавшиясь плотной наглезной;
После на мощную грудь надевал кругозарные латы;
Сверху на рамо набросил убийственный меч среброзвездный,
Медный; и щит, наконец, беспредельно огромный и крепкий
Взял: далеко от него, как от месяца, свет разливался.
Словно как по морю свет корабельщикам в очи сияет
Яркого пламнем огня, на вершине горящего горной,
В месте пустынном; а их против воли и буря, и волны,
Мча по кипящему понту, от милых далече уносят:

Так от щита Ахиллесова, пышно-блестящего круга
Свет разливался по воздуху. Шлем, наконец он, поднявши,
Тяжкий надел на главу; над главой, как звезда, залучился
Шлем коневласый, и страшно над оным власы заволнились,
Космы златые, Гефестом разлитые густо над гребнем.
Стал наконец на себе доспехи испытывать витязь,
Впору ли стану его, соразмерны ли гибкому телу,
И как крылья они подымали владыку народа.
После копье из хранилища витязь отцовское вынул,
Крепкий, тяжелый, огромнейший ясень; никто из ахеян
Оным не мог колебать; один Ахиллес колебал сей
Ясень Пелейский, который отцу его некогда Хирон
Ссек на главе Пелиона на грозную гибель героям.
Коней меж тем Автомедон и сильный Алким снаряжали:
В пышных поперсьях к ярму припрягали их, удила в морды
Коням вложили и возжи, назад колесницы блестящей
Вместе сложа, протянули; тогда, захвативши рукою
Гибкий блистательный бич, в колесницу вскочил Автомедон.
Сзади, готовый к сражению, стал Ахиллес быстроногий,
Весь под доспехом блестя, как высоко-ходящее солнце.
Голосом страшным герой воскликнул на коней отцовских:
«Ксанф мой и Балий, сыны благородные бурной Подарги!
Иначе вы постарайтеся вашего вынесть возницу
К ратному сонму данаев, когда мы насытимся боем;
Вы, как Патрокла, не бросьте его бездыханного в поле».
Рек он; как вдруг под упряжью конь взговорил бурноногий
Ксанф, понуривши морду и пышною гривой своею,
Выпавшей вон из ярма, досягнув до земли, говорил он:
Вещим его сотворила богиня могучая Гера.
«Вынесем, грозный Пелид, тебя еще вынесем ныне;
Но приближается гибельный день твой; не мы, ратоборец,
Будем виновны, но бог всемогущий и рок самовластный.
Нет, не от слабости ног, не от праздности, нам незнакомой,
С персей Патрокла трояне блестящие сорвали латы:
Бог многомощный, прекрасно-волосою Летой рожденный,

Свергнул его впереди и дал торжество Приамиду,
Мы же, хотя бы летать как дыхание Зефира стали,
Ветра быстрейшего всех; но увы! и тебе, наш владыко,
Так суждено от бога и смертного, лечь побежденным».
С сими словами Эриннии конскую челюсть сомкнули.
Мрачен и гневен вскричал на коня Ахиллес быстроногий:
«Что ты, о конь мой! пророчишь мне смерть? не твоя то забота.
Твердо я ведаю сам, что судьбой суждено мне погибнуть
Здесь, далеко от отца и от матери; но не сойду я
С боя, поколе троян не насычу кровавою бранью».
Рек он, и с криком вперед поскакал на конях звуконогих.

Г — ч.

НАШЕСТВИЕ МАМАЯ

(Песнь Баяна)

Не туча над Русью всходила востоком,
Не буря готовила гибель земли,
Не воды с Кавказа срывались потоком —
Под знамя Мамая ордынцы текли.
Стеклися и хлынули в Русское царство!
Но дремлет ли в праздном бессилье орел,
Когда расстилает сетями коварство,
Готовя великому тесный удел?

*

Воскресло, воскресло ты, чувство свободы
В сердцах, изнуренных татарским ярмом:
Так глыбой не держатся горные воды,
И тощею тучею мещется гром.
Я зрел: на распутьях дружины теснились;
Из мирного плуга ковался булат;
И плакали жены, и старцы молились,
И мщением искрелся юношей взгляд.

*

Как листья дубравы под вешним дыханьем,
За Доном взвевались знамена татар;
Осыпаны вечера ярким сияньем,
Доспехи ордынцев горели как жар,
Как листья дубравы под холод осенний,
С рассветом ложились без жизни ряды;
Тускнели доспехи под кровью сражений
И долу клонилося знамя Орды,

*

Почто ж не любуешься с выси кургана
Воинственным полем, надменный Мамай?
Не зиждешь, как прежде, победного стана!
Бежишь, как безумный, в отеческий край?
Сын варварства! в нем ли найдется утрата?
Тебя оглушат там проклятия вдов;
Сестра там заплачет за лучшего брата,
Отец за надежду последних сынов...

*

Не знал ты, что чувство свободы сильнее,
Чем алчность корысти, душ купленных жар;
Не знал ты, что сердцу звук цепи слышнее,
Чем звонкого злата о злато удар.
Днесь поздо клянешь ты улусов кумиры,
На русское небо боишься взглянуть.
Беги! не сорвать тебе с князя порфиры:
Цепь рабства не давит уж русскую грудь!

В. Григорьев.

ТЕМНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Я помню: так, как давний сон,
Мое златое время детства,
Когда еще мне чужд был стон,
Когда не знал я слова: *бедства*...
В тех незапамятных годах
Терялся часто я в мечтах,
Глядя на голубые своды,
Как будто ведомых небес;
На виды сельские природы
И на спокойный темный лес,
Под золотою полосою,
Когда день летний догорал
И свежей вечера росою
Благоуханный луг сиял...
Я помню, с каждою весною,
Откудова, не знаю сам,
Являлась *дева-песней* к нам
И часто занималась мною
Она, прекрасная, как день;
Я помню стан, под флёром, гибкий
И алые уста с улыбкой...
Как пролетающая тень,
Она без шуму приходила,
С любовью в голубых очах,
И на серебряных струнах
Златые песни выводила...
Я помню, часто я любил
Сидеть у ног певицы сладкой,
И, дух переводя украдкой,
Я жадно песнь ее ловил
И целовал у девы руки...
И были, в детской простоте,
Мне непонятны песни те;

Но — усладительные звуки, —
Как дар высокий и святой,
Берег в душе дитя счастливый:
Так дождь пшеницы золотой
Ложится в лоно мягкой нивы.
И я с тех пор в душе носил
Залог священного посева...
От нас сокрылась скоро *дева.*
Уж я нигде не находил
Моей пленительной подруги!
Промчались детские досуги,
Я рано с грустью стал знаком:
Сказав, в слезах, «прости!» отчизне,
Я рано брошен в бурю жизни
И стал мне чужд отцовский дом...
Но что-то в памяти сверкало,
Мечтой неясною маня,
И, мнилось, в сердце у меня
Как будто *что-то* созревало. —
Я рос на поле боевом,
Труды и дальние походы
Снедали дни мои и годы:
Кругом грозы военной гром,
И со врагом дневные драки,
И ночью светлые биваки
И грады пышные в огне:
Вот всё, что было близко мне! —
Но браней смолкнула тревога,
Отпразднован победы пир;
И мне тиха была дорога:
Я шел украдкой в новый мир
Искать душе усталой мира...
Мне невзначай попалась лира!
Я в первых песнях пел любовь
И прелесть пышную природы;

И чудеса сердечных снов,
Мечты блаженства и свободы
Ласкали юного певца...
И позже — в горестные лета,
Узнав вблизи коварство света,
Людей холодные сердца,
Лишенный счастья и покою,
Высокой вдохновен тоскою,
Я пылкой жаждою горел
Взноситься мыслью окрыленной
В пределы тайные вселенной;
И с гладом сердца я летел
К *нему* — строителю природы;
И, выше созданных миров,
Где нет телесности оков,
Я в беспредельности свободы
Мой дух усталый освежал
И горным солнцем позлащал
За мной влачащиеся узы...
Но никогда от ранних лет
Ко мне не приходили *музы*
И мне не ведом их привет,
Безвестны тайны песнопенья;
Пою по сердцу, без уменья...
Но что ж полна душа моя
О ком-то памяти священной? —
Чтоб ни запел — то слышу я
Всё песни *девы* незабвенной...

Ф. Глинка.

Л—ОЙ

Слепой поклонник красоты,
Наперекор моей судьбине
В нее я веровал доныне,

Ей нес я в дар мои мечты,
Я трепетал в тоске желанья
У ног волшебниц молодых;
Но тщетно взор во взорах их
Искал ответа и узнанья!
Огонь утих в моей крови,
Покинув службу Купидона,
Я променял сады любви
На верх бесплодный Геликона.
Но светлый мир уныл и пуст,
Когда душе ничто не мило;
Руки пожатье заменило
Мне поцелуй прекрасных уст.

Б.

К ТОВАРИЩАМ

Когда веселою толпой
Влетает ваш блестящий рой
В ее отрадную обитель,
И ваш играет резвый ум;
Безмолвный, неприметный зритель,
Исполненный тяжелых дум,
Поникнув томными очами,
Я остаюсь при ней меж вами:
Она, печальна ль, весела ль,
Отрадой сердце наполняет;
Ее пленительна печаль,
Ее веселье умиляет.
Как с нею радость вам милей
И ближе к сердцу наслажденье;
Мое страдание при ней
Свое находит утешенье.
Как облака, сходясь к луне,
Внезапно вид меняя мрачный,

Сияют как туман прозрачный;
Так думы черные во мне
При ней осветятся невольно:
И сердце жизнию довольно.

Плетнев.

НАДГРОБИЕ

от супруга супруге

И ангелы в плоти не дольше роз живут:
Увы! где прелести, любезность без искусства?
Где милый нрав и ум, возвышенные чувства,
Моя отрада, жизнь? всё тут.

* * *

ЦВЕТЫ,

выбранные из греческой анфологии*

1

Щит Ахиллесов

(Неизвестный)

Ектора кровью обрызганный щит, наследье Пелида,
Сыну Лаерта на часть отдан ахеян судом;
Море, пожрав корабли, сей щит не к утесам Ифаки,
К гробу Аяксову вспять быстрой примчало волной.

* Другой отрывок сего перевода отборных греческих надписей был напечатан в *Северных цветах*, стран. 305—312.

Море явило неправость суда: хвала Посидону!
  Он, Саламина, тебе должную честь возвратил.

2

Спартанцы при Фермопилах

(Антипатр Сидонский)

Смерти они искали во брани; их праха не давит
  Мрамор блестящий: венец доблести доблесть одна!

3

Трофей Филиппов

(Туллий Гемин)

Здесь я, трофей для кекро́пян поносный, воздвигнут Филиппом
  В честь Арею: векам весть о победе скажу.
Здесь посмеваюсь тебе, Марафон, тебе, Саламина,
  Морем омытая: вас Пеллы смирило копье.
Мертвыми ныне, Димо́сфен, клянись! я вечно пребуду
  Роду живущих и вам, тени усопших, стыдом.

4

К истукану Победы, в Риме, с отбитыми громом крыльями

(Неизвестный)

Слава твоя не увянет, о Рим, владыка вселенной!
Крыльев Победа лишась, будет твоею навек.

5

Алкон

(Лентул Гетулик)

Юного сына узрев обвитого странным драконом,
  Алкон поспешно схватил лук свой дрожащей рукой;

В змия направил удар: и легко-оперенной стрелою,
  Сына минуя главу, пасть растворенну пронзил.
Битву безбедно свершив, повесил здесь Алкон на дубе
  Полный стрелами колчан, счастья и меткости в знак.

6

К истукану богини Немесы

(Неизвестный)

С мерой, с уздою в руках, вещает нам Не́меса ясно:
  «Меру в деяньях храни; дерзкий язык обуздай!»

7

К жизни

(Эсоп)

В смерти ль единой, о жизнь, от бедствий твоих избавленье!
  Тяжко их бремя нести, тяжко бежать от тебя!
В мире немного отрад: природа, светлое солнце,
  Море с землею, луна, звездный на тверди покров.
Прочее всё нам приносит боязни и скорби; за каждым
  Счастия даром, увы! Не́меса горести шлет.

8

Желания

(Лукиллий)

Смертны мы все, о други, и смертны желания наши!
  Скорбь и веселье пройдут — или мы сами пройдем.

9

Умирающая дочь

(Анита)

Крепко обнявши отца и лицо омывая слезами,
  В час кончины ему силилась Клио вещать:

«О мой родитель, прости! от сердца жизнь отлетает,
Взоры померкли и сень смерти покрыла меня!»

10

Утопший, погребенный у пристани, к пловцу

(Леонид Тарентский)

Счастливо путь соверши! Но если мятежные ветры
В пристань аида тебя, мне по следам, низведут:
Моря сердитых валов не вини. Почто, дерзновенный,
Снялся ты с якоря здесь, гроба презревши урок!

11

Гроб рыбака

(Сафо)

Сыну родитель на гроб, Мениск рыбаку Пелагону,
Вершу с веслом положил, скудныя жизни символ.

12

Гроб Тимона

(Леонид Александрийский)

Гроба сего не приветствуй, прохожий! его не касаясь
Мимо спеши и не знай, кто и откуда я был.
Если ты спросишь о том, да будет гибелью путь твой;
Если ж и молча пройдешь, гибель тебе на пути!

13

Умерший к земледельцу

(Неизвестный)

Нивы уже ль не осталось другой для сохи селянина!
Что же стенящий твой вол пашет на самых гробах,

Ралом железным тревожа усопших? Ты мнишь, дерзновенный,
Тучны оставя поля, жатву от праха вкусить!
Смертен и ты. И твои не останутся кости в покое;
Сам святотатство начав, оным же будешь казним.

14

К истукану Афродиты в Книде

(Неизвестный)

Мрамор сей кем оживлен? кто смертный Пафию видел?
Кто на казнь излил прелесть, чарующу взор?
Длани ли здесь Праксите́левой труд, иль о бегстве Киприды
Сетуя, горний Олимп Книду завидует сам?

15

К изваянию Пана при источнике, текущем без журчания

(Неизвестный)

Пана и здесь убегая, из вод сокрылося Эхо.

16

Плачущая роза

(Мелеагр)

Кубок налей и зови трикратно Илиодору,
Сладкого имени звук с чистым мешая вином.
Дай на главу мне венок благовонный: в нем еще дышат
Масти вчерашни; ее нежной рукою он свит.
Ах, посмотри на цветы: с листков не каплют ли слезы?
Плачет роза любви, милой не видя со мной!

17

Безмолвные свидетели

(Мелеагр)

Ночь, священная ночь, и ты, лампада, не вас ли
Часто в свидетели клятв мы призывали своих!
Вам принесли мы обет: он друга любить, а я с другом
Жить неразлучно — никто нас не услышал иной.
Где ж вероломного клятвы, о ночь!.. их волны умчали.
Ты, лампада, его в чуждых объятиях зришь!

18

К пчелке

(Мелеагр)

Пчелка златая, зачем ты, майски оставя цветочки,
Вьешься вкруг нежных ланит Илиодо́ры моей?
Или, жужжа, твердишь мне, в сердце она сокровенно
Жало Ерота хранит, мук и блаженства вину?
Так ты, о пчелка, жужжишь: лети на цветочки душисты,
Друг влюбленных! давно то же сказал мне Ерот.

* * *

Примечания

Щит Ахиллесов. Павсаний (I, 35) также рассказывает, ссылаясь на эолийцев, что после кораблекрушения Одиссеева море принесло оружие Пелида ко гробу Аяксову. — Ст. 6. *Аякс*, сын Теламонов, был родом из Саламины.

Трофей Филиппов. Здесь говорится о разбитии греков при Фермопилах. Известно, что исторические надписи в Анфологии не всегда сочиняемы были вскоре после описываемых произведений и содержат часто подробности, вымышленные стихотворцами. Павсаний (IX, 40) уверяет, что Филипп не ставил никогда победных памятников; ибо сего не было в обычае у македонян. — *Кекропяне*. Так назывались афиняне по Кекропсу, основателю их города. — *Пеллы копье*, т. е. могущество царей македонских: Пелла была их столицею. — *Мертвыми ныне клянись*. Сей стих относится к славному восклицанию Димосфена, в речи *за венец*: «нет, нет, мужи афинские, не погрешили вы, подвергаясь

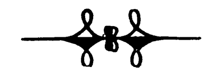
опасностям за вольность и спасенье Еллады! Клянусь тенями предков, при Марафоне подвизавшихся, при Платее стоявших в строе, при Саламине и Артемисии на море бившихся; тенями многих других ироев, в народных памятниках почиющих, кои все удостоены равной чести отчизною и вместе, Эсхин, погребены ею: не одни венчанные счастием, не одни побеждавшие!»

Алкон. Фалер, сын афинянина Алкона, один из аргонавтов, изобразил на щите свое чудесное избавление. См. Валерия Флакка, I, 398:

«... исторгшись из утлого древа, змий, чешуей пламенеющий, втрое и вчетверо обвил юношу; дале ж отец, трепеща, тетиву напрягает».

Умерший к земледельцу. В рукописи Ватиканской сочинителем сей надписи назван Антифил.

Безмолвные свидетели. *И ты, лампада.* Древние призывали домашний светильник во свидетели таинств любовных. — *Их волны умчали.* Проперций (II. El. XXI, 10) говорит то же: quid-quid, jurarunt, ventus et unda rapit.



ЕЩЕ ВОЕННАЯ ШУТКА

Но всё ли одного полезного искать?
Для сказки и того довольно,
Что слушают ее без скуки, добровольно,
И может иногда улыбку с нас сорвать.

И. И. Дмитриев.

Александр N. почитался одним из лучших офицеров нашего полка: он был храбр в деле, прилежен к службе, весел в обществах, откровенен и прямодушен во всех своих поступках, остроумен и образован, любим начальниками и товарищами. Но вдруг на него нашла хандра: он стал убегать от друзей, сделался задумчив, рассеян, вздыхал, не отвечал на вопросы и приметно терял румянец. Полковой доктор как-то нашел случай, здоровавшись, пощупать у него пульс и решительно объявил в обществе офицеров, что Александр болен и что сгущение соков, засорение лимфатических сосудов и ослабление нервов предвещают близкое сумасшествие. «Он влюблен», — сказал полковой адъютант. «Это одно и то же! — возразил доктор, — и ему непременно надобно лечиться». — «По рецептам любви, а не медицины», — сказал старый ротмистр Б. «Но в кого же он влюблен?» — спросили многие. «Это чужая тайна», — сказал адъютант, и разговор обратился на другие предметы.

В это время полк наш стоял на квартирах в М., небольшом, чистеньком саксонском городке, который в полной мере оправдывал не-

мецкую поговорку: Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. Здесь было столько же красавиц, сколько женских лиц, и мы определяли степени красоты не по числу прелестей, а единственно по летам. Судья красоты, Парис, должен был бы явиться туда с целым четвериком яблок, если б в наше время красавицы довольствовались одними яблоками. Но обращаюсь к приведенной мною пословице, которая справедлива в полном своем значении: красавицы в малых немецких городках не живут, а только растут или прозябают (vegètent) не по своей вине, но по причине народного характера.

Нигде столько не писано об эстетике, об искусстве наслаждаться жизнью, как в Германии, нигде нет столько запутанных приключений, как в немецких романах; ни один словарь не представляет столько собственных имен и коренных слов для выражения остроумия, веселых и замысловатых изречений, и при всем том нигде менее не найдете всего этого, как в Германии. Частная жизнь немцев уподобляется их книгам: систематический порядок в целом, темнота в отвлеченностях, мечтания в идеальном мире без всяких отношений с существенным и существенность без идеального. Время медленно течет на тяжелой колеснице над горизонтом Германии; бег его измеряется обедами и ужинами; бремя услаждается чтением и тихими вальсами. Нигде более не читают как в Германии, но в немецкой литературе нет средней пропорциональной линии между сухою ученостью, отвлеченною философиею и вздорными романическими сочинениями; нет, как во Франции и Англии, *светского чтения*, которое служило бы отдыхом для ученого и занятием для светского человека. Хладнокровные и неподвижные в частной жизни, немцы любят парить воображением в надоблачных сферах и требуют впечатлений глубоких, потрясений сильных. То, что заставляет француза смеяться, не сорвет улыбки у немца; напротив того, что смешит немца, то самое удивляет француза. Французская чувствительность смешна в Германии, а немецкая пугает во Франции.

До прибытия нашего в город М. жизнь его обитателей уподоблялась заведенной машине. Весь день занимались они делами и рукодельями; вечером отцы семейств собирались в клубе, чтобы за кружкой пива и трубкой табаку посудить о политике и прочесть газеты.

В это время прекрасный пол прогуливался в хорошую погоду или занимался чтением романов. Молодые люди особыми толпами искали наслаждений в загородных прогулках и мечтаниях (Schwärmerey) о будущих своих подвигах, которые обыкновенно таким же образом кончались, как и начинались, — то есть ничем. Прекрасный пол оживлялся только еженедельными балами в клубе, к которым приготовлялся шесть дней с половиною; но верх благополучия, предмет желаний, ежедневных разговоров и воспоминаний составляли две годовые ярмонки. Тогда балы переносились в городскую ратушу и продолжались семь дней сряду. В это счастливое время городской оркестр, состоявший из двух скрипок и одного баса, пополнялся несколькими странствующими музыкантами; жители окрестных городков и толпы лейпцигских студентов поспешали на приветливые вальсы, кадрили и алагреки; даже иногда походные комедианты приезжали разыгрывать несколько томов драм в сенном сарае г. бургомистра и собирали обильную дань слез и мелких денег. Несколько свадеб были обыкновенным последствием сих веселых собраний — и потому не удивительно, что они были нетерпеливо ожидаемы красавицами.

Но между прелестными — всех прекраснее, всех милее была Амалия Фрейндлих, дочь зажиточного купца, удалившегося от дел. Она была воспитана до шестнадцати лет у тетки своей в Дрездене и возвратилась в родительский дом по смерти своей воспитательницы. Матери лишилась она еще в младенчестве. Амалия, получив *высокое образование* и привыкнув к светской жизни, скучала в тихом убежище провинциального города и всё свое наслаждение находила в музыке и литературе. Познание нескольких иностранных языков, преимущественно французского и английского, открывало ей неисчерпаемый источник чтения. Добродушие ее и ласковость истребляли зависть в сердцах ее подруг, между коими она отличалась как пышная роза в богатом цветнике. Амалия была предметом любви всего окрестного юношества, и все альманахи и журналы гремели стихами в ее похвалу: она была идеалом всех пиитических восторгов, всех надежд, всех желаний, но сердце ее было свободно, и в осьмнадцать лет она знала любовь только по имени.

Отец ее, добрый человек в полном смысле сего слова, оставив торговлю, вздумал слыть политиком и литератором. Он почитал себя политиком потому, что имел собрание ландкарт и выписывал газеты, а ученым потому, что двоюродный его брат был профессором ветеринарного искуства и что во время университетских вакаций некоторые ученые проездом останавливались в его доме: некоторые из них были ему должны, а кроме того, он имел у себя довольно большую библиотеку. В самом деле книги приносили ему пользу; он употреблял их вместо снотворного лекарства и всякий день делал движение для здоровья, сметая собственноручно пыль с полок. Но сам он был истинно полезен успехам словесности: подписывался на множество журналов, покупал множество книг — и не читал их. Такие покупщики имеют большое достоинство в глазах издателей и сочинителей: способствуя расходу книг и журналов, избавляют их от критики, пересудов и неудовольствий. Г. Фрейндлих не спорил, а только слушал споры об ученых предметах, кормил философов и всегда соглашался с мнением каждого из них; за что все ученые искренно любили его и называли очень умным и начитанным человеком. Сограждане его без труда согласились с сим мнением, итак г. Фрейндлих слыл в городке М. *ученым*.

Александр N. стоял четыре месяца на квартире в доме Фрейндлиха, всякий день видел Амалию, говорил с нею, и так мудрено ли, что полюбил ее и был любим взаимно? Но к соединению двух сердец не было никакой надежды. Александр очень плохо знал немецкий язык, не был писателем, не слыл ученым, а г. Фрейндлиху непременно хотелось выдать дочь свою за ученого и философа. Г. Фрейндлих хотя был очень добрый человек, но о некоторых предметах имел свое собственное понятие и по старой привычке смотрел на все человеческие отношения, как на торговые обороты. Женившись сам потому только, что ему в доме нужна была хозяйка и что приданое его невесты удвоивало его капитал, он не предполагал, что для супружеского счастия нужна взаимная любовь, и говорил всегда, что, поживши вместе лет десяток, поневоле свыкнешься. Итак, г. Фрейндлих рассчитал, что, отдав дочь свою за ученого и философа, он некоторым образом вступит в ученое сословие и будет внесен в биографию своего

зятя, а может быть, и внуков, что приданое будет сбережено кабинетным человеком и, наконец, что Амалия будет непременно счастлива с ученым, потому что будет иметь много свободного времени на хозяйственные занятия. Так думал г. Фрейндлих и выбрал себе будущего зятя из толпы обожателей Амалии, магистра философии и юриспруденции, поэта и эстетика Рохуса Дункельволькена.

Спрашиваю у моих читателей: из чего люди не сделали злоупотребления? Не говорю уже о кровопролитных бранях за веру, о превратных системах философии и политики — не хочу возбуждать неприятных воспоминаний. Я смотрю на вещи с другой точки, т. е. на одно смешное. Всякая вещь должна иметь свой вес и меру: одна линия за черту равновесия — и вещь не годится. Так, например: медицина, поэзия, философия и другие благородные занятия заслуживают всеобщее уважение; но если доктор будет беспрестанно говорить о медицине и обо всех вещах судить относительно к сему предмету; если поэт будет беспрестанно бредить рифмами и писать стихами просьбы и свидетельства; если философ будет беспрестанно мечтать, что он знает всё, а другие не знают ничего, жить на земле будто на облаках и для отличия от других плыть всегда противу течения, то без сомнения все они покажутся смешными — и по делам. В свете для всех предметов есть свои формы, которые хотя в существе своем довольно смешны, но без нужды не надобно их вовсе отвергать, особенно когда от того нет никакой пользы для человечества: лучше быть смешным вместе со всеми, нежели одному в глазах всех.

Это отступление сделано мною для того, чтобы другие не подумали, будто я, представляя мнимого философа, смеюсь над истинными. Боже сохрани меня от этого!

Рохус Дункельволькен одевался точно так, как нарисованы фигуры в картинах фламандской школы средних веков. Длинные волосы развевались по плечам, черные усы и испанская бородка придавали его бледному лицу вид отставного рыцаря; вместо галстука длинный воротник висел на груди; голову украшала черная бархатная фуражка с широким верхом, а в полах кафтана могли вмещаться несколько фолиантов. На большой деревянной его трубке вырезана

была студентская песня; палка, которую носил за ним верный его пес, уподоблялась геркулесовой палице. Дункельволькен говорил всегда важно и протяжно, с примесью латинских и греческих слов; но чаще молчал, особенно в присутствии прекрасной Амалии, которую он воображал эфирным существом, не принадлежащим земле, следственно почитал своею собственностию и поклонялся ей как своему идеалу. Он всеми возможными размерами писал стихи в похвалу ей на латинском, на греческом и даже на еврейском языках; отец Амалии восхищался ими потому, что не понимал, а Дункельволькен не мог их растолковать, не находя приличных выражений в языке обыкновенном. Дункельволькен в продолжение двух лет по нескольку раз в месяц посещал дом г. Фрейндлиха и проводил с ним время в разговорах о новой немецкой философии: толковал ему первые причины всех вещей, изъяснял хаос, мироздание, механизм нравственной природы и всё, что не постигается простым рассудком и не изъясняется человеческим языком. Речь обыкновенно оканчивалась похвалами новым философам, красоте Амалии, отменному вкусу вестфальских окороков и рейнвейну. Тогда и г. Фрейндлих принимал участие в разговоре: из покорного слушателя делался действующим лицом и после ужина всегда был доволен днем, проведенным с молодым философом.

Амалия привыкла почитать Дункельволькена наравне с шахматною доскою, служащею отцу ее для препровождения времени; шутя хвалила его стихи и красноречие и чрезвычайно удивилась, когда отец предложил ей выйти замуж за милого Дункельволькена. Она решительно отказалась от этого счастия, но отец и слушать не хотел ее возражений, а требовал безусловного повиновения своей воле. Амалия тогда уже любила Александра, и хотя он ей не открывался в своей страсти, но она читала в его сердце. Одно слово Амалии, сказанное Александру о предложенном ей браке, повлекло за собою признание в любви, и они решились во что бы ни стало исходатайствовать позволения отца на их соединение. Александр прибегнул к полковнику и бургомистру, но их просьбы и убеждения не имели никакого успеха. Г. Фрейндлих не любил военных, а особенно иностранцев. Он не только отказал Александру, но даже испросил у ге-

нерала приказание перевести его на другую квартиру. Дело происходило в такой тайне, что, кроме полковника и адъютанта, никто не знал об этом. Александр страдал, предавался отчаянью, но не открывался никому и не мог ни на что решиться.

Однажды г. Фрейндлих вознамерился посетить больную свою родственницу, жившую верстах в шести от города. Он отправился туда с дочерью своею в кабриолете без служителя. Возвращаясь поздно вечером и проезжая чрез небольшой лес, г. Фрейнлих был встревожен внезапным свистом, раздавшимся по обеим сторонам дороги. В одно мгновение три вооруженные человека, одетые угольщиками, бросаются из-за кустов; один останавливает лошадей, другой велит старику и девице вылезть из кабриолета и следовать за ним в лес, где они должны содержаться в плену до тех пор, пока не выкупятся десятью тысячьми талеров. Легко можно представить себе положение г. Фрейндлиха и его дочери. Трепеща от страха, они в безмолвии готовы были повиноваться разбойникам, вдруг послышался лошадиный топот, и наш полковой адъютант появился в сопровождении своего слуги. «Помогите, режут!» — воскликнул ободренный Фрейндлих; пистолетный выстрел раздался и поверг на землю одного из разбойников. Два другие хотели защищаться; раздалось несколько выстрелов, и вскоре победа осталась на стороне адъютанта; разбойники бежали в чащу леса, оставив после себя кровавый след, — доказательство, что оба были ранены. Адъютант не рассудил их преследовать; он поспешил на помощь Фрейндлиху и его дочери, которые чуть были живы от ужаса, успокоил их, укрепил силы старика рейнвейном, а дочери его нюхательным спиртом, посадил их в кабриолет, присел к ним и погнал лошадей.

Выехав в поле, старик просил остановиться. «Г. адъютант, — сказал он, — вы спасли мне жизнь, именье, а может быть, и честь моей дочери. Пришедши в себя, я первым долгом поставлю просить вас объявить мне искренно, чем я могу благодарить вас. Говорите без застенчивости. Даю вам честное слово, что исполню всё, чего только вы ни потребуете». — «Неужели всё?» — спросил адъютант значительно. «Всё, всё, не исключая и этого», — примолвил старик, потрясая руку своей дочери. «Если так, — сказал адъютант, — то прошу я вас со-

ставить счастие вашей Амалии и отдать ее замуж за друга моего Александра N., который гораздо лучше меня; а доказательство тому, что он любим ею». — «Извольте! я на всё согласен! — воскликнул в восторге Фрейндлих, — даю вам честное слово».

Слух о случившемся с г. Фрейндлихом разнесся тотчас по прибытии его в город. На другой день все почетные граждане собрались поздравить его с счастливым избавлением от опасности, и г. Фрейндлих, рассказывая подробности о мужественном своем сопротивлении толпе разбойников, объявил о помощи, оказанной ему адъютантом, и в то же самое время представил им Александра как будущего своего зятя, прося всех чрез два дни на свадьбу. Злоязычные люди говорили тогда, будто многие пожилые девицы приглашали своих родителей прогуливаться с ними почаще в окрестностях города, и что они тайно желали встречи разбойников, которая влекла за собою столь счастливые последствия.

Пропускаю все обстоятельства, предшествовавшие браку, радость любовников, поздравления, приготовления к празднеству, предсказания старушек, заключения подруг невесты, расчеты отцов, — всё это известно женатым, а холостые могут у них справиться. Прошло три дня; любовники обвенчались, и вечером наступил пир горой в доме г. Фрейндлиха; полковая музыка гремела, шпоры брянчали в такт, офицеры изумляли и восхищали милых танцовщиц быстротою вальсов и мазурок. Несколько городских танцоров, из подражания офицерской скорости, низверглись на землю: всё это вещи обыкновенные. Пробило полночь, гости уселись за стол, и пенистое шампанское умножило их веселость. Вообще на свадьбах все люди делаются добрее и снисходительнее: воспоминания прошедшего, надежды на будущее — счастье перед глазами, всё это располагает сердце к добродушию. Сначала разговор был общим; потом пошли вежливости, и наконец г. Фрейндлих в десятый раз рассказал громогласно свое приключение и заключил свое повествование следующими словами: «Теперь я чрезвычайно сожалею, что не согласился прежде на брак моей Амалии с г. Александром N. Выбор ее сердца делает честь моему роду: одно только будет смущать спокойствие моей жизни, что этот союз есть последствие пролитой крови и смерти человека. Так, лю-

безные друзья! я видел мертвое тело, видел при лунном сиянии ручьи текущей крови! Это зрелище на всю жизнь останется в моем воображении!»

Адъютант. Если это происшествие столь тягостно для вашей памяти, от вас зависит истребить его из воображения и даже из существенности.

Г. Фрейндлих. Я не понимаю вас.

Адъют. Вы одним словом можете облагородить разбойников, изгладить кровавые следы и даже воскресить мертвого.

Г. Фрейдлих. Еще менее понимаю.

Адъют. Для радости нынешнего дня дайте слово, что вы прощаете разбойников и не будете сердиться ни за что прошедшее.

Г. Фрейндлих. Охотно, даю честное слово.

Адъют. Восстань из мертвых, убитый мною разбойник, и раненые предстаньте исцеленными!

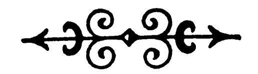
В это время три офицера встали с мест своих и поклонились собранию. Большая часть гостей была в изумлении, пока адъютант не объявил, что нападение разбойников, убийство и раны — были не что иное, как драматическое представление на большой дороге. Громкий хохот раздался в зале: сперва г. Фрейндлих хотел было сердиться, но лобызание дочери и зятя и всеобщая радость потушили гнев: он хохотал громче всех и от доброго сердца.

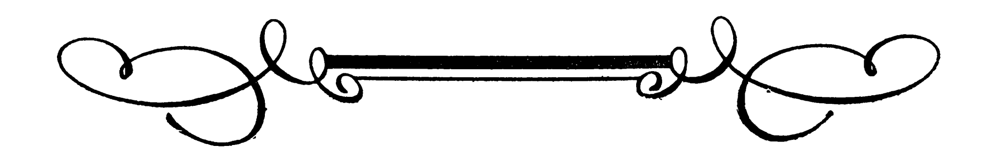
Нужно ли изъяснять то, о чем все догадывались с первых слов адъютанта? Желая каким бы то ни было образом выманить согласие Фрейндлиха на брак дочери с другом его, решился он сыграть с ним эту шутку без ведома Александра и Амалии, которым он открылся уже после данного г. Фрейндлихом слова. Благополучный конец — венец всему делу, как говорит пословица; и хоть средства, употребленные адъютантом, были не слишком нежны, но полковой доктор извинил его, сказав, что противу столь сильной болезни, каково было упрямство Фрейндлиха, надлежало употребить сильное лекарство или, лучше сказать, операцию и что Амалия могла отважиться на один обморок для счастия целой жизни, когда военные люди жертвуют жизнью для неверной славы. Аргумент его, каков он ни был, успокоил слушателей, расположенных в этот день к веселию. Но эта ве-

селая шутка нашла более защитников между женщинами, нежели между мужчинами.

Может быть, и некоторые из моих читателей скажут, что в этом происшествии много несбыточного и необдуманного? На это буду отвечать, что если бы молодые ветреники обдумывали свои поступки, то не было бы ни ветреников, ни подобных случаев. Другой вопрос сделают мне: что сделалось с почтенным магистром Дункельволькеном? Он сперва хотел вызвать Александра на дуэль; наконец успокоился и от любви и досады написал целый том элегий и баллад: в первых он призывал *кого-то*, летал воображением *где-то* и видел свою возлюбленную *там*; в других он заставлял чертей и привидения терзать Амалию и ее счастливого супруга. Недаром говорят, что несчастная любовь творит поэтов! Стихотворения Дункельволькена имели успех и даже нашли в чужих странах подражателей.

Ф. Булгарин.





ОТРЫВОК ИЗ ГЕТЕ

Директор театра

По дружбе мне, вы господа,
При случае посильно, иногда
И деятельно помогали;
Сегодня, милые, нельзя ли
Воображению дать смелый вам полет?
Парите вверх и вниз спускайтесь произвольно,
Чтоб большинство людей осталось мной довольно,
Которое живет и жить дает.
Дом зрелища устроен пребогатый,
И бревяной накат, и пол дощатый,
И всё по зву: один свисток —
Храм взыдет до небес, раскинется лесок.
Лишь то беда, ума нам где добиться?
Смотрите вы на брови знатоков,
Они, и всякий кто каков,
Чему-нибудь хотели б удивиться;
А я испуган, стал в тупик;
Не то, чтобы у нас к хорошему привыкли,
Да начитались столько книг!
Всю подноготную проникли!
Увы!
И слушают, и ловят всё так жадно!
Чтоб были вещи им новы,

И складно для ума, и для души отрадно.
Люблю толпящийся народ
Я при раздаче лож и кресел;
Кому терпенье — труден вход,
Тот получил себе — и весел,
Но вот ему возврата нет!
Стеной густеют непроломной,
Толпа растет, и рокот громный,
И голоса: билет! билет!
Как будто их рождает преисподня;
А это чудо кто творит? — Поэт;
Нельзя ли, милый друг, сегодня?

Поэт

О не тревожь, не мучь сует картиной.
Задерни, скрой от глаз народ,
Толпу, которая пестреющей пучиной
С собой противувольно нас влечет.
Туда веди, где под небес равниной
Поэту радость чистая цветет;
Где дружба и любовь, его к покою
Обвеят, освежат божественной рукою.
Ах! часто, что отраду в душу льет,
Что робко нам уста пролепетали,
Мечты неспелые... и вот
Их крылья бурного мгновения умчали.
Едва искупленных трудами многих лет,
Их в полноте красы увидит свет.
Обманчив блеск — он не продлится;
Но истинный потомству сохранится.

Весельчак

Потомству? да; и слышно только то,
Что духом все парят к потомкам отдаленным;
Неужто, наконец, никто

Не порадеет современным?
Неужто холодом мертвит, как чародей,
Присутствие порядочных людей!
Кто бредит лаврами на сцене и в печати,
Кому ниспосланы кисть, лира иль резец
Изгибы обнажать сердец;
Тот поробеет ли? — Толпа ему и кстати;
Желает он побольше круг,
Чтоб действовать на многих вдруг.
Скорей фантазию, глас скорби безотрадной,
Движенье, пыл страстей, весь хор ее нарядный
К себе зовите на чердак.
Дурачеству оставьте дверцу,
Не настеж, вполовину, так,
Чтоб всякому пришло по сердцу.

Директор

Побольше действия! — что зрителей манит?
Им видеть хочется — ну живо
Представить им дела на вид!
Как хочешь жар души излей красноречиво;
Иной уловкою успех себе упрочь;
Побольше действия, сплетений и развитий!
Лишь силой можно силу превозмочь,
Число людей числом событий.
Где приключений тьма — никто не перечтет,
На каждого по нескольку придется;
Народ доволен разойдется,
И всякий что-нибудь с собою понесет.
Слияние частей измучит вас смертельно;
Давайте нам подробности отдельно.
Что целое? какая прибыль вам?
И ваше целое вниманье в ком пробудит?
Его расхитят по долям,
И публика по мелочи осудит.

Поэт

Ах! это ли иметь художнику в виду!
Обречь себя в веках укорам и стыду! —
Не чувствует, как душу мне терзает.

Директор

Размыслите вы сами наперед:
Кто сильно потрясти людей желает,
Способнее оружье изберет;
Но время ваши призраки развеять,
О гордые искатели молвы!
Опомнитесь! — кому творите вы?
Влечется к нам иной, чтоб скуку порассеять,
И скука вместе с ним ввалилась — дремлет он;
Другой явился отягчен
Парами пенистых бокалов;
Иной небрежный ловит стих, —
Сотрудник глупых он журналов.
На святочные игры их
Чистейшее желанье окриляет,
Невежество им зренье затемняет,
И на устах бездушия печать;
Красавицы под бременем уборов
Тишком желают расточать
Обман улыбки, негу взоров.
Что возмечтали вы на вашей высоте?
Смотрите им в лицо! — вот те
Окременевшие толпы живым утесом;
Здесь озираются во мраке подлецы,
Чтоб слово подстеречь и погубить доносом;
Там мыслят дань обресть картежные ловцы;
Тот буйно ночь провесть в объятиях бесчестных;
И для кого хотите вы, слепцы,
Вымучивать внушенье муз прелестных!

Побольше пестроты, побольше новизны,
Вот правило, и непреложно.
Легко мы всем изумлены,
Но угодить на нас не можно.
Что? гордости порыв утих?
Рассудок превозмог...

Поэт

Нет! нет! — негодованье.
Поди, ищи услужников других.
Тебе ль отдам святейшее стяжанье,
Свободу в жертву прихотей твоих?
Чем равны небожителям поэты?
Что силой неудержною влечет
К их жребию сердца, и всех обеты,
Стихии все во власть им предает?
Не сладкозвучие ль? — которое теснится
Из их груди, вливает ту любовь,
И к ним она отзывная стремится,
И в них восторг рождает вновь и вновь.
Когда природой равнодушно
Крутится длинновьющаяся прядь;
Кому она так делится послушно?
Когда созданья все, слаба их мысль обнять.
Одни другим звучат противугласно;
Кто съединяет их в приятный слуху гром,
Так величаво! так прекрасно!
И кто виновник их потом
Спокойного и пышного теченья?
Кто стройно размеряет их движенья,
И бури, вопли, крик страстей
Меняет вдруг на дивные аккорды?
Кем славны имена и памятники тверды?
Превыше всех земных и суетных честей,

Из бренных листвиев кто чудно соплетает
С веками более нетленно и свежей
То знаменье величия мужей,
Которым он их чела украшает?
Пред чьей возлюбленной весна не увядает?
Цветы роскошные родит пред нею перст
Того, кто спутник ей отрад, любви стезею;
По смерти им Олимп отверст;
И невечернею венчается зарею
Кто не коснел в бездействии немом,
Но в гимн единый слил красу небес с землею.
Ты постигаешь ли умом
Создавшего миры и лета?
Его престол — душа поэта.

Грибоедов.

ВЕНЕЦИЯНСКАЯ НОЧЬ

Фантазия

Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой;
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной;
Отражен волной огнистой
Блеск прозрачных облаков;
И восходит пар душистый
От зеленых берегов.

Свод эфирный, томный ропот,
Чуть дробимыя волны,
Померанцев, миртов шепот
И любовный свет луны,
Упоенья аромата
И цветов, и свежих трав,

И вдали напев Торквата
Гармонических октав.

Всё вливает тайно радость,
Чувствам снится дивный мир.
Сердце бьется — мчится младость,
На любви весенний пир.
По водам скользят гондолы,
Искры брызжут под веслом;
Звуки нежной баркаролы
Веют легким ветерком.

Но зачем не видно боле
Над игривою рекой
В светлоубранной гондоле
Той красавицы младой?
Чья улыбка, образ милый
Волновали все сердца
И пленяли дух унылый
Исступленного певца?

Нет ее — она тоскою
В замок свой удалена;
Там живет одна с мечтою
Тороплива и мрачна.
Не мила ей прелесть ночи,
Не манит сребристый ток,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Расстилалась тень густая,
И красот цветущий рой,
В неге страстной утопая
Покидает пир ночной.
Стихли пышные забавы,

Всё спокойно на реке.
Лишь Торкватовы октавы
Раздаются вдалеке.

Вот прекрасная выходит
На чугунное крыльцо,
Месяц бледно луч наводит
На печальное лицо,
В русых локонах небрежных
Рисовался легкий стан
И на персях белоснежных
Изумрудный талисман.

Уж в гондоле одинокой
К той скале она плывет,
Где под башнею высокой
Море бурное ревет.
Там певца воспоминанье
В сердце пламенном живей,
Там любви очарованье
С отголоском прежних дней.

И в мечтах она внимала
Как полночный вещий бой
Медь гудящая сливала
С вечношумною волной.
Не мила ей прелесть ночи,
Душен свежий ветерок,
И задумчивые очи
Смотрят томно на восток.

Туч разорванных грядою
Затмевается луна,
Ясный свод оделся мглою,
Тьма внезапная страшна.

Вдруг гондола осветилась,
И звезда на высоте
По востоку покатилась
И пропала в темноте.

И во тьме с востока веет
Тихогласный ветерок;
Факел дальний пламенеет,
Мчится по морю челнок,
В нем уныло молодая
Тень знакомая сидит;
Подле арфа золотая,
Меч под факелом блестит.

Не играйте, не звучите
Струны дерзкия мои,
Славной тени не гневите!..
О! свободы и любви.
Где же, где певец чудесный!
Иль его не сыщет взор,
Иль угас огонь небесный,
Как блестящий метеор.

Ив. Козлов.

СТАНСЫ

О чем ни молимся богам,
Что дать нам боги не во власти —
Ничто не даст отрады нам,
Когда ошибочные страсти
Вредят сердечной тишине,
Когда господствуют оне.

Ко счастью способов одних
Для счастья истинного мало;

Употреблять с уменьем их
Еще бы людям надлежало;
И не на то ль своим творцом
Одарены они умом?

А мы, мы ум свой обрекли
Господству детских своенравий!
Достиг владычества земли
Счастливец ветреный Октавий,
Достиг и что ж? всемирный трон
Покинуть замышляет он.

Всё суета! Мудрец прямой
Далеких благ не жаждет праздно,
Но дух воспитывает свой,
Случайной доле сообразно,
Для счастья надобное в ней
Дарует он душе своей.

В глуши лесов счастлив один,
Другой страдает на престоле:
На высоте земных судьбин
И в незаметной, низкой доле
Всех благ возможных тот достиг,
Кто дух судьбы своей постиг.

Мы все блаженствуем равно,
Но все блаженствуем различно.
Уделом нашим решено
Как наслаждаться нам прилично;
И кто нам лучший дал совет,
Иль Эпикур, иль Эпиктет?

Меня тягчил печалей груз,
Но не упал я перед роком;

Нашел отраду в песнях муз
И в равнодушии высоком;
И светом презренный удел
Облагородить я умел.

Хвала вам, боги! Предо мной
Вы оправдалися отныне;
Готов я с бодрою душой
На всё угодное судьбине,
И никогда сей лиры глас
Не оскорбит роптаньем вас!

Б.

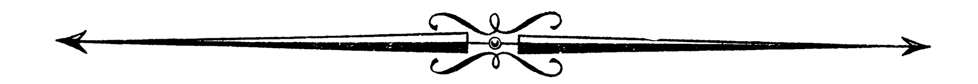
НАКАЗАННАЯ ЛИСИЦА

(Басня)

Лиса у мужика в курятнике засела
И ну душить цыплят! натешилась, поела,
Да видя, что всего не переесть добра,
«Довольно, — молвила, — домой пора!
Простите остальные!
В места укромные, лесные
Заране лучше убегу!»
Помчалась — а следок и виден на снегу!
Не трудно догадаться,
Что лисаньке без казни не остаться:
Легко нашел ее мужик,
И лисанька — пошла на воротник.

Что, если бы в большом-то свете
Следок был виден у воров?..
Тогда, божиться я готов,
Иной не скрылся б — в кабинете.

Н. Остолопов.



ИЗМЕННИК

(Повесть)

> ... Never pray more; abandon all remorse;
> On horrors head horrors accumulate;
> Do deeds to make heav'n weep, all earth amaz'd;
> For nothing canst thou to damnation add,
> Greater than that.
>
> *Shakespear.*

I

«О родина, святая родина! Какое на свете сердце не встрепенется при виде твоем; какая ледяная душа не растает от веянья твоего воздуха?» Так думал Владимир Ситцкий, с грустною радостию озирая с коня нивы и пажити и рощи переяславские, свидетелей его детства, и любопытным взором, как будто желая испытать память свою, искал и предугадывал он мелькающие из-за лесу главы обителей. Правда, они не казались теперь ему, как прежде, огромными; окрестность не была уже бесконечна, но она была по-прежнему светла, все по-старому приветна. Он выехал, наконец, на озеро Плещево и стал, пораженный красотою природы, чувствами давнозабытыми и новыми. Тихо, как сон его детства, лежало перед ним озеро в изумрудных рамах своих, отражая вечернее небо, и снежные стены обителей, и сумрачный город, и чуть оперенные майскою зеленью рощи. Ладьи рыбарей, мнилось, летели в шаровидном небе, и утомленные чайки дремали на развешанных сетях или, чуть зыблемые, на влаге хрустальной. Весенние

жаворонки провожали солнце с поднебесья и сверкали там последними его лучами, сливая звонкое свое пение с гремленьем тысячи ручьев, низбегающих в озеро.

Как пыль сражения улегается под дождем, смывающим кровь с лица земли, улеглись страсти в душе Владимира. Память буйной молодости, дворское честолюбие, жажда битвы и славы, и всё, всё уступило место чувству, близкому к раскаянию. Он слез с коня — припал к воде, которою часто плескался в отрочестве, в которой теперь, как в святочном зеркале, мелькало ему прошедшее, жадно пил ее, — и спокойствие вливалось в него струей вместе с прохладой! Со вздохом сказал Владимир: «Они не терпят нечистого в своем лоне и с гневом выбрасывают его на берег.* Пусть же берега твои сохранят меня от гонения моих злодеев, от бури жизни и всего более от меня самого, как твои воды спасали некогда предков от ярости татар!» ** Полный надеждою взор Владимира стремился к стенам Переславля. Там уже не было его родителей; но добрая память стерегла их могилы, и сердечное: *добро пожаловать*, ждало их наследника у порогов друзей. Долго еще лежал Владимир на свежей мураве, улелеянный мечтами, под крылом родимого неба, и сон росою упал на утомленные члены путника: сон, какого давно не знала кипучая душа его.

II

Лениво подымалися утренние туманы с тихого Трубежа,*** и летнее солнце невидимо вскатывалось над ними. На валу Переславля часовой ратник, опершись на копье, глядел на работу плотника, поправлявшего деревянный сруб крепостной стены. «Это бревно никуда не годится, — сказал он плотнику, — в нем сгнила сердцевина».

---

* Доселе идет поверье, что Плещево при погоде выкатывает всякую брошенную в него вещь. Вероятная тому причина есть пологое и сферовидное его дно.

** Жители Переславля, большею частию рыболовы, спасались во время неоднократного нашествия татар на лодках, выезжая с лучшим имуществом на средину озера.

*** На реке Трубеже, впадающей в Плещѐво, расположен Переславль-Залесский.

«Так-то и с нашею Русью, Петрович, — ответствовал плотник, вонзая топор носком в дерево и присев на венец. — Москва, сердце ее испорчено, а мы терпим. Она кличет к себе из Польши царей, а мы подавай войско, то за них, то против них драться! — Поляки пируют в Москве; вор Сапега обложил Троицу, а от нее далеко ли и до нас! Прогневали мы господа неправдой; коротается наш век бедами; кто скажет, что мое доброе, моя голова будут у меня завтра... В плохие мы живем годы, Петрович; за царя Бориса не так было».

«Нашел чем хвалиться! Нашему брату, ратнику, не удалось при нем разу сходить на добычу. Теперь иное дело; дай только дождаться сюда литовцев: мы порастрясем их карманы».

«Какие у польской голытьбы карманы, когда у ней надеть нечего».

«Зато много грабленого золота. Бездельникам этим надо на нос зарубить, чтобы они не грабили божиих храмов, не обдирали бы риз со святых икон».

«Такое добро, земляк, никому впрок не пойдет».

«Кто живет день до вечера, тому какая забота, скоро ль подрастут рога у молодого месяца. Мне только душно сидеть сиднем за стенами, когда самые монахи дерутся. Я очень завидую товарищам, которые идут с нашим воеводою на подмогу к Троице».*

«Кто же здесь останется воеводой?»

«Кому быть, кроме старшего князя Ситцкого... Ему, кажись, на роду написано повелевать — что твой орел, когда взглянет!»

«Правда, земляк, правда. Ростом, и дородством, и поступью, всем взял. Я сам нехотя хватаюсь за шапку, когда с ним встречаюсь. Одно беда: про него ходят недобрые слухи. Зачем он братался с поляками? Зачем не видали его в рядах Шуйского? Худо, коли он не хотел заступиться за правое дело; а еще хуже, коли его в дело не приняли».

«Брат, не всякому слуху верь! Теперь и правда и клевета изверились пуще жидовского золота».

«Пусть оно так. Да ведь на наших-то глазах он даром живет здесь три года! Что делать удалому в глуши, когда Москва в плену,

---

* Воевода переславский, Иван Васильевич Волынский, был с своею дружиною для помоги Троицкой лавре в 1609-м году. См. сказание об осаде Тр. Серг. лавры — стр. 221.

а святая Русь у погибели от самозванных царей и друзей незваных; когда измена и разбой рыщут из края в край, когда враги палят нивы и города, бесславят братьев и жен — навек позорят имя русское?»

«Ты разве не слыхал, что ему больно полюбилась Елена Ивановна, дочь воеводы?»

«Да он-то пришел ли ей по нраву? Княжой дворецкий проговаривает, что барин в такую смуту не станет играть свадьбы, а уж коли быть не быть сговору, так разве с князь Михайлом, меньшим братом Ситцкого. Вот душа — можно сказать, что ангельская. Красив, как утренняя звездочка, и от брата, как небо от земли, отличен. Кроток, сердце на устах, и ко всем приветлив, зато и любим всеми, от бояр до простолюдинов. В черный год не сидел он за печкой, а бился и проливал кровь за царя, и коли призван сюда, не ластится к красавицам, а смышляет, как защитить наш родимый Переславль. Дай-то бог, чтобы князь Михайла оставили у нас засадным воеводою!»

Так судили о двух Ситцких многие умные горожане; но если Михаил привлекал к себе любовь добротою души, а уважение — своими заслугами и прямизною нрава, то Владимир исторгал у всех невольное внимание. Природа отметила чем-то необыкновенным его черты и речи. Его имени не спрашивали дважды. Взоры Владимира, обличенные в какую-то вещественность, ничтожили равно и улыбку любви, и привет участия, и вопрос любопытства. Они не проникали, но пронзали душу. Он не бегал людей, но удалял их от себя. В хороводах с красавицами очи его, подобно кремню, сыпали искры и не загорались сами. Даже вино теряло над ним свою силу: ни лишнего слова, ни доверчивой ласки не вырывалось из неизменной груди Владимира. Правда, порой и его лицо разгоралось заревом душевного пожара, но это не были страсти людей; они неведомы были тем, кто замечал их, как образ заоблачной молнии, от которой виден блеск и не слышно грома. Кто знает, любовь или гнев волновали его душу, когда лицо его то пылало кровью, то вновь тускнело, как булат? Кто знает, гордость ли воздымала так высоко его брови, презрение ли двигало уста? Высокие ль думы или тяжкое преступление провело морщины на челе? Иногда взор его сверкал огнем, но потухал столь мгновенно,

что наблюдатель оставался в сомнении, видел ли он то, или то ему показалось. Его жизнь, его страсти, его замыслы оставались неразрешенною загадкою.

III

Душная ночь налегла на холмы переславские; небо слилось в громовую тучу, смирно озеро в берегах своих. Изредка луч безмолвной зарницы вспыхивает и гаснет в темной глубине вод, обозначая в небосклоне главы церквей и башни города. При синих блесках ее видны тяжелые облака, без ветра надвигаемые. Тихо всё и мертвенно, будто природа в тоске перед грозою.

Но кто же тот юноша, что в бурю и полночь не ищет, а бежит крова? Взоры его с яростью обращаются к Переславлю, лицо пылает гневом и злобой. От быстрого хода черные кудри путника развеваются, и длинные в серебряной оправе пистолеты, за пояс заткнутые, гремят о рукоять меча. Для чего ж не спит он, когда всё живое наслаждается покоем? Неужели грызения совести о прежнем злодействе или покушенье на новое подняло его с ложа? .. Но вот уже он, бросив прибрежную тропинку, далеко в бору дремучем. Привычной стопой пробегает поляны — и глубже в лес, и лес от часу диче и чаще. Сухие иглы хрустят под ногами, иссохшие ветви цепляются в волосы, тлеющие пни заграждают путь; но путник с сердцем ломает и рвет упрямые сучья, смело прыгает через рогатые трупы сосен, и всё уступает дерзкому, и он близок уже к заповедному холму.

Там, повествовало суеверное предание, более века тому назад убит был молниею колдун, когда он с помощию ада вынимал заговоренный клад. Без веры изжил он век, без раскаянья сгиб, без молитвы погребли его, но земля с ужасом приняла в свои недра неотпетого грешника; с тех пор адские духи стали слетаться над могилой их любимца. Каждую полночь, по словам удалых охотников, слышны там плеск крыл, хохот и свисты. Синие огоньки летают по воздуху, мелькают ужасные привидения, и волшебник с кровавыми устами бродит кругом и манит заблудшего путника. У смельчаков навертывались холодные слезы от ужаса на посиделках от сих шепотных рассказов; девушки вздрагивали при малейшем скрыпе оконницы, при нечаянном

треске лучины, и дети с трепетом жались к груди матерей. Давно заглохла тропа на холм могильный, и ни топор дровосека, ни стрела звероловца, ни взор, ни ветер не проникали в эту дебрь, загражденную страхом. И вот уже проник он до поляны, венчающей холм, уже занес ногу, чтобы ступить на нее, когда долетел до него благовест, зовущий монахов ко всенощной. Холодный пот проступил на челе отчаянного, медь прозвучала ему совестью. Он вспомнил, как радостен был для него благовест христовской заутрени в подобный час полуночи... Всё прежнее обновилось: беспечность прежней невинности и вера отцов, теплая вера юности, теперь им забытая. Тогда душа его была как голубь — теперь стала чернее ворона... но мимолетны благие мысли в сердцах, закаленных в буйстве и гордости, в сердцах, вечно укоряющих судьбу, а не себя; и мщение, ненависть, ревность закипели вновь сильней прежнего. «Нет, не мне ворочаться, — вскричал Владимир, ступая на поляну, — тому ли страшиться ада, у кого ад в душе?» При озарении молний он видит обрушенный и мохом покрытый крест; на траве, будто истоптанной палящими стопами, лежал чей-то череп. Где, где между седых полуистлевших елей трепетала робкая осина — дерево казни предателя. Пещерою склонилось небо над сею забытою поляной, и тихо в ней, как в могиле.

«Пора», — сказал Владимир и стал творить суеверные заклинания, трижды обратившись против солнца, и за каждым разом повторяя призвание злого духа. «Явись мне, искуситель рода человеческого, — восклицал он, — стань передо мной лицом к лицу; я не кроюсь за кругами, начертанными мертвою рукой;* я без боязни увижу тебя, как предаюсь тебе без завета. Приди на помощь того, кто служил аду, служа себе самому; дай, хотя на час, поторжествовать над теми, кого ненавижу, и повладеть теми, кого люблю! Будь товарищем моих замыслов, чтобы вечно, вечно быть моим властелином; явись — я поклонник твой за страшную, за ужасную плату!.. Я отрекаюсь всего, до сих пор мне святого и драгоценного, как этот череп, попираю ногами всё человеческое, как этот пояс, разрываю

* Все описываемые здесь обряды принадлежат еще доселе к суевериям простого народа.

связь с родством... Враг всего высокого и благородного, явись! Тебя призывает человек, который бы мог быть ангелом — и который хочет стать злым духом, который меняет райское спокойствие на власть ада — продает вечность за миг... Явись, явись!» Дикий отголосок вторил его кликам опять и опять, и притихший бор, казалось, с ужасом внимал голосу отступника. Подул ветерок, листья залепетали — и у грешника занялся дух. Он откинул рукою кудри с чела, чтобы прохладить его свежестью, но ветер палил его лицо, словно дыхание ада. Снова всё тихо. Но вот загорелся огонек в чаще леса — он ближе и ближе с шорохом ветвей... взор и слух призывателя насторожe, и дыбом волос его, и леденеет в нем сердце; но вот двоится огонь — и щелкание зубов уверяет его, что то светят глаза хищного волка. С каждым мигом растет нетерпение юноши и, наконец, бешенство овладело им. «Ты нейдешь, робкий злотворитель! Ты боишься грозы небес; тебя пугает голос бесстрашного, как пение петуха! Ты кажешься только детям и старухам; смущаешь только мирных отшельников — беседуешь с одними полуумными чародейками! Вооружен адскою злобою, ты не скинул с себя людской трусости. Или не думаешь ли, что с жертвою нет договора? что рано или поздно я твой! Нет — нет! я еще могу вырвать из когтей твоих свою душу — в ней довольно силы, чтобы назло тебе я мог изумить добродетелью добрых людей, как я радовал злых духов своими замыслами. Еще ли нет?.. небо и ад меня отринули!» В отчаянии, со скрежетом зубов, повергся он на землю. Гроза выла, сквозь ливень реяли молнии и, наконец, дикий хохот раздался над его головою.

IV

Холодный трепет проник в кости Владимира от прикосновения чьей-то руки, упавшей к нему на плечо. Сердце его от прилива крови будто хотело разорвать грудь, но он гордо приподнял голову и при блесках молний, открывающих небо и землю, изумленный взор его встретился с насмешливым взором приятеля его, Ивана Хворостинина, который в венгерском доломане стоял перед ним. Щеголя со времен Самозванца еще носили тогда польское и венгерское одеяние.

«Безумец ты, Владимир, — говорил он ему сквозь смех, — неужели в наш век, когда люди перехитрили дьявола, ты хочешь обмануть его! Поздно приятель, поздно. Черти уже не верят кровавым распискам и душевным закладам; да и что за прибыль бесу в душах наших теперь, коли даром проглотит нас ад пастью могилы. Я не узнаю тебя, князь, — ты ли это? Тебе ли верить в чертей, когда ты не веровал в божью правду!»

«Так, Хворостинин, — я заслужил, чтобы сумасброды упрекали меня в безумии. Брани меня, смейся надо мной; я стыжусь даже тьмы, скрывающей стыд мой. Какого ада искал я вне себя, когда могу удружить недругам своим адом! У меня есть сила в теле и месть в душе — на свете есть еще огонь и железо».

«Есть и виселицы, Владимир. Смутное время и безземельное твое княжество не спасут зажигателя и убийцу от этой качели».

«Кто противустанет мне, что меня остановит?»

«Каждая пуля. Полно, князь, мерять силы своим гневом, — будь ты сам Полкан Богатырь, — но горсть пороху — и ты прах».

«Низкая выдумка! Ты равняешь храброго с трусом, сильного с слабым, тобой побеждают без чести, от тебя гибнут без славы. Но у меня есть товарищи — друзья. Они станут за меня...»

«Они бы спрятались за тебя в битве, но не пойдут за тобою в ссору. Послушай, Владимир, ты, кажется, довольно презираешь людей, чтобы разгадать, для чего к тебе вешались на шею многие земляки наши. Они думали видеть в тебе будущего воеводу и зятя богатого Волынского; обманулись — и когда я выходил из Переславля, то уже слышал, как честили тебя горожане, как шумели брату твоему их заздравные клики. Думаешь это не правда?

«Какая клевета черней этой правды? Да, я брошен в снедь бессильной злобе своей. Для чего мое негодование не дышит бурею! Для чего проклятия мои не могут летать и сжигать молниею; для чего этой рукой не могу я разорвать свод неба и обрушить его на головы врагов моих!..

«Славно, славно, князь! Ты беснуешься, будто кликуша* пе-

* Так называют в просторечии одержимых бесом.

ред Херувимскою. Однако ж мне, право, смешны вы, горячие головы. Вообразили себе, что целый свет должен глядеть вам в глаза и что природа для вас вертится на курьей ножке! К чему служат все эти заклинания и проклинания? как ты ни горячись, а это не высушит наши платья; поедем-ка лучше поискать ночлега. Одна приязнь к тебе выманила меня следом за тобою в эту ночь, когда добрый хозяин не выгонит собаки за ворота, когда волки рады погреться на псарне. Ух! холод, и дождь, и гром, и ветер, будто свету преставленье. Едем, Владимир, — кони за лесом...»

«Нет, я хочу умереть здесь...»

«Умереть, чтобы дать другим жить на просторе? Не лучше ль уморить кой-кого, чтобы самому пожить вволю?»

Владимир не слышал его.

«Князь, я темный человек, но могу тебе пригодиться в некоторое времячко, и это время — теперь: отчины твои промотаны — твоя слава двулична. В Москве ты имеешь врагов, а здесь друзей не нажил. Прекрасная Елена твоя полюбила другого, и с ее рукой воеводская булава отдана младшему твоему брату... Чего ж тебе ждать здесь? каких еще обид доискиваться? Ситцкий! я тянул с тобой одну лямку и чарку; я знаю, я ценю тебя, я вижу, как высоко стоишь ты над другими умом и как низко брошен судьбою. Я грыз зубы, когда князь Иван поверил неопытному юноше город и засаду. Вот хваленое беспристрастие! да и где нынче найдешь правду на Руси? Сердце разрывается с досады за всех, а за тебя всех более. Родина отвергла, презрела тебя; чего ж медлить? Волынский уже не воротится, а литовцы в 50-ти верстах под начальством удалого Лисовского, который с русскими и казаками идет к Сапеге. Нам не первоучинка дружиться с panami dobrodzieiami — и Лисовский примет тебя — чуп до земли... и чрез два дни Переславль наш, и Елена твоя, и пошла потеха! Опять удалая жизнь, наезды, добыча. Опять звон сабель и кубков; снова гром и дым, пепел, кровь, — и песни красных девушек. Князь — решайся!»

С содроганием, расширив глаза, слушал Владимир слова предателя. Сомнительно прикоснулся он к груди его, чтобы увериться, человек ли говорил такие речи. «Злодей! — наконец вскричал он, —

ты, ты-то и есть нечистый дух... Русский ли предлагал русскому изменить отчизне, предать свою родину!»

«Не сегодня, так завтра она и без нас погибнет, а мы не спасши ее, потеряем себя даром. Да и одни ли мы предадимся полякам? а ведь на людях и смерть красна».

«Но презрение добрых людей! но проклятия потомства!»

«Потомки, если не оправдают, то извинят нас обстоятельствами, а из людского мнения не шубу шить; да и где эти добрые люди? Кто ныне прав, кто виноват? одни бьются за Шуйского, другие целуют крест Владиславу; кто же и нам не велит кричать громче всякого: за матушку за Россию, за царя за Димитрия!»

«Нет, нет!»

«Нет? .. Так оставайся же в пыли, хвастливое дитя, — я не хочу долее терять слов с человеком, который мечтает перевернуть свет и не может переломить вздорного предрассудка; который дышит братоубийством и страшится измены, который всё хочет и ничего не смеет! .. Поди, кланяйся тем, которые за счастье должны бы считать подержать твое стремя — грызи украдкою, как мышь, каблуки презирающих тебя врагов; ступай на вести к своему меньшему брату, жди подачки с его стола... добивайся в дружки к той, которой ты можешь быть мужем; осыпай молодых приветливо хмелем, когда бы ты хотел задавить их под проклятиями — считай чужие поцелуи — нянчи будущих детей братниных...»

«Этого я не стерплю никогда...»

«Ты не стерпишь? и, брат Владимир, — терпение славная вещь... с ним и с покровительством брата ты можешь под старость выслужить даже угол в богадельне. Прощай, Ситцкий — спасибо за урок. Ты показал мне, что пустые сердца звучат громко, что есть заячьи сердца в грудях орлиных...»

Бешенство, ревность, месть пылали в Ситцком; они одолевали совесть. — Взошло солнце и, по сказкам ранних косцов, они видели двух незнакомых всадников, закутанных в охабни, которые торопливо ехали по Владимирской дороге.

V

Зарево от пылающего монастыря Даниила Столпника бросало кровавый отблеск на озеро, и берега его вторили кликам военным. Лисовский облег уже Переславль, уже отбил вылазку Михайла Ситцкого. Стычка только что кончилась, выстрелы смолкли, но облако дыму и пыли неслось еще над стенами города, где мелькали огни и оружия, слышались приказы, стук топоров и плач жен. Другая картина представлялась под стенами: ниспадающая ночь мешала видеть объем стана осаждающих, но как они не слишком боялись недальнострельных орудий города, то очень близко притиснули свои передовые отводы к тенистому рву. Со стен сквозь мрак видно было, что всадники расседлывают коней: иные выважывают их, напевая песни; другие, насвистывая, поят их у озера. Пешие отирают брони и строят шалаши из ветвей. Там делят корм, там — добычу. Треща разгораются огоньки, и здесь, и тут, и повсюду; котлы бьют пеной, и вот собираются воины в артели: вот пошли шутки и хохот, крик и пенье. Никто не жалеет о павшем, никто не думает о себе — все беззаботно веселятся после и перед битвой. Они пируют на свадьбе смерти, как на именинах у друга.

Чудна и пестра была смесь народов, составлявших хоругвь Лисовского. Польская шляхта, своевольно наехавшая на Русь служить себе, без воли сейма и против воли короля. Они гордо похаживают, крутя усы и отбрасывая назад рукава своих контушей, клянясь и хвастая ежеминутно. Казаки косо поглядывают на союзников, лениво дымя трубками, и часто сабли их крестятся с польскими, хотя к их знаменам для добычи и славы привязали они переметную дружбу свою. Полудикие литовцы, приведенные папами на разбой и на убой, бесстрастно сидят или спят вкруг огней. Наконец изменники русские, иные из привычки к мятежу и бездомью, другие — алкая корысти, третьи из надежды воротить грабежом у них отнятое, передались к гультаям польским. Роскошь и бедность вместе разительно виделись в стане. Инде ходил часовой с заржавленным бердышом, в рубище, но в золоченом шишаке; другой в бархатном кафтане, но полубос; здесь поят коня серебряным ковшом, а там на дорогом ска-

куне лежит вместо седла циновка. Штофный занавес, вздетый на копье, завешивает из бурки сделанную ставку какого-нибудь хорунжего, который нежится на медвежей полсти, склоня голову на седло. Здесь бобровое одеяло кинуто на грязной соломе. Всё это было странно и дико, — но всё кипело жизнью и силою. Везде говор и ржание коней, звук и блеск оружий во мраке.

Перед ставкою у огня лежал на ковре Лисовский и с ним двое изменников: Хворостинин и Ситцкий. Крепкий склад и суровое загорелое лицо показывали в Лисовском обстреленного воина, а быстрые глаза и думные на челе морщины — опытного вождя. Беззаботная голова, Хворостинин, уже спал беспробудно, утомленный сечею и вином, как это видно было по окровавленной сабле его и опрокинутому в головах кубку.

«Пей, товарищ, пей, — говорил Владимиру наездник Лисовский, напенивая стопы. — Смой усталость битвы, освежи твое грустное сердце радостными слезами винограда! Посмотри, как кипит и в жемчужистой пене скрывает румянец свой это некупленное вино. Оно дышит какою-то благовонною прохладой; оно недаром таило свой жар в ледниках дворцовских, чтобы отводить тоску царей... Товарищ, пей, оно и твою утолит!»

«Нет, Лисовский, нет. Злодейка-тоска всплывает на верх, и вино подливает пламень в кровь, и без того кипучую. Я видел, как это вино лилось морем на столах Годунова и Димитрия. Я видел вблизи их обоих, и верь — оно не смывало кручины с чела, стиснутого венцом и... есть неизлечимые раны, есть неусыпающие мысли, которых никто, ничто в свете не в силах вырвать из размученной ими души!» Так говорил Владимир в тоске глубокой и непритворной. Уста его, еще покрытые пылью, трепетали, и на лицо, обрызганное кровью, проступало мучение души. Тронутый Лисовский задумчиво пил из стопы своей; соучастие отозвалось в жестоком его сердце. Так-то и в самых неприступных башнях есть тайники сокровенные, но проходимые. Правда, не вдруг сошлись эти два характера: властолюбие вождя взрывало Ситцкого; вождю не нравилась в Ситцком непокорность. Но в первом страсти сердца, умеренные войною и честолюбием, любили припоминать в другом свою когда-то неукротимую

волю; а Ситцкого пленяла откровенность поляка. В верности русских изменников уверился Лисовский на деле — они русскою кровью смыли с себя имя русских, а Владимиру нужно было высказать свои чувства тому, кто мог бы их почувствовать. Притом оба они были пламенны; наречие обоих, как восточная ткань, пестрело какими-то чудными цветами — и вот Лисовский, гроза России, славный потом в Германии наездничеством за веру, сдружился с изменником, который навел его на свою родину. Не знаю, искренна или корыстна была дружба сия, но они стали неразлучны. Так два нагорных потока, встретясь, кипят и спорят и с ревом, неодоленные оба, сливают волны свои и несутся одною дорогой. — Молча подал Лисовский руку Владимиру и крепко, выразительно сжал ее.

«Лисовский! — сказал тогда Владимир, — вижу, что вопрос, внушенный дружбою, летает на устах твоих, — я предупрежу его. Да и для чего не облегчить мне сердца, раздавленного тайною скорбию! Наружность винит меня более, чем обвинит признанье, и ты можешь понять меня! Слушай.

«Здесь повила меня жизнь, но путевое седло было моей колыбелью, и я как сквозь сон помню себя в стане военном, — и гром, и кровь, и пламя кругом меня. Это, как узнал я после, было при взятии шведами городка Падиса в Чудской земле. Там сидел бесстрашный старец Данило Чихачев * и, отвергнув переговоры, пал последний на трупах своих ратников, на вверенной ему стене. Отец мой, бывший там подвоеводчиком, раненый, избежав побоища, спас меня и мать мою. Это кровавое зрелище потрясло мою трехлетнюю душу и впечатлело в ней буйные, неутолимые страсти. Отца я не помню — он умер вскоре после похода, а мать забыла меня для меньшего брата. Как буря по степи, пронеслась моя молодость, и даже в детстве я не знал иной радости, кроме покоя. Я чуждался своих сверстников, мне казались жалкими их игрушки, моею забавою было то, что и самых юношей пугало: бешеные кони, звериная ловля, и мрак ночей, и непогодное озеро. Я наслаждался опасностями, и мое первое презренье

---

* Это точно случилось в 1580 году. Спасся только один Михаил Ситцкий. Смотри Ист. гос. Росс., том IX, стр. 315.

было к тем, кто их боялся. Скоро порода и красота призвали меня в рынды ко двору Феодора, и я равнодушно оставил за собой эту родину: тогда райская птичка — надежда летела передо мной и манила вперед своими блестящими крыльями. Сначала сияние двора ослепило меня, — но тем черней показалась чернота его после. Я увидел во всех обман и во всех подозренье; зеркальные лица и ничем неподвижные сердца, лесть, которой никто не верил, и каждый требовал, умничанье безумия и чванство ничтожества! Я чувствовал, как уменьшалась душа моя в кругу людей, которых греет улыбка любимцев более, чем заемная шуба,* которые не могут жить без низостей, ни к чему не нужных! С каждым днем опостывал мне двор... я вырывался из душных палат кремлевских, чтоб подышать отзывным мне ветром и бурею, чтобы выместить на зверях свою ненависть к людям. Однако ж по какой-то пагубной привычке я не мог жить вовсе без людей, с которыми не мог ужиться. Такова-то цепь общества: снять ее мы не в силах, а разорвать не решимся. Наступил на престол и Годунов, годы влеклись, и только изредка моя душа порывалась к чему-то сильному, к чему-то грозному — и, наконец, труба мятежа пробудила ее. Как ворон встрепенулся я, послышав кровь, и радостно полетел к Новугороду-Северскому.** С кем и за что сражаться — не было мне нужды; лишь бы губить и разрушать. Эта забава стала мче целью, эта цель — моею наградой. Душа освежалась в пылу битвы; я оживал тою жизнию, что отнимал у других; но кто лучше Лисовского может оценить наслаждение отваги и упоенье победы!

«Ты знаешь, это длилось недолго: наши московские сидни признали Димитрия, и я со вздохом опустил меч и, увлеченный всеми, въехал в свите нового царя в столицу. Нечего было делать — пришлось нянчить царских соколов, чтобы заполевать при случае воевод-

---

* Тогда при дворе для праздников и приемов выдавались боярам дворцовские богатые шубы и кафтаны.

** Под Новгородом-Северским встретил самозванец неожиданный и сильный отпор, покуда воевода Басманов, сей отважный изменник, не передался на его сторону (1604 в ноябре).

ство. Я сошел в круг людей, презираемых мною, но необходимых мне, чтобы из него возвыситься. Лишняя горсть золотой пыли в глаза, лишняя дюжина блесток на платье; венгерское вино и арабские лошади — и легкомысленные твои соотечественники стали моими приятелями. Вместе рыскали мы по улицам Москвы, топтали народ и увозили красавиц. Это напоминало мне жизнь наездническую; в буйстве я дышал веселее, я уже был накануне исполнения моих желаний, — но кто бывал в будущем! На одной пирушке молодой Оссолинский обидел меня, и вельможная голова слетела в прах. Я бежал, бежал не смерти, а позора, и родина приняла меня под кров свой, но как? — подобно дереву, которое манит в сень свою путника на отдохновенье и наводит на него громовую стрелу!

«Въезжая сюда, я как будто вновь народился. Воспоминанием прежней невинности усыпилось мое мятежное сердце, как дитя колыбельною песнею. Здесь всё было так тихо и приветливо!.. Родителей моих уже не было на свете, но я нашел в воеводе Волынском, опекуне моем, второго отца; у него-то познакомился я с прелестною его дочерью Еленой, и ... признаюсь тебе, Лисовский, полюбил ее душой: неведомое мне чувство какого-то небесного покоя пролилось в грудь ее взорами. Сердце мое стало, как переполненная сладким напитком чаша, — любовь к ней проливалась на всё меня окружающее. Я узнал тогда радость доброты и потребность дружества — весь божий свет стал для меня красен впервые. Как сладко потекли мои дни, как тихи и чисты были сны мои. Теперь я только помню, что это было; но понять, но почувствовать это снова я уже не могу. Чего бы не сделал, чего бы не отдал я, чтоб воротить себе эту внимательную рассеянность при милой, эту нетерпеливую тоску без нее, эту безжелчную досаду за безделицы, этот восторг за ласки! Три года протекли, как одно майское утро; она росла и развивалась в глазах моих, и я забыл для нее битву, и славу, и поляков, и русских. Димитрия свергли вслед за моим бегством. Его замыслы, власть и жизнь рассеяны были вместе с его прахом пушечным выстрелом... и это было настоящее изображение его царствования: гром и дым — и прах на ветре!.. Прочие московские дела ты знаешь... но я не хотел тогда знать — и желал бы позабыть; я сидел здесь, очарован-

ный ею, и как прелестна тогда была она! как искренна была со мною! .. с какою нежною заботливостию спешила рассеять грусть мою, с какою детскою резвостию веселилась, когда я был весел! Лисовский! трудно поверить и тяжело, стыдно вспомнить, как я, гордый и неуклонный, был тогда искателен перед нею; сколько похвал и угодничества расточал ей; как по целым часам, не сводя с нее взоров, впивал ими обаяние красоты; только о ней думал наяву, только об ней грезил во сне... да... я не знаю средины и границ в страстях моих: ненавижу до неистовства, люблю до упоенья! но не всем на счастье создана любовь. Смотри, как павшая роса оживляет былие — но она снедает ржавчиною булат моей сабли — и, как эта персидская сабля, долженствовала моя любовь рассечь все препоны или разбиться вдребезги. Моя душа, полная страсти, подобилась громовой туче, блистающей лучами солнца, — но одно противное облако, одна искра — и кто осмелится играть с перуном! .. Это мгновенье настало. Меньшой брат мой, Михаил, приехал за полгода сюда, и скоро я не мог не возненавидеть того, которого должен был любить. Я молчал... он таился, но уже взаимная их любовь перестала быть тайною, и я узнал муки ревности, я спознался с адом злобы. Свежие щеки, томные глаза, красные речи Михаила полонили ее сердце — да и какое женское сердце не выбирает друга по себе? .. оно бессильно отвечать, их ум не может понять сильной любви нашей. Они охотно внимают странным речам страсти, как иноземной песне, ласкающей слух и непонятной душе! только лепетаньем, только детскими игрушками привлечено их внимание.

«Но не одну любовь Елены похитил у меня Михаил, любовь, с которой слит был покой души, стало быть, счастие жизни, — нет! он вонзил мне в грудь двойное острие. Волынский удалялся: мне по старшинству и по опыту следовало принять воеводство. Лучшие граждане обещали избрать меня, если б даже и Волынский воспротивился. Всё было готово... я решился пересилить силу, думал несомненно получить, если не взаимность, то руку Елены; сватаюсь... и что ж? Я вдруг узнаю, что происками брата ему достается моя суженая и ей в приданое — воеводство... и в целом городе ни один голос за меня не послышался. Как лютый зверь, тогда вспрыгалось

мое сердце, — не знаю как не сошел я с ума от бешенства. Остальное тебе известно. Люди, ад, всё изменило мне — и я твой товарищ. И ты видел, каково мстил я коварным! Одной мести жажду я... у меня нет другого чувства; я уже сорвал с сердца терновый венок любови. Но клянусь всем, что было для меня свято, что теперь для меня дорого, Елена живая или мертвая будет в моих объятиях. Хочу насмеяться ее мучениями, когда она презрела мои, хочу, чтобы она век не смыла своими слезами кровь своего возлюбленного. Называй это ребячеством, прихотью, раздражением мелкого самолюбия и честолюбия, смейся над этим как хочешь — но она будет моя. В том моя цель, в том мое желание... да и не лучше ли слушаться своей воли, чем век повиноваться чужой! А брата... злодея брата... слышал ли ты ответ мой на его письмо, недавно ко мне на стреле перекинутое. „Источу из тебя кровь, — отвечал я ему, — чтобы разорвать последние узы, которые нас соединяют, а меня гнетут — пеплом пожара посыплю главу Переславля, который меня отвергнул — и если суждено мне погибнуть, то и врагов повлеку с собой в бездну!..“»

Скоро сон сомкнул очи Лисовского и уста Владимира. Но страшными сновидениями перерывалась его тяжелая дремота. Тише и тише кипела кровь, воспаленная гневом... волнение уходилось, и передрассветный ветерок обвеял свежестью его чувства. И вот чудится Владимиру шелест шагов; кто-то, наклонившись над ним, шепчет в ухо: «Владимир!..» и он, трепеща, полусонный, хватается за пистолет и, поднявшись на руку, стремит изумленные взоры на пришельца: перед ним молодой казак стоит в сиянии месяца... нерешительно снимает он шапку свою, и длинные волосы распадаются по плечам, замирающий знакомый голос повторяет: «Владимир!» — это Елена!

«Не дивись, Владимир, — говорила она, — что, откинув девичью робость и стыдливость, я пришла к тебе сквозь все опасности. Долго любя тебя как брата — и теперь любя брата твоего более себя, я была поражена твоей нежданною переменой; меня измучила мысль, что я тому виною; я решилась за то дерзнуть на всё, пожертвовать собою для спасения родины, для спасения твоей славы, твоей души! Так, Владимир!.. я буду твоею, я постараюсь сделать тебя счастливым, я научусь любить тебя — но будь же достоин моей любви и

уважения всех — покинь это гнездо отступников: твой пример повлечет за собой тысячи русских изменников, твоя храбрость спасет Переславль, твое раскаяние загладит мгновенную измену. Сам бог прощает кающемуся грешнику, и благословение на земле и спасение в небе ждут тебя. Брат отдает тебе всё, что ты хочешь, я — всё, что могу... Как награды, как милости прошу: возвратись! Сжалься над моими слезами... умились моими молениями!»

«Нет! ангельская душа! — вскричал тронутый Владимир, — я не продаю ни добрых, ни злых дел моих: ты останешься невестою Михаила — и я снова слуга родине! Елена, ты победила меня — идем!..»

И вдруг сердце пронзающий звук трубы загремел в стане — и Владимир проснулся!.. Лисовский уже в броне стоял перед ним и будил его. «Пора, Ситцкий, пора! — говорил он, — заря занимается и всё готово; ты поведешь казаков на приступ от озера, я с лодками нагряну от Трубежа... огонь в стены — и город наш!» — «Неужели это был сон, — вскричал, озираясь, обманутый мечтою Владимир, — сон, злобный сон! Так-то всё доброе, всё прекрасное в свете, один рассказ, одно пустое сновидение; только во сне готовы люди на великое и благородное. Пусть же судьба влечет меня к злодейству — я опережу ее, и чем невозвратнее мне дорога, тем беспощаднее буду! На коней, вперед! горе осажденным».

Свет чуть брезжил. Толпы двинулись молча и не стреляя — но роковое *пали!* с вала было смертным приговором для многих. Как чугунные змеи, таясь в траве, пушки вдруг разинули пасть свою — небо вспыхнуло, и град смерти свистя запрыгал между рядами. «Скорей, скорей, — раздалось отовсюду... сходи ко рву, бросай вязни, рви и руби частоколы!» Поляки устремились вперед по набросанной в ров гребле; но стенные дробовики не умолкали; ядра пронизывали ряды наступающих — и вода поглощала скользящих и раненых. Толпа остановилась. «Вперед, за мной!» — воскликнул Владимир и, надвинув на брови шлем, кинулся к другому берегу. С гиком и воплем посыпали за ним казаки, и он уже впереди всех с саблею в зубах, с пистолетом в руке, уже на лестнице, отряхая с себя камни и стрелы, уже, схватясь за зубец, ступил он на стену. «Стой!» — загремело ему вслух, — пушечный выстрел осветил ратника, с которым столкнулся

он грудь к груди, — и что ж? Над ним сверкала сабля Михаилова. Ужасное мгновение! бледным от ярости мелькнули им взоры друг друга, и смеркло всё... Невольный трепет проник обоих. *Он изменник* — была первая мысль; но *он твой брат*, — было первое чувство Михаила, и сабля замерла в руке. *Это враг мой* — мелькнуло в голове Владимира — и пистолетный выстрел предупредил ниспадающую саблю. Проколотый сам двумя копьями, упал он на труп умерщвленного им брата.

Измена! Победа! раздалось от Трубежа! и затем клики грабежа и насилия огласили воздух.

Ночью двое поляков бродили по стене, ища на трупах добычи; они остановились над одним, чтобы снять с него дорогую испанскую кольчугу. Между тем целый день мук истощил силы Ситцкого; время катилось через него колесом пытки. Огнем палило солнце его раны и жаждою уста; слепни пили кровь его, а он не мог ни звуком, ни движением облегчить своих страданий. Изхлынувшая сквозь раны кровь уступила место совести в сердце. «Злодей, — говорила она, — ты пожертвовал всем своей прихоти — и что ты теперь? Терзайся! Это еще легкий задаток вечных мук на том свете... Слышишь ли эти вопли? — это тебя отпевают проклятиями, и многие столетия распадутся в прах, покуда не сгибнет память предателя, заклейменная позором». Между тем пламя болезни спорило с смертным холодом о добыче — и ужасная минута, которой жаждал и страшился желать Владимир, приблизилась. Чувства смешались и превратились... тяжелый вздох как будто хотел разорвать сердце...

«Это он, — сказал поляк своему товарищу, вглядываясь при свете луны в лицо умирающего, — это Ситцкий. Не зарыть ли нам его честно, Казимир? он был отважный молодец; наш Лисовский уважал его».

«Уважал! Можно ли уважать изменника; если почитать людей за одну отвагу, так по этому всё равно умирать на виселице с разбойни-

ком! Нет, брось его на расщипку воронам. Земля не примет того, кто ее предал!»

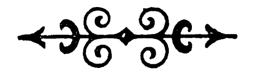
«Стащим с него долой контуш — он позорит польское платье!»

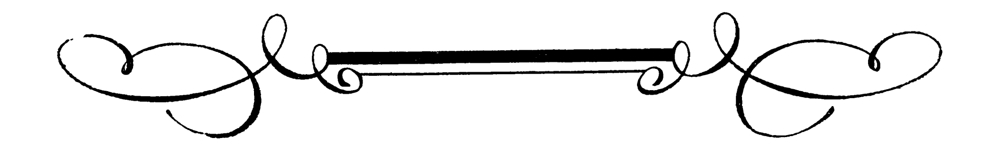
«Нет, Ян, я ни за что не дотронусь до платья, обрызганного братнею кровью».

«О, не припоминай! Этот злодей в моих глазах застрелил брата... а тело его невесты нашли теперь в реке. От страха ли, от горя ль утопилась она, или ее утопили — это неизвестно, — но она хоть счастлива тем, что не видит бед своей отчизны... да вот, гляди, лежит и брат его. Помоги мне, Казимир, вытащить из-под этого Каина его тело. Завидна смерть за родину, и честно будет погребенье храброму от храбрых!»

Как голос трубы страшного суда пробудил сей разговор полумертвого Владимира. С содроганием открыл он глаза, затекшие кровью, — и первое, что представилось его взору, было бледное, укоряющее лицо убитого им брата, на груди которого лежал он... с этим взором выкатился свет из очей изменника.

А. Бестужев.





БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ

(Отрывок из поэмы)

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!
Здесь цель одна для всех сердец —
Живут без власти, без закона.
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей —
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!
Опасность, кровь, разврат, обман —
Вот узы страшного семейства;
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все ужасы злодейства;
Кто грабит хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,

Кому смешно детей стенанье,
Кто лет и пола не щадит,
Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье.

Затихло всё, и вот луна
Свой бледный свет на них наводит,
И чаша пенного вина
Из рук в другие переходит.
Простерты на земле сырой
Иные чутко засыпают:
И сны зловещие летают
Над их преступной головой.
Другим рассказы сокращают
Угрюмой неги праздный час;
Умолкли все — их занимает
Пришельца нового рассказ,
И всё вокруг его внимает:

«Нас было двое: брат и я.
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья:
Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сирот
Ни бедной хижинки, ни поля;
Мы жили в горе, средь забот,
Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной:
В товарищи себе мы взяли
Булатный нож да темну ночь;

Забыли радость и печали,
А совесть отогнали прочь.

«Ах, юность, юность удалая!
Житье в то время было нам,
Когда, погибель презирая,
Мы всё делили пополам.
Бывало только месяц ясный
Взойдет и станет средь небес,
Из подземелия мы в лес
Идем на промысел опасный,
За деревом сидим и ждем:
Идет ли позднею дорогой
Богатый жид, иль ... убогой, —
Всё наше! всё себе берем.
Зимой, бывало, в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем, и стрелой
Летим над снежной глубиной.
Кто не боялся нашей встречи?
Завидели в харчевне свечи —
Туда! к воротам и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли — всё даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем!

«И что ж? попались молодцы;
Не долго братья пировали;
Поймали нас — и кузнецы
Нас друг ко другу приковали,
И стража отвела в острог.

«Я старший был пятью годами
И вынесть больше брата мог.
В цепях, за душными стенами

Я уцелел — он изнемог.
С трудом дыша, томим тоскою,
В забвенье, жаркой головою
Склоняясь к моему плечу,
Он умирал, твердя всечасно:
„Мне душно здесь... я в лес хочу...
Воды, воды!..“ но я напрасно
Страдальцу воду подавал:
Он снова жаждою томился,
И градом пот по нем катился.
В нем кровь и мысли волновал
Жар ядовитого недуга;
Уж он меня не узнавал
И поминутно призывал
К себе товарища и друга.
Он говорил: „Где скрылся ты?
Куда свой тайный путь направил?
Зачем мой брат меня оставил
Средь этой смрадной темноты?
Не он ли сам от мирных пашен
Меня в дремучий лес сманил
И ночью там, могущ и страшен,
Убийству первый научил?
Теперь он без меня на воле
Один гуляет в чистом поле,
Тяжелым машет кистенем
И позабыл в завидной доле
Он о товарище своем!..“
То снова разгорались в нем
Докучной совести мученья:
Пред ним толпились привиденья,
Грозя перстом издалека.
Всех чаще образ старика
Давно зарезанного нами
Ему на мысли приходил;

Больной, зажав глаза руками,
За старца так меня молил:
„Брат! сжалься над его слезами!
Не режь его на старость лет...
Мне дряхлый крик его ужасен...
Пусти его — он не опасен;
В нем крови капли теплой нет...
Не смейся, брат, над сединами,
Не мучь его... авось мольбами
Смягчит за нас он божий гнев!..“
Я слушал, ужас одолев;
Хотел унять больного слезы
И удалить пустые грезы.
Он видел пляски мертвецов,
В тюрьму пришедших из лесов,
То слышал их ужасный шепот,
То вдруг погони близкий топот,
И дико взгляд его сверкал,
Стояли волосы горою,
И весь, как лист, он трепетал.
То мнил уж видеть пред собою
На площадях толпы людей,
И страшный ход до места казни,
И кнут, и грозных палачей...
Без чувств, исполненный боязни,
Брат упадал ко мне на грудь.
Так проводил я дни и ночи,
Не мог минуты отдохнуть
И сна не знали наши очи.

«Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились,
Болезнь ужасная прошла,
И с нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильней

Взяла тоска по прежней доле;
Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей.
Нам тошен был и мрак темницы,
И сквозь решетки свет денницы,
И стражи клик, и звон цепей,
И легкий шум залетной птицы.

«По улицам однажды мы
В цепях для городской тюрьмы
Сбирали вместе подаянье,
И согласились в тишине
Исполнить давнее желанье:
Река шумела в стороне,
Мы к ней — и с берегов высоких
Бух! поплыли в водах глубоких.
Цепями общими гремим,
Бьем волны дружными ногами,
Песчаный видим островок
И, рассекая быстрый ток,
Туда стремимся. Вслед за нами
Кричат: „лови! лови! уйдут!“
Два стража издали плывут,
Но уж на остров мы ступаем,
Оковы камнем разбиваем,
Друг с друга рвем клочки одежд,
Отягощенные водою...
Погоню видим за собою;
Но смело, полные надежд,
Сидим и ждем. Один уж тонет,
То захлебнется, то застонет
И, как свинец, пошел ко дну.
Другой проплыл уж глубину,
С ружьем в руках, он в брод упрямо,
Не внемля крику моему,

Идет, но в голову ему
Два камня полетели прямо —
И хлынула на волны кровь;
Он утонул — мы в воду вновь.
За нами гнаться не посмели,
Мы берегов достичь успели
И в лес ушли. Но бедной брат...
И труд и волн осенний хлад
Недавних сил его лишили:
Опять недуг его сломил,
И злые грезы посетили.
Три дня больной не говорил
И не смыкал очей дремотой;
В четвертый, грустною заботой,
Казалось, он исполнен был;
Позвал меня, пожал мне руку,
Потухший взор изобразил
Одолевающую муку,
Рука задрогла, он вздохнул
И на груди моей уснул.

«Над хладным телом я остался,
Три ночи с ним не расставался,
Всё ждал, очнется ли мертвец?
И горько плакал. Наконец
Взял заступ; грешную молитву
Над братней ямой совершил
И тело в землю схоронил...
Потом на прежнюю ловитву
Пошел один... Но прежних лет
Уж не дождусь: их нет, как нет!
Пиры, веселья, и ночлеги,
И наши буйные набеги —
Могила брата всё взяла.
Влачусь угрюмый, одинокий;

Окаменел мой дух жестокий,
И в сердце жалость умерла.
Но иногда щажу морщины:
Мне страшно резать старика;
На беззащитные седины
Не подымается рука.
Я помню, как в тюрьме жестокой
Больной, в цепях, лишенный сил,
Без памяти в тоске глубокой
За старца брат меня молил».

А. Пушкин.

ЖЕЛАНИЕ ПОКОЯ

Налей, налей в бокал кипящее вино!
Как тихий ток воды забвенья,
Моей души жестокие мученья
На время утолит оно.
Пойдем туда, где дышит радость;
Где бурный вихрь забав шумит;
Где глас души, где глас страстей молчит;
Где не живут, но тратят жизнь и младость.
Среди веселых игр, за радостным столом,
На миг упившись счастьем ложным,
Я приучусь к мечтам ничтожным;
С судьбою примирюсь вином.
Я сердца усмирю роптанье;
Я думам не велю летать;
Небес на тихое сиянье
Я не велю глазам своим взирать.
Сей синий свод, усеянный звездами,
И тихая безмолвной ночи тень,
И в утренних вратах рождающийся день,
И царь светил горящий над водами —

Они изменники! — Они, прельщая взор,
Пробудят вновь все сны воображенья;
И сердце робкое, просящее забвенья,
Прочтет в них пламенный укор.
Оставь меня, покоя враг угрюмый,
К высокому, к прекрасному любовь!
Ты слишком долго тщетной думой
Младую волновала кровь.
Оставь меня! Волшебными словами
Ты сладкий яд во грудь мою влила
И вслед за светлыми мечтами
Меня от мира увлекла.
Довольный светом и судьбою,
Я мог бы жизненной стезей
Влачиться к цели роковой
С непробужденною душою.
Я мог бы радости с толпою разделять;
Я мог бы рвать земные розы,
Я мог бы лить земные слезы
И счастью в жизни доверять.
Но ты пришла: с улыбкою презренья
На смертных род взирала ты!
На их желанья, наслажденья,
На их бессильные труды.
Ты мне с восторгом, друг коварный,
Являла новый мир вдали
И путь высокий, лучезарный
Над смутным сумраком земли.
Там всё прекрасное, чем сердце восхищалось,
Там всё высокое, чем дух питался мой,
В венцах бессмертия являлось
И вслед манило за собой.
И ты звала: ты сладко напевала
О незабвенной старине;
Венцы и славу обещала,

Бессмертье обещала мне.
И я поверил: обаянный
Волшебным звуком слов твоих,
Я презрел Вакха дар румяный
И чашу радостей земных.
Но что ж? скажи: за все отрады,
Которых я навек лишен,
За жизнь спокойную, души беспечный сон,
Какие ты дала награды? —
Мечты неясные, внушенные тоской,
Твои слова, обеты и обманы,
И жажду счастия, и тягостные раны
В груди растерзанной судьбой.
Прости!..
Но нет: мой дух пылает
Живым, негаснущим огнем,
И никогда чело не просияет
Веселья мирного лучом.
Нет, нет! я не могу цепей слепой богини,
Смиренный раб, с улыбкою влачить.
Орлу ль полет свой позабыть?
Отдайте вновь ему широкие пустыни,
Его скалы, его дремучий лес.
Он жаждет брани и свободы,
Он жаждет бури, непогоды
И беспредельности небес!

Хомяков.

ИСПОВЕДЬ НАЛИВАЙКИ

(Отрывок из поэмы)

Буйство, и угеснения поляков на Украйне переполнили меру терпения казацкого. Мститель их Наливайко, убив чигиринского старосту, решается освободить отечество от ляхов, поправших святость

договоров презрением к правам казаков и чистоту веры мучительским введением унии. Перед исполнением сего важного предприятия, он, как благоговейный сын церкви, очищает душу постом и отдает исповедь печерскому схимнику.

*

«Не говори, отец святой,
Что это грех! слова напрасны;
Пусть грех жестокий, грех ужасный...

Чтоб Малороссии родной,
Чтоб только русскому народу
Вновь возвратить его свободу —
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
Я на душу принять готов.

И так уж не старайся боле
Меня страшить. Не убеждай!
Мне ад — Украйну зреть в неволе,
Ее свободной видеть — рай!..

Еще от самой колыбели
К свободе страсть зажглась во мне;
Мне мать и сестры песни пели
О незабвенной старине.
Тогда, объятый низким страхом,
Никто не рабствовал пред ляхом;
Никто дней жалких не влачил
Под игом тяжким и бесславным:
Казак в союзе с ляхом был,
Как вольный с вольным, равный с равным.
Но всё исчезло, как призрак.
Уже давно узнал казак

В своих союзниках тиранов.
Жид, униат, литвин, поляк —
Как стаи кровожадных вранов,
Терзают беспощадно нас.
Давно закон в Варшаве дремлет,
Вотще народный слышен глас:
Ему никто, никто не внемлет.
К полякам ненависть с тех пор
Во мне кипит и кровь бунтует.
Угрюм, суров и дик мой взор,
Душа без вольности тоскует.
Одна мечта и ночь и день
Меня преследует, как тень;
Она мне не дает покоя
Ни в тишине степей родных,
Ни в таборе, ни в вихре боя,
Ни в час мольбы в церквах святых.
„Пора! — мне шепчет голос тайный, —
Пора губить врагов Украйны!“

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!»

Рылеев.

ЗИМА

(Отрывок из повести: Эда)

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под сугробов снеговых,
Кой-где вставая головами,
Скалы чернеют; снег буграми
Лежит на соснах вековых.
Кругом всё пусто. Зашумели,
Завыли зимние метели.
Что ж с бедной девицей моей?
Потух огонь ее очей,
В ней Эды прежней нет и тени:
Изнемогает в цвете дней;
Но чужды слезы ей и пени.
Как небо зимнее бледна,
В молчанье грусти безнадежной
Сидит недвижно у окна:
Сидит и бури вой мятежной
Уныло слушает она,
Мечтая: нет со мною друга,
Давно увянул счастья цвет!
Конца дождусь ли я, иль нет?
Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?
На сон желанный, сон глубокий,
О, скоро ль гроб меня возьмет,
И на него сугроб высокий
Дыханье бури нанесет!

Б.

БАСНИ

1

МЕЛЬНИК

У мельника вода плотину прососала:
Беда б невелика сначала,
Когда бы руки приложить;
Но к стати ль! мельник мой не думает тужить;
А течь день ото дня сильнее становится;
Вода так бьет, как из ведра.
Эй, мельник, не зевай! Пора,
Пора тебе за ум хватиться.
А мельник говорит: далеко до беды,
Не море надо мне воды,
И ею мельница по весь мой век богата.
Он спит, а между тем
Вода бежит, как из ушата.
И вот беда пришла совсем:
Стал жернов, мельница не служит.
Хватился мельник мой: и охает, и тужит,
И думает, как воду уберечь.
Вот у плотины он, осматривая течь,
Увидел, что к реке пришли напиться куры.
Негодные, кричит, хохлатки, дуры,
Я и без вас воды не знаю где достать;
А вы пришли ее здесь вдосталь допивать:
И в них поленом хвать.
Какое ж сделал тем себе подспорье?
Без кур и без воды пошел в свое подворье.

Видал я иногда,
Что есть такие господа
(И эта басенка им сделана в подарок),
Которым тысячей не жаль на вздор сорить,

А думают хозяйству подспорить,
Коль свечки сберегут огарок,
И рады за него с людьми поднять содом.
С такою бережью диковинка ль, что дом
Скорешенько пойдет верх дном.

2

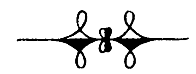
ВОРОНА

Когда не хочешь быть смешен,
Держися звания, в котором ты рожден.
Простолюдим со знатью не роднися;
И если карлой сотворен,
То в великаны не тянися,
А помни свой ты чаще рост.
Натыкавши себе павлиных перьев в хвост,
Ворона с павами пошла гулять спесиво
И думает, что на нее
Родня и прежние приятели ее
Все заглядятся, как на диво;
Что павам всем она сестра,
И что пришла ее пора
Быть украшением Юнонина двора.
Какой же вышел плод ее высокомерья?
Что павами она ощипана кругом,
И что, бежав от них, едва не кувырком,
Не говоря уж о чужом,
На ней и своего осталось мало перья.
Она было назад к своим; но те совсем
Заклеванной вороны не узнали,
Ворону вдосталь ощипали;
И кончились ее затеи тем,
Что от ворон она отстала,
А к павам не пристала.

Я эту басенку вам былью поясню.
Матрене, дочери купецкой, мысль припала,
    Чтоб в знатную войти родню.
    Приданого за ней полмиллиона:
    Вот выдали Матрену за барона.
Что ж вышло? Новая родня ей колет глаз
Попреком, что она мещанкой родилась;
А старая за то, что к знатным приплелась:
    И сделалась моя Матрена
    Ни пава, ни ворона.

И. Крылов.

Конец.



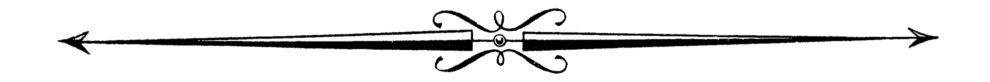
ЗВѢЗДОЧКА.

КРОВЬ ЗА КРОВЬ.

Разсказъ.

Въ послѣдній походъ Гвардіи, будучи на охотѣ за Нарвою, набрелъ я по берегу моря на старинный каменный крестъ, далѣе въ оставленной мельницѣ увидѣлъ жерновъ, сдѣланный изъ надгробнаго камня съ Рыцарскимъ гербомъ... и наконецъ надъ оврагомъ ручья развалины за́мка. Все это подстрекнуло мое любопытство, и я обратился съ вопросами къ одному изъ нашихъ Капитановъ, извѣстному охотнику до историческихъ былей и старинныхъ небылицъ. Онъ уже успѣлъ развѣдать подробно объ этомъ за́мкѣ отъ Пастора, и когда насъ собралось человѣкъ пятокъ, то онъ намъ пересказалъ все, что узналъ, какъ слѣдуетъ ниже. *А. Бестужевъ.*

„Этому ужь очень давно, стоялъ здѣсь замокъ по имени Эйзенъ т. е. желѣзной



ЗВЕЗДОЧКА

КРОВЬ ЗА КРОВЬ

Рассказ

В последний поход гвардии, будучи на охоте за Нарвою, набрел я по берегу моря на старинный каменный крест; далее в оставленной мельнице увидел жернов, сделанный из надгробного камня с рыцарским гербом... и наконец над оврагом ручья развалины замка. Всё это подстрекнуло мое любопытство, и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику до исторических былей и старинных небылиц. Он уже успел разведать подробно об этом замке от пастора, и когда нас собралось человек пяток, то он пересказал нам всё, что узнал, как следует ниже.

А. Бестужев.

Этому уж очень давно, стоял здесь за́мок по имени Эйзен, т. е. железный. И по всей правде он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером написать; все говорили, что ему по шерсти дано имя. Стены так высоки, что поглядеть, так шапка валится, и ни один из лучших стрелков не мог дометнуть стрелой до яблока башни. С одной стороны этот провал служил ему вместо рва, а с другой — тысячи бедных эстонцев целые воспожинки рыли копань кругом, и дорылись они до живых ключей, и так поставили за́мок, что к нему ни с какой

стороны приступу не было. Я уж не говорю о воротах: дубовые половинки усажены были гвоздями, словно подошва русского пешехода; тридевять задвижек с замками запирали их, а уж сколько усачей сторожило там — и толковать нечего. На всяком зубце по железной тычинке, и даже в желобках решетки были вделаны так, что мышь без спросу не подумай пролезть ни туда, ни оттудова. Кажись бы, зачем строить такие крепости, коли жить с соседями в мире? .. Правду сказать, тогдашний мир хуже нынешней войны бывал. Одной рукой в руку, а другой в щеку — да и пошла потеха. А там и прав тот, кому удалося. Однако и рыцари были не промахи. Как строили чужими руками зáмки, так говорили: это для обороны от чужих, а как выстроили да засели в них, словно в орлиные гнезда, так и вышло, что для грабежа своей земли. Таким-то побытом, владел этим зáмком барон Бруно фон Эйзен. Был он не из смирных между своей братьи, даром что и те удальством слыли даже за морем. Бывало, как гаркнет: «на коней, на коней», то все его молодцы взмечутся, как угорелые, и беда тому, кто выедет последним! Коли подпоясал он свой палаш, а палаш его, говорят, пуда чуть не в полтора весил, то уж не спрашивай: куда? знай скачи за ним следом, очертя голову. Латы он носил всегда вороненые, как осенняя ночь, и в них заклепан был от каблуков до самого гребня; глядел на свет только сквозь две скважины в наличнике, — и, сказывают, взгляд его был так свиреп и пронзителен, что убивал на лету ласточек, а коли заслышит проезжий его свист на дороге — так за версту сворачивай в сторону, будь хоть епископ, хоть брат магистру. Врагов тогда, бывало, не искать стать, выезжай только за ворота: соседов много, а причин задрать их в ссору еще более. Притом же Нарва в тридцати верстах, а за ней и русское поле... как не взманит оно сердце молодецкое добычей? ведь в чужих руках синица лучше фазана. Вот как наскучит сидеть сиднем за кружкою... так и кинется он к границам русским — ему не нужно ни мосту, ни броду. Прискакал к утесу — а река рвет и ревет, как лютый зверь. Что ж бы вы думали? «За мной, ребята!» — и бух в воду первый. Кто выплыл — хорошо. Потонул — туда и дорога! Скажет только, бывало, отряхаясь: «скотина!» — и помин простыл. Да ему с полгоря было так горячиться. Конь служил под ним

заморский, мастью вороной — что твоя смоль. В скачке с него зайцев захлопывали. В погоне река — не река, забор — не забор, а в деле — словно сам черт под седлом: и ржет и пышет, зубами ест и подковами бьет. Зато барон любил и холил этого коня: счетным зерном из полы кормил, из своего кубка медом потчевал, и коли надо, случалось, коню сослужить службу трудную, так отскачет полдороги — да фляжку вина ему в глотку. Прочхнется тот, встрепенется и опять летит, инда искры с подков сыплют. Ну вот и заедет он далеко в Русь... врасплох... завидел деревню — подавай огня. Вспыхнуло — кидай туда всё, что увезти нельзя. Кто противится — резать, кто кричит — того в пламя. Позабывшись, и даром, правду сказать, порубливали встречного и поперечного, ну да это чтоб не разучиться или поучиться, говорил он. Натешась, разгромив, навьючив коней добычею, насажав на седла красавиц и сосворив к стремену пленников, выходили они околицами восвояси... и тут-то уж по дележе начиналась гульба и пированье. Хоть в пятницу — праздник, и в ночь не дрема. Целую неделю разливное море, и песни, и шум. Конечно, не всегда удавалось нашему молодцу нападать нечаянно на русских. Нередко выпроваживали незваного гостя вон по зашейку, да он огрызался себе, как волк, и цел и невредим выходил из побоища, потому что не всякий совался вблиз к его латам, и никакая стрела не брала его панциря. Ходила молва будто латы его заговорены были — оно и статочное дело — барон много лет возился с египетскими чародеями, когда за господень гроб рыцари ездили на край света подраться между собою. Как бы то ни было, кроме ушибов, он не получил ни одной раны, между тем как удары палаша его можно было лечить не рецептами, а панихидами. В таких отчаянных набегах, разумеется, шайка его редела, однако хоть все знали про опасности, про крутой нрав барона — разгульная жизнь и охота к добыче, как магнитом, тянула бродяг к нему в службу. Обокрал ли, прогневил какой слуга или оруженосец соседа рыцаря — сейчас давай тягу в Эйзен. Под гербом барона скрыто и забыто было всё прежнее, зато уж в деле не зевай у него. Чуть струсил, чуть оплошал, глядишь, и качается дружок вместо фонаря с пеньковым галстуком от

простуды! Да и что за народ у него собран был, так волосы дыбом становятся: каждый сорвиголова. В огонь и в воду готовы на голос Бруно... так и смотрят в глаза ему — лишь мигнул и всё верх дном полетело. В буянстве самый закоренелый драгун показался бы перед ними красною девушкою, и двенадцать киевских ведьм вместе не выдумали бы таких проклятий, какие отпускали они за одною чашею брантвейна. Страшные, оборванные, однако при шпаге и железный картуз набекрень, разгуливали они по хижинам эстонцев, поколачивали их для препровождения времени, ласкали их дочек и брали контрибуцию с жен, чем бог послал.

Теперь стали экономничать лифляндские помещики, запирать счетный кусок на ключ и желудок сажать на диету. В старину, сами вы знаете, то ли было? Круглый год масленица, жареные гуси стадами слетались к обеду и без *Heilige nacht*,* телята и бараны на четырех ногах ходили по столу и умильно подставляли охотникам свои котлеты. Ветреного бутерброда тогда не было и в заводе, а травкой-муравкой кормили только слуг. Само собой разумеется, что основательных напитков тогда не жалели, а как пили они — так вы, право, подумали бы, что у них муравленая утроба! Ведро пива на ухо — и ни в глазе. Вот по́допьет, бывало, барон с соседами да и расходится индюком.... я ли не я ль? по плечу себе никого не приберет, он-то всех храбрее, он-то всех благороднее! А чуть-чуть кто покосился, он и в ссору да в брань, а там долго ли до железа! Кончится, бывало, тем, что гость приедет верхом, а вынесут его на носилках; еще за милость, коли без уха или без носу, а то часто навеки от зубной боли вылечивался. Этого мало: разгневался на соседа — на конь со своей дворней и псарней, и пошел топтать чужие нивы, палить чужие леса. Упаси боже повстречать его в такой черный час. Завидел эстонца и скачет к нему с поднятым тесачищем. Читай *Верую во единого*, бездельник! а тот и обомлеет на коленах, ведь по-немецки ни слова. «Эймойста!» ** Читай, говорю! .. «Эй-

---

* Рождество Христово.

** Не понимаю.

мойста...» А, так ты упрям в своем язычестве, животное!.. Я же тебя окрещу! бац! — и голова бедняги прыгала по земле кегельным шаром, и барон с хохотом скакал далее, проговоря *absolvo te!* т. е. разрешаю тебя. Затем, что они, как духовные рыцари, могли вместе губить тело и спасать душу. Таково было чужим, — каково же своим-то было? Понравился конь у крестьянина: «Пергала! меняй свою лошадь на мою кривую собачку!» Батюшка барин, мое ли дело охотиться — а без коня куда я гожусь!» — «На виселицу, бездельник! Ты должен быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от нее щенков и что жена твоя будет выкармливать двух для меня своей грудью». Зальется бедняга горючими, да и пойдет в холодную избу — за пустую чашку. Не то еще бьют, да и плакать не велят. Коротко сказать, Бруно в угнетенье не отставал от своих сотоварищей, за исключением только члена: «Не пожелай.. осла ближнего твоего», затем, что полезных этих животных тогда в Эстляндии не водилось. Однако ж и на него находили часы, не скажу божьего страха, но человеческой робости. Буйно было прошедшее, а что впереди — весьма не утешно; как ни любил он шум и разбой — а всё-таки скука садилась с ним в седло и на стул незваная; и как бес в рукомойнике — выглядывала с донышка стакана. Лишь за невидаль мог он выжать смех из сердца, потому что смех дается только добрым людям. Вот уже стукнуло нашему барону и за сорок, а с сединой в бороду — черт в ребро. Раз, когда беседовал он очень дружески с стопой своей и допытывался от ней ума, вскинулась ему блажная мысль в голову: женись, барон, авось это порассеет тебя; притом же наследники... ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет... да кстати, чем далеко искать — лучше взять готовую невесту моего племянника; она не бедна и сумеет хозяйничать, как и всякая другая. Правда, может она меня не залюбит, да кто об этом беспокоится. Какое мне дело, любят ли меня рыбы или нет — да я люблю их есть. А племянник не велика птица в перьях... пускай порастет до свадьбы! Надобно вам сказать, что племянник этот был сын его двоюродного брата, какого-то вестфальского рыцаря. Покойник был не беден золотом... кажись, не умом, потому что поручил

сына и имение в опеку Бруно. Грех сказать, впрочем, что Бруно расправлялся с деньгами племянника не как с собственными своими, зато самого Регинальда помыкал вовсе не по родственному и учил именно тому, чего знать бы не должно. Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучшим, потому что показали, как на ладони, все черные стороны злого человека и все выгоды быть добрым. Молодец он был статный и красивый, ну вот и приглянись ему дочь одного барона, по имени, дай бог памяти, — кажется, Луиза. Девушка она была пышная, как маков цвет, а белизной чище первого снегу, даром что не мылась биркезом и не носила ночью помадных перчаток, как здешние фрейлины... Сердце сердцу весть подает... они слюбились. Партия была хоть куды... и Бруно не прочь — и отцы согласны, как вдруг эта беда коршуном налетела... Вздумано и сделано. Барон не любил переспросов, и кто не хотел лететь в окно, тот не совался ему противоречить.

Через три дни пути Регинальд с двумя трубачами стоял уже у подъемного моста у за́мка рыцаря Бока и трубил в рог, как будто за ним гналось две дюжины медведей. В за́мке все взбегались, увидя людей, разодетых попугаями. Старый барон в суетах надел воротником сапожную манжету. Матушка насурмила вместо бровей губы, и я за верное слышал, что сама Луиза, как ни хотела казаться равнодушною, однако встретила гостя в разных чеботах. Похоронное лицо свата удивило очень семью Бока, но когда он выговорил предложение дяди, то если б бомба упала к ним на чайный столик — она испугала бы их менее... Жаль, право, что тогда еще не было ни бомб, ни маюкону и что сравнение мое некстати. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха, матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегубца, толковала, однако ж, о подвенечном наряде, Луиза плакала навзрыд, а бедный сват, разжалованный из женихов, стоял как убитый, посылая к черту дядю, которого ненавидел за то, что он, как в насмешку, послал его сватом к его прежней невесте. Что ни говори — а вожжи, которыми правят людей, сплетены из железа и золота. Все или боятся

одного, или жалуют больно другое... Это же порешило отца да мать Луизы, как раскинули старики умом, разумом. Шутить с Бруно плохо... Хотя нехотя, ударили по рукам, а дочерей спрашивать тогда не водилось, да зачем вправду их баловать? какое им до того дело? Вот и вынесли какого-то сладкого напитка и возгласили здоровье жениха да невесты. Не знаю, отчего — только вино это показалось свату настояно перцем, матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель. — Регинальд, как безумный, кинулся на лошадь и помчал к дяде веселую, себе горькую весть. Через две недели была и свадьба. Гостей съехалось тьма тьмущая, ведь и тогда охотников попировать на чужой счет было вдоволь. Только столом тряхни — так то и дело гляди в окошко: поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич кликали. Ну ведь у прежних бар не пиво варить, не вино курить, хлеб, соль не купленые. Особенно у барона лавливались в море золоточешуйные рыбы с русскими клеймами, а на суше зверки на колесках. Вот повели жениха с невестой со всеми немецкими причудами в церковь. Барон под венцом стоял, охорашивая свою бороду, переступал с ноги на ногу, словно часовой журавль, и покрякивал очень гордо — зато бедная Луиза, бледная, как фламское полотно, была ни жива ни мертва и сказала *да* так невнятно, так невольно, что оно девяносто шести *нет* стоило. Между тем кой-кто из гостей, особенно дамы, в огромных своих фишбейнах, как цветки в корзинах, из-под вееров, словно из-за ширм, подсмеивались над неровнею. «Муж не бобер, — сказала одна баронесса своей соседке, — проседь только меху цены придает». — «Морщины такие борозды, на которых всходят плохие растения», — прибавил какой-то забавник. «Поглядим, — рассуждали иные, — голубка ли выклюнет глаза этому старому ворону, или он ощиплет ей перушки!» Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водится, гости попировали до бела утра. Мороженки, рябиновки, настойки из полыни, зари и прочих невинных трав лились, а заморских вин — пей не хочу. Утро застало пировавших или за столом, или под столом, и, к крайнему сожалению любителей прежних обычаев, пир этот, за исключением битой посуды и подбитых носов, кончился

весьма миролюбно. Подтрунив над молодыми и освежив себя горячими напитками, гости разъехались. А когда разъехались они — в за́мке стало пусто и тихо, как на кладбище после шумных похорон. Молодая баронесса в первый раз без отца, без матери сидела, прижавшись в уголке как сироточка, и сердце щемило у ней, — а ведь это не к добру!.. Она вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа — и ее так напугали рассказы об его свирепости, что она замирала от страха, когда он целовал ее, будто он хотел высосать ее кровь, или когда он ее ласкал, то представлялось, что добирается до ее шеи для удавки. Горько жить и с добрым, да немилым человеком, посудите ж, каково было вековать с таким зверем по нраву и по виду. С зари до зари, бывало, плачет бедняжка тихомолком, так что изголовье хоть выжми — и не один наперсток наполнила она слезами. Однажды попросилась она у мужа поклониться родителям, побывать на родине... — Куды! упаси боже! как затопает, да закричит: «Твоя родина — спальня. Изволь-ка, сударыня, сидеть дома да прясть, а не рыскать по гостям. Да и что значат слезы, которыми ты, как блестками, унизываешь шитье свое? Почему, лишь я подхожу к тебе, твое лицо становится так кисло, что на мне ржавеет панцирь? Небось, на племянника моего ты очень умильно глазеешь! Черт меня возьми, тут что-то недаром... я уверен, что вы вспомнили прошлое. Но помни и то Луиза, что у меня есть прохладительные погреба, куда я навек могу запереть тебя, как бутылку с венгерским, чтобы не испортилась!»

Не нами выдумано, что неправое подозренье вечно вводит в искушенье. Обвиненный подумает: «Коли меня винят даром — сем-ка я заслужу это — ведь терять-то уж нечего. Притом же утешно и отомстить за обиду». Вот так или почти так случилось с Луизой, так и с племянником барона. Им стало досадно сперва за напраслину, а там показался и гнев за упреки, за брань, за прижимки ревнивца. Притом же она не любила мужа, он не уважал дядю — стало, их ничто не хранило, а прежняя любовь влекла. И с кем вместе погорюем, с тем скоро будем радоваться, оттого только, что вместе. Чуть только можно — он сидит при ней, говорит сладкие речи и глядит в глаза так нежно, что будь каменное сердце — расступится. То рассыпается

мелким бесом в услугах, то веселит ее рассказами... а сам изныл, истаял от грусти, как свеча. Мудрено ли ж, что с каждым днем Регинальд становится Луизе милее; с каждым днем муж ненавистнее, с каждым днем она виноватее. Надоело и барону нянчиться с женою. Бывало, ни свет, ни заря — отправляется он на грабеж, или в набег, или в отъезжее поле, здоровается с женой бранью, прощается угрозами... Какое ж сравненье с Регинальдом! с добрым, с благородным Регинальдом! Впрочем, сохрани меня боже заступаться за них: во всяком случае их склонность была порочна. Обмануть мужа, изменить дяде — грех великий. Конечно, страсти дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с ними бороться. А то дался ей Регинальд, спустя уши, словно щур, который сам шею в петлю протягивает. Да одно к одному, чтобы не отослал его дядя прочь — принужден он стал угождать ему на счет совести. То пошлет чужие грани перекопать, то жечь нивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так-то одно дурное намерение ведет ко множеству черных дел. — Минул год. Случились у барона гости. После обеда все навеселе вышли пострелять из лука в зверинец. Правду истинну сказать, это важное имя дано было загородке из одного баронского хвастовства. Им бы лишь было имя, а как? — того не спрашивай. В этом зверинце, кроме ворон, никаких лесных зверей не было, если не включать в их число козу, привязанную за рога, которая потому только разве могла назваться дикою, что пастушьих собак дичилась; да лошадь, состоящую за старостию на подножном пансионе, в свободное время от водовозни, да двух боровов, что приходили туда в гости без ведома хозяина. Вот принесли самострелы, — а что ни самый огромный подали барону. Он его любимый был... Вот и вызывает барон силачей натянуть его. Однако же как ни пытались, никто не может, а барон-то над ними подсмеивается. Дошла очередь и до Регинальда. Он уперся в стальной лук пятою, да как потянул тетиву кверху — так только слышно динь,динь... все ахнули, и тетива на крючке: словно взводил он детскую игрушку. Бруно уж давно грыз зубы на племянника, а такая удаль в силе, которою он один до тех пор хвалился, взбесила его еще более. «Это одна сноровка, — сказал он презрительно. — А вот, господин дамский угодник, если

ты мастер перекидываться не одними хлебными шариками — так будь молодец: попади в мельника, который работает на плотине ручья».

«Дядюшка мой, кажется, видел не раз, как стреляю я по лебедю, — отвечал с негодованием племянник. — Но я не палач, чтобы убивать своих!»

«Гм! своих! По низким твоим чувствам я, право, скоро поверю, что ты *свой* этим животным!.. Убить мельника. Ха, ха, ха, экая важность; не прикажешь ли потереть виски?.. тебе, кажется, дурно от этой мысли становится? Тебе бы не кровь — а всё розовое масло! У тебя одно любимое знамя — женская косынка!»

«Барон Бруно... помни, что есть обиды выше родства. Но если в тебе есть хоть сотая доля правды против злости, — то ты скажешь, отставал ли я от тебя в деле — и к стыду моему не проливал ли невинную кровь русскую в набегах?»

«Не отставал... велика заслуга! Рада бы курочка на стол нейти, да за хохол волокут. Подай сюда самострел мой — да сиди за печкой с веретеном... погляди лучше, как метко попадают стрелы мои в сердца *подлых людей*». Он с остервенением вырвал лук из рук Регинальда, приложился — и несчастный мельник рухнул в воду.

«Славно, славно попал», — закричали рыцари, хлопая в ладоши, но Регинальд, горя уже гневом от обиды, вспыхнул от такой жестокости. «Я бы застрелил тебя, наглый хвастун, проклятый душегубец, — сказал он барону, — если б это предвидел, — но ты не избежишь казни!»

«Молчи, мальчишка... или я эту железную перчатку велю вбить тебе в рот... прочь, или я как последнего конюха высеку тебя путлищами».

Регинальд уже ничего не мог сказать от бешенства, и оно разразилось бы смертным ударом стрелы, которую держал он... если б его не схватили и не связали.

«Киньте его в подвал, — зарычал Бруно беснуясь... — Пусть его сочиняет там романсы на голос пойманной мыши. Кандалы по рукам и по ногам — да посадить его на пищу св. Антония!»

Несчастного потащили, и целый месяц красные глаза Луизы доказывали, сколько она за него претерпела, но что сталось с ним? не ведал никто, и скоро все позабыли. Тогда такие вещи были не в диковину .

Вот, судари мои, не через долгое после того время, будучи Бруно на охоте, получает весточку от своих головорезов, которые, словно таксы трюфелей, — так они искали добычу: что русские купцы мимо его берега повезут морем в Ревель меха для мены и золото для купли. Взманило это старого грешника. «Готовьте ладьи, наряжайтесь рыбаками, едем острожить этих усатых осетров, — закричал он. — Я сейчас буду». Барон был вовсе не набожен, но достаточно для немецкого рыцаря суеверен. Он не раз ссорился с патером в Венштейне за то, что давал собаке носить в зубах свой молитвенник, а между тем верил колдовству и боялся домовых, отчего и спать ночью без свету не изволил. Бывало, крыса хвостом шарчит по подполью, а ему всё кажется, что кто-то гремит латами... вскочит спросонья и вопит на тень свою: кто там, кто тут? У кого совесть накраплена и подрезана, как шулерская карта, тому поневоле надо искать утешенья не в молитве, а в гаданье. С этим намерением пришпорил Бруно вороного и по заглохшей траве помчался в лес дремучий. Густел лес!.. вечер темнел... ветви хлестали в глаза. Барон ехал далее и далее. Наконец, очутился он перед избушкой, как говорится, на курьих ножках, что от ветра шатается и от слов поворачивается. — Стук, стук! «Отопри-ка, бабушка!» Вот отворила ему двери старая чухонка, известная во всем околотке чародейка и гадальщица. Кошачий взгляд, волоса всклоченные и по пояс. На полосатом платье навешанные побрякушки, бляхи и железные привески придавали ей страшный вид, и трудно бывало разобрать ее голос от скрыпа двери. Слава шла, что она заговаривала кровь, сбирала змей на перекличку, знала всю подноготную, что с чем сбудется, а прошлое было у ней, как в кармане. Рассерди-ка ее кто!.. так запоешь курицей по-петушьему или набегаешься полосатой чушкой. «Кого занес ко мне буйный ветер?», — сказала она, продирая глаза, задымленные лучиною.

«Не ветер, а конь завез меня», — отвечал барон, влезая сгорбив-

шись в хижину, каких и теперь для образчика осталось не менее прежнего. Солнечные лучи встречались в кровле с дымом, проходили внутрь, можно сказать, копченые. Две скважины, проеденные в стене мышами, служили вместо окон. В одном углу складена была без смазки каменка, от которой копоть зачернила все стены, как горн. Наконец, вместо всех мебелей в углу лежала рогожка, а у печки лопата: может быть, воздушный ее экипаж — в звании труболётной ведьмы.

«Погадай мне, старая карга, — закричал барон старухе... — Брысь! брысь!» К нему в это время прыг на шею черная кошка да и царап лапою за усы. Барон вздрогнул нехотя, и когда сбросил ее долой, то сам слышал, сам видел он, как из шерсти ее затрещали искры, так что по руке у него мурашки забегали. «Знаю о чем хочешь ты ворожить, — сказала с злобной усмешкою колдунья... — Ты получил весть о добыче, когда гнал по лисе, — теперь хочешь сам сыграть лисицу на море!.. ведаю, что было, угадаю, что будет... но в последний раз, в последний раз, Бруно!» Барона кинуло в пот и в холод, когда он услышал эти подробности... «В ней сам черт сидит», — подумал он. Между тем она почерпнула в козий рог воды и долго нашептывала, уставив на воду страшные свои очи, — вдруг вода зашипела, вздымилась, утихла, и вещунья слово за слово, вся дрожа, будто не своим голосом, говорила: «Рыцарь Бруно, твой поход будет успешен — спеши, не медли... ты приложишь новые добычи, новые грехи к прежним... светел твой нагрудник... гладок он...» — «Я думаю, что гладок, — ворчал про себя Бруно, — на нем кованая муха не удержится». — «Я вижу на нем кровь...» — продолжала старуха. — «Не бойся, он не промокнет». — «Нет... он проржавеет...» — «А на что ж у меня оруженосец? Пусть-ка он не вычистит моих лат, так я ему вылощу спину. Скажи-ка мне лучше, бабушка, ворочусь ли я домой?» — «Домой?... да, ты возвратишься туда, откуда отправишься... и потом ляжешь спать под крестом, в головах зеленые ветки. Слышишь ли колокол?.. это похороны, это свадьба... слышишь ли, поют со святыми упокой и ликуй!» Мороз подрал по коже рыцаря... он робко оглянулся, прислушался — но ничего не слыхал, кроме мяуканья черной кошки. «Вот тебе шил-

линг», — сказал он, бросаясь вон, — но колдунья оттолкнула его рукою... «Я получу от тебя их десяток, когда ты воротишься... Ступай: конь и судьба ждут тебя за порогом». Бруно поскакал, не оглядываясь. «Она рехнулась, — думал он... — впрочем, я нередко сплю под плащом рыцарским, а если ворочусь к духову дню — так и подавно в головах будут березки. Да что за свадьба, что за похороны? Тфу пропасть! мало ли у меня знакомых!»

Наутро, когда встало солнышко, паруса разбойничьих его лодок чуть белелись на взморье.

Долго ли, коротко ли, далеко или близко воевал барон — не знаю. Только уж под вечер поднимался он на крутой берег к за́мку, в самом том месте, где ручей впадает в море. «Вот я и воротился удачно, — говорил Бруно своему оруженосцу. — Роберт, снеси же эти 10 шиллингов старой колдунье и скажи, что в ее вздорном предвещанье было немножко и правды. Скажи ей, что я подобру-поздорову весел, как именинник». Очень видно, однако ж, было, что его веселье сродни печали. Кто после отлучки воротится домой, оставя там женщин, у того поневоле забьется ретивое, подходя к порогу... каких вестей, каких гостей там не найдешь!! Так и у барона защемило сердце недаром: не успел он пройти по берегу десяти шагов — глядь...

Признаюсь, господа, что тут он увидел — так вскипятило бы кровь и у самого хладнокровного мужа... барон видит: жена его сидит рядом с племянником рука в руку, уста в уста. Обуян, задыхаясь от гнева, стоял он перед любовниками, а те его и не заметили, как будто над ними воспевала райская птичка. Бруно не верил глазам своим... «Как? тот племянник, которого он бросил в тюрьму на голодную смерть, — теперь перед ним в полном вооружении? Этот смиренник целуется с Луизою, которая с трудом подымала ресницы при мужчинах.. кровь и ад!.. нет это не сон, не дьявольское навожденье!» Затопал он ногами, заревел — и если б не бряканье лат его, то верно бы любовники кончили жизнь на этом поцелуе. Да нет. Регинальд успел вскочить и принял меч на свой меч: схватились рубиться — искры запрыгали... удар в голову — и оглушенный Бруно, как сноп, свалился на траву. «Теперь ты в моих руках, зло-

дей, — говорил Регинальд, привязывая его к дереву... — пришел конец твой. От меня, брат, не проси и не жди пощады, ты сам никому не давал ее. Ты выучил меня лить невинную кровь по своей прихоти, так теперь не дивись, что я хочу напиться твоею, из мести. Помнишь ли, что ты лишил меня именья и воли, помыкал родного, как служку, унижал, обижал, презирал меня, наконец отнял мою невесту и довел до того, что я сгубил свой покой и чистоту совести... Ты уничтожил злодейски всё, что для души дорого на земле и лестно на небе... Ты бросил меня на голодную смерть... Ты мучил, терзал этого ангела, спасителя моей жизни, которого не ценил, не стоил. Что оставалось мне, кроме боя? Даже и суд божий поединком мне воспрещен был с дядею. Но бог велик — ты пал — ты погибнешь!» Надо было видеть тогда барона: ниже травы, тише воды сделался; откуда взялись слезы; откуда молитвам выучился!.. зачал небось причитать Лазаря. Оно, правду сказать, смерть не свой брат, особенно коли застанет врасплох черную душенку. «Не помяни зла, будь отцом родным, пусти душу на покаяние! отдам всё, что ты хочешь, сделаю всё, что велишь, стану держать твое стремя, выпрошу у папы себе развод, а тебе позволенье жениться на Луизе. Пресвятая Бригитта! я отдам в Ревельский храм твой пол-первой добычи, выстрою в твое имя монастырь с зимней и летней церковью! Пойду сам в монахи, надену власяницу под панцирем, раздам нищим нажитое и грабленое. Луиза, у тебя доброе сердце, я испытал это, я виновен перед тобой... уговори, упроси, умоли Регинальда, пусть он даст мне пожить, хоть еще годок, хоть месяц, хоть час!» — «Ни пяти минут, — отвечал племянник, взводя лук... — Имя бога, злодей, которого ты призывал всегда всуе, чтобы угнетать бедных или увертываться от сильных, теперь не спасет тебя... Притом, кто так подло трусит умереть, тот и жить не стоит!» Но в это время жалостливая баронесса кинулась на колени перед любезным, схватила его за руку... «Не убивай, — закричала она пронзительно, — он злодей, но он мой муж, но он твой кровный». — «Ты не знаешь, чего просишь, Луиза, — отвечал на эти речи Регинальд ласково. — Коли он жив — то нам не жить: это вернее смерти. Неужели хочешь ты, чтобы этот зверь еще свирепствовал надо всеми? он разорвал род-

ство... какой же присяге верить после этого? Впрочем, если ты хочешь видеть меня на колесе, умирающего в муках неслыханных, если сама хочешь сгореть живая на малом огне... то скажи слово, и он жив!» Такая картина ужаснула Луизу... Женский ум слаб — он видит только то, что перед глазами... она отвернулась, махнула рукой... лук взвыл... стрела угодила в сердце, тут и дух вон... только кровь его брызнула на жену и племянника.

Бруно погиб — и дельно: он был виноват; да только правы ли его убийцы? Регинальд был малый благородный, добрый — зачем же он ходил с дядей на разбой, когда знал, что это дурно? Конечно, он делал это невольно, да зачем же не ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него явно. И в самосуде — одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не заступался за угнетенных до тех пор, пока его лично не обидели. Он восстал только для спасения своей жизни, а может быть, и для выгод своей жизни! Какая ж в том заслуга? есть ли тут чистота в причинах, стало быть надежда к оправданию? Он избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в преступлении. Притом же он был против дяди много виноват... да и кровь родного — право, не шутка!

Скоро спроведали в за́мке, что Бруно убили, а кто, за что?.. Бог весть. Долго не верилось этому... наконец увидели — и радость пошла ходить по околице... Все обнимались и целовались, словно мы, русские, о Святой. Вот стали поговаривать об убийце... хотя все желали, чтоб его не узнали. Покойника, как известно, не жаловали, стало быть, благодарили того, кто сплавил его на тот свет. Все подозренья, впрочем, упали на Роберта, оруженосца баронова, который вышел с ним из ладьи глаз на глаз — и потом исчез — ни слуху ни духу. Иные, правда, поглядывали искоса на Регинальда, но он спокойно распоряжал похоронами, потчевал всех очень усердно — то скоро всё и замолкло. Тело барона схоронили. Где убит был он — поставили каменный крест, и в за́мке до назначенья магистра остался хозяином Регинальд.

Коротка память у женского сердца, их слезы — роса: так же скоро падают, так же скоро сохнут. Сперва Луиза то и знай что ры-

дала; потом стала она молиться... потом рассеивать себя, да разгуливать, под конец ласки и уверенья Регинальда, кстати и свои рассуждения усыпили совсем ее совесть. Глядишь, не прошло полугода, она уже нарядилась в цветное платье, да и сама расцвела розаном. Погодя немного захлопотали о свадьбе — разрешенье от папы, благодаря золотыя поминки, прислано; чего ж медлить? Назвали гостей. Гости съехались, пожимая плечами, но расправляя рты, — вот повезли жениха и невесту в церковь, что стояла невдалеке от Эйзена. «Славная парочка», — говорили гости; только славная парочка стояла под венцом, как обреченная на смерть. Бледны оба, не смея взглянуть друг на друга. Некоторые гости заметили только, что Луиза все что-то с руки стирала, а жених озирался кругом при каждом скрыпе оконниц, которые ходили ходенем от октябрьского ветра. Это навело какую-то тоску на всех окружных. У всех вытянулись лица... все смолкли, только голос одного патера раздавался и перевторивался под острыми сводами. Вдруг что-то сорвалось со стены, брякнуло и покатилось по полу — две свечи погасли, задутые ветром, — все вздрогнули. Это был шишак какого-то воина, повешенный здесь на память. Опять тихо, опять гудя смолкли органы... и вдруг почудилось будто кто-то, гаркая, скачет к крыльцу, уж по крыльцу. «Отвори, отвори!» — загремело за дверью — и отдалось в куполе... все обмерли; никто ни с места!.. взглянули вверх — там неслось только облачко с кадильницы. «Отвори!» — повторил страшный голос, и слышно было, как ржал конь и топал по плитам подковами, — и вдруг двери, застонав от удара, соскочили с петлей и рухнули на пол... воин в вороненых латах, на вороном коне, в белой с крестом мантии, блистая огромным мечом, ринулся к налою, топча испуганных гостей. Бледное лицо его было открыто... глаза неподвижны... и что ж? В нем все узнали покойника Бруно. Завопил народ от ужаса — и расхлынул; кто упал ниц, кто ударился в бег — а он в три скачка очутился подле новобрачных. «Кровь за кровь, убийцы!» — прогремел он — и вмиг растоптанный Регинальд захрипел под ногами коня — и, вмиг наклонившись, подхватил мертвец полумертвую Луизу, перекинул ее через луку, поворотил коня, взглянул на всех, как уголь, яркими очами и стрелой выскакал вон

из церкви — лишь огонь струями брызгал из-под копыт по следу. — Только и видели. Страх всем запечатал уста... крестясь, разбежались гости.

Я сказал, что это было октябрьскою ночью. Ветер выл волком в бору, море бушевало, напирая на скалы и отшибаясь от них. Бедная Луиза пришла в себя, и мороз пробежал у ней по жилам, когда увидела она, что лежит в лесу на мокрой траве... Месяц бил прямо на черного рыцаря, который палашом рыл яму, под тем самым крестом, где совершено было убийство... Луиза очень ясно узнала бледное лицо покойника — ахнула и снова без памяти...

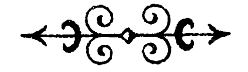
Опять очнулась несчастная... открыла очи — но уже ничего не могла видеть — она лежала ничком со связанными руками, она чувствовала, что ее засыпают холодной землею... у ней замерло дыхание... нет голосу крикнуть... В отчаянии едва-едва могла прошептать она: «Да воскреснет бог и расточатся врази его»; и вот остановилась ужасная работа. Громкий адский смех раздался над нею. «Смерть за смерть, изменница!» — сказал кто-то, и кровь ее застыла. Еще стон, еще усилие, еще глухой вопль из-под земли, и только. Луиза задохнулась, схоронена живая.

Ужасно! и теперь, когда я вздумаю о подобной кончине, то на мне проступает холодный пот и мертвеют ногти. Кажись, всех менее была виновата Луиза, а всех более пострадала. Однако бог знает, что делает, кровь на мужчине часто смывает его прежние пятна, а на женщине, почитай всегда, хуже каиновой печати. Луиза казнена жестоко; зато этот пример долго спасал многих от греха. Что ни говори, а перед святою правдою беды нашего брата исчезают, а мирское добро всходит и расцветает — из зла.

Наутро явился в за́мке черный латник-мститель. Это был родной брат покойника, и похож на него волос в волос, голос в голос. Он мыкался по свету, был в Палестине в свите какого-то немецкого князька и ворочался домой богат одними заморскими пороками. В это время как нарочно встретил его братний оруженосец, который нечаянно был свидетелем убийства и бежал, испугавшись нового господина. У страха глаза велики, говорит пословица... и мы видели, как брат отомстил за брата. Магистр назначил его преемни-

ком всех угодьев и служеб покойного; однако его зверство не осталось без наказанья. Через десять лет русские ворвались в Эстонию, осадили за́мок и, наконец, спекли черного рыцаря Бруно. Сожженный дотла замок Эйзен срыли они до основания, и борона прошла там, где были стены. Долго, долго после того и давно перед этим люди набожные собрали с пожарища камни и выстроили невдалеке церковь во славу бога. Это ее глава мелькает между деревьями.

Господа, я начал за здравие, а свел за упокой, но в том не моя вина. И в свете часто из шутки выходят дела важные.*



* *Примечание.* Нравы и случаи сей повести извлечены из ливонских хроник.

Отрывок из III Главы

ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА

Ночной разговор Татьяны с ее няней

— Не спится, няня, здесь так душно!
Открой окно, да сядь ко мне.
— «Что, Таня? что с тобой?» — Мне скучно;
Поговорим о старине.
— «О чем же, Таня? я, бывало,
Хранила в памяти немало
Старинных былей, небылиц,
Про злых духов и про девиц;
А нынче всё мне тёмно, Таня;
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая череда!
Зашибло...» — Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?

— «И полно, Таня! в эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь». —
— Да как же ты венчалась, няня?

«Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Меня благословил отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели.

И вот — ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня...»
— Ах, няня, няня! я тоскую,
Мне тошно, милая моя,
Я плакать, я рыдать готова!..
— «Дитя мое, ты нездорова,
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь? попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь...» — Я не больна.
Я... знаешь, няня!.. влюблена.
— «Дитя мое, господь с тобою!» —
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

— Я влюблена, — шептала снова
Старушке с горестью она.
— «Сердечный друг, ты нездорова».
— Оставь меня: я влюблена. —
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распущенные власы,

И капли слез, и на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке,
И всё дышало в тишине
При вдохновительной луне.
. . . .
. . . .

А. Пушкин.

КНЯГИНЕ ЗЕНЕИДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ВОЛКОНСКОЙ

Il tuo cantar che nel anima si sente.

Petrarca.

Мне говорят: «она поет —
И радость в душу тихо льется,
Раздумье томное найдет,
В мечтанье сладком сердце бьется.
И то, что мило на земли,
Когда поет она — милее
И пламенней огонь любви
И всё прекрасное — святее».

А я — я слез не проливал,
Волшебным голосом плененный,
Я только помню, что видал
Певицы образ незабвенный.

О! помню я, каким огнем
Сияли очи голубые,
Как на челе ее младом
Вилися кудри золотые.

И помню звук ее речей,
Как помнят чувство дорогое,
Он слышится в душе моей:
В нем было что-то неземное.

Она, она передо мной,
Когда таинственная лира
Звучит о пери молодой
Долины светлой Кашемира.

Звезда любви над ней горит;
И стан обхвачен пеленою,
Она, эфирная, летит,
Чуть озаренная луною.

Из лилий с розами венок
Небрежно волосы венчает,
И локоны ее взвевает
Душистый ночи ветерок.

И. Козлов.

Отрывок из Восточной повести:

ПУСТЫННИК КАНДУ [1]

. . . .
И вот уже они блуждают
Под сводами густых дерёв,

---

[1] Сия повесть есть эпизод Брама-Пураны, древнего поэтического стихотворения индейцев.

Которых цвет и блеск плодов
Их взор отвсюду поражают,
И громко им напоминают
Всегда цветущий вид садов
Очаровательной Нанданы.[1]
Здесь пышной зелени диваны
Земля раскинула в кустах;
Там хор пернатых на ветвях,
В волшебное сливаясь пенье,
Приветствует их появленье
В сей одинокой стороне;
Здесь гордый манго в вышине[2]
Своей красой обворожает,
Там померанца плод златой
Из лона зелени густой
Как бы внезапно возникает,
И, мнится, издали сияет
В нем луч денницы огневой.
Широколистые бананы
Манят здесь свежестью своей,
А там пушистые каштаны,
Чуть видные в тени ветвей,
Как софи,[3] в тишине ночей,
Встающие свершить моленья,
Глядят из окон заключенья;
Здесь взор прельщен красой гренад,
Плоды рубинные висят,
Волнуяся на ветви зыбкой,
Мнишь зреть в них свежести живой

---

[1] *Нандана* — сад бога Индры, индейского Юпитера.

[2] *Манго* — европейцы сравнивают сей плод с тающим персиком.

[3] *Софи* — мудрецы индейские; они получили сие наименование от слова софи (чистый) и всегда ходят в льняной одежде; главным предметом их есть созерцательная жизнь и самоотвержение.

Уста подруги молодой,
С их обольстительной улыбкой,
С их очарованной красой.
Вдали огромные раины[1]
Глядят с высот, как исполины,
И кедров древний лес шумит;
Там пальм обильный ряд стоит,
Раскинув гордые вершины;
Под сенью их и в летний зной
Зефир прохладу навевает,
И в душу сладостно вливает
Веселье, бодрость и покой.

Над ними носятся толпами
Пернатые по вышине.
Все отличаются оне
И крыл различными цветами,
И разнозвучьем голосов;
В прохладной зелени кустов
Они свой звук в одно сливают
И взор и слух обворожают
Разнообразием цветов,
И песнью громкой и приятной.

Вблизи сей кущи ароматной
Встречает взор по сторонам
Зеркаловидные потоки,
Над лоном вод возносит там
Лето́с священно-одинокий
Свой ярко-пурпуровый цвет,
Или лазурию сияет;
А здесь едва приметный след
На тихой влаге оставляет

[1] *Раины* — райские деревья.

Чета прекрасных лебедей,
Блестящих снежной белизною:
В беспечной резвости своей
Они играют над водою
Или, скрываясь в глубине,
Оттоль мгновенно возникают
И с крыл серебряных стрясают
Жемчужный дождь на вышине.
. . . .
. . . .

Ознобишин.

К ЗАРЕ

В воздушных высотах, меж ночию и днем,
Тебя поставил бог как вечную границу;
Тебя облек он пурпурным огнем;
Тебе он дал в сопутницы денницу.
Когда ты в небе голубом
Сияешь, тихо догорая,
Я мыслю, на тебя взирая:
Заря, тебе подобны мы!
Смешенье пламени и хлада,
Смешение небес и ада,
Слияние лучей и тьмы.

Хомяков.

ПЕСНЯ

«Друг веселий неизменный,
Для чего, певец младой,
Нынче бродишь потаенно
Всё один, одной стезей?
Молви нам: или то скука,
Иль то память о былом,
Или мысли, или звука
Ищешь пламенным умом?»

* *
*

— Нет, друзья! от вас украдкой
Не скучаю, не грущу,
Не готовлю песни сладкой,
Светлых мыслей не ищу.
Я брожу у милых окон,
И одним лишь занят я:
Не мелькнет ли темный локон,
Не блеснет ли взор *ея!*

В. Туманский.

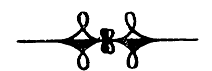
ЗАВИСТЬ ГЕНИЯ

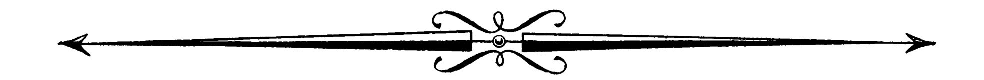
Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал, —
Огонь отрадный проникал,
Тревожил душу Елисея;
Святыми чувствами полна,
Мужала, крепла, возвышалась
И вдохновеньем озарялась
И бога слышала она!

* *
*

Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет:
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зреет для чудес...
И миру — новые светила —
Дела избранника небес.

Н. Языков.





ГАЙДАМАК

Малороссийская быль

Глава I

Так, вичной памяти, бувало
У нас в Гетманщини колись...

Котляревский.

Была осень; частые дожди растворили малороссийский чернозем; глубокая и вязкая грязь превращала в топкие болота улицы и проселочные дороги. В это время в Королевце собиралась Воздвиженская ярманка. По грязным улицам небольшого и худо обстроенного поветового городка тянулись длинные обозы; чумаки с батогом на плече шли медленным шагом подле волов своих, которые с терпеливою покорностью тянули ярмом тяжелые возы. Русские извозчики без пощады погоняли усталых лошадей, суетились около телег, навьюченных московскими товарами, кричали и ссорились. В *ятках** на площади толпились веселые казаки в красных и синих жупанах и те беззаботные головы, кои, уставши *чумаковать*, пришли к ярманке на родину попить и погулять; одни громко рассуждали о старой гетманщине, другие толковали про дальние свои чумакованья на Дон за рыбою и в Крым за солью. Крик торговок и *крамарей,*** жиды

* Шалаши, где производится на ярманках в Малороссии продажа хлебного вина.

** Купцы, продающие враздробь красный товар.

с цимбалами и скрыпками; цыгане с своими песнями, плясками и звонкими ворганами, слепцы-бандуристы с протяжными их напевами — везде шум и движение, везде или отголоски непритворной радости, или звуки поддельного веселья. Огромные груды арбузов, дынь, яблок и других плодов, коими небо благословило Малороссию и Украйну, лежа рядами на подстилках по обе стороны площади, манили взор и вкус и свидетельствовали о плодородии края.

Посереди площади собралась толпа народа. Молодой чумак в синем жупане тонкого сукна, в казачьей шапке с красным верхом, лихо заломанной на голове, с алым шелковым платком на шее, распущенным по груди длинными концами, и в красных сафьянных чеботах, шел, приплясывая и припевая, вел за собою музыкантов и ватагу весельчаков и сыпал деньгами в народ. Чтобы показать свое удальство и богатство, он то расталкивал ногою плоды у торговок, то бил нарочно стеклянную посуду в ятках — и платил за всё вдесятеро. Все: купцы, жиды, цыгане, бандуристы и нищие обступили его: каждый или предлагал свои услуги, или без всяких услуг просил чего-нибудь, и каждый получал или награду, или подаяние. Большой круг составился около молодца: всяк ему дивился и хвалил его; женщины в этом случае были не последние. «Какой *завзятый* чумак! какой лихой парень! какой статный и пригожий мужчина! какой богатый и тароватый!» — раздавалось отовсюду.

Поодаль человек среднего роста, в простой чумацкой свите с *видлогою** стоял опершись на *батог*** и насвистывая в пальцы, внимательно смотрел на молодого безумца. Вид этого человека с первого взгляда не обращал на себя внимания, но, всмотревшись пристальнее, не скоро можно было отвести от него глаза. Он стоял

---

* *Свита* — род армяка из домашнего сукна, обыкновенное платье простого народа в Малороссии; *видлога* — мешок с вырезкой из того же сукна, пришиваемый к спине и накидывающийся на голову в дождь или дурную погоду.

** Особый бич, или плеть, на длинной палке, чем малороссийские чумаки погоняют волов своих.

без шапки, которую сронил в толпе. Длинный *оселедец** спускался с бритой его головы и закручивался около уха. Смуглое лицо, правильные черты, орлиный нос, нагибавшийся над черными усами, и быстрые, проницательные глаза обличали в нем ум, сметливость и хитрость, а широкие плечи и грудь, крепкие, жилистые руки и богатырское сложение тела ясно говорили о необыкновенной его силе. В движениях и поступках его, даже в самом спокойном положении, видны были решительность и смелость. Ему казалось от роду не более сорока лет, но или сильные страсти, или заботы побороздили уже чело его морщинами. Он выжидал, пока роскошный молодой чумак, обходивший в это время круг, с ним поровняется. «Здорово, Лесько», — сказал он гуляке, когда наконец тот подошел к нему. — «Ба! это ты, Кирьяк? давно, от самой Умани, я с тобою не видался. Здорово, приятель, здорово!» — «Ну, как поживаешь?». — «Как видишь: бью в свою голову, пью, да гуляю». — «А волы?» — «Всех распродал! Отец отпустил со мною тридцать пар — остался налицо вот этот батог». — «Хорошо же ты отцу припрочиваешь на старость!» — «А, что будет, то будет! Живу, пока звенит в кармане, а перестанет звенеть — тогда или под красную шапку, или в удалую шайку». — «Дело вздумал! то есть: и в том и в другом случае ты будешь спиною отвечать за голову...» Это истолкование рассмешило стеснившуюся вкруг них толпу, и молодой чумак, не находя лучшего ответа, сам рассмеялся.

«А ты, Кирьяк Максимович, — сказал он после короткого молчания своему знакомому, — каково чумакуешь? человек ты осторожный и даром копейки не роняешь; я видел тебя в Умани на пятидесяти парах, и ты привез туда бог весть сколько московских товаров! С тобою были лихие купчики: также любили потешиться, как и я грешный!» — «Я и теперь с ними приехал; да переморил своих бедных волов по этой слякоти и даю им отдых. Добрый человек и

---

* Чумаки, отправляясь в дорогу, бреют себе голову, чтобы пыль не набивалась в волоса. Иногда оставляют они, подобно казакам старой Сечи, узкий и длинный клочок волос на теме и завивают его за ухо. Этот клочок называется *оселе́дцем.*

скотов милует, говорит святое писание». — «Знаю, что ты человек письменный; где же теперь пристал?» — «Я оставил свой *табор* по Путивльской дороге, над Эсманью, а сам пришел сюда принанять молодцов; мои почти все разбрелись». — «Если тебе надобно лихого погонщика, так возьми меня; батог мой исправен... *Гей, цоб!*» — прикрикнул он, ловко помахивая ременным батогом своим. — «Я добрых людей не чураюсь, — отвечал Кирьяк, — хочешь, так сейчас к делу; зайдем ко мне на постоялый двор, а там и к табору». — «Спасибо, что так сговорчив, Кирьяк Максимович! спасибо, что ты не таков, как те седые чубы, которые бранят нас, молодых парней, за шалости и не верят, если раз замотаемся... Прощайте, приятели! вот вам на расставанье». — Тут Лесько метнул в народ последнюю горсть мелкой монеты; все бросились подбирать — и когда оглянулись, то уж обоих чумаков как не бывало.

Глава II

То пан Хмельницкий добре учинив,
Польшу засмутив,
Волощину побидив,
Гетманщину взвеселив.

Старинная малороссийская песня.

В конце городка стоял маленький полуразвалившийся домишка; в нем приставали приезжавшие на ярманку евреи, которые почти всегда под ветхою кровлею прячут от любопытных и завистливых глаз накопленные ими богатства и часто всякими неправдами добытые драгоценности. Еврей Абрам, заперши двери засовом и наглухо закрыв ставнями окна, отбивал донышки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серьги и другие золотые вещи, осыпанные блестящими каменьями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу. Он беспрестанно прислу-

шивался, озирался и при малейшем шуме снаружи бледнел, как Каин.

Вдруг кто-то дважды стукнул в дверь. Абрам вздрогнул, но вспомня, что это условный знак товарища, накинул про всякий случай толстое полотно на стол, на котором отбирал вещи, и отнял дверной засов.

«Горе и страх сынам Иуды! — вскрикнул, всплеснув руками, вошедший жид, между тем как товарищ его снова запирал дверь, — горе и страх! я видел *его*...»

«Кого?» — торопливо спросил Абрам.

«*Его*, гайдамака, Гаркушу! — отвечал Гершко печальным голосом. — Ты его знаешь, он не посмотрит на город и людство; налетит на нас, как Сеннахерим, заберет и свое, и наше».

«Я говорил тебе: не водись с этим проклятым моавитом! долго ли до беды».

«Знал ли я, ждал ли я, когда он на Волыни отдавал мне для продажи пограбленные им вещи, что через три луны увижу его здесь в Малороссии? Ах! эти большие серебряные стопы, эти богатые золотые цепи, эти яркие дорогие перстни пана Манивельского! сгубят они нас!»

«Опомнись! разве ты не еврей? Бог отнял у нас силу и смелость, а мы поневоле взялись за хитрость и пронырство. Придумаем, как бы спастись от когтей сего месопотамского коршуна. Но где и как ты его встретил?»

«Я бродил в толпе народа[a] и высматривал, не удастся ли чего повыгоднее купить или продать. Вкруг одного погибшего сына стенею стеснился народ, и всякий подбирал серебро, расточаемое безумцем. Я также думал пробраться к нему, хотя ползком... Взглянул, и вижу в толпе услужника Велиалова. Тогда я притаился за народом, и когда он увел с собою молодого чумака, я шел за ним издали; припав за забором, сторожил его выход из постоялого двора и видел, по какой дороге они вдвоем отправились».

---

[a] *В цензурной рукописи было:* «в толпе этих назареев». *Поправка рукой цензора Бирукова.* (*Прим. сост.*).

«Послушай: нам надобно обсудить, как бы и свое спасти, и чужого не выпустить из рук. Благодаря нашим братьям, которые повсюду рассеялись и везде ведут торги, если чего не посмеем высказать здесь, то Польша и немецкая земля велики: там будет простор и нажитому, и добытому».

«Правда, правда! только как теперь избавиться от гайдамака?»

«Знаешь ли ты здешнего поветового судью?»

«Пана Ладовича? как не знать; добрый пан, честный пан! В нем только три худа: что не слишком жалует евреев, что ему ничего не продашь, а его ничем не подкупишь».

«Зато у него и своим не лучше наших, когда у них руки или совесть не чисты. Слушай же: ступай ты к нему, расскажи про гайдамака всё, что знаешь, укажи дорогу, по которой он пустился, — и после спокойно переплавливай в слитки золото и серебро и сбывай алмазы и яхонты пана Манивельского».

«Рабби Рувим! ты умный человек, Абрам. Так к делу, не теряя времни. Сейчас иду к поветовому судье».

«Не позабудь только взять серебряных ключей: не для него, он ничего не возьмет; а для челяди, которая всегда и везде жадна, как наши праотцы в пустыне».

Гершко пошел скорым еврейским шагом к дому поветового судьи, согнув шею, заложа обе руки в карманы и бросая вкруг себя недоверчивые, испытующие взгляды.

На крыльце судейского дома встретил его молодой цыган, живший у пана Ладовича для услуг, а больше для забавы. Он был одет казачком; на шее у него висел на широкой ленте торбан, на котором он обязан был играть перед гостями и веселить их своею пляскою и пеньем. Не по летам был он высок и статен; живое и выразительное лицо его, на которое падали черные самородные кудри, могло бы назваться прекрасным, если б излишняя смуглость не затмевала его пригожества; под широкими сросшимися бровями прыгали быстрые, огненные глаза; во всех его движениях заметны были ловкость, проворство и лукавство.

«Зравствуй, Жале», — сказал ему Гершко, подойдя к крыльцу.

«Здравствуй, *свиное ушко!*» — отвечал цыганенок.

«Как поживаешь, Жале?» — продолжал льстивый еврей.

«Хорошо, твоими молитвами: скачу, пою и щиплю твою братью жидков, когда попадутся. Ты каково поживаешь? всё ли по-прежнему обманываешь простаков и копишь золото?»

«По-прежнему, — отвечал жид с притворным простосердечием и как бы не вслушавшись. — Пожалуйста, Жале, доложи обо мне пану поветовому судье...»

«Ему не до тебя, у него теперь гости.

«Крайне важное дело, нетерпящее отсрочки...»

«Верно, векселя, которым минули сроки, или покупщик, не заплативший денег?»

«Что тебе до этого; твое дело доложить».

«Так потерпи ж, пока пану будет время. Постой здесь: вы привыкли стоять без шапок на дворе во всякую погоду, а теперь еще не зима».

Сколько жид ни упрашивал, но цыганенок только вертелся вокруг его, дразнил, подергивал его за длинные рыжие песики и за полы платья и делал ему разные проказы.

«Душа моя, Жале! перестань и пойди докладывать; я не даром прошу тебя...»

Тут еврей со вздохом вынул из-под полы небольшй изношенный кошелек и начал дрожащею рукою вытаскивать одну по одной мелкие серебряные монеты, как будто боясь обсчитаться. Но резвый цыган не дал ему кончить: подбежал, подставил руку и вытряхнув в нее все деньги из кошелька, пустился от жида во всю прыть.

«Стой! я закричу *гвальт*, наделаю шуму, стану стучаться в двери! пан судья не даст меня в обиду».

«А если я доложу ему о тебе, будут ли эти деньги мои?»

«Твои, твои! только скорее».

Цыганенок опрометью бросился на крыльцо, вошел в комнаты и через несколько минут вышел сказать жиду, что судья его ожидает.

«Что тебе надобно, еврей?» — сказал пан Ладович, когда жид кончил низкие, почти земные, свои поклоны.

«Ваша ясновельможность! я имею вам донести о важной тайне», — отвечал жид, оглядываясь на стоящего тут цыганенка.

«Так ступай за мною», — сказал судья, ввел его в небольшую боковую комнату и притворил дверь.

Цыганенок, по свойственному летам и породе его любопытству, а может быть по каким-либо догадкам, приставил к двери внимательное ухо, навыкшее слышать издалека, и не отходил прочь, пока не кончился разговор. Тогда он на цыпочках отошел и стал на прежнее место.

Судья пошел к гостям своим, а жид отправился домой, отвесив снова несколько поклонов. Цыганенок выбежал за ним на улицу.

«Послушай, Гершко! ты купил меня своим подарком, и я хочу тебе отплатить по-приятельски. Там, над Эсманью, остановились обозом знакомые мне купцы; они дешево продают разные шелковые товары и другие вещи: видно, провезли их по-твоему — без пошлины. Я давно уже хотел удружить доброму человеку: благо, что ты мне первый попался».

«Спасибо, спасибо за приязнь! А как их отыскать?»

«Не мудрено: они стали над яром вправе от большой дороги, под леском. Только поспеши, чтоб они всего не распродали; они для того и в город не въезжают, что хотят сбыть с рук всё лишнее».

«Сегодня же, хоть и поздно, отправлюсь туда... Прощай!»

Жид пошел скорыми шагами, а цыганенок лукаво покачал вслед ему головою, посмотрел во все стороны, прокрался в боковой переулок и подал знак свистом.

На свист его выказался из-за забора высокий и сухой цыган свирепого вида. «Зачем зовешь меня?» — сказал он отрывистым голосом.

«Понура! не тратя ни минуты, — на коня и скачи в табор гайдамаков, скажи там, что жид Гершко донес поветовому судье о Гаркуше и дал его приметы; что сейчас пошлется за ним погоня; скажи, что я спровадил Гершка к ним в табор за товарами; пусть сладят с ним, как знают. Оттуда опрометью ступай по следам Гаркуши и дай ему осторогу...»

«Славно! ты добрый малый, не выдаешь своих. Мы недаром тебя продали пану Ладовичу...»

«Тсь! слышится шум... Прокрадься отсюда, хоть на четвереньках — и давай бог ноги!» — С этими словами молодой цыган исчез.

Он вошел в светлицу, или гостиную комнату, судьи, как такое лицо в доме, которому за его дар увеселять многое было позволено и которое позволяло себе еще больше.

В гостиной было тогда очень шумно. Гайдамак и его дерзкое появление сделались предметом общего разговора. Судья, подсудок, подкоморий и возный, уже разославшие гонцов по разным дорогам для задержания Гаркуши, — теперь, отошедши в сторону, совещались о мерах, которые должно было принять для безопасности города и повета от набега бесстрашной шайки удальцов. Прочие гости все толковали разное, и все об одном.

«Давно не было вести о Гайдамаке, — говорил отставной сотник Чепович, — слух о нем, было, призамолк с тех пор, как он за Лубнами ограбил богатого и скупого пана Нехворощу и наделил одного бедного казака...» *

«Извините, — прервал речь его войсковой писарь Потяга, — давно ли все жужжали, что Гаркуша на Украйне обобрал до нитки тучную ростовщицу Цвинтаревичку и вдобавок сделал ей сильное поучение нагайками за то, что она прогнала из дому простака своего мужа?»

«Это жужжало только у вас в ушах, г. войсковой писарь, — отвечал ему Чепович, — носился слух, что гайдамак после ушел за Киев...»

Спор загорелся; колкости с обеих сторон посыпались градом, и, как водится в больших собраниях, одни поджигали спорщиков, другие принимали их сторону, все шумели. Но миролюбивый хозяин, предвидя неприятный конец спора, заклял бурю: он ввел в гостиную слепца-бандуриста, давно уже в передней ожидавшего, когда его по-

* Казаками в Малороссии называются и теперь все казенные крестьяне. В Слободско-Украинской губернии носят они имя казенных обывателей.

зовут, и вежливо пригласил гостей своих послушать веселых дедовских песен и стародавних былей.

Безыскусственная игра на многострунной бандуре и звучный, полный, хотя необработанный голос слепого певца, попеременно унывные и веселые напевы малороссийских песен нравились неизбалованному слуху земляков его, страстных к музыке, одаренных верным ухом и впивающих с чистым воздухом родины способность и склонность к пению. Вдруг вещий слепец переменил строй: пальцы его медленно и торжественно перебегали по звонким струнам бандуры; он молчал еще, но внимание всех было приготовлено; жадный слух ловил уже в знакомых звуках близкие сердцу напевы и предугадывал смысл самой песни.*

Несколько минут он молча прелюдировал; наконец запел, или лучше, заговорил по музыке следующие слова:

З низу Днепра тихий ветер вее, повевае;
Вийско козацько в поход выступае:
Тилько бог святый знае,
Що Хмельницкий думае, гадае.
О тим не знали ни сотники,
Ни атаманы куринныи, ни повковники;
Тилько бог святый знае,
Що Хмельницкий думае, гадае!

Певец повествовал о быстром набеге гетмана Хмельницкого на союзную Польше Молдавию, о страхе и жалобах ее господаря Василия Липулы, о робком бегстве ляхов из Сочавы и заключил песнь свою обращением к славе Гетманщины.**

В той час була честь, слава,
Войскова справа!
Сама себе на смих не давала,
Неприятеля пид ноги топтала.

---

* Музыка старинных, так называемых *бандурных* малороссийских песен идет аккомпаниментом, самые песни поются речитативом. Их начинают прелюдией, или интродукцией, на бандуре.

** Малороссия, управлявшаяся тогда гетманами, называлась от жителей Гетманщиною.

Громкие знаки одобрения и восторга раздались по светлице. Между ними прорывались и вздохи на память старой Гетманщине, временам Хмельницкого, временам истинно героическим, когда развивавшаяся жизнь народа была в полном соку своем, когда, закаленные в боях и взросшие на ратном поле, казаки бодро и весело бились с многочисленными и разноплеменными врагами, и всех их победили; когда Малороссия почувствовала сладость свободы и самобытности народной и сбросила с себя иго вероломного утеснителя, обещавшего ей равенство прав, но тяжким опытом доказавшего, что *горе покоренным*!

Глава III

...Уси звизды потмарыло,
Половину ясности мисяця заступыло;
З черной хмары
Буйные витры вставалы.

Старинная малороссийская песня.

Дул сильный холодный ветер; дождливые облака разносились по небосклону; луна то выплывала из-за туч, то пряталась за мрачными их грядами. В это время жид Гершко шел одиноко по дороге; он часто останавливался, вслушивался в вой ветра и шелест желтых осенних листьев, падавших на землю и крутившихся вихрем по дороге; робея при малейшем шорохе, он готов был затаиться в глуши. Но так сильна в еврее страсть к прибытку, что он пошел бы на явную опасность, если бы знал, что, избегнув ее, получит барыш. Из бережливости или по благоразумию Гершко надел самое ветхое платье, и по тому же благоразумию взял с собою денег очень немного, в надежде, что, сторговавшись с купцами за товар и дав им задаток, уговорит их принять остальную плату в условленном месте.

В таборе его ждали. Шайка кочевала при дуброве, в месте пустынном, над глубоким, крутым оврагом, примыкавшим к самому

берегу Эсмани. Гайдамаки, отогнав волов на пастбище, сделали из возов своих род стана, или каре, и обвешали их непроницаемыми для взора полстями, чтобы любопытному прохожему не видно было, что делается внутри табора. Чтоб еще более отклонить подозрения, часть гайдамаков была одета чумаками, другая русскими купцами, у которых будто бы первые нанялись везти товары на ярманку. Сторожевые стояли повсюду: по дороге, над оврагом, по берегу Эсмани и по опушке леса. Внутри табора гайдамаки поделились на кружки: одни старались в вине затопить воспоминание грозившей им и атаману их опасности, другие, самые беззаботные, курили табак и играли в кости и карты; но самые заботливые рассуждали, как избыть беды и спасти атамана. Кони их были уже готовы в ближнем лесу; табором они не дорожили: тем, что было навьючено на конях, могли б они скупить все чумацкие обозы в Малороссии.

«Вот вам честный еврей, который спрашивал у меня русских купцов над Эсманью, — сказал гайдамак, стороживший на большой дороге, ведя за собою Гершка, который кланялся, сложа руки на грудь и бросая недоверчивые взгляды.

Как рої шмелей, гайдамаки сыпнули к нему со всех сторон.

«Узнаешь ли меня, земляк? — сказал ему выкрест * Лемеш, — я хочу на тебе доказать благодарность свою тебе и всему бердичевскому еврейскому обществу. По милости вашей — я крестился, и по вашей же милости, бедный Лейба теперь в честной компании».

«Святые праотцы!» — вскричал несчастный Гершка, предвидя участь, его ожидавшую, и разгадав, в какие сети завлек его коварный цыганенок.

«Не до праотцов, а до нашего отца атамана! — закричали ему многие голоса, — сказывай, злодей, что с ним сделалось?»

«Что хотите, честные господа! хоть замучьте меня — не знаю».

«Запираться не время: мы сами не меньше тебя знаем, что ты продал Гаркушу поветовому начальству, что за ним разосланы поиски. Если ты не знаешь, где он теперь, — то для тебя же хуже».

«Как бог свят, не знаю».

---

* Имя, которое в Украйне дают крестившимся евреям.

«Ну, делать нечего, товарищи, — сказал гайдамак Несувид, занимавший должность атамана в его отсутствие, — приговаривайте, какую казнь положить ему за измену».

«Прежде всего, — подхватил Лемеш, — поджарить его, как тарань, на тихом огне и допросить, где он упрятал дорогие вещи, данные ему атаманом на продажу».

«Досуг толковать о такой безделице, когда дело идет о жизни Гаркуши! видно, ты и теперь еще такой же жид: у тебя всё для золота... Товарищи! к голосам».

«Повесить его на осине: на ней и брат его Иуда повесился», — сказал один гайдамак.

«Отдайте его мне, — перебил цыган Паливода, — я расплющу его молотом на наковальне глаже, чем он расплющивал медные кружки для фальшивых червонцев».

Злобный смех раздался во всей шайке; бедный Гершко был ни жив, ни мертв: холодный пот проступал по всему его телу; все члены были в судорожной лихорадке.

«Не лучше ли, — подал свой голос гайдамак Товпега, — кончить с ним без затей: Эсмань близко, жернов у нас есть... Пустим его греться по месяцу».*

Предложение принято, жернов прикачен и крепкою веревкою привязан к шее несчастного жида; его потащили к берегу и покатили за ним жернов. Тогда, вдруг вышед из бесчувствия и видя, что ни просьбы, ни слезы не помогут и не смягчат злодеев, закричал он жалким пронзительным голосом, раздиравшим душу и возвещавшим последнее, отчаянное усилие существа, расстающегося с жизнию.

Ветер разносил вопли еврея. Луна вышла из-за облак и в полном сиянии катилась по темно-синей тверди. В это время старец Питирим, инок П***ского монастыря, ходивший навещать больного в одном отдаленном хуторе, возвращался береговою тропинкою в смиренную свою обитель. Голос погибающего человека проник

---

* Народное поверье в Малороссии, что утопленники выходят в лунные ночи из воды и греются на лучах луны. Отсего луна в Малороссии называется у суеверных поселян — *солнцем утопленников.*

ему в сердце, и он поспешил на помощь, забыв свою старость и слабосилие, забыв, что сам может сделаться жертвою христианского сострадания. Он увидел свирепые лица и зверскую радость гайдамаков, увидел жалкого иноверца — и ревность к добру придала ему крылья.

«Стой! — закричали разбойники, — руку на нож!»

Но старец Питирим не робко подошел к ним, и гайдамаки, из невольного уважения к его сану и летам, остановились. Тогда инок начал свое увещание, представил им всю важность преступления и гнев небесный, постигающий убийц.

«...Безумцы, — заключил он речь свою, — кто дал вам право разрушать превосходнейший дар божества — жизнь человеческую? Кто дал вам право быть судиями чужих поступков, когда карающий меч правосудия висит уже над преступными вашими головами, и муки ада, стократ лютейшие всех терзаний телесных, ждут вас после бесчестной смерти от руки палача?..»

Гайдамаки, в которых вдохновенное красноречие старца минутно пробудило совесть, поникнули головами, не смели поднять на него глаз и, опустя руки, стояли в нерешительности. Бедный Гершко, чувствуя, что его не держат, упал к ногам монаха, обнимал его колена, стирал лицом пыль с его ног и заклинал спасти ему жизнь.

«Я сделаюсь христианином, —заговорил он с плачем, — отдам на ваш монастырь всё... всё, что имею, очень немного: несколько серебряных монет...» Инок, не могши победить внутреннего презрения к человеку, в котором корыстные склонности пересиливали даже мысль о самохранении, невольно отвратил от него лицо свое.

«Честный отец! иди своею дорогой, — сказал тогда суровый Несувид. — Мы знаем, на что решились — знаем, к чему осуждаемся на том и на этом свете. Но если б одним волосом сего негодяя могли искупить свою жизнь или души, то и тогда бы не миновать ему петли и песчаного дна эсманского... Товарищи! дружней за работу».

Монах вздогнул от слов закоснелого злодея. Между тем одни из гайдамаков принялись раскачивать жида, другие жернов, чтоб лучше и дале бросить их от берега. Отчаянный вой несчастливца

перерывался быстротою и силою качки. Монах стоял, как в онемении, возведя глаза и воздев руки к небу. Крик бедной жертвы мщения терзал его душу: и вдруг крик умолк — вода расплеснулась и скрыла свою добычу.

Глава IV

«На конях ихали чинненько,
З люлёк тютюн тягли смачненько,
А хто на конику, куняв».

Котляревский.

Утро было ясно и свежо. Рассыльные казаки и понятые ехали по Глуховской дороге от Путивля и везли в середине человека, у которого руки и ноги были связаны. Казалось, однако ж, что бодрость и надежда не совсем его покинули; он весело разговаривал с окружавшими, шутил с ними, рассказывал были и небылицы и приковывал жадное их внимание умным и живым своим разговором.

«Молодец! весельчак! нечего сказать: скручен, как теленок, которого везут на убой, — а всё не унывает!»

«Мне все не верится, чтоб это был Гаркуша; посмотри: человек, как человек, нет семи пядей во лбу!» — Так разговаривали двое из понятых, ехавшие позади. «Да как его поймали? — продолжал последний.

«На всякого мудреца много простоты. Вот видишь, у него было похоронище, в глухом месте, над Сеймом, близ Клепала; там он прятал награбленные им богатства. Вчерась, когда удалый королевецкий рассыльный казак Моторный следил за ним с четырьмя своими товарищами, заметили они, что гайдамак пробирается к тому месту. Они видели, как он сошел с коня, и сами, оставя лошадей за ивняком, почти ползком прокрались к кустарнику, за которым Гаркуша, отыскав заступ, начал разрывать землю. Вдруг они на него бросились и, не дав опомниться, свалили с ног, связали ему руки и

ноги, завязали рот, прикрутили молодца к седлу его же коня и вскачь пустились с ним к селению за понятыми. Остальное ты знаешь».

Конвой между тем приближался к Клевенскому перевозу. Сквозь просеки приятной рощицы видны были вдали, на высоком прелестном месте, большой помещичий дом и купол церкви села В***на; внизу текла излучинами быстрая Клевень, сливающая воды свои с Эсманью; по долине, за тундрами и *сагами*,* мелькали купы дерев, хутора и мельницы. Узник, казалось, любовался видами и любопытно расспрашивал о всем своих проводников; в таких разговорах подъехали они к перевозу.

Паром был уже готов. Казаки и понятые взвели на него гайдамака, поставили усталых коней своих к одной стороне и столпились вокруг пленника. Только ретивый конь Гаркуши, не зная устали, бил от нетерпения в доски копытами и, казалось, хотел пуститься вплавь к другому берегу. К нему приставили одного из понятых и велели крепко держать за повода.

Гайдамак окинул беглым взором своих спутников; потом, устремя глаза на крутые горы противуположного берега Клевени, сказал:

«Кажется, там, за этими горами, влево есть селение над Эсманью... Не могу вспомнить его имени. Покойный дед мой был родом из здешней стороны и часто рассказывал нам, ребятам, страшную быль об этом селении».

«Какую?» — спросили в один голос вожатые, увлеченные любопытством и уже прежде заохоченные искусными его рассказами

«Хорошо вам, друзья, слушать на свободе! у меня гортань пересохла от жажды, а руки и ноги затекли кровью от ваших веревок».

«В самом деле, братцы, к чему его мучить без нужды? Паром теперь отчалил, нас здесь человек сорок, уйти ему нельзя. Развяжем ему руки и ноги, пока на середине реки; а начнем приставать к берегу, тогда пусть не погневается, опять опутаем молодца по-прежнему».

---

* Сага — малороссийское слово, означающее залив реки.

Так говорил один казак, и товарищи охотно его послушались. В наружности и речах Гаркуши было нечто такое, что вожатые, при всем убеждении в его преступлениях, почувствовали к нему невольное доброхотство. Они совершенно потеряли суеверный страх, который на малороссиян наводило одно его имя.

Руки и ноги гайдамака уже свободны; ему поднесли полную кружку вина, которую он выпил «за здоровье братьев земляков». Тогда все приступили к нему, прося рассказать страшную быль и он начал:

«Давно, не за нашею памятью, селение, о котором я говорил, было за другими панами. Один из них был человек чудной: не ходил в церковь божию, чужался людей, считал звезды ночью, собирал росу на заре и папоротниковый цвет под Иванов день. Никто не знал, какою смертью он умер и где погребен; только видели, что в ту ночь, как его не стало, огненный клуб прокатился над селением и рассыпался искрами над самым домом панским. Дом сгорел до тла. а с ним и всё, что в нем было. Вот, спустя малое время, начали делаться дела небывалые и неслыханные. Каждый день, и в самую полуденную пору, при ясной погоде, вдруг набегут облака и застелют солнце, подымется пыль столбом, по дороге, и сквозь пыль видали те, кого бог не миловал от такого виденья, что *старый пан* (как его называли) вихрем пронесется по селу в старинном *рыдване*,* шестеркою черных как смоль коней, которые, пенясь и сарпая и бросая искры из глаз, на четверть не дотрогивались до земли. Кучера и лакеи сидели на своих местах, как окаменелые, в белых саванах, с бледными лицами, со впалыми глазами, — словно теперь только вырыты из могил. В один день...»

В эту минуту паром приставал к берегу; некоторые из провожатых сидели на помосте с полурастворенными ртами и жадно ловили каждое слово; у одних волос становился дыбом, у других лица вытягивались от ужаса; державший коня гайдамакова опустил руку с поводом и стоял, как вкопанный. Вдруг Гаркуша одним прыжком через сидевших выскочил из круга, столкнул в воду оплошного надзирателя за

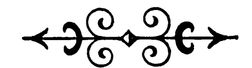
* Так малороссияне называют карету, или старинный берлин.

конем, впрыгнул в стремена, перескочил расстояние, отделявшее паром от пристани, и стрелою полетел на крутизну. На самом гребне придержал он коня, махнул шапкою своим сторожам и вскликнув: «Спасибо, земляки, за ласку!» исчез за склоном горы.

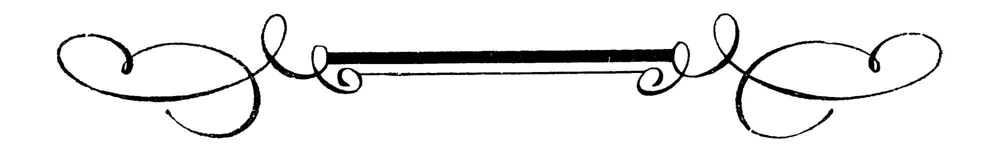
«Человек это — или бес? — рассуждали провожатые, опустя головы и еще не опомнившись от столь внезапного, побега. — Разве мы не знали, что он водится с нечистою силою! как он нас обморочил...»

Долго стояли они на пароме, не зная, что начать, и не смея взглянуть друг на друга.

Сомов.



ДОПОЛНЕНИЕ К «ЗВЕЗДОЧКЕ» ПО ЦЕНЗУРНОЙ РУКОПИСИ



ЕПИЛОГ К СТИХОТВОРНОЙ ПОВЕСТИ: ЭДА

Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты,
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышешь к ней враждою скрытной.
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утесистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
И всё напрасно! чудный хлад
Сковал Ботнические воды;
Каким был ужасом объят
Пучины бог седобрадат,
Как изумилися народы,
Когда хребет его льдяной,
Звеня под русскими полками,
Явил внезапною стеной
Их перед Шведскими брегами!
И как Стокгольм оцепенел,
Когда над ним, шумя крылами,
Орел наш грозный возлетел!

Он в нем узнал орла Полтавы!
Все покорилось; но не мне,
Певцу, не знающему славы,
Петь славу храбрых на войне.
Питомец муз, питомец боя,
Тебе, Давыдов, петь ее.
Венком певца, венком героя
Чело украшено твое.
Ты видел финские граниты,
Бесстрашных кровию омыты;
По ним водил ты их строи,
Ударь же в струны позабыты
И вспомни подвиги твои!

Е. Б.

ТОСКА ДУШИ

(Посвящена князю Ев. П. Обол.)

Я пренебрег тебя, святое вдохновенье!..
Прикованный к земле с заснувшею душой,
Стопою тяжкою влекусь я за толпой,
Без цели, без препон, без мук, без наслажденья!..
В часы ничтожного труда,
В часы преступного досуга
В тебе искал я иногда
И утешителя, и друга!..
Ко мне на зов слетало ты!
И сердца свежие мечты
Мирили вновь меня с судьбою,
С людьми... но не с самим собою!..
И мне наскучил твой привет,
Как сыну роскоши прохладной
В минуты сна денницы свет
Живой, блестящий и отрадный...
Так правнук древних египтян

Проводит шумный караван
В песках Аравии пустынной;
За злато он забыл детей
И ласки их любви невинной,
И круг родных, и сонм друзей,
И буйный крик грозы военной,
Забыл и месть против врагов
Своей отчизны угнетенной,
Цене дневных своих трудов
Отдав и славу, и любовь!
Ничто его не развлекает;
Он табуны свои считает,
Он весь в пустыне... но порой
Он видит прошлое мечтой
С его чарующим обманом!..
И он вздохнул по старине...
Но рог звучит — он на коне,
И потянулся с караваном.
О, рок! когда не верен ты,
То сердцу дай успокоенье;
Возьми назад твое творенье,
Возьми назад твои мечты!..
Скажи, ужель хотя однажды,
Не утолю горячей жажды
Моей тоскующей души?
Ужель в бездейственной тиши
С душою пылкой, но бессильной,
Я снизойду во мрак могильный,
Плодов надежд не соберу,
И на земле, как на пиру,
Пребуду праздный посетитель?..
Зачем же жизнь во мне кипит?
Зачем же огнь в груди горит?
Вожатый он иль обольститель?

Я. Ростовцов.

ЕПИГРАММА

Он в разных видах мной замечен,
Противоречий много в нем:
Он скрытен сердцем, но умом
Уж как зато чистосердечен.

ОПИСАНИЕ ШАХОВА КЛАДБИЩА

Отрывок из персидской повести: Орсан и Леила

Средь кипарисов и олив,
Уныл и грозно молчалив,
Стоял дворец, кладбище шаха;
Никто из персиян без страха
Не подходил к его стенам,
Чело поднявшим к небесам.
Обширен был дворец пустынный,
Печальный памятник веков,
Окрест его тянулся длинный
Ряд черных мраморных столпов.
У четырех ворот без смены
Стояли мавры; в их сердцах,
Неподкупимых для измены,
Таился суеверный страх.
Внутри резьба и позолота
И кисти чудная работа,
При блеске тысящи лампад
Смущают, ослепляют взгляд.
В жилище роскоши и праха,
В сих раззолоченных стенах,
Почиют в мраморных гробах
Цари, предшественники шаха.
Над каждым бархатный навес,
На нем венец с семью зубцами,
И жезл — не тронуты веками,

А властелин, как тень, исчез.
Вдали смиренные гробницы
Без украшений и огней,
В них спят любимицы царей,
Одним лишь именем царицы.
Меж ними виден гроб простой,
Венком из лилий осененный,
В нем прах покоится священный
Орсана матери младой.
Гарема жертва, в грустной доле:
В величье царском и неволе,
Она в удушливых стенах,
Как мирт, увяла в юных днях,
И в сей обители безмолвной
Над прахом силы и красы
Проводит скучные часы
Гасем, кладбища страж верховный.

Пл. Ободовский.

ГРАФИНЕ ***

Что поднесет новорожденной милой,
Поэт здоровием и дарованьем хилый?
  Он поднесет ли вам нескладные склады,
Стихи, горячки злой горячие следы,
  Стихи снотворные бессонницы поруки?
  Но не бессовестно ль ему
От скуки и на вас нагнать смертельной скуки
  Неотразимую чуму?
Нет, над собой я одержу победу,
Нет, в день рожденья ваш, я вас не уморю
  И к лихорадочному бреду
Вдобавок бредом рифм с оглядкой подарю.
Болезни голову — что ж делать? — покорю,

Но сердце чистое недугу не подвластно;
Волненью чуждое, оно наедине,
Как в магнетическом и в дальновидном сне
И верно чувствует, и с истиной согласно.
Пусть за меня оно приветствовать спешит
Улыбку первую новорожденной милой
И вдохновенное пророческою силой
В избытке чувств ей говорит:
«Ты будешь — *ты* не в оскорбленье;
Вы предрассудка дань условной суете,
Но сердце вольное, в природной простоте
  Избрало *ты* в местоименье
  И божеству и красоте!
Ты будешь жить для радостей и счастья,
Как цвет, ласкаемый лобзаньем тишины,
Доверчиво цветет на родине весны
Под небом радостным не знающим ненастья!
Так немерцающий рассвет
Светлеет и тебе на небе жизни ясной,
И тихая весна души твоей прекрасной
  Тебе возлелеет счастья цвет!»
Уменье нравиться без помощи искусства,
Ум образованный под вдохновеньем чувства,
Ученость, но не та, что с хартией в руке
И в шапке докторской влачит педантства узы,
  А светлая подруга светлой музы
  В похищенном у грации венке.
Дар песней, про себя, без жажды к книжной славе,
В словах затейливость блестящей остроты
  И прелесть милой простоты
  В открытом и веселом нраве,
  Всё это вам судьбой дано!
И только ли? Нет, после верных справок,
Еще припомнил я достоинство одно:
  Глаза прелестные вдобавок!

А женщине чета прелестных глаз,
Как ум не умничай, не лишнее для счастья;
В них тайна женского над нами самовластья,
  А кто не рад господствовать из вас?
  Любуясь прелестью дитяти,
Как я ни обещал свой укротить язык.
Но заболтался я некстати
Хвостова[a] добрый ученик.
Все россказни мои вы назовете бредом,
Согласен, спора нет; и я за вами следом
Их сонным бредом назову:
Но тот, кто раз был вместе с вами,
Признается легко, что бредил я стихами
О том, что каждый в вас увидит наяву.

Кн. Вяземский.

СЧАСТЛИВЫЙ МЛАДЕНЕЦ

Элегия

Небесный ангел, среброкрылый,
Спустился в храмину, где спал
Младенец непорочный, милый.
Во сне он кротостью сиял!
Играли на ланитах розы
  И улыбалися уста:
  Душа его была чиста,
Как утренней зари сверкающие слезы;
И ангел, в ней увидев образ свой,
К одру младенца приклонился,

---

[a] *Вместо слова* Хвостова *цензор Бируков поставил* Графова *и написал:* «С согласия помянутого лица можно только написать; в противном случае надобно поставить NN». (*Прим. сост.*).

Блаженным сном его, невинностью, красой
  Любуясь, веселился;
Смотрел, как по его плечам
Златые кудри развивались;
Как руки к персям прижимались,
Казалось, мысль его стремилась к небесам!
Но будущее вдруг пред ангелом предстало!
  Туман чело его покрыл!
Он тяжко воздохнул и очи отвратил:
Младенцу, видел он, всё в мире угрожало!
Ветр бурный, с дикия несущийся скалы,
С грозою для него готовился ужасный;
Он слышал страшный свит несчастия стрелы,
Для правоты, невинности опасной.
Небесный гость к премудрости святой
Вознес молитвы с умиленьем;
Всесильный повелел! Дух чистый, с восхищеньем
  Коснувшись спящего рукой,
  Тихонько приподнял и, в вежды лобызая,
  Сказал ему, на небо отлетая:
  «Тебе я счастие даю».
  Младенец умер! — и в раю!

В. Пушкин.

ЭЛЕГИЯ

Нужна любовь, как воздух ясный,
Стесненной чувствами груди;
О случай, встречею прекрасной
Ее во мне ты пробуди.

Не верить счастию — мученье!
Но мнится, счастье б я узнал,
Когда б я мог в земном твоенье
Узнать свой милый идеал.

*

Когда ж нельзя свершиться чуду,
То пусть беспамятным умом,
Как сон, свой идеал забуду
Перед любимым существом.

В. Туманский.

К СЕСТРЕ

(6-го ноября 1825)

Мой друг, я был опять в пустынной стороне,
Где жизнь-изменница нам сладко улыбалась
В очаровательной весне,
Где пылкая мечта грядущим утешалась,
Как любовался детский взор
Прелестной далью наших гор.
Всё там по-прежнему: безмолвие святое
Не оставляло сень отеческих лесов;
Река, зерцало голубое,
Рисуется грядой картинных берегов,
Заросший дикий сад еще не заглушает
Тобой насеянных цветов,
И бедный селянин вздохнуть не забывает
При милом имени твоем...

Как в ризе торжества, в убранстве золотом
Представились очам знакомые дубравы;
Роскошной осени рукой
Холмы облечены в багрянец величавый,
Приветствовали мне венчанною главой;

С долины веяла спокойствия отрада,
Безвестная в стенах мятежных городов,
И туск унылый листопада,
Как сумрак летних вечеров,
В душе задумчивость питая,
К воспоминаниям невольно преклонял...
Их рой в краю родном меня не покидал;
Он влек меня туда, где нива гробовая,
Крестов могильных вертоград
Объемлет вечного алтарь уединенный,
Где нам останки драгоценны
Святыни под крылом лежат...
Там продолжалася безмолвная беседа;
Там ждал от мертвых я ответа,
Урока ждал в науке жить,
И тайны скорбные для друга и поэта
Искал бессмертье разрешить. —
Окрест ничем не нарушалась
Магическая тишина,
И утомленная природа наслаждалась
Дремотой, легкою предвестницею сна...
Я в сердце ровное вкушал отдохновенье,
В нем страсти пламенной косой
Пожали нежные волненья
И хладный по себе оставили покой.
Мой вечер наступил — туманный, но безбурный,
Ночь тихая близка, — а там, в семье родной
Еще есть уголок для погребальной урны..
Так думал я теперь в пустынной стороне,
Где жизнь-изменница нам сладко улыбалась
В очаровательной весне,
Где пылкая мечта грядущим утешалась,
Как любовался детский взор
Прелестной далью наших гор.

Нечаев.

КАТАЙ-ВАЛЯЙ

(Партизану-поэту)

Какой-то умник наше тело
С повозкой сравнивать любил
И говорил всегда: в том дело,
Чтобы вожатый добрый был.
Вожатым шалость мне досталась,
Пускай несет из края в край,
Пока повозка не сломалась

Катай-валяй!

* *
*

Когда я приглашен к обеду,
Где с чванством голод за столом,
Или в ученую беседу,
Пускай везут меня шажком.
Но еду ль в круг, где ум с Фафошкой,
Где с дружбой ждет меня покой,
Иль вдохновенье с женской ножкой...

Катай-валяй!

* *
*

По нивам, по коврам цветистым
Не тороплюсь в дальнейший путь.
В тени древес, под небом чистым
Готов беспечно я заснуть.
Спешит от счастья безрассудный!
Меня, о время, не замай!
Но по ухабам жизни трудной

Катай-валяй!

* *
*

Издатели сухих изданий,
Творцы, на коих Север спит,
Под вьюком ваших дарований
Пегас, как вкопанный, стоит,
Но, ты, друг музам и <Арею>,
Пегаса на лету седлай
И к славе, как на батарею.
Катай-валяй!

* * *

Удача! шалость! правьте ладно!
Но долго ль будет править вам:
Заимодавец-время жадно
Бежит с расчетом по пятам!
Повозку схватит и с поклажей
Он втащит в мрачный свой сарай;
Друзья! покамест песня та же —
Катай-валяй!

ПЕСНЯ

Брюзгливый дядя всем твердит,
Что я шалун, что я мотаю,
Но он пустое говорит,
Я ничего не проживаю.
Вот на упреки мой ответ:
Ни гроша нет.
Сорить рублями не хочу,
Живу не прытко, но в покое,
Подушку ночью не верчу,
Чист совестью, карманом вдвое.

Не льстит ничем мне модный свет!
Ни гроша нет.
В роскошных, лакомых пирах,
Именье тратится Пахома!
Я ж вечно ем и пью в гостях
И часто не ночую дома.
Мне нужен дружеский привет,
Ни гроша нет.
Питая к картам сильну страсть,
Пятернин золото бросает;
Приятель ваш пошел бы в часть,
Но он без денег не играет.
Игрецких я страшусь бесед,
Ни гроша нет.
Красоткам наш Глупонов мил,
Богатый звонкою монетой;
Я счастлив и обманут был
Всё даром, милою Лизетой,
Известно ей, что я поэт:
Ни гроша нет.

В. Пушкин.

К С***

(При получении от нее в подарок вышитых цветов)

От первой юности к печальным думам склонный,
То днем рассеянный, то по ночам бессонный,
И к счастью, и к любви неверие храня,
За тщетный жизни дар роптал на небо я.
Я видел ветреность иль хладное бесстрастье
На лицах милых жен — и говорил себе:
Когда ж и в ком найду сердечное участье
К моей безрадостной судьбе?
Чей вздох слетит ко мне, нежней, чем ветер юга,
Чьи очи мне блеснут, взаимностью полны,

Игривей горных струй, мечтательней луны?
Тоскую, вяну я, и жизнь — не жизнь без друга.

* *
*

Но сладость строк твоих, но памятный твой дар
  Как бы влияньем тайных чар
Мгновенно надо мной свершили исцеленье,
  Кляну, кляну мое сомненье:
И у меня есть друг, прекрасный друг, а с ним
  Всё в жизни цель и услажденье. —
Так! всюду рай тому, кто любит и любим.

* *
*

  С каким душевным умиленьем
Любуюсь в тишине твоим произведеньем!
  С какой отрадой бродит глаз
По шелку, по სребру, по теням разноцветным —
Где взоры милые покоились не раз,
Где всё оживлено их пламенем приветным;
И, знаешь ли, мой друг, что мне пришло на ум:
Что в красках сих цветов, в их чудном сплетенье
Сокрыто тайное любви изображенье,
  Немой язык сердечных дум;
Что мне понятен он; что я по знакам нежным
  Все мысли разгадал твои:
Грусть одиночества с томленьем безнадежным
  Святые жалобы любви.
И что в лице твоем какой-то гений милый,
Ко мне в тот сладкий час представ наедине,
Над головой моей взвевал златые крилы
  И ясно улыбался мне. —

* *
*

О пусть то было обольщенье,
Пусть я ласкал себя и тщетною мечтой,
Оставь, оставь мне заблужденье;
Обман столь милый, столь живой,
Всех чувств, всех мыслей упоенье!
Мой друг, молю, сама восторг мой раздели,
С ним сердцу так легко, как будто нет разлуки,
С ним сердце верует: не всё на свете муки,
Есть и блаженство на земли.

В. Туманский.

ГРЕЧЕСКАЯ ОДА

Блестящ и быстр разит наш меч
Поработителей Эллады;
Мы бьемся насмерть, без пощады,
Как рая, жаждем грозных сечь,
И станут кровью наши воды
Доколь не выкупим свободы.

* * *

Мы зрели казнь своих друзей,
Неверной черни исступленье,
Пожары градов, оскверненье
Священных храмов и мощей.
Не скорбь — нам помощь, не угрозы —
Нам кровь нужна за наши слезы.

* * *

Так! дивным знаком сих знамен,*
Красой наследственного брега,

---

* На знамени греческих инсургентов изображен крест. См. Пукевиля.

Стыдом измены иль побега;
Бесчестьем наших чад и жен,
Прияв булат на бранну жатву,
Отмстить врагам даем мы клятву.

* * *

Не будет радости у нас:
Без жениха увянет дева,
Поля заглохнут без посева,
Свирелей мирных смолкнет глас
Доколь над турком, в память века,
Не совершится мщенье грека.

* * *

О! сердцу льстящие мечты!
Надежды близкой, грозной тризны!
Нагряньте с гор сыны отчизны.
Сомкнитесь латы и щиты!
Гряди, святое ополченье,
Во имя бога — мщенье, мщенье!

В. Туманский.

К ЛИОДОРУ

Не дивно, Лиодор, что юноша мечтает
Блаженство уловить, гонясь за суетой;
Но для чего, скажи, колена преклоняет
  Пред башнею слепой
  Сей старец, жизнью пресыщенный,
  Но тяжким опытом еще не наученный?..

* *
*

Безумец не познал цены земных надежд!
Вотще был жертвою коварного обмана:

Забыт урок! — С толпой младенцев и невежд
  К стопам глухого истукана
  Он жадный дух свой приковал,
  И жизни при конце он жить не начинал.

* *
*

Кто ринулся в дедал пременчивых желаний
И совести отверг спасительную нить, —
Брегись, чудовище неистовых алканий
  Его готово поглотить...
  Из темной бездны нет исхода!
Прости, прости навек надежда и свобода!
Оплачем бедствия собратии своей,
Но переплыв кой-как сей жизни половину,
Устроим, Лиодор, спокойней и умней
  Свою грядущую судьбину:
  Объявим кабалу страстям
  И вольную дадим несбывшимся мечтам.

* *
*

Для нас, для нас отверст приют уединенья.
Скрижали пиэрид, училище веков!
Сокроем от толпы их тайны утешенья, —
  И за утрату прежних снов,
  В тиши отрадной кабинета
Найдем забвенье зол в святом забвенье света.

Нечаев.

ДВЕ КАРТИНЫ

(Отрывок)

Прекрасно озеро Чудское,
Когда над ним светило дня,
Из синих вод, как шар огня,
Встает в торжественном покое;
Его красой озарена,
Цветами радуги играя,
Лежит равнина водяная
Неизмерима и пышна;
Прохлада утренняя веет,
Едва колышутся леса,
Как блестки золота светлеет
Их переливная роса;
У пробудившегося брега
Стоят, готовые для бега,
И тихо плещут паруса.
На лодку мрежи собирая,
Рыбак взывает и поет,
И песня русская живая
Разносится по лону вод.

* * *

Прекрасно озеро Чудское,
Когда блистательным столпом
Светило искрится ночное
В его кристалле голубом.
Как тень, отброшенная тучей,
Вдоль искривленных берегов
Чернеют образы лесов,
И кое-где огонь пловучий
Горит на челнах рыбаков.
Безмолвна синяя пучина,

В дубравах мрак и тишина,
Небес далекая равнина
Сиянья мирного полна:
Лишь изредка — с богатым ловом
Подъемля сети из воды,
Рыбак живит веселым словом
Своих товарищей труды;
Или — путем дугообразным,
С небесных падая высот,
Звезда над озером блеснет,
Огнем рассыплется алмазным
И в отдаленье пропадет.

БИТВА

(Отрывок из поэмы: Жизнь)

Что вижу я? что на равнину,
Покинув горную вершину,
Как буря мрачная летит?
Вы слышите ли конский топот,
Звук голосов, нестройный ропот?
Шумят знамена, медь звучит,
Железо движется, сверкает...
Кто зрел как блещут небеса,
Когда, врываяся в леса,
Их быстрый пламень пожирает
И в тусклом зеркале воды
Являет зарева ряды?
Так строй, усеянный штыками,
От жарких солнечных лучей
Бросает зарево рядами
И блеск ужасный для очей.
Как на равнине вод глубоких

Сбирается густой туман,
Так ото всех соседних стран,
От стран и близких и далеких
На клич войны притек народ;
Смешенье голосов нестройных,
Как перед бурей ропот вод
В пучинах моря неспокойных,
Равно станицы журавлей
Под небом носятся рядами
И стелят тень среди степей
Своими шумными крилами.
Они, подъемлясь в вышину,
Друг друга так перекликают
И всю воздушную страну
Нестройным криком наполняют.
Внимайте: всадники летят,
Земля ревет под их ногами,
Их топот вторится стократ,
Над ними пыль летит столпами.
Когда река наводнена
Дождями бурными Зевеса,
Так, бросив берега, она
Стремится с громом в чащу леса;
Так с оснований зданья рвет;
Так на хребте своем несет
В стремленье вековые сосны;
Уничтожает плодоносны
Сады, равнины и поля;
Препятствия встречая, воет;
Клубится с ревом, камни роет,
Гудёт под тяжестью земля.
И свергнувшись она с стремнины
Уносит за собой плотины,
Деревья с корнями, кусты,
Заборы, крепкие мосты;

И все прибрежные долины,
Покрывши мутною волной,
Подъемлет ил, тяжелый, черный,
Чтоб с ним от высоты нагорной
Достигнуть глубины морской.

Огни смертельные сверкнули,
Войска идут, они сошлись,
И вот с ужасным свистом пули
Средь блесков молний понеслись.
Так тучи давит вихорь сильный
И град стремится изобильный.
Картечи, ядра с двух сторон
Летят и, в воздухе встречаясь,
О сталь оружий ударяясь,
Дают глухой и томный звон.
Повсюду слышен запах серный,
Распространился смрадный дым,
Клубяся облаком густым,
Он покрывает луг безмерный.

Взгляните: туловище в прах
Затрепетав, гремя, валится;
Взгляните: с ропотом в устах,
Открыв глаза, глава катится:
На крыльях ветреных в огонь
Там всадника уносит конь,
Но меч, во грудь ему вонзенный,
Свалил его, и збрую стук
Продлил глухой подземный звук,
Как рев волкана протяженный;
Рассекши воздух, там рука,
Ядром отделена от тела,
Одета в дымны облака,
Не уронив меча, взлетела;

Тут кровь горячею струей
В земле прорезав путь, стремится,
Над нею пар и в ней живой
Под мертвецами шевелится.

Кто молнией сверкая там
Во строй летит и сотни рубит?
Подобный пламенным громам,
К чему коснется — всё погубит
Ужасный человек! кто ты?
«Любя идти путями славы,
Любя сражения кровавы,
Я верю, лавры не мечты!
Веселья боевые зная,
Еще не ведал я любви;
Дышать в дымящейся крови —
Вот радости мои, пылая...»
Постой! Твоя пресеклась речь:
Уж голова валится с плеч.

Там сотни деревень владелец
Оставил негу и покой,
И жизнь свою принес на бой;
Там домовитый земледелец,
Трудов, досугов верный друг,
На острый меч меняет плуг.
И ты, как ветер легкокрилый,
Несчастный юноша, и ты
На боевые красоты
Менял красу известны милой?
Ты вся надежда у отца,
Тебе ли бранного венца
Искать в густом дыму сражений?
Скажи, какой тот злобный гений,
Кто, вырвав из родной семьи,

Тебя ведет на поле брани,
И дни цветущие твои
Приносит смерти вместо дани?
Скажи, ужель отцовский дом,
Сребром украшенный богато,
И в изобилии кругом
Вино заморское и злато,
И дружбы сладость, и любовь
Ты не считал в душе за счастье,
Что так твою волнует кровь
Войны жестокое ненастье?
Но нет! Веселье мирных дней
Еще тобою не забыто.
С твоим воображеньем слито
Сиянье пламенных очей.
Ты не забыл, как локон черный
Падет, ручья волной нагорной,
На белизну ее плечей.
Приветные ты помнишь взгляды
И луч божественной отрады,
Которою пылала грудь,
Когда она тебя лобзала
И запинаяся сказала:
«Меня, мой ангел, не забудь!»
Я вижу — ты горишь, тоскуешь,
Со вздохом медленным целуешь
Одно сокровище свое:
Изображенный вид ее.
«О лейтесь, лейтесь в душу краски
И друга милые черты!»
Но ах! дарить не время ласки,
Покинь, покинь свои мечты:
В тот час, когда гремит тревога
И всё валится вкруг тебя,
Не за нее, но за себя

И за друзей моли ты бога.
Отца и добрую семью,
Быть может, ты еще обнимешь;
Быть может, ты в объятья примешь
Невесту милую твою;
И услаждая сердца муку,
Пред взором вышнего царя!
Ты ей отдашь навеки руку,
Отдашь ей жизнь у олтаря,
Тогда... О боже! воздух свиснул,
И он упал. — Его уж нет;
Своей невесты он портрет
Рукою судорожною стиснул.

Меж тем в неведомую даль,
За долы, за леса, за горы,
Туда — она бросает взоры;
Ей ядовитая печаль
Туманом покрывает очи.
Не ведая ни дня, ни ночи,
Она в тоске, она горит,
Она сквозь слезы говорит:

«Уже ль прошло блаженство рая,
Минута счастья золотая,
Когда с тобой, забыв весь свет,
Казалось, я жила в эфире?..
Ах, для меня в подлунном мире
Один лишь ты и смертных нет;
Туда, к себе ты увлекаешь
Мое и сердце, и мечты;
Родимый край мой там, где ты,
Мой ангел, бог мой, обитаешь...[a]
Когда б полет я приняла,

[a] *В рукописи вся строка зачеркнута цензором.* (*Прим. сост.*).

Тропой воздушною, незримой
К тебе б помчавшись, отвела
Удар меча неотразимый;
Тебя бы крепко обняла,
Покрыла бы тебя лобзаньем;
Летая над твоей главой,
Тебя б исполнила тоской,
Святым любви очарованьем;
И ты б любовью пламенел,
И я, как благодатный гений,
Толпою пылких вдохновений
Тебя б дарила, ты б горел...
Когда бы жизнь мою, дыханье
Я превратить могла в зефир,
Во струны сладкозвучных лир,
Иль в томное волны журчанье,
Всегда б с прелестного лица
Я зной полуденный свевала,
Тебя б журчаньем до конца
То нежила, то усыпляла!..
Когда б цвет младости моей
Мог быть фиалкой полевою,
И под твоею бы стопою
Мне умереть среди полей!
Но, ах, исполнятся ль желанья,
Придет ли сладкий час свиданья?»

Красавица, напрасно ждать!
Он спит; ему постель могила;
Навеки пуля уложила
Его в сырую землю спать.

Вот жизнь на свете поднебесном,
Но разве в мире лишь телесном
Печалей смертным столько есть,

Что невозможно их сочесть?
Судеб предвечные законы
Везде распространили ад;
И в мире нравственном есть яд,
Есть тигры, змеи, скорпионы, —
Природа мудрою рукою
Покрыла ими шар земной.
. . . .

Полошки

Маркевич.

КАКАЯ ЭТО СТОРОНА?

Прекрасны тихие равнины!
Прохладны ясные ключи!
Какого солнца тут лучи?
Какого рая здесь картины?
Шумит прямой лавровый лес!
И синь, как яхонт, свод небес,
И с синим виноградом лозы,
И многолиственные розы
Везде сплелись, как брат с сестрой.
Гора круглится над горой...
И тянется, как дым, как ткани,
Голубоватый воздух ранний...
Как здесь свежа краса полян!
Стена из скал им вместо рамок;
И на горах, как великан,
С подзорной башней, давний замок...
Как он пригож и как душист,
В своей отчизне померанец!
Кристалл приморья тих и чист,
И мил в нем вечера румянец...
Везде полуденность видна

И пахнет розой и лимоном:
Какая ж это сторона?
Кто в песне мне, с сердечным стоном,
Поет, на мой вопрос, ответ?
Поет дела минувших лет
И — набожной Европы цвет
Героев в шлемах оперенных;
Поет в красах его священных;
Для нас заманчивый Восток:
Святые волны Иордана,
Грозу и славу Солимана
И коловратный в битвах рок...
Но он напев переменяет.
Затихнул на струна́х Перун
Поет иное голос струн
И цитра, как любовь, вздыхает.
Про что ж он сладкое звучит:
«Как мак, ты закраснелась дева! —
Он в песне деве говорит, —
Но эта краска не от гнева;
Другое на сердце лежит!
Повеет сладкою весною,
Везде, где ты, моя заря!..
Зажглася Азия войною,
И графы кличут за моря
Певцов и рыцарей на битву...
Я отнесу мою молитву
Иконе девы пресвятой
И с цепью песней золотой,
Держа у сердца мандолину,
Помчусь крестить с мечами меч
В Иосафатову долину...
В страну войны и грозных сеч!..
Увижу кедр с красивой пальмой:
Святой Солим в его лучах

И, гибнущий в чужих полях,
С последней песнию прощальной
Тебя, Аврора, вспомяну!..»
Я узнаю сию страну,
Холмы и памятные реки:
Вот средние Европы веки!
Вот их полупрозрачный мрак!..
Там позже жил певец Петрарк;
И там — в отчизне трубадура
Цвела прекрасная Лаура!

БАЛ

Блистает тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Гудят смычки: толпа гостей
С приличной важностию взоров;
В чепцах узорных, распашных,
Ряд пестрый барынь пожилых
Сидит. — Причудницы от скуки
То поправляют свой наряд,
То на толпу, сложивши руки,
С тупым вниманием глядят.
Кружатся дамы молодые,
Пылают негой взоры их,
Огнем каменьев дорогих
Блестят уборы головные.
По их плечам полунагим
Златые локоны летают;
Одежды легкие, как дым,
Их легкий стан обозначают;
Вокруг пленительных харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
С волненьем ловят каждый взгляд:

Шутя, несчастных и счастливых
Из них волшебницы творят.
В движенье всё. — Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Кавалерист крутит усы,
Франт штатный чопорно острится.
Меж тем и в лентах, и в звездах,
Порою с картами в руках
Выходят тучные бояры,
Встав из-за ломберных столов,
Взглянуть на мчащиеся пары
Под гул порывистый смычков.

Е. Б.

ОТРЫВОК ИЗ ПЕРСИДСКОЙ ПОВЕСТИ: ОРСАН И ЛЕИЛА

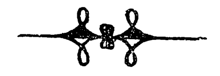
Как дуб дряхлеющий в корнях
На теме сохнет Арарата,
Сох одинокий падишах
На троне, вылитом из злата.
Тоска закралась в грудь его,
Она с Манзором неразлучно,
Повсюду слышит злополучный
Упреки совести докучной
И голос сына своего.
Забыты игры, наслажденья,
Кальян и сладостный шербет,
Душе ни в чем отрады нет,
Коль нет для ней успокоенья!
Манзор задумчив на пирах,
Здесь совесть грудь его волнует
И на челе его рисует
Чертами явственными страх.

Трепещет он, услышав шепот
Иль крик внезапный во дворце,
Он изменяется в лице;
Ему известен персов ропот.
Во всех мечтаниях его
С ним жертвы смерти ежечасно,
Он кличет сына своего
И дочь Гасема, — но напрасно!
И вот под бременем тоски
Он пал на одр изнеможенья;
И скипетр выронил правленья
Из обессиленной руки.

*

Из уст в уста перелетает
За тайну весть, что болен шах,
У всех смятение в сердцах,
И всяк неволею вздыхает.
По смерти шаха край родной
Погибнет в пламени раздора;
Осиротелый трон Манзора
Примчит искателей толпой.
И весь народ смятен тоской!
Так караван в пути жалеет
О солнце пламенном своем,
Когда оно, своим лицом,
Склоняясь к западу, хладеет.
Пустыни облекутся мглой
И туча, вестник урагана,
Наляжет с грозной тишиной
На зыбь степного океана.

Пл. Ободовский.



‹ОГЛАВЛЕНИЕ›

ПРОЗА

СТИХИ

---

[a] *Ошибка переписчика. Стихотворение принадлежит П. А. Вяземскому.* (*Прим. сост.*).

23) Бал (Е. Б.).
24) Отрывок из персидской повести: Орсан и Леила (кн. Вяземского).[а]
25) Дар всё делать невпопад, из Рюльера (кн. Вяземского).
26) Элегия (Мих. Дмитриева).
27) Вечер на Мечуке (В. Григорьева).[б]

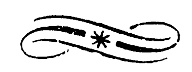
Генерал-адъютант Потапов.

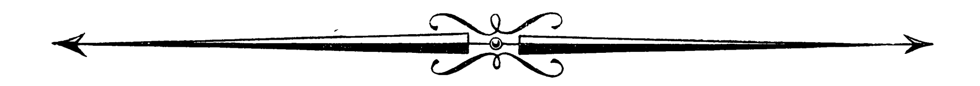
17 генваря
1826

[а] *Ошибка переписчика. Стихотворение принадлежит И. А. Ободовскому. (Прим. сост.).*

[б] *В рукописи оглавления к трем последним стихотворениям (№№ 25, 26, 27) сделана помета:* «Не оказалось». *Тексты их в данной рукописи отсутствуют. (Прим. сост.).*

ПРИЛОЖЕНИЯ





ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»

1

Начало массового распространения альманахов в России положено А. Бестужевым и К. Рылеевым, выпустившими в конце 1822 г. первую книжку «Полярной звезды». За «Полярной звездой» прочно укрепилась слава родоначальницы новейших русских альманахов. Известный библиограф П. И. Кеппен писал по этому поводу в 1825 г.: «1823 год как в России, так и в Богемии ознаменован появлением в свет первого альманаха... для нас, жителей Севера, воссияла *Полярная звезда* с необыкновенным блеском Ориона. Справедливое уважение ко вкусу и дарованиям г.г. издателей обеспечило во всех отношениях успех литературного их предприятия, а сей и других возбудил к подражанию».[1]

«Полярная звезда» не была первым альманахом, изданным в России. В 1796—1799 гг. Н. М. Карамзин, желая, как он сам признавался, «всячески способствовать успехам нашей литературы», издал три книжки альманаха «Аониды, или Собрание разных новых стихотворений». Но за три года до появления «Аонид» (в 1793 и 1794 гг.) Карамзиным были уже изданы два других литературных сборника под названием «Аглая», которые также могут быть отнесены к альманахам, хотя сам Карамзин считал именно «Аониды» первым опытом издания альманаха. Называя «Аониды» «первым альмана-

[1] Библиографические листы, 1825, № 13, стр. 182.

хом», Карамзин вкладывал в это понятие представление об альманашной форме издания, сложившееся на Западе. «Почти на всех европейских языках, — писал он в предисловии к первой книге этого сборника, — ежегодно издается собрание новых мелких стихотворений под именем „Календаря муз“ (almanac des Muses); мне хотелось выдать и на русском нечто подобное для любителей поэзии: вот первый опыт, под названием „Аониды“».[1] Между тем именно «Аглая», где, помимо стихотворений, печатались публицистические и критические статьи, значительно более приближалась к тому типу альманаха, который в 20-х годах XIX в. был распространен в России и родоначальницей которого современники считали «Полярную звезду».

Широкое распространение альманахов дало основание Белинскому назвать литературу 20-х годов «по преимуществу альманачной».[2] Следует сразу же оговорить, что среди альманахов было немало изданий «коммерческого типа», т. е. таких изданий, которые ставили перед собой главным образом коммерческие цели или барыш «альманашников», как презрительно называл издателей подобных альманахов Пушкин.[3]

Ведя решительную борьбу с «альманашниками», любителями наживы и поставщиками легкого чтения, Пушкин и другие литераторы его времени высоко оценивали прогрессивные альманахи. «Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движении и успехах», — писал Пушкин в начале 1827 г.[4]

Называя альманахи «представителями словесности», Пушкин подчеркивал их ведущее значение в литературной жизни 20-х годов. На страницах передовых альманахов ставились часто важнейшие вопросы

---

[1] Аониды, кн. 1, М., 1796, стр. III—IV.

[2] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 8, АН СССР, М., 1955, стр. 214.

[3] К «коммерческим альманахам», изданным до 14 декабря 1825 г., относятся, например: «Майский листок» М. А. Бестужева-Рюмина (1824), «Календарь муз» А. Е. Измайлова (1826—1827), «Невский альманах» (1825—1833) Е. Аладьина.

[4] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 48.

отечественной литературы и критики. «Полярная звезда» постоянно ратовала за народность и национальную самобытность русской литературы, за ее общественный и гражданский характер. Большинство писателей — современников Пушкина — печатали свои статьи именно в альманахах. «Не купив русских альманахов, вы не будете знать, что написали русские писатели в протекшем году», — писал рецензент «Московского телеграфа».[1]

Русские альманахи 20—30-х годов до сих пор не привлекали достаточного внимания исследователей. Не выяснено их значение и место в истории русской журналистики; не изучены причины распространения альманашной формы издания и особенности этой формы; не раскрыто содержание даже наиболее прогрессивных альманахов, таких, как «Полярная звезда» и «Мнемозина». Немногочисленные статьи, посвященные альманахам пушкинской поры, во многом уже устарели и никак не соответствуют уровню современной науки. Распространение альманашной формы издания обычно объяснялось «модой» на альманахи во Франции, Германии и Англии, стремлением русских издателей подражать западным образцам.[2] Такого мнения придерживался и Карамзин. Едва ли следует говорить о том, что в результате принижалось значение альманахов пушкинской поры. Так, альманах «Полярная звезда» — яркий памятник декабристской печати — объявлялся сборником, не содержащим в себе ничего специфически декабристского.[3] Истинное значение «Полярной звезды» и «Мнемозины», как изданий наиболее полно выразивших литератур-

---

[1] Московский телеграф, 1829, ч. 26, № 8, стр. 478.

[2] Именно так объясняется появление альманахов в России в статье С. Пономарева «Русские альманахи» (альманах «Киевлянка», Киев, 1884, стр. 107—111). Такого же мнения придерживались Н. Кашин (статья «Альманахи 20-х годов XIX века». — В изд.: Книга в России, т. II, М., 1925, стр. 99—105) и Л. Мышковская (Л. Мышковская. Литературные проблемы пушкинской поры. Изд «Сов. литература», М., 1934).

[3] П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 1. СПб., 1913, стр. 369. Такого же взгляда на «Полярную звезду» придерживался В. И. Маслов в монографии, посвященной Рылееву (Литературная деятельность Рылеева, Киев, 1912).

ные взгляды декабристов, было оценено советскими исследователями только в самые последние годы.[1]

Политическая программа декабристов требовала создания условий для широкого обсуждения литературных проблем. Этой задаче должны были способствовать, с одной стороны, литературные кружки и общества («Зеленая лампа», Вольное общество любителей российской словесности), близкие к тайным обществам декабристов, а с другой стороны — печать. Стремление к развитию периодической печати неизбежно наталкивалось на препятствия со стороны правительства, видевшего в распространении журналов «рассадник крамолы». Получить разрешение на издание нового журнала было очень трудно, особенно, если «образ мыслей» издателя не отличался «благонамеренностью». Специальным распоряжением министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына («министра погашения и помрачения просвещения», как называли его современники) предписывалось цензурным комитетам, «дабы они сами собою не разрешали к изданию новых периодических сочинений, но представляли бы о каждом, вновь предполагаемом издании оных, установленным порядком господину министру духовных дел и народного просвещения на разрешение, излагая подробно цель и содержание сочинения, кто оного издатель, какими другими сочинениями он уже известен, и представляли притом послужной список такового и другие о нем сведения, а сверх того и мнение свое о предполагаемом к изданию периодическом сочинении».[2]

Цензурные затруднения, связанные с получением разрешения на издание новых журналов, привели передовых литераторов к необходимости использовать альманашную форму издания, безобидную в глазах правительства и в то же время достаточно гибкую, чтобы с ее помощью можно было «дать направление общему мнению». Об

---

[1] См. главы Н. Л. Степанова, посвященные «Полярной звезде» и «Мнемозине» в «Очерках по истории русской журналистики и критики» (Изд. Ленингр. гос. университета, Л., 1950).

[2] ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 118, ед. хр. 182086. — Разрядка наша, — *Авт.*

этом с достаточной очевидностью свидетельствует история возникновения альманахов «Полярная звезда» (1823—1825 гг.) и «Мнемозина» (1824—1825 гг.).

Александр Бестужев, один из издателей «Полярной звезды», в конце 1818 г., т. е. за четыре года до издания «Полярной звезды», подал в Петербургский цензурный комитет прошение о разрешении ему со следующего 1819 г. издавать журнал под названием «Зимцерла». Издание журнала не было разрешено под предлогом молодости издателя, хотя действительной причиной отказа, по всей вероятности, были политические взгляды Бестужева, известные по печатавшимся в «Сыне отечества» его переводным произведениям. В 1818 г. в «Сыне отечества» был напечатан выполненный Бестужевым перевод отрывка из книги де Брея «Опыт критической истории Лифляндии с критикой нынешнего состояния сей области» (Дерпт, 1817). Бестужев обращал внимание на те страницы «Опыта», где говорилось о положении крестьянства в Лифляндии и в России. Тема крепостного права была для печати запретной, и отрывок, переведенный Бестужевым, подвергся цензурным купюрам, а окончание перевода не появилось в журнале вовсе, хотя и было обещано.

Цензурный комитет в своем отказе на прошение Бестужева не преминул упомянуть о переводе Бестужева, заметив, что он «не отличается ни чистотою слога, ни правильностью языка». Сомнение в благонадежности начинающего писателя было, по всей вероятности, настолько велико, что не помогло Бестужеву и заступничество попечителя С.-Петербургского учебного округа С. С. Уварова, который в отношении на имя министра просвещения поддерживал просьбу Бестужева. Как мнение Уварова, так и постановление Комитета были рассмотрены в Главном правлении училищ. Заключение Цензурного комитета было признано «основательным» и Бестужеву было объявлено, что «издание сего журнала может еще на несколько времени быть удержано, когда издатель успеет приобресть трудами своими более известности в ученой публике».[1]

---

[1] Материалы, относящиеся к предполагаемому изданию «Зимцерлы», опубликованы в статье «К истории русской литературы». — Русская старина, 1900, № 8, стр. 391—395. Ср. также: П. К. Щебальский. Материалы для исто-

Соиздатель Бестужева по «Полярной звезде» К. Ф. Рылеев также стремился к изданию собственного литературного органа. С этой целью он предполагал с 1821 г. стать издателем журнала «Невский зритель», активным сотрудником которого он был в течение всего 1820 г. Намерение Рылеева по неизвестным нам причинам не осуществилось, а сам журнал вскоре, в июне 1821 г., прекратил свое существование. Можно предположить, что в просьбе об издании журнала Рылееву было отказано после того, как в октябрьской книжке «Невского зрителя» была напечатана знаменитая его сатира «К временщику», направленная против всесильного тогда Аракчеева.

Таким образом, Бестужев и Рылеев независимо друг от друга мечтали о журнальной и издательской деятельности, они оба добивались печатного органа, но первые их попытки не увенчались успехом. В дальнейшем Бестужев и Рылеев связали свои замыслы с деятельностью Вольного общества любителей российской словесности (или «ученой республикой», как называли Вольное общество левые «соревнователи»). Сама идея «Полярной звезды» возникла в Вольном обществе, в ожесточенной борьбе Бестужева и Рылеева за новое направление в русской литературе. Здесь необходимо напомнить об участии будущих издателей «Полярной звезды» в «ученой республике» и о тех важнейших диспутах, в которых постепенно вырабатывалась программа декабристского альманаха.

В Вольное общество Бестужев был принят 15 ноября 1820 г. Он пришел в общество не как новичок: его хорошо знали по ряду критических выступлений. В 1819 г. Бестужев выступил с рецензией на комедию «Липецкие воды, или Урок кокеткам» Шаховского и на перевод П. А. Катенина «Эсфири» Расина в «Сыне отечества».

Менее чем через полтора месяца после избрания Бестужева в Вольное общество ему поручают редактирование критико-библиографического отдела журнала «Соревнователь просвещения и благотворения». Привлекая к работе общества таких людей, как Бестужев, поручая им ответственные должности, президент «ученой республики»

рии русской цензуры. — Беседы в Обществе любителей российской словесности, вып. 3, М., 1871, стр. 25—27.

Федор Глинка решал сложную тактическую задачу, преследующую далеко идущие цели — превратить Вольное общество любителей российской словесности в своего рода литературно-политический штаб Союза благоденствия. Именно сюда вскоре придут Н. А. Бестужев, К. Ф. Рылеев, А. О. Корнилович и другие прогрессивные деятели литературы, которые завоюют ведущее место в ученой дружине. Первым из них Глинка привлек А. А. Бестужева, и он, очевидно, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды. Трехмесячная (до вывода гвардии из столицы) работа Бестужева в качестве цензора библиографии была большой и плодотворной и вполне удовлетворяла левое крыло «ученой республики». В архиве Бестужевых сохранилось два отзыва общества о работе Бестужева за этот период. Первый из них датирован 4 апреля 1821 г. и связан с известием о предстоящем отъезде Бестужева из Петербурга. По этому поводу общество и «обратилось» к «господину цензору библиографии», заявив: «с соболезнованием разлучаемся» с Вами, «как с одним из почтеннейших и достойнейших членов своих». От имени общества обращение подписал его бессменный секретарь А. А. Никитин. Второй документ — «Одобрительное свидетельство», датированное 1 августа 1821 г. Оно было выдано Бестужеву за шестимесячную работу после рассмотрения в полугодичном заседании представленных отчетов. «Свидетельство» подписали Ф. Н. Глинка и другие члены «ученой республики».[1]

Вернувшись в начале 1822 г. из похода в Петербург, Бестужев снова принимает активное участие в делах Вольного общества, усиливая сколачиваемую Глинкой левую группу «соревнователей». Здесь он близко сходится с Рылеевым. Бестужев знал Рылеева еще тогда, когда ни одна дума не была написана, именно с октября 1820 г. — время напечатания сатиры к «Временщику». О знакомстве можно безошибочно сказать, основываясь на воспоминаниях Николая Бестужева о Рылееве. Александр Бестужев тогда уже был автором смелых критических рецензий и известной в литературных кругах сатиры — «Подражание первой сатире Буало». Приехав в Петербург

[1] Архив Института русской литературы АН СССР (ИРЛИ), ф. 604, п. 3, документы №№ 6 и 7.

в 1820 г. и тут же завязав литературные связи, Рылеев не мог не знать Бестужева-писателя: у них один круг знакомств. Итак, в 1820 г. они знали один другого как писатели, что и определило их тяготение друг к другу: дружба возникает на общей идейной основе, на общности взглядов. Не исключено, что в это время были и встречи, но мы документальными данными для такого утверждения не располагаем. По протоколам Вольного общества устанавливается, что 25 апреля 1821 г. Рылеев и Бестужев встретились на заседании (возможно, что они встречались и раньше). В этот вечер Бестужев читает свою статью «О романическом характере», направленную против реакционных романтиков, а Рылеев сатиру «Путь к счастию». Тогда же Рылеев принимается в члены-сотрудники Вольного общества. Бестужев дважды голосовал за Рылеева: за «одобрение» сатиры и за прием его в члены-сотрудники Вольного общества. В феврале месяце 1822 г. их встречи, прерванные девятимесячной служебной отлучкой Бестужева, возобновились.

Остается решить еще один вопрос: когда Рылеев и Бестужев «стали готовиться» к изданию альманаха? С точностью до дня мы этого датировать не можем. Первое известие об издании альманаха донесено до нас письмом Дениса Давыдова от 24 апреля 1822 г. Судя по тону письма, оно является непосредственным ответом на только что полученное (очень лестное для Давыдова) письмо Бестужева. Поэт-партизан писал Бестужеву: «М. Г. Александр Александрович, гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятия, и потому стыдно мне было бы отказаться от Вашего приглашения».[1] Отсюда следует, что Бестужев и Рылеев уже в апреле месяце 1822 г. собирали материал для издания альманаха. Вероятно, идея издания родилась в связи с ожесточенной борьбой в Вольном обществе любителей российской словесности. 17 апреля 1822 г. на многолюдном собрании (присутствовало 26 человек) вызвала оппозицию дума Рылеева «Артемон Матвеев». Кто именно организовал оппозицию — мы не знаем. Известно одно: Рылеев взял свое произведение, не допустив до голосования; дума «не баллотир.», как говорит протоколь-

[1] Русская старина, 1888, № 10, стр. 166.

ная запись. Если это так, то мы вправе предположить, что Бестужев и Рылеев приняли окончательное решение об издании альманаха тут же, на другой, на третий день после провала в Вольном обществе думы «Артемон Матвеев».

Положение дел в Вольном обществе заставляет Бестужева и Рылеева задуматься над изданием альманаха, в котором бы выражались политические тенденции левой группы литературного объединения.[1] Другой причиной издания была оплата труда писателей (свидетельство Мих. Бестужева, Евг. Оболенского).[2]

---

[1] Рассказывая о своем знакомстве с Рылеевым на допросах в Следственном комитете, Александр Бестужев подчеркивал, что основой для сближения между ними послужило единство политических взглядов: «В 1822 году свел я знакомство с г. Рылеевым, и как мы иногда возвращались вместе из Общества соревнователей просвещения и благотворения, то и мечтали вместе, и он пылким своим воображением увлекал меня еще более» (Восстание декабристов. Материалы, т. I. Гос. изд., М.—Л., 1925, стр. 433).

[2] Приступая к изданию альманаха, Бестужев и Рылеев ввели авторский гонорар, положив тем самым начало профессионализации писательского труда, который до этого времени оплачивался в виде исключения. Декабрист Е. Оболенский в своих воспоминаниях писал, что цель, которой руководствовались Бестужев и Рылеев при издании альманаха, «состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному, более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалования, или от собственных доходов с имений и капиталов. Предприятие удалось. Все литераторы того времени согласились получить вознаграждение за статьи, отданные в альманах. В том числе находился и Александр Сергеевич Пушкин. „Полярная звезда“ имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но и доставила им чистой прибыли от 1500 до 2000 рублей» (Общественное движение в России в первую половину XIX века. СПб., 1905, стр. 242). Насколько принципиальное значение придавали издатели альманаха своему нововведению, можно судить по воспоминаниям Михаила Бестужева, брата издателя. Когда Лев Пушкин потребовал с издателя за стихи брата по пяти рублей ассигнациями за строчку, Александр Бестужев «не думая ни минуты, согласился, прибавив со смехом: „Ты промахнулся Блевушка, не потребовав за строку по червонцу... я бы тебе и эту цену дал, но только с условием: пропечатать нашу сделку

Дальнейшие события в Вольном обществе — обостренная борьба между его правой группой (Дельвиг—Плетнев) и декабристским крылом (Бестужев—Рылеев) только подкрепили идею издания декабристского альманаха. На заседании 2 октября 1822 г. завязался новый узел многих противоречий. На этом заседании рассматривалась статья Вяземского о Дмитриеве. Статья была возвращена автору. Одновременно обсуждалась и была провалена правой группой общества дума Рылеева «Дмитрий Донской».

Вопрос о Дмитриеве и Крылове — один из центральных вопросов литературной борьбы начала XIX в. В данной связи нельзя не подчеркнуть, что Бестужев в оценке Крылова разошелся не только с заядлыми карамзинистами, но и со многими «романтиками», своими единомышленниками. Часто цитируются слова Вяземского из письма к Бестужеву от 9 марта 1824 г.: «Крылова уважаю и люблю как остроумного писателя, но в эстетическом, литературном отношении все же выше его поставлю Дмитриева». Однако еще не отмечено, что полемика между ними началась гораздо раньше. В 1822 г. «соревнователи» заказали Вяземскому статью о Дмитриеве. В сентябре она была представлена в общество и 2 октября рассматривалась на его заседании. Здесь присутствовал и Бестужев. Приняв статью для напечатания «в издаваемых сочинениях Дмитриева», общество ничем не оговорило своего несогласия с автором. А между тем уже в статье Вяземский отдавал Дмитриеву предпочтение перед Крыловым, хотя и не высказывал этого со всей откровенностью. Очевидно, Бестужевым была уловлена идея статьи о Дмитриеве, и он, работая тогда над своим обзором — «Взгляд на старую и новую словесность в России», — в характеристике великого баснописца спорил с Вяземским. Полемика с Вяземским проходит буквально через всю статью Бестужева, все ответственные формулировки, все характеристики писателей, содержащие в себе оригинальные суждения, — всё это полемически заострено против Вяземского. Обзор Бестужева и является са-

---

в «Полярной звезде» для того, чтобы знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи» (Воспоминания Бестужевых. Изд. АН СССР, М.—Л., 1951, стр. 241).

мым полным, написанным по горячим следам, отчетом о том, что происходило на заседании Вольного общества 2 октября 1822 г. В этом отчете имеются точные указания, о чем спорили при обсуждении статьи Вяземского, кто выступал с критикой статьи и кто ее защищал.

Спорили прежде всего о языке. Именно в отношении к языку и раскрывалось понимание «народности», «национальности» представителями того или иного направления. Заговорив о языке, Вяземский и Бестужев перебрали много деятелей русского слова, давая им свои оценки. Сопоставим их высказывания.[1]

Вяземский. «Язык Ломоносова в некоторых отношениях есть уже мертвый язык».

Бестужев. «Ломоносов целым веком двинул вперед словесность нашу. Русский язык обязан ему правилами, стихотворство и красноречие формами — тот и другой образцами».

Вяземский. «Язык Державина, обильный поэтическою смелостию,[2] красотами живописными и быстрыми движениями, не может быть почитаем за язык классический или образцовый».

Бестужев. Державин «открыл тайну возвышать души, пленять сердца и увлекать их то порывами чувств, то смелостию выра-

---

[1] Ниже мы приводим цитаты из статьи Вяземского «Известия о жизни и сочинениях И. И. Дмитриева», обсуждавшейся 2 октября 1822 г. В 1823 г. Вольное общество снова вернулось к статье Вяземского. Александр Бестужев обратился к Вяземскому с просьбой прислать что-нибудь для публичных чтений. «Почему не прочесть чего-нибудь из биографии Дмитриева?», — советует Вяземский 8 апреля 1823 г. Бестужев выбрал отрывок самый нехарактерный. «Мне кажется, что выбор отрывка... был неудачен... — сетует Вяземский, — это место не показывает господствующего духа моей биографии»... Бестужев тут же успокаивал: «Никитин читал Вашу статью — она всем полюбилась и потому, что просто высказана, и потому, что любят героя оной. Рукоплескали». Впервые письмо А. А. Бестужева к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г. было опубликовано в «Старине и новизне» (кн. 8, Пб., 1904, стр. 30—32). Письма Вяземского к Бестужеву опубликованы в «Русской старине» (1888, № 11). Статья о И. И. Дмитриеве вошла в «Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского» (т. 1, СПб., 1878, стр. 112—153). Отдельных ссылок для каждой цитаты не делаем.

[2] Здесь и далее в приводимых цитатах разрядка наша, — *Авт.*

жений, то великолепием описаний. Его слог неуловим, как молния, роскошен, как природа».

Вяземский. «В некоторых из стихов и прозаических творений Фон-Визина обнаруживается ум открытый и острый; и хотя он первый, может быть, угадал игривость и гибкость языка, но не оказал вполне авторского дарования: слог его есть слог умного человека, но не писателя изящного».

Бестужев. Фонвизин «в высочайшей степени умел схватить черты народности».

Вяземский. «Если и полагать, что нерадивый Хемницер трудился когда-нибудь над усовершенствованием языка, то разве с тем, чтобы домогаться в стихах своих совершенного отсутствия искусства». «Но, отвергая предположение невероятное, признаемся, что простота его, иногда пленительная, часто уж слишком обнажена».

Бестужев. Басни Хемницера «не писаны, а рассказаны с непритворным добродушием, и сия-то гениальная небрежность составляет прелесть ... которой не должно в нем исправлять».

Вяземский. «Строгая справедливость и обдуманная признательность называет двух основателей нынешнего языка нашего» — Карамзина и Дмитриева. Они «как великие полководцы».

Бестужев. «Крылов научил нас говорить по-русски». «Невозможно дать большей народности языку». Карамзин и его подражатели, при всех их заслугах, «исфранцузили» русский язык, и он «теперь только начинает отрясать с себя гремушки чуждых ему наречий» — «германизмы», «галлицизмы».

Вяземский. «Язык французский... преимущественнее может быть представителем общей образованности европейской... Мы могли бы спросить, из которых языков прививки были бы выгоднее для русского языка, и свойственнее ли ему германизмы, англицизмы, италиянизмы, даже эллинизмы и латинизмы?»

Бестужев. Надо освобождаться от прививок вообще. «Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки». Надо разрабатывать сокровища русского слова. Что и делает Крылов.

Вяземский. «Но господин Крылов, с искренностию и праводушием возвышенного дарования без сомнения сознается, что если не взял он предместника (Дмитриева,— *Авт.*) за образец себе, то по крайней мере имел пример поучительный и путеводителя, угладившего ему стезю к успехам».

Бестужев. Крылов шел совсем по иной стезе. Он «возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство». А Дмитриев «украсился венком Лафонтена». И если можно говорить об оригинальности Дмитриева, то только как об «оригинальности переводчика с французского».

Вяземский. Крылов «часто творец содержания прекраснейших из своих басен». Но «сие достоинство не так велико в отношении к предместнику его, который был изобретателем своего слога».

Бестужев. Крылов творец национального содержания. «В каждом его стихе виден русский здравый ум».

Вяземский. Только школьные классики могут выносить приговоры «над смелыми покушениями Жуковского, который мастерскою рукою похитил красоты с германской почвы и, пересадив на нашу, укоренил их в русской поэзии».

Бестужев. Недостатком Жуковского является то, «что он дал многим из своих творений германский колорит, сходящий иногда в мистику, и вообще наклонность к чудесному».

Мы прерываем этот «диалог», хотя не выписали и половины возражений Бестужева на статью Вяземского: совершенно ясно, что Бестужев от первой до последней строки своего обзора ведет полемику с Вяземским. В вопросах народности, языка, в трактовке оригинальности, в отношении к Державину, Ломоносову, Фонвизину, Крылову, Дмитриеву, Карамзину, Жуковскому, Хемницеру и т. д., и т. д., и т. д. — в самых злободневных вопросах литературной и политической борьбы Вяземский и Бестужев стояли на диаметрально противоположных точках зрения.

Сопоставление обзора Бестужева со статьей Вяземского говорит о том, что Бестужев пункт за пунктом ведет полемику непосредственно с биографом и панегиристом Дмитриева, каждому положению, каждой характеристике писателя, содержащейся в статье Вязем-

ского, Бестужев противопоставляет свое положение, дает свою характеристику.

Полемика 1822—1823 гг. принесла Вяземскому поражение. О его настроении в это время мы узнаем из эпиграммы, появившейся в «Северных цветах на 1825 год»:

К журнальным близнецам

Цып! Цып! сердитые малютки!
Вам злиться право не под стать.
Скажите: стоило ль из шутки
Вам страшный шум такой поднять?
Напрасна ваших сил утрата!
И так со смехом все глядят,
Как раздраженные цыплята
Распетушились невпопад! [1]

В заключение приведем некоторые данные, подтверждающие взгляд на «Полярную звезду» как на издание, идеологически и организационно связанное с деятельностью Вольного общества. Мы основываемся на следующих фактах.

[1] Некоторые литературоведы несправедливо причисляют Вяземского к теоретикам декабристского романтизма. Таковым он не был. Но это не значит, что отношения между издателями «Полярной звезды» и Вяземским исключали соглашения и компромиссы. Переписка Бестужева с Вяземским свидетельствует, что декабристы пытались отвоевать Вяземского на свою сторону и были крайне заинтересованы в его сотрудничестве в «Полярной звезде». «Пишите ко мне, пишите для публики, для „Полярной звезды“», — призывал Бестужев Вяземского в письме от 23 мая 1823 г. Письма Бестужева к Вяземскому, опубликованные К. П. Богаевской в «Литературном наследстве» (т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956), не оставляют сомнений, что Бестужев дорожил мнением Вяземского и искал с ним контакта. Но правда и то, что Вяземский во многом не сходился с Бестужевым и Рылеевым и в конечном итоге оставался на аристократических позициях, несмотря на свое политическое фрондерство. В 1822—1823 гг. Вяземский еще старается сохранить хорошие отношения с Бестужевым и Рылеевым, придет время, и он заговорит открыто. Его статьи о Сталь, Пушкине, Дельвиге, Дмитриеве, Жуковском не только антидекабристские по своему духу и характеру, но непосредственно многие из них направлены против Бестужева и Рылеева.

1. Все произведения, помещенные в первой книге «Полярной звезды», были написаны членами общества. Исключением являются только стихотворения Пушкина, формально не входившего в объединение, но считавшегося тоже членом «ученой республики». Просматривая отчеты общества и прилагавшиеся к ним «Подробные ведомости сочинениям и переводам в прозе и стихах г.г. членов высочайше утвержденного Вольного общества любителей российской словесности», мы встречаем имя Пушкина буквально в каждом, начиная с отчета за вторую половину 1819 г. («т. е. с 28 июня по 1 генваря 1820 г.»), когда был «доставлен Ф. Н. Глинкою „Ответ на вызов написать стихи в честь ее имп. величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны“».[1] Правда, ведомость 1823 г. помещает пушкинские стихи в разделе «посторонние лица», однако А. Бестужев их читал в торжественном собрании общества 22 мая 1823 г. как стихи члена организации. Что же касается идеологической близости Пушкина к декабристскому крылу «ученой республики», то об этом говорить не приходится: общность была полная.

Итак, альманах был составлен из произведений членов только одной литературной организации. В этом мы находим решающее подтверждение выставленного положения: альманах издавался «от общества», что при разнородности состава объединения сказалось и на противоречивости содержания «Полярной звезды».

2. Протоколы «ученых упражнений» Вольного общества оставили нам явные следы того, что отдельные произведения, вошедшие в альманах, рассматривались соревнователями на официальных заседаниях. Так 4 декабря 1822 г. А. О. Корнилович читал очерк «О первых балах в России», предназначавшийся для «Полярной звезды» и поэтому не поставленный на баллотировку. Мы не утверждаем, что всё напечатанное в альманахе проходило или должно было проходить через обсуждение в Вольном обществе. На заседаниях рассматривалось

---

[1] Архив ИРЛИ, ф. 58, п. 47, л. 72, стихи идут в ведомости под № 152. Эта запись может служить дополнительным доказательством тому, что именно Глинка сделал Пушкину вызов написать названные стихи, входившие в общий поток декабристской агитации за Елизавету.

только то, что печаталось в официальном органе — «Соревнователе». «Полярная звезда» не была официальным изданием общества. Поэтому авторы и издатели были свободны от необходимости получать для каждой «пиесы» «одобрение» соревнователей. И все же отдельные произведения на заседаниях читались, а следовательно, и обсуждались. Но, поскольку протоколы отражают мнение «ученой республики» лишь в отношении к произведениям, предназначавшимся для напечатания в «Соревнователе просвещения и благотворения», в них могло не заноситься обсуждение того, что намечалось к помещению в «Полярной звезде».

2

Хотя Рылеев и Бестужев не являлись членами Союза благоденствия, не состояли в тайных декабристских организациях до вступления в Северное общество (Рылеев был принят в Северное общество в 1823 г., Бестужев — годом позже), мы не наблюдаем никакого «перелома» в их сознании — настолько закономерен их путь к декабризму. Они могли вступить в революционную организацию позже, могли войти в нее раньше, — вне зависимости от этого, Бестужев и Рылеев с 1820 г. (Бестужев даже несколько раньше, с 1818 г.) выступают на литературном поприще как декабристы, находятся всё время на левом фланге общественно-политического и литературного развития. Вместе с ростом, углублением революционного движения росли и мужали издатели «Полярной звезды»; их статьи и письма, рассказы и повести, стихотворения и поэмы той поры буквально воспроизводят путь декабризма от Союза благоденствия к Северному обществу, а затем отражают эволюцию и этой последней организации — отход от руководства Муравьева и Трубецкого и установление господствующего влияния группы Рылеева.

Деятельность Рылеева и Бестужева в альманахе «Полярная звезда» — лишнее доказательство того, что в Северное общество они пришли вполне подготовленными. «Полярная звезда» со второй книги фактически как бы стала печатным органом Северного общества, через нее декабристы осуществляли свою политику в литературе. Альманах сразу же завоевал симпатии передового читателя, его

большой успех — дело рук Рылеева и Бестужева.[1] Но этот успех не давался легко.

Немаловажным вопросом для издателей «Полярной звезды» был вопрос о читателях, и следует сказать со всей определенностью — читательские требования во многом сказались на содержании декабристского альманаха и даже на некоторых формулировках программных статей Бестужева.

Приступая к изданию «Полярной звезды», Бестужев и Рылеев ставили себе задачей борьбу за самобытную национальную литературу и популяризацию лучших произведений современной литературы среди широкого круга читателей. «При составлении нашего издания г. Рылеев и я, — писал Бестужев, — имели в виду более, чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по своей новости, по разнообразию предметов и достоинству пьес, коими лучшие писатели украсили „Полярную звезду", — она понравится многим, что, не пугая светских людей сухою ученостью, она проберется на камины, на столики, а может быть и на дамские туалеты и под изголовья красавиц. Подобными случаями должно пользоваться, чтобы по возможности более ознакомить публику с русской стариною, с родною словесностью, со своими писателями».[2]

В данной связи мы должны остановиться на внешней истории появления обзоров Бестужева в «Полярной звезде», без чего не могут быть поняты многие приговоры автора и «противоречия» его статей, ставившие в недоумение исследователей и дававшие повод для различного рода кривотолков. Н. А. Котляревский, посвятивший специальную работу обзорам «Полярной звезды», не понял, почему Бестужев, после решительно выраженной неудовлетворенности состоянием «российской словесности», например, в 1823 г., переходя к отчету о появившихся за год сочинениях, находил среди них много

[1] Тираж первой книжки «Полярной звезды» был раскуплен менее чем за неделю. Успех альманаха заставил издателей увеличить тираж второй книжки на 300 экземпляров. «Полярная звезда» на 1824 г. печаталась в количестве 1500 экземпляров и разошлась в три недели.

[2] Ответ на критику «Полярной звезды», помещенную в 4, 5, 6 и 7 нумерах «Русского инвалида» 1823 года. — Сын отечества, 1823, ч. 83, № 4, стр. 174—175.

хороших, что противоречило общей оценке положения. Одновременно обозревателя упрекали в неумении отличить важные причины от второстепенных при объяснении «замедленного хода нашей словесности». Ставили ему в вину и обилие общих мест в характеристиках различных писателей и поэтов, находили в обзорах много легкомысленных суждений и прочее. Вспоминая об «улыбке дам», способной, по Бестужеву, возбудить русскую литературу, некоторые исследователи делали далеко идущие выводы: раз Бестужев обращается к дамам, значит он карамзинист. Напомним, что посвящение к «Руслану и Людмиле» содержит буквально следующее обращение:

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

Неужели «грешные песни» Пушкина тоже карамзинизм и только на том основании, что они писались для «красавиц»! Между тем Бестужев во «Взгляде на старую и новую словесность в России» довольно точно воспроизвел мысль «Посвящения» Пушкина.

«Чего нельзя совершить, дабы заслужить благосклонный взор красавицы? В какое прозаическое сердце не вдохнет он поэзии? Одна улыбка женщины милой и просвещенной награждает все труды и жертвы. У нас почти не существует сего очарования, и вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на вас самих».

Так писал Бестужев. Но к двум «карамзинистам» — Пушкину и Бестужеву — надо причислить и третьего — Рылеева. Он тоже был издателем «Полярной звезды» — «Карманной книжки для любительниц и любителей русской словесности»; Рылеев, как и Бестужев,

льстил себя надеждой, что альманах попадет на «туалетные столики» «красавиц». Кроме того, Рылеев, чье имя стояло на обложке альманаха, разделял «взгляд» Бестужева, в чем никаких сомнений быть не может.

Из «Посвящения» вытекает только одно: поэт и писатель 20-х годов страстно искали своего читателя и часто обращались к «царицам души», «красавицам», «прелестницам», «прекрасному полу». Это в равной степени касалось как классиков, так и романтиков, как архаистов, так и карамзинистов. Известно, что русскую читающую публику начала века создал Карамзин, на что многократно и совершенно справедливо указывал Белинский. С этим фактом ни один издатель не мог не считаться, ибо круг читателей был весьма определенным и узким, о чем говорят тиражи книг и журналов того времени. С этим обстоятельством особо столкнулись Рылеев и Бестужев, как издатели первого гонорарного альманаха.

3

Нельзя отрицать того, что в сборниках «Полярной звезды» видны уступки читателю и почитателю Карамзина и Жуковского, но на первый план в них выдвигается иное: Рылеев и Бестужев несли читателю новую духовную и нравственную культуру. Не случайно «кроткий» Карамзин остался недоволен обзором Бестужева 1823 г., не случайно на него ополчились и сентименталисты, и классики. Делая вынужденную уступку обстоятельствам, Рылеев и Бестужев порой разговаривали с читателями языком Карамзина, но они не ориентировались на вкус светского салона, не угождали ему, а строго проводили в очень трудных условиях свою линию поведения.

Рылеев и Бестужев сумели привлечь к участию в альманахе все лучшие силы; издателей нельзя упрекнуть в неразборчивости и в отсутствии вкуса. Они поставили дело таким образом, что крупнейшие поэты того времени желали «видеть свое новорожденное дитя в изящно-модной колыбельке». С другой стороны, следует учитывать, что в ту пору авторы в большинстве своем вышли из школы Жуковского—Карамзина, а именно к ним вынуждены были обращаться Ры-

леев и Бестужев с просьбой о присылке «пьес» и, «буде господа сочинители соблаговолят прислать свои пьесы», издатели «предадут тиснению». А это, опять-таки, не могло не стеснять суждений, высказываемых в статье, предпосланной альманаху, не могло не отразиться на оценке трудов «господ сочинителей».

Кого же качала «зыбка Звезды»? [1] Всего в трех книгах альманаха приняло участие около 60 человек. Вот список авторов, поместивших свои произведения в первом сборнике: Баратынский, Булгарин, Вяземский, Воейков, Глинка, Гнедич, Греч, Давыдов, Дельвиг, Жуковский, А. Е. Измайлов, Корнилович, Крылов, Лобанов, Ободовский, Остолопов, В. И. Панаев, Плетнев, Пушкин, Сенковский, Сомов, Туманский и Хвостов. Последующие книги дополняют наш список новыми именами. Здесь — Н. А. Бестужев, Батюшков, Вердеревский, Грибоедов, Д. В. Дашков, И. И. Дмитриев, Загорский, В. Измайлов, Иванчин-Писарев, Д. М. Княжевич, Козлов, Кюхельбекер, Мосальский, Нечаев, Норов, Олин, Ободовский, В. Пушкин, Раич, Родзянко, Филимонов, Хомяков, Шаховской. Несомненно, все лучшее из литературы 20-х годов в альманахе представлено. Но в нем много и худшего, а равным образом и такого, что никак не могло нравиться ни Рылееву, ни Бестужеву.

Приведем несколько примеров. Отношение Вяземского к Жуковскому было восторженным. В стихотворении «Всякий на свой покрой», помещенном в первой книге «Полярной звезды», он писал:

Пускай баллады — бабьи сказки,
Пусть черт качает в них горой,
Но в них я вижу слог живой,
Воображенье, чувства, краски, —
Люблю Жуковского покрой.

Всё это не совпадало полностью с мнением издателей. Встречаются в альманахе и другие противоречия. В «Письмах о Швейцарии», например, Греч писал: «В Германии Геснер принадлежит уже к обветшалым писателям. Даже во Франции более, нежели в Герма-

[1] Выражение М. Бестужева. См.: Воспоминания Бестужевых, стр. 241..

нии, восхищаются Жеснéром». Это сказано на 132-й странице альманаха, а на 260-й мы встречаем идиллию Геснера «Корзинка», переведенную В. И. Панаевым.

Подобных противоречий можно обнаружить десятки. Рядом с мистическим «Счастьем во сне» Жуковского напечатана довольно плоская басня Н. Ф. Остолопова «Мужик и манежная лошадь», вслед за ней идет «Военная шутка» Булгарина. Но вот шутка Булгарина сменяется военно-патриотической героикой К. Ф. Рылеева — «Мстиславом Удалым», однако эта дума посвящена тому же Булгарину.

Такие противоречия в свое время удивляли первого исследователя творчества и деятельности декабристов — М. И. Семевского. В не увидевшей света статье «Альманах „Звездочка“ на 1826 год» он писал: «Мы не без недоумения находим в „Полярной звезде“ Фаддея Булгарина, столь справедливо заклейменного всеобщим презрением».[1] Автор так объясняет это странное явление: «Булгарин был молод и всячески старался подлаживаться под господствующее направление. Его и в то время терпели только как шута балаганного, балагура и площадного остряка. Александр Бестужев бывал у него очень часто, но уже вовсе не из-за его прекрасных глаз».

Взаимоотношения Ф. Булгарина с Рылеевым и другими декабристами (и с Грибоедовым) значительно сложнее. Декабристы в ту пору не подозревали в Булгарине доносчика, они доверяли ему и вместе с ним распевали революционные песни. С какого времени Булгарин стал «официальным» шпионом, на этот вопрос до сих пор нет ясного ответа. Семевский недоучитывал всей сложности отношений. Но в основном его наблюдение над «Полярной звездой» справедливо и подтверждается рядом других фактов. «Полярная звезда» очень пестра по своему составу, и делает ее разноликой не только «обманувший» Рылеева и Бестужева Булгарин. «Иван Сусанин», «Годунов», «Мстислав Удалый» Рылеева, строго говоря, не соседи «Вдохновению» Дельвига, «Сну» Жуковского, «Стансам графине NN» Плетнева. Анализируя «Полярную звезду» с точки зрения

---

[1] Цитируем по «Сборнику статей, недозволенных цензурою в 1862 году» (т. II, СПб., 1862, стр. 224).

общественно-политической и эстетической, не трудно заметить разнородность ее состава. Здесь и римская тога классика, и монашеская одежда романтика «в духе средних веков», и пастушеский кафтан сентименталиста-карамзиниста. Но рядом величавая, простая одежда Рылеева, блистательная, неподражаемая муза Пушкина, строгий и вместе игривый покрой прозы Бестужева... Мало об этом сказать словами Вяземского «Всякий на свой покрой» — невольно вспоминается эпиграмма Пушкина:

Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопа
Спаслась Полярная звезда.
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты;
И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди и скоты.

В этой пушкинской эпиграмме верно отмечен в высшей степени пестрый, разнородный состав альманаха. Сборника однородного по составу, отвечающего идейной направленности декабристов, тогда и не могло быть создано. И не было сил, и не было организационного единства, и не пришли еще «формы» в соответствие с идейным содержанием, и не было цензурных возможностей. Всё это надо принимать во внимание при анализе состава «Полярной звезды», а также статей Бестужева, предпосылаемых сборникам.

Н. А. Котляревский ставил в вину Бестужеву и Рылееву, что они не были достаточно принципиальны и «свободны», в частности в своих критических суждениях о литературной деятельности писателей, публиковавших свои произведения в «Полярной звезде». С этим обвинением нельзя согласиться. Бестужев, как автор известных критических обзоров в «Полярной звезде», был вполне принципиален и в отношении тех писателей, произведения которых печатались в альманахе. Об этом свидетельствуют его критические замечания в адрес Жуковского и Плетнева. Издатели в первой книге альманаха поместили семь стихотворений Жуковского, но предупредили: к ним надо

критически относиться; напечатали четыре стихотворения Плетнева, но заметили, что они бледны и неопределенны.

Что касается Жуковского, то декабристы долгое время вели борьбу за него, крупнейшего, талантливейшего поэта, автора «Певца во стане русских воинов», стремясь завоевать его, заставить служить своим целям. Именно поэтому они, никогда не разделяя представляемого Жуковским направления в русском романтизме, постоянно оговаривая коренное отличие своей линии в поэзии от линии Жуковского, защищали поэта от Катенина и от Шаховского. Напомним, что в 1819 г. Н. И. Тургенев пытался вовлечь Жуковского в Союз благоденствия, несколько позже декабристы и люди их круга стремятся дать Жуковскому политическую тему; по их совету и настоянию он переводит «Шильонского узника» Байрона. Декабристы не теряли надежды на «исправление» Жуковского, многое прощали ему; тон их критики, в высшей степени принципиальный, бескомпромиссный, не был в печати издевательским и резким. В переписке с Пушкиным Рылеев более резко и откровенно, чем Бестужев в печати, высказал свое мнение о Жуковском, полностью солидаризуясь со своим другом.

Отрицательное отношение Бестужева и Рылеева к Плетневу и Дельвигу нашло свое яркое выражение уже в первой статье Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России». Критик-декабрист отмечает и у того, и у другого одни и те же грехи: «неопределенность цели», «бледность колорита» — у Плетнева, «отвлеченность» — у Дельвига. Оба поэта поставлены Бестужевым рядом.

После выхода в свет «Полярной звезды» Плетнев пытается использовать Вольное общество любителей российской словесности для нападок на Бестужева. Будучи секретарем Цензурного комитета этого общества, Плетнев самовольно, без одобрения «соревнователей» поместил в первой книжке «Соревнователя просвещения и благотворения» рецензию на альманах, содержащую язвительные замечания в адрес обзора Бестужева.[1] Рецензент почувствовал в статье «что-то

[1] За весь 1823 г. Дельвиг ни разу не читал своих произведений в обществе. Плетнев же выступил только один раз с переводной статьей «О произношении». Но мало этого. Они не только не читали в обществе своих произведений, но и

слишком молодое и затейливое». Заметим — выпад Плетнева не был случайным. Мы должны его рассматривать как ответ на критику стихотворений Плетнева, данную Бестужевым в статье, предпосланной альманаху. Выходка Плетнева встретила дружный отпор левого крыла «Соревнователя». 29 января собралось чрезвычайное заседание Вольного общества, оно квалифицировало статью Плетнева как клеветническую. Председательствующий Греч, заигрывавший тогда с Рылеевым и Бестужевым, говорил, что статья является «оскорбительной для многих членов».[1]

Бурная реакция Вольного общества на статью Плетнева, слова Греча, выступавшего от имени многих членов, равным образом и стремление Плетнева напечатать свою статью в «Соревнователе просвещения и благотворения» без предварительного обсуждения — всё это в совокупности доказывает, что альманах не был просто личным начинанием двух друзей, чьи имена написаны на титульном листе «Полярной звезды». Рылеев и Бестужев рассматривали альманах «Полярная звезда» и «Соревнователь просвещения и благотворения» как нечто единое и желали, чтобы действия их были согласованы.

Январская выходка Плетнева была ответом Бестужеву и Рылееву, расхождения с которыми у Плетнева были глубокими, принципиальными. Вот почему два-три слова в адрес Бестужева вызвали столь бурную реакцию у левого крыла Вольного общества. И в дальнейшем Рылеев и Бестужев не прекращали своей борьбы с Плетневым. Это и заставило последнего приняться за свое «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» и приступить вместе с Дельвигом к изданию альманаха «Северные цветы». В недрах Вольного общества любителей рос-

вообще не принимали никакого участия в его делах. Дельвиг и Плетнев вынуждены покинуть общество, и они фактически его покидают. Если в 1822 г. Плетнев посетил 18 заседаний, а Дельвиг 11, то в 1823 г. первый присутствовал на трех, а второй на четырех заседаниях. Думаем, что охлаждение Плетнева и Дельвига к Вольному обществу наступило после появления первой книги «Полярной звезды» на 1823 г., где была опубликована статья Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России».

[1] Архив ИРЛИ, ф. 58, п. 29, л. 20.

сийской словесности зародились два альманаха — «Полярная звезда» и «Северные цветы». «Северные цветы» должны были ослабить влияние «Полярной звезды». Это было ясно и для современников. В 1825 г. в «Сыне отечества» объявление об издании «Полярной звезды на 1825 г.» сопровождалось такой информацией: «„Северные цветы“, издание книгопродавца Сленина, вступает в непосредственное соперничество с „Полярною звездою“. Предоставляя сему альманаху ‹„Северным цветам“› благоприятное время выхода в свет, желаем ему еще благоприятнейшего успеха».[1] «Полярная звезда» и «Северные цветы» вышли из одного литературного объединения, что наложило на них и некоторую общую обоим родовую печать, но в своей определяющей идейной направленности альманахи были в высшей степени различны. Это различие придавалось им прежде всего вводными критическими статьями. Плетнев в своем обзоре спорил с Бестужевым, Бестужев свой последний обзор направил против Плетнева, не уклонившись и от прямого замечания в адрес корреспондента и певца «графини С. И. С.».

В «Северных цветах» мы встречаем имена, уже знакомые по «Полярной звезде». Дельвигу Пушкин отдал лучшие свои стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Демона», отрывки из «Онегина», «Прозерпину». Баратынский, Жуковский, Крылов — все виднейшие поэты участвовали в «Северных цветах». И все же издание Дельвига—Плетнева не имело такого успеха, который выпал на долю «Полярной звезды». Следовательно, восторженный прием «Полярной звезды» читателем объясняется не тем общим, что было у двух альманахов, а тем, в чем они отличались один от другого. Каково же их различие? В «Северных цветах» нет имени Рылеева, нет имени Бестужева. Стало быть, успех «Полярной звезды» был прежде всего успехом декабристского альманаха, хотя далеко не все произведения, публиковавшиеся в нем, отвечали взглядам декабристов на

---

[1] Сын отечества, 1825, № 1, стр. 111. Указывая на эту ироническую информацию в «Сыне отечества», Ю. Г. Оксман высказывает предположение, что автором ее «был скорее А. А. Бестужев, чем Булгарин» (см.: Лит. наследство, т. 59, АН СССР, М., 1954, стр. 151).

литературу. Этот вывод, нам представляется, сделать необходимо, он — один из важнейших. Все издания, противопоставлявшие себя «Полярной звезде», неизменно должны были уступить ей первенство.

Первая книга «Полярной звезды» и первая книга «Северных цветов» это — и два направления внутри Вольного общества, и два этапа борьбы между двумя направлениями, что мы и должны учитывать при анализе «Полярной звезды». В ней Бестужев и Рылеев являются не просто представителями «ученой республики», а левого крыла ее, еще не одержавшего победы над правым и лишь готовящегося к серьезной схватке. Статья Бестужева 1822 г. была началом наступления на позиции реакционного романтизма, но именно началом.

Не Сомов, не Вяземский, не Кюхельбекер — Бестужев и Рылеев в «Полярной звезде» подняли знамя борьбы за гражданский романтизм в литературе, объединяя вокруг него все прогрессивные элементы, способные внести свой вклад в передовое движение. Борьба теоретическая в литературе была выражением общеполитической борьбы, в которой из всех членов Северного общества Рылеев и Бестужев занимали наиболее последовательные позиции, что и сказалось на выдержанности и принципиальности литературно-критических взглядов того и другого.

4

В начале XIX в. настойчиво ставится и обсуждается вопрос о создании истории русской литературы, что прежде всего является выражением возросшего национального самосознания. Вся совокупность исторических условий настоятельно диктовала осуществление этой задачи. В зависимости от политических взглядов того или другого деятеля литературного движения, в зависимости от принадлежности его к той или иной группировке и направлению решение намеченной задачи было различным, но — и это крайне важно отметить — все они сходились на том, что настало время создать историю отечественной словесности, показать успехи «образованности народной», содействовать развитию российского языка. Принцип государственности и на-

родности, в различном его понимании, был основополагающим при решении поставленной задачи: каждый стремился выступать от имени народа, хотя и с разной политической ориентацией. Греч, Мерзляков и Плетнев, при всем различии их теоретико-литературных концепций, сходились на одном: история русской литературы в своей политической основе должна быть монархической, они думали дать некое литературное приложение к «Истории государства Российского» Карамзина. Совсем иначе понимал свою задачу Бестужев. История русской литературы есть история литературы русского народа — вот основная и главная мысль его обзоров в «Полярной звезде». Эта идея, собственно, и заставила критика-декабриста посмотреть на вещи своими глазами, определить и изложить свой взгляд на старую и новую словесность в России.

Статья Бестужева открывается следующим «общим местом»: «Гений красноречия и поэзии, гражданин всех стран, ровесник всех возрастов и народов, не был чужд и предкам нашим». Казалось бы здесь не о чем разговаривать, настолько обыденна мысль, высказанная Бестужевым. И, однако, она до предела и полемична и оригинальна. Основное в ней — утверждение самостоятельности нашей литературы, что явится и стержнем всей статьи. Исходный теоретический постулат Бестужева направлен как против климатологических построений, идущих от Монтескье, заявлявшего «В духе законов», что у народов севера не может быть поэзии, так и против тех историков, которые вели русскую литературу от греческой. Надо заметить: ко времени выступления Бестужева некоторые историки русской литературы на все лады повторяли то, что некогда сказал Монтескье. Климат, климат и климат — он определяет поэзию, Это положение стало тогда действительно общим местом эстетик. Оно являлось исходной теоретической посылкой и для историков, начинавших изложение русской литературы с переводов.[1] Греч, например, в «Опыте краткой истории русской литературы» (СПб., 1822) писал, что до конца X в. у нас «собственной словесности русской» не было (памятников нет),

---

[1] Как рудимент, «климат» встретится и у Бестужева, но в совершенно иной трактовке данного принципа, о чем см. ниже.

а позже «при Великом князе Ярославе переведены были с греческого языка многие духовные книги». Вот — начало русской словесности.

В ту же пору имела широкое хождение и другая теория, развитая Карамзиным: божественное происхождение поэзии. Бестужев отверг как религиозно-мистическую точку зрения на поэзию Карамзина, так и «географическую» теорию с ее различными космополитическими ответвлениями и вариантами. В годы повального наставничества — подражай классическим образцам — критик-декабрист выводит поэзию народа из своеобразия характера данного народа. Он продолжает:

«Чувства и страсти свойственны каждому, но страсть к славе в народе воинственном необходимо требует одушевляющих песней, и славяне, на берегах Дуная, Днепра и Волхова, оглашали дебри гимнами победными».

Итак, древнерусскую поэзию Бестужев ведет не от переводных «духовных книг», не меланхолическое слезоизлияние видит в ней, не религиозное чувство, по Бестужеву, воодушевляло на песнопение наших далеких предков, а страсть к славе, страсть воинственная, ибо народ древней Руси — народ-воин прежде всего.

Определив характер русского народа как народа героического и сильного, видя в этом отпечаток его исторических судеб, Бестужев ищет «победных» героических гимнов в поэзии нашего народа. Обычно историю русской литературы начинали с принятия христианства и с переводных повестей. Это не соответствовало взгляду Бестужева, ибо он отправился на поиски оригинальных «черт русского народа». Поэтому критик-декабрист ни словом не обмолвился о христианской литературе, о литературе переводной. Взгляд Бестужева стремится проникнуть сквозь «туманы, предания и гадания». Критик убежден, что и до XII в. были героические произведения, но они не дошли до нас. Почему? Потому, что «новообращенный россиянин, истребляя все, носившее на себе отпечаток язычества, нанес первый удар древней словесности». Таков взгляд Бестужева на этот вопрос. Сейчас он общепринят, но до Бестужева не только не был так решен, но не был и поставлен.

Называя дошедшие до нас памятники старины, Бестужев прежде всего указывает на летописи и видит в них «не одни случаи», а и «рассуждения справедливые», отвергая, таким образом, взгляд на летописи как на хроники или собрание легенд. Точка зрения Бестужева современна нашей исторической науке, равно как и его суждение о языке летописей и «Русской правды». Здесь он вновь повторяет: «„Русская правда" писана собственно русским языком, языком грубым, но кратким и сильным».

Вслед затем Бестужев характеризует русские народные песни. «Народные песни, — пишет он, — изменены преданием и едва ли древнее трехсот лет. Русский поет за трудом и на досуге, в печали и в радости, и многие песни его отличаются свежестию чувств, сердечною теплотою, нежностью оборотов; но беды отечества и туманное его небо проливают на них какое-то уныние, и вообще в них редко встречаются пылкие страсти и обилие мыслей». В этих немногих строках дана не только общая характеристика песен, но и объяснено, почему песни народа носят такую, а не иную окраску, причем объяснение дается прежде всего социальное («беды отечества»), а не надвременное, исходящее из «субстанциальности» народной души, как то делалось в 30-е годы. Едва ли можно упрощенно понимать и выражение «туманное небо» отечества. Несколькими строками выше, изложив «политические препоны, замедлявшие ход просвещения и успехи словесности в России», Бестужев писал: «Итак, подивимся ли, что хладный климат России произвел немногие цветы словесности!» Выражение «хладный климат» — иносказание для «политических препон»; «туманное небо» отечества, наложившее на народную поэзию печать уныния, — опять-таки принятое Бестужевым иносказание. Бестужев ищет и находит политические причины, обусловливающие закономерности развития литературы.

Но важен и такой вопрос: прав ли был Бестужев в своей характеристике народной песни? Нам представляется, что она далеко не полна. Очевидно, в год написания статьи Бестужев не был знаком с «разбойничьей песней», песней протеста и негодования, удали и разгула — в ней критик нашел бы «мыслей» гораздо больше, чем в других песнях. В данном пункте сказанное Бестужевым отличается

от того, что сам он напишет в статье 1833 г. о романе Полевого и что разовьет лет 20 спустя Белинский.

От народной песни Бестужев переходит к характеристике «Слова о полку Игореве» и «Задонщины», чем и заканчивается его «обзор» старой словесности. В «Задонщине» и «Слове» Бестужев нашел «черты русского народа». Здесь он почувствовал «русскую боевую душу», «непреклонный славолюбивый дух». Выражением «возвышенный» критик-декабрист определил и характер народа и его песнопение. Верно ли это определение? История говорит — да. Но нам важно отметить не только верность бестужевского взгляда на русский народ, как народ героический, — необходимо обратить внимание и на то, что определение Бестужева направлено против карамзинистского понимания народности. Характеризуя век Ивана III, перечисляя заслуги «первого истинного самодержца Руси», Карамзин в безудержном восхищении перед личностью и деятельностью князя московского, «земного бога для россиян», приписывает народу «беспредельную покорность воле монаршей». Покорность воле монаршей — вот отличительная черта русского народа, по Карамзину. «Непреклонный, славолюбивый» — таков русский народ, по Бестужеву. Здесь четко сформулированы два диаметрально противоположных принципа народности — реакционный и прогрессивный, революционный. Первый принцип антиисторичен, второй — подтверждается всем ходом исторического развития, первый направлен на то, чтобы держать народ в кабале у царя и помещиков, второй является актом политической борьбы за освобождение народа; первый вел к искаженному изображению жизни народа в прошлом и настоящем, второй основывался на правильном понимании положения народа, его исторических судеб и должен был привести к подлинному изображению народной жизни и народного характера. Таким образом, здесь выражены две политические и литературные концепции,[1] противоборствующие, исключающие одна другую. Примирения между ними не может быть.

[1] Мы уже видели выше, что Бестужев, отмечая уныние народных песен, по сути дела полемизировал с Карамзиным, у которого мужички, как известно, не знали печали и были все богаты.

Статья Бестужева в первой, рассмотренной нами, части резко противопоставлена всем имевшимся тогда «взглядам», «опытам», «историям» с их монархистско-христианской направленностью (Греч, Остолопов, Плетнев, Мерзляков и др.). Взгляд Бестужева на русский народ как народ «непреклонный, славолюбивый» является антикарамзинистским; критик-декабрист уже в самом начале статьи полемизирует с концепцией «Истории государства Российского». Бестужевское понятие народности коренным образом отличается от того, что писали по этому вопросу и сам Карамзин, и его последователи. Бестужев ищет и находит героические черты народа в его героической литературе. Этот декабристский взгляд не противоречит объективным историческим данным, говорящим о том, что героический пафос древней литературы был отражением героической истории нашего народа. Взгляд Бестужева полностью совпадает со взглядом Рылеева, выраженным в его «думах, или гимнах исторических». Определив целенаправленность «дум» Рылеева словами — «возбуждать доблести сограждан подвигами предков», Бестужев тем самым определил установку своей статьи и характер рылеевской поэзии.

«Перешагнув» через пять столетий, Бестужев ступил на почву «новой эпохи», которая, по мнению нашего критика, в красноречии начинается с Феофана, а в поэзии — с Кантемира.

Бестужеву чужд взгляд, будто красноречие в эпоху Петра родилось из-за пустого подражания. В Феофане обычно видели дурной прививок от гнилого дерева схоластизма западного духовенства. Собственно, так же оценивалась и деятельность Ломоносова — теоретика и одного из блестящих представителей ораторского искусства в России XVIII в. Точка зрения декабристов была диаметрально противоположна. Необходимо двигать пружины государства сердцами слушателей — вот где основа и причина появления красноречия в Петровскую пору. Преобразовательная деятельность Петра требовала пропаганды в обществе, агитации за его начинания; воздействие петровских реформ на общественное мнение находило свое дополнение в воздействии вдохновенного слова оратора. Не вина, а беда Ломоносова, что его речи адресованы не к народу, — мы знаем: он думал прежде всего о народе. Движение декабристов придает ораторскому

искусству новую окраску. Идея гражданственности — вот содержание ораторской поэзии декабристов, борьба с крепостничеством в центре внимания поэтов-ораторов. Поэтическое красноречие возносится на небывалую до того времени высоту, создаются такие образцы его, как «Вольность» Пушкина, думы, или «героические гимны», Рылеева и некоторые «духовные» стихотворения Федора Глинки. Стихотворения Рылеева и Глинки, опубликованные в «Полярной звезде», могут служить примером трибунной поэзии. У поэтов-декабристов появляется настоятельное тяготение к оде; Кюхельбекер пишет в «Мнемозине» теоретическую статью в защиту одического (следует читать — политического, по форме — ораторского) начала в поэзии. Ода, прославлявшая царей, восхвалявшая бога, становится «одой на свободу», тираноборческой. Не забудем: это — другая ода. В ней державинского бога и государя уже в начале века заменил Человек Пнина, а затем Гражданин Рылеева.

Однако и Державин для Рылеева и Бестужева был большим и неподражаемым гражданским поэтом XVIII столетия. Он нашел искусство «говорить царям истину», — пишет Бестужев о Державине.

Он был в родной своей стране
Органом истины священной, —

говорит Рылеев.[1]

Державин явился «к с л а в е н а р о д а и века», — читаем мы в статье Бестужева. «Он пел и с л а в и л Русь святую», — будто в подтверждение взгляда Бестужева пишет Рылеев.

Но при общности отношения к Державину Бестужева и Рылеева нельзя не отметить, что были и некоторые расхождения между ними. Рылеев приближал Державина к современности, вкладывал в его творчество политическое содержание 20-х годов. Бестужев же был более историчен. Строго говоря, антиисторической нельзя назвать и рылеевскую интерпретацию: поэт взял лишь одну тенденцию в твор-

[1] Одновременность написания устанавливается довольно легко. Рылеевская дума рассматривалась в Вольном обществе 6 ноября 1822 г. Дата цензурного разрешения «Полярной звезды», открывающейся статьей Бестужева, — 30 ноября 1822 г.

честве Державина, наиболее близкую ему, от многого Рылеев абстрагировался, но тенденция в конечном счете у Державина была сильна. Эту живую тенденцию творчества Державина, конечно, подчеркивает и Бестужев, но не в такой степени, как Рылеев, отчего взгляд критика является более объективным.

По той же линии идет оценка поэтов, вышедших из школы Державина—Ломоносова. Петров, Бобров, Херасков и некоторые другие, на первый взгляд, ставятся Бестужевым незаслуженно высоко. Но они были представителями большой темы, а обстановка 20-х годов — распространенность камерной, альбомной поэзии, уводящей читателя от живых социальных проблем, — требовала от декабристов обращения к большой современной действительности, а также к героическому историческому прошлому, к поэтам-эпикам, представителям гражданского классицизма. Отсюда же идет высокая оценка трагиков Озерова и Княжнина. Здесь Бестужев находит высокие чувства, пламенное воображение, сильные страсти.

Категория возвышенного занимает в эстетике декабристов огромное место. Возвышенное — в глазах Бестужева и Рылеева — необходимое качество поэта. Критик-декабрист в «Полярной звезде» неизменно отзывается с похвалой о тех, кто обладает этим качеством. «Пнин с дарованием соединил высокие чувства поэта», — пишет Бестужев о поэте-радищевце. «В Гнедиче виден дух творческий и душа воспламененная, доступная всему высокому», — как бы повторяет он сказанное о Пнине. Категория возвышенного, высокого в эстетике Бестужева не применима ни к Жуковскому, ни к Плетневу, ни к Дельвигу, хотя они куда как «возвышенны». Не закрепляет критик подобного определения и за Баратынским, мысли которого «не величественны, но очень милы». «Возвышенный» и «высокий» — это не просто возвышающийся над прозой жизни. Если бы так, то тогда Жуковский возглавлял бы поэтов «возвышенных» и «высоких». Возвыситься в эстетике декабристов не означает уйти от чего-то, отвернуться. Наоборот, признаком возвышенного у декабристов является активность, действительность. Революционно-романтическая категория «возвышенного» есть эстетическая категория, выражающая историческую тенденцию изменения, ниспровержения отживающих общественных

отношений. Пассивность Жуковского, Карамзина и Плетнева есть акт примирения с действительностью, акт утверждения существующего. Их «разлад» с действительностью не простирался до необходимости изменения существующих отношений, их реальный идеал практически не возвышался над прозой окружающего бытия, наконец, их мечты противоречили логике развития действительности.

Бестужев охотно признавал заслуги Карамзина и Жуковского. Никакой предвзятости суждения у критика нет. Но при всем том Бестужев выступил в «Полярной звезде» очень недвусмысленно и против Карамзина, и против Жуковского в решающих пунктах их мировоззрения, не распространяя своих похвал далее признания заслуг названных писателей главным образом в языковом отношении. В подцензурной форме Бестужев очень определенно заявил о враждебности ему политической концепции «Истории государства Российского», сказав, что «время рассудит Карамзина, как историка». Ни слова похвалы главному труду Карамзина, подвигу всей его жизни. Ни слова не сказал Бестужев и о значении Карамзина-писателя с точки зрения содержания его произведений. Подобное умолчание очень красноречиво. О Карамзине-поэте сказано довольно сдержанно: «Легкие стихотворения Карамзина ознаменованы чувством: они извлекают невольный вздох из сердца девственного и слезу из тех, которые всё испытали».

Что касается Жуковского, задача Бестужева заключалась в том, чтобы не просто охарактеризовать поэта, но и указать ему возможные пути к широкому творчеству для многих, а не для избранных. Это в очень деликатной форме критик и делает. Характеристика, данная Жуковскому в «Полярной звезде», справедливо признается исследователями одной из лучших во всей критической литературе о Жуковском. Не случайно ею воспользовался Белинский в известном рассуждении о романтизме. Нет сомнения, что Бестужев любил Жуковского и признавал огромность его дарования. И вместе с тем совершенно очевидно, что линия романтизма Жуковского для критика не приемлема, он решительно отвергает ее. Мистика, наклонность к чудесному, германский колорит — это нечто враждебное для него. Возьми гражданскую тему — постоянное тре-

бование декабристов к Жуковскому. На призыв декабристов Жуковский так и не откликнулся. Таким образом, статья Бестужева являлась первым развернутым выступлением против карамзинизма и элегического романтизма.

В 1822 г. «Полярная звезда» с восторгом встретила Пушкина как автора поэм «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник». Мужество слога, острота и смелость мысли, роскошь и пылкость воображения, вся жизнь местных красок природы, оригинальность, музыка русского языка — так ни о ком другом не говорилось в «Полярной звезде». Важно отметить и следующее: в той характеристике, которую Бестужев дал Пушкину, содержится прямая полемика с Вяземским и Плетневым, что ускользало от взора исследователей. Когда Бестужев написал о Пушкине: «Неровность некоторых характеров и погрешности в плане суть его недостатки — общие всем пылким поэтам, увлекаемым порывами воображения», он в очень мягкой форме, но возражает и Плетневу, и Вяземскому. Оба критика выступили в 1822 г. со статьями о «Кавказском пленнике». И тот и другой отмечали неровность характеров пушкинских героев. «Сознаться должно», что характер пленника «не всегда выдержан и, так сказать, не твердою рукою дорисован», — пишет Вяземский.[1] «Характер русского в „Кавказском пленнике" не совсем обдуман и, следственно, не совсем удачен», — читаем мы и у Плетнева, который сказал и о «погрешностях в плане» «Руслана и Людмилы» как об «ошибках, неразлучных с первыми опытами».[2] Бестужев буквально повторяет отмеченные критиками «недостатки», но он дает им совсем иное объяснение. Он не видит в них «нетвердости руки», «необдуманности», неудач «первых опытов», а возводит все к характеру творчества Пушкина. Не касаясь вопроса, прав или не прав критик-декабрист, следует отметить лишь разногласие между ним и Вяземским, а также Плетневым. В общей сложности эти разногласия весьма значительны. В частности (хотя это далеко не частность!), все критики, писавшие о «Кавказском

---

[1] П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 1, СПб., 1878, стр. 76.

[2] Соревнователь просвещения и благотворения, 1822, т. 20, кн. 1, стр. 42, 44.

пленнике» (Вяземский, Плетнев, Погодин), неизменно связывали его с творчеством Байрона. И только Бестужев говорил об оригинальности Пушкина, что критик-декабрист увидел в поэте с первых его шагов.

Мы уже говорили, что Дельвиг стал «собирать» «Северные цветы»[1] для некоего противодействия «Полярной звезде». Статья Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» была полемичной по отношению к Бестужеву и Рылееву. Полемична вся статья Плетнева, что подчеркивается ее названием — открытой ориентацией на великосветский салон, полемичен и весь альманах.

Дав общее определение поэзии, «любитель художеств» Плетнев «останавливает свое внимание только на том, что ближе подходит к совершенству, по его образу мыслей». И здесь в оценках Державина, Капниста, Дмитриева, Крылова, Жуковского, Пушкина, Гнедича, Рылеева, Дельвига раскрывается со всей очевидностью антидекабристская сущность статьи Плетнева. Подобно Вяземскому, автор «Письма» стремится шаг за шагом опровергнуть Бестужева, каждая его характеристика является негативом с портретов писателей, набросанных критиком-декабристом. То, что у Бестужева дано в темных тонах, у Плетнева окрашено в светлые краски; там, где Бестужев порицает, Плетнев восторгается; то, что Бестужев выносит на первый план, Плетнев опускает, и наоборот. Вот параллели, по нашему мнению, не менее красноречивые, чем те, что мы обнаружили у Вяземского и Бестужева.

Плетнев. Капнист «скромный в желаниях, иногда мечтатель, певец седечной грусти, нежный друг, он влечет к себе тишиною души и ясностию своей поэзии».

Бестужев. «Капнист известен колкою сатирою, комедиею „Ябеда“; оды его дышат благородством мыслей».

Плетнев. Жуковский «первый поэт» «*золотого века* нашей словесности». «Соединяя превосходный дар с образованнейшим вкусом... все правила стихотворства со всеми его... отступлениями от условий места и времени, он дал нам почувствовать, что

[1] Цензурное разрешение 9 августа 1824 г.

поэзия... должна покоряться труднейшему искусству». У него «всякое чувство облекается какою-то мечтательностию, которая преображает землю, смотрит далее, видит больше, созидает иначе, чем простое воображение».

Бестужев, как мы помним, все это назвал мистикой, наклонностью к чудесному, отнес за счет «недостатков» поэзии Жуковского.

Плетнев. Пушкин, «этот игривый и разнообразный ум, эта живая и своенравная душа исполнена в то же время самых нежных, самых глубоких движений чувствительности. Прочтите ряд трогательных мест в его поэмах, соберите его небольшие стихотворения, сии быстрые изменения кратковременной задумчивости или внезапной грусти: в них поразят вас и звуки, и краски, и чувства своею точностию, естественностью, простотою и силою. Он несколькими стихами соберет к душе вашей всё, что жизнь дает прекрасного, очарует вас, и в миг отнимет всё ужасным разуверением, что это быстро исчезает».

Таков плетневский Пушкин, он очень похож на Жуковского. Как образец творчества великого поэта, Плетнев приводит элегию «Увы, зачем она блистает минутной, нежной красотой». Другое увидел в Пушкине Бестужев.

Бестужев. «Новый Прометей!» «Мысли его смелы, остры, огнисты». «Еще в младенчестве он изумил мужеством своего слога, и в первой юности дался ему клад русского языка». Его «Кавказский пленник» «блистает роскошью воображения и всею жизнию местных красот природы...»

Создается впечатление, что Плетнев и Бестужев говорят о разных людях. И нет сомнения, что о Пушкине говорит Бестужев, но не Плетнев: так не походит плетневский элегик на Пушкина. Но пойдем дальше. Вот о Дельвиге:

Плетнев. «Барон Дельвиг, в лирических стихотворениях, исполнен восторга истинного и сильного. Его подражания простонародным русским песням облечены всеми красками оригиналов, их простотою и чувством. Но в стихах без рифм, как написаны его идиллии в роде древних, он едва ли не более всех наших поэтов имеет гармонии и так называемой грации».

Бестужев. «Дельвиг — одарен талантом вымысла; но, пристрастясь к германскому эмпиризму и древним формам, нередко вдается в отвлеченность. В безделках его видна ненарумяненная природа».

Плетнев. «Рылеев избрал для себя прекрасное поприще. Он представляет вам поэтические явления из отечественной истории. Его так называемые Думы содержат лирический рассказ какого-нибудь события. Не всходя до оды... они отличаются благородною простотою истины и поэзиею самого происшествия. Чистый и легкий язык, наставительные истины, прекрасные чувствования, картины природы: вот что удовлетворяет в них любопытному вкусу».

Бестужев. «Рылеев, сочинитель дум, или гимнов исторических, пробил новую тропу в стихотворстве, избрав целию возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Дума как бы стоит между героидою и гимном.

Выписки можно продолжать и дальше. Это не просто спор о понимании того или другого деятеля русской поэзии, характерных чертах его творчества — нет, идет напряженная борьба за различные пути развития русской литературы, ее назначение, ее общественную роль, что и определяет различное понимание содержания и принципов творчества, а это в конечном итоге приводит к столь противоречивым оценкам одних и тех же литературных явлений. Здесь встретились представители двух партий, двух направлений нашего общественно-политического развития: осторожный Плетнев, игравший в либерала, а при обострении политической ситуации вплотную смыкавшийся с реакцией, и Бестужев, говоривший от имени нарастающей революции. Это и сказалось на определении романтизма Плетневым и Бестужевым. И у того, и у другого мы находим «местность» и «народность», и «национальность», и всё, что угодно; у Плетнева даже встречается «национальная местность». Казалось бы, что перед нами — представители одного направления в романтизме; казалось бы, Бестужев и Плетнев опираются на одну и ту же стилевую практику, однако это далеко не так. Идиллическая «местность» Плетнева ничего общего не имеет с бестужевским принципом «местности», требующим описания и дымных хат, и грязных изб, где ютятся обез-

доленные люди; буколическая «народность» Плетнева далека от понимания народности Бестужевым и Рылеевым, которые требовали описания героических дел русского народа, воспроизведения его гражданских, патриотических подвигов.

Отсюда следует, что нельзя судить о принадлежности теоретика к «декабристскому романтизму» на основании принципа «народности и местности»: данный принцип пропагандировался представителями самых различных политических направлений, в связи с чем было различным и содержание принципа, что и обязывает исследователя не ограничиваться констатацией данного принципа в той или другой теории, а вскрыть его содержание.

О принадлежности критика, теоретика, писателя, поэта к революционному романтизму можно судить лишь тогда, когда нами установлено его отношение к окружающей действительности. Это обстоятельство является главным и решающим. Отношение к революции прежде всего определяет живое содержание принципов «местности», «народности», «национальности» и всех других политико-эстетических категорий («идеал», «высокое», «прекрасное» и т. д.).

Критические выступления Бестужева в защиту самобытной литературы и возвышенной поэзии нашли свое практическое воплощение на материале художественной части альманаха. Для «Полярной звезды» характерно почти полное отсутствие переводов и большое количество произведений с национально-исторической и вольнолюбивой тематикой. Рылеев печатает свои думы «Рогнеда», «Иван Сусанин», «Мстислав Удалой», прославляющие героев прошлого и наполненные высоким гражданским пафосом. Бестужев подчеркнул это значение рылеевских дум для современников, когда писал, что Рылеев избрал себе целью «возбуждать доблесть сограждан подвигами предков». В этом же плане следует рассматривать и повесть самого Бестужева «Роман и Ольга», посвященную древнему Новгороду.

Рядом с романтическими образами героев прошлого в «Полярной звезде» звучала реальная героика освободительной и революционной борьбы. В 1821 г. началось греческое восстание. За год до этого вспыхнула военная революция в Испании, несколько позже —

в Неаполе и Португалии. Европейские революционные события воспринимались передовой Россией с горячим сочувствием. В России с напряженным вниманием следят за ходом национально-освободительной борьбы народов Балканского полуострова против турецкого ига. В «Полярной звезде» печатается без подписи стихотворение Пушкина «Мечта воина» — непосредственный отклик на греческое восстание. Пушкин полон героических мечтаний увидеть «праздник мести»:

Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?

Об этом же думают и другие поэты «Полярной звезды»: Рылеев, Кюхельбекер, Григорьев. Намек на греческое восстание содержится в стихотворении Пушкина «К Овидию», напечатанном в «Полярной звезде» также анонимно. Стихотворение это автобиографично. Пушшин сравнивает свою судьбу с судьбой опального поэта — изгнанника Овидия.

Ратуя за возвышенное, декабристы одновременно с высоким ораторским стилем в XVIII в. выделяли и приветствовали сатирическое направление. Явное предпочтение писатели-декабристы отдавали героике, возбуждая «доблесть сограждан», но и сатире они придавали исключительное значение. Декабристская критика неизменно отмечала огромное значение сатиры для русского общества, она первая указала на преобразующую роль сатиры, находя здесь ту силу, которая способна, по выражению Бестужева, *рушить громады*. Не о «благонамеренной сатире» говорили критики-декабристы, не о сатире «поучающей», «исправляющей» нравы — такая сатира нужна была Карамзину и Измайлову — нет, для декабристов сатира — мощное оружие борьбы за свободу, перед мечом сатиры «трепещут тираны». Всё это в общем и целом заставило декабристов пересмотреть сложившуюся к тому времени теорию сатиры и сделать переоценку писателей-сатириков. Данная задача во многом была решена Александром Бестужевым в «Полярной звезде».

То новое, что внес Бестужев в теорию сатиры, кратко заключается в следующем. До него в сатире видели средство *управления* в ру-

ках господствующего класса. Отсюда и шло — «улыбаяся», «поучай», «исправляй». Бестужев первым взглянул на сатиру, как на оружие ниспровержения существовавших общественных отношений — самодержавия и крепостничества, о «поучении», «исправлении» здесь уже не могло быть и речи. С точки зрения первой теории, теории Сульцера, культивировавшейся у нас Измайловым, Жуковским, Остолоповым, Гречем, сатирическое обличение идет сверху вниз; по Бестужеву, сатира нацелена на верхи. Это, в свою очередь, поиному ставило вопрос и о происхождении сатиры. По теории Сульцера, сатира зародилась при дворе и оттуда спустилась в массы народа. По Бестужеву, сатиру породил народ, и она ворвалась во дворцы, предвещая, что скоро здесь появятся и сами «сатирики», вооруженные и другим оружием. По Сульцеру, сатира живет или должна жить на государственном бюджете. Бестужев ясно видел, что настоящая сатира живет и питается ненавистью народа к своим угнетателям.

В развернутой форме всё это Бестужев высказал в более поздний периода, именно в 1833 г., в статье «О романе Полевого „Клятва при гробе господнем“». Но и в статье 1822 г. мы встречаемся почти со всеми элементами данной концепции. Бестужев был одним из первых, если не первым, кто показал великую преобразующую роль подлинной сатиры, ее народность, ее реализм. Она лежит в основе многих бестужевских характеристик. Кантемир — «верный живописец нравов и обычаев века» «будет жить славою в дальнем потомстве»; критические творения Фонвизина «будут драгоценными для потомства как съемок нравов того времени». Никто до Бестужева не писал так верно о Крылове: «В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер: его каждая басня — сатира, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом простодушия». Крылов первый показал наш русский ум и язык без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Бестужев, не называя, указывает на трех своих противников: Шишкова (пыль древности), Карамзина (французская фольга), Жуковского (немецкий венок из незабудок). Все они выступали за народность и оригинальность, но

никто из них не был в состоянии прямо, без защитительных стекол взглянуть на народ. Декабристы это сделали. Бестужев нашел точное слово и для характеристики народа и для характеристики Крылова. Удаль! — вот искомое слово.

5

Вторая книга «Полярной звезды» готовилась в напряженной политической обстановке. События в Испании, война греков с турками, поддержка царским правительством «принципа легитимизма» и во имя этого удушение революционного движения в Европе; назревание кризиса внутри страны, финансового, экономического, политического, резкое недовольство широких кругов населения внешней и внутренней политикой царского правительства; одновременно — всеобщий интерес к политике, втягивание в политику — вот что питало мысль, когда Рылеев и Бестужев писали свои произведения и готовили очередную книгу альманаха. Они живо ощущали, как политика врывается в словесность и словесность становится политикой, определяется политикой, живет ею. Это возводится Бестужевым в теоретический принцип, а Рылеевым этот принцип распространяется на всю его поэтическую практику. Поистине, великое значение статьи Бестужева «Взгляд на русскую словесность в России в течение 1823 года», написанной в октябре—ноябре 1823 г., состоит в том, что она устанавливает связь, взаимодействие, тесный союз литературы и политики. Это положение — одно из величайших завоеваний русской эстетической мысли. Оно не будет отменено и на следующем, революционно-демократическом этапе нашего развития. Герцен, Белинский в 40-е годы, а позже Чернышевский и Добролюбов будут разрабатывать этот принцип, в чем и выразится органическая связь двух этапов освободительного русского движения: теория отражала революционную практику.

В тесной связи с практикой политической борьбы находятся эстетические принципы Бестужева-критика и Рылеева-поэта. «Гром сражений» — вот центр их теоретических и художественных построений. По мысли Бестужева, в битвах поверяется истинность как науки, так

и «словесности». Всё, что писали Бестужев и Рылеев, всё, чему учили они, овеяно огнем битв за новое. «Недовольством сущностию» (существующим), задачами борьбы с этой «сущностью» продиктована их теория романтизма.

Однако показ только существующего, пусть и критически изображаемого, не мог удовлетворить ни Бестужева, ни Рылеева, и они настоятельно требуют от художника «вымыслов». Причем «политическая печать» словесности находится в органической связи с жаждой «вымыслов» и «недовольством сущностию». Иными словами, критическое изображение отживших форм действительности, пропаганда необходимости борьбы с неудовлетворяющей тебя «сущностию», попытка выйти за пределы этой сущности — таково существо декабристского романтизма, таково требование декабристов к писателю, к художнику, поэту. Эстетическая концепция декабристов, развиваясь и формируясь, остается неизменной в главном и основном: она представляет собой своеобразное сочетание элементов реалистической и революционно-романтической эстетики. Это не просто романтизм в том смысле, в котором историк литературы уподобляет это понятие.

Определив связь литературы и политики, Бестужев переходит к анализу положения литературы в России. Начало нашей новейшей литературы он ведет от политического движения 1812 г., когда «взоры всех обратились на поле битвы, где полсвета боролись с Россией и целый свет ждал своей участи. Тогда слова: Отечество и слава электризовали каждого. Каждый листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из рук в руки с восхищением. Похвальные песни, плохи или хороши они были, раздавались по улицам, и им рукоплескали в гостиных; одним словом, всё тогда казалось прекрасным, потому что все было истинным». Патриотический подъем породил особое внимание общества «к родному языку и поэтам, начинавшим возникать в то время».

Если бесспорная заслуга Бестужева состоит в том, что он первый отчетливо сформулировал уже в 1823 г. мысль об определяющем воздействии отечественной войны на развитие русской литературы (эта мысль будет высказана и Белинским в 4-й статье о Пушкине), то едва ли меньшее значение имеет и другое положение декабриста.

Он усмотрел неоднородность движения 1812 г. Никогда не забывает критик о том, что были «улицы» и «гостиные», что патриотизм «улиц» был иным, чем патриотизм «гостиных». Уже в феврале 1819 г. Бестужев осудил вздорные тирады Шаховского, уверявшего, будто вельможи спасли отечество. Сейчас, в 1823 г., Бестужев выразил это с еще большей определенностью. «Непостоянная публика приняла вкус ко всему отечественному, как чувство, и бросила его, как моду». Так сказал декабрист, вынося свой приговор «гостиным», той части общества, которая (лишь миновала опасность) «совершенно охладела к родному языку» и к родной литературе. «Мода»! — убийственное и совершенно точное определение патриотизма гостиных. Насколько был точен и глубок Бестужев — об этом расскажет нам Лев Толстой: он в «Войне и мире» подтвердит каждое слово декабриста.

Точка зрения Бестужева на войну 1812 г. шла вразрез с правительственной, официальной версией, распространяемой сначала Шаховскими и Яценковыми, а несколько позже — Булгариными и Загоскиными.

Рассматривая состояние русской словесности в 1823 г., Бестужев отмечает ее «оцепенение», что, по мнению критика, связано с вспыхнувшей вновь галломанией: после победы над Наполеоном «затаившаяся страсть к галлицизмам захватила вдруг все состояние сильней, чем когда-либо». Обращение к русской журналистике и мемуарам той поры обязывает нас сказать, что Бестужев описал положение в высшей степени точно, причем его свидетельство абсолютно совпадает с мнением Грибоедова, работавшего тогда же над третьим актом «Горя от ума», в котором Чацкий произносит монолог огромного исторического значения. Одновременность выступлений Грибоедова и Бестужева не является случайностью: тот и другой, выражая самые передовые идеи времени, видели в аристократии главного врага национальной культуры.

Только в свете общего взгляда Бестужева на 1812 г. («разбужен спящий великан Севера»), только в свете происходивших тогда событий (народ боролся и против французов, и против русских помещиков) становятся понятными все иносказания, вся образная система статьи Бестужева 1823 г., шифр становится прозрачен и ясен.

«...Воображение, недовольное сущностию, алчет вымыслов, и под политическою печатью словесность кружится в обществе. Это было и с нами в отечественную войну ...Но политическая буря утихла, укротился и энтузиазм. Внимание наше... и воображение ...постепенно погрузились опять в бездейственный покой. Огнистая лава вырвалась, разлилась, подвигнула океан — и застыла. Пепел лежит на ее челе, но в этом пепле таится растительная жизнь и когда-нибудь разовьются на ней драгоценные виноградники».

Так начинается статья. А вот ее конец: «Русский язык... возвышается ныне, несмотря на неблагоприятные обстоятельства... Один недостаток — у нас мало творческих мыслей. Язык наш можно уподобить прекрасному усыпленному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические звуки или стонет о чем-то; но луч мысли редко блуждает по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец — Алкид, который в колыбели еще удушал змей! — И вечно ли спать ему?»

Нетрудно заметить, что образная система статьи — зыбкая, шаткая; один образ напластовывается на другой, смысл раздваивается, намек перекрывается намеком; следуя за Бестужевым, мы одновременно идем двумя, тремя путями, ведущими к одной цели. Семантическая двупланность лексики и образной системы, характерная в целом для поэтов-декабристов, относится в равной мере и к декабристской публицистике, чему примером служит рассматриваемая статья. Ее основной идеей, лейтмотивом является положение о связи политики и словесности, политики и языка. Пафос утверждения революции, неистребимая вера в нее, вера в окончательную победу народа-великана, жажда политической бури, страстный призыв бури («Огнистая лава вырвалась, разлилась, подвигнула океан — и застыла» — это не поэзия, а политика) — таков пафос статьи Бестужева. Вечно ли спать русскому великану, который в колыбели еще удушал змей! — конец, достойный всей статьи. Она появилась в январе 1824 г. Тогда же Рылеев принимает Бестужева в Северное тайное общество. Статья «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года» была по своему характеру заявлением Бестужева о приеме его в тайное общество. Рылеев по достоинству оценил это заявление.

6

Рассматривая «Полярную звезду», необходимо помнить, что не всё в ней ясно и открыто выражено, что в отдельных произведениях масса намеков, иносказаний, что слова автора зачастую имеют двойной смысл, и это обязывает нас быть особенно внимательными. У Бестужева на этот счет встречается очень определенное замечание. В письме его к Ксенофонту Полевому от 21 февраля 1834 г., опубликованном в свое время в «Русском вестнике» (1861, № 4) в малозначительных отрывках, но с многозначительными точками, подробно рассказывается об отношениях с цензурой. Бестужев пишет: «Чувствую, каково для человека выносить подлейшие прижимки цензоров. Говорю по опыту, ибо однажды чуть не прибил цензора Красовского, выведенный из себя его вандальством. Ладить с мадам цензурою не умею я ни на словах, ни на письме. Писав однажды последнюю критику (статья в «Телескопе», — *Авт.*), я клал перед собой ножницы, как символ прокрустовой постели... — но все-таки, съежившись даже в картофель, не прошел и вполовину цел сквозь грохот вашего Лазаря. Было худо, бывало худо — а уж этакого пошлого, грязного живодерства я не мог себе вообразить даже замурованным. Приглашайте после этой попытки писать о чем-либо! Слуга покорный. Не только за критику, да и за сказку страшно садиться — и положительно говорю Вам, что это главная причина моего безмолвия».[1]

Конечно, не только в 1834 г. подобные обстоятельства волновали Бестужева. Из переписки Бестужева с Пушкиным, по письмам декабриста к родным, наконец, по самой статье мы видим, что мысль о цензуре преследовала Бестужева в пору его работы над изданием третьей книги «Полярной звезды». 8 сентября 1824 г. он пишет сестрам: «Вы спрашиваете о Полярной? .. Проза будет и, надеемся, хорошая. Я принимаюсь понемногу, брат (Николай, — *Авт.*) привезет свеженького». И рядом: «Литературных новостей хороших нет. Шишков скотина старовер, а цензор Бируков и Греч под уголовным

[1] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Собрание автографов.

за проповеди Госнера».[1] Бируков цензуровал альманах, и коль скоро он находился под уголовным судом, это не могло не стеснять Бестужева и Рылеева: сговориться с опальным цензором будет особенно трудно.

Уже в первый год издания Бестужеву и Рылееву пришлось столкнуться с придирками строгого цензора. Бируков не пропустил три стихотворения неблагонадежного Пушкина (в том числе послание «Алексееву» и «К друзьям») и одно стихотворение опального Баратынского.[2] Из предосторожности издателям пришлось два из четырех напечатанных в «Полярной звезде» 1823 г. стихотворений Пушкина («Овидию» и «Мечта воина») поместить анонимно.

Репутация первой книжки альманаха, установившаяся в обществе, заставила насторожиться и без того взыскательного Бирукова. При проведении через цензуру второй книжки альманаха издателей ждали еще большие трудности. Правда, не пропущенное в 1822 г. стихотворение Пушкина «К друзьям» (раньше оно называлось «Вакхическая песнь») благополучно прошло цензуру, но зато снова было задержано послание «Алексееву» и еще три стихотворения: «Иностранке»,

---

[1] В письме к Вяземскому от 7 мая 1824 г. Бестужев сообщает об Иоганне Госнере, лютеранском священнике, члене Библейского общества, имевшем большой успех в Петербурге как проповедник: «Чтобы не прыгнуть сразу к предметам занимательнейшим, я расскажу Вам здешние новости: начну с поповских. Магницкий, как пиявица, высосав, что можно от Голицына, передал его Арак<чееву>, и срезал его под корень. Здесь был выписной фанатик, некто Госнер (пастор), который сделал в Петербурге раскол своими проповедями, полоумно-дерзкими; но как немцам все позволено, то он продолжал пороть свое. Переводят его на русский. Попов поправляет, Бируков подмахивает, Греч печатает, — и Магницкий доносит на сочинителя в богохульстве. В самом деле, он там толковал даже, что, вероятно, у Марии были и другие дети, ибо сказано: Иисус был перворodный, что Иоаким выгнал ее из дому за разврат и тому подобное. Государь, прочитав эти нотабене, велел судить Бирукова, запрещают продажу, таскают Греча, высылают из Руси Мессию, а говорят у Голицина отберут министерство просвещения. Итак, век ханжей церковных прошел, но цензура все не милостивее» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 218).

[2] См. письма Рылеева к Баратынскому от 6 сентября 1822 г. и к Туманскому от 3 октября 1823 г. (К. Ф. Рылеев, Полн. собр. соч., «Academia», М.—Л., 1934, стр. 465, 472).

Кривцову» и «В. Л. Пушкину».[1] В первом из них Бирукову не понравилось слово «боготворить», а во втором он нашел «ненравственную» цель («двое за одной волочатся»). Не были пропущены стихотворения В. И. Туманского: «К милой деве» («слишком сладострастно») и «Манценил» («слишком либерально»). Такая же участь постигла «Петербург» Вяземского, одно из наиболее «возмутительных» его стихотворений. Пришлось обратиться к помощи влиятельного А. И. Тургенева, который взялся провести крамольные стихи через Сциллу и Харибду цензуры. Но Тургенев столкнулся с препятствием более могущественным, чем цензор Бируков. В ноябре 1823 г. он пишет Вяземскому: «Я хлопотал за „Полярную звезду“ и говорил с ценсором о твоих и Пушкина стихах, но не ценсор виноват. Кое-что выхлопотал и возвратил стихи Рылееву». В следующем письме он опять намекает на существование какого-то давления на цензуру: «Еще не знаю, на что решился цензор и что переменили издатели. Официальная бумага теперь не поможет: не отсюда гром гремит».[2] Старания А. Тургенева почти не увенчались успехом. По-видимому, из пушкинских стихов удалось добиться напечатания только послания «В. Л. Пушкину». Стихотворения же «Иностранке» и «Кривцову» в альманахе напечатаны не были».[3]

Стихотворение Вяземского «Петербург» было напечатано с большими цензурными купюрами. Прочитав альманах, Вяземский сразу же упрекает Бестужева в том, что тот напечатал «Петербург» в искаженном виде и не использовал запрещения для открытого наступления на цензуру: «Вы поступили со мной беззаконно, выпустив меня на позор несчастным скопцом. Я писал к Жуковскому, что для выгоды книжки Вашей и моей предпочел бы я, если ничего моего не напечатали бы Вы, а сказали в особом замечании, что из присланного кн. Вяземским ничего в этой книжке не печатается по некоторым об-

[1] См. письмо Рылеева к В. Туманскому от 3 октября 1823 г.

[2] Письма от 6 и 9 ноября 1823 г. — Остафьевский архив, т. 2, СПб., 1899, стр. 365, 366.

[3] Стихотворение «Алексееву» под названием «Послание к А.» было напечатано в «Полярной звезде» на 1825 г.

стоятельствам. Таковое замечание сделало бы фортуну мою и Вашей книжки. Тем более жалею, что Вы у меня похитили случай ополчиться на брань и ругательство. А я уж так было и зубы навострил».[1] В письме от 28 января 1824 г. Бестужев отвечал Вяземскому: «Вы еще худо знаете нашу цензуру, любезнейший князь, когда воображать можете, что она бы позволила ремарку о некоторых причинах, не позволивших напечатать Ваших стихов. А мы многое бы потеряли, если б отказались от такого наследства, как седьмая часть Ваших стихов. Что ж обезобразила принелепая, в том каемся, но поставьте себя на нашем месте и скажите, отказались ли бы Вы украсть, как Прометей, не только взять попросту, огнь с неба, чтоб оразумить свою мраморную статую?»[2] Названные выше обстоятельства (цензурные гонения) заставляли Бестужева «съеживаться», и «съеживаться» тем сильнее, чем больше он хотел сказать публике. А поговорить было о чем: Рылеев и Бестужев в это время являются фактическими руководителями Северного общества, взявшего курс на республику и уничтожение царской фамилии.

Бирукову всё же не удалось стереть политическую остроту «Полярной звезды». Его заботы о ее «нравственности» и благонадежности лишили альманах нескольких хороших стихотворений, но многое ускользнуло от глаз цензора. Гражданские настроения в альманахе господствовали, и «Полярная звезда» по-прежнему вольнолюбиво светила. Мотивы любви к родине и борьбы за ее свободу чередовались с воспеванием пылкой дружбы и с прославлением союза друзей, «недовольное сущностию» воображение обличало существующую действительность и обращалось за образцами для подражания к прошлому России.

Во второй книжке «Полярной звезды» впервые были напечатаны отрывки из новой романтической поэмы Рылеева «Войнаровский». В поэме, так же как это было и в думах, история служит поводом для выражения гражданских настроений поэта. Здесь же опублико-

---

[1] Письмо от 20 января 1824 г. — Русская старина, 1888, № 11, стр. 323—324.

[2] Лит. наследство, т. 60, стр. 213.

ваны стихотворение Кюхельбекера «Святополк» и в отделе прозы повесть Бестужева «Замок Нейгаузена» и очерк Корниловича «Об увеселениях при Петре Великом». Даже элегический псалом Глинки «Горе и благодать» включает гражданские мотивы. Библейские образы в этом «духовном» стихотворении необычно смело поворачиваются против беззакония и рабства на земле:

Господь как будто почивал,
А на земле грехи кипели;
Оковы и мечи звенели,
И сильный слабого терзал.

1824 год был знаменательным в истории Северного общества. Пестелю, приезжавшему в начале года в Петербург, удалось посеять среди северян «республиканские семена». В тайном обществе началось расслоение. Руководство перешло к левой группе, которую возглавлял Рылеев, ставший решительным республиканцем.

Беспрерывная энергичная деятельность на посту руководителя тайного общества не оторвала Рылеева от литературно-издательской деятельности. Теперь значительно в большей степени, чем раньше, была осознана им и Бестужевым насущная необходимость воздействия на общественное мнение. Нелегальные противоправительственные песни были одним из возможных путей этого воздействия. Другим, легальным, путем оставалась по-прежнему «Полярная звезда».

В связи с агитационными песнями Бестужева и Рылеева нам прежде всего хотелось бы заметить, что принцип действительности, как мерило оценки художественных произведений и основа творческой практики, не был чужд декабристской эстетике. Декабристы не были людьми равнодушными к действительности, они очень хорошо знали эту самую действительность и желали ее пересоздать. Песни показывают, что Рылееву и Бестужеву известна народная жизнь, что они полны решимости в борьбе за счастье народа. Всё это и обусловливало конкретную определенность критерия действительности.

Песня «Ах, тошно мне», как и другие песни, написанные Бестужевым совместно с Рылеевым, являются этапом в развитии револю-

ционной поэзии. Впервые требование пересоздать мир, уничтожить крепостничество было высказано не «другом человечества», сочувствующим народу, а шло из уст самого народа. Причем это не просто формальный момент. Подлинное величие Бестужева и Рылеева, авторов революционных песен, состоит в том, что в их песнях народ выступает как субъект исторического развития.

А что силой отнято
Силой выручим мы то, —

говорят крестьяне, исполненные сознания собственной силы.

Бестужев и Рылеев первые «зарегистрировали» появление антицаристской идеологии в народе, в чем и состоит их заслуга огромной политической важности. Чутко схватив это новое, знаменующее целый этап в развитии революционного самосознания масс, декабристы нашли здесь и новое поэтическое содержание, положив его в основу своего творчества...

А до бога высоко,
До царя далеко,
  Да мы сами
Ведь с усами —
Так мотай себе на ус, —

это начало революционной поэзии масс. Так политика оплодотворяла поэзию, так поэзия становилась актом большой политики.

Николай Бестужев очень точно охарактеризовал песню «Ах, тошно мне», назвав ее «катехизисом простого народа». Такое название прекрасно передает социальный угол зрения авторов песни. Они выступали от имени простого народа, глядели на мир его глазами. Всё отмеченное и определяло социальное содержание эстетического критерия декабристов.

Мы уже говорили, что декабристская эстетика не чуждалась критерия действительности. Анализируемая песня служит этому блестящим подтверждением. Каждое слово в ней социально значимо, каждое двустишие — реальный факт действительного положения крестьян в феодальном обществе, песня в целом — яркая картина

общественных отношений, обреченных на слом, на уничтожение. Но совершенно очевидно, что картина стала таковой именно благодаря негодованию авторов, о чем мы можем сказать словами Бестужева: это — благородные порывы людей, почувствовавших себя людьми.

7

Третья книжка альманаха вышла с значительным опозданием — 21 марта 1825 г.[1] Изданная активными деятелями Северного общества, она отличалась особой целеустремленностью и революционным пафосом. В третьей книжке помещено минимальное число политически нейтральных произведений и исключительно широко представлены декабристские опыты в стихах и в прозе. Замечательным документом декабристских настроений является «Исповедь Наливайко» Рылеева. «Исповедь Наливайко» настолько поразила декабристов своим «пророческим духом», что Михаил Бестужев сказал однажды Рылееву: «Предсказание написал ты самому себе и нам с тобой». Рылеев с предельной художественной эмоциональностью выразил готовность политических борцов к самопожертвованию, их беспредельную любовь к родине. Той же идеей гражданского долга проникнута повесть А. Бестужева «Изменник». В ней рассказана история двух братьев. Один, Михаил, — истинный патриот своей родины, мужественный в бою и преданный в любви. Для него смерть за свободу — высшее благо. Другой, Владимир, — коварный изменник, человек с низкими помыслами. Зависть и лицемерие делают его изменником. Два брата — Михаил и Владимир — погибают во время сражения. Владимир гибнет как злодей, даже поляки, в стан которых

---

[1] Гравированные авантитулы альманахов обычно соответствовали названию альманаха и символически выражали руководящую идею издателя. На титульном листе «Полярной звезды» в течение трех лет изображалась звезда, сияющая над лирой, обвитой венком цветов. Знаменательно, что на последней книжке альманаха, на 1825 г., лира изображена среди туч, сквозь которые с трудом пробивается свет звезды. Это как бы символ декабристской поэзии, сияющей среди туч александровского режима, о котором А. Бестужев писал в своем последнем обзоре словесности.

он переметнулся, относятся к нему с презрением, называют его Каином. Смерть Михаила — смерть героическая, завидная: «Завидна смерть за родину, и честно будет погребение храброму от храбрых!» Исторический сюжет снова оказался злободневным. Накануне 14 декабря стоило напомнить о судьбе изменника и снова бросить клич: «Завидна смерть за родину!» «Исповедь Наливайко» и «Изменник» — произведения одного плана. Рылеев и Бестужев готовились к схватке с самодержавием и благословляли единомышленников на решительную борьбу.

Здесь же, в третьей книжке «Полярной звезды», напечатаны «Братья разбойники» и отрывок из «Цыган» Пушкина, отрывок из поэмы Языкова «Разбойники», где воспевается волжская вольница, патриотическое стихотворение Григорьева «Нашествие Мамая», перевод Гнедича из XII песни «Илиады». Даже отрывок из «Илиады», не говоря уже о поэмах Пушкина, мог быть истолкован как своеобразное подкрепление рылеевской идеи жертвы героя во имя общего блага. В отрывке изображается Ахиллес, вступающий в бой, несмотря на предсказание коня Клефта, сулящее ему гибель. Рецензент «Северной пчелы» имел основание писать: «Вообще заметно было с самого появления „Полярной звезды“ (в 1823 г.), что в ней преимущественно и стихи и проза говорили нам о нашей отчизне или посвящены были ее воспоминаниям. В нынешней „Полярной звезде“ это еще яснее».[1] Но это были особого рода воспоминания: оглянуться на героические страницы прошлого, увидеть там примеры гражданской доблести, стойкости и благородства — такова основа декабристских воспоминаний.

Ключом к раскрытию содержания альманаха служит третий критический обзор Бестужева: «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». Издатели придавали большое значение этой статье. Незадолго перед выходом альманаха 10 марта 1825 г. Рылеев писал Пушкину: «Полярная звезда выйдет на будущей неделе. Кажется, она будет лучше двух первых. Уверен заранее, что тебе понравится первая половина взгляда Бестужева на сло-

[1] Северная пчела, 1825, №№ 40, 41.

весность нашу. Он в первый раз судит так основательно и глубокомысленно».[1]

Буржуазно-либеральная наука о литературе видела в Бестужеве критика, но не видела в нем декабриста, поэтому она не замечала главного в его статьях и не поняла его суждений и приговоров. В чем же это главное во «Взгляде на русскую словесность в России в течение 1824 и начале 1825 годов»? Бестужев ставит вопрос «о поиске новой земли мира нравственного и вещественного», о роли гения и литературы в этих поисках нового мира. Так формулировал он идеи своей статьи на подцензурном языке. Нужно ли говорить, что означает данная формулировка в устах одного из руководителей Северного общества, которое взяло курс на вооруженное восстание, ликвидацию самодержавия, истребление царской фамилии, уничтожение крепостничества и установление республики? «Новый мир» — совсем не абстракция, а очень определенная политическая категория. В поисках нового мира Бестужев, декабристы почетную роль отводят «гению» словесности. Гений — человек, проторяющий новые пути. Он стремится найти выход из «стесненного круга», его «не прельщают полуизмятые венки», он не тащится «столбовой дорогой» вместе с «толпой», а «смело кидается в обход», пробивает свои «стези» и тем «печатлеет на веках свое имя, на одноземцах свой характер». Здесь всё стоит на месте и всё очень ясно сказано: и, заметим кстати, сказанное Бестужевым во многом воспроизводит рассуждение Радищева о «действии великия души над душами современников или потомков». Радищев писал: едва «един» «великий муж» (у Бестужева: гений) «возмог, осмелился, дерзнул изъятися из толпы, как вся окрестность согревается его огнем» (у Бестужева: «смело кидаются в обход мимо толпы», «печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой характер, озаряют обоих своей славою»). Это не только общность мысли, но и общность ее выражения, что вполне естественно: Радищев был великим предтечей декабристов, декабристы учились, воспитывались по Радищеву. Как мы помним, рассуждение Радищева о «действии великия души над ду-

[1] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 150.

шами современников» имело самое непосредственное отношение к революции.

Политическими требованиями и обусловлены те задачи, которые Бестужев ставит перед литературой, перед «гением»; жизненно-революционными целями определяются упреки, которые бросает автор в адрес писателей-современников, этим же целям подчинена и критика «состояния русской словесности». «У нас век разбора предъидет веку творения; у нас есть критика и нет литературы; мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками!» — говорит Бестужев свое горькое слово, слово тоски по героическому характеру, по героической литературе. «Мы слишком бесстрастны, слишком ленивы и недовольно просвещенны», — повторяет критик спустя несколько строк. Тоска по революции, желание видеть свою родину преображенной — вот чем продиктован этот упрек. Мы знаем, что Рылеев выразил полную солидарность со статьей Бестужева. Можно утверждать, что написанное критиком являлось выражением общих взглядов декабристов и рождалось в тесном общении двух друзей, возглавлявших тайное общество. Сказанное Бестужевым в подцензурной статье спустя 10 месяцев прозвучит в стихотворении Рылеева «Гражданин» как непосредственный призыв к восстанию. В этом стихотворении Рылеев клеймил «изнеженное племя переродившихся славян», влачащих свой век младой «в постыдной праздности, в объятьях сладострастья». А в 30-е годы, в годы реакции, эти знакомые нам мотивы мы услышим в горькой «Думе» Лермонтова, как бы воспроизводящего то, над чем думали его старшие братья. «Мы пресытились, не вкушая. мы в ребячестве стали брюзгливыми стариками, мы слишком бесстрастны, слишком ленивы», — разве не тот же упрек бросает своему поколению Лермонтов, жаждавший, искавший, просивший бури?!

Только в данной связи и может быть рассматриваем тезис Бестужева: у нас есть критика, но нет литературы. Он совсем не означает отсутствия литературы, как не означает и наличия критики. Ведь всего 2—3 месяца прошло с тех пор, когда Бестужев с законной гордостью за свою литературу писал: «У нас есть и чувства, и мысли, и поэзия, коими каждый европеец мог бы гордиться». И вдруг: у нас

нет литературы. Здесь явная нелогичность. Если мы даже предположим, что за время, отделяющее статью о Боуринге, в которой он с гордостью говорит о нашей литературе, от обзора 1825 г., взгляд Бестужева изменился, то и тогда не прекратятся наши недоумения. Несколькими строками ниже Бестужев пишет: «Мы еще не сделали комментариев на лириков и баснописцев, которыми истинно можем гордиться». Выходит: литература у нас есть, но критики нет! И спустя десяток строк Бестужев эту мысль разовьет очень обстоятельно. Наша критика недалеко ушла в основательности и в приличии. Она ударилась в частности, и более в забаву, чем в пользу, она занимается «надгробиями безвестных людей». «Критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало». Всё это сказано настолько определенно, что сомневаться в мнении Бестужева при всем желании нет никакой возможности. Что же получается? Только одно: «Литература кой-какая у нас есть, а критики нет».

Последняя строка взята нами из письма Пушкина к Бестужеву. Великий поэт очень обстоятельно опроверг критика Бестужева, напомнив о Державине и Крылове. И, разумеется, Пушкин был прав. Пушкин, безусловно, был проницателен, и, опровергнув Бестужева, он вдруг написал: «Впрочем, ты сам немного ниже с этим соглашаешься».

Если Пушкин, указывая на Державина и Крылова, говорил, что «литература кой-какая у нас есть», то Бестужев выразил ту же мысль в той же статье, имея в виду тех же авторов: лириками (еще раз: первым «лириком» тогда декабристы считали Державина) и баснописцами мы «истинно можем гордиться». Если здесь и есть «разногласия» с Пушкиным, то в силе выражения: Бестужев сказал более определенно и энергично.

Но тогда что же означают слова: у нас нет литературы и есть критика? В общих чертах мы уже ответили на этот вопрос, а сейчас только уточним наш ответ. Бестужев говорит о революционной героике, о литературе, которая бы искала «новые миры», пропагандировала бы идеи революции, звала на битву с самодержавием и крепостничеством. Вот о создании какой литературы мечтал критик-

декабрист, вот какую задачу он ставил перед писателями. Можно ли сказать, что «словесность» 1824 г. отвечала этим требованиям? Нет, нельзя этого сказать. В 1824 г. в обеих столицах издавалось 35 газет и журналов (25 в Петербурге и 10 в Москве). Перечислим важнейшие: «Санкт-Петербургские ведомости», «Сенатские ведомости», «Сенатские объявления», «Русский инвалид», «Московские ведомости», «Сын отечества», «Журнал императорского Человеколюбивого общества», «Благонамеренный», «Соревнователь», «Отечественные записки», «Сибирский вестник», «Христианское чтение», «Северный архив», «Новости литературы», «Журнал изящных искусств», «Литературные листки», «Вестник Европы», «Дамский журнал», «Русский вестник» и др. Журналы выходили — одни еженедельно, некоторые раз, некоторые два раза в месяц. Сюда должно прибавить альманахи и книги. И тогда увидим — печаталось очень много, огромная армия литераторов работала на «ниве просвещения». Горы печатной бумаги, огромные залежи стихов, пудами измеряются «прозаические пьесы», а читать нечего! Велегласно проводила духовная академия «христианские чтения», со знанием дела издавался «Еженедельник для охотников до лошадей», в поте лица трудился князь Шаликов в угоду дамам, и они платили ему благодарностью, каждый раз выступая с защитой «Дамского журнала» от критики. Но мог ли Бестужев всё это считать литературой? Мог ли он о «Вестнике Европы», о «Дамском журнале», о «Благонамеренном», наконец, о «Сыне отечества», сегодня выступающем за декабристов, завтра против, — мог ли декабрист о том, что печаталось во всех этих повременных благонамеренных изданиях, сказать: у нас есть литература? Нет, не мог. Но он мог так сказать о Кантемире, о Ломоносове, о Державине, о Фонвизине, о Крылове, о Пушкине. Мог и говорил: этим мы гордимся, это наше национальное, народное достояние. Так Бестужев писал и в 1822, и в 1824, и в 1825 гг.; его отношение к названным писателям не изменилось, ибо они были силой в борьбе с крепостничеством и самодержавием. Но именно поэтому Бестужев не мог не сказать о Жуковском, о Плетневе, о Дельвиге, Олине, Измайлове, Хвостове (дело не в даровании, а в политическом направлении) и многих других буколических, эле-

гических, идиллических, классических, романтических, альбомных, дамских и всякого рода шаликовических, как выражается князь Вяземский, поэтах, что эти не литература, что у нас нет литературы, Бестужев выносил приговор салонно-аристократической литературе, занимавшей в то время господствующее положение. Вот, что писал Кюхельбекер в своей знаменитой статье «О направлении нашей поэзии. . .»: «Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях. . . Картины везде одни и те же: *луна*, которая, разумеется, *уныла* и *бледна*, скалы и дубравы, где их никогда не бывало. . . изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения *Труда*, *Неги*, *Покоя*, *Веселия*, *Печали*, *Лени* писателя и *Скуки* читателя; в особенности же туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя».[1] Мудрено ли, что при таких обстоятельствах Бестужев сказал: у нас нет литературы. Отрицая право дворянства на господство, он отрицает право господствовавшей литературы на звание литературы и тем самым отрицает ее право на существование. Но подобный приговор означает, во-первых, что в обществе есть уже настоятельные потребности в иной литературе и, во-вторых, что такая литература, отвечающая новым общественным потребностям, уже сложилась, достигла определенного уровня в своем развитии. Всё вместе это свидетельствует о зарождении новых отношений в недрах старого общества, об острых социальных конфликтах в его глубинах, о приближающемся взрыве.

Первая причина «отсутствия у нас литературы» заключается в безнародности определенной части общества, «всосавшей с молоком удивление только к чужому». Из всего рассуждения следует, что Бестужев вопрос о литературе поставил на социальную почву, которая определяет не только подражательность, но и характер подражания: «Мы выбираем себе авторов по плечу». «Странное явление» в области литературы зеркально воспроизводит «странные» обще-

---

[1] Мнемозина, кн. 2, М., 1824, стр. 36—38.

ственные отношения, на что критик прямо указывает в следующем абзаце:

«Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей: теперь мы начинаем чувствовать и мыслить, но ощупью. Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум — дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но не занятый политикою — весьма естественно, что деятельность его хватается за всё, что попадается, а как источники нашего ума очень мелки для занятий важнейших, мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я говорю не об одной словесности: все наши общества заражены тою же болезнию».

Всё более и более проясняется, что Бестужев говорит о застое в общественной жизни, т. е. о реакции, сковывающей развитие литературы. «Жизнь необходимо требует движения». Но оно сковано.

Так родилась критика «надгробия безвестных людей», «охранные маяки в луже», «глупости», «частности», не приносящие никакой пользы ни современникам, ни потомкам. Дав эту уничтожающую оценку критике, порожденной праздным умом, не занятым политикой, Бестужев в общей форме стремится определить задачи, стоящие перед критикой, имея в виду прежде всего интересы народа. «Лица и случайности проходят, но народы и стихии остаются вечно». По Бестужеву, критика должна иметь общий взор, правила стихийные,[1] ее задача «разлагать»[2] историю, разрушать «заговоренные брони», везде, во всем отличать «истинное от ложного». Но выполнить свою роль критика может лишь в том случае, если она отвергнет «все личности, все частности, все расчетные виды» и не будет корпеть над запятыми, как Греч, — мог бы добавить Бестужев.

Резкий отзыв о современной ему критике, измельчавшей, мелкой и всё более мельчающей, убийственная оценка ее кропотливой «деятельности» — ставят охранный маяк в луже! — были приговором критике и литературе безыдейной, порожденной реакцией.

Но что может оживить критику, одухотворить литературу, дать ей движение, развитие, что столкнет ее с мертвой точки? Ответ на

[1] Образовано от «стихия» — элемент. Очевидно, можно смысл передать словами: основные, общезначимые, первозданные.

[2] Анализировать.

поставленный вопрос уже заключался в «формуле обвинения». Если критика и литература очень мелки там, где нет политики, то, следовательно, политика, по мысли Бестужева, и является тою живительною силою, которая способна оплодотворить литературу, двинуть ее вперед. Вывод этот напрашивается сам собою, он был ясен для каждого мыслящего читателя. Однако Бестужев помогает своему читателю сделать вывод более конкретным и определенным. «Политика» — звучит довольно обще, и декабрист уточняет, договаривая все до конца. Читаем:

«Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо следует другой: отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных? Предслышу ответ многих, что: от *недостатка ободрения!* Так, его нет, и слава богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять на небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыслей, уединение — их горнило. Порох на воздухе дает только вспышки, но сжатый в железе он рвется выстрелом и движет и рушит громады... и в этом отношении к свету мы находимся в самом благоприятном случае. Уважение или, по крайней мере, внимание к уму, которое ставило у нас богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости сих последних исчезло. Богатство и связи безраздельно захватили всё внимание толпы, — но тут в проигрыше конечно не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов балуют перо автора; иногда недостает собственной решимости вырваться из бисерных сетей света — но теперь свет с презрением отверг его дары или допускает в свой круг не иначе, как с условием носить на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества; скрывать искру божества как пятно, стыдиться доблести как порока!! Уединение зовет его, душа просит природы;

богатое нечерпанное лоно старины и мощного свежего языка перед ним расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!» Всё сказано ясно и в высшей степени ярко и энергично, роль комментатора невольно сводится к роли пересказчика.

Истинный поэт рисуется Бестужеву в виде избранника, преобразующего действительность и способного «увлечь за собою общество». Его единственная цель — служение общественному благу. Именно этим героическим путем шли «просветители народов», и в первую очередь Байрон и Альфиери, связавшие свое творчество с практическим участием в революционной борьбе. «Римлянин Альфиери и неизмеримый Байрон гордо сбросили с себя золотые цепи Фортуны, презрели всеми заманками большого света — зато целый свет под ними и вечный день славы их наследие».

Скажем, что упоминание о Байроне несло в статье большую политическую нагрузку. Рылеев, Кюхельбекер, Пушкин, Бестужев — все декабристы видели в Байроне поэта «свободной стихии» и вместе с тем политического бойца, боровшегося и за освобождение греков, и за освобождение английского народа из капиталистического рабства, что приковывало внимание декабристов.

...Тираны и рабы
Его внезапной смерти рады, —

писал Рылеев, точно передавая то, что он видел вокруг себя. И Бестужев ставит Байрона в пример. Это удар по рабам и тиранам, это выпад против царского правительства, оказавшего помощь туркам в подавлении освободительной войны в Греции.[1]

Очень определенный смысл восклицания: ободрения нет, и слава богу! Из контекста следует, что царское ободрение, ободрение света как раз способны убить литературу, но не поддержать ее, ибо «корыстные ласки меценатов» кладут клеймо «ничтожества» на литера-

[1] В переведенной Бестужевым статье «О духе поэзии XIX века», напечатанной в 1825 г. в «Сыне отечества», с уважением поминается имя Байрона, поэта и гражданина, «отдавшего жизнь и достояние борьбе за героический народ, за возрождающуюся Грецию». И всё же при всем том Байрон-поэт резко критикуется за субъективизм. Поэт, читаем мы, присутствовал «во всех своих творениях; изображал только один характер; тайна его дарования — писать своих

туру. Борясь за политическую свободу в стране, декабристы ратуют за свободу художника от власти подкупа, подачки, содержания. Борьба с меценатством носила острый политический характер, являясь составной частью борьбы с абсолютизмом и крепостничеством, что, очевидно, не требует пояснений. Вольтер лучшую свою поэму написал не у трона, а «углем на стенах Бастилии». Пройдет полтора года, и сам Бестужев будет писать в каземате сажей свою повесть «Андрей Переяславский».

Еще одно замечание. Декабристы с ожесточением говорят о свете, нельзя не чувствовать, как они ненавидят аристократию. Свет заставляет скрывать искру божества как пятно, стыдиться доблести как порока! Бисерные сети света. Толпа. Ее внимание захватили богатство и связи. Сколько людей, которые могли бы делом или словом прославить свое отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничтожества. Бестужев один уничтожающий эпитет нанизывает на другой, одно за другим выжигает клейма на сиятельных лбах светской черни. И это было его постоянным отношением к свету. Такая черта была присуща не только Александру Бестужеву, но и Пушкину, Грибоедову, Рылееву, Кюхельбекеру, Раевскому, Александру Одоевскому.

8

В свете общей политической концепции Бестужев рассматривает отдельные литературные явления 1824—начала 1825 г.

Бестужев начинает свой обзор с замечаний о X и XI томах «Истории» Карамзина. И здесь мы встречаемся со знакомыми нам

героев по своему образцу». Байрон однообразен, его герои не действуют, а рассуждают; в его произведениях нет движения, а лишь беспрестанное разглядывание предмета, который не выходит из самого себя, постоянно занимает автора; Байрон ставит «курс опытов над человеческим сердцем». Трудно, читая всё это, не вспомнить критику Байрона Пушкиным; здесь Бестужев и Пушкин снова встретились. Но их встречи продолжались и далее. Приведенные строки замечательны во многих отношениях. Они вновь и вновь демонстрируют наличие реалистических принципов в декабристской критике в 20-е годы; показывают, что Пушкин в своих творческих исканиях был совсем не одинок; великий поэт, основатель новой русской литературы, наиболее ярко и полно выражал основные тенденции развития русской литературы.

по прежним обзорам нотами. Декабрист решительно отказывается признавать за «Историей государства Российского» какие-либо достоинства, кроме чисто литературных, точнее — языковых, стилистических («свежесть и сила слога», «разнообразие в складе», «звучность оборотов языка»). Если в 1822 г. критик демонстративно не стал высказываться о Карамзине-историке («время рассудит Карамзина, как историка»), то и в 1825 г. он повторил свою демонстрацию: Карамзин выдал X и XI томы «Истории». «Не входя, по краткости сего объема, в р а с с м о т р е н и е и с т о р и ч е с к о г о и х д о с т о и н с т в а, смело можно сказать, что в литературном отношении мы нашли в них клад». Из года в год речь идет только о литературных достоинствах. Когда же Бестужев заговорил, наконец, о Карамзине-историке, он вынес строгий приговор и абсолютистской концепции Карамзина, и его «Истории» вообще. Выше мы уже привели относящиеся сюда высказывания нашего критика. Для полноты выпишем еще несколько строк из письма Бестужева к матери от 19 января 1831 г. «Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии... Он был пустозвон красноречивый, трудолюбивый, мелочной, скрывавший под шумихою сентенций чужих свою собственную ничтожность».[1]

Мы видим, что на протяжении многих лет Бестужев был неизменен в отношении к «Истории» Карамзина. И готовясь к революции, и вслед затем, испытав тяжелое поражение, Бестужев ненавидел Карамзина стойкой, твердой, неколебимой ненавистью.

Наиболее значимы в статье суждения о Пушкине и Грибоедове. К ним и обратимся.

Бестужев очень чутко схватил по первой главе «Евгения Онегина» характер романа Пушкина и сумел найти очень точное слово для выражения сущности пушкинского реализма: описание «прозы общества». Нет надобности говорить, что врагом реализма Бестужев не является, нигде он не выразил порицание поэту за изображение прозы жизни. Но очевидно и другое. Бестужева не привела в восторг первая глава «Евгения Онегина». Почему же? Распространеннейший

[1] Русский вестник, 1870, т. 87, стр. 506—507.

ответ: романтик не понял реализма. Но разве не понял? Ведь романтик очень точно очертил реализм первой главы «Онегина»: живая картина мертвого света, описание прозы общества. Очень хорошо понял. Тем более (мы не должны этого забывать) тогда реализм только-только заявил о себе. Заслуга Бестужева, очевидно, состоит в том, что он налету, по первой главе, правильно схватил основную черту пушкинского романа.

Бестужев не отрицал за художником права изображать прозу жизни. Но он требовал от писателя такого показа «прозы общества», который ясно говорил бы, что проза не является вечной категорией действительности, что в жизни уже наличествуют элементы героической действительности, которые борются с прозой «света». В первой главе «Онегина» такие элементы не показаны. Если бы Пушкин ввел в роман силы, олицетворяющие поэзию жизни, то мертвенность света проступила бы явственнее и «проза общества» была бы совершенно лишена поэтического ореола. Но в романе вообще и в первой главе, в частности, мы не находим субъекта, резко противостоящего «мертвому свету», в связи с чем свет и не теряет права на жизнь, т. е., строго говоря, не является мертвым. Мертвым он будет тогда, когда писатель даст высшую форму действительности, покажет выход из прозы общества; или другими средствами вынесет приговор изображаемому миру. Причем декабристы требовали вынесения смертного приговора, чего роман не давал. Отсюда и неудовлетворенность Рылеева, Бестужева. Именно по этой линии идут разногласия с Пушкиным, автором «Евгения Онегина».

Легко заметить — Бестужев, написав: «живая картина мертвого света», выразил свое отношение к свету, но не просто впечатление от «Евгения Онегина». Наш свет — мертв. В этих словах скорее программа романисту, чем резюме прочитанного в первой главе. В письме от 9 марта 1825 г. Бестужев довольно подробно излагает свою мысль Пушкину:

«Что свет можно описывать в поэтических формах — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии

показать его резкие черты? — Я вижу франта, который душой и телом предан моде, — вижу человека, которых тысячи встречаю на яву, ибо самая холодность и мизантропия и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, — но они не полны, ты схватил петербургский свет, но не проник в него».

Здесь всё ясно и определенно высказано. Революционер-декабрист требует от писателя острой борьбы со светом, резкой критики общественных отношений. Естественно, что «Онегин» удовлетворить Бестужева и Рылеева не мог. Главный вопрос 1825 г. для декабристов был вопрос о восстании, о республике, о ликвидации самодержавия и крепостничества. Такие задачи ставились и перед литературой. Роман же Пушкина подобной задачи не решал, что и отметили декабристы.

Мнение Бестужева о герое романа не изменилось и позже. В письме к матери от 19 января 1831 г. есть такие строки: «Пушкина 7-й и 8-й глав не читал, и жалею из одного любопытства. Он писатель, заблудившийся из XVIII века в наш, и жаль, писатель, который своим даром мог бы...» Текст письма, опубликованный в 1870 г., в «Русском вестнике», на этом обрывается. Изучение оригинала, оказавшегося дефектным, не привело к полному восстановлению утраченного места, но дало возможность воспроизвести дополнительно несколько слов. Вот они: Пушкин, «писатель, который своим даром мог бы (насадить?) новое растение романтизма в нашем отечестве...» Конец фразы не поддается прочтению (вырвана часть листа). Разбираются лишь два слова: «(Напра)влению истинно книгопродавческому».[1] Что было написано? — Можно строить только догадки. Восстановленный же текст вновь возвращает нас к «романтизму» — к «мечте», уносящей поэта из «прозы описываемого общества», иными словами — возвращает к статье Бестужева 1825 г., где была дана первая оценка первой главы романа.

Отмечаем: за шесть лет мнение Бестужева о романе Пушкина не изменилось. Декабрист не нашел в «Онегине» того, что искал.

[1] Архив ИРЛИ, ф. 604, п. II (5580), л. 113.

А искал он резкой критики общественных отношений, в частности критики пустого, «ничтожного света». И еще: Бестужев требовал, чтобы поэт указал выход, революционный выход «из прозы описываемого общества». Подобная стойкость суждений является наглядным доказательством неизменности политических принципов Бестужева, определявших его эстетические оценки.

Вполне понятно, что не первая глава «Онегина», а «Разговор книгопродавца с поэтом» отвечал желаниям, мыслям и чувствам декабриста. Здесь Бестужев нашел резкую критику света, здесь увидел он «благородные порывы человека, чувствующего себя человеком», здесь услышал он слово, которое было предметом его тайных дум: на вопрос книгопродавца «Что изберете вы?» поэт гордо отвечает: «Свободу».

Всё это созвучно декабристу Бестужеву. Однако нельзя сказать, чтобы «Разговор» не касался «буден», что в нем — одни «идеалы»... Нет, нельзя так сказать. В стихотворении поэт большое внимание уделяет «будням», «прозе». Достаточно вспомнить слова о толпе, о лицемерной, презренной черни, низких невеждах, восхищенных глупцах, чтобы убедиться, насколько опрометчиво судят некоторые литературоведы, считающие, будто декабристы признавали только «высокое», «идеалы», а «проза» жизни их не интересовала.

Нет никакого сомнения в том, что «Разговор книгопродавца с поэтом» — произведение реалистическое, в нем описываются будни, проза жизни. И, однако, данное произведение приводит в восторг Бестужева, о чем он со всей определенностью сказал в своем обзоре и не раз повторял позже. И здесь нет никакого противоречия с высказыванием того же Бестужева о мечте, уносящей поэта из прозы, описываемого общества. Только мечта, только «благородные порывы человека, чувствующего себя человеком», только негодование и могли породить ту критику прозы денежных отношений, которую дает Пушкин в «Разговоре книгопродавца с поэтом». Что касается первой главы «Онегина», то пушкинская критика света в ней не становится критикой отрицания, поэт не доходит до пафоса ликвидации мертвящих, прозаических отношений. Вот почему, повторям, декабристы, взявшие курс на восстание, были не удовлет-

ворены первой главой «Онегина». Рылеев, как известно, полностью солидаризировался с Бестужевым.

Высшим достижением Пушкина Бестужев считает поэму «Цыганы», которую критик знал в рукописи. «Если можно говорить о том, что не принадлежит еще печати, хотя принадлежит словесности, то это произведение далеко оставило за собой всё, что он писал прежде. В нем-то гений его, откинув всякое подражание, восстал в первородной красоте и простоте величественной, в нем-то сверкают молнийные очерки вольной жизни и глубоких страстей и усталого ума в борьбе с дикою природою. И всё это, выраженное на деле, а не на словах, видимое не из витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных. Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки опоры?»

Из других литературных явлений 1824 и начала 1825 г. Бестужев с особой восторженностью отзывается о «Горе от ума». Бестужев восторгается «толпой характеров, обрисованных смело и резко»; «живая картина московских нравов» приковала внимание нашего критика. Стало быть, действительность является критерием оценки Бестужева, в е р н о с т ь д е й с т в и т е л ь н о с т и — вот что высоко ценит критик в комедии Грибоедова. Чем более художник критичен, чем более в его творениях смелости и резкости в изображении отрицательных сторон жизни, тем большими достоинствами в глазах Бестужева обладали эти творения. Именно за с м е л о с т ь и р е з к о с т ь в обрисовке толпы характеров критик «Полярной звезды» и дает восторженный отзыв о комедии Грибоедова, чутко соотнося ее с «критическим творением» Фонвизина. Обращаясь к оценке языка комедии, мы опять встретимся в статье Бестужева с тем же судьей: действительность и здесь выносит свой приговор. «Невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах»,— таково основное языковое достоинство великой русской комедии.

Нет сомнения, декабристы утверждали мир поэтических идеалов. Но это является лишь другой стороной отрицания существовавшей прозаической действительности. И поскольку утверждались реальные идеалы, не чуждые логики развития действительности, пафос реального отрицания существовавшего мира сопутствовал утверждению

идеала. Но критика не просто исходная ступень к идеалу, одновременно она не только спутница и помощница в осуществлении идеала — сама критика, в свою очередь, является порождением идеала. И это также верно, как и то, что критическое отношение к действительности имеет идеал своим естественным результатом.

Из всей русской литературы 20—30-х годов наиболее критичным является «Горе от ума» Грибоедова. Здесь пафос критики переходит в пафос непосредственного революционного отрицания. И это потому, что в комедии Грибоедова есть носитель «идеалов», «мечтатель», «человек», олицетворяющий «высокое и прекрасное».[1] Именно данное обстоятельство и доводит критику до такого накала, который непосредственно предвещает взрыв. Уберите из «Горе от ума» «сумасшедшего» Чацкого, «шумного» Чацкого, и станет ясно, что комедия мигом потеряет всю остроту своей критики и превратится во вполне легальное, цензурное произведение. Только в борьбе «безумного» Чацкого, носителя «высоких» идеалов, реализовалась критика мерзостей действительности фамусовского общества. Сила грибоедовского реализма во многом определялась и обусловливалась романтическим пафосом идеальных устремлений Чацкого. И не случайно в эстетике Грибоедова так органически срастались романтизм и реализм.

Анализ эстетики Пушкина, Рылеева, Грибоедова и Бестужева показывает, что реализм и революционный романтизм не были враждебны друг другу. Признание необходимости борьбы за идеалы не только не исключает, но предполагает самую беспощадную критику отживших форм действительности, критерий «возвышенного» мог быть и был очень надежным и точным мерилом критичности произведений реализма. Таков наш вывод.

Безусловно, в теоретическом отношении наиболее значимыми являются отзывы Бестужева о Пушкине и Грибоедове, но и другие его оценки должны привлечь к себе самое пристальное внимание.

---

[1] Об отношении декабристов к Грибоедову и к его комедии «Горе от ума» см. в исчерпывающем исследовании М. В. Нечкиной «А. С. Грибоедов и декабристы» (изд. 2-е, Изд. АН СССР, М., 1951).

исследователя литературной борьбы 20-х годов. К таким относятся критические замечания Бестужева в адрес издателей «Северных цветов» — Дельвига и Плетнева.

«*Северные цветы*, собранные бароном Дельвигом, — пишет критик, — блистают всею яркостию красок поэтический радуги, всеми именами старейшин нашего Парнаса. Хотя стихотворная ее часть гораздо богаче прозаической, но и в этой особенно занимательна статья г. Дашкова: *Афонская гора* и некоторые места в *письмах из Италии*. Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут потому только, что они живы, — но у всякого свой вес слов, у каждого свое мнение. Из стихотворений прелестны наиболее: Пушкина дума *Олег* и *Демон*, *Русские песни* Дельвига и *Череп* Баратынского. Один только упрек сделаю я в отношении к цели альманахов: Северные цветы можно прочесть не улыбнувшись».

Отметим прежде всего: приведенные строки говорят о большой терпимости и сдержанности Бестужева по отношению к «Северным цветам», что дает право утверждать — Плетнев наговаривал Пушкину на Рылеева и Бестужева, когда писал о якобы непозволительных поступках «этих молодцов», об их происках против Дельвига. Ничего определенного Плетнев сказать не мог, ему нечего было сказать, но он сделал всё, чтобы поссорить Пушкина с декабристами. Удалось ли «этому молодцу» его предприятие, увенчались ли успехом его интриги? Мы имеем все основания ответить отрицательно на поставленный вопрос: при очень упорном старании Плетнева ему не удалось в 1825 г. оторвать Пушкина от декабризма. Разногласия, и политические и творческие, между Пушкиным и декабристами были немалые. Порой они находили очень резкое выражение, скрывать их нет никакого смысла. Рылеев и Бестужев в это время выступали за республику, за ликвидацию самодержавия, за истребление всей царской фамилии. Причем Бестужев, как известно, вызывался лично убить царя и подал свой голос за истребление всех Романовых. Подобных стремлений, желаний у Пушкина в 1825 г. мы не обнаруживаем.

Были и другие разногласия между руководителями Северного общества и Пушкиным. Некоторые из них носят чисто личный характер, другие объясняются частными причинами, следовательно, возводить их к существенным и коренным нельзя.

Несмотря на то, что мы очень большое значение придаем спору о Жуковском, мы не склонны считать разногласия между Пушкиным и Рылеевым (Бестужевым) в данном вопросе существенными, как бы они резко ни выражались. Правда, Пушкин не согласился с Бестужевым и Рылеевым в оценке Жуковского, но при всем этом мы рассматриваем Рылеева, Бестужева, Пушкина как единомышленников в борьбе с реакционным романтизмом вообще, с Жуковским в частности и в особенности.

В своей борьбе с Жуковским декабристы основывались на творческих достижениях Пушкина, за национальную русскую литературу декабристы боролись под знаменем великого Пушкина. Вот почему разногласия между Рылеевым, Бестужевым и Пушкиным в данном вопросе мы склонны рассматривать как нехарактерный эпизод.

Таким же «эпизодическим» был совет Пушкина благодарить Шишкова. Бестужеву поэт писал: «Ты умел в 1822 году жаловаться на туманы нашей словесности — а нынешний год и спасибо не сказал старику Шишкову. Кому же как не ему обязаны мы нашим оживлением?»[1] Нет надобности говорить, что в планы Бестужева не входило приносить благодарность «скотине Шишкову». Да и сам Пушкин спустя некоторое время убедился в правоте Бестужева: введение чугунного цензурного устава устраняло возможность каких бы то ни было «спасибо» Шишкову...

Как видим, разногласий политических, творческих было очень много. Некоторые из них стирались, ликвидировались в процессе обмена мнениями, другие оставались навсегда; отношения то обострялись в решении отдельных вопросов, то теряли свою остроту.

Отвечая на одно из писем Пушкина, Рылеев 10 марта 1825 г. писал поэту: «Мнение Байрона, тобою приведенное, несправедливо. Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой деревья, не

---

[1] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 180.

всегда лучше своего соперника... Сделай милость, не оправдывай софизмов Воейковых, им только дозволительно ставить искусство выше вдохновения. Ты на себя клеплешь и возводишь бог знает что».[1]

Можно прекрасно описывать «будничные» колоды карт и быть недостойным звания поэта — такова мысль Рылеева. Искусство в описании колоды, карт, столов, мелков для игры и т. д., как бы ни было высоко это искусство, это мастерство, оно совсем не говорит о достоинстве художника.

Пушкин быстро понял правоту Рылеева и отказался от своего ошибочного суждения. 24 марта 1825 г. он писал Бестужеву: «Скажи ему <Рылееву>, что в отношении мнения Байрона, он прав. Я хотел было покривить душой, да не удалось».[2] На эту сторону дела литературоведы не обратили должного внимания. Ни в одной статье, излагающей полемику декабристов с Пушкиным, не отмечено, что великий поэт согласился с Рылеевым, признал его правоту в одном из важнейших вопросов. Рылеев принимал великое значение революционного искусства и умел отстаивать свои принципы даже в спорах с Пушкиным, перед которым вождь декабристов благоговел.

Хорошо известна также полемика между Пушкиным и Рылеевым об авторском достоинстве. Пушкин писал Бестужеву в конце мая — начале июня 1825 г.: «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится с посвящением или с одою — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!»[3]

Эти слова тысячи раз цитировались и комментировались нашими литературоведами. В них совершенно справедливо видят утверждение Пушкиным своей свободы. Но исследователи почему-то не хотят

[1] Там же, стр. 150.
[2] Там же, стр. 155.
[3] Там же, стр. 179.

более точно формулировать принцип свободы, постулируемый Пушкиным. Ведь принципы свободы очень различны, и для исследователя-марксиста, если он стал говорить о принципе свободы, является обязательным вскрыть классовую сущность данного принципа в каждом отдельном случае. С этой точки зрения рассматривая высказывание Пушкина, невольно видишь, что поэт в защиту своих позиций привлекает «аристократическую гордость». Вот почему глава Северного общества Рылеев выступил против аристократического принципа свободы, противопоставив ему радищевский, демократический принцип свободы, основанный на личном достоинстве человека. По Рылееву, личные заслуги Пушкина ставили поэта выше всех Воронцовых и Романовых с их пусть тысячелетним дворянством. Что же касается шестисотлетнего дворянства, то Рылеев над этим просто смеялся... Вождь декабристов призывал великого поэта отказаться от дворянской спеси и быть гордым своим человеческим достоинством. «Будь ради бога, Пушкиным», — писал Рылеев поэту в июне 1825 г.[1] Критика Рылеева помогла Пушкину избавиться в какой-то мере от предрассудков шестисотлетнего дворянина.

Отмечая наличие некоторых разногласий между руководителями Северного общества и Пушкиным, исследователь обязан рассматривать их как разногласия внутри одного лагеря. Выше приведенный отзыв Бестужева о «Северных цветах», как и многое другое, говорит именно в пользу такого рассмотрения. Вернемся к обзору Бестужева.

Бестужев положительно отзывается о «Северных цветах», по крайней мере такова его общая оценка. Но при уточнении критик выделяет только стихотворения Пушкина «Олег» и «Демон», «Русские песни» Дельвига и «Череп» Баратынского. А при дальнейшем рассмотрении оказывается, что «Череп» Баратынского (как и вообще творчество поэта) далеко не удовлетворял критика. 9 марта 1825 г. Бестужев писал Пушкину: «Что же касается до Бар‹атынско›го — я перестал веровать в его талант. Он исфранцузился вовсе.

---

[1] Там же, стр. 183.

Его *Эдда* есть отпечаток ничтожности и по предмету и по исполнению, да и в самом Черепе я не вижу целого — одна мысль, хорошо выраженная, и только. Конец — мишура».[1] При исключении Баратынского в активе Дельвига остается, собственно, только Пушкин. Характерно: «Песнь о вещем Олеге» Бестужев называет думой, т. е. относит в разряд чисто романтической поэзии. Иными словами, критик-декабрист неизменно высоко ставил Пушкина, выделяя его из всех поэтов того времени.

В отзыве о «Северных цветах» обращает на себя внимание критика в адрес Плетнева. О его знаменитом «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах» Бестужев говорит едва ли не с пренебрежением. Полемика эта имеет свою историю, и мы на ней остановимся.

Нами уже отмечено, что обзорная статья Плетнева, предпосланная «Северным цветам», по своему характеру являлась антидекабристской платформой. И Плетнев, и Дельвиг — ближайшие друзья Пушкина — придавали ей особое значение. Статья оживленно обсуждалась в кругах журналистов, о ней многие писали Пушкину, о ней много писал и сам Пушкин. Позиция великого поэта в данном вопросе не может нас не интересовать, тем более (насколько мы осведомлены), что в пушкиноведении этот эпизод не освещался.

Пушкин прочитал статью Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах», очевидно, в двадцатых числах января 1825 г.[2] К этому времени ему было известно мнение Бестужева о плетневском обзоре. Письмо Бестужева, в котором критик пишет о статье Плетнева, до нас не дошло, и мы о нем знаем только по письму Пушкина к Рылееву от 25 января 1825 г., где сказано: «Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева». Каково же было мнение Бестужева? И печатный отзыв декабриста, и многие другие данные говорят о резко отрицательном отношении Бестужева к программному выступлению Плетнева. Следовательно, в обостренной

---

[1] Там же, стр. 149—150.

[2] 25 января Пушкин написал два письма — Рылееву и Вяземскому; и в том и в другом он говорит о статье Плетнева; вероятно, поэт находился под свежим впечатлением от статьи.

полемике 1825 г. между декабристами и издателями «Северных цветов» Пушкин взял сторону декабристов, хотя Плетнев и Дельвиг были близкими друзьями поэта. Выразив согласие с Бестужевым, в тот же день, 25 января 1825 г., Пушкин более определенно высказался о статье Плетнева. «Как ты находишь статью, что написал наш Плетнев? — спрашивает Пушкин Вяземского и, не сдерживаясь, восклицает: — экая ералаш!» [1] Этот суровый приговор оказался окончательным: он не был отменен и позже, когда Пушкин отвечал на письмо Плетнева.

22 января 1825 г. Плетнев писал Пушкину о резких нападках на «Письмо к графине» и по существу просил у Пушкина защиты. Вот эти строки: «О себе прошу тебя. Если ты доброжелательствуешь мне: говори прямее. Шутка, конечно, мила, но дело нужнее. После твоих побранок мне легче исправляться. О стихах я уж не спрашиваю. Но что проза? Главное: есть ли слог? Без него, по моему мнению, нет и прозы. Истина мысли рано или поздно приходит, а слога не возьмешь ни из грамматики, ни в книгах не начитаешь. Тебе со стороны легче видеть всё ясно. Толков ты не слышишь. Одно осталось тебе: диктаторствуй над литературными плебеянами, да и только».[2] И Пушкин стал диктаторствовать. О письме Пушкина, о критике великим поэтом автора статьи в «Северных цветах» мы узнаем только из пространного плетневского опровержения. Источник, заслуживающий полного доверия, но вместе с тем скрадывающий колорит пушкинской критики. Свои опровержения Плетнев послал 7 февраля 1825 г. Письмо это — ценнейший документ литературной борьбы 20-х годов. Оно позволяет установить, каково же было отношение Пушкина к Дельвигу, Плетневу, «Северным цветам», иными словами — к антидекабристской группировке, сколоченной врагами Бестужева и Рылеева. О значении данного вопроса говорить не приходится: имя Пушкина является достаточным обоснованием важности дела.

Письмо Плетнева, как уже сказано, является документом особой

[1] Там же, стр. 136.
[2] Там же, стр. 134.

значимости. Из него мы узнаем, что программная статья антидекабристского блока была Пушкиным буквально уничтожена — раскритикована, высмеяна. Плетнев, обратившийся к поэту за поддержкой, был жестоко разочарован: именно здесь он нашел своего противника. С признания этого факта и начинается послание Плетнева: «Мне Дельвиг часто повторяет пословицу русскую: если трое скажут тебе ты пьян, то ложись спать. После твоего письма о моем несчастном письме к графине пришлось мне лечь спать».[1] Но Плетнев «проспал» не долго, он довольно быстро встал и начал «защищаться» перед Пушкиным. Из его защиты мы и узнаем о характере несохранившегося письма Пушкина. Оказывается, Пушкин обвинял Плетнева в неумеренных похвалах многим поэтам. Графинин корреспондент оправдывается: «Я это писал письмо к такой женщине, которая от доброй души говорила, будто ей нечем заменить Ламартина по-русски. Тебе смешно, а мне было до слез больно. Таким образом я с досады видел у нас все в лучшем виде, нежели оно в самом деле». Иными словами, Пушкин высмеял в статье Плетнева именно то, за что статью критиковал Бестужев. Вспомним замечание Бестужева: «Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем, и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут потому только, что они живы». Совпадение знаменательное. Если мы вспомним кому и за что похвалы расточал Плетнев, то станет ясным — Бестужев и Пушкин осуждали Плетнева за стремление превратить русскую литературу в литературу для немногих, в литературу буколическо-элегическую, в некий заменитель Ламартина на ночном столике графини С. И. С. Пушкин об этом сказал очень недвусмысленно... Плетнев оправдывается: «Я писал к даме, ей-богу, не из куростройства». Замечательное, наверняка пушкинское слово. Куростройство! Ералаш! Так великий поэт оценил программную статью дельвиговского альманаха, выражая при этом полную солидарность с мнением Бестужева...

---

[1] Там же, стр. 139—140

Стало быть, в ожесточенной преддекабрьской борьбе Пушкин был не на стороне своих ближайших друзей — Дельвига, Вяземского, Плетнева, а на стороне «Полярной звезды», на стороне декабристов; более всего он сходился с Бестужевым. Причем единство взглядов Бестужева и Пушкина проявляется в решении вопросов, определяющих характер и судьбы русской литературы. В мнениях о народности литературы (отношение к Дмитриеву и Крылову), языке, о воспитании, о подражании, в оценке многих великих и малых поэтов Пушкин и Бестужев сходились очень близко. В июньском письме Пушкин, во многом споря с Бестужевым, написал ему и такие строки: «Все, что ты говоришь о нашем воспитании, о чужестр‹анных› и междоусобных (прелесть!) подражателях — прекрасно, выражено сильно, и с красноречием сердечным. Вообще мысли в тебе кипят».[1]

Еще раз: несмотря на разногласия, порой очень существенные, Пушкин и Бестужев были представителями и одного политического лагеря, и одного литературного направления. Главное, что их объединяло, — это одинаковое решение проблемы национального, народного в литературе.

Нам остается в связи с анализом последнего обзора Бестужева сказать об оценке критиком «Московского телеграфа» Н. Полевого. Об этом писали многие, отмечая известное противоречие у Бестужева. В 1825 г. он пренебрежительно отозвался о «Телеграфе», а позже стал страстным сторонником Полевого. Ксенофонт Полевой, публикуя в 1861 г. письма Бестужева, кое-что разъяснил; кое-что мы находим дополнительно в самих письмах декабриста. Но, по нашему мнению, последнего слова здесь не сказано. Кс. Полевой всё сводит к личным взаимоотношениям. Некоторые строки писем Бестужева на первый взгляд подтверждают такую версию, но она неверна. Анализ всей совокупности относящегося сюда материала, как опубликованного, так и хранящегося в архивах, заставляет нас сделать иной вывод. Именно: отрицательный отзыв Бестужева о «Московском телеграфе» в 1825 г. продиктован отнюдь не «личными» отноше-

[1] Там же, стр. 179—180.

ниями Полевого и Бестужева, а является актом литературной борьбы. Попытаемся это аргументировать.

Напомним: при организации «Телеграфа» в нем заметную роль играл Вяземский. Очень часто в своих суждениях Полевой опирался на мнение Вяземского. В связи с этим абсолютное большинство оценок и приговоров Полевого, оценок, носящих принципиальный характер, направлено против высказываний Бестужева. Приведем примеры. В № 1 «Телеграфа» (1825) помещено «Обозрение русской литературы в 1824 году». Из него читатель узнает, что Жуковский является «конечно, первым из нынешних русских поэтов». И это не всё. Жуковский не только первый поэт. Он «после Карамзина, вместе с Батюшковым, занимает первое место в числе русских прозаиков». Ну, а Пушкин? О Пушкине, поясняет Полевой, «в сравнении с Жуковским, можно повторить старинную пословицу: он не второй, а другой». И очевидно «другой» потому, что Пушкин «однообразен».

Во втором номере «Телеграфа» положение не только не изменилось к лучшему, но явно усугубилось. Если в первом номере превознесен Жуковский, то во втором обругана комедия Грибоедова. В рецензии на альманах «Русская Талия» Полевой выражает недовольство стихом «Горя от ума» и высказывает пожелание видеть «больше гармонии и чистоты в стихах Грибоедова». Нужно ли доказывать, что всё это обязывало Бестужева выступить против «Московского телеграфа» самым энергичным образом? Так именно Бестужев и поступил. Он написал: «В Москве явился двухнедельный журнал *Телеграф*, изд. г. Полевым. Он заключает в себе всё; извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе, или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего Телеграфа, а *смелым владеет бог*, его девиз».

Со временем «Телеграф» изменился. Полевой разрывает с Вяземским, начинает вести последовательную борьбу с Карамзиным, выступает против Жуковского... В связи с этим Бестужев изменил свое отношение к «Телеграфу». Здесь всё предельно ясно, каждый шаг закономерен и последователен.

9

Издав третью книжку «Полярной звезды», Рылеев и Бестужев приступили к составлению четвертой. Однако их намерениям не суждено было осуществиться. Революционная работа поглощала все свободное время руководителей Северного общества (начиная с сентября 1825 г. А. Бестужев вошел в состав думы тайного общества, заменив уехавшего в длительный отпуск Н. Муравьева).

Историю подготовки к изданию четвертой книжки альманаха рассказывает Михаил Бестужев в своих воспоминаниях: «„Полярная звезда“ на 1826 г., — пишет он, — предполагалась с начала года 1825-го быть изданною в виде, составе и объеме предшествующих годов. Когда же впоследствии, а в особенности около декабря 1825 г., дела тайного общества усложнились сношением с южным обществом, когда остающееся от служебных обязанностей время было посвящено более священной деятельности, — брат Александр и Рылеев решились издать уже собранный материал в небольшом альманахе, под названием „Звездочка“, печатание которой к 14-му декабря уже довольно продвинулось».[1]

«Звездочка» на 1826 г. должна была быть последним выпуском альманаха. Об этом вполне определенно писал Рылеев Пушкину в письме от 20 ноября 1825 г.: «Мы опять собираемся с Полярною. Она будет последняя; так по крайней мере мы решились».[2] Можно предположить, что, не имея возможности продолжать издательскую деятельность в настоящем, Рылеев и Бестужев строили на будущее планы об издании журнала. Во всяком случае, Вяземский, фиксируя дошедшие до него слухи, писал 18 ноября 1825 г. Бестужеву: «. . . мне сказали, что вы свой альманах обращаете в журнал, и я порадовался. Кто о чем, а я всё время брежу о хорошем журнале».[3]

По своему объему «Звездочка» была значительно меньше трех первых книжек альманаха. В нее было отобрано всего только 24 произведения. На этот раз Бестужев поместил в «Звездочке» всего одну

---

[1] Воспоминания Бестужевых. М.—Л., 1931, стр. 124.
[2] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 241.
[3] Русская старина, 1889, № 2, стр. 321.

повесть, а Рылеев не успел дать ни одного своего произведения. Это, конечно, не могло не отразиться на содержании альманаха. Правда, здесь был напечатан отрывок из «Евгения Онегина» (ночной разговор Татьяны с няней), эпилог к «Эде» Баратынского, сильная по своему гражданскому пафосу «Греческая ода» Туманского и, наконец, повесть Бестужева «Кровь за кровь», полная декабристских настроений и переживаний, но гораздо более значительную часть альманаха составляли весьма посредственные стихи Маркевича, Ростовского, В. Пушкина, Нечаева и др.

В 1825 г. фактически обрывается история издания «Полярной звезды». Борьба за национальную, самобытную русскую литературу, которую вели Бестужев и Рылеев на страницах своего альманаха, неразрывно связана с декабристским движением. «Полярная звезда» была поставлена на службу агитационно-пропагандистским задачам, и она с честью выполнила эту роль. При этом не следует забывать, что «Полярная звезда» была легальным органом декабристской печати, издававшимся в годы крайнего стеснения печатного слова. В «Полярной звезде» не могли быть опубликованы агитационные песни Бестужева и Рылеева, вольнолюбивые стихи Пушкина и Грибоедова, расходившиеся только в рукописных списках.

Лучшим свидетельством того, насколько успешно «Полярная звезда» служила декабристскому делу, являются отзывы современников. Даже самый беглый обзор высказываний современников о «Полярной звезде» свидетельствует, что против декабристского альманаха объединялись все силы реакции и, наоборот, передовые силы России высоко ценили революционный характер «Полярной звезды». С появлением в «Полярной звезде» критических обзоров Бестужева у нас возникла настоящая критика, и это привело к ожесточенной борьбе. У Карамзина и Шишкова, Хвостова и Шаликова, Измайлова и Дмитриева, Цертелева и Федорова, Вл. Одоевского и Дм. Перевощикова статьи Бестужева вызывали негодование. «Обозрение русской литературы написано как бы на смех, хотя автор и не без таланта, кажется»,[1] — таков отзыв Карамзина о первом обзоре.

[1] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, стр. 345.

Здесь не всё высказано, и многое находится в сфере гаданий. Академик Я. Грот в свое время сделал попытку расшифровать написанное Карамзиным, но нам она представляется неудачной. Фраза Карамзина в толковании Грота лишается всякого политического содержания. «Слова Карамзина, — пишет ученый, — конечно относятся в особенности к искусственному цветистому слогу автора, а также и к некоторым парадоксам и противоречиям его».[1] Бестужев похвалил и Карамзина, и Шишкова — антагонистов. Но для подобного объяснения у Грота не было ни малейшего основания. В пору, когда писал Карамзин приведенные строки (19 января 1823 г.), он не мог обидеться на Бестужева за похвалы Шишкову. «Противоречие» Бестужева не могло восприниматься Карамзиным в это время как парадокс.

Дело, конечно, не в стиле и не в отдельных бестужевских парадоксах. Карамзин, знавший, какие трудности приходилось преодолевать автору, к тому же очень терпимый человек, видевший в Бестужеве «талант», за стиль не отозвался бы столь сурово и о статье в «Полярной звезде». Суть — в другом. Карамзин острым политическим чутьем уловил, что дело куда серьезнее, чем стиль, чем мирные «парадоксы». В пользу именно такого толкования восприятия Карамзиным статьи Бестужева говорят те письма историка, в которых он излагает события 14 декабря и последующих дней. В письме от 19 декабря 1825 г., в том самом, где Карамзин рассказывает Дмитриеву о расправе над декабристами, мы читаем: «Новый император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев с Полярною звездою, Бестужевым и Рылеевым и достойными их клевретами».[2] Случайно ли Карамзину представлялось, что на площади, где «камней пять-шесть упало к его ногам», находилась и «Полярная звезда», что картечью расстреливался и декабристский альманах? Очевидно, не случайно. Очевидно, еще в 1823 г. Карамзин увидел по статье Бестужева, что камни летят не только в ограду сентиментализма, но и в самодержавие.

---

[1] Там же, стр. 0154.
[2] Там же, стр. 411.

Спустя две недели, 3 января 1826 г., Карамзин со злорадством сообщает Дмитриеву: «*Оба* рыцаря Полярной звезды сидят в крепости».[1]

Следственный комитет обычно интересовался источниками декабристского вольнодумства, и каждому из привлекавшихся к следствию задавался вопрос: какая именно литература способствовала развитию его революционных идей? Наряду с именами Радищева, Пушкина, Грибоедова, наряду с именами французских просветителей в ответах декабристов обычно называлась и «Полярная звезда».[2]

Вот еще красноречивый документ — письмо от 30 октября 1826 г. А. П. Бочкова, рядового человека той поры, страстно любившего русскую литературу. Письмо адресовано А. А. Ивановскому, сотрудничавшему в Вольном обществе любителей российской словесности, а после 14 декабря 1825 г. оказавшемуся чиновником при правителе дел Следственного комитета по делу декабристов. А. П. Бочков пишет: «Письма Бестужева, мой любезнейший друг, я читал почти со слезами. Мысль, что он погиб навсегда для нас и что эта потеря не скоро вознаградится, убивала меня. Его заслуги важны для нашей словесности. До него наши молодые поэты были в каком-то разделении; возникающий от любви к отечественному <взгляд> хотя изредка и начинал уже пробиваться, но они действовали без всяких видов и только тешились сами собою. Бестужев первый привел их к одному алтарю, показал им благороднейшую цель: славу России, — и средство: пламенную любовь к родине и знание старины. Но „Полярная звезда" скоро закатилась. *Бестужевы, Рылеев, Корнилович, Кюхельбекер,* — сколько надежд погибло! Безрассудные! зачем вы поставили свой жертвенник под дерево вольности?»[3] А. П. Бочков в одном был неправ: «Полярная звезда» не закатилась и надежды декабристов не погибли.

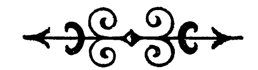
---

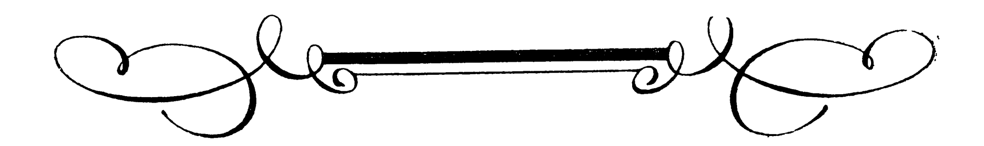
[1] Там же, стр. 413.

[2] М. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 223, 226. Ср.: М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1951, стр. 423—424.

[3] Русская старина, 1889, № 7, стр. 113.

Революционное значение «Полярной звезды» высоко оценил Герцен, назвав свой издававшийся за рубежом периодический орган именем декабристского альманаха и поместив на обложке виньетку с изображением голов казненных декабристов и Полярной звезды над ними. «Полярная звезда, — писал Герцен в предисловии к первой книжке своего альманаха, — скрылась за тучами николаевского царствования. Николай прошел, и Полярная звезда является снова. . .» Тем самым он подчеркнул преемственность своей революционной деятельности от революционного дела декабристов. Декабристская «Полярная звезда» служила примером для будущих поколений. Она имела большое значение для судеб русской литературы, являясь очень важным этапом ее развития.





КОММЕНТАРИИ

Предлагаемое издание текстов альманахов Рылеева и Бестужева — «Полярной звезды» на 1823, 1824 и 1825 гг. и «Звездочки» на 1826 г. — имеет целью дать современному читателю полное представление об этих замечательных памятниках декабристской литературы. Издание не только представляет всё содержание альманахов, весь их текст полностью, но дает его по возможности документально. Текст каждого из альманахов печатается с исчерпывающей полнотой — от заглавия и цензурных данных до последней страницы, и с максимальным орфографическим и синтаксическим приближением к подлиннику.

Необходимо дать пояснения о тексте невышедшего в свет последнего выпуска альманаха, готовившегося на 1826 г. в сокращенном объеме под заглавием «Звездочка». Как известно, печатание этого альманаха, производившееся в последние месяцы 1825 г., не было закончено: его прервали декабрьские события — восстание 14 декабря и его разгром. Весь тираж отпечатанных к этому времени листов «Звездочки» был свален, как свидетельствует М. И. Семевский, «в опечатанных тюках в кладовые типографии Главного штаба и здесь погребен до 1861 года, когда, как ненужный хлам, альманах этот был сожжен» (Русская старина, 1883, июль, стр. 44). Сохранились лишь два экземпляра, по которым мы и перепечатываем текст «Звездочки». Один экземпляр, более полный, из собрания П. А. Ефремова. хранится в Государственной Публичной библиогеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) в Ленинграде; он заключает в себе пять листов — 1—80 страницы. Другой, менее полный, экземпляр был подарен в 1860 г. М. И. Семевскому близким к Рылееву лицом — А. Н. Креницыным — и теперь находится в библиотеке ИРЛИ (Пушкинского Дома). Он имеет всего 64 страницы, т. е. обнимает первые четыре листа, и притом дефектен — не хватает страниц 11—14-й. Но и сохранившиеся 80 страниц экземпляра ГПБ — это не весь предполагавшийся текст альманаха. В Государственном центральном военно-историческом архиве (ЦГВИА) в Москве хранится почти полная цензурная рукопись «Звездочки» (ф. 1 (Л), оп. 1, д. 6293 — в фондах, переданных из Ленинградского военно-исторического архива). Рукопись, очевидно, была взята после 14 декабря из типографии в Следственный комитет, где с нее было списано

оглавление, подписанное: «Генерал-адъютант Потапов» и датированное «17 генваря 1826». В этом оглавлении к трем последним стихотворениям — №№ 25, 26, 27 — сделана помета: «Не оказалось», и их, действительно, нет в рукописи. На обложке «дела» — заголовок: «Манускрипты Полярной звезды на 1826 год» и надписи: «Секретно. Хранить в канцелярии до востребования».

Сама цензурная рукопись имеет 56 листов; в ней не хватает титульного листа и, как сказано, нескольких последних страниц с тремя стихотворениями. По листам идет скрепа: «Цензор Александр Бируков». Его же пометы и поправки встречаются в тексте.

Все произведения, вошедшие в рукопись, но отсутствующие в печатных экземплярах «Звездочки», напечатаны выше в «Приложении» (стр. 767—800), в порядке рукописи. Там же (стр. 799) помещено и оглавление, подписанное членом Следственного комитета генералом Потаповым. Как видно, состав рукописи и порядок произведений в ней не совпадает с отпечатанными листами альманаха. Очевидно, перемены были сделаны в последний момент и далеко не весь текст был отпечатан.

С этой цензурной рукописи, по-видимому, была снята копия для акад. Н. Ф. Дубровина, а по этой копии текст рукописи был опубликован М. И. Семевским в «Русской старине» (1883, июль, стр. 45—100). Публикация в основном совпадает с рукописью ЦГВИА, отличаясь лишь мелкими, случайными разночтениями. Кроме того, некоторые пометы и вставки на рукописи, сделанные рукой А. А. Бестужева, отмечены в публикации как принадлежащие цензору Бирукову.

Отличия рукописи (и публикации Семевского) от печатного текста «Звездочки» заключаются в следующем. После стихотворения Ознобишина «Отрывок из восточной повести „Пустынник Канду“», до которого включительно тексты экземпляров альманаха и рукописи совпадают, в рукописи следуют стихотворения: «Епилог к стихотворной повести „Эда“» Е. А. Баратынского, «Тоска души» Я. Н. Ростовцева, «Епиграмма» А. С. Хомякова. Далее стихотворение того же Хомякова «К заре», вошедшее и в печатный текст, а после него: «Описание шахова кладбища» Пл. Г. Ободовского, «Графине ***» кн. П. А. Вяземского; затем — «Песня» В. И. Туманского, вошедшая в печатный текст; элегия «Счастливый младенец» В. Л. Пушкина, имеющаяся лишь в рукописи; стихотворение Н. М. Языкова «Зависть гения» (как в рукописи, так и в печатных экземплярах), за ним — ряд стихотворений, имеющихся лишь в рукописи: «Элегия» В. И. Туманского, «К сестре» С. Д. Нечаева, «Катай-валяй (Партизану-поэту)» П. А. Вяземского, в копии оглавления, подписанной Потаповым, ошибочно приписанное Пушкину, «Песня» В. Л. Пушкина, «К С***» В. И. Туманского, «Греческая ода» его же, «К Лиодору» С. Д. Нечаева, «Две картины» Н. М. Языкова, «Битва» Н. А. Маркевича, «Какая это сторона?» Ф. Н. Глинки, «Бал» Е. А. Баратынского, «Отрывки из персидской повести „Орсан и Леила“» П. Г. Ободовского. За этим последним стихотворением сле-

дует повесть О. М. Сомова «Гайдамак», которой заканчивается известный нам печатный текст «Звездочки».

Что касается орфографии и пунктуации, принятых в настоящем издании, то здесь нужно отметить следующие особенности. Все тексты печатаются по современной нам орфографии и с принятой теперь пунктуацией. Однако при этом сохранены все написания и знаки, характерные для исторической эпохи, или имеющие несомненное орфоэпическое (произносительное) или интонационное значение.

Таким образом сохранены:

заглавные буквы в отвлеченных словах, где они придают особую выразительность слову, например: Безумие, Злодейство; архаические написания, например: ярмонка, порутчик, сертук, скрып и др.;

при наличии разночтений в одном и том же слове различия в орфографии сохраняются;

знаки препинания, имеющие интонационное или эмоциональное значение;

знаки выделения прямой речи, отличные от современных правил (кавычки вместо начальных и конечных тире);

курсив вместо кавычек в названиях произведений.

Произведения, напечатанные в альманахе анонимно, или подписанные криптонимами, печатаются как в подлиннике, без раскрытия имен авторов. Имена авторов анонимных произведений указываются в общем оглавлении ко всему изданию, в ломаных скобках.

Подстрочные примечания «Полярной звезды» отмечаются знаками, принятыми в «Полярной звезде», т. е. либо звездочками либо цифрами. Примечания, обозначенные буквами, принадлежат составителям и содержат только указания на существенные, искажающие смысл произведения, опечатки в текстах альманаха. Все другие примечания составителей вынесены в комментарий.

Комментарий к текстам альманаха имеет целью разъяснить современному читателю их содержание, ввести в круг участников, многие из которых теперь забыты, разъяснить их отношения к альманаху, к его издателям, к идеологии и движению декабристов, раскрыть те сложные общественно-литературные отношения, на которых строятся отзывы А. А. Бестужева (часто выраженные приглушенно или иносказательно, иногда же обусловленные тактическими соображениями) о современной и прошлой литературе, русской и западноевропейской, а также показать взаимоотношения между «Полярной звездой» и современной журналистикой, отзывы критики на альманах и т. д.

В соответствии с этими задачами комментарий складывается из следующих разделов:

I. Сотрудники «Полярной звезды» и «Звездочки» в алфавитном порядке; краткие сведения об их литературно-общественной биографии, преимущественно до 1825 г. и в особенности в ее отношении к движению декабристов, к воззрениям и литературной политике руководителей альманаха. Здесь же приводятся самые необходимые пояснения к текстам стихотворений и прозаических

статей (кроме обзоров Бестужева), напечатанных во всех трех книжках «Полярной Звезды» и в «Звездочке».

II. Писатели, упоминаемые в обзорах А. А. Бестужева, также в алфавитном порядке, объединяющем все три статьи. Характер комментария — тот же, что и в первом разделе: главное внимание обращено на выяснение взаимоотношений между упоминаемыми лицами и издателями альманаха как представителями и идеологами декабристского движения, а также отношений Бестужева к современным и прошлым деятелям.

III. Периодические издания и альманахи, упоминаемые в обзорах Бестужева, их история, направление, взаимоотношения с «Полярной звездой», отношение к ним издателей альманаха, критические отзывы их о «Полярной звезде» и полемика между ними.

IV. Библиография отзывов на «Полярную звезду» в журналах, газетах и альманахах 1822—1832 гг.

V. Переводы иностранных текстов.

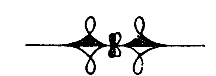
К изданию прилагается указатель личных и произведений напечатанных в ПЗ имен.

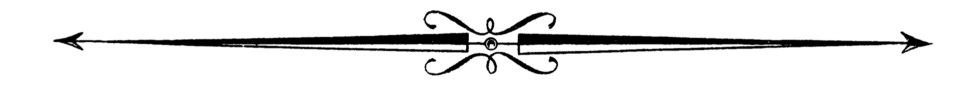
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Зв. — «Звездочка».

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.

ПЗ — «Полярная звезда».





I. СОТРУДНИКИ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» И «ЗВЕЗДОЧКИ»

Абадовский Платон Григорьевич — см. Ободовский.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — один из крупнейших поэтов пушкинского периода. Активный член Вольного общества любителей российской словесности (26 января 1820 г. избран членом-корреспондентом, 28 марта 1821 г. переведен в действительные члены общества). С издателями ПЗ Баратынский был в приятельских отношениях. Об этом свидетельствует его переписка с Рылеевым, с которым он познакомился не раньше второй половины 1822 г., и активное сотрудничество в ПЗ. В конце 1824 г. Рылеев и Бестужев предполагали издать собрание стихотворений Баратынского. Издание не было осуществлено в связи с декабрьскими событиями 1825 г. Политическое свободомыслие молодого Баратынского было неопределенно и расплывчато и почти не отразилось в его творчестве. Баратынский пользовался у современников славой первоклассного элегика, причем элегические мотивы сочетались у него с философскими размышлениями.

Весна (ПЗ, 1823, стр. 56). Стихотворение читалось на заседании Вольного общества любителей российской словесности 17 апреля 1822 г. В позднейших изданиях печатается в переработке автора.

К Дельвигу (ПЗ, 1823, стр. 220). В позднейших изданиях печатается под названием «Дельвигу» и в другой редакции. Читалось на заседании Вольного общества любителей российской словесности 13 декабря 1820 г.

Истина (ПЗ, 1824, стр. 275). В позднейших изданиях печатается с незначительными вариантами.

Аглае (ПЗ, 1824, стр. 282). Адресовано Софье Дмитриевне Пономаревой (1800—1824). В «Полном собрании сочинений» Баратынского (СПб., 1914) восстановлена по автографу первоначальная редакция. Салон Пономаревой отличался либеральным духом и привлекал передовую литературную молодежь. В доме Пономаревой бывали Рылеев, Кюхельбекер, Дельвиг, Баратынский, Плетнев, Сомов, Гнедич. Вместе с тем частыми посетителями дома Пономаревой были и участники «Благонамеренного» — А. Е. Измайлов, В. И. Панаев и др.

Рим (ПЗ, 1824, стр. 307). В позднейших изданиях печатается с незначительными вариантами. Читалось в Вольном обществе любителей российской словесности 22 августа 1821 г.

К ** (ПЗ, 1824, стр. 433). В позднейших изданиях печатается под заглавием «Л—му», «Лутковскому» и в несколько иной редакции. Лутковский Георгий Алексеевич (ум. в 1831 г.) — командир Нейшлотского полка, в котором служил Баратынский, участник войн против Наполеона. Лутковский был старинным знакомым Баратынских и всячески старался облегчить участь опального поэта. Почти всё свое пребывание в Финляндии Баратынский прожил в доме Лутковского.

Признание (ПЗ, 1824, стр. 468). При прохождении стихотворения через цензуру в 3-й строке не были пропущены слова «небесного огня». По совету Дельвига издатели поставили «прекрасного огня» (см. письмо Рылеева Баратынскому от 6 сентября 1822 г. — К. Ф. Рылеев, Полн. собр. соч., «Academia», 1934, стр. 465). При подготовке к изданию собрания стихотворений 1835 г. Баратынский значительно переработал «Признание». Одно из лучших элегических стихотворений Баратынского. Прочитав его в ПЗ, Пушкин писал Бестужеву 12 января 1824 г.: «Баратынский — прелесть и чудо, Признание — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 84).

Елисейские поля (ПЗ, 1825, стр. 546). 3-я строфа обращена к А. А. Дельвигу.

Девушке, которой имя было: Аврора (ПЗ, 1825, стр. 556). Аврора — известная красавица Аврора Карловна Шернваль (1813—1902), в первом браке за П. Н. Демидовым, во втором — за А. Н. Карамзиным.

Д‹ельвиг›у (ПЗ, 1825, стр. 574). В позднейшие издания входит с вариантами.

К жестокой (ПЗ, 1825, стр. 601). Обращено к С. Д. Пономаревой (см. стр. 889 наст. изд.). В позднейших изданиях стих 17-й печатается в другой редакции.

Л‹утковск›ой (ПЗ, 1825, стр. 651). В позднейшие издания входит в несколько другой редакции. Обращено к Анне Васильевне Лутковской, племяннице Г. А. Лутковского (см. прим. к стихотворению «К **»).

Стансы (ПЗ, 1825, стр. 678). В позднейших изданиях первые 24 стиха отброшены. Октавий — римский император Кай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 до н. э.—14 н. э.), вел длительную и упорную борьбу за единоличную власть. Добившись полноты власти, он вскоре после этого умер.

Зима. Отрывок из повести: Эда (ПЗ, 1825, стр. 715). Впервые напечатано в «Мнемозине» (1825, ч. IV, стр. 219—220).

Епилог к стихотворной повести: Эда (Зв., стр. 769). Эпилог к поэме «Эда» был написан Баратынским в 1824 г. и вместе с другими отрывками из поэмы был передан Н. В. Путятой В. К. Кюхельбекеру для «Мнемозины», но не был

пропущен московской цензурой. Путята писал А. А. Муханову по этому поводу 9 марта 1825 г.: «Буря его имела ту же участь, что Эпилог: цензура не пропустила ее. Не думаю, чтобы ваши евнухи Муз (т. е. петербургские цензоры, — *Сост.*) были снисходительнее и чувствительнее здешних (т. е. московских, — *Сост.*) к красотам их; на всякий случай посылаю ее тебе. Попробуй, авось либо пропустят. Прочие же стихи из Еды уже печатаются в Мнемозине, а поэтому, к сожалению, не могу прислать их в Полярную» (Русский архив, 1905, № 3, стр. 524). В отдельное издание поэмы 1826 г. эпилог, очевидно также по цензурным соображениям, не вошел и был напечатан только в «Сочинениях Д. Давыдова» (т. III, М., 1860, стр. 196) среди стихов, посвященных Давыдову. Эпилог посвящен войне России со Швецией 1808—1809 гг., участником которой был Денис Давыдов. В результате этой войны от Швеции к России отошла Финляндия. Подчеркнутое сочувствие и уважение к финскому народу в «Эпилоге» было связано с отрицательным отношением либеральных дворянских кругов к русско-шведской войне. Так, например, декабрист С. Г. Волконский отказался принять должность адъютанта при Буксгевдене (см. комментарий Е. Н. Купреяновой в кн.: Баратынский, Полн. собр. стих., т. 2, «Советский писатель», Л., 1936, стр. 306—307).

Бал (Зв., стр. 796). Отрывок из поэмы «Бал». Впервые напечатано в отдельном издании поэмы в одной обложке с «Графом Нулиным» Пушкина под общим заглавием «Две повести в стихах» (СПб., 1828).

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — один из виднейших поэтов конца 1800—1810-х годов, замечательный мастер легкой эпикурейской и элегической поэзии, создавший новый тип элегии, так называемую «высокую элегию». Личные связи и литературные вкусы сближали Батюшкова с карамзинистами и Арзамасом. Одна из наиболее значительных элегий Батюшкова «Умирающий Тасс» отмечена Бестужевым (см. стр. 21 наст. изд.). В этой элегии, которую Пушкин считал «ниже ее славы», декабристов привлекала судьба Тассо — итальянского поэта (1544—1595), который был объявлен безумным и заточен в тюрьму герцогом Феррарским и только перед самой смертью признан народом и увенчан лавровым венком. Батюшков оказал большое влияние на раннее творчество Рылеева (см. комментарий А. Г. Цейтлина в кн.: Рылеев, Полн. собр. соч., «Academia», М.—Л., 1934, стр. 548—549). Многочисленные переводы — подражания из Парни, в которые Батюшков вносил много творческого своеобразия, снискали ему славу «русского Парни».

Карамзину (ПЗ, 1824, стр. 278). Стихотворение написано в 1818 г. В позднейших изданиях строки 6-я и 13-я печатаются в другой редакции. В автографе стихотворение озаглавлено «К творцу Истории государства Российского». Олимпийские игры — соревнования в беге, борьбе и гимнастике, происходившие через каждые четыре года (с VIII в. до н. э. по IV в. н. э.) в древнегреческом городе Олимпии. Отец истории — Геродот (V в. до н. э.), первый греческий историк. Фукидид (V в. до н. э.) — греческий историк.

Бестужев Александр Александрович (1797—1837) — выдающийся критик и писатель, один из зачинателей русской романтической прозы. В 1824 г. принят Рылеевым в Северное тайное общество, в апреле 1825 г. выбран членом Верховной думы общества. В восстании 14 декабря принимал самое деятельное участие. Из Петропавловской крепости послал Николаю I письмо, в котором изложил свои политические взгляды и нарисовал потрясающую картину внутреннего состояния России. Осужден по 1-му разряду на 20 лет каторжных работ, затем (после «смягчения» приговора Николаем) — на 15 лет. В 1827 г. из Роченсальмской крепости был по особому повелению направлен на поселение в Якутск без отбывания каторжных работ. В 1829 г. просил направить его в действующую армию и был переведен рядовым на Кавказ. В 1836 г. произведен в прапорщики. 7 июня 1837 г. был убит в бою у мыса Адлер.

Роман и Ольга (ПЗ, 1823, стр. 115). Рассказывая о своих незавершенных замыслах, Бестужев писал в письме к Н. А. Полевому от 12 февраля 1831 г.: «Когда-то замышлял я сесть на борзого... писать историю Новгорода, моей родины... но и тогда я не иначе бы принялся за труд, как поверив на месте все подробности, и долго, пристально погрузясь в тьму летописей, с фонарем критики» (Русский вестник, 1861, т. 32, март, стр. 295). «Историю Новгорода» Бестужев так и не написал, ограничившись публикацией повести «Роман и Ольга». События, изображенные в повести, происходят в конце XIV в., когда отношения между Москвой и Новгородом стали особенно напряженными. В преклонении перед новгородским народоправством Бестужев, как и другие декабристы, утрачивал чувство исторической перспективы, явно преувеличивал степень новгородской «вольности» и недооценивал роль Московского государства. Культ древнего Новгорода разделялся всеми декабристами. Пестель говорил в своих показаниях: «История Великого Новогорода меня также утверждала в республиканском образе мыслей» (Восстание декабристов, т. IV. ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 91).

Стр. 115. Эпиграф взят из стихотворения В. А. Жуковского «Алина и Альсим».

Стр. 116. Потомок самого Вадима. Вадим — полулегендарный вождь новгородцев, поднявший восстание против князя Рюрика. Имя Вадима как борца за свободу было популярным среди декабристов.

Стр. 118. Эпиграф взят из поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник».

Стр. 123. Эпиграф взят из поэмы И. И. Дмитриева «Ермак». — Читают договорную мирную грамоту с рижанами и Готским берегом — речь идет о торговых соглашениях новгородцев с рижскими купцами, членами Ганзейского союза, и о союзе с ливонскими феодалами (заключен в 1395 году). — Князь Изяслав — сын Ярослава Мудрого. — Липец — вареный бутылочный мед. — Алдерман — член городского управления.

Стр. 124. Гаральд Строгий (1015—1066) — король Норвегии (с 1047 г.). Был женат на Елизавете, дочери Ярослава Мудрого, при

дворе которого долго находился. Подвиги Гаральда воспеты в древнескандинавской поэзии XIII в. — Зоя — византийская императрица, дочь Константина VIII, известная своими любовными похождениями. — Бирюч — глашатай.

Стр. 125. ...строятся стороны. Новгород делится рекой Волхов на две части, или стороны. Левая сторона называлась Софийской, правая — Торговой.

Стр. 126. Витовт (1350—1430) — великий князь литовский (с 1392 г.). Опасаясь усиления московского князя, заключил договоры с тверским и рязанским князьями, враждебными объединительной политике Москвы. В 1395 г. Витовт, распустив слух, что идет против Орды, неожиданно расторгнул договор с московским князем Василием Дмитриевичем и захватил Смоленск. В следующем году разорил Рязанскую землю. Витовт претендовал также на Новгородские земли. — Василий Дмитриевич (1371—1425) — старший сын Дмитрия Донского, великий князь московский с 1389 г., княжил в обстановке борьбы против литовской и татарской агрессии. Опасность со стороны Орды вынудила его заключить союз с литовским князем Витовтом.

Стр. 127. Каменный Пояс — Уральские горы, где добывались соболя — один из основных предметов новгородской торговли.

Стр. 128. Скиригайло — Свидригайло Иван (1354—1396), брат польского короля Ягайло, с 1388 г. наместник Литвы. В 1392 г. был вынужден уступить власть Витовту, который стал великим князем Литвы. Был отравлен в Киеве. — Наримант — один из сыновей литовского князя Ольгерда (1341—1377). Казнен Витовтом. — Андрей Боголюбский (ок. 1111—1174) — выдающийся государственный деятель древней Руси, князь владимирский (с 1157 г.); стремился распространить свою власть на всю Русь. С этим связан его неудачный поход на Новгород в 1170 г.

Стр. 129. Ферязь — старинная русская широкая одежда с длинными рукавами.

Стр. 131. Опашень — долгополый кафтан с короткими широкими рукавами.

Стр. 133. Баскак — в эпоху татарского ига представитель ханской власти и сборщик податей.

Стр. 135. Война с Димитрием — речь идет о походе Дмитрия Донского против Новгорода (1386 г.).

Стр. 136. Эпиграф взят из трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской».

Стр. 137. Эпиграф взят из стихотворения К. Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции».

Стр. 140. Эпиграф взят из песни А. Ф. Мерзлякова «Я не думала ни о чем в свете тужить».

Стр. 141. Пятины — пять областей, составлявших Новгородскую землю в XII—XV вв. (Водская, Обонежская, Деревская, Шелонская и Бежецкая).

Стр. 143. Орлец — новгородская крепость в нижнем течении Северной Двины. Двинские бояре сдали ее московским войскам. В 1398 г. разорена новгородцами.

Стр. 145. Эпиграф взят из баллады В. А. Жуковского «Светлана».

Стр. 148. Торговая казнь — наказание кнутом на торгах или на площади, т. е. в местах наибольшего скопления народа.

Вечер на бивуаке (ПЗ, 1823, стр. 186).

Стр. 186. Эпиграф взят из стихотворения Д. В. Давыдова «Песня старого гусара».

Стр. 188. Дендерский зодиак. Имеются в виду развалины древнего храма в Египте (к северу от Фив), на своде которого изображены знаки Зодиака.

Стр. 190. Иготь — ручная ступа.

Стр. 191. Ящик Пандоры. Пандора — женщина, сотворенная богами в наказание людям за поступок Прометея, похитившего для человечества небесный огонь. Зевс подарил мужу Пандоры, Эпиметею, сосуд, в котором были заключены все людские пороки, несчастья и болезни. Любопытная Пандора, несмотря на запрет, открыла ящик и выпустила на волю все бедствия человеческие, на дне осталась только надежда.

Стр. 193. Ведеты — передовые посты. — Фланкер — солдат, посылавшийся в боковой дозор во время движения отряда.

Замок Нейгаузен (ПЗ, 1824, стр. 362). В рыцарских повестях Бестужева («Замок Венден», «Замок Нейгаузен», «Ревельский турнир», «Замок Эйзен») отражена Ливония с момента завоевания немцами этого края и до ликвидации ордена в русско-ливонской войне 1561 г. Еще в 1818 г. Бестужев познакомился с историей Прибалтики и тогда же в «Сыне отечества» опубликовал свой перевод из сочинения графа фон Брея «Опыты критической истории Лифляндии с картинами нынешнего состояния сей области» (1817). Окончания бестужевского перевода «Опытов» в «Сыне отечества» не появилось: цензура не пропустила в печать те главы, в которых говорилось о крепостном праве. В 1820 г. Бестужев совершил поездку в Ревель и значительно расширил свои познания Прибалтийского края. В «Поездке в Ревель» имеется прямое указание на знакомство с «Хроникой Ливонии» Бальтазара Руссова (1542—1602). Бестужев отбирает из ливонских хроник те исторические события и факты, которые бросают свет на современное состояние России. К тому же история Ливонии начиная с XIII в. давала примеры героической борьбы ливов, эстов и русских с немецко-шведскими захватчиками.

Стр. 362. Давыдов Денис Васильевич — см. о нем стр. 908 наст. изд. Нейгаузен — пограничный замок, построенный в 1333 г. (У Бестужева (на стр. 386) ошибочно: в 1277 г.) на пути из Пскова в Ригу и Дерпт и бывший главной опорой ливонских рыцарей в набегах на Псковские и Новгородские земли.

Стр. 363. Мальтийский крест — орденский знак мальтийских рыцарей.

Стр. 372. Фрейграф — член тайного рыцарского судилища. Монастырь Дюнамюнда вредил нам при осаде Риги. Дюнамюнд — морская гавань Риги, которую в 1304 г. без ведома города монахи продали Ливонскому ордену. Это позволило рыцарям взять в свои руки заграничную торговлю рижан. Попытки рижан в 1328 г. овладеть Дюнамюндом были безрезультатны. — Фехтен — рижский архиепископ Иоанн III фон Фехтэ, вступил в сговор с литовским князем Витеном против рыцарей и в 1298 г. нанес им сильное поражение. У Бестужева в примечаниях имя князя (Витовт) и дата (1286 г.) указаны ошибочно.

Стр. 386. Взятие Риги. Бестужев ошибочно называет дату взятия Риги (не 1334, а 1330 г.) и имя архиепископа. Архиепископом в это время был не Иоанн II, который умер в 1295 г., а Фридрих Лобенштет (с 1304 по 1340 г.).

Роман в семи письмах (ПЗ, 1824, стр. 447).

Стр. 447. Кассолет — комнатная курильница для благовоний.

Ревельский турнир (ПЗ, 1825, стр. 510). В «Хронике» Руссова содержится рассказ о храбром купце, ставшем победителем в рыцарском турнире. Антидворянская направленность повести выступает в противопоставлении юноши из купеческой среды завистливым и жестоким рыцарям-феодалам. О значении торговли и купеческого сословия Бестужев писал в письме к Николаю I из Петропавловской крепости. В ливонских повестях присутствуют элементы исторического правдоподобия. Реалистические принципы исторического повествования нашли отражение в эпиграфе к «Ревельскому турниру». Но Пушкин был совершенно прав, когда указывал на «романтические переходы», которые оправданы в «поэмах байронических». От прозы Пушкин требует подлинного историзма. «Твой Турнир, — писал Пушкин в письме к Бестужеву от конца мая—начала июня 1825 г. — напоминает Турниры W‹alter› Scott'a. Брось этих немцев и обратись к нам, православным; да полно тебе писать *быстрые* повести с романтическими переходами — это хорошо для поэмы байронической. Роман требует *болтовни*; высказывай всё начисто» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 180).

Стр. 511. Кружева Арахны. В греческой мифологии Арахна — искусная рукодельница, дерзнувшая вызвать Афину на состязание в ткачестве и за это превращенная богиней в паука.

Стр. 512. Брандскугель — зажигательное ядро. — Греческий огонь — зажигательные снаряды. — Сказка о семи Семионах рассказывает о братьях-умельцах, построивших корабль и добывших царю невесту. Бестужев упоминает сказку в качестве примера трудолюбия и деятельности.

Стр. 513. ...под Магольмом, под Псковом, под Нарвою — речь идет о сражениях с русскими в 1501—1502 гг.

Стр. 514. Орвиетан — средство от всех болезней, названное по имени его составителя Фероата из Орвието. Впоследствии название всякого шарлатанского лекарства.

Стр. 522. Далматика — род накидки.

Стр. 534. Вицбетрейбер (нем.) — острослов, шут.

Стр. 541. Эпиграф взят из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония». — Сигизмунд — Сигизмунд I Старый (1467—1548), польский король. В 1525 г. дал согласие на преобразование вассального Тевтонского ордена в светское государство — герцогство Пруссия.

Стр. 543. Черноголовые, общество Черноголовых — военно-торговое братство, основанное в XIV в. в Ревеле для обороны города.

Изменник (ПЗ, 1825, стр. 681). Появившаяся в год декабрьского восстания, эта повесть содержит одну из излюбленных декабристских идей: «завидна смерть за родину». Эта же идея пронизывает ряд произведений Рылеева.

Стр. 681. Эпиграф взят из трагедии Шекспира «Отелло» (акт III, сцена 3).

Стр. 683. ...кличет к себе из Польши царей. В 1610 г. московские бояре предательски заключили соглашение с польским королем Сигизмундом III об избрании на русский престол его сына Владислава и позволили ввести в Москву польские войска (4 сентября 1610 г.). — Сапега Ян Петр (1569—1611) — польско-литовский магнат, один из военачальников Лжедимитрия II. В 1608 г. начал осаду сильнейшей подмосковной крепости — Троице-Сергиева монастыря, которая была снята только в январе 1610 г. — ...в рядах Шуйского. Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1587—1610) — князь, военачальник, боровшийся с польскими интервентами.

Стр. 686. Осина — дерево казни предателя. По преданию на осине повесился Иуда — один из двенадцати апостолов, предавший Христа.

Стр. 689. Лисовский Александр-Иосиф — один из военачальников в войсках Лжедимитрия II.

Стр. 690. Шуйский Василий Иванович (1552—1612) — политический деятель и царь в 1606—1610 гг. — Охабень — верхняя одежда.

Стр. 694. Рында — телохранитель, оруженосец.

Кровь за кровь (Зв., стр. 721). Бестужев ссылается на ливонскую хронику: «Нравы и случаи сей повести извлечены из ливонских хроник». Ссылка на ливонские хроники была сделана для отвода глаз цензуры. Владелец Замка Эйзен — вымышленное лицо, но в своих основных чертах чрезвычайно типичное, исторически правдоподобное. Вместе с тем Бестужев рассказывает о немецком феодале так, будто речь идет не только о нем, но и о русском помещике. Весь колорит повести столь же ливонский, сколько и русский. Сквозь ливонское прошлое здесь просвечивает современная Бестужеву крепостническая действительность. Предназначавшаяся для альманаха «Звездочка» повесть «Кровь за кровь» увидела свет только в 1827 г. в «Невском альманахе» под заглавием «Замок Эйзен». Под этим заглавием повесть печатается и в других изданиях.

Стр. 721. Воспожинки — время после окончания жатвы.

Стр. 725. Пергала (эст.) — черт, сатана.

Стр. 731. ...словно таксы трюфелей. Трюфели — сумчатые грибы с подземными мясистыми плодами; встречаются в Италии и Франции.

Бестужев Николай Александрович (1791—1855) — капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа. В 1802 г. поступил в Морской корпус. В 1809 г. был выпущен мичманом и оставлен при Корпусе воспитателем. Три раза (в 1815, 1817 и 1824 гг.) был в дальних плаваниях — в Голландию, во Францию и в Испанию. В 1823 г. назначен начальником Морского музея и историографом русского флота. В 1824 г. был принят в Северное тайное общество Рылеевым и входил в Думу общества. Декабристы возлагали большие надежды на флот, вели среди офицеров и матросов агитацию и предполагали в предстоящей борьбе опереться на Кронштадт. Н. А. Бестужев принимал активное участие в восстании 14 декабря, приведя на Сенатскую площадь матросов Гвардейского экипажа. Был осужден по 2-му разряду к двадцати годам каторжных работ. Отбывал каторгу в Нерчинских рудниках, в Чите и Петровском заводе. В 1839 г. был отправлен на поселение в Селенгинск Иркутской губернии, где и умер. Службу во флоте Н. А. Бестужев совмещал с учеными, литературными и научными занятиями. Был членом Вольного общества любителей российской словесности и Вольного экономического общества. Сотрудничал в альманахах и журналах, где печатал научные работы (по истории, физике, экономике), путевые очерки, повести, переводы. Принимал живое участие в издании ПЗ. В письме к родным (август 1823 г.) Н. Бестужев пишет, что он торопит брата и Рылеева с изданием альманаха: «Ветренные издатели П<олярной> з<везды> мало о ней помышляют — и хотя я понукал их, но худо едут вперед» (Рукоп. отд. ИРЛИ, Архив бр. Бестужевых, ф. 604, № 9 (5578), л. 11).

Гибралтар (ПЗ, 1825, стр. 604). В очерке выводятся образы испанских инсургентов, революционеров-современников, в частности героическая фигура патриота, приговоренного к смертной казни.

Велизарий (505—565) — полководец византийского императора Юстиниана. Успешно вел войны против германских государств и Персии. Под конец жизни подвергся опале и был лишен богатств. Эта опала впоследствии подала повод к легенде об ослеплении Велизария.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — писатель и журналист. Поляк по происхождению. Издавал журналы «Северный архив» (1822—1828), «Литературные листки» (1823—1824), «Сын отечества» (1825—1840) и газету «Северная пчела» (1825—1859). В 20-е годы (до декабрьского восстания) старался казаться либеральным и поддерживал тесные связи с прогрессивными писателями. Булгарин часто бывал у Рылеева, в частности приходил к нему накануне декабрьского восстания. После 1825 г. Булгарин быстро переметнулся в реакционный лагерь и стал воинствующим представителем реакционно-охранительного направления в литературе. Став политическим осведомителем III отде-

ления, писал доносы на Пушкина, Н. Полевого, Белинского, Некрасова и др. — Упоминаемые Бестужевым (стр. 27 наст. изд.) записки Булгарина под названием «Воспоминания об Испании» вышли отдельным изданием в 1823 г. В 1824 г. в журнале «Литературные листки» печатались очерки Булгарина «Прогулка по тротуару Невского проспекта»; по-видимому, эти очерки имел в виду Бестужев, когда писал, что прибавления к «Северному архиву» «оживляют на берегах Невы Парижского пустынника» (стр. 270 наст. изд.). Парижский пустынник — сборники очерков парижской жизни, издававшиеся французским журналистом Этьеном Жуи (1764—1846) в 20-х годах, под названиями (по сериям): «l'Érmite de la rue de la Paix» («Отшельник с улицы Мира»), «l'Érmite en province» («Отшельник в провинции»), «l'Érmite en prison» («Отшельник в тюрьме») и др.

Раздел наследства (ПЗ, 1823, стр. 42). Ф. Н. Глинка — см. стр. 903 наст. изд. Эпиграф взят из стихотворения известного немецкого писателя и поэта Иоганна-Готфрида Зейме (1763—1810), бывшего на русской службе с 1792 по 1796 г.

Военная шутка (ПЗ, 1823, стр. 157).

Стр. 157: Пришли на растах, т. е на дневку (от немецкого Rasttag — день отдыха).

Стр. 159: Шварц Бартольд (род. в нач. XIV в.) — средневековый ученый — химик, которому приписывается изобретение пороха.

Освобождение Трембовли (ПЗ, 1823, стр. 210). — Гуроны — индейское племя в Северной Америке, по языку принадлежавшее к ирокезской группе.

Модная лавка, или Что значит фасон? (ПЗ, 1824, стр. 310).

Стр. 312: Модные лавки из комедии Крылова. Имеется в виду комедия И. А. Крылова «Модная лавка» (1806).

Стр. 313: «Русалка» — популярнейшая в начале XIX в. опера «Днепровская русалка», текст которой переведен и переделан с немецкого из пьесы Генслера «Дунайская дева». Музыка Кауэра, С. Давыдова и К. Кавоса.

Вердеревский Василий Евграфович (годы рождения и смерти неизвестны) — поэт и переводчик. Кроме ПЗ, сотрудничал в «Каллиопе» (1816, 1817, 1820), «Мнемозине» (1824), «Северных цветах» (1831), «Сыне отечества» (1827), «Вестнике Европы» (1818), «Лит. прибавлениях к Русскому инвалиду» (1831), «Альционе» (1832), «Московском телеграфе» (1828). В 1830 г. был правителем Канцелярии Комиссариатского департамента Военного министерства, в 1853 г. служил председателем Пермской казенной палаты, в 1865 г. в Нижнем Новгороде был осужден за растрату и сослан в Сибирь. Горация Вердеревский переводил не с подлинника, а с французских переводов (см. рецензию Н. Полевого на альманах «Северные цветы» 1828 г. в «Московском телеграфе», 1828, ч. 19, № 1, стр. 126. Недоброжелательный отзыв о переводах Вердеревского из Горация содержится также в «Московском телеграфе», 1830, ч. 31, № 3, стр 360).

Воейков Александр Федорович (1778—1839; у Бестужева год рождения ошибочно: 1773) — поэт, переводчик, критик и журналист, член «Арзамаса» и Вольного общества любителей российской словесности. Соиздатель Греча по «Сыну отечества» (1820—1821), редактор «Новостей литературы» (1822—1826), «Славянина» (1827—1830), «Русского инвалида» (1822—1838). Как журналист Воейков отличался бесцеремонностью и беспринципностью, перепечатывал в своих изданиях без разрешения авторов их произведения. Пушкин в качестве наибольшего порицания Булгарину писал, что он «хуже Воейкова» (письмо Л. С. Пушкину 1 апреля 1824 г. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 90). Сам Булгарин в письме к Гречу называет литературное воровство «воейковщиной» (письмо 16 июля 1823 г. в сб. «Лит. портфели», кн. 1. «Атеней», Пб., 1923, стр. 51, 52). Воейков неоднократно занимался перепечатками и из ПЗ. В третьей книжке «Новостей литературы» 1823 г. он перепечатал из ПЗ на 1823 г. два стихотворения Вяземского: «Всякий на свой покрой» и «Элегия» и думу Рылеева «Иван Сусанин». Стремясь оградить ПЗ от произвольных перепечаток, издатели решили послать протест Воейкову. Черновик этого протеста (июнь—июль 1823 г.) опубликован в «Лит. наследстве» (т. 59, АН СССР, М., 1954, стр. 140). Однако, как предполагает комментатор, этот протест не был послан. Издательская бесцеремонность Воейкова (в июльском номере за 1824 г. Воейков напечатал начало пушкинской поэмы «Братья разбойники», предназначавшейся Пушкиным для третьей книжки ПЗ), а также обострение отношений в Вольном обществе, привели издателей ПЗ к необходимости 15 сентября 1824 г. послать Воейкову письмо, в котором они выражали свое возмущение публикацией отрывка из «Братьев разбойников» и заявляли о разрыве всяких отношений с ним (письмо опубликовано Н. И. Мордовченко в «Лит. архиве», т. I, АН СССР, М.—Л., 1938, стр. 422—424). Посылая 20 сентября 1824 г. Вяземскому копию упомянутого письма к Воейкову, Бестужев писал: «Теперь пишу я к Вам, чтобы отвесть душу, огорченную подлостью людскою... Из копии с письма нашего к Воейкову увидите Вы, каков он человек; но если узнаете низкие пружины, заставляющие его действовать, то подивитесь и пуще ничтожной зависти и корысти человеческой» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 223). Дальше Бестужев сообщает об издании альманаха «Северные цветы», план которого «начертан» Воейковым. Об альманахе «Северные цветы», задуманном Дельвигом и Плетневым в противовес ПЗ, см. стр. 975 наст. изд.

Прелесть ужаса. Отрывок из III песни Делиллевой поэмы: Воображение (ПЗ, 1823, стр. 177). Аббат Жак Делиль (1738—1813) — французский поэт классического направления, переводчик Вергилия, пользовавшийся популярностью в русской литературе начала XIX века.

Стр. 180. Бюффон Луи (1707—1788) — французский ученый, автор «Естественной истории» (1749—1789), сыгравший крупную роль в развитии естествознания XVIII в. — Плиний Старший (23—79 гг. н. э.) — римский

писатель-энциклопедист, автор обширной компиляции «Естественная история», которая в течение многих веков была основным пособием по различным отраслям естествознания. Погиб при извержении Везувия, которое хотел наблюдать вблизи как ученый.

Четыре возраста человеческих. Отрывок из Делиллевой поэмы: Воображение (ПЗ, 1824, стр. 298). Монтескьё Шарль-Луи (1689—1755) — французский политический писатель «просветитель», основоположник буржуазного конституционного права.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик, один из ближайших друзей Пушкина. Для Вяземского 20-х годов характерна известная политическая оппозиционность, которая сближала его с декабристами. После разгрома декабрьского восстания Вяземский стал отдаляться от своих вольнолюбивых взглядов и постепенно перешел в правительственный лагерь. В литературном отношении Вяземский занимал сложную и противоречивую позицию: Карамзин и Дмитриев были для него непререкаемыми авторитетами, но сам он никогда не писал в духе карамзинизма; в 10-х годах он был одним из убежденнейших «арзамасцев» и вел борьбу эпиграммами и критическими статьями против отсталых «беседчиков»; с начала 20-х годов он поддерживал романтизм, понимаемый как свободу от стеснительных условностей и устарелых правил в поэзии, но никогда в своем творчестве не был романтиком ни в духе декабристов, ни в духе Жуковского. Вяземский принимал живое участие в издании ПЗ. Активно сотрудничая сам в альманахе, он помогал его издателям собирать материал от близких ему поэтов. В письмах к Вяземскому Бестужев неоднократно просит помочь ему получить произведения Дениса Давыдова, Ознобишина, И. И. Дмитриева и др. (см.: Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 202, 208, 223—224). Вяземский способствовал также прохождению альманаха через цензуру, пользуясь влиянием А. И. Тургенева (см. письма Тургенева к Вяземскому на стр. 850 наст. изд.). В письмах Вяземского к Бестужеву содержатся интересные отзывы об альманахе (см.: Русская старина, 1888, № 11, стр. 312, 322—325). Бестужев прислушивался к мнениям Вяземского, но не всегда с ним соглашался. Ответы Бестужева на отзывы Вяземского см. в «Лит. наследстве» (т. 60, кн. 1, стр. 200—230). О разногласиях между Бестужевым и Вяземским см. наст. изд., стр. 813—816.

Послание к И. И. Дмитриеву (ПЗ, 1823, стр. 64). Глазунов Матвей — основоположник известной русской книготорговой фирмы, просуществовавшей с 1780 по 1917 гг.

Эпиграмма. Из Ж. Б. Руссо (ПЗ, 1823, стр. 75). Руссо Жан-Батист (1671—1741) — французский поэт, известный своими одами, а также непристойными стихотворениями и сатирическими эпиграммами. Япетов сын — Прометей, сын титана Япета.

Всякий на свой покрой (ПЗ, 1823, стр. 111). Денис тому пример живой — Денис Иванович Фонвизин (см. о нем стр. 964 наст. изд.). —

Вралькин — вероятно, подразумевается Шаховской. — Пускай ворчат себе расколы! В арзамасском кругу «Беседу любителей русского слова» называли расколом, имея в виду сборище староверов.

Цветы (ПЗ, 1823, стр. 154). Лиза бедная — сентиментальная повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1791), пользовавшаяся большим успехом у современников.

Эпиграмма (ПЗ, 1823, стр. 156). Лезбосская певица — Сафо (VII—VI в. до н. э.), греческая поэтесса, жившая на острове Лесбосе. По преданию, полюбила прекрасного юношу Фаона и, отвергнутая им, бросилась в море с Левкадской скалы. Переводчиком Сафо на русский язык был посредственный поэт П. И. Голенищев-Кутузов, сенатор и попечитель Московского университета, ярый реакционер, который даже Карамзина считал «якобинцем» и писал на него доносы.

Воли не давай рукам (ПЗ, 1824, стр. 393). Архонты — верховные правители в древних Афинах, избиравшиеся на год. У Вяземского слово «архонты» употреблено в смысле: вельможи, государственные деятели, сановники. Фемида — богиня закона и правосудия. Греки изображали ее с весами в руках и с повязкой на глазах. Долгоруков — князь Яков Федорович Долгорукий (1659—1720), государственный деятель при Петре I, отличавшийся независимостью своих мнений и смело отстаивавший их перед Петром. По преданию, он однажды разорвал заготовленный Петром указ. Петр согласился с Долгоруким.

В шляпе дело (ПЗ, 1824, стр. 416). Стихотворение было помещено издателями без ведома и разрешения Вяземского. 7 января 1824 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Меня скопцом вывели в „Полярной“... Да неужели было у меня „Русский царь в шляпе?“ Понять не могу и припомнить, когда доставил им эту песню, написанную мною тотчас после Двенадцатого года, когда это выражение было точно в народном употреблении. Не люблю ни писать задним числом, ни думать задним умом, ни чувствовать задним чувством. Всему свое время и свое место. Я сгорел, как прочел этот стих» (Остафьевский архив, т. 3. СПб., 1899, стр. 1). Возмущение Вяземского объясняется тем, что последний куплет его стихотворения славил Александра I как победителя Наполеона. Это, безусловно, претило оппозиционным настроениям Вяземского в начале 20-х годов (см.: К. П. Богаевская. Комментарий к письмам А. Бестужева к П. А. Вяземскому. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 215). В письме от 28 января 1824 г. Бестужев писал по поводу этого стихотворения: «„В шляпе дело“ получено нами от А. Измайлова и здесь в большом ходу. Вас мучит старинный грех, т. е. последний куплет? Помилуйте, князь, надобно ж чем-нибудь платить *за простой* в России» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, стр. 213).

Петербург (ПЗ, 1824, стр. 430). Одно из наиболее «возмутительных» стихотворений Вяземского. Сам Вяземский в письме к А. И. Тургеневу так характе-

ризовал его: «Я на горах свободы (т. е. во время поездки в Краков на первый польский сейм, — *Сост.*) такую взгромоздил штуку, что только держись, так Сибирью на меня и несет. Теперь ни слова, но надеюсь скоро кончить и тогда пришлю тебе свой законносвободный и законноположительный восторг» (Остафьевский архив, т. 1. СПб., 1899, стр. 116). О цензурных затруднениях, связанных с публикацией этого стихотворения в ПЗ, см. стр. 850—851 наст. изд. Последняя часть стихотворения в ПЗ не была напечатана издателями по цензурным соображениям. «Петербург» не был единственным стихотворением Вяземского, задержанным цензурой. Посылая Вяземскому вторую книжку ПЗ, Бестужев писал: «Цензура в этот раз натешилась над нами и над Вами, как Вы и видели по непомещенным пьесам. Из Пушкина запрещено 4 пьесы, из других — несть числа» (письмо 1—18 января 1824. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 210). Возможно, среди «непомещенных пьес» было стихотворение «Негодование», которое так же, как и «Петербург», выражало оппозиционные настроения Вяземского. В письме 13 октября 1822 г. Бестужев упомянул об этом стихотворении, как предназначенном для ПЗ. «Теперь принимаюсь за свою любезную любовницу (т. е. «Полярную звезду», — *Сост.*), которая от Вас, любезный Петр Андреевич, дожидается венериного пояска, а я как модный чичероне благодарю Вас за прежний ей подарок: „Негодование". Это ужас как идет к красавицам» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, стр. 208). — Питомец твой, громов метатель двоеглавый. На государственном гербе царской России изображался двуглавый орел. Рымникский — А. В. Суворов, которому было присвоено это имя за победу над турками в 1789 г. при реке Рымник. Задунайский — П. А. Румянцев, которому за победы над турками в войне 1768—1774 гг. было присвоено это имя. Там предрассудков меч и светоч возмущенья — Вяземский пишет о Великой французской революции XVIII в. Вяземский был поклонником жирондистов и отрицательно относился к якобинской диктатуре. Полтавская рука сей разводила сад — речь идет о Летнем саде в Петербурге. Невтонов ученик — Ломоносов. Шувалов И. И. — екатерининский вельможа, покровительствовавший Ломоносову. Приветствие в Ферней — Екатерина II переписывалась с Вольтером, который жил в последний период в Фернее (Швейцария). И твоего певца уста уже безмолвны — Державин умер в 1816 г.

Давным давно (ПЗ, 1824, стр. 476). Давно ль на воздухе притворном. В авторизованном рукописном сборнике стихов Вяземского против этого стиха рукой Вяземского написано: «Так сказано и напечатано для ценсуры, а, разумеется, следует придворном».

Того-сего (ПЗ, 1825, стр. 602). Во 2-й строфе содержится намек на Вольтера. Вольтер долго жил при дворе Фридриха II, переписывался с Екатериной II, в то же время в своих сочинениях резко выступал против абсолютизма и католической церкви. Куда как пуст Лужницкого журнал — издатель

журнала «Вестник Европы» Каченовский (см. стр. 948 наст. изд.) некоторые свои статьи подписывал «Лужницкий старец».

Катай-валяй (*Партизану поэту*) (Зв., стр. 779). Впервые напечатано в «Альбоме северных муз» (1828, стр. 346). Посвящено Денису Давыдову (см. стр. 908 наст. изд.).

Глинка Федор Николаевич (1786—1880; у Бестужева год рождения ошибочно: 1787) — писатель, поэт и публицист. Полковник, член Союза спасения и Союза благоденствия, руководитель почти всех легальных мероприятий Союза благоденствия, проводимых через систему «вольных обществ», фактический руководитель Вольного общества любителей российской словесности. В позднейших тайных обществах не состоял, но имел тесные связи с Рылеевым, Бестужевым, Оболенским и другими, знал о существовании Северного общества и его планах. За связи с декабристами был сослан в Петрозаводск, где находился на гражданской службе; в 1835 г. вышел в отставку. Литературную известность Глинке принесли «Письма русского офицера» (1-е изд., 1808; 2-е более полное изд., 1815—1816), которые охватывали всю историю войн России с Наполеоном и заключали весь военный опыт Глинки. В своей поэтической практике выступал глашатаем основных положений Союза благоденствия. Высокая гражданская патетика его «псалмов» должна была воспитывать читателя в духе декабристских идеалов. Произведения Глинки позднейшего времени носят реакционно-мистический характер.

Ворожба (ПЗ, 1823, стр. 69). Читалось на заседании Вольного общества любителей российской словесности 2 января 1822 г.

К Дориде (ПЗ, 1823, стр. 113). Перепечатано в сборнике Ф. Глинки «Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе» (СПб., 1826) под названием «Гостья ненадолго».

Мои вожатые (ПЗ, 1823, стр. 165). Читалось на заседании Вольного общества любителей российской словесности 2 января 1822 г.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт и переводчик. Был близок с Пушкиным и многими деятелями декабристского движения, принимал участие в собраниях «Зеленой лампы», с декабря 1818 г. член Вольного общества любителей российской словесности, а с июня 1821 г. по май 1823 г. вице-президент общества. На эту должность Гнедич был избран после произнесения речи (3 июня 1821 г.), в которой изложил свое понимание литературной деятельности как общественного служения. Декабристы ценили Гнедича как поэта-гражданина, поборника высокого, социально-направленного искусства. Рылеев посвятил Гнедичу свою думу «Державин», прославляющую гражданственную поэзию (читалась на заседании Вольного общества 6 ноября 1822 г.). Особенно прославился Гнедич своим переводом «Илиады». Первые отрывки из «Илиады», переведенные гекзаметром, были напечатаны в 1813 г. Вокруг перевода возникла полемика по вопросу о размере, пригодном для героической эпопеи (первый переводчик «Илиады» Е. Костров использовал александрийский стих). Защитники Гнедича

связывали вопрос о гекзаметре с вопросом народности искусства и самобытного поэтического стиля, свободного от французского влияния. В числе защитников Гнедича были Пушкин и декабристы. Кюхельбекер считает перевод «Илиады» одним из доказательств начала новой эры в поэзии (Взгляд на нынешнее состояние русской словесности. — Вестник Европы, 1817, ч. 95, № 17 и 18, стр. 157). Рылеев приветствует «Илиаду» в своем «Послании Гнедичу» (Сын отечества, 1821, ч. 74, № 50, стр. 175—178), Бестужев восторженно отзывался о нем в ПЗ (см. стр. 22 наст. изд.). Сочувственное отношение декабристов к переводу «Илиады», произведения, насквозь проникнутого пафосом борьбы, следует рассматривать в плане их борьбы за высокое гражданское искусство. Стремление привить русской поэзии стилистические черты и величественность гомеровского эпоса, связанное с борьбой за национальную русскую эпику, вызвало создание поэмы «Рождение Гомера» (1816) и «первого опыта русской народной идиллии» «Рыбаки» (1821 г.). Оба эти произведения также были отмечены Бестужевым (см. стр. 22 наст. изд.). В начале 1825 г. Гнедич перевел и издал песни греческих повстанцев: «Простонародные песни нынешних греков, с подлинником изданные и переведенные в стихах, с прибавлением введения, сравнения их с простонародными песнями русскими и примечаний Н. Гнедичем» по известной книге Фориеля (Fauriel. Chants populaires de la Grèce moderne. 1823). Переводы Гнедича вызвали большой интерес в декабристских кругах.

Кузнечик (*Из Анакреона*) (ПЗ, 1823, стр. 58). Написано в 1822 г. Стихотворение является переводом оды XLIII из сборника Анакреонта (см. стр. 936 наст. изд.).

Перстень (ПЗ, 1823, стр. 73). Написано в 1817 г. В последующих изданиях последние пять строк печатаются в другой редакции.

К N. N., требовавшей экземпляра сочинений Батюшкова (ПЗ, 1823, стр. 76). Датируется 1817 г. В этом году вышли «Опыты в стихах и прозе» К. Батюшкова, редактором и издателем которых был Гнедич. По предположению И. Н. Медведевой, стихотворение обращено к артистке Екатерине Семеновой (см.: Н. И. Гнедич. Стихотворения. «Советский писатель», Л., 1956, стр. 803). В ПЗ в стихе 1-м опечатка: должно быть «внушали».

Тарентинская дева (ПЗ, 1823, стр. 110). Стихотворение является переводом элегии «La jeune Tarentine» А. Шенье (1162—1794). Т а р е н т — город в Италии у Тарентского залива Ионического моря. — К а м а р и н а — древний город в Сицилии.

К N... N... (ПЗ, 1823, стр. 168). Стихотворение является переводом «Экспромта в ответ другу» Байрона («Impromptu, in reply to a friend»). В последующих изданиях стих 6-й печатается в другой редакции.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — литератор, издатель журнала «Сын отечества», автор трудов по русской грамматике и словесности. До 14 декабря 1825 г. Греч поддерживал тесные связи с прогрессивными писателями, был активным членом Вольного общества любителей российской словесности, одно

время даже вице-президентом общества и слыл «отъявленным либералом», пострадавшим после бунта Семеновского полка. Издаваемый им «Сын отечества» был одним из печатных органов раннего декабризма. Однако уже с 1823 г. Греч стал переходить на охранительные позиции, а войдя в тесный союз с Ф. В. Булгариным (вместе с которым с 1825 г. издавал «Северную пчелу»), быстро превратился в официозного, реакционного журналиста и беспринципного литературного дельца. В 1808 г. вышла первая работа Греча по грамматике «Таблица русских склонений», в 1811 г. — «Опыт о русских спряжениях», в 1823 г. были изданы «Корректурные листы русской грамматики», наконец, в 1827 г. появились «Практическая русская грамматика» и «Пространная русская грамматика», а в 1828 г. — «Начальные правила русской грамматики». Работы Греча по грамматике долгое время считались образцовыми, несмотря на их ненаучность и схоластичность. В 1821 г. Греч издал «Опыт краткой истории русской литературы», являющийся, по сути дела, простым перечнем писателей, их произведений и чиновно-должностных званий. Вокруг «Опыта» развернулась борьба. Центральным вопросом полемики был вопрос о литературном языке древней Руси, что было непосредственно связано с решением злободневных вопросов современности. Греч утверждал, что литературный язык древней Руси был церковнославянским. Бестужев выступил против Греча с полемической статьей «Почему? Письмо к издателю „Сына отечества“» (Сын отечества, 1822, ч. 77, № 18), где впервые доказывал, что литературный язык древней Руси был языком не церковнославянским, а русским. В 1817 г. Греч путешествовал по Франции, Германии и Швейцарии. Записки о путешествии печатались в 1817 г. в «Сыне отечества» (ч. 37—38) под заглавием «Письма издателя С. О. к редактору». Греч был сотрудником первого выпуска ПЗ. Сочувственный и даже хвалебный отзыв о нем Бестужева объясняется тем, что «Взгляд на старую и новую словесность» был написан в пору близости Греча к декабристским кругам, когда его беспринципность и карьеризм еще не проявлялись открыто. В следующие годы издатели ПЗ отстранили Греча от участия в альманахе. В конце 1823 г. он был отстранен и от участия в Вольном обществе. М. А. Бестужев рассказывал Семевскому, что «Н. Б‹естужев› и Рылеев его (т. е. Греча, — *Сост.*) приказывали остерегаться» (Воспоминания Бестужевых, АН СССР, М., 1951, стр. 389). Подробно о деятельности Греча в Вольном обществе и об отношении к нему декабристов см.: В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 263—265.

Письма о Швейцарии (ПЗ, 1823, стр. 78).

Стр. 85. Геснер Соломон (1730—1788) — швейцарский поэт, автор прозаических идиллий (на немецком языке), вызвавших многочисленные подражания во Франции и в России.

Стр. 87. Броннер Франц Ксаверий (1758—1850) — немецкий писатель и ученый, автор многочисленных трудов, среди которых — «Lustfahrten in's Idyllenland» («Путешествие в страну идиллий») 1833 г. Генерал всех русских

путешественников — Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника» («Моск. журнал» 1791—1792; отд. изд. 1797—1801). Упомянутое Гречем описание памятника «прекрасной жене» находится во второй части «Писем» (стр. 267—269, запись 10 сентября 1789 г.).

Стр. 88. Лойола Игнатий (Дон Иниго Лопец де Рекальдо Лойола, 1491—1556) — основатель ордена иезуитов.

Стр. 89. Тель Вильгельм, Штауффахер Вернер, Фюрст Вальтер, Мельхтальский Арнольд, Винкельрид Арнольд — легендарные герои швейцарского народа в период его борьбы за освобождение Швейцарии от власти Австрии. — Гельвеция — древнее наименование северо-западной части современной Швейцарии.

Стр. 94. Неккер Жак (1732—1804) — французский политический деятель, в 1776—1781 гг. стоял во главе финансового ведомства. Сталь-Голстейн Анна-Луиза-Жермен де (1766—1817) — дочь Неккера, французская писательница, оказавшая большое влияние на развитие романтизма.

Стр. 95. Пекола — женевский гражданин. В 1518 г. во время борьбы между Женевой и савойским герцогом (см. следующее примечание) был арестован, подвергнут пытке и, чтобы не отвечать, откусил себе язык. — Бертелье Филибер (ок. 1470—1519) — женевский гражданин, член верховного совета города, вел борьбу, начатую ок. 1513 г. с герцогом савойским за независимость Женевы и ее кантона. После того как город сдался герцогу (15 апреля 1519 г.), Бертелье был заключен в тюрьму и обезглавлен. — Робеспьер Максимильен Марк Изидор (1758—1794) — деятель французской буржуазной революции, один из вождей якобинцев. Казнен после контрреволюционного переворота 9 термидора II г. (27 июля 1794 г.). — Фукье-Тенвиль Антуан Кантен (1746—1795) — деятель французской революции, общественный обвинитель революционного трибунала. Казнен после контрреволюционного термидорианского переворота.

Стр. 96. Вот наш освободитель! — 12 декабря 1777 г. родился Александр I.

Стр. 98. Лекень (Лекен) Анри-Луи (1728—1778) — великий трагик французской сцены, высоко ценимый Вольтером.

Стр. 99. Эбель Иоганн-Готфрид (1764—1830) — врач, географ и геолог; долгое время жил в Швейцарии, где напечатал ряд книг, в том числе упоминаемую Гречем «Schilderung der Gebirgsvölker der Schweiz» (1798—1802).

Стр. 100. Фелленберг Филипп-Эммануил (1771—1844) — швейцарский агроном и педагог, считавший недостаточность образования основной причиной бедности народа и основавший с филантропической целью сельскохозяйственную школу, в которой старался привить населению умение пользоваться новейшими техническими изобретениями.

Стр. 101. Костюшко Тадеуш (1746—1817) — выдающийся деятель польского национально-освободительного движения, вождь восстания 1794 г., раз-

громленного царскими войсками. После поражения восстания Костюшко был взят в плен и заключен в Петропавловскую крепость. Освобожденный Павлом I, выехал из России, жил в США, Франции и наконец в Швейцарии, где и умер.

Стр. 104. Ветурин — кучер, возница. — Маршал де Сакс — Мориц Саксонский (1696—1750), французский маршал, автор известных военно-теоретических работ. — Шевалье-Пейкам (р. 1774) — французская актриса и певица, в течение нескольких лет (при Павле I) выступала в Петербурге.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829). С юношеских лет тесно связан с декабристским движением как дружескими отношениями с будущими декабристами (В. К. Кюхельбекером, А. И. Одоевским), так и своими общественно-политическими и эстетическими взглядами. Можно предполагать, что Грибоедов был посвящен в планы декабристов, хотя он и не разделял декабристских взглядов на способы борьбы с самодержавием и был противником военной революции. Привлекался к следствию по делу декабристов, но на допросах решительно отрицал свою принадлежность к тайному обществу и был освобожден. Комедия «Горе от ума» является одним из наиболее ярких проявлений декабристской идеологии в литературе. Высокую оценку комедии дал Бестужев на страницах ПЗ. С издателями ПЗ Грибоедов познакомился в 1824 г. во время своего пребывания в Петербурге. О характере отношений между ними см. статью А. Бестужева «Знакомство с Грибоедовым» и комментарии М. К. Азадовского в кн.: Воспоминания Бестужевых. АН СССР, М., 1951, стр. 806—807. В первом обзоре Бестужева содержится положительный отзыв о комедии Грибоедова «Молодые супруги». Комедия эта является переделкой популярной комедии французского драматурга Крезе де Лессера (1771—1839) «Le Secret du ménage» («Секрет супружества»). Она написана Грибоедовым в 1814 г. и в первый раз представлена в Петербурге 29 сентября 1815 г. Впоследствии постановка комедии часто возобновлялась и пользовалась постоянным успехом. В апреле 1819 г. комедия обсуждалась в заседании общества «Зеленая лампа», бывшего филиалом Союза благоденствия. Имеется запись члена общества Д. Н. Баркова об этом обсуждении: «Вторник (22 апреля) . . . „Молодые супруги“ — подражание французскому . . . „Secret du ménage“ имеет очень много достоинств по простому естественному ходу, хорошему тону и многим истинно комическим сценам, — жаль, что она обезображена многими, очень дурными стихами» (М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. АН СССР, М., 1951, стр. 185). М. В. Нечкина считает, что декабристский круг не был удовлетворен ранними комедиями Грибоедова и осуждал их за подражательность французской классической комедии. Сам Грибоедов не придавал своим комедиям до «Горя от ума» серьезного значения.

Отрывок из Гёте (ПЗ, 1825, стр. 670). Неполный перевод «Пролога в театре» из первой части «Фауста» Гёте. Свой перевод Грибоедов заострил в плане социальной сатиры, отбросив четыре заключительные реплики и вставив собственные строки в реплику Директора:

О гордые искатели молвы!
. . . .
Невежество им зренье затемняет,
И на устах бездушия печать;
. . . . вот те
Окременевшие толпы живым утесом;
Здесь озираются во мраке подлецы,
Чтоб слово подстеречь и погубить доносом. . .

Григорьев Василий Никифорович (1803—1876) — поэт, активно печатающийся в 20-е годы. Был хорошо знаком с Пушкиным, Бестужевым, Рылеевым и другими передовыми писателями, встречи с которыми отражены в его интересных воспоминаниях (см.: Н. К. Пиксанов. Русские писатели в неизданных воспоминаниях В. Н. Григорьева. — Современник, 1925, кн. 1, стр. 127—140). В 1823 г. Рылеев и О. М. Сомов ввели Григорьева в «Вольное общество любителей российской словесности». Идейная близость к декабристам отчетливо видна в творчестве Григорьева, в его стихах преобладают гражданские тираноборческие мотивы, подобно поэтам-декабристам он широко пользуется методом исторических аналогий.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — «поэт-партизан», открывший новую для русской поэзии область — военный быт. Проявил исключительную храбрость в войне с Наполеоном. В 1812 г. возглавил партизанские отряды, преследовавшие французов. Принадлежал к оппозиционно-настроенным офицерским кругам. Сведений о личном знакомстве Давыдова с Рылеевым нет, хотя оно вполне возможно (см. комментарий А. Г. Цейтлина в «Полн. собр. соч.» Рылеева, Л., 1934, стр. 692). Бестужев познакомился с Давыдовым во время своего пребывания в Москве в феврале—марте 1823 г. (см. его записки о поездке в Москву в 1823 г.: Памяти декабристов, т. 1. Л., 1926, стр. 56—59). Давыдов сотрудничал только в первой книжке ПЗ. Попытки Бестужева привлечь его к сотрудничеству в следующих книжках альманаха не имели успеха (см.: письма Бестужева к П. А. Вяземскому от 5 апреля, 5 сентября и 13 октября 1823 г. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 202, 207, 208).

Элегия («О милый друг! оставь угадывать других. . .») (ПЗ, 1823, стр. 71). В позднейших изданиях печатается с вариантом в 14-м стихе: «Потомству предавал». Российская Терпсихора — Александра Ивановна Иванова, московская балерина, впоследствии водевильная и оперная актриса, которая, как писал Вяземский, «царствовала» в балете в 10-х годах (см.: П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 7. СПб., 1882, стр. 335).

Элегия («Нет! полно пробегать с улыбкою любви. . .») (ПЗ, 1823, стр. 228). Впервые напечатано в «Трудах Общества любителей российской словесности» (1817, ч. 8, стр. 48—50) с вариантами.

Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — литературный критик и уме-

ренно-либеральный крупный чиновник, один из основателей и деятельнейших членов Арзамаса, где носил прозвище «Чу!», автор брошюры «О легчайшем способе возражать на критики» (1811), посвященной разоблачению научной беспочвенности филологических и литературно-теоретических построений А. С. Шишкова, и сатирической кантаты «Венчание Шутовского» (1815). Сотрудничал в «Цветнике», «Утренней заре» и альманахах «Полярная звезда» и «Северные цветы». В 1826 г. был назначен товарищем министра внутренних дел, в 1832 г. — министром юстиции.

Цветы, выбранные из греческой анфологии (ПЗ, 1825, стр. 653). Напечатаны за подписью ***. Авторство устанавливается на основании письма Дашкова к А. А. Дельвигу по поводу публикации другого отрывка «Цветов, выбранных из греческой анфологии» в альманахе Дельвига «Северные цветы» на 1825 г. «Вот вам 16 надписей из Анфологии» (письмо от 3 октября 1824 г. — Русский архив, 1891, кн. 2, № 7, стр. 359). Появление «Цветов, выбранных из греческой анфологии» в ПЗ обусловлено общими симпатиями к Греции, боровшейся за свою независимость.

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) — поэт и журналист (издатель альманаха «Северные цветы» 1825—1831 гг. и «Литературной газеты» 1830 г.), один из ближайших лицейских друзей Пушкина. Был участником «Зеленой лампы» и членом Вольного общества любителей российской словесности. Либерализм Дельвига был крайне расплывчатым, его связи с декабристами имели внешний и случайный характер. С издателями ПЗ Дельвиг некоторое время был всё же в дружеских отношениях, по его рекомендации 25 апреля 1821 г. в члены-сотрудники Вольного общества был принят Рылеев. В 1823 и 1824 гг. Дельвиг сотрудничал в ПЗ и посещал рылеевские «русские завтраки». В начале 1823 г. в группе прогрессивных писателей, возглавлявших Вольное общество, произошло размежевание. Дельвиг, Плетнев, Гнедич отошли от писателей-декабристов. Об этом прямо пишет Бестужев Вяземскому в письме по поводу публичного собрания общества 22 мая 1823 г.: «Надо вам сказать, что у нас в Обществе, бог весть отчего, завелись партии. Гнедич, которого сменили с вице-президентства, есть посребренная пружина первой. Он посредством Дельвига и Плетнева, как сквозь решето, просеивает слухи, которые отравляются, пройдя змеиный рот Воейкова. Следствием оных было неудовольствие Ф. Глинки на Греча и на Общество, которые, как он думает, желают его затмения. Другая партия есть партия положительного безвкусия; у ней голова — князь Цертелев, а хвост (тела нет) — Борис Федоров и еще два или три пополэня» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 204). Разойдясь с Бестужевым и Рылеевым, Дельвиг и Плетнев с середины 1824 г. стали готовить к изданию в противовес ПЗ свой альманах «Северные цветы». Более подробно см. наст. изд., стр. 975—977.

Песня («Ах ты ночь ли...») (ПЗ, 1823, стр. 74). В позднейшие издания входит под названием «Русская песня».

Вдохновение. (ПЗ, 1823, стр. 168). Стихотворение читалось на заседании Вольного общества любителей российской словесности 11 декабря 1822 г. (под названием «Сонет»).

Песня («Роза ль ты розочка...») (ПЗ, 1823, стр. 222). В позднейшие издания входит под названием «Роза».

Песня («Что, красотка молодая...») (ПЗ, 1824, стр. 279). В позднейшие издания входит под названием «Русская песня»; стих 17-й — в другой редакции.

Сонет. С. Д. П‹ономарев›ой (ПЗ, 1824, стр. 281). О С. Д. Пономаревой см. стр. 889 наст. изд. «Воспоминания об Испании» Ф. Булгарина вышли в 1823 г.

Песня («Голова ль моя головушка...») (ПЗ, 1824, стр. 326). В позднейшие издания входит под названием «Русская песня».

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт сентиментальной школы, способствовавший, как последователь Карамзина, проведению в жизнь его языковой реформы. А. И. Косовский в своих воспоминаниях о Рылееве писал, что во время пребывания Рылеева в конно-артиллерийской роте, в первые годы литературной деятельности Рылеева (1814—1815 гг.) Дмитриев был одним из любимых его поэтов (см.: Лит. наследство, т. 59, АН СССР, М., 1954, стр. 240). В начале 20-х годов отношение Рылеева к аполитичной и сентиментальной поэзии Дмитриева меняется. Но вместе с тем Дмитриев как автор одических стихотворений «Ермак» (отрывок из него напечатан в ПЗ на 1824 г. в качестве текста к картинке), «Освобождение Москвы», «Глас патриота» пользовался уважением и любовью «соревнователей». Вольное общество издало «Стихотворения И. И. Дмитриева» (в двух частях. СПб., 1823). О полемике Бестужева с Вяземским о Дмитриеве см. наст. изд., стр. 812. В двух последних книжках ПЗ помещено восемь стихотворений Дмитриева. Все они напечатаны без имени автора (вместо подписи три звездочки). Стихи Дмитриева для ПЗ доставлял Вяземский; см. письмо Рылеева к Вяземскому от 20 февраля 1825 г. — (Лит. наследство, т. 59, стр. 144—145) и письмо А. Бестужева от 20 сентября 1824 г. (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 223).

Апологи (ПЗ, 1824, стр. 397). Апологи Дмитриева являются, в большей своей части, переводами из Мольво и вышли отдельным изданием в 1825 г.

Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866) — племянник И. И. Дмитриева, воспитанник Московского университетского благородного пансиона, плодовитый писатель, поэт, критик и переводчик, прозванный, в отличие от И. И. Дмитриева, «Лже-Дмитриевым». Один из активных сотрудников «Вестника Европы»; в своих критических статьях выступал блюстителем традиций классической поэтики. Был зачинателем полемики с Вяземским по поводу предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» (см. стр. 970 наст. изд.).

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — виднейший поэт-романтик, создатель психологической лирики и переводчик, оказавший огромное влияние на

русскую поэзию, в частности на Пушкина. К декабристскому движению относился отрицательно, но не порвал личных связей с отдельными декабристами и ходатайствовал за них перед Николаем I. Об отношении издателей ПЗ к творчеству Жуковского см. стр. 825 наст. изд.

Прощание Иоанны со своею родиною. Отрывок из Орлеанской девы, трагедии Шиллера (ПЗ, 1823, стр. 67—69). Перевод отрывка из пролога трагедии Шиллера. В ПЗ 2-я строка напечатана с ошибкой (должно быть: «Приютно-мирный, ясный дол, прости...» и пропущена 8-я строка 4-ой строфы: «Всех выше дев земных тебя поставлю...» Героиня трагедии Жанна д'Арк (1412—1431), прозванная Орлеанской девой, — национальная героиня Франции, крестьянка из деревни Домреми, возглавившая в ходе Столетней войны (1337—1453) освободительную борьбу французского народа против англичан. Патриотическая героика трагедии Шиллера, хорошо переданная Жуковским, вызвала интерес к переводу в декабристской среде. Отрывки из перевода читались в заседании Вольного общества любителей российской словесности 8 июня 1820 г. 3 ноября 1824 г. в заседании общества читалась рецензия П. А. Плетнева на этот перевод. В горящий куст к пророку нисходил. По библейскому преданию, в горящем кусте пророку Моисею явился бог Иегова и повелел ему освободить еврейский народ из-под власти фараона и вывести евреев из Египта. Давид — царь израильский, славившийся в юности игрой на арфе, автор приписываемых ему религиозных песен-псалмов; по библейскому рассказу, победил в единоборстве великана филистимлянина Голиафа во время нападения филистимлян на израильтян.

Смерть Приама. Отрывок из II песни Энеиды (ПЗ, 1823, стр. 105). Перевод отрывка (стихи 501—551) из эпической поэмы «Энеида» знаменитого римского поэта Публия Вергилия Марона (70—19 гг. до н. э.). Жуковский переводил «Энеиду» гекзаметром, идя вслед за Гнедичем, который в своем переводе «Илиады» впервые нарушил установившуюся традицию передачи античного гекзаметра александрийским стихом. Царица — карфагенская царица Дидона. II песнь Энеиды содержит рассказ Энея во дворце Дидоны о последних часах и разрушении Трои. Пергам — название Трои.

Счастие во сне (ПЗ, 1823, стр. 153). Написано в 1816 г. Перевод стихотворения немецкого поэта-романтика демократического направления Иоганна-Людвига Уланда (Iohann Ludwig Uhland, 1787—1862) «Der Traum» («Сон»).

Сон (ПЗ, 1823, стр. 167). Написано в 1816 г. Перевод стихотворения Уланда «Sängers Vorüberziehn» («Промелькнувший певец»).

Утешение (ПЗ, 1823, стр. 183). Написано в 1818 г. Вольный перевод стихотворения Уланда «Die Nonne» («Монахиня»). По предположению С. Шестакова, Жуковский дал новое заглавие стихотворению, заменил «монахиню» «девой в черной власянице», а также сделал ряд других отступлений от подлинника по цензурным соображениям (см.: С. Шестаков. Заметки к переводам Жуковского из немецких и английских поэтов. Казань, 1903, стр. 7).

Победитель (ПЗ, 1823, стр. 222). Перевод стихотворения Уланда «Der Sieger» с отступлениями от ритмики подлинника.

Три путника (ПЗ, 1823, стр. 232). Впервые напечатано в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1820, ч. 10, № 5, стр. 166—167). Вольный перевод стихотворения Уланда «Die Wirtin Töchterlein» («Дочка хозяйки»).

Рафаэлева Мадонна (ПЗ, 1824, стр. 422).

Стр. 423. Аретино Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель-гуманист эпохи Возрождения. Тициан Вегеллио (ок. 1477—1556) — гениальный итальянский художник.

Приступ к чертогам Приама (*Из II-й песни Энеиды*) (ПЗ, 1824, стр. 466). Перевод отрывка (стихи 432—500) из «Энеиды» Вергилия.

Отрывки из письма о Швейцарии (ПЗ, 1825, стр. 557).

Стр. 558. Гус Ян (1369—1415) — вождь реформации в Чехии, вдохновитель чешского национально-освободительного движения. Обвиненный в ереси, был сожжен на костре.

Стр. 559. Доктор Эбель — см. стр. 906 наст. изд. — Штауффахер Вернер — см. стр. 906 наст. изд.

Стр. 560. Телева часовня — часовня, связанная с именем Вильгельма Телля, легендарного героя швейцарского народа в период освобождения его от австрийского ига. Согласно легенде, Телль, по приказу жестокого наместника Гесслера, должен был попасть стрелой в яблоко, положенное на голову сына. Попав в яблоко, Телль сознается, что в случае неудачного выстрела он собирался убить наместника. Арестованный за свое признание, Телль убивает Гесслера, и это служит сигналом к народному восстанию. — Аннибал или Ганнибал (ок. 247—183 до н. э.) — выдающийся карфагенский полководец.

Стр. 563. Борромео Карло (1538—1584) — кардинал и архиепископ миланский; соединил семь католических кантонов Швейцарии в так называемый золотой Борромейский союз для борьбы против реформации.

Стр. 564. Горная Симплонская дорога — горный проход между Пеннинскими и Лепонтинскими Альпами, где в 1800—1866 гг. по приказу Наполеона I была проведена дорога. — Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — выдающийся швейцарский педагог — демократ. — Бонстеттен — Карл-Виктор Бонштеттен (1745—1832) — швейцарский писатель.

Стр. 565. Жан-Жак — Руссо (1712—1778) — знаменитый французский писатель и мыслитель. Жуковский упоминает героиню популярного сентиментального романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) — Карл Смелый — последний герцог бургундский (1433—1477). Боролся против централизаторской политики Людовика XI и стремился овладеть Эльзасом и Лотарингией. Был разбит в битве со швейцарцами под Муртеном (в 1476 г.). — Фелленберг — см. о нем стр. 906 наст. изд.

Стр. 566. Торвальдсен Бертель (1768—1844) — знаменитый датский скульптор.

Загорский Михаил Павлович (1804—1824) — поэт-элегик и драматург, на которого «соревнователи» возлагали большие надежды. Стихи Загорского печатались в различных журналах и альманахах и остались несобранными воедино. Кюхельбекер писал о Загорском: «Он был молодой человек с истинным дарованием» (В. К. Кюхельбекер. Дневник. «Прибой», Л., 1929, стр. 27, запись 23 декабря 1831 г.). В «Соревнователе просвещения и благотворения» (1824, ч. 27, № 9, стр. 345) была помещена некрологическая заметка о Загорском (при его повести в стихах «Анюта»): «Автор сего стихотворения, М. П. Загорский скончался после продолжительной болезни 30 ч‹исла› минувшего июля. Отличные его способности и приобретенные познания в науках, особенно по части литературы, подавали большую надежду на его успехи. Из оставшихся после него в рукописи стихотворений обращает на себя особенное внимание рыцарская повесть: *Илья Муромец*». Отрывок из повести «Илья Муромец» был напечатан в «Новостях литературы» (1825, кн. 14). Прочитав эту повесть, Пушкин писал Плетневу: «Неуж-то *Ил‹ья› Мур‹омец›* Загорского? Если нет, кто ж псеудоним, если да: как жаль, что он умер!» (письмо к П. А. Плетневу, 4—6 декабря 1825 г. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 249).

Элегия (ПЗ, 1824, стр. 304). Златой бокал, фалерном воспененный. Фалернское вино славилось в древности как один из лучших сортов вина и воспевалось поэтами, особенно Горацием. Вырабатывалось в Фалернской области (в Кампании).

Слава. Из Ламартина (ПЗ, 1824, стр. 390). Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский поэт-романтик. В 20-х годах XIX в. в России Ламартин был модным поэтом, и многие его стихотворения переводились разными поэтами.

Зайцевский Ефим Петрович (1801—1861) — поэт и переводчик, служил во флоте. Был хорошо знаком с издателями ПЗ, Пушкиным и другими поэтами пушкинского круга, Д. Давыдов посвятил ему стихотворение «Зайцевскому, поэту-моряку». Стихи его, напечатанные в ПЗ, были доставлены издателями В. И. Туманским. (См. «Русская старина», 1905, № 4, стр. 211—212).

Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич (1795—1849) — плодовитый, но посредственный подражатель Карамзина, автор многочисленных стихотворений «на случай», а также нескольких исторических работ.

Измайлов Александр Ефимович (1779—1831) — баснописец, прозаик и журналист, редактор консервативного журнала «Благонамеренный», бессменный председатель Вольного общества словесности, наук и художеств и член Вольного общества любителей российской словесности (с 18 февраля 1818 г.). Добродушный и грубоватый юмор басен Измайлова и некоторая натуралистичность образов позволяли современникам называть его «российским Теньером». Измайлов был врагом прогрессивного романтизма и неоднократно выступал против него и особенно про-

тив Бестужева в своем журнале. Политическое лицо Измайлова лучше всего проявилось в его отзывах на ПЗ. После выхода в свет первой книжки альманаха он писал И. И. Дмитриеву (1 января 1823 г.), что в ПЗ, «о которой так много здесь говорят и в которой так много хорошего и дурного» «всего хуже ...Взгляд на русскую словесность. Какое пристрастие и неосновательность в суждениях о новейших наших писателях! И каким шутовским языком всё это написано под руководством временных заседателей нашего Парнаса» (Русский архив, 1871, № 7—8, стлб. 975). Через несколько дней после выхода второй книжки альманаха Измайлов, задетый уклончивым отзывом Бестужева о «Благонамеренном», появился на святочном маскараде, наряженный «Полярной звездой». Спереди и сзади он навесил две большие звезды, на шапке его торчала маленькая серебряная звездочка, а к поясу прицеплен был «фонарь критики» и детский барабан с надписью: «Ах лучше барабан поэта, чем грозный критика свисток». Это были стихи Туманского, помещенные в ПЗ. Войдя в залу, он забил в барабан и произнес речь, составленную из разных кусочков обзора Бестужева (см. письмо его к И. И. Дмитриеву от 1 февраля 1824 г. — Русский архив, 1871, № 7—8, стлб. 980—981). В том же письме к Дмитриеву он многозначительно пообещал «кой с кем поразделаться» на страницах «Благонамеренного». В «Благонамеренном» была помещена статья «Страждущий поэт к издателю „Благонамеренного"». Насмешки над романтической поэзией сочетаются в статье с выпадами против ПЗ. Нападки на ПЗ содержатся также в статье «Еще об альбомах» (см. «Библиографию», №№ 24, 25, 26). Враждебное отношение к ПЗ Измайлов сохранил в течение всех трех лет ее существования. Об этом свидетельствуют его письма к П. Л. Яковлеву, написанные сразу же после декабрьского восстания (см.: 14 декабря в письмах А. Е. Измайлова. В сб.: Памяти декабристов, т. I. Л., 1926, стр. 238—244).

Золотая струна. Из Патрю (ПЗ, 1823, стр. 169). Патрю Оливье (1604—1681) — французский адвокат, писатель, критик и грамматик, член Французской Академии с 1640 г., известен строгостью критических суждений и прямотою взглядов. Когда на место одного умершего члена (Конрара) Академии был выдвинут вельможа, не имевший отношения к литературе, Патрю выразил свое мнение в форме аполога: «В древности у одного грека была лира, на которой порвалась струна; он пожелал вместо кишечной струны поставить серебряную — и лира лишилась своей гармонии». Этот краткий аполог произвел нужное действие: придворный был отклонен Академией. Аполог Патрю и послужил темой для басни Измайлова.

Встреча двух подруг (ПЗ, 1825, стр. 181). Двух жен отправил уж к Смоленской — на петербургское Смоленское кладбище Холмогорский певец — М. В. Ломоносов, родившийся в деревне Мишанинской, возле Холмогор.

Измайлов Владимир Васильевич (1773—1830) — писатель, переводчик, журналист, издатель «Патриота» (1801), «Вестника Европы» (1814) и «Российского музеума» (1815). Писал статьи педагогического содержания; особой из-

вестностью пользовалось его «Путешествие в полуденную Россию» (М., 1800). Переводил из Сегюра, Шатобриана, Мильвуа, Шамфора, в особенности из Руссо, горячим поклонником которого он был. С 1821 г. Измайлов был почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. К оригинальным стихам Измайлова Бестужев относился весьма неодобрительно. В письме к Вяземскому 1—18 января 1824 г. по поводу только что вышедшей ПЗ на 1824 г. Бестужев писал: «В этот раз, однако ж, хоть мы не поместили виршей Хвостова, зато уступили приличиям, местами напускали ряпушки в стерляжий садок свой. Так прокрался туда бессмысленный Родзянка и добрый, но хромающий и стихами Норов, Влад. Измайлов с баснею, которая, конечно, не попадет в историю, и еще кой-кто из заштатных стихотворцев» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 210).

Карнилович Александр Осипович — см. Корнилович.

Княжевич Дмитрий Максимович (1788—1844) — известный этнограф и археолог, писатель, член Вольного общества любителей российской словесности (принят 31 мая 1821 г.). Был близок с арзамасцами. Первые произведения печатал в журнале «Цветник» (1809—1810). В 1812 г. в «С.-Петербургском вестнике» были опубликованы его первые «Синонимы русского языка». Филологические исследования о синонимах русского языка Княжевич неоднократно читал на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности (см.: В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 372, 373, 375, 378, 381, 385). В 1822 г. вышло его «Полное собрание русских пословиц и поговорок, с присовокуплением таблицы содержания оных для удобнейшего приискания». В 1822—1834 гг. Княжевич вместе с братьями Александром и Владиславом издавал литературные прибавления к «Сыну отечества» под заглавием «Библиотека для чтения, составленная из повестей, анекдотов и других произведений изящной словесности».

Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт-романтик, популярный в читательских кругах 20-х годов, член Вольного общества любителей российской словесности. В молодости офицер, потом чиновник. В 1816 г. тяжело заболел (паралич ног), а в 1821 г. ослеп. Литературная деятельность относится ко времени после 1821 г. Козлов не был чужд передовым идеям современности. Ему принадлежат переводы из Томаса Мура и многочисленные переводы из Байрона. В своих переводах он сглаживал политическую окраску и общественное звучание подлинников. О переводах Козлова А. Бестужев писал в письме к Пушкину от 9 марта 1825 г.: «У него есть искры чувства, но ливрея поэзии по нем еще не обносилась и не дай бог судить о Бейроне по его переводам: это лорд в Жуковского пудре» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 149).

Венециянская ночь (ПЗ, 1825, стр. 675). В позднейших изданиях печатается с посвящением «П. А. Плетневу» (см. о нем стр. 922 наст. изд.) и с вариантами в стихах 41-м и 73-м. Н а п е в   Т о р к в а т а   г а р м о н и ч е с к и х   о к т а в — ве-

нецианские гондольеры пели мелодии на стихи из поэмы Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим».

Княгине Зенеиде Александровне Волконской (Зв., стр. 741). З. А. Волконская (1792—1862) — поэтесса, композитор и певица. В ее салоне бывали многие выдающиеся деятели литературы и искусства.

Корнилович (или Карнилович) Александр Осипович (1800—1834) — штабс-капитан гвардейского Генерального штаба, член Вольного общества любителей российской словесности (принят 19 декабря 1821 г.) и Южного общества декабристов. Участвовал в совещании у Рылеева накануне восстания. 14 декабря был на Сенатской площади. Присужден к каторжным работам на восемь лет, но для дополнительных допросов был возвращен из Нерчинска в 1827 г. и содержался в Петропавловской крепости до конца 1832 г. В 1832 г. отправлен рядовым на Кавказ, где и умер. Корнилович был историком и архивистом, а также автором исторических статей и повестей, в которых пропагандировал деятельность Петра I и его прогрессивные реформы, издавал альманах «Русская старина» (1825). Исторические исследования Корнилович сочетал с работами по статистике и географии. Корнилович был постоянным сотрудником ПЗ и, кроме того, помогал издателям в печатании альманаха. В ИРЛИ хранится корректурный экземпляр ПЗ на 1824 г., содержащий наряду с исправлениями А. Бестужева и пометы Корниловича. Так, в конце повести Булгарина «Модная лавка» рукою Корниловича написано: «Показать, исправив, Ник. Ив. Гречу. Корнилович», а в тексте повести сделаны им же мелкие стилистические исправления (ИРЛИ, ф. 357, оп. 4, № 60, стр. 81). Подробно о Корниловиче и его политической и литературной деятельности см.: А. О. Корнилович. Сочинения и письма. Подгот. А. Г. Грумм-Гржимайло и Б. Б. Кафенгауз, АН СССР, М.—Л., 1957.

О первых балах в России (ПЗ, 1823, стр. 199). Статья посвящена Екатерине Ивановне Греч, сестре Н. И. Греча, отличавшейся умом и образованностью. 4 декабря 1822 г. статья читалась в заседании Вольного общества любителей российской словесности и вторично была заслушана на торжественном собрании Вольного общества 22 мая 1823 г. Читал статью Н. А. Бестужев. Статья Корниловича была очень высоко оценена современной критикой (см.: Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. 21, № 1, стр. 110). Статья «О первых балах в России» была перепечатана потом в альманахе «Русская старина» на 1825 г. как часть монографии «Нравы русских при Петре Великом» (о «Русской старине» см. прим. на стр. 974). Работы Корниловича о Петре I, в частности статья «О первых балах в России», служили материалом Пушкину для «Арапа Петра Великого».

Об увеселениях российского двора при Петре I (ПЗ, 1824, стр. 288). Статья была перепечатана в альманахе «Русская старина» на 1825 г. как часть монографии «Нравы русских при Петре Великом».

Стр. 290. Эспонтон — то же, что эспадрон, учебная рапира с тупым концом.

Стр. 292. Короли, марияж, ломбер, ламут и лантре — карточные игры.

Крылов Иван Андреевич (1768—1844) — великий русский сатирик (баснописец, драматург и журналист). Публицистическая острота и народность крыловских басен высоко ценились передовой критикой. Для декабристов и Пушкина Крылов был образцом подлинной народности в литературе, а для карамзинистов — примером демократической порчи дворянского «хорошего вкуса». Поэтому и Жуковский, и Батюшков, и Вяземский, признавая достоинства Крылова, отдавали предпочтение И. И. Дмитриеву.

Крестьянин и овца (ПЗ, 1823, стр. 76). Окончательный текст басни расходится с текстом ПЗ.

Василёк (ПЗ, 1824, стр. 284). Впервые напечатано в «Сыне отечества» (1823, ч. 86, № 25, стр. 226—228). Окончательный текст басни расходится с текстом ПЗ.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1796—1846) — один из крупнейших декабристских поэтов и критиков, лицейский товарищ Пушкина, член Северного тайного общества. Осужден по I разряду, отбыл наказание в Динабургской и Свеаборгской крепостях, в 1836 г. был отправлен на поселение в Сибирь. Умер в Тобольске. Кюхельбекер — активный член Вольного общества любителей российской словесности (10 ноября 1819 г. выбран в сотрудники, 3 января 1820 г. в действительные члены). В 1820 г. в «Невском зрителе» и «Соревнователе просвещения и благотворения» печатаются «Европейские письма» Кюхельбекера. Мечты о «вольности» выражены здесь в форме воображаемого фантастического путешествия по Европе 25-го и 26-го столетий. В 1824—1825 гг. вместе с В. Ф. Одоевским издавал альманах «Мнемозина» (см. стр. 971 наст. изд.). Литературную позицию Кюхельбекера характеризует стремление создать патриотическую национально-самобытную русскую поэзию, а гражданское содержание поэзии, по мнению Кюхельбекера, лучше всего может быть выражено в одической форме. Защита одических традиций обусловила симпатии Кюхельбекера к Беседе любителей русского слова, в которой он видел борьбу за самобытность и не замечал ее реакционности. В начале критической деятельности борьба за высокую поэзию сочеталась у Кюхельбекера с апологией Жуковского, впоследствии Кюхельбекер пересмотрел свое отношение к Жуковскому и выступил против начатого им элегического направления (В. К. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие. — Мнемозина, ч. II, 1824), солидаризируясь с издателями ПЗ (см. стр. 825 наст. изд.).

Святополк (ПЗ, 1824, стр. 439). Несколько позже перепечатано в «Мнемозине» (ч. I, ценз. разреш. 17 января 1824 г.) в значительно измененной редакции. Последний раз Кюхельбекер переделывал стихотворение в 1841 г. — Святополк Окаянный (р. ок. 980—ум. 1019) — старший сын киевского князя Владимира Святославича, княжил в Турове. В междоусобной борьбе за киевский княжеский стол убил своих братьев — князей Бориса Ростовского, Глеба

Муромского и Святослава Древлянского, за что и получил прозвание «Окаянного».

Лобанов Михаил Евстафьевич (1787—1846) — второстепенный поэт, член Беседы любителей русского слова и Российской Академии. С 23 августа 1820 г. член Вольного общества любителей российской словесности. На одном из заседаний общества читались отрывки из его перевода «Федры» Расина. Бестужев дает положительную оценку двум переводам Лобанова из Расина: «Ифигении в Авлиде» и «Федре». «Ифигения в Авлиде» Расина в переводе Лобанова была издана в 1815 г. (отрывки из перевода печатались в 1813 г. в кн. XIII «Чтений в Беседе любителей русского слова») и впервые поставлена на сцене 6 мая 1815 г. с Е. С. Семеновой в роли Клитемнестры. По словам П. Н. Арапова, спектакль имел успех (П. Арапов. Летопись русского театра. СПб., 1861, стр. 237). Успех спектакля подтверждает К. Н. Батюшков в письме к Н. И. Гнедичу от первой половины июля 1815 г.: «Радуюсь успеху Лобанова и не удивляюсь ему. Трагедия его стоила того. Перевод его очень хорош, но для успеха в словесности я желал бы, чтоб он занялся чем-нибудь полезнее. Расина переводить невозможно» (К. Н. Батюшков, Соч., т. III, СПб., 1886, стр. 319). Иначе объясняет успех Лобанова Вигель, также присутствовавший на спектакле: «Публика приняла трагедию хорошо, а как один партер с некоторого времени имел право изъявлять народную волю (что шалунам и крикунам было весьма приятно), то она не упускала случая сим правом воспользоваться, и потому-то, вероятно, шумными возгласами вызывали переводчика. Ничтожество и самолюбие были написаны на лице этого бездарного человека; перевод его был не совсем дурен, но Хвостов, я уверен, сделал бы его лучше, то есть смешнее» (Ф. Ф. Вигель, Записки, т. 2. М., 1928, стр. 57).

Смерть Ипполита (ПЗ, 1823, стр. 194). Перевод отрывка из «Федры» Расина. «Федра» в переводе М. Е. Лобанова была издана в Петербурге в 1823 г. и поставлена на сцене 9 ноября 1823 г. с участием Е. С. Семеновой (в роли Федры) и В. А. Каратыгина (в роли Ипполита). Восторженный отзыв о постановке и о переводе Лобанова напечатал О. М. Сомов (Сын отечества, 1823, ч. 89, № 46, стр. 242—260). Сомов назвал Лобанова «победителем непобедимого». Ответом на рецензию Сомова и на отзыв Бестужева в ПЗ является письмо Пушкина к брату, написанное в январе 1824 г.: «Кстати о гадости — читал Федру Лобанова — хотел писать на нее критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Расина — перо вывалилось из рук. — И об этом у вас шумят, и это называют наши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина! Voulez-vous découvrir la trace de ses pas ‹Хотите ли вы отыскать след его шагов, — *Сост.*› — надеешься найти Тезея жаркий след иль темные пу́ти — мать его в рифму! Вот как всё переведено! А чем же и держится Иван Иванович Расин, как не стихами, полными смысла, точности и гармонии!» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 86). С мнением Пушкина полностью совпадает отзыв П. А. Катенина. В письме к Н. И. Бахтину от

20 февраля 1824 г. Катенин приводит как образчики неудачных стихов те же стихи, что и Пушкин:

Уже, деля твой страх, я был на отдаленных
Заливах и морях, Коринфом разделенных. —
В каких же ты странах надеешься найти
Тезея жаркий след, иль темные пути? . .

«Кажется, этого довольно; и верите ли вы, — всё в одном роде; со всем тем в Сыне отечества помещен был разбор Ореста Сомова, и Орест пишет, что Лобанов везде шел наряду с Расином, а местами победил непобедимого... И эта нелепица восхваляется» (П. А. Катенин. Письма к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 55—56). По мнению Б. Л. Модзалевского (Пушкин. Письма, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1926, стр. 301—302), столь противоположные отзывы о переводе Лобанова объясняются тем, что Пушкин и Катенин были далеко от Петербурга и с переводом Лобанова были знакомы по печатному изданию, в то время как Бестужев и Сомов видели постановку «Федры» на сцене. Блестящая игра Семеновой и Каратыгина сгладили погрешности перевода. Характеристику мастерской игры Семеновой оставил П. Н. Арапов (см. его «Летопись русского театра», СПб., 1861, стр. 345—346). Вяземский, который так же, как Пушкин и Катенин, только читал трагедию, писал А. И. Тургеневу 18 октября 1823 г.: «Я только что окинул глазами „Федру“ и наткнулся на ужасные стихи... Не знаю, что вперед будет» (Остафьевский архив, т. 2. СПб., 1899, стр. 367).

Маркевич Николай Андреевич (1804—1860) — поэт, музыкант, историк Украины, этнограф. Учился в Благородном пансионе вместе со Львом Пушкиным в то время, когда там преподавал Кюхельбекер. В юные годы был близок к Кюхельбекеру и его кругу, в частности к Пушкину, был восторженным почитателем Рылеева. После разгрома декабристов либерализм Маркевича начал всё более и более тускнеть. В 50-е годы Маркевич примкнул к правому крылу славянофилов. (См. предисловие А. А. Орловой к воспоминаниям Маркевича о Кюхельбекере: Лит. наследство, т. 59. М., АН СССР, 1951, стр. 501—506).

Битва (Отрывок из поэмы: Жизнь) (Зв., стр. 787). Принимая отрывок из поэмы «Жизнь» для публикации в Зв., Рылеев писал Маркевичу 18 октября 1825 г.: «Душевно благодарю Вас и за прекрасный отрывок из Вашей поэмы и за письмо Ваше. Первый мы поместим в „Звезде“ и уверены, что публика будет ему рада столько же, как и мы. Не изменяя, однако ж, своей откровенности, мы намерены два или три места выпустить. Эти места показались нам несколько растянутыми и даже, извините за откровенность, бросающими какую-то неприятную тень на всё прекрасное сочинение Ваше. Если Вы уполномочите нас действовать по нашему желанию, то поспешите уведомить. Вместе с тем не поскупитесь прислать для „Звезды“ еще несколько пьес. Мы почли бы за особенное одолжение, если бы Вы прислали два-три отрывка из „Паризины“. Мы читали с большим удовольствием две первые строфы из Вашего перевода, напечатанные А. Ф. Воейковым и уверены, что просвещеннейшая публика оценит труд Ваш

достойным образом» (Лит. наследство, т. 59, АН СССР, М., 1954, стр. 153). Отрывки из «Паризины» Байрона в «Звездочке» не были напечатаны.

Масальский Константин Петрович (1802—1861) — поэт и романист. Начал печататься в 1821 г.

Весна. Идиллия Мелеагра (ПЗ, 1825, стр. 548). Мелеагр (I в. до н. э.) — греческий поэт, эпиграмматист, составитель первой антологии.

Нечаев Степан Дмитриевич (1792—1860) — прозаик, поэт, публицист, член Союза благоденствия. Современная критика высоко оценивала его произведения. Кюхельбекер в обзоре литературы за 1820 г. выделил Нечаева из ряда других сотрудников «Вестника Европы» (В. К. Кюхельбекер. Взгляд на текущую словесность. — Невский зритель, 1820, февраль, стр. 122); А. Тургенев считал, что стихи Нечаева «полны мыслей и чувств» (письмо к П. А. Вяземскому 28 мая 1825 г. — Остафьевский архив, т. 3, СПб., 1899, стр. 130). Бестужев познакомился с Нечаевым в Москве 24 февраля 1823 г. (см.: Памяти декабристов, вып. I. АН СССР, Л., 1926, стр. 56) и был с ним в дружеских отношениях. К. А. Полевой вспоминал: «В Москве, в 1825 году, летом... Бестужев точно заехал оттуда (из Марьиной рощи, — *Сост.*), возвращаясь с гулянья вместе с С. Д. Нечаевым, у которого и жил гостем. Мне памятно это посещение: тут в первый раз я увидел А. Бестужева» (Русский вестник, 1861, т. 3, стр. 325); Нечаев помогал Бестужеву и Рылееву в издании ПЗ. Бестужев писал Вяземскому из Петербурга 5 сентября 1823 г.: «Если увидите Ст. Нечаева, сделайте одолжение, напомните ему о обещании собрать для нас у московских стихотворцев статьи» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 207).

Воспоминания. Посвящается Вас. Фед. Тимковскому (ПЗ, 1825, стр. 619). Тимковский Василий Федорович (1781—1832) — один из образованнейших людей своего времени, знаток немецкой и латинской литературы, переводчик, автор нескольких стихотворений. В 1823—1826 гг. Тимковский был чиновником особых поручений в Грузии при А. П. Ермолове. В 1823 г. в Грузии был Нечаев и встречался там с Тимковским.

Стр. 620. Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, герой Отечественной войны 1812 года. С 1816—1827 гг. главнокомандующий на Кавказе, покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам. Последние рассчитывали на поддержку восстания Ермоловым. — Митридат VI Евпатор (132—63 до н. э.) — царь Понтийского царства, завоевавший Колхиду.

К Лиодору (Зв., стр. 784). Дедал — то же, что лабиринт.

Норов Абрам Сергеевич (1795—1869) — поэт и писатель. Путешествовал по Европе (в 1821 г.), Египту, Нубии и Палестине (в 1834 г.). Описания его путешествий пользовались большим успехом. В 1853—1858 гг. был министром народного просвещения. Посредственные стихи и переводы с итальянского начал печатать в журналах и альманахах с 1813 г. Пушкин отрицательно относился к переводам Норова, отметив в рецензии на альманах «Северная лира» (1827 г.),

что «г-ну Абр. Норову не должно было бы переводить Dante» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 48).

Прощание Нееры (ПЗ, 1824, стр. 328). Отзыв Бестужева о стихотворении Норова см. в его письме к Вяземскому (стр. 915 наст. изд., прим. к басне В. Измайлова «Автор и мыши»). Светила ль ясные двух братиев Элены, т. е. созвездие Диоскуров (греч.). Диоскуры — прозвище близнецов Полидевка и Кастора, сыновей Тиндарея и Леды, братьев Елены Прекрасной по матери.

Ободовский (или **Абадовский**) Платон Григорьевич (1803—1864) — плодовитый и посредственный драматург, переводчик и поэт. Член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, активный сотрудник «Благонамеренного».

Ознобишин Дмитрий Петрович (1804—1877) — поэт и переводчик с европейских и восточных языков, арабского и персидского, откуда он заимствовал псевдоним «Делибюрадер», которым часто подписывал свои переводы. Воспитанник Московского университетского пансиона, вместе с другими воспитанниками пансиона — В. Титовым, Д. Веневитиновым, В. Одоевским и другими — входил в литературное общество С. Е. Раича, где господствовал интерес к немецкой идеалистической философии. В 1827 г. вместе с Раичем издал альманах «Северная лира».

Олин Валериан Николаевич (род. ок. 1788—ум. после 1839 г.) — плодовитый, но бездарный писатель, переводчик и журналист. Издавал «Журнал древней и новой словесности» (1818—1819 гг.), газету «Рецензент» (1821 г.), журнал «Колокольчик» (1831 г.), «Карманную книжку для любителей русской старины и словесности» (1829—1830 гг.). Был членом Беседы любителей русского слова, потом перешел в лагерь романтиков. Беспринципность литературной позиции Олина вызывала презрительное отношение к нему современников. Кюхельбекер назвал Олина «горе-богатырь в поэзии» (В. К. Кюхельбекер. Дневник. «Прибой», Л., 1929, стр. 125). По-видимому, Олина заклеймил Пушкин в стихотворении «Собрание насекомых» в образе «черной мурашки» или «тощей пиявки».

Остолопов Николай Федорович (1782—1833) — теоретик русского классицизма, поэт и переводчик. В 1806 г. издавал журнал «Любитель словесности» Был членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, по поручению которого в 1806 г. приступил к составлению словаря поэтических терминов (Словарь древней и новой поэзии, части 1—3. СПб., 1821). Остолопову принадлежит также «Ключ к сочинениям Державина» (СПб., 1812) — один из первых русских литературных комментариев. 23 августа 1820 г. Остолопов был избран почетным членом Вольного общества любителей российской словесности.

Панаев Владимир Иванович (1792—1859) — поэт, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств и Вольного общества любителей российской словесности (с 9 января 1820 г.), подражатель немецкого идиллика Геснера, известный своими слащавыми идиллиями. Пушкин метко называл Па-

наева «идиллическим коллежским асессором» (письмо к Л. С. Пушкину 4 декабря 1824 — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 127).

Корзинка. Идиллия, из Геснера (ПЗ, 1823, стр. 149). О Геснере см. стр. 905 наст. изд.

Плетнев Петр Александрович (1792—1865) — писатель, поэт и критик, позднее профессор российской словесности, ректор Петербургского университета (1832—1849), один из ближайших друзей Пушкина. С 1819 г. член Вольного общества любителей российской словесности, в течение ряда лет исполнял обязанности секретаря Цензурного комитета общества. В «Соревнователе просвещения и благотворения» печатались его статьи о «Шильонском узнике» Байрона (1822, т. 19) и «Кавказском пленнике» Пушкина (1822, т. 20) и др. Бестужев положительно отозвался о статье Плетнева «Краткое обозрение русских писателей», читанной на заседании Вольного общества 23 февраля 1821 г. В 1823 г. Дельвиг и Плетнев окончательно отошли от декабристской группировки Вольного общества. Поводом к расхождению послужила рецензия Плетнева на первую книжку ПЗ, напечатанная в «Соревнователе просвещения» (1823, № 1). Подробно об этом см. стр. 976—977 наст. изд.

В альбом С. Д. П‹ономарев›ой (ПЗ, 1823, стр. 74). Обращено к С. Д. Пономаревой (см. стр. 899 наст. изд.). Пафосский храм — храм Афродиты в городе Пафосе на Кипре.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). Об отношении издателей ПЗ к творчеству Пушкина см. стр. 865—869 наст. изд.

Овидию (ПЗ, 1823, стр. 53). Стихотворение носит автобиографический характер. Написано в 1821 г. Пушкин, находившийся в ссылке, сравнивал свою судьбу с судьбой опального поэта — изгнанника Овидия, но, в отличие от Овидия, не просил императора о помиловании. Причина высылки Пушкина не была ни для кого тайной, и всякое упоминание о ней носило характер политического протеста. Пушкин опасался, что цензура не пропустит стихотворения. Посылая его Бестужеву, Пушкин писал: «Предвижу препятствия в напечатании стихов к Овидию — но старушку (т. е. цензуру, — *Сост.*) можно и должно обмануть, ибо она очень глупа, — по-видимому, ее настращали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно (например, услужливого Плетнева или какого-нибудь нежного путешественника, скитающегося по *Тавриде*), повторяю вам, она ужасно бестолкова, но впрочем довольно сговорчива. Главное дело в том, — чтоб имя мое до нее не дошло, и всё будет слажено» (письмо от 21 июня 1822 г. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 39). Просьба Пушкина была выполнена. Вместо подписи в альманахе стоят две звездочки.

Гречанке (ПЗ, 1823, стр. 72). Стихотворение обращено к Калипсо Полихрони, бежавшей после греческого восстания из Константинополя в Кишинев. О Калипсо говорили, что она была любовницей Байрона. Леила — героиня поэмы Байрона «Гяур».

Мечта воина (ПЗ, 1823, стр. 229). Стихотворение вызвано греческим восстанием. В позднейшие издания входит под названием «Война». В ПЗ напечатано с опечатками. Пушкин писал брату 30 января 1823 г.: «*Мечта воина* привела в задумчивость воина, что служит в иностранной коллегии и находится ныне в бессарабской канцелярии. Эта Мечта напечатана с ошибочного списка — призванье вместо взыванье, *тревожных дум*, слово, употребляемое знаменитым Рылеевым, но которое по-русски ничего не значит. *Воспоминание и брата и друзей* стих трогательный, а в Звезде просто плоский» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 56). Правильное чтение стихов, упомянутых Пушкиным: стих 14-й — «Огни врагов, их чуждое взыванье», стих 23-й — «Воспоминание и брата и друзей», стих 27-й — «Ничто не заглушит моих привычных дум». Кроме этих опечаток, в позднейших изданиях печатаются в другой редакции стихи: 1-й («Война! подъяты наконец»), 5-й («И сколько сильных впечатлений»), 26-й («Ни ратные труды, ни ропот гордой славы»).

Друзьям (ПЗ, 1824, стр. 280). Стихотворение первоначально предназначалось для ПЗ на 1823 г., но было задержано цензурой. См. письмо Рылеева к В. И. Туманскому от 3 октября 1823 г. (стр. 931 наст. изд.).

В альбом малютке (ПЗ, 1824, стр. 305). Стихотворение обращено к Адели Давыдовой, дочери А. Л. Давыдова, с которой Пушкин встречался в Каменке. В позднейших изданиях печатается под названием «Адели».

Элегия («Редеет облаков летучая гряда...») (ПЗ, 1824, стр. 393). Пушкин не разрешил издателям ПЗ печатать три последних стиха, в которых говорится об одной из дочерей Н. Н. Раевского. Вопреки воле Пушкина издатели их напечатали, так как, по их мнению, без этих стихов элегия не имела бы смысла (см. письма Пушкина Бестужеву от 12 января и 29 июля 1824 г. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 84).

Отрывок из послания к В. Л. П‹ушки›ну (ПЗ, 1824, стр. 415). Адресовано В. Л. Пушкину, дяде поэта (см. о нем стр. 925 наст. изд.). При прохождении через цензуру стихотворение было задержано Бируковым (см. письмо Рылеева к Туманскому от 3 октября 1823 г. — стр. 931 наст. изд.). Опубликовать стихотворение удалось, очевидно, благодаря хлопотам А. И. Тургенева, который взялся добиться его разрешения у цензора. В ноябре 1823 г. Тургенев писал Вяземскому: «Я хлопотал за „Полярную звезду“ и говорил с ценсором о твоих и Пушкина стихах, но не ценсор виноват. Кое-что выхлопотал и стихи возвратил Рылееву» (Остафьевский архив, т. 2. СПб., 1899, стр. 365).

Послание к А‹лексееву› (ПЗ, 1825, стр. 550). Стихотворение предназначалось для ПЗ на 1823 г., но не было пропущено цензурой. Об этом сообщал Рылеев в письме к Е. А. Баратынскому 6 сентября 1822 г.: «Трех новых пьес Пушкина не пропустили. В следующем письме пришлю к тебе списки с них. В одном послании он говорит...». Далее следует отрывок из стихотворения «Алексееву». (Рылеев, Полн. собр. соч., «Academia», Л., 1934, стр. 465—466).

На следующий год издатели снова пытались добиться разрешения на публикацию стихотворения. 3 октября 1823 г., сообщая Туманскому, что его стихи вместе со стихами Пушкина отданы цензору Бирукову, Рылеев писал: «Боюсь за Послание к А. и именно за то место, где исступленный любовник

Клянет ревнивого супруга
Или докучливую мать.

Бируков цензор-деспот и ревнивый муж. Страшусь также за стихи к *Иностранке*, где есть слово *боготворить;* оно верно не будет пропущено. Попроси Пушкина, чтобы он пожертвовал им для „Полярной звезды“ ...Желания Пушкина все исполнены, а в отношении посланий к Кривцову и к В. Л. П‹ушкину› при помощи самой цензуры, не пропустившей их. Вакхическая песнь, непропущенная прошлого года под именем стихов к Друзьям, проскользнула сквозь тесную калитку цензуры и с торжеством вошла в широкие ворота „Полярной звезды“. Просим позволения у Пушкина напечатать Турецкую песню и маленькую пиэску к малютке, которые здесь ходят по рукам» (там же, стр. 472—473). И дальше, в приписке к тому же письму: «Сейчас от Бирукова. Варвар не пропустил ни одной из пиэс Пушкина, за те самые места, об которых писал я выше; в пиэске же к приятелю находит он ненравственную цель, говорит: двое за одной волочатся». Стихотворения «Иностранке» и «Кривцову» в ПЗ не были напечатаны. Начиная с 1826 г. «Послание к А» печатается в сочинениях Пушкина без последних девяти строк. А л е к с е е в Николай Степанович (1789—1850) — сослуживец Пушкина по Кишиневу, находился в приятельских отношениях с ним. К а к Б а р а т ы н с к и й я т в е р ж у. Дальше цитата из послания Баратынского Коншину «Пора покинуть, милый друг».

Братья разбойники. Отрывок из поэмы (ПЗ, 1825, стр. 703). «Братья разбойники» были обещаны Пушкиным издателям ПЗ еще в 1823 г. 13 июня 1823 г. Пушкин писал Бестужеву из Кишинева: «В рассуждении 1824 года, постараюсь прислать тебе свои бессарабские бредни; но нельзя ли вновь осадить цензуру и со второго приступа овладеть моей Анфологией? Разбойников я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского, если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Пол. зв., то напечатай его. Впрочем чего бояться читательниц? их нет и не будет на русской земле, да и жалеть не о чем» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 64). Очевидно, «Братья разбойники» встретили препятствие при прохождении через цензуру, и в ПЗ на 1824 г. не были напечатаны. Летом 1824 г. между Пушкиным и Бестужевым опять шла переписка по поводу публикации поэмы в ПЗ. 29 июня 1824 г. Пушкин снова писал Бестужеву: «Если согласие мое, не шутя, тебе нужно для напечатания Разбойников — то я никак его не дам, если не пропустят *жид* и *харчевни* (скоты! скоты! скоты!) а *попа* — к черту его» (там же, стр. 101). Условие Пушкина при публикации отрывка в ПЗ было выполнено. Цензура обратила

внимание только на слово «поп», которое было заменено тремя точками. Однако издателей ПЗ опередил Воейков, опубликовав отрывок, предназначенный Пушкиным для альманаха, в «Новостях литературы» (1824, июль, № 9). Издатели сомневались, следует ли помещать в альманахе стихи, уже известные публике. Бестужев писал по этому поводу Вяземскому: «Советуете ли Вы напечатать „Разбойников" или нет? Я в сомнении, ибо Воейков подвел нас» (письмо 3 ноября 1824. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 226). «Братья разбойники» имели большое значение как выражение свободолюбивых тенденций декабристской литературы. Лучшим свидетельством политического осмысления «Братьев разбойников» современниками является замечание Вяземского по поводу поэмы в письме к А. И. Тургеневу от 31 мая 1823 г.: «Я благодарил его (т. е. Пушкина, — *Сост.*) и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать и с кандалами на ногах» (Остафьевский архив, т. 2, СПб., 1899, стр. 327).

Пушкин Василий Львович (1767—1830; у Бестужева дата рождения ошибочно: 1770) — дядя А. С. Пушкина, поэт, примыкавший к литературной группе Карамзина, деятельный член и «староста» Арзамаса. Автор альбомных мадригалов, сатирических посланий, эпиграмм и шутливой бытовой повести в стихах «вольного» содержания с оттенком литературной сатиры — «Опасный сосед» (1811), распространявшейся в списках.

Экспромт на прощание с друзьями А. И. и С. И. Т. (ПЗ, 1825, стр. 581). Обращен к Александру Ивановичу Тургеневу (1784—1845) и Сергею Ивановичу Тургеневу (1790—1827), братьям декабриста Н. И. Тургенева.

Раич Семен Егорович (1792—1852) — московский литератор и переводчик, преподаватель словесности в Московском университетском пансионе. Был членом Союза благоденствия. После роспуска Союза совершенно отошел от политической деятельности, и имя его, внесенное в «Алфавит декабристов» («Восстание декабристов», т. VIII. М., 1925), числится в разряде «оставленных без внимания». Председатель литературно-философского кружка, объединявшего многих представителей московской литературной молодежи (1822—1825). Интерес к немецкой идеалистической философии сближал кружок Раича с Обществом любомудрия, члены которого были его постоянными посетителями. С октября 1821 г. — член-корреспондент Вольного общества любителей российской словесности. Издавал альманахи «Новые Аониды» (1823) и «Северная лира» (1827). Редактор-издатель журнала «Галатея» (1829—1830, 1839—1840), бывшего органом эпигонов романтизма, фактически смыкавшихся с реакционным фронтом русской литературы. Писал небольшие лирические стихотворения, которые помещал в различных журналах и сборниках. Кроме «Георгик» Вергилия (М., 1821), Раич перевел «Освобожденный Иерусалим» Тасса (1828) и часть «Неистового Орланда» Ариосто (1832—1837).

Армидин сад. (Из Тасса) (ПЗ, 1825, стр. 568). Отрывок из поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Армида — волшебница, владелица вол-

шебного сада, обольщающая рыцарей-крестоносцев, синоним обольстительной красавицы. Циклады — гористые острова в Эгейском море.

Родзянко Аркадий Гаврилович (1793—1846) — поэт, воспитанник Московского университетского пансиона, член «Зеленой лампы». Родзянке принадлежит небольшое количество стихотворений, печатавшихся в журналах и альманахах. Многие из его сатирических и эротических стихотворений не были напечатаны и распространялись в рукописных списках. Отвечая Вяземскому на обвинение в том, что ПЗ на 1824 г. «не имеет блеска прошлогодней» (Русская старина, 1888, № 11, стр. 322), Бестужев писал: «Зато, если в наших пьесах не было отличных, в них (кроме родзянкиных) не было зато и вовсе дурных» (письмо от 28 января 1824 г. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 212).

Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — член Северного общества декабристов (принят в общество за несколько недель до восстания). Был близок декабристским кругам, знал о заговоре и 12 декабря 1825 г. донес Николаю о «таящемся возмущении». Впоследствии был членом Государственного совета, возглавлял управление военно-учебными заведениями и принимал деятельное участие в подготовке крестьянской реформы 1861 г. В 20-х годах напечатал несколько стихотворений в журналах. В 1823 г. отдельным изданием вышла трагедия Ростовцева «Персей». С отзывом Бестужева о трагедии совпадает мнение рецензента «Сына отечества». Рецензент отмечает в трагедии «прекрасные сильные стихи», «занимательность» и выражает сожаление, что трагедия «не играна» (Сын отечества, 1823, ч. 85, № 19, стр. 234—235). Весьма слабую пьесу Ростовцева по заслугам оценил Катенин в письме к Бахтину 6 декабря 1823 г.: «Что за Персей Ростовцева! по счастию неигранный» (П. А. Катенин. Письма к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 53).

Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — крупнейший поэт-декабрист. Отставной подпоручик, правитель дел Российско-американской компании. Член Вольного общества любителей российской словесности (25 апреля 1821 г. избран в члены-сотрудники, 19 декабря — в действительные члены). В октябре 1823 г. вступил в тайное Северное общество и вскоре стал его руководителем. Был главным организатором декабрьского восстания и в числе пяти декабристов, «кои по тяжести злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими», 13 июля 1826 г. повешен на кронверке Петропавловской крепости.

Рогнеда. Повесть А. А. В‹оейково›й (ПЗ, 1823, стр. 30). Фабульная основа думы — летописные данные в передаче Н. М. Карамзина (История государства Российского, т. 1, гл. 9). Летописные данные о Рогнеде были широко использованы в литературе до Рылеева Херасковым, Ключаревым и др. (см.: В. И. Маслов. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912, стр. 204—205). Но если в изображении предшественников Рылеева Рогнеда прежде всего оскорбленная женщина, то у Рылеева она гражданка, которая мстит «тирану», «губителю отчизны».

Стр. 30. Воейкова Александра Андреевна, рожд. Протасова (1795—1829) — жена А. Ф. Воейкова, племянница и ученица Жуковского. Воейкова была одаренной женщиной, пользовавшейся уважением и поклонением многих литераторов.

Стр. 32. Кривичи — древнеславянское племя. Скания — Скандинавия.

Стр. 35. Цимиский — византийский император, побежденный русским князем Святославом (ум. 972 или 973). Альбион — древнее название Англии. — Нейстрия — сев.-зап. часть раннефеодального государства франков.

Борис Годунов (ПЗ, 1823, стр. 107). Литературные источники думы — «Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам первого кадетского корпуса» П. С. Железникова (СПб., 1804) и 10-й том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, с которым Рылеев познакомился еще до выхода в свет, в начале 1822 г. (см. прим. Ю. Г. Оксмана в кн.: Рылеев, Полн. собр. стих., Изд. писателей, Л., 1934, стр. 421). Положительная трактовка личности и правления Годунова у Рылеева совпадает с Железниковым, а рассказ о муках совести убийцы царевича Дмитрия восходит к Карамзину.

Мстислав Удалой (ПЗ, 1823, стр. 163). Дума читалась на заседании Вольного общества любителей российской словесности 15 мая 1822 г. Историческая основа думы — летописный рассказ в передаче Карамзина (История государства Российского, т. 2, гл. 2). Голиаф — библейский богатырь, побежденный юным Давидом (см. стр. 911).

Иван Сусанин (ПЗ, 1823, стр. 216). Фабульная основа думы — костромское предание об Иване Сусанине, изложенное в «Словаре географическом Российского государства» А. Щекатова (ч. III. М., 1807) и в «Русской истории в пользу воспитания» С. Н. Глинки (ч. IV. М., 1817), а также положенное в основу оперы А. А. Шаховского «Иван Сусанин» (1815). В отличие от своих предшественников, изображавших Сусанина верноподданным, Рылеев подчеркивает в Сусанине черты, близкие патриотическим настроениям декабристов.

Войнаровский (отрывки из поэмы: *Юность Войнаровского. Бегство Мазепы*) (ПЗ, 1824, стр. 318, 412). Начало работы Рылеева над «Войнаровским» относится к 1823 г. В 1824 г. два отрывка из поэмы («Якутск», «Смерть Войнаровского») появились на страницах «Соревнователя просвещения и благотворения» и «Сына отечества». Герой поэмы — Андрей Войнаровский, племянник Мазепы и ближайший участник его заговора против Петра I. Образы Войнаровского и Мазепы подчинены агитационно-пропагандистским задачам декабристской поэзии. О Мазепе рассказывает Войнаровский, для него Мазепа — друг свободы и враг самовластья. Это искажение исторического лица в поэме было отмечено Пушкиным, в общем высоко оценившим поэму Рылеева. Об откликах на «Войнаровского» современников, в частности Пушкина, см. комментарий Ю. Г. Оксмана в «Полн. собр. соч.» Рылеева (Изд. писателей, Л., 1934, стр. 455—462). Палей Семен (ум. в 1710 г.) — национальный герой Украины, прославившийся в войнах против турок и поляков. В 1704 г. по про-

искам Мазепы был сослан в Сибирь, в 1709 г., после ликвидации заговора Мазепы, возвращен Петром I.

Наливайко (отрывки из неоконченной поэмы: *Смерть чигиринского старосты, Киев, Исповедь Наливайки*) (ПЗ, 1825, стр. 505, 597, 712). Рылеев работал над поэмой в начале 1825 г. В бумагах поэта сохранился план поэмы. Герой поэмы Наливайко (ум. в 1597 г.) — вождь казацкого восстания на Украине против польских панов. В 1596 г. Наливайко был провозглашен в Чигирине гетманом, потом был выдан полякам и казнен в Варшаве. Публикация отрывков поэмы в ПЗ произвела сильнейшее впечатление в кругах оппозиционной общественности, а агитационное значение «Исповеди Наливайко» было во много раз действеннее других произведений декабристской литературы. Цензурную историю отрывков в ПЗ и отклики современников в печати и письмах, следственных показаниях и мемуарах см. в комментариях Ю. Г. Оксмана в «Полн. собр. соч.» Рылеева (Изд. писателей, Л., 1934, стр. 464—469).

Стр. 598. Батый — татарский хан, в XIII в. завоевавший южную Россию и взявший Киев. — Гедимин — великий князь литовский, совершивший в XIV в. поход на Киев.

Стр. 713. Униаты — часть православного населения западной Украины, признавшая в конце XVI в. под давлением католического польского духовенства верховную роль папы.

Стансы (*К А. Б⟨естуже⟩ву*) (ПЗ, 1825, стр. 555). Отсутствует 2-я строфа, сохранившаяся в автографе:

Все они с душой бесчувственной
Лишь для выгоды своей
Сохраняют жар искусственный
К благу общему людей.

Сенковский Осип Иванович (1800—1858) — ученый-арабист и тюрколог, беллетрист, журналист и критик, профессор Петербургского университета по кафедре восточных языков. В 30-х годах печатался под псевдонимом «Барон Брамбеус». Идейный союзник Греча и Булгарина, возглавлявший вместе с ними политическую реакцию в литературе. Издавал популярный в 30-е годы журнал «Библиотека для чтения», рассчитанный на вкусы провинциального дворянского читателя.

Витязь буланого коня. Арабская кассида (ПЗ, 1824, стр. 460). Переведенная с арабского касида (т. е. небольшая поэма) заслужила высокую оценку Пушкина, который писал Бестужеву 8 февраля 1824 г.: «Арабская сказка прелесть; советую тебе держать за ворот этого Сенковского» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 87).

Деревянная красавица (ПЗ, 1825, стр. 591).

Стр. 593. Медина — город в Аравии, второй, после Мекки, священный город магометан.

Сомов Орест Михайлович (1793—1833) — поэт и прозаик (автор повестей из украинской жизни), один из видных критиков и литературных теоретиков романтизма. Член Вольного общества любителей российской словесности (с 13 мая 1818 г. — сотрудник, с 24 мая 1820 г. — действительный член). В 1823 г. был секретарем цензуры и цензурного комитета общества, принимал близкое участие в руководстве его журналом «Соревнователь просвещения и благотворения». В 1823 г. в этом журнале (ч. 23, кн. 1—3; ч. 24, кн. 2) была напечатана статья Сомова «О романтической поэзии». Сомов был дружен с Рылеевым, Бестужевым, Кюхельбекером и другими декабристами. Был помощником Рылеева по службе в Российско-американской компании, жил в одном с ним доме и был постоянным участником «русских завтраков» у Рылеева. С сентября 1825 г. в квартире Сомова поселился А. Бестужев. Сомов привлекался к следствию по подозрению в принадлежности к тайному обществу, но после показаний Рылеева и Бестужева о непричастности его к заговору был освобожден. Сомов принимал ближайшее участие в издании ПЗ. На запрос полиции по поводу публикации в «Невском альманахе» на 1827 г. (изд. Е. Аладьин) повестей «Замок Эйзен» А. Бестужева и «Гайдамак» Сомова, предназначавшихся для Зв., Сомов сообщал, что по просьбе Бестужева и Рылеева он читал корректуру ПЗ и Зв. (см.: Н. Д. «Полярная звезда» и «Невский альманах». — Русская старина, 1901, т. 108, № 10, стр. 267). С 1826 г. был помощником Дельвига по изданию альманаха «Северные цветы» (см. стр. 975—977 наст. изд.), а в 1830—1831 гг. по редактированию «Лит. газеты». После смерти Дельвига вместе с Пушкиным издал последнюю книжку «Северных цветов» на 1832 г. в пользу семьи Дельвига. Сомову принадлежит упомянутый Бестужевым (стр. 493 наст. изд.) перевод «Записок полковника Вутье о нынешней войне греков» (Lettres sur la Grèce, notes et chants populaires, extraits du portefeuille du colonel Veutier. F. Didot, Paris, 1826). Перевод Сомова, был издан в 1825 г. В 29-й части «Соревнователя просвещения и благотворения» сообщалось, что «поступила в продажу очень любопытная книга, особенно по нынешним обстоятельствам (т. е. в связи с событиями в Греции, — *Сост.*), под названием „Записки полковника Вутье“» (стр. 224). «Записки Вутье» перед самыми декабрьскими событиями были использованы в целях политической пропаганды, их давал читать Д. И. Завалишин братьям Беляевым, мичманам гвардейского экипажа, чтобы возбудить в них дух гражданского мужества. Рассказывая Следственному комитету о методах декабристской пропаганды, Завалишин признавался: «Об Греции я им (бр. Беляевым, — *Сост.*) ничего не рассказывал, а давал читать Записки Вутье» (Восстание декабристов, т. 3. ГИЗ, М.—Л., 1927, стр. 290).

Французские чудаки (ПЗ, 1823, стр. 173).

Стр. 174. Севинье Мари де Рабютен-Шанталь (1626—1696) — французская писательница, известная своими письмами к дочери, которые считаются образцом французской эпистолярной прозы XVII в.

Стр. 175. Истинно-диогеновские странности. Диоген из Си-

нопа (414—323 до н. э.) — древнегреческий философ-циник, проповедовавший аскетизм. В личной жизни доводил до крайности свои аскетические принципы, был крайне нечистоплотен, за что получил прозвище «собака». О поведении и внешнем облике Диогена в древности было сложено множество анекдотов.

Гайдамак (Зв., стр. 748).

Стр. 750. П о д к р а с н у ю ш а п к у — в солдаты.

Стр. 752. С е н н а х е р и м (правильно: Сенахериб, 704—680 до н. э.) — ассирийский царь, знаменитый своими вторжениями в Иудею и в другие области. — М о а в и т, моавитяне — семитский народ, родственный израильтянам.

Туманский Василий Иванович (1800—1860) — поэт, был в приятельских отношениях с издателями ПЗ и с Пушкиным. С августа 1821 г. сотрудник, а с 18 декабря 1822 г. действительный член Вольного общества любителей российской словесности, причем принимал самое деятельное участие в его делах. Декабрист Кашкин на допросе в Следственном комитете назвал Туманского человеком «горячих чувств и пылкого ума». Туманский был тесно связан с декабристами, он был дружен с Кюхельбекером (см. письмо Туманского Кюхельбекеру. — В. Туманский. Стихотворения и письма. СПб., 1912, стр. 252—253), встречался в Киеве в 1824 г. с декабристом П. А. Мухановым (см. письмо Туманского С. Г. Туманской — там же, стр. 266), дружил с А. О. Корниловичем (см. письмо Туманского к Булгарину — там же, стр. 274). Поэтическое творчество Туманского — это главным образом элегические стихотворения и куплеты салонного характера. Однако ему принадлежит и несколько стихотворений, посвященных борцам за освобождение Греции, по духу и тону близких декабристской лирике. Таковы «Греческая ода» (1823), «Греции. Два сонета» (1825). Первое из них было напечатано в Зв. После казни декабристов Туманский распространял копии предсмертных писем Пестеля и Рылеева (В. И. Туманский. Стихотворения и письма, стр. 292—293). Туманский принимал участие в издании ПЗ. Так, будучи в Одессе, он вел переговоры с Пушкиным о его сотрудничестве во второй книжке альманаха. Рылеев писал 3 октября 1823 г. в Одессу: «Милый Туманский, вижу, что прелестными пиэсами нашего парнасского чудотворца „Полярная звезда“ обязана тебе. Да не угаснет же в тебе зато никогда чистый пламень поэзии, возженный твоею прелестною музою, которую ты так мило славишь под именем милой девы (речь идет о стихотворении Туманского «Милой деве», напечатанном в ПЗ на 1823 г., — *Сост.*). Пусть пламень сей на зло ничтожной и мелкой собратии Федорова (см. стр. 963 наст. изд., — *Сост.*) чаще и чаще рождает в тебе истинное вдохновение и дразнит самолюбивое безвкусие старообрядцев нашей словесности. Твоя последняя элегия очень мила, как и другие две пиэсы. Жаль только, что Манценил переведен не пятистопными стихами. Все сии стихотворения вместе с пиэсами консула нашей литературной республики (т. е. Пушкина, — *Сост.*) отданы Бирукову»; дальше в приписке к тому же письму Рылеев сообщает, что Бируков не пропустил элегию «Милой деве» (еще одно стихотворение с тем же названием) как «слишком сладострас-

ную» и стихотворение «Манценил» (К. Ф. Рылеев, Полн. собр. соч., «Academia», Л., 1934, стр. 472). Положительно отзывался о стихах Туманского и Бестужев. Рассказывая Вяземскому о публичном заседании Вольного общества любителей российской словесности 23 мая 1823 г., Бестужев писал: «Туманскому аплодировали, и стоит; были звонкие стихи и новые картины» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 204). Эпитет «звучный» в применении к поэзии Туманского употребил и Пушкин в отрывках из странствия Евгения Онегина: «Одессу звучными стихами наш друг Туманский описал» (о стихотворении Туманского «Одесса», напечатанном в ПЗ на 1824 г.). Несмотря на то, что Туманский был близок ПЗ, его нельзя назвать единомышленником Рылеева и Бестужева даже в литературных вопросах. Получив ПЗ на 1823 г., Туманский писал Бестужеву 18 сентября 1823 г.: «Поклон тебе, милый разбойник литературы, первый луч „Полярной звезды"... столп русского коренного либерализма (т. е. вольнолюбия, — *Сост.*)! Поклон тебе и многая лета!» (Русская старина, 1888, октябрь, стр. 319). Однако несколько раньше (12 марта 1823 г.) Туманский писал своей двоюродной сестре С. Г. Туманской, которая во всем альманахе «признала порядочной» только статью Бестужева: «Статья Бестужева... судя без всякого пристрастия, самая неудачная в целом издании» (В. И. Туманский. Стихотворения и письма. СПб., 1912, стр. 244).

Милой деве (ПЗ, 1823, стр. 185). Отзыв Рылеева о стихотворении см. стр. 930 наст. изд.

К ней (ПЗ, 1824, стр. 284). В «Стихотворениях и письмах» В. Туманского (СПб., 1912) напечатано (по рукописи) с подзаголовком: «Из Уланда». Об Уланде см. стр. 911 наст. изд.

Песня (Зв., стр. 746). Напечатано впервые в «Невском альманахе» на 1827 г.

*К С*** (При получении от нее в подарок вышитых цветов)* (Зв., стр. 781). Адресовано двоюродной сестре Туманского — С. Г. Туманской. Напечатано впервые в «Альбоме Северных муз» на 1828 г., изд. А. Ивановским.

Греческая ода (Зв., стр. 783). Напечатано впервые в альманахе «Северная лира» на 1827 г. П у к е в и л ь — Туманский имеет в виду хорошо известную в России книгу историка Пукевиля (точнее Пуквиля): Histoire de la régénération de la Grèce, comprenant le précis des événements depuis 1740 jusqu'en 1824, par F.-C.-H.-L. Pouqueville, ancien consul général de France auprès d'Ali-Pacha de Janina. A Paris, MDCCCXXIV, 4 vol.

Филимонов Владимир Сергеевич (1787—1858) — поэт и переводчик, известный как автор шутливой поэмы «Дурацкий колпак» (1828), сверстник и приятель Жуковского и Батюшкова. В апреле 1818 г. был избран почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. После 1825 г. примыкал к оппозиционным литературным кругам. В 1831 г. привлекался по подозрению в принадлежности к тайной организации Н. П. Сунгурова (см.: Ю. Б. Невзоров. Секретное дознание о В. С. Филимонове. К истории распространения литера-

турно-политических документов декабристов после 1825 г. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 570—582). Переводами из Горация Филимонов занимался на протяжении всей своей жизни и в своих собственных стихах проводил идеи горацианского эпикурейства. Филимонов был знаком с А. Бестужевым. В дневнике последнего находим запись от 11 июля 1824 г.: «Вечером у Филимонова» (Памяти декабристов, т. I. Л., 1926, стр. 67). Кс. Полевой приводит эпизод, свидетельствующий о дружбе Филимонова с Бестужевым и об их размолвке около 1825 г. (Николай Полевой. Материалы для истории русской литературы, Л., 1934, стр. 184—185).

К Деллию (ПЗ, 1824, стр. 418). Р а л ь Федор Федорович (1786—1837) — генерал-майор, участник войн с Наполеоном. И черна нить, тремя не прервана сестрами, т. е. парками, в греческой мифологии — богинями судьбы, прядущими нить человеческой жизни.

Из Горация, книга II, ода 18 (ПЗ, 1825, стр. 600). Сабинский уголок — имение Горация, подаренное ему Меценатом.

Хвостов Дмитрий Иванович (1757—1835) — граф, сенатор, член Беседы любителей русского слова, снискавший широкую известность в качестве ретроградного и бездарного графомана и бывший в течение многих лет предметом постоянных насмешек, эпиграмм и пародий. В Вольном обществе любителей российской словесности Хвостов примыкал к правому крылу.

К портрету Н. С. Мордвинова (ПЗ, 1823, стр. 209). Появление Хвостова в числе сотрудников ПЗ вызвано стремлением издателей популяризировать имя Н. С. Мордвинова, известного аристократа-конституционалиста, о котором Пушкин говорил, что он «заключает в себе одном всю русскую оппозицию». Деятели Северного общества намечали Мордвинова в состав Временного правления. Мордвинов был почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. По заданию общества Рылеевым и Плетневым были написаны в честь Мордвинова оды. Оду Рылеева («Гражданское мужество») издатели ПЗ предполагали поместить во второй книжке альманаха. В одном из списков оды сохранилось примечание переписчика: «Ода сия приготовлена была для Полярной звезды на 1824 г.; но цензором Бируковым не пропущена» (В. Брюсов. Из неизданных стихов К. Ф. Рылеева. — Весы, 1908, № 6). Указание переписчика подтверждается списком намечаемого состава ПЗ на 1824 г. В нем значится и «Гражданское мужество» (Русская старина, 1871, № 1, стр. 98). Список ошибочно отнесен П. А. Ефремовым к 1825 г., на что указал Ю. Г. Оксман в примечании к оде (К. Ф. Рылеев, Полн. собр. стих., Изд. писателей, Л., 1934, стр. 388). О запрещении оды цензурой — см. показание Рылеева Следственному комитету от 24 апреля 1826 г. (Восстание декабристов, т. I. ГИЗ, М.—Л., 1925, стр. 176). Надпись «К портрету Николая Семеновича Мордвинова» была единственным произведением Хвостова в ПЗ, хотя он и стремился продолжать свое сотрудничество. Так, в неизданном письме к Рылееву от ноября 1823 г. он просит о чести «видеть нечто из его произведений напечатанным в „Полярной звезде“»

(ИРЛИ, ф. 322, Архив Д. И. Хвостова, № 71, лл. 201, 201 об.). Более важно отметить, что Хвостов пытался организовать выступление в печати против ПЗ. В апреле—мае 1823 г. борьба партий в Вольном обществе обострилась, завершившись победой декабристских литературных сил и разгромом «партии положительного безвкусия» (к которой принадлежал и Хвостов) на публичном заседании общества 22 мая 1823 г. Несколько позже Хвостов был из действительных членов общества переведен в почетные (таким образом ему давалось право не посещать собраний). Граф Хвостов решил отомстить «литературной республике». Он обратился к А. Ф. Рихтеру (член Вольного общества, примыкавший к «правым») с просьбой осудить Бестужева и написать отрицательную рецензию на статью Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года». Рихтер в ответном письме (от 15 января 1824 г.) обещал воспользоваться суждением графа Хвостова о статье Бестужева и расправиться с «литературным баловнем», который «еще не исправился и дидактический свой тон не покинул». Однако Хвостову не удалось завербовать в свою партию Рихтера. Внимательно познакомившись с ПЗ на 1824 г., Рихтер поспешил объявить гр. Хвостову, что альманах Рылеева и Бестужева «придает новое сияние» отечественной словесности и «удивляет своими талантами». Через три дня после первого письма, 18 января 1824 г., Рихгер признавался, что статья Бестужева на него произвела вполне положительное впечатление. «Я, — писал Рихтер, — с большим любопытством читаю все произведения Бестужева. В его сочинениях найдешь то, что тщетно будешь искать у других писателей. Как же не уважать такого писателя, как не быть к нему признательным? Он раскрывает нам совсем новые понятия и знакомит нас с учеными предметами с иной точки зрения. Хотя для меня почти непонятен приступ к статье его, помещенный в нынешней „Полярной звезде", „Взгляд на русскую словесность 1823 года", но кто может сомневаться, чтоб он не понимал, что сам писал. Может быть, здесь должно самого себя обвинять, а не Бестужева, которому небольшая слава будет, ежели всем он станет понятен» (ИРЛИ, ф. 322, № 71, л. 185 и 189).

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — в молодости поэт и драматург, впоследствии один из главных теоретиков славянофильства. Член московского литературного общества Раича (1823—1825) и философского кружка «любомудров» (1823—1825), для которых характерен интерес к немецкой идеалистической философии. Раннее творчество Хомякова — философская лирика и романтические исторические трагедии. Начиная с 40-х годов Хомяков выступает главным образом как автор статей религиозно-философского и философско-исторического содержания.

Шаховской Александр Александрович, князь (1777—1846) — известный драматург, первый в России театральный педагог и режиссер, вдохновитель театральной политики и начальник репертуарной части петербургских императорских театров с 1802 по 1818 и с 1821 по 1825 г., защитник традиций классицистического театра, противник реалистических методов актерской игры

(Е. С. Семеновой). Член Российской Академии и Беседы любителей русского слова, постоянный противник Карамзина. Наиболее ярким эпизодом борьбы с карамзинистами была комедия Шаховского «Липецкие воды» (1815). Шаховскому принадлежит одно из наиболее ранних художественных изображений крепостного театра («Полубарские затеи, или Домашний театр»). Современники называли Шаховского «Новейший Аристофан», указывая этим на язвительность его сатиры. В своей комедии «Аристофан, или Представление Всадников» (1826) Шаховской выступает в защиту обличительной комедии. Отрывки из «Аристофана» печатались в ПЗ и в альманахе Кюхельбекера и В. Одоевского «Мнемозина». Комедии Шаховского не всегда были вполне оригинальны, в основе они имели чаще всего французский источник. Шаховскому принадлежат три инсценировки произведений Пушкина: «Финн» (эпизод из «Руслана и Людмилы», 1824), «Керим-Гирей, или Бахчисарайский фонтан» (1827) и «Хризомания» (переделка «Пиковой дамы», 1836). Первая из них, «Финн», была поставлена в Петербурге 3 ноября 1824 г. и пользовалась успехом у современников (см.: П. Арапов. Летопись русского театра. СПб., 1861, стр. 362).

Две сцены из комедии: Аристофан, или Представление Всадников (ПЗ, 1824, стр. 343).

Стр. 343. Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — один из величайших драматургов Греции. Его комедия «Всадники» (424) была резкой сатирой на афинского демагога Клеона.

Стр. 346. Сократ (V—IV вв. до н. э.) — греческий философ-идеалист, приговоренный афинским судом к смерти за противогосударственный и антидемократический характер учения.

Стр. 347. Архонты, стратеги, ипархи, филархи, всадники — должностные лица в древних Афинах.

Стр. 353. Омир — новогреческая форма имени Гомер, считавшегося античными народами автором «Илиады» и «Одиссеи».

Эсхил (525—456 до н. э.), Софокл (495—405 до н. э.), Еврипид (ок. 480—406 до н. э.) — величайшие греческие трагики.

Стр. 354. Платон (427 — 347 до н. э.) — знаменитый греческий философ, ученик Сократа, главный представитель философского идеализма.

Стр. 355. Софисты — преподаватели философии в древней Греции, в эпоху Перикла.

Стр. 356. Ленейский венец — венец, которым венчали в древней Греции драматургов во время Ленеи — праздника по случаю получения свежего вина. Праздник был также и временем драматических представлений. Иперборейские (или Гиперборейские) страны — северные страны.

Языков Николай Михайлович (1803—1846) — один из виднейших поэтов Пушкинского времени. Учился в Петербурге, сперва в Горном кадетском корпусе, потом в Институте инженеров путей сообщения, в 1822 г. поступил на философский факультет Дерптского университета, где провел больше шести лет.

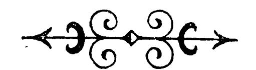
Первое стихотворение Языкова появилось в 1819 г. в «Трудах Общества любителей российской словесности». Молодой Языков был человеком передовых общественно-политических взглядов. Эротические мотивы в стихах Языкова сочетаются с мотивами религиозного и политического вольномыслия, с выпадами против самодержавия. Под влиянием декабристской поэзии Языков воспевает героическое прошлое русского народа, проявляет живой интерес к древним республикам Новгорода и Пскова. Одно из своих стихотворений Языков посвятил памяти казненного Рылеева. Декабристская критика высоко ценила дарование Языкова. Посылая 23 июня 1824 г. Вяземскому вышедшие в 1824 г. «Стихотворения» Языкова, А. Бестужев писал: «Он подает, кажется, несомнительные надежды и возвышенною душою отрывается от толпы стихотворцев-прозаиков и людей прозаических, которых душёнки могли бы только идти в сотенный счет приданого какой-нибудь престарелой вдовушке или девы Свиньиной» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 222). Языков приветствовал появление первой книжки ПЗ, выражая, однако, недовольство статьей Бестужева. 10 января 1823 г. он писал брату: «Полярная звезда мне очень понравилась: ето большое похищение у журналистов наступившего 1823 года; только не по нутру мне суждение Бестужева о русской литературе; он присвоил себе право судить об том, что, кажется, гораздо выше градуса его познаний, как ни притворяется заслуженным воином сей бирюч нашей прозы и поэзии; но из-под его новомодной фурашки, надетой набекрень, виден лоб еще рекрутский» (Языковский архив. СПб., 1913, стр. 38). Бестужев в своем обзоре избегал резких и обличительных оценок. Это, по-видимому, не нравилось Языкову, который в своих письмах с большой прямолинейностью и резкостью отзывался о многих явлениях современной ему литературы. Под конец жизни Языков примкнул к славянофилам и под влиянием тяжелой болезни поддался религиозно-мистическим настроениям.

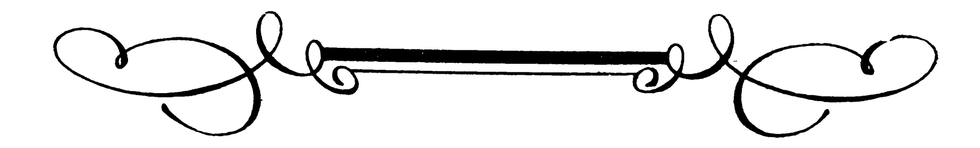
Родина (ПЗ, 1825, стр. 506). С 1833 г. печатается без последних пяти стихов.

*К **** (ПЗ, 1825, стр. 549). Перепечатано Воейковым в «Новостях литературы» (1825, кн. 13, август, стр. 112) под заглавием «К N. N.». В позднейших изданиях печатается в другой редакции под названием «Элегия».

Зависть Гения (Зв., стр. 746). Впервые напечатано в журнале «Новости литературы» (1826, кн. XV, январь).

Две картины (Зв., стр. 786). Впервые напечатано А. Дельвигом в «Северных цветах» на 1826 г. По свидетельству самого Языкова, является отрывком задуманной им поэмы, в которой он предполагал описать «суеверия естов» (см.: Языковский архив. СПб., 1913, стр. 197—198).





II. ПИСАТЕЛИ, УПОМИНАЕМЫЕ В СТАТЬЯХ БЕСТУЖЕВА

Аблесимов Александр Онисимович (1742—1783; у Бестужева год смерти ошибочно: 1784) — писатель, поэт и драматург. Наибольшей известностью и успехом пользовалась его комическая опера «Мельник, колдун, обманщик и сват», впервые поставленная на сцене 20 января 1779 г. и напечатанная в 1782 г. Опера выдержала подряд 22 представления в Москве и 27 — в Петербурге. Опера держалась на сцене еще в первом десятилетии XIX в. Успех ее был вызван народным колоритом. Аблесимов использовал фольклор, крестьянскую речь, песни, шутки, на сцене показывались народные обычаи и т. д.

Аладьин Егор Васильевич (1796—1860) — см. «Невский альманах».

Альфиери Витторио (1749—1803) — итальянский поэт. Реформатор классицистической трагедии в Италии, публицист, автор трактата «О государе и литературе», в котором отразились его республиканские взгляды. Герои его трагедий с ораторским пафосом выступают против тиранов, но оставляют в неприкосновенности сословные перегородки и предрассудки.

Анакреонт (ок. 570—ок. 485 до н. э.) — греческий поэт, писал стихотворения, главным содержанием которых была любовь и пиршества. Долгое время, особенно в XVI—XVII вв., оказывал сильное влияние на западноевропейскую литературу.

д'Арленкур Виктор-Шарль (1789—1856) — французский писатель салонно-аристократического направления эпохи Реставрации. В 1820—1830 гг. произведения его пользовались успехом благодаря внешней занимательности. В качестве «писателя в моде» д'Арленкур упоминается Пушкиным в «Графе Нулине» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 5, АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 7).

Байрон Джордж Гордон (1788—1824). Декабристам импонировал мятежный дух поэзии Байрона, его политическая страстность и разоблачение им «болезней века», его смерть в борьбе за свободу Греции. Романтический разрыв Байрона с обществом отмечен Бестужевым (стр. 492 наст. изд.). Давая оценку альманаха «Мнемозина» (см. о нем стр. 496 наст. изд.), Бестужев выделяет оду Кюхельбекера на смерть Байрона. Узнав о смерти Байрона, Бестужев писал Вяземскому 17 июня 1824 г.: «Мы потеряли брата, князь, в Бейроне, человечество — своего

бойца, литература — своего Гомера мыслей...» и дальше: «Он умер, но какая завидная смерть... он умер для Греции, если не за греков, которые в кровавой купели смыли с себя прежний позор. Он завещал человечеству великие истины, в изумляющем дарованье своем, а в благородстве своего духа пример для возвышенных поэтов. И этого-то исполина гнала клевета, и зависть изгнала из отечества, и обе отравили родимый воздух; история причислит его к числу тех немногих людей, которые не увлекались пристрастием к своему, но действовали для пользы всего рода человеческого» (Лит. наследство, т. 60, ч. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 49).

Баратынский Е. А. — см. стр. 899 наст. изд.

Батюшков К. Н. — см. стр. 891 наст. изд.

Бахтин Николай Иванович (1796—1869) — друг П. А. Катенина и издатель его сочинений. Не упоминая имени Бахтина, Бестужев говорит о нем в своем третьем обзоре: «...кто-то русский напечатал в Париже злую выходку на многих наших литераторов» (стр. 498 наст. изд.). Речь идет о полемике в парижском журнале «Mercure du XIX siecle» (1824, т. VI, стр. 505) по поводу рецензии Н. И. Бахтина на «Русскую антологию» Дюпре де Сен-Мора (Quelques Notes d'un Russe présentement à Paris sur l'Anthologie russe de M-r Dupré de St-Maure). Рецензия была подписана L. N. В русском переводе статья Бахтина была напечатана в «Вестнике Европы» (1824, ч. 138, № 22) под заглавием: «Некоторые замечания россиянина, живущего ныне в Париже, на Антологию г. Дюпре де Сент-Мора (Из Mercure du XIX S., t. VI, 505 p.)». Перевод подписан: А. Р. В своей рецензии Бахтин давал краткий очерк русской поэзии от Кантемира до современности. При этом Бахтин очень положительно отозвался о Катенине и сделал несколько колких замечаний в адрес Вяземского и Бестужева. В ответ на статью Бахтина в том же журнале было напечатано письмо за подписью «Le P. B. G.» (вероятно: le Prince Basile Gagarine, т. е. князь Василий Гагарин, шурин Вяземского). Автор статьи высказал предположение, что L. N. — это сам Катенин. Возмущенный Катенин писал по этому поводу 26 апреля 1825 г. Бахтину: «Весьма забавно, что с Вами толкуют об LN, но как не стыдно Гагарину, что он обругал и оклеветал меня? мое письмо на этот счет было послано в одно время к Каченовскому и Гречу; в 3-й книжке Сына отечества оно и напечатано, с некоторыми цензурными подслащениями, и то (пишет мне Грибоедов) „издателям много труда стоило добиться позволения от Министерства к напечатанию твоего картеля". Последнее слово значит, что я непременно требую, чтобы P. B. G. свои на меня обвинения доказал, пристыдил меня при всех, либо сам устыдился. Между тем Бестужев в Полярной звезде на 1825-й год пишет вот что... (следует цитата из статьи Бестужева, — *Сост.*). Вы скажете, что тут нет никакого смысла, но зато и писал Бестужев» (письмо от 26 апреля 1825 г. — П. А. Катенин. Письма к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 84). L. N. (т. е. Бахтин) в свою очередь выступил с протестом против обвинения Катенина в самовосхвалении (Mercure du XIX siècle, т. VII, стр. 333—336).

Беницкий Александр Петрович (1780—1809) — писатель, журналист и критик. В 1807 г. издал альманах «Талия», в 1809 г. издавал вместе с А. Е. Измайловым журнал «Цветник». Современники высоко ценили дарование Беницкого. «Всё, что ни написано (Беницким, — *Сост.*), сильно, даже ужасно, слишком сильно напитано желчью», — отмечал Батюшков (Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 48). Узнав о смерти Беницкого, Батюшков писал Гнедичу: «Мир праху Бенитцкого! Был умен да умер! А тебе не стыдно ли не написать ни строчки в его похвалу, не стихами, а прозою? Зачем не известить людей, что жил некто Бенитцкий и написал На другой день? Зачем не поместить это биографическое известие не в журнал фабриканта Измайлова, а в Вестник. Пробудись Брут!» (там же, стр. 65—66). Отмеченная Батюшковым и Бестужевым «восточная повесть» Беницкого «На другой день» напечатана в журнале «Цветник» (1809, ч. I, стр. 6—46); она обличает социальную несправедливость. В центре ее изображен мудрый и справедливый набоб, который осуждает корыстолюбивых и жестоких царедворцев.

Бобров Семен Сергеевич (1767—1810) — второстепенный писатель мистического направления. Архаистические литературные традиции сочетались у Боброва с новаторством в области стихотворных размеров и словотворчества. В своей поэме «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонесе» (1789; 2-е переработанное издание 1804 г.: Херсонида, или Картина лучшего летнего дня в Херсонесе Таврическом) Бобров одним из первых применил белый стих. Опыты Боброва были осмеяны карамзинистами. Вместе с тем современчики (Радищев, Державин) ценили Боброва. Высокую оценку творчества Боброва дал Кюхельбекер. В статье «Разбор фон-дер Борговых переводов русских стихотворений» он писал о Боброве: «... поэт, который при счастливейших обстоятельствах был бы, может быть, украшением русского слова, который и в том виде, в каком нам является в своих угрюмых, незрелых, конечно, созданиях, ознаменован некоторым диким величием» (Сын отечества, 1825, ч. 103, № 17, стр. 71). С большим вниманием относился к Боброву Пушкин. По собственному его признанию, он заимствовал один стих в «Бахчисарайском фонтане» из «Тавриды» («Под стражею скопцов гарема»; в черновом тексте — «Под стражей хладного скопца»).

Богданович Ипполит Федорович (1743—1803; у Бестужева год смерти ошибочно: 1802) — поэт и драматург, прославившийся своей поэмой «Душенька», в которой рассказывается в шутливой форме с использованием мотивов и стиля русских народных сказок миф о любви Амура и Психеи, изложенный Апулеем в романе «Золотой осел». «Русский характер» и легкий стих «Душеньки» особенно ценились современниками и поэтами начала XIX в., вплоть до Пушкина.

Борх (фон дер Борг) — переводчик русских поэтов на немецкий язык, издавший свои переводы в 1823 г.: Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von der Borg, nebst einem Anhange biographischer und literaturhistorischer Noticen. Riga und Dorpat. B. 1—2. Подробный разбор перево-

дов фон дер Борга был сделан Кюхельбекером (Разбор фон дер Борговых переводов русских стихотворений. — Сын отечества, 1825, ч. 103). Дав высокую оценку качеству переводов и отметив их близость к оригиналам, Кюхельбекер резко критиковал выбор подлинников, среди которых лучше всего было представлено «карамзинское направление».

Боуринг Джон (1792—1872) — английский государственный деятель, путешественник и переводчик. В 1821—1823 гг. издал двухтомное собрание переводов из русских поэтов «Specimens of the Russian poets, translated by John Bowring» (Parts 1—2. London, 1821—1823), на которую Бестужев написал рецензию (Лит. листки, 1824, ч. 4, № 19 и 20, стр. 32—45). Подвергая детальному и суровому разбору качество переводов, Бестужев горячо возражал против тенденциозных утверждений Боуринга, пытавшегося доказать в предисловии к книге подражательный характер русской литературы.

Броневский Владимир Богданович (1784—1835) — военный писатель, воспитывался в морском корпусе, участвовал в наполеоновских войнах. Его «Записки морского офицера в продолжение кампании на Средиземном море под начальством Д. И. Сенявина, от 1805 по 1810» были изданы в 1818—1819 гг. (СПб., 4 части) и получили высокую оценку современников. Отзывы о «Записках» Броневского см.: Благонамеренный, 1818, ч. 4, стр. 109; Сын отечества, 1819, № 3; Русский вестник, 1819, № 5; Сын отечества, 1820, № 48—50; Московский телеграф, 1826, № 8; Северная пчела, 1837, № 296.

Броневский Семен Михайлович (1764—1830) — приближенный графа П. А. Зубова и друг М. М. Сперанского. Был правителем дел при главноуправляющем Грузией князе П. Д. Цицианове (1802—1804), экспедитором в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, феодосийским градоначальником (1810—1816). Масон Феодосийской ложи. В 1823 г. были изданы его «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе». По словам современника, Броневский был «человеком с обширными сведениями и мастерски излагающим мысли свои» (Г. В. Гераков. Путевые записки по многим российским губерниям. 1820. Пгр., 1828, стр. 122—123). Пушкин во время путешествия по Крыму заезжал к Броневскому и в письме к Л. С. Пушкину 24 сентября 1820 г. писал о нем: «Он не умный человек, но имеет большие сведения об Крыме, стороне важной и запущенной» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 19).

Буасси Луи де (1694—1758) — французский драматург.

Булгарин Фаддей Венедиктович — см. стр. 897 наст. изд.

Бунина Анна Петровна (1774—1829) — поэтесса и переводчица, почетный член Беседы любителей русского слова, пользовавшаяся литературным покровительством А. С. Шишкова. Противники Беседы выделяли ее из числа бездарных последователей Шишкова. Это подтверждает любопытное высказывание о Буниной Д. В. Дашкова в протоколах Арзамаса, выделяющего ее из ряда других участников Беседы: «Хотя на челе трупа <Буниной> видна печать

Беседы, но он не лишен совершенно жизни, и хотя одет он по обычаю Беседы мрачным саваном невежества, но в полуоткрытых глазах его блистает огонь и живость: труп покрыт беседной проказой, но духовная кожа его белее и чище телесной» (Арзамас и арзамасские протоколы. Изд. писателей, Л., 1933, стр. 54). Высоко ценил творчество Буниной Кюхельбекер: «Г-жа Бунина, — писал он, — женщина-поэт, явление редкое в нашем отечестве, и, сверх того, поэт с дарованием, поэт неподражатель. Подробный разбор лучших ее стихотворений принес бы словесности, по нашему мнению, истинную, существенную пользу» (В. Кюхельбекер. Взгляд на текущую словесность. — Невский зритель, 1820, ч. I, март, стр. 78). Упомянутая Бестужевым «баснословная повесть» в трех песнях — «Падение Фаэтона» — была впервые напечатана в «Чтениях в Беседе любителей русского слова», 1811 (кн. 4) и посвящена Н. С. Мордвинову (о нем см. стр. 932 наст. изд.).

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790—1849) — генерал, сенатор, член Государственного совета, председатель знаменитого своей реакционностью Цензурного комитета 2 апреля 1848 г. Был участником Отечественной войны. В 20-х годах известен военно-историческими сочинениями на французском языке, которые он начал печатать с 1812 г. Некоторые из них были переведены на русский язык А. О. Корниловичем, например упомянутая Бестужевым (см. стр. 267 наст. изд.) «История нашествия Наполеона на Россию в 1812 г.» (СПб., 1823). В своих работах Бутурлин был последователем знаменитого историка и теоретика военного дела, участника походов Наполеона и генерала русской службы (с 1813 г.) Генриха Жомини (1779—1869) и поэтому в обществе носил прозвище Жомини. По-видимому, Бутурлина имеет в виду Пушкин в наброске повести «Гости съезжались на дачу»: «Б** несколько времени занимал ее воображение. „Он слишком для вас ничтожен, — сказал ей Минский. — Весь ум его почерпнут из Liaisons dangereuses ‹«Опасных связей»›, так же как весь его гений выкраден из Жомини. Узнав его покороче, вы будете презирать его тяжелую безнравственность, как военные люди презирают его пошлые рассуждения“» (вариант чернового автографа: «его безграмотные рассуждения»). В последних словах Пушкина, возможно, содержится намек на два письма М. Ф. Орлова к Бутурлину по поводу «Военной истории походов россиян в XVIII столетии» Бутурлина (СПб., 1819). Письма Орлова, хотя и адресованные частному лицу, приобрели широкую известность и обсуждались в декабристских кругах. Орлов резко возражал против попытки Бутурлина исторически оправдать самодержавие и крепостное право (подробнее см.: В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. Гослитиздат, М., 1953, стр. 139—142).

Вергилий (Виргилий) Публий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт.

Висковатов Степан Иванович (1786—1831) — бездарный автор и переводчик трагедий в классическом роде, член Беседы любителей русского слова, впоследствии деятельный агент III отделения, писавший доносы на Пушкина. Трагедия «Ксения и Темир» впервые шла на петербургской сцене 11 октября 1809 г. Она

была построена на заимствованиях из «Заиры» Вольтера. Иронический отзыв Бестужева о трагедии, «которой ход довольно правдоподобен, ибо основан на вымысле», показывает отрицательное отношение критика к схематизму и антиисторичности классицистической трагедии с точки зрения революционного романтизма, стремившегося к исторической и психологической правде, понимая, однако, эти требования чисто романтически. Другая трагедия Висковатова, упоминаемая Бестужевым, — «Гамлет, трагедия в 5 действиях, в стихах, подражание Шекспиру» — была поставлена в Петербурге 28 ноября 1810 г. Это «подражание» написано не по английскому оригиналу, а по французской его переделке. Вот отзыв об этом подражании издателей «Полного собрания сочинений» Шекспира 1865 г. (ч. 1, стр. 8): «У Шекспира заимствован один сюжет; всё остальное изменено и переделано, не исключая и самого положения действующих лиц. Так, например, Гамлет сделан царствующим королем, всюду *преследуемым мечтою*, то есть тенью убитого отца, Клавдио — его родственником и главой заговора. Офелия — его дочерью и т. д. Конец также изменен: Клавдио убивает Гертруду, Гамлет закалывает Клавдио, но сам остается жив, хотя и не женится на Офелии».

Воейков Александр Федорович — см. стр. 899 наст. изд.

Волкова Анна Алексеевна (1781—1834) — поэтесса, почетный член Беседы любителей русского слова.

Вольтер Франсуа Аруэ (1694—1778). Писатели-декабристы не разделяли ни литературных, ни философских взглядов Вольтера, но ценили в нем борца против отживающего феодального строя; поэтому Бестужев из всех произведений Вольтера выделяет «Генриаду», написанную в Бастилии, куда Вольтер был заключен весной 1717 г. и где провел одиннадцать месяцев. «Генриада» содержала в себе протест против господствующей феодальной идеологии и была запрещена во Франции.

Востоков Александр Христофорович (1781—1864) — выдающийся филолог, поэт и переводчик, один из учредителей Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, объединявшего «радищевцев». Востоков был одним из наиболее «умеренных» членов общества. Декабристы ценили Востокова как смелого и талантливого реформатора русского стиха. Реформаторская работа Востокова шла по двум направлениям: 1) усвоения русским стихом античных неравносложных размеров и 2) разработки и внесения в литературу стиховых форм русской народной поэзии. В 1812 г. вышел его «Опыт о русском стихосложении», содержащий теорию русского «народного» стиха. «Опыт» Востокова высоко оценил Пушкин, который полагал, что русскому народному стиху, определенному Востоковым «с большой ученостью и сметливостью», будет суждено стать стихом эпическим и народным («Путешествие из Москвы в Петербург»). Теоретические положения Востокова повторил Кюхельбекер в своих парижских лекциях о русской литературе (Лит. наследство, т. 59, АН СССР, М., 1956, стр. 366—380). В своей творческой деятельности Востоков разрабатывал жанры монументальной оды и лирической медитации на темы философские, исторические или

морально-дидактические, а также перекладывал народные песни западных славян. Пушкин применил востоковский стих в «Песнях западных славян» и в «Сказке о рыбаке и рыбке».

Вяземский Петр Андреевич — см. стр. 900 наст. изд.

Гамалея Платон Яковлевич (1766—1818) — инспектор классов Морского корпуса, член Российской Академии, выдающийся педагог, автор ряда учебных пособий по оптике, астрономии, теории и практике кораблевождения и пр. Упоминание о научных трудах Гамалеи в статье, посвященной обзору русской словесности, не случайно. Александр Бестужев пишет о Гамалее несомненно под влиянием брата Николая, который был воспитанником и учеником Гамалеи в Морском корпусе. Николай Бестужев оставил восторженный отзыв о своем учителе и написал его биографию: «Я учился у многих учителей, слышал многих профессоров с кафедр — но не знаю ни одного, кто бы равнялся ясностию изложения с Плат<оном> Яков<левичем> в таких сухих науках, как навигация, астрономия и высшая теория морского искусства. Это самое он умел передавать и своим ученикам». И выше: «Будучи почти создан им, получа от него любовь к науке, а именно от него получа способность объясняться логически, я с своим выпуском был его последним учеником» (Воспоминания Бестужевых. АН СССР. М.—Л., 1951, стр. 509, 511). Характеристику Гамалеи — человека и педагога см. также в воспоминаниях Михаила Бестужева (там же, стр. 229—230, 256—257).

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832).

Гётце Пьер Отто (Петр Петрович) (1793—1880) — уроженец Ревеля, воспитывался в Дерптском университете. «Собрание русских народных песен», которое упоминает Бестужев, было подготовлено к печати в 1817 г. (см. заметку о нем П. А. Вяземского в «Сыне отечества», 1817, ч. 36, № 10, стр. 158—159), но напечатано только в 1828 г. в Штутгарте под заглавием «Stimmen des russischen Volks in Liedern».

Глебов Дмитрий Петрович (1789—1843) — поэт и переводчик, воспитанник Московского университетского пансиона. Писал главным образом патриотические стихи, воспевал победы русских в войнах с французами и турками. Свои произведения, печатавшиеся в различных журналах и альманахах, в 1827 г. издал под названием «Элегии и другие произведения».

Глинка Сергей Николаевич (1775—1847) — брат Ф. Н. Глинки, весьма плодовитый, посредственный писатель, издатель журнала «Русский вестник» (1808—1824) официозно-патриотического направления, позднее цензор.

Глинка Федор Николаевич — см. стр. 903 наст. изд.

Гнедич Николай Иванович — см. стр. 903 наст. изд.

Головнин Василий Михайлович (1776—1831) — выдающийся русский мореплаватель, вице-адмирал. Был близок к декабристским кругам, в частности к Д. И. Завалишину. Участвовал в походах и боевых действиях русского флота за границей (1795—1801), дважды совершил кругосветные путешествия (в 1807—1809 и 1817—1819 гг.). В 1811 г. на Курильских островах группа

русских моряков вместе с Головниным была захвачена в плен японцами. Полуторагодовое пребывание в плену описано Головниным в «Записках о приключениях в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах», изданных в 1816 г. «Записки» были переведены на иностранные языки и вызвали большой интерес в России и за границей. В 1819 г. вышло «Путешествие Российского имп. шлюпа Дианы из Кронштадта в Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807, 1808 и 1809 годах»; в 1822 г. было издано описание его второго кругосветного путешествия — «Путешествие вокруг света по повелению государя-императора, совершенное на военном шлюпе Камчатке в 1817, 1818 и 1819 годах».

Гомер (новогреч. форма Омир) — легендарный эпический поэт древней Греции. В древности Гомера изображали нищим слепым старцем, бродившим из города в город и платившим декламацией своих поэм за гостеприимство и пищу.

Гораций Флакк Квинт (65—8 до н. э.) — римский поэт.

Горчаков Дмитрий Петрович, князь (1758—1824; у Бестужева год рождения ошибочно: 1762) — поэт, член Российской Академии и Беседы любителей русского слова. Литературную известность приобрел благодаря своим сатирам, большая часть которых осталась ненапечатанной. Имя Горчакова было популярно и в среде декабристов, которые признавали литературные достоинства и публицистический пафос его сатир. Пушкин ценил «колкий стих» Горчакова (см. стихотворение «Городок»).

Грамматин Николай Федорович (1786—1827) — поэт и филолог, известный переводчик и исследователь «Слова о полку Игореве». В 1823 г. издал книгу «Слово о полку Игореве», которая является итогом изучения памятника в русской филологической науке первой четверти XIX в. Книгу составляют: древнерусский текст «Слова», два его перевода — прозаический и стихотворный, «Рассуждение о древней русской словесности» (впервые издано в 1809 г.), предисловие и примечания. Интересные толкования темных мест памятника сочетаются в примечаниях Грамматина с произвольными. Оценку Бестужева разделял также рецензент «Сына отечества»: «Многие из сих примечаний показывают знания, критический ум и трудолюбие издателя, но нам кажется, что к ним приплетено слишком много лишнего и постороннего: нам обещаны примечания к Слову о полку Игоря, и мы больше не требуем; здесь же, по словам Виланда, *столько деревьев, что лесу не видать...* Еще показались нам слишком резкими суждения автора о Шлецере, Карамзине, Шишкове и других писателях, занимавшихся одним с ним предметом» (1823, ч. 83, № 7, стр. 330).

Грессе Луи (1709—1777) — французский поэт, драматург.

Греч Николай Иванович — см. сбр. 904 наст. изд.

Грибоедов Александр Сергеевич — см. стр. 907 наст. изд.

Григорович Василий Иванович (1792—1865) — конференц-секретарь и преподаватель теории изящного в Академии художеств, секретарь Общества поощре-

ния художников. В 1823—1825 гг. издавал «Журнал изящных искусств» (см. стр. 971 наст. изд.).

Григорович Иван Иванович (1792—1852) — археолог и ученый. В 1824 г. издал на русском, латинском и польском языках «Белорусский архиз дрезних грамот» (ч. I). Будучи с 1837 г. членом Археографической комиссии, редактировал «Акты исторические» и «Акты, относящиеся к истории Западной России».

Гусев А. (годы рождения и смерти неизвестны) — автор нескольких передовых статей по философии, сотрудник «Вестника Европы». Упомянутая Бестужевым (стр. 269 наст. изд.) статья Гусева «О новейших системах метафизики в Германии» (Вестник Европы, 1823, № 13—14) является переводом из Ансильона. Ансильон Фридрих (1767—1837) — профессор истории при берлинской военной академии и реакционный прусский государственный деятель. Статья Гусева является переводом из работы Ансильона «Mélanges de littérature et de philosophie».

Давыдов Денис Васильевич — см. стр. 908 наст. изд.

Дашков Дмитрий Васильевич — см. стр. 908 наст. изд.

Делавинь Жан-Франсуа-Казимир (1793—1843) — французский поэт, драматург либерального направления.

Делиль Жак, аббат (1738—1813) — французский поэт, любивший изысканные перифразы, переводчик на французский язык Вергилия и Мильтона, член Французской академии. Пушкин назвал Делиля «парнасским муравьем» («Домик в Коломне», черновая редакция). В ПЗ на 1823 и 1824 гг. печатались отрывки из его поэмы «Воображение» в переводе А. Ф. Воейкова (см. стр. 899 наст. изд.).

Дельвиг Антон Антонович — см. стр. 909 наст. изд.

Державин Гавриил Романович (1743—1816). Декабристы ценили Державина как представителя высокой гражданской поэзии. Подробно об отношении декабристов к Державину см.: В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 266—270.

Дешаплет — см. Шаплет де.

Джеффери Френсис (1773—1850) — известный английский критик. С 1803 по 1829 г. был редактором-издателем журнала «Edinburgh Review». Вел в нем отдел литературной критики.

Дмитриев Иван Иванович — см. стр. 910 наст. изд.

Дмитриев Михаил Александрович — см. стр. 910 наст. изд.

Долгорукий (или **Долгоруков**) Иван Михайлович, князь (1764—1823) — поэт и мемуарист, автор ряда шутливых сатирических произведений, распространявшихся главным образом в списках. Большой популярностью у современников пользовалось его стихотворение «Камин в Пензе», написанное в бытность его в 1793—1796 гг. пензенским губернатором. Пушкин назвал Долгорукова «поэтом не довольно еще оцененным» (варианты белового автографа «Путешествия из Москвы в Петербург» — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, АН СССР,

М.—Л., 1949, стр. 484) и с похвалой отозвался об «обеденных» темах у Долгорукова («Путешествие из Москвы в Петербург» — там же, стр. 246). Стихотворение Долгорукова «Авось» упомянуто в десятой главе «Евгения Онегина».

Дюпати Шарль-Маргерит (1746—1788) — французский математик и статистик.

Дюпре де Сен-Мор — см. Сен-Мор.

Ефимьев Дмитрий Владимирович (1768—1804) — писатель-драматург, автор известной в свое время комедии «Преступник от игры, или Братом проданная невеста» (впервые напечатана и поставлена на сцене в 1788 г.). По свидетельству П. Арапова, «была повторяема часто и на эрмитажном театре и имела большой успех» (П. Арапов. Летопись русского театра. М., 1861, стр. 129). Белинский в «Литературных мечтаниях» писал о Ефимьеве и Плавильщикове, что они «некогда почитались хорошими драматургами, но теперь, увы! совершенно забыты» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. I, АН СССР, М., 1953, стр. 53).

Жандр Андрей Андреевич (1789—1873) — драматург и переводчик, друг Грибоедова и Катенина, человек, близкий к декабристским кругам и декабристской идеологии. До 1822 г., т. е. до выхода ПЗ, Жандр перевел: комедию французского драматурга Барта «Притворная неверность» (вместе с А. С. Грибоедовым), 2-е действие трагедии Корнеля «Горации», одну сцену из «Гофолии» Расина, «Семелу» Шиллера и комедию «Любовь и рассудок» с французского. Жандр разделял литературные взгляды «архаистов» Катенина и Грибоедова и широко использовал церковнославянизмы в своих переводах. Это и вызвало нарекания Бестужева. Жандр выступил с возражениями. Не отвечая Бестужеву по существу, Жандр возражал против неточности формулировки, разъясняя, какие драматические произведения были им переведены, и называя своих соавторов (Разговор от Полярной звезды. — Сын отечества, 1823, ч. 84, № 9, стр. 64—72). Вместо Бестужева Жандру отвечал Яков Толстой. Между Жандром и Я. Толстым завязалась полемика (см. «Библиографию», №№ 17—21). Полемика не имела принципиального значения и вызывала у современников чувство досады. Вяземский писал Бестужеву: «Ради бога, уймите Жандра, да, воля ваша, и своему рыцарю велите вложить перо в чернильницу. Их перья уже так притупились, что способа нет. Признаюсь, до сей поры не могу разобрать, в чем состоит их спор. Вот уж точно: спор до слез! то есть до слез, извлекаемых зевотою» (письмо от 10 мая 1823 г. — Русская старина, 1888, № 11, стр. 316). К последней статье Я. Толстого Греч сделал примечание — обращение к Жандру и Я. Толстому: «М‹илостивы› г‹осуда›ри! И я скажу: не пора ли кончить ваш спор? Ваш покорнейший слуга издатель С‹ын›а о‹течеств›а». В третьем обзоре Бестужева дана высокая оценка напечатанному в «Русской Талии» (см. стр. 497 наст. изд.) отрывку из трагедии французского драматурга Ротру (1609—1650) «Венцеслав» в переводе Жандра. Жандр начал переводить «Венцеслава» по совету Грибоедова (см.: П. А. Катенин. Письма к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 74). В трагедии ставились вопросы об единодержавии и о преступном государе, и к постановке в театре она не была до-

пущена цензурой. Перевод Жандра был одним из первых (после Жуковского и Кюхельбекера) случаев применения белого стиха в трагедии. Антимонархический характер трагедии, а также достоинства перевода обусловили положительную оценку Бестужева. Перевод Жандра был встречен также похвалами Пушкина (письмо к П. А. Катенину от первой половины сентября 1825 г. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 225), Грибоедова (письмо к П. А. Катенину от 17 сентября 1824 г. — А. С. Грибоедов, Соч., Гослитиздат, М., 1953, стр. 522) и А. И. Одоевского, написавшего рецензию на этот перевод (А. И. Одоевский, Полн. собр. стих. и писем, «Academia», Л., 1934, стр. 248—251).

Жуи Виктор-Жозеф-Этьен (1764—1846) — французский писатель и журналист, отличался живым, хотя и поверхностным умом и юмором.

Жуковский Василий Андреевич — см стр. 910 наст. изд.

Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — писатель-драматург и один из первых русских исторических романистов. Комедии Загоскина не были вполне оригинальны — в основе они имели большей частью французский источник. Однако в них была самостоятельная реально-бытовая окраска, но чисто светская, без сатиры. В ПЗ Бестужев сочувственно отозвался о комедии Загоскина «Деревенский философ». Это вызвало упрек Вяземского: «Что за охота выставлять З а г о с к и н а? Его „Послачие к Людмиле" площадное, плоское по мыслям и стихосложению, взапуски выхваляемое петербургскими и московскими журналами, точно как будто переродило его. Дайте себе труд его прочесть и вы, верно, со мною согласитесь. „Деревенского философа", верно, вы и не читали, а не то и не решились бы похвалить» (Русская старина, 1888, № 11, стр. 323). Отвечая Вяземскому, Бестужев признается, что не читал комедию Загоскина, и поясняет свой отзыв: «„Послания к Людмиле" я не хвалил, о „Дер‹евенском› философе" отозвался двусмысленно, тем более о его авторе. *Комический дар* не есть еще *дар к комедии*; впрочем, вы угадываете, не читав его» (письмо от 28 января 1824 г. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 212). Отрицательное отношение к творчеству Загоскина Бестужев высказал и в последней своей критической работе — рецензии на роман Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем» (см.: Московский телеграф, 1833, ч. 52, №№ 15, 16; ч. 53, №№ 17, 18).

Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич — см. стр. 913 наст. изд.

Измайлов Александр Ефимович — см. стр. 913 наст. изд.

Измайлов Владимир Васильевич — см. стр. 914 наст. изд.

Иоанн, экзарх болгарский (X в. до н. э.) — церковный деятель и писатель.

Кайсаров Михаил Сергеевич (1780—1825) — приятель Жуковского и Александра Тургенева, воспитывался в Московском благородном пансионе, был переводчиком в Коллегии иностранных дел. В 1804—1807 гг. был издан его перевод романа Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Перевод был сделан с английского подлинника и считался образцовым (см. некролог Кайсарова в «Северной пчеле», 1825, № 36).

Калайдович Константин Федорович (1792—1832) — один из первых русских археографов-историков. Член-корреспондент Вольного общества любителей российской словесности (избран 12 июня 1822 г.). Активный участник кружка любителей русской истории, образовавшегося вокруг графа Н. П. Румянцева, на средства которого Калайдович производил поиски в архивах и библиотеках, печатал и комментировал памятники исторические и литературные. Самым значительным трудом Калайдовича является «Иоанн, экзарх болгарский. Исследование, объясняющее историю славянского языка и литературы в IX и X столетии» (1824). Калайдович нашел несколько сочинений экзарха Иоанна — видного литературного деятеля X в. — и издал их вместе со своим исследованием, занявшим одно из первых мест в ряду русских трудов по славянской филологии. Бестужев был хорошо знаком с Калайдовичем. Имя Калайдовича встречается в «Записках о поездке в Москву в 1823 г.» Бестужева (см.: Памяти декабристов, вып. I. Л., 1926, стр. 55, 57, 58).

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — поэт-сатирик, переводчик и критик. Его труды сыграли важную роль в развитии русского стиха, подготовив силлабо-тоническую реформу Тредиаковского и Ломоносова.

Капнист Василий Васильевич (1757—1824) — видный деятель русского литературного движения последних десятилетий XVIII в., писатель, драматург и поэт, ближайший друг и литературный соратник Державина. В расцвете своей литературной деятельности довольно смелый обличитель современных общественных зол (комедия «Ябеда», направленная против пороков судопроизводства, «Ода на рабство» — отклик на закрепощение украинских крестьян и др.). Позднее Капнист становится автором малозначительных подражательных од (нравоучительных, горацианских, анакреонтических). Декабристы ценили в Капнисте смелого сатирика.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826; у Бестужева год рождения ошибочно: 1765). Об отношении издателей ПЗ к Карамзину см. стр. 820—821, 865 наст. изд.

Катенин Павел Александрович (1792—1853) — участник ранних декабристских организаций, член Союза спасения, а затем один из руководителей Военного общества, поэт и литературный критик. После роспуска Союза спасения и Военного общества Катенин отстранился от подпольной работы и не вступал ни в одно из позднейших тайных обществ. С 1822 по 1832 г. жил в деревне, высланный из Петербурга под предлогом участия в театральном скандале. Литературная позиция Катенина, активно боровшегося за создание национальной самобытной литературы, во многом сближала его с декабристами. Вместе с тем стремление Катенина воскресить в своих переводах и в трагедии «Андромаха» драматургию классицистического стиля воспринималось современниками как анахронизм, а чрезмерное употребление архаизмов и подчеркнутая простонародость языка (особенно в балладах) встречали отрицательное отношение части критики, но были поддержаны Грибоедовым, а впоследствии Пушкиным. Весьма сдержан-

ный отзыв Бестужева о Катенине завершает давнюю литературную борьбу между ними. В 1819 г. Бестужев написал рецензию на катенинский перевод трагедии Расина «Эсфирь», в которой выступил против лексики перевода — против «самой неупотребительной славянщизны, перемешанной весьма неосторожно с простейшими русскими словами». В 1820 г. Бестужев резко и насмешливо отозвался о стихотворении Катенина «Песнь о Мстиславе Мстиславиче» (Сын отечества, 1820, т. 62, № 20, «Письмо к издателю»). В 1822 г. между Бестужевым и Катениным возникла полемика о книге Н. И. Греча «Опыт краткой истории русской литературы». Бестужев полемизировал с Катениным по поводу его трактовки романтизма (Катенин связывал понятие «романтизм» с новизной художественной формы, Бестужев — с содержанием произведения) и по вопросу о значении старославянского языка в формировании современного русского языка. По мнению Катенина, роль Ломоносова в создании современного языка заключалась в том, что он приблизил его «к языку церковному и славянскому». Бестужев отказывался видеть в старославянском наречии главный источник русского языка и выступал против чрезмерного употребления архаизмов. Вместе с тем он призывал брать из старославянского языка «звучные слова», способные придавать поэтической речи возвышенность и громкость.

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — реакционный журналист и переводчик, профессор истории, редактор «Вестника Европы», заклейменный Пушкиным в ряде эпиграмм, почетный член Вольного общества любителей российской словесности (с 25 августа 1819 г.). Последнее обстоятельство и обусловило, по всей вероятности, положительную оценку его Бестужевым. Кроме того, Бестужев видел в Каченовском «кой-какие литературные заслуги» (письмо к Вяземскому от 28 января 1824 г. — Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 212). Каченовский был редактором-издателем «Вестника Европы», который стал при нем, с 1815 г., когда от журнала окончательно отошел Жуковский, реакционным органом эпигонов классицизма. О «Вестнике Европы» и отзывах Каченовского на ПЗ см. стр. 968 наст. изд. (отзыв Бестужева об этом журнале см. на стр. 269 наст. изд.).

Кеппен Петр Иванович — см. стр. 969 наст. изд.

Княжевич Дмитрий Максимович — см. стр. 915 наст. изд.

Княжнин Яков Борисович (1742—1791) — драматург. Большинство произведений Княжнина восходит к иностранным источникам (Пушкин назвал его в «Евгении Онегине» «переимчивый Княжнин»), однако Княжнин вносил в заимствованные сюжеты много творческого своеобразия. Упомянутые Бестужевым комедии «Хвастун» (впервые поставлена в 1786 г., в 1825 г. постановка была возобновлена) и «Чудаки» (1790) являются по сюжетам также заимствованиями; первая представляет переделку комедии Брюйеса «Значительный человек» («L'important»), вторая — комедии Детуша «Странный человек» («L'homme singulier»). В комедиях выведены знакомые русскому читателю щеголи, галломаны, люди, помешавшиеся на знатности рода, слуги и т. д. Комическая опера

«Сбитенщик» сюжетно близка к «Школе мужей» Мольера и к «Севильскому цирюльнику» Бомарше. Комедии Княжнина отличались живостью и веселостью и долго держались на сцене. Из трагедий Княжнина во времена Бестужева шли только «Дидона» (1769) и «Росслав» (1784). Обе трагедии имели большой успех, и в глазах современников Княжнин был прежде всего автором этих двух трагедий. Особой известностью среди трагедий Княжнина пользовался его «Вадим Новгородский», где прославляется восстание Вадима против самодержавной власти Рюрика. Трагедия была напечатана только после смерти Княжнина, в 1793 г., но за проповедь республиканских идей и нападки на самодержавие издание было конфисковано и уничтожено по личному распоряжению Екатерины II. Новое издание ее вышло лишь в 1871 г., на сцене она не шла и в годы деятельности Бестужева была известна лишь в списках или в единичных уцелевших экземплярах издания 1793 г.

Козлов Иван Иванович — см. стр. 915 наст. изд.

Кокошкин Федор Федорович (1773—1838) — известный в свое время драматург и театральный деятель. Автор оригинальных и переводных (с французского) трагедий и комедий. Наибольший успех из пьес Кокошкина имел его перевод «Мизантропа» Мольера, приспособленный к русским нравам (впервые поставлен в 1815 г.).

Колен д'Арлевилль Жан-Франсуа (1755—1806) — французский драматург.

Корнилович Александр Осипович — см. стр. 916 наст. изд.

Костров Ермил Иванович (1750—1796) — поэт-одописец и переводчик. Современники называли Кострова «российским Гомером» за начатый им перевод «Илиады», из которой Костров перевел восемь песен александрийским стихом. Работа Гнедича над переводом «Илиады» была начата как продолжение труда Кострова (см. стр. 903 наст. изд.). Отдавая дань заслугам Кострова как переводчика, Бестужев отмечает архаичность его стиля.

Котляревский Иван Петрович (1769—1838) — известный украинский писатель, один из создателей украинской литературы и украинского литературного языка, почетный член Вольного общества любителей российской словесности. Главное его произведение «Энеида Вергилия, перелицованная на малорусскую мову» представляет собой сатирическую переработку «Энеиды» Вергилия на украинские нравы. Первые три песни «Энеиды» были напечатаны в 1798 г., полное издание вышло в 1842 г. Бестужев высоко ценил творчество Котляревского. В рецензии на «Опыт краткой истории русской литературы» он упрекал Греча: «Почему пропустили Вы ... Котляревского — единственного писателя на малороссийском наречии?» (Сын отечества, 1822, ч. 77, № 18, стр. 167).

Крылов Александр Абрамович (1798—1829) — поэт, член Вольного общества любителей российской словесности (20 февраля 1817 г. принят в сотрудники, 4 марта 1818 г. — в действительные члены), был цензором поэзии общества и принимал активное участие в издании «Соревнователя просвещения и благотворения». Стихи Крылова часто читались на заседаниях Вольного обще-

ства и печатались в «Соревнователе просвещения», «Благонамеренном», в «Северных цветах» и др. В 1819 г. были изданы его переложения псалмов: «Священная лира, или Переложения в стихах избранных мест из священного писания».

Крылов Иван Андреевич — см. стр. 917 наст. изд.

Крюковской Матвей Васильевич (1781—1811) — драматург, известность приобрел благодаря упомянутой Бестужевым трагедии «Пожарский, или Освобожденная Москва» (три издания ее вышли в Петербурге в 1807, 1810 и 1828 гг.). «Пожарский» был поставлен на сцене 28 мая 1807 г. и имел большой успех (см.: П. Арапов. Летопись русского театра. М., 1861, стр. 180—181). Пьеса имела успех, как правильно отмечает Бестужев, благодаря своему патриотическому содержанию. Мнение Бестужева через несколько лет подтвердил рецензент «Московского телеграфа» в рецензии на 3-е издание трагдии: «Как произведение искусства, как трагедия, картина сия не выдержит ни малейшей критики, ибо всё достоинство ее, что мы уже сказали, состоит в том, что она вызывает великие воспоминания об одном из славнейших дел нашей истории. Действия в сей трагедии нет, и всё ограничивается словами; ни один характер не развит; ни одна страсть действующих лиц не выражена. Но *Пожарский* напоминает нам об отечестве, и довольно. Мы уверены, что пьеса сия долго еще будет играема на театрах русских, несмотря на то, что, кроме любви к отечеству, в ней всё ложно и несвязно» (Московский телеграф, 1829, ч. 27, № 11, стр. 377—378).

Кутузов Николай Иванович (ум. 1849) — штабс-капитан, старший адъютант Штаба гвардейского корпуса, один из видных деятелей Союза благоденствия и Вольного общества любителей российской словесности. После 1821 г. отошел от тайных обществ. Современники знали Кутузова по журнальным статьям, которые печатались в «Сыне отечества»: «Аполлон с семейством» (1821, ч. 67, № 5, стр. 193—210) и «О причинах благоденствия и величия народов» (1820, №№ 1, 10). Последняя статья представляет отрывки из трактата того же названия, задуманного Кутузовым в широком историческом и социальном плане. Отдельные главы трактата («О законодательстве древних», «Об удовольствиях общественных», «О древних законах Ликурга и Солона», «О законах древних славян») читались на заседаниях Вольного общества, но, несмотря на единодушное одобрение присутствующих, не появились в «Соревнователе», очевидно, по цензурным соображениям. Следуя в своем трактате за Монтескьё и Адамом Смитом, Кутузов различает три образа правления: республиканский, монархический и деспотический, и утверждает, что республиканская форма пригодна лишь для народов развитых, приготовленных к ней. Признав конституционно-монархическую форму правления наилучшей, в частности и для России, Кутузов излагает свой взгляд на общественное хозяйство и законодательство, руководствуясь при этом законоположением Союза благоденствия. Подробно о Кутузове и его деятельности в Вольном обществе см.: В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 16, 17, 47—58, 229—233.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович — см. стр. 917 наст. изд.

Ла Фар Шарль-Огюст де (1644—1712) — французский поэт, друг поэта Шолье, которому подражал в своем творчестве. Его стихи в эпикурейском духе, легкие, небрежные, неглубокие, но живые, были изданы в 1755 г. Оставил интересные «Воспоминания и размышления о важнейших событиях правления Людовика XIV» (Роттердам, 1715).

Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский поэт, приобретший известность главным образом своими баснями, в которых он явился основателем нового жанра короткого нравоучительного повествования.

Легувэ Габриэль-Мари-Жан-Батист (1764—1812) — французский поэт и драматург, член Французской академии, автор нескольких драм и трагедий, имевших успех на сцене.

Лелевель Иоахим (1786—1861) — известный польский историк, публицист и политический деятель, принимавший участие в польском восстании 1830—1831 гг., когда был членом Варшавского революционного правительства. После подавления восстания эмигрировал во Францию, потом в Бельгию, где и продолжал литературно-политическую деятельность. «Рассмотрение Истории государства Российского г. Карамзина» печаталось в 1822—1824 гг. в «Северном архиве». Лелевель выступил против апологетической концепции самодержавия в «Истории». Упрекая Карамзина в том, что его труд является не историей русского народа, а скорее историей династии Рюриковичей, и отрицая акт «добровольного» призвания варяжских викингов населением страны, Лелевель восстал против охранительной идеологии «Истории государства Российского». Это не могло не вызвать сочувствия в декабристских кругах. 9 ноября 1823 г. декабрист А. О. Корнилович писал П. М. Строеву: «В завтрашней книжке сего журнала увидите продолжение критики на Карамзина. Каково принята сия критика вашими господами литераторами? Здесь все более или менее отдают ей справедливость. С первых книжек будущего года начнется разбор всех 9 частей отдельно: тут-то пойдет передряга» (А. О. Корнилович. Сочинения и письма. АН СССР, М.—Л., 1957, стр. 254). Вокруг «Истории» разгорелась острая идейная борьба. Об этой борьбе Пушкин писал впоследствии: «Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий — казались им верхом варварства и унижения» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 306). Декабристы не только протестовали против монархических концепций Карамзина, но и выдвигали свое понимание русского исторического процесса. См. публикации Л. Я. Вильде «Декабрист Михаил Орлов — критик „Истории“ Н. М. Карамзина» (вступительная статья М. В. Нечкиной) и И. Н Медведевой «Записка Никиты Муравьева „Мысли об Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина» в «Лит. наследстве» (т. 59, АН СССР, М., 1954, стр. 557—598).

Линде Самуил-Богумил (Феофил, 1771—1847) — доктор философии, польский лексикограф, почетный член Пражской, Берлинской, а также Российской Академии. Его перевод «Опыта краткой истории русской литературы» Греча

(M. Grecz. Rys historyczny literatury rossyiskiej) вышел в Варшаве в 1823 г. с добавлениями переводов статей Батюшкова, Бестужева, Булгарина, Вяземского, Карамзина и др.

Лобанов Михаил Евстафьевич — см. стр. 918 наст. изд.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765). Декабристы ценили Ломоносова как поборника высокой гражданской поэзии, поэта большого общественного значения. В борьбе против мелких альбомных жанров, разрабатывавшихся карамзинистами, поэты декабристской ориентации встали на путь модернизации ломоносовско-державинской оды. Можно говорить о культе Ломоносова и Державина в Вольном обществе любителей российской словесности. На заседании 9 января 1821 г. И. К. Аничков произнес речь в честь Ломоносова, за которую из сотрудников был переведен в действительные члены.

Львов Федор Петрович (1766—1835) — писатель, известный знаток музыки и композитор. Был статс-секретарем Государственного совета и директором придворной певческой капеллы. Деятельный член Беседы любителей русского слова, писал главным образом стихотворения в слащаво-патриотическом духе, которые были изданы им самим под заглавием «Часы свободы в молодости» (2 части, СПб., 1831. Во 2-ю часть вошли «Письма схимника», изданные отдельно в 1813 г.). В 1834 г. Львов издал «Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные».

Маздорф Александр Карлович (ум. 1820) — баснописец, член Общества любителей словесности, наук и художеств и Вольного общества любителей российской словесности. Сотрудничал в петербургских и московских журналах. См. заметку А. Е. Измайлова о Маздорфе в «Благонамеренном» (1820, ч. 9, № 4, стр. 283—284).

Майков Василий Иванович (1728—1778; у Бестужева дата рождения ошибочно: 1725) — поэт и драматург, автор известной шуточной поэмы «Елисей, или Раздраженный Вакх». Давая отрицательную оценку Майкову, Бестужев апеллировал к нормам «образованного вкуса», т. е. светского языка, противореча, таким образом, основным установкам своей статьи на народность литературы. На это противоречие очень тонко указал Пушкин в письме к Бестужеву от 13 июня 1823 г.: «...зачем хвалить холодного, однообразного Осипова, а обижать Майкова. — Елисей истинно смешон». И далее Пушкин приводит отрывки из поэмы Майкова, сопровождая их замечаниями: «Ничего не знаю забавнее...», «...всё это уморительно». Предлагая Бестужеву для следующей книжки ПЗ отрывок из «Братьев разбойников», Пушкин писал в том же письме: «...если отечественные звуки: харчевая, кнут, острог — не испугают нежных ушей читательниц Пол. зв., то напечатай его». Ироническое упоминание о «нежных ушах читательниц» снова метит в отзыв Бестужева о Майкове. (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 63—65).

Макаров Петр Иванович (1765—1804) — писатель, поклонник и подражатель Карамзина. Известность приобрел как издатель журнала «Московский Меркурий»,

основным отделом которого была критика. Макаров выступил против книги Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге», напечатал большую статью о И. И. Дмитриеве и другие.

Мансуров Александр Михайлович — воспитанник Московского благородного пансиона, плодовитый поэт, печатавший свои стихи в разных журналах и альманахах конца 10—начала 20-х годов. С 1818 г. состоял членом-сотрудником Общества любителей российской словесности при Московском университете. Даты и обстоятельства его жизни неизвестны.

Марин Сергей Никифорович (1775—1813) — преображенский офицер и посредственный поэт, мало писавший для печати. Принадлежал к дворянской оппозиции начала века. Был членом шишковской Беседы любителей русского слова, но по своим политическим взглядам и литературным вкусам был ближе к карамзинистам. «Замечательно и странно, — писал Вяземский, — что при такой наклонности к легким стихам он принадлежал не к новой школе, а к староязыческой школе Шишкова» (П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 8, СПб., 1883, стр. 115). Сатиры и шуточные стихотворения Марина, в которых, по словам Вигеля, «крепко доставалось и словесникам и светским людям» (Ф. Ф. Вигель. Записки, т. I. М., 1928, стр. 354), пользовались популярностью у современников. Особенно известна его пародия на оду из Иова Ломоносова, заключающая памфлет против Павла I.

Мартынов Иван Иванович (1771—1833) — известный знаток и переводчик греческих классиков, издатель журналов: «Муза» (1796 г.), «Северный вестник» (1804—1805 гг.), в котором был напечатан отрывок из «Путешествия» Радищева, и «Лицей» (1806 г.). В 1823—1828 гг. Мартыновым изданы 26 частей переводов греческих классиков.

Межаков Павел Александрович (1786—1860) — поэт и переводчик. Стихотворения его печатались в «Чтениях в Беседе любителей русского слова» (хотя он и не был сотрудником Беседы), «Благонамеренном» (1820 г.), «Славянине» (1827 г.) и «Памятнике отечественных муз» на 1827 и 1828 гг. В 1817 г. вышло первое собрание его стихотворений без имени автора — «Уединенный певец» (СПб.), второе, значительно дополненное — в 1828 г. «Стихотворения Павла Межакова» (СПб.).

Меньшенин Дмитрий Степанович (годы рождения и смерти неизвестны) — физик, горный инженер. Перевел и напечатал в журнале «Благонамеренный» (1820, ч. XI, № 14) статью Луи-Эме Мартэна «О разложении воздуха и о теории горения» из «Писем к Софии о физике, химии и естественной истории».

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — популярный профессор российской поэзии и красноречия в Московском университете, критик. Первый собиратель и издатель сочинений Радищева. В своей теории и литературной практике отстаивал принципы поэтики классицизма. Ратуя за внесение классического элемента в русскую литературу, Мерзляков переводил греческих и римских поэтов Первые опыты его переводов начали печататься в 1804 г. В 1807 г. издал «Эк-

логи Виргилия Марона». В 1808 г. в журнале «Утренняя заря» (кн. 8) была напечатана упомянутая Бестужевым «Наука стихотворная» (перевод «Ars poetica» Горация). Вместе с тем на его литературной и отчасти педагогической деятельности сказывалось и воздействие школы Карамзина. Наряду с одами Мерзляков писал сентиментальные песни, в которые он вносил элементы народной поэзии. Мерзлякову принадлежит одна из первых попыток дать набросок истории русской литературы. 29 сентября 1811 г. на заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете он читал свою статью «Рассуждения о российской словесности в нынешнем ее состоянии». Следующей попыткой Мерзлякова дать обобщение явлениям русской литературы была его речь «О начале, ходе и успехах словесности», напечатанная в XIII части «Трудов» Московского общества любителей российской словесности. Статью отличает свойственное классицизму уважение к «правилам» языка и словесности. Некоторые суждения Мерзлякова, касающиеся причин замедленного развития русской литературы, представляют общий интерес и во многом созвучны отдельным высказываниям Бестужева: «Богатство, почесть охлаждают ревность к трудам, литература становится прихотью». «Высший класс ставит учение ниже своего сана». Приведенные места его речи непосредственно примыкают к критике светского общества в статьях Бестужева. Упомянутое Бестужевым «Краткое начертание теории изящной словесности» Мерзлякова (у Бестужева названо не точно, см. стр. 267 наст. изд.) в течение многих лет было незаменимым руководством для студентов.

Метакса Егор Павлович (годы рождения и смерти неизвестны) — военный моряк, переводчик.

Мефодий (ум. 885) — славянский просветитель, проповедник христианства.

Милонов Михаил Васильевич (1792—1821) — поэт, воспитанник Московского благородного пансиона, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В 1819 г. были изданы его «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения». По заданию Общества соревнователей просвещения рецензию на это издание писал Плетнев (Соревнователь просвещения и благотворения, 1822, ч. 17, стр. 33—54). В особую заслугу Милонову Плетнев, так же как и Бестужев, ставил его сатирические оды, которые «рождаются от благородного негодования и вооружают мстительным пером». Высокую оценку поэзии Милонова дал П. А. Вяземский: «Стихотворец был он замечательный, особенно в сатирическом роде. ... Фактура стиха его была всегда правильна и художественна, язык всегда изящный» (П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 8. СПб., 1883, стр. 345).

Мольер Жан-Батист (1622—1673) — знаменитый французский драматург. Наряду с серьезными «большими» обличительными комедиями Мольер писал фарсы, комедии-балеты и пасторали для парадных придворных спектаклей. Эти фарсы и пасторали и имел в виду Бестужев, когда писал, что «Мольер из платы смешил толпу» (стр. 490 наст. изд).

Муравьев Михаил Никитич (1757—1807) — писатель, отец декабристов Никиты и Александра Муравьевых, один из образованнейших людей своего вре-

мени (писал стихотворения, басни, нравоучительные повести и статьи по педагогическим вопросам). В 1785 г. состоял наставником при вел. кн. Александре и Константине, с 1803 по 1807 г. был товарищем министра народного просвещения и попечителем Московского учебного округа. Был близок кружку писателей, группировавшихся вокруг Н. И. Новикова. В 1805—1807 гг. издавал научный журнал «Московские ученые ведомости». Полное собрание сочинений Муравьева в стихах и прозе вышло в 1819—1820 гг. в Петербурге. В издании его принимали ближайшее участие Батюшков, Жуковский и Карамзин.

Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1768—1851) — отец трех декабристов, С. И., И. И., М. И. Муравьевых-Апостолов, дипломат и писатель, глубоко и разносторонне образованный человек, член Российской Академии и Беседы любителей русского слова. Пользовался репутацией либерального человека, выступающего против Аракчеева; декабристы намечали его вместе со Сперанским и Мордвиновым в состав Временного правительства. И. М. Муравьев-Апостол придавал огромное значение воспитанию своих сыновей, стремясь сделать из них истинных патриотов. В 1812 г. в письме к Державину он писал: «Выращу детей, достойных быть русскими, достойных умереть за Россию» (Г. Р. Державин, Соч., т. 6. СПб., 1871, стр. 297). В 1813—1814 гг. в «Сыне отечества» были напечатаны «Письма из Москвы в Нижний Новгород» Муравьева-Апостола. Резкая критика галломании и защита самобытности русской культуры сочетались в них с враждебным отношением к французской революции. В 1823 г. было издано «Путешествие по Тавриде» Муравьева-Апостола. Отрывок из этого «любопытного и занимательного», по выражению П. А. Вяземского, «Путешествия» со сведениями о бахчисарайском дворце и преданием о Потоцкой был, по просьбе Пушкина, приложен Вяземским к изданию «Бахчисарайского фонтана» (СПб., 1824).

Нарежный Василий Трофимович (1780—1825) — один из первых писателей-разночинцев, автор сатирических социально-бытовых, а также исторических романов и повестей из украинской и русской жизни, один из зачинателей русской реалистической прозы. Бестужев в своем первом обзоре (стр. 28 наст. изд.) отмечает «два романа» Нарежного, т. е. изданные до 1823 г. романы: «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (части 1—3, 1814; части 4—6 были запрещены цензурой) и «Аристион, или Перевоспитание» (1822). В третьем обзоре Бестужев упоминает «Славенские вечера» — повести в духе Оссиана на русские полуисторические, полулегендарные сюжеты, предшествующие по тематике и тону «Думам» Рылеева. Первая книга «Славенских вечеров» была издана в 1809 г., вторая вышла в 1824 г., и ее-то имеет в виду Бестужев в своем обзоре (стр. 493 наст. изд.), говоря о новых «повестях» Нарежного.

Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1828; у Бестужева год рождения ошибочно: 1751) — поэт, статс-секретарь Павла I, сенатор. Особой популярностью пользовались его любовные «песни», написанные лег-

ким языком, чаще всего стилизованные под народные песни. Некоторые из них (например, «Выду ль я на реченьку») вошли в народный песенный обиход.

Нестор (годы рождения и смерти неизвестны) — выдающийся русский писатель XI—начала XII в., монах Киево-Печерского монастыря, бывшего одним из центров древнерусской культуры. Большинство историков считает его автором летописи «Повесть временных лет».

Нечаев Степан Дмитриевич — см. стр. 920 наст. изд.

Норов Абрам Сергеевич — см. стр. 920 наст. изд.

Овидий Назон Публий (43 до н. э.—17 н. э.) — древнеримский поэт.

Одоевский Владимир Федорович, князь (1803—1869) — двоюродный брат декабриста А. И. Одоевского, литератор и музыкальный критик, виднейший представитель философского романтизма в русской литературе 30—40-х годов. В 1824—1825 гг. вместе с В. К. Кюхельбекером выпустил альманах «Мнемозину» в четырех частях, где поместил несколько рассказов и апологов моралистического, а частью и аллегорического содержания, статьи, популяризирующие идеалистическую философию, греческую и немецкую, критические статьи, в которых резко полемизировал с Воейковым и Булгариным, и пр. Бестужев в третьем своем обзоре, говоря о «Мнемозине», отметил «ум и начитанность» Одоевского, но вместе с тем его «диктаторский тон и опрометчивость в суждениях», и этот отзыв, выражающий общее отрицательное отношение Бестужева к умозрительной философии и отвлеченному морализированию, довольно точно определяет характер юношеских статей Одоевского.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816; у Бестужева год рождения ошибочно: 1770) — драматург, который ввел в русскую классицистическую трагедию элементы сентиментализма. Во времена Бестужева все три упомянутые им трагедии Озерова шли на сцене. Первая из них — «Эдип в Афинах» — была впервые поставлена 23 ноября 1804 г. Она принесла Озерову славу и долго не сходила со сцены. Через год была поставлена вторая трагедия — «Фингал» (8 декабря 1805 г.), сюжет которой заимствован из Оссиана. Вершиной славы Озерова была патриотическая трагедия «Дмитрий Донской» (впервые поставленная 14 января 1807 г.), где более всего чувствуется сентиментальный характер трактовки героев (Димитрия и Ксении). Современники приняли трагедию восторженно. Однако многие считали, как и Бестужев, что «характер героя унижен». Даже такой поклонник Озерова, как Вяземский, писал, что Озеров, «увлеченный романтическим воображением ... занес преступную руку на самый исторический характер Димитрия и унизил героя, чтобы возвысить любовника». В этой двойственности образа Димитрия было зерно нового психологического подхода к раскрытию характера, той «истинной выразительности характеров», о которой упоминает Бестужев. Пушкин, наметивший новые пути русской драмы, не разделял отношения Бестужева и Вяземского к Озерову. В заметках на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» он писал: «Озеров —

очень посредственный <писатель>. Озеров сделал шаг вперед в слоге, но Искусство чуть ли не отступило» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 215).

Олин Валериан Николаевич — см. стр. 921 наст. изд.

Ольдекоп Евстафий Иванович (1787—1845) — поэт, переводчик, издатель немецкого журнала в Петербурге (см. стр. 978 наст. изд.).

Осипов Николай Петрович (1761—1799) — автор бурлескного переложения «Энеиды» Вергилия: «Энеида, вывороченная наизнанку» (1791) и такого же переложения «Овидиевых любовных творений, переработанных в энеевском вкусе» (1803). Осипов «перелицевал» только восемь песен поэмы Вергилия. Окончание переделки принадлежит А. Котельницкому, а полное издание, в 6 частях, относится к 1801—1808 гг. Пушкин в письме к Бестужеву от 13 июня 1823 г. упрекнул его за доброжелательный отзыв об Осипове в ПЗ (см. отрывок из письма Пушкина на стр. 952 наст. изд.).

Оссиан — древнешотландский бард, живший, по преданию, в III в. н. э., которому шотландский поэт Джемс Макферсон (1736—1796) приписал изданные им записи народных песен.

Остолопов Николай Федорович — см. стр. 921 наст. изд.

Панаев Владимир Иванович — см. стр. 921 наст. изд.

Парни Эварист-Дезире (1753—1814) — французский поэт, популярный в России как автор эротических элегий в мифологическом духе, так и антирелигиозных сатир, в которых он был подражателем Вольтера.

Перовский Василий Алексеевич (1795—1857) — оренбургский генерал-губернатор, член Государственного совета, в молодости член Союза благоденствия; один из ближайших друзей Жуковского, был в приятельских отношениях с Пушкиным. В 1823 г. на два года уехал в Италию. Часть его писем из Италии Жуковский без его ведома напечатал без подписи в альманахе «Северные цветы» на 1825 и на 1827 гг. К публикации в «Северных цветах» на 1825 г. Дельвиг сделал примечание: «Письма сии писаны не для публики, без всякого старания, плана и таким человеком, который не только никогда не думал быть русским автором, но более привык писать по-французски, нежели по-русски. Но они написаны так умно и таким приятным слогом, что мы решились напечатать некоторые их отрывки, и уверены, что читатели наши поблагодарят нас за доставленное им удовольствие» (Северные цветы на 1825 г., СПб., 1825, стр. 172). Бестужев отметил «Отрывки писем из Италии» в числе лучших произведений альманаха Дельвига (см. стр. 497 наст. изд.).

Петров Василий Петрович (1736—1799) — поэт, автор торжественных од, прославлявших монархию, героев-полководцев и государственных деятелей своего времени (Орлова-Чесменского, Потемкина, Румянцева, Мордвинова). Оды Петрова написаны усложненным, напряженно-приподнятым языком. Пушкин пародировал стиль Петрова в оде «Его сиятельству графу Хвостову» (1825).

Пиндар (ок. 522—ок. 488 до н. э.) — древнегреческий поэт.

Писарев Александр Иванович (1803—1828) — воспитанник Московского благородного пансиона, член Общества любителей российской словесности, известный водевилист, автор многих эпиграмм и сатир, большей частью оставшихся ненапечатанными. Писарев принадлежал к «литературным староверам», или «классикам», и вместе с М. А. Дмитриевым выступал против Вяземского в полемике вокруг «Бахчисарайского фонтана» (о полемике см. стр. 970 наст. изд.). Водевили Писарева, полные сатирических намеков на различные явления общественной жизни, пользовались большим успехом у современников. Вяземский писал, что московская сцена «только и жила» водевилями Писарева (Русский архив, 1874, кн. 1, стр. 541). Упомянутая Бестужевым (стр. 270 наст. изд.) комедия Писарева «Лукавин» является переделкой «Школы злословия» Шеридана. «Лукавин» был поставлен на сцене 23 октября 1823 г. (см. письмо Ф. Ф. Кокошкина к М. Е. Лобанову от 23 октября 1823 г. — Лит. портфели, кн. 1, «Атеней», Пб., 1923, стр. 47). Прочитав отзыв Бестужева о «Лукавине», Вяземский писал Бестужеву: «В сценах Лукавина мало дарования, воля ваша!» (Русская старина, 1888, № 11, стр. 323). Бестужев в письме от 28 января 1824 г. согласился с Вяземским: «В „Лукавине" я виноват без всякого лукавства. Писарева стоило бы отделать путем за его *шашни:* переводит пьесу с скверного французского перевода, выпускает лучшие сцены и смеет еще „Школу злословия" выдать за свое сочинение! Это чересчур по-гостинодворски» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1. АН СССР, М., 1956, стр. 212).

Плетнев Петр Александрович — см стр. 922 наст. изд.

Пнин Иван Петрович (1773—1805) — поэт и публицист, ученик и последователь Радищева. Активный член, а затем, незадолго до смерти, президент Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, объединявшего «радищевцев». В своих публицистических произведениях и гражданских стихах Пнин пламенно выступал против крепостничества, выдвигал просветительские идеи «общего блага», рисовал образ поэта-гражданина, погибающего за счастье людей. Этот образ потом прочно вошел в декабристскую поэзию. Не имея возможности упомянуть о Радищеве по цензурным условиям, Бестужев дал высокую оценку его последователю, подчеркнув «гражданственное» содержание его творчества.

Подшивалов Василий Сергеевич (1765—1813) — сын отставного солдата, подражатель Карамзина. В 1808 г. в Москве была издана книга Подшивалова по теории литературы: «Русская просодия, или правила, как писать стихи, с краткими замечаниями о разных родах стихотворений». Преподавал в Московском благородном пансионе. Сотрудничал в периодических изданиях Новикова, затем в «Московском журнале» Карамзина. С 1790 г. издавал в переводе с немецкого языка «Политический журнал, издаваемый в Гамбурге Обществом ученых людей», в 1792—1793 гг. редактировал «Чтения для вкуса, разума и чувствований», в 1794—1799 гг. — «Приятное и полезное препровождение времени». Белинский

назвал Подшивалова «хорошим прозаиком» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, АН СССР, 1955, стр. 129).

Покровский Иван Гаврилович (1780—1863) — поэт и переводчик, с 1819 г. член-сотрудник (впоследствии почетный член) Вольного общества любителей российской словесности. Переводы Покровского из Гюго, Шиллера и других печатались в «Соревнователе просвещения и благотворения», «Сыне отечества» и в других изданиях.

Полевой Николай Алексеевич — см. стр. 972 наст. изд.

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт, представитель просветительского классицизма, автор теоретического сочинения «Опыт о критике» (1711). В дидактической поэме «Опыт о человеке» (4 выпуска, 1733—1734) изложил свои философские, эстетические и политические взгляды, выступая последователем философии Г. В. Лейбница.

Поповский Николай Никитич (1730—1760) — русский просветитель, профессор философии и красноречия Московского университета, писатель и переводчик, ученик и соратник М. В. Ломоносова. Своей научной и общественной деятельностью сыграл значительную роль в первый период существования Московского университета; принимал непосредственное участие в создании первой московской газеты «Московские ведомости». Много писал в стихах и прозе; произведения его посмертно печатались в «Живописце» Новикова, «Полезных увеселениях» Хераскова и др. Переводил Локка, Горация. Современники особенно ценили его перевод философской поэмы английского поэта А. Попа «Опыт о человеке» (1751—1753 гг.).

Прокопович Феофан (1661—1736) — выдающийся общественный деятель, ученый, драматург и поэт, один из образованнейших людей своего времени. Сподвижник Петра I в борьбе с реакционным духовенством. Принимал деятельное участие в организации Академии наук, после смерти Петра возглавлял «ученую дружину» писателей (А. Д. Кантемир, В. Н. Татищев и др.), отстаивавших петровские реформы.

Пушкин Александр Сергеевич — см. стр. 922 наст. изд.

Пушкин Василий Львович — см. стр. 925 наст. изд.

Раич Семен Егорович — см. стр. 925 наст. изд.

Расин Жан (1639—1699) — французский поэт и драматург.

Раффенель Клод-Дени (1797—1827) — французский писатель.

Родзянко Аркадий Гаврилович — см. стр. 926 наст. изд.

Ростопчин Федор Васильевич, граф (1763—1826) — генерал-адъютант, военный губернатор и московский главнокомандующий в 1812—1814 гг., реакционер и крепостник, вождь реакционно-националистического дворянства начала XIX в. Во время Отечественной войны выпускал патриотические афиши или объявления, написанные «простонародным» языком, в которых призывал дворян и купцов к пожертвованию, восхвалял «простые русские добродетели», опровергал слухи об успехах неприятеля. В 1823 г. в Париже издал «Правду о Московском пожаре»

(«La vérité sur l'incendie de Moscou»; в русском переводе издана в Петербурге в 1827 г.), в которой отрицал приписываемое ему современниками сожжение Москвы.

Ротру Жан де (1609—1650) — французский драматург (см. о нем стр. 945—946 наст. изд.).

Румянцев Николай Петрович, граф (1754—1826) — государственный деятель и дипломат. Собиратель русских древностей, летописей, грамот и книг. Его богатейшее книжное собрание послужило основанием знаменитой Румянцевской библиотеки (теперь Гос. Библиотека СССР им. В. И. Ленина). В 1817 г. на средства Румянцева при участии П. М. Строева была организована экспедиция для сбора исторических документов в архивах Москвы и монастырей Московской и Новгородской губерний. Поддержкой Румянцева пользовались многие из современных ему ученых: Бантыш-Каменский, Строев, Калайдович, Кеппен и др.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — знаменитый французский просветитель, определивший во многом направление сентиментализма на Западе и в России. Политические взгляды Руссо, проповедовавшего в своем «Общественном договоре» народовластие, оказали большое влияние на декабристов.

Рылеев Кондратий Федорович — см. стр. 926 наст. изд.

Салтыков Михаил Александрович (1767—1851) — недолгий фаворит Екатерины II, в 1812—1819 гг. попечитель Казанского учебного округа, с 1828 г. — сенатор. Почетный член Арзамаса. Один из старейших членов Вольного общества любителей российской словесности (с 5 сентября 1816 г.) и его первый президент. Фактическое руководство обществом осуществлял не Салтыков, а его помощник (вице-президент) Ф. Н. Глинка. Сам Салтыков делами общества занимался мало и собраний почти не посещал. Литературные занятия Салтыкова носили дилетантский характер. Он писал стихи, песни, комедии, переводил с французского, но ничего не печатал.

Свиньин Павел Петрович (1787—1839) — поэт, романист, историк, автор описаний путешествий, издатель журнала «Отечественные записки» (1818—1830; см. стр. 973 наст. изд.). По литературным взглядам Свиньин примыкал к сторонникам Шишкова, по своим политическим взглядам был консерватором, стоявшим на позициях официального патриотизма. Статьи и корреспонденции Свиньина об Америке («Наблюдения русского в Америке», «Взгляд на республику Соединенных Американских областей») печатались в «Сыне отечества» (1814 г.), а в 1815 г. вышли отдельным изданием под названием «Опыт живописного путешествия по Северной Америке». В описании этого и других своих путешествий Свиньин сильно преувеличивал, к правде примешивал вымыслы или, в лучшем случае, не умел разобраться критически в своем материале. Свиньин был осмеян А. Е. Измайловым в басне «Лгун» (напечатана в ПЗ на 1824 г.). Пушкин написал сказку «Маленький лжец», также направленную против Свиньина.

Сен Мор — Эмиль Дюпре де Сен-Мор (1772—1854) — французский писатель, переводчик и политический деятель, несколько раз бывал в России. В 1823 г.

издал в Париже «Русскую антологию с приложением восточных стихотворений» («L'Anthologie russe, suivie de poésies orientales»).

Сервантес Мигель-Сааведра (1547—1616) — великий испанский писатель. Его роман «Дон-Кихот» был известен в России в 20-е годы XIX в. в переводах с сокращенных или переработанных французских переводов.

Скотт Вальтер (1771—1832) — знаменитый английский романист.

Сомов Орест Михайлович — см. стр. 929 наст. изд.

Спасский Григорий Иванович (ум. 1864) — историк Сибири, издатель «Сибирского вестника» (см. стр. 977 наст. изд.).

Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель.

Строев Павел Михайлович (1796—1876) — историк и археограф, один из первых собирателей древнерусских рукописных памятников. Строеву принадлежит упомянутый Бестужевым (стр. 493 наст. изд.) перевод книги: «Жизнь Али-паши Янинского, со времени его детства до смерти, содержащая подробное и верное описание чрезвычайных его злодеяний и ужасного над порабощенными народами Греции тиранства; соч. Пукевиля; пер. с фр. Василий Озеров и Павел Строев» (3 части. М., 1822—1824). Автор книги — Пуквиль (1770—1832), писатель и путешественник, долго жил в Египте и на Балканах, с 1805 г. — генеральный консул при Али-Тебелене, паше Янинском (до 1815). Пуквилю принадлежат две книги об Али-Паше: «Mémoires sur la vie et la puissance d'Ali-Pacha, visir de Janina» (Paris, 1820, 50 стр.) и «Notice sur la fin tragique d'Ali-Tébélen, visir de Janina» (Paris, 1822, 16 стр.). Заглавие русского перевода подчеркивает политическое значение книги: притеснения греческого народа, борющегося за свое освобождение. Али-паша Тебеленский (род. ок. 1744—ум. 1822) — визирь Янины, феодальный правитель, зависимый от Турции, угнетатель греков и арнаутов (албанцев), боролся в то же время против султана, который направил против него войско, осадившее Янину. После 18-месячной осады Али-паша был схвачен, приговорен к смерти и казнен (5 февраля 1822 г.). Али-паша был известен по всей Европе и в России как один из самых типичных турецких феодалов и врагов освобождения Греции.

Судовщиков Николай Родионович (годы рождения и смерти неизвестны) — писатель конца XVIII—начала XIX в., автор многочисленных эпиграмм, имевших большой успех, и двух комедий. Комедия «Неслыханное диво, или Честный секретарь» была написана в конце 90-х годов XVIII в., но впервые напечатана только в 1802 г. Комедия обличала взяточничество чиновников и полицейских. Вот как передает историю комедии современник: «Рукопись сказанной пьесы с быстротою начала перелетать из рук в руки. Многие хотели видеть ее потом на сцене, самой императрице она нравилась; но тут были факты оскорбительные, и особливо для начальника полиции и, как говорили, тоже для председателя палаты. Пьеса была брошена, но достигла, однако ж, до великого князя Павла Петровича, который впоследствии не только позволил ее играть, но и напечатать, а Судовщиков очень скоро после того, при учреждении уделов, получил для себя

хорошее место» (М. Н. Макаров. Николай Родионович Судовщиков. — Репертуар и Пантеон, 1844, т. 8, стр. 158—159).

Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — известный писатель и драматург, один из основоположников русского классицизма, прославился своими баснями, сатирами и особенно трагедиями, за которые получил от современников прозвище «русского Расина».

Сумароков Панкратий Платонович (1765—1814) — журналист и сатирический поэт, последователь Карамзина, осмеявший стиль «пиндарщины» в своей «Оде в громко-нежно-нелепо-новом вкусе», внучатый племянник А. П. Сумарокова. Вяземский называет П. П. Сумарокова «удачным подражателем Богдановича в карикатурных изображениях» (П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 8, стр. 3). Из-за невинной проделки был обвинен в подделке сторублевой ассигнации и в 1786 г. сослан бессрочно в Тобольск с лишением дворянского звания. В ссылке пробыл 15 лет. В 1807 г. были изданы его «Сочинения и переводы», куда вошла поэма «Амур, лишенный зрения» (Бестужев называет эту поэму «Слепой Эрот», см. стр. 18 наст. изд.).

Сухоруков Василий Дмитриевич (1795—1841) — сотник лейб-гвардии Казачьего полка, состоял при председателе Комитета об устройстве войска Донского гр. А. И. Чернышеве и собирал исторические материалы для истории войска. Рылеев показывал на следствии, что они с А. Бестужевым открыли Сухорукову существование Тайного общества и собирались принять его в члены. Сухоруков отказался от вступления в общество, сказав Рылееву, что «полагает это невозможным делом по настоящей умонаклонности» (Лит. наследство, т. 59, АН СССР, М.—Л., 1954, стр. 199). В 1824 г. вместе с А. О. Корниловичем издал альманах «Русская старина» (см. стр. 974 наст. изд.). После 14 декабря Чернышев требовал ареста Сухорукова, но за отсутствием улик Сухоруков к следствию не привлекался, тем не менее он был исключен из гвардии и переведен на Дон, а позднее — в Кавказскую армию, где состоял под «бдительным тайным надзором». При этом у него были отняты все собранные им в архивах исторические материалы. Пушкин, познакомившись с Сухоруковым на Кавказе в 1829 г. (об этой встрече он упомянул в «Путешествии в Арзрум»), в 1831 г. подал в III отделение записку с просьбой возвратить Сухорукову материалы по истории донских казаков, труд, по мнению Пушкина, «важный не только для России, но и для всего ученого света» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 5, М., Гослитиздат, 1950, стр. 574). Просьба Пушкина была оставлена без внимания.

Сушков Николай Васильевич (1796—1871) — поэт, сотрудничал в «Сыне отечества», «Благонамеренном» и других журналах. Имя Сушкова было для современников синонимом бездарного писателя. В 1821 г. Бестужев напечатал резко отрицательную рецензию на перевод «Метромании» Пирона, сделанный Сушковым. Упомянутая Бестужевым лирическая трагедия Сушкова «Сафо» была напечатана отдельным изданием в 1824 г. О Сафо см. стр. 901 наст. изд.

Тассо Торквато — см. стр. 891 наст. изд.

Тимковский Егор Федорович (1790—1875) — писатель, был начальником отделения в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел; в 1820 г. сопровождал в Пекин духовную миссию. Результатом этой поездки была его книга «Путешествие в Китай через Монголию в 1821 и 1822 годах» (3 части, СПб., 1824), в которой описывается караванный путь от Кяхты до Пекина, даются сведения о Китае, Тибете, Корее и Монголии. К книге приложена карта пройденного пути и несколько планов и рисунков. «Путешествие» вскоре было переведено на французский, немецкий и английский языки и на много лет стало настольной книгой для всех, изучающих Китай.

Тимковский Роман Федорович (1785—1820) — профессор Московского университета, знаток классической филологии и древнерусских памятников, член Общества истории и древностей российских. Издал летопись Нестора по Лаврентьевскому списку.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769) — поэт, переводчик и теоретик литературы. Одновременно с Кантемиром был зачинателем новой русской литературы и предшественником Ломоносова в разработке силлабо-тонической системы стихосложения. Издал поэму «Телемахида», переложение гекзаметрами романа Фенелона «Похождения Телемака». Поэма. написанная тяжелым языком, вызывала насмешки современников и потомков, особенно в кругах карамзинистов. На заслуги Тредиаковского перед русской литературой впервые указал Радищев. В оценке Бестужева сказалось традиционное пренебрежение к автору «Телемахиды».

Туманский Василий Иванович — см. стр. 930 наст. изд.

Федоров Борис Михайлович (1794—1875) — бездарный поэт и драматург, член Вольного общества любителей российской словесности, стоявший во главе его правого крыла или «партии положительного безвкусия», по определению Бестужева. Бестужев в письме к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г. называл Федорова литературным «furпоползнем», «словесным вором» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 204). Меткая характеристика Федорова содержится в четверостишии, переделанном из эпиграммы Дельвига и распространявшемся в списках:

Федорова Борьки
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
А доносы гадки.

Туманский в письме к Бестужеву просит: «Пожалуйста, всплюнь, встречаясь с Федоровым» (письмо от 18 сентября 1823 г. — Русская старина, 1888, № 11, стр. 320). Упомянутая Бестужевым комедия Федорова «Ротмистр Громилов» не встретила одобрения и у противников декабристской группировки в Вольном обществе. Член общества А. Ф. Рихтер в одном из писем к А. Е. Измайлову писал: «...сия комедия не принадлежит ли к тем произведениям, которые подобно известным насекомым поутру рождаются, весь день прошумят, а ве-

чером умирают» (письмо от 26 августа 1824 г. — Киевская старина, 1899, т. 3, стр. 300).

Филимонов Владимир Сергеевич — см. стр. 932 наст. изд.

Фонвизин Денис Иванович (1745—1792). Декабристы считали Фонвизина одним из наиболее оригинальных и значительных русских писателей. Особенно привлекал их обличительный характер его творчества.

Хвостов Дмитрий Иванович — см. стр 932 наст. изд.

Хемницер Иван Иванович (1745—1784; у Бестужева год рождения ошибочно: 1744) — баснописец, наиболее выдающийся из предшественников Крылова в басенном жанре, друг Капниста и Державина. При жизни Хемницера было издано два сборника его басен (в 1779 г. и 1782 г.). Первое посмертное издание вышло в 1799 г. Издание подготавливал Капнист. В баснях, не изданных при жизни Хемницера, он произвел многочисленные переделки как стилистические, так и смысловые, смягчавшие или зашифровывающие политический смысл басен. Очевидно, эти переделки и имел в виду Бестужев, когда писал, что «гениальной небрежности Хемницера» «не должно в нем исправлять».

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — поэт, драматург и романист. один из родоначальников сентиментализма. Черты сентиментализма развивались у Хераскова параллельно классицистической поэтике. Современники ценили Хераскова как создателя «Россияды» (1779) — национальной героической эпопеи. Упомянутая Бестужевым поэма «Владимир» (1-е изд. 1785 г. и 2-е изд. 1797 г. с дополнениями) является опытом психологической поэмы и отражает масонские искания Хераскова. Во времена Бестужева творчество Хераскова совершенно устарело и утратило значение. Пушкин в письме к Бестужеву от конца мая— начала июня 1825 г. отмечал, что Херасков «упал в общем мнении» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 178).

Хмельницкий Николай Иванович (1791—1845) — драматург, переводчик Мольера. Его комедии и водевили, в большинстве заимствованные из французского репертуара, пользовались постоянным успехом у публики. Высоко ценил мастерство Хмельницкого Пушкин. В письме к брату в начале апреля 1825 г. он писал: «Хмельницкий моя старинная любовница. Я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ую песнь Онегина» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 175). Комедия «Говорун» Хмельницкого является переделкой комедии Буасси «Le babillard» (1725); она была поставлена на сцене 7 мая 1817 г. «Воздушные замки» — комедия в одном действии, также переделанная из пятиактной пьесы Коллена д'Арлевилля «Les châteaux en Espagne» (1789), первый раз шла в театре 29 июля 1818 г. Комедия «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе», отрывок из которой был напечатан в альманахе «Русская Талия» на 1825 г., переделана из комедии Детуша «L'irrésolu» и поставлена на сцене 26 июля 1820 г.; по словам П. Арапова, «долго держалась на репертуаре» (П. Арапов. Летопись русского театра. М., 1861, стр. 288—289).

Цертелев Николай Андреевич, князь (1790—1869) — поэт, собиратель русской и украинской народной поэзии, член Вольного общества любителей российской словесности, возглавлявший правое, консервативное крыло общества. В письме к П. А. Вяземскому от 23 мая 1823 г. Бестужев называет Цертелева «головой» «партии положительного безвкусия» в обществе и дает ему следующую характеристику: «Человек, как видно из его творений, ничтожный, с лубочным вкусом, а как заметно из его поступков и мнений, — способный на всякое низкое дело» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 205). Подробно о деятельности Цертелева в Вольном обществе и об отношении к нему декабристов см.: В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. Гослитиздат, М., 1953, стр. 203—212.

Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852) — бездарный поэт, слащавый сентименталист, эпигон Карамзина. В 1823—1833 гг. издавал «Дамский журнал», в 1813—1838 гг. был редактором «Московских ведомостей». Служил постоянным предметом насмешек и эпиграмм поэтов младшего поколения — Батюшкова, Вяземского и других, где изображался под именем Вздыхалова, «князя вралей» (в «Видении на берегах Леты» Батюшкова).

Шаплет де Самуил Самуилович (ум. 1834) — переводчик, ротный офицер в Кондукторской роте Главного инженерного училища. С 18 декабря 1822 г. член Вольного общества любителей российской словесности. Отрывки из его произведений читались на заседаниях общества, в частности из произведений, упомянутых Бестужевым во втором обзоре: «Лондонский пустынник, или Описание нравов и обычаев англичан в начале XIX столетия. Соч. Жуи» (3 части, М., 1822—1825) и «Добродушный, или Изображение парижских нравов XIX столетия» (Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. 23, стр. 109—122; 1824, ч. 24, стр. 105—120).

Шатров Николай Михайлович (1767—1841) — посредственный стихотворец, друг Д. И. Хвостова, член Беседы любителей русского слова и последователь А. С. Шишкова. Шатров упоминается в стихотворении П. А. Вяземского «Сравнение Петербурга с Москвой» как московский Хвостов (см. стр. 932 наст. изд.). Подражания псалмам Шатрова, в которых отразились патриотические настроения периода Отечественной войны 1812 г., печатались в различных периодических изданиях (полностью вошли в первые две части «Стихотворений Н. Шатрова», СПб., 1831).

Шаховской Александр Александрович — см. стр. 934 наст. изд.

Шекспир Вильям (1564—1616). Шекспир вместе с труппой давал спектакли в общедоступном театре, предназначенном для широкой публики, включая беднейшие слои народа, и участвовал в гастрольных поездках по провинции (ср. отзыв Бестужева на стр 490 наст. изд.).

Ширинский-Шихматов Сергей Александрович, князь (1783—1837) — поэт, член Российской Академии и Беседы любителей русского слова, ревностный последователь А. С. Шишкова, автор стихотворений мистического содержания

и поэм «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия» (1807) и «Петр Великий, лирическое песнопение в 8 песнях» (1810). Темный и напыщенный слог Шихматова, его реакционный мистицизм, пристрастие к библеизмам и отказ от глагольных рифм делали его предметом постоянных насмешек Батюшкова, Вяземского, Жуковского, Пушкина и других поэтов-арзамасцев. Пушкин определял Ширинского-Шихматова как «бездушного, холодного, надутого, скучного пустомелю» (письмо к В. К. Кюхельбекеру от 1—6 декабря 1825 г. — А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 248) и высмеял его в ряде эпиграмм.

Шихматов Сергей Александрович — см. Ширинский-Шихматов.

Шишков Александр Ардалионович (1799—1832) — поэт, драматург, прозаик и переводчик, племянник А. С. Шишкова, известный в русской литературе 20-х годов как Шишков 2-й. Приятель Пушкина и Кюхельбекера с лицейских лет. Тесно связан с декабристами. В исследовании М. И. Мальцева о Шишкове приводятся данные, позволяющие предположить принадлежность Шишкова к Южному тайному обществу (А. А. Шишков и декабристы. — Труды Томского университета, т. 112, 1950, стр. 311—361. Ср.: В. Шадури. Друг Пушкина А. А. Шишков и его роман о Грузии. Тбилиси, 1951). Шишков пользовался репутацией вольнодумца и часто подвергался правительственным репрессиям. В 1826 г. он был арестован по подозрению в принадлежности к тайному обществу, но освобожден за отсутствием улик. Многое из поэтического наследия Шишкова до нас не дошло. Его вольнолюбивые стихи распространялись в списках, и только незначительная часть их сохранилась в архивах, но даже прошедшие цензуру произведения проникнуты декабристскими идеями. В 1824 г. вышел упомянутый Бестужевым сборник стихов Шишкова «Восточная лютня». Отзывы рецензентов совпадали с мнением Бестужева. Н. Полевой в «Обозрении русской литературы в 1824 году», приветствуя появление сборника, пишет, что в ней видны «неслыханные подражания Пушкину и хорошие стихи» (Московский телеграф, 1825, ч. 1, № 1, стр. 86, прим.). Кюхельбекер в «Обозрении российской словесности 1824 года», говоря о «Восточной лютне», также называет Шишкова «подражателем Пушкина» (Лит. портфели, кн. 1, «Атеней», Пб., 1923, стр. 75).

Шишков Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, президент Российской Академии (1813—1841), министр народного просвещения и глава цензурного ведомства (1824—1828), поэт и переводчик, глава и знамя литературно-общественной реакции, основной противник карамзинистов и всей передовой литературы, основатель и вдохновитель реакционной Беседы любителей русского слова. Шишков стремился сохранить в литературном языке старославянскую основу, боролся против языковых и стилистических новшеств. Лингвистический консерватизм Шишкова был выражением его реакционности в политике, идеал неизменности языка являлся утверждением незыблемости существовавшего режима. Бестужев упоминает о книге Шишкова «Рассуждение о старом и новом

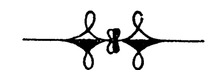
слоге российского языка» (1803), в которой были высказаны основные теоретические положения Шишкова, и о его речи «О древности и превосходстве русского языка перед другими в звукоподражательном и логическом отношениях», произнесенной 5 декабря 1820 г. на торжественном заседании Российской Академии. Бестужев, писавший от имени Вольного общества любителей российской словесности отчет об этом заседании Академии, вступил в спор с Шишковым. Основное возражение Бестужева вызвал тезис Шишкова о церковнославянском языке как единственном источнике русского литературного языка. Бестужев, осуждая Шишкова, утверждал принцип изменяемости языка и призывал писателей развивать его, обогащать и совершенствовать (Соревнователь просвещения и благотворения, 1821, ч. 13, кн. 2, стр. 305—311). Шишков написал возражение (там же, ч. 14, кн. 1, стр. 91—102), в котором опять выступил против принципа развития языка (подробнее о полемике Бестужева с Шишковым см. в кн.: В. Г. Базанов. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949, стр. 221—224). Полемизируя с Шишковым, Бестужев не отрицал значения старославянского языка как одного из источников современного русского языка. Бестужев приветствовал торжественные обороты церковнославянского языка и отдельные «звучные слова», соответствующие гражданственным, агитационным мотивам декабристской поэзии. Церковнославянский язык был для декабристов опорой в их борьбе с салонным языком карамзинистов, т. е., по выражению Бестужева, со «слезливыми полурусскими иеремиадами». Шишков писал стихи и повести для детей. Его «Собрание детских повестей» (2 части) вышло в Петербурге в 1806—1807 гг.

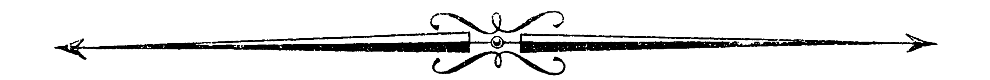
Эшембург Иоганн-Иоахим (1743—1820) — немецкий историк литературы, один из первых обратившийся к изучению памятников средневековой немецкой поэзии. Его учебники по литературе были широко распространены в свое время.

Языков Николай Михайлович — см. стр. 935 наст. изд.

Яковлев Павел Лукьянович (1796—1835) — брат лицейского товарища Пушкина М. Л. Яковлева, племянник А. Е. Измайлова, усердный сотрудник «Благонамеренного». Писал статьи, романы, а также фельетоны и пародии, направленные против карамзинистов и романтиков. Писательская манера Яковлева во многом близка А. Е. Измайлову, так что современники называли его «птенцом школы российского Теньера, № 1» (см.: И. А. Кубасов. Павел Лукьянович Яковлев. — Русская старина, 1903, № 6, стр. 633). Вместе с А. Измайловым издавал альманах «Календарь муз» на 1826 и 1827 гг. В первой книжке альманаха напечатал заметку «О новейших словах и выражениях, изобретенных российскими поэтами в 1825 году», — своеобразный отклик на критическую статью Бестужева в третьей книжке ПЗ. Заметка написана как пояснение к отдельным словам и выражениям из обзора Бестужева, из «Горя от ума» и из обзора Плетнева в альманахе «Северные цветы» на 1825 г., которые якобы не могут быть понятны «бедным читателям». «Толкованию» подлежат в первую очередь те места в статье Бестужева, которыми выражена политическая позиция

издателей: «безлюдье сильных характеров», «прозаический быт», «мыслить ощупью», «лоно мощного свежего языка перед ним расступается». У Бестужева — это гневная, обличительная характеристика современной российской действительности, которая сковывает всякое стремление к деятельности, всякое движение вперед. Яковлев снижает общественное значение формулировок Бестужева, изображает их как бессмыслицу. Вот как, например, поясняет он «прозаический быт»: «Поэтический быт — там, там за синим Океаном, в облаках, в седьмом небе. Прозаический быт — на земле! Может быть, однако, что изобретатель разумеет под словами: *Прозаический быт* совсем другое; может быть, он сам *не разгадал* еще новоизобретенного выражения... Тем лучше для подражателей! Чем непонятнее выражение, тем блистательнее оно в элегии и послании» (стр. 11—12). О политическом лице Яковлева можно также судить и по письмам к нему А. Е. Измайлова о декабрьском восстании (см.: Памяти декабристов, вып. I. Л., 1926, стр. 238—248). Возмущение, испуг и негодование Измайлова, ненависть его к участникам восстания безусловно находили отклик у его племянника.





III. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И АЛЬМАНАХИ, УПОМИНАЕМЫЕ В СТАТЬЯХ БЕСТУЖЕВА

Библиографические листы. Материалы для истории просвещения в России — журнал, издававшийся в Петербурге в 1825—1826 гг. географом, статистиком и этнографом Петром Ивановичем Кеппеном. В журнале была хорошо поставлена библиографическая регистрация, наибольшее внимание уделялось сообщениям о выдающихся произведениях славяно-русской и славянской филологии. В № 13 «Библиографических листов» Кеппен поместил библиографическое описание ПЗ вместе с коротенькой справкой, в которой отдается дань «вкусу и дарованиям гг. издателей», а ПЗ называется родоначальницей русских альманахов. Здесь же сообщается об издании Зв. — «обещанном прибавлении» к ПЗ.

Благонамеренный — журнал, издававшийся в Петербурге с 1818 по 1826 г. А. Е. Измайловым (см. стр. 913 наст. изд.). Орган Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Созданное в начале века как объединение «радищевцев», общество к моменту издания «Благонамеренного» превратилось в архаическое объединение третьеразрядных литераторов, которые наводняли страницы «Благонамеренного» стихотворными безделушками, бесчисленными шарадами, логогрифами, эпитафиями, акростихами и т. д. Политическое направление журнала определялось его названием. Сотрудники «Благонамеренного» (Б. Федоров, В. Каразин и др.) вели активную борьбу с декабристской литературой. Эта борьба сказалась и в отзывах на ПЗ (см. о них стр. 913—914 наст. изд.).

Вестник Европы — московский журнал, издававшийся в 1802—1830 гг. Основан Н. М. Карамзиным. В разные годы его издавали П. П. Сумароков, М. Т. Каченовский, В. А. Жуковский, В. В. Измайлов и с 1815 г. до конца — опять Каченовский (см. о нем стр. 948 наст. изд.). Постоянные смены редакторов отражались на направлении журнала. Боевой тон Карамзина исчезает из журнала с его уходом, под редакцией Каченовского журнал становится «академическим» изданием, стремящимся беспристрастно относиться к борющимся литературным группировкам, в действительности же постепенно переходящим на всё более и более реакционные позиции. В последнее пятилетие перед декабрьским восстанием журнал неизменно сохранял консервативное направление, враж-

дебное по отношению к передовым литературным группировкам. Враждебно встретил журнал и появление ПЗ. На выход первой книжки альманаха журнал отозвался двумя статьями, причем одна из них была специально посвящена обзору Бестужева (см. «Библиографию», №№ 1, 2). Рецензент бестужевского обзора принадлежал к противникам «новой школы». По его мнению, Баратынский не заслужил высокой оценки, данной ему Бестужевым; он возмущался тем, что в обзоре не упомянуты «классики» — Муравьев-Апостол, Голенищев-Кутузов, Сергей Глинка. «Неужели они, — спрашивал он, — заслуживают менее уважения, нежели слепец-поэт Козлов, напечатавший в журнале две или три песни, Н. Кутузов с пышным своим слогом, Кюхельбекер с летучим воображением и мечтательностью, Яковлев в роде Жуи». Еще более злобно откликнулся «Вестник Европы» на выход второй книжки альманаха. Издатель журнала Каченовский острил за счет разницы между «Полярной звездой неба» и «Полярной звездой карманов», желчно писал об «уродливых исчадиях романтической псевдо-музы», о «выдохлых повестях», а статью Бестужева иронически назвал «перечневой ведомостью о достопамятных явлениях литературы 1823 года» (см. «Библиографию», № 28). Отношение журнала к ПЗ не изменилось и в следующем году. На этот раз об альманахе упомянуто только в пасквильной статье М. Дмитриева о «Горе от ума» (см. «Библиографию», № 49). «Несмотря на многочисленность поэтов, которых дарования Полярная звезда ежегодно обличает в своих *табелях о рангах*, бедность нашей словесности очевидна», — писал рецензент. Колкие злобные выпады против ПЗ и снисходительные упоминания о достоинствах комедии Грибоедова, которая всё же «недостойна чрезмерных похвал одной половины литераторов» как нельзя лучше характеризуют направление журнала. Тот же Дмитриев выступил на страницах «Вестника Европы» противником Вяземского в полемике о классицизме и романтизме в связи с предисловием Вяземского к изданию «Бахчисарайского фонтана» Пушкина (М., 1824). Бестужев пишет об этой полемике в третьем обзоре (см. стр. 498 наст. изд.). Свое отношение к полемике между Вяземским и М. Дмитриевым Бестужев выразил также в письме к Вяземскому от 7 мая 1824 г.: «Бой Ваш с классиками много занимал меня, ответы Ваши радовали, но скажу правду — эти животные не стоили ответа; им правда и ум, как к стене горох» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 218).

Журнал г. Ольдекопа — см. «St.-Petersbourgische Zeitschrift».

Журнал Общества соревнователей просвещения и благотворения — см. «Соревнователь просвещения и благотворения».

Дамский журнал издавался П. И. Шаликовым (см. стр. 965 наст. изд.) в 1823—1833 гг. Журнал отличался пошлой слащавостью и постоянно был вместе со своим издателем мишенью для всякого рода насмешек, пародий и эпиграмм. «Дамский журнал» помещал в каждом номере картинки мод, отсюда и ироническое название «Модный журнал».

Журнал изящных искусств издавался в 1823—1825 гг. в Петербурге Василием Ивановичем Григоровичем. В журнале печатались статьи по теории, истории и современному состоянию живописи. Отзыв о журнале помещен в «Лит. листках» (1827, № 11—12).

Инвалид — см. «Русский инвалид».

Мнемозина. Собрание сочинений в стихах и прозе — альманах, издававшийся В. К. Кюхельбекером и В. Ф. Одоевским. По своему составу да и по форме (большой формат и деление на части, выходившие в разное время) «Мнемозина» являлась журналом, нося название альманаха для того, чтобы обойти правительственный запрет издавать новые журналы. В идейной и литературной программе «Мнемозины» сказалось различие в позициях редакторов альманаха В. Кюхельбекера и Вл. Одоевского. С одной стороны, «Мнемозина» выступала в защиту «истинного романтизма», т. е. национальной самобытной литературы, в защиту народности, с другой — пропагандировала идеи немецкой идеалистической философии (Кант, Шеллинг, Окен). Проповедь национальной самобытности литературы и высокой гражданской поэзии сближала «Мнемозину» с ПЗ. В согласии с издателями ПЗ Кюхельбекер выступил на страницах «Мнемозины» против вредного, по его мнению, влияния на русскую поэзию мистического романтизма Жуковского и против бессодержательности эпигонской элегической лирики, наполняющей журналы и альманахи. Солидаризируясь с Кюхельбекером в оценке поэзии Жуковского и его последователей, Бестужев не мог согласиться с отдельными положениями Кюхельбекера, в частности с его отношением к творчеству Байрона. Борьба с подражательностью привела Кюхельбекера к протесту против неразборчивого отношения к иноземным авторитетам. «Однообразного» Байрона Кюхельбекер противопоставляет «огромному» Шекспиру, «недозревшего» Шиллера «огромному» Гёте. Осуждая байронизм как течение индивидуалистическое, Кюхельбекер в то же время печатает в «Мнемозине» свою оду «На смерть Байрона». Очевидно, это и вызвало ироническое замечание Бестужева: «Страсть писать теории, опровергаемые самими авторами в практике ... заглавными буквами читается в Мнемозине». Оду Кюхельбекера и сцены из его же трагедии «Аргивяне» Бестужев отметил как лучшие произведения альманаха. «Аргивяне» — трагедия тираноборческая. Прочитав ее, директор лицея Энгельгардт был напуган ее «прозаическим, гражданским составом», т. е. политической тенденциозностью, и уговаривал Кюхельбекера отказаться от публикации трагедии: «В Аргивянах есть множество мест, мыслей, выражений, из коих могут извлечь яд, чтобы тебя отравить, погубить», — писал он (Русская старина, 1875, № 7, стр. 370—371). Сдержанный и несколько иронический отзыв Бестужева об Одоевском связан с его отрицательным отношением к отвлеченной и далекой от жизни философии, проводимой Одоевским в его моралистических апологах и философских статьях. Иначе должны были отнестись издатели ПЗ к полемической статье Одоевского «Листки, вырванные из Парнасских ведомостей». Статья была направлена против пресмыкательства перед литера-

турными знаменитостями и пародировала нравы современных журналистов Булгарина, Греча, Воейкова, Свиньина и др. В т. 59 «Лит. наследства» (АН СССР, М., 1954, стр. 272—284) помещена статья М. К. Константинова, предполагающая принадлежность Рылееву рецензии на «Мнемозину» в «Благонамеренном» (1824, № 8, стр. 130—135). Рецензент дает высокую оценку «Мнемозине» и особенно выделяет полемическую статью Одоевского.

Модный журнал — см. «Дамский журнал».

Московский телеграф. Журнал литературы, критики, наук и художеств. Издавался в 1825—1834 гг. Н. А. Полевым. В 1834 г. был закрыт по распоряжению Николая I за резкий отзыв о драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». Один из передовых и наиболее значительных русских журналов, боровшийся с литературными староверами и эпигонами классицизма и горячо отстаивавший романтизм прогрессивного типа, пропагандируя в особенности французских романтиков — В. Гюго и др. В начале его издания (1825—1827) в журнале принимал деятельное участие П. А. Вяземский. Пушкин в те же годы считал «Московский телеграф» «одним из лучших наших журналов» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 198). «Московский телеграф» отличался энциклопедичностью: в нем печатались статьи по литературе, философии, естественным наукам, в угоду читательницам помещались картинки мод. Это казалось не только смелостью, но и дерзостью издателя, совсем не известного в литературе «купчика». Бестужев, писавший свой обзор в начале года, когда журнал только начал выходить и направление его еще не определилось, отнесся к Полевому с предубеждением. Это не помешало Полевому по достоинству оценить ПЗ. В № 8 «Московского телеграфа» была помещена очень благожелательная рецензия Полевого на ПЗ. Полевой называет статью Бестужева «дельной», но в то же время наиболее сильная и интересная часть статьи, а именно установление связи между условиями общественной жизни и состоянием литературы, прошла для него незамеченной. Заявляя, что России суждено встать на путь романтизма, Полевой пишет: «И в этом периоде, будь безлюдье великих характеров, будь народ таков или инаков, великие поэты явятся» (стр. 326). Критические замечания Полевого вызвали отповедь в «Сыне отечества» (см. «Библиографию», № 62) и ответные возражения Полевого (см. «Библиографию», № 53), где он еще раз подтверждает свою оценку альманаха. После расправы с участниками декабрьского восстания Полевой вспоминал в своем журнале о ПЗ: «Полярная звезда, родоначальница новейших альманахов русских, три года постоянно была хороша и составила общее мнение об изяществе русских альманахов» (1826, ч. 8, № 8, отдел 2, стр. 357).

Невский альманах издавался в 1825—1833 гг. Егором Васильевичем Аладьиным (1796—1860), посредственным поэтом и беллетристом. Несмотря на то, что Аладьину удалось привлечь к участию в альманахе значительные литературные силы (сотрудниками его в разные годы были Пушкин, Баратынский, Языков, Катенин, И. Козлов, Ф. Глинка, Сомов и др.), «Невский альманах» являлся ти-

пичным примером «коммерческого альманаха», т. е. издания, не ставившего себе никаких идейных задач и преследовавшего главным образом коммерческие цели. Аладьин настойчиво добивался сотрудничества известных литераторов, пользуясь при этом самыми неблаговидными средствами. Так, например, подготавливая в 1825 г. к печати первую книжку альманаха, он щедро обещал в предварительном объявлении, что в нем будут напечатаны стихи Пушкина, Жуковского и Крылова, без всякого с их стороны согласия на сотрудничество. Пушкин писал по этому поводу брату в конце феварля 1825 г.: «Он (т. е. Аладьин, — *Сост.*), каналья, лжет на меня в своих афишках, да мне присылает свое вранье — добро!» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 147). Аладьин часто помещал в своем альманахе статьи без ведома и согласия на то их авторов. В первой книжке альманаха была напечатана «Элегия» Н. Полевого, пародирующая элегию Грея «Сельское кладбище» в переводе Жуковского. Полевой выступил в «Московском телеграфе» с заявлением, что эта «давно забытая им вздорная пародия» появилась в «Невском альманахе» «без его ведома и позволения». «Что сделано, того не воротишь, — писал он, — но я прошу г. издателя избавить меня вперед от вольного и невольного участия в его литературных предприятиях» (1825, ч. 1, № 4, стр. 337). Недобросовестными приемами Аладьина возмущался Рылеев в письме к Вяземскому от 20 февраля 1825 г.: «Альманах Аладьина вышел на масленице. Вы, я думаю, уже потешались этою аладьею. Дерзость удивительная печатать чужое без позволения и кабалить людей в одно общество с бессловесными» (Лит. наследство, т. 59, кн. 1, АН СССР, М. 1954, стр. 145). В 1827 г. в «Невском альманахе» были напечатаны статьи конфискованной Зв. Попросив у Ореста Сомова для прочтения корректурные листы предназначавшегося для Зв. отрывка из повести «Гайдамак», Аладьин без разрешения Сомова поместил его в третьей книжке своего альманаха, а вместе с ним и повесть Бестужева «Замок Эйзен» (в Зв. она называлась «Кровь за кровь»), напечатанную на тех же корректурных листах. Кроме этих двух повестей, из материалов Зв. в «Невском альманахе» были перепечатаны еще 7 стихотворений (1 — В. Туманского, 1 — Хомякова и 5 — Ф. Глинки). После выхода «Невского альманаха» на имя Бенкендорфа поступил донос неизвестного лица, обращавший внимание шефа жандармов на перепечатку материалов «Звездочки» в «Невском альманахе». Несмотря на то, что материалы эти были дважды пропущены цензурой, Аладьину пришлось давать письменное объяснение, каким образом они попали к нему (подробно об этом см. в статье: Н. Д. «Полярная звезда» и «Невский альманах». 1826—1827 гг. — Русская старина, 1901, № 10, стр. 265—269).

Новости литературы — журнал, издававшийся в 1822—1826 гг. в Петербурге А. Ф. Воейковым и В. И. Козловым (с 1825 г. одним Воейковым) в качестве приложения к газете «Русский инвалид» (см. стр. 975 наст. изд.).

Отечественные записки — литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге П. П. Свиньиным (см. стр. 860 наст. изд.). В 1818 и 1819 гг. выходил в форме сборника, с мая 1820 по 1830 г. — ежемесячный журнал. Рассчи-

тан на широкие читательские круги («на все классы и состояния», по указанию самого Свиньина), число подписчиков в некоторые годы достигало 1400 человек (Отечественные записки, 1829, ч. 40, № 116 стр. 500—501). Бо́льшая часть журнала заполнялась главным образом статьями на исторические темы, путевыми и биографическими очерками, известиями о необыкновенных талантах в России и т. п. В политическом отношении журнал отличался «квасным» патриотизмом и приверженностью к «официальной народности». До 1825 г. в журнале почти не печатались критические статьи, и выход первых двух книжек ПЗ не получил отклика. Краткие благожелательные отзывы на третью книжку альманаха содержатся в двух статьях Свиньина (см. «Библиографию», №№ 54, 55).

Русская старина — альманах, изданный А. О. Корниловичем и В. Д. Сухоруковым (см. о них стр. 916 и 962 наст. изд.). Полное его название: «Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного, на 1825 год». «Русская старина» вышла в свет в середине декабря 1824 г. и вскоре же было выпущено второе издание альманаха (подробное изложение истории издания «Русской старины» и отзывы о ней современников см. в статье А. Грумм-Гржимайло: Декабрист А. О. Корнилович. Сб. «Декабристы и их время», т. 2, Изд. Политкаторжан, М., 1932, стр. 345—347. Издатели «Русской старины» были и единственными ее сотрудниками. Альманах был посвящен «памяти Петра Великого». Корнилович поместил в нем монографию «Нравы русских при Петре Великом» (отрывки из нее под названиями «Первые балы в России» и «Об увеселениях российского двора при Петре I» печатались в ПЗ на 1823 и 1824 гг.). Декабристов, стремившихся к преобразованию государства, всегда привлекал образ Петра I. Представители левого крыла декабристов, принимая прогрессивные начинания Петра, осуждали жестокие методы его деятельности и его преклонение перед иностранщиной; более умеренно настроенные декабристы, в том числе и Корнилович, видели в Петре прообраз просвещенного монарха-преобразователя. Сухорукову в «Русской старине» принадлежат четыре статьи о донском казачестве; две из них печатались в 1823 г. в «Северном архиве» и в «Соревнователе просвещения и благотворения» (после предварительного обсуждения в Вольном обществе любителей российской словесности). Статьи Сухорукова, прославлявшие дух казачьей вольности, были близки думам и поэмам Рылеева.

Русская Талия, подарок любителям и любительницам отечественного театра на 1825 год — альманах, изданный Ф. В. Булгариным. Булгарину удалось привлечь к сотрудничеству в альманахе значительные литературные силы. В «Русской Талии» были впервые опубликованы отрывки из комедии Грибоедова «Горе от ума», известной до этого времени только в рукописных списках. Эта публикация сделала возможным широкое обсуждение комедии в печати. В альманахе были помещены также отрывки из «Андромахи» П. Катенина, «Венцеслава» Ротру в переводе А. Жандра (см. стр. 945 наст. изд.), перевод Н. Павлова из «Марии Стюарт» Шиллера, отрывки из комедий Шаховского, Загоскина, Хмельницкого. Здесь же были напечатаны отрывки из принадлежащих Шаховскому инсценировок

поэм Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и «Руслан и Людмила» («Керим-Гирей, или Бахчисарайский фонтан» и «Финн»). В начале альманаха помещена большая статья Н. И. Греча «Исторический взгляд на русский театр до начала XIX столетия» с приложением биографий выдающихся русских актеров и драматургов Ф. Г. Волкова, И. А. Нарыкова (Дмитревского), А. М. Крутицкого, П. А. Плавильщикова, А. С. Яковлева. Булгарину в альманахе принадлежат напечатанные без подписи краткие характеристики актеров, портретами которых был иллюстрирован альманах, и подписанная «А. Ф.» статья «Междудействие, или Разговор в театре о драматическом искусстве». В этой статье Булгарин упрощает и вульгаризирует отдельные положения декабристской литературной теории. Так, он ставит в один ряд таких разных не только по характеру своего творчества, но и по значению для русской драматургии писателей, как Шекспир, Шиллер, Гёте, Расин и Корнель. По его мнению, все они «всегда будут чужды для России и не могут и не должны быть законодателями нашего вкуса» (стр. 350). Между тем декабристы всегда выступали против неразборчивого отношения к иноземным традициям, и даже такой страстный обличитель подражательности, как Кюхельбекер, делал различие между «однообразным» Байроном и «огромным» Шекспиром, «недозревшим» Шиллером и «огромным» Гёте. Вульгаризация основных эстетических и идейных установок декабристской критики и вызвала ироническое замечание Бестужева о «характеристических выходках самого издателя» (стр. 497 наст. изд.).

Русский инвалид — военная газета; в 1822—1838 гг. ее редактировал А. Ф. Воейков (см. стр. 899 наст. изд.). В качестве приложения к «Русскому инвалиду» в 1822—1826 гг. Воейков издавал журнал «Новости литературы» (в 1822—1825 гг. еженедельный, в 1826 г. ежемесячный). На выход первой книжки ПЗ «Русский инвалид» откликнулся статьей, в основном направленной против обзора Бестужева (см. «Библиографию», № 4). Рецензент, подписавшийся «К», выступил противником «новой школы» и полемизировал с бестужевской оценкой «дум» Рылеева, отрицая их гражданское содержание и высказав сомнение в новаторстве Рылеева. Бестужев ответил на рецензию «Русского инвалида» статьей в «Сыне отечества» (см. «Библиографию», № 16).

Северная пчела — газета «политическая и литературная», основанная Булгариным (см. стр. 897 наст. изд. в 1825 г. и руководимая им совместно с Н. И. Гречем (см. стр. 904 наст. изд.). Первоначально газета не имела того рептильного характера, который приобрела после разгрома восстания декабристов, когда Булгарин стал агентом III отделения. Была самым распространенным периодическим изданием николаевского времени, что обеспечивалось поддержкой правительства (политическая часть газеты направлялась III отделением). Она была единственной частной газетой, имевшей право давать политическую информацию.

Северные цветы — литературный альманах, который в течение семи лет (1825—1831) сперва редактировал, а потом и издавал А. А. Дельвиг (см.

стр. 909 наст. изд.). С 1828 г. Дельвигу помогал О. М. Сомов (см. стр. 929 наст. изд.). Вскоре после выхода из печати седьмой книжки «Северных цветов» Дельвиг умер. Последнюю, восьмую, книжку альманаха на 1832 г. издал Пушкин, также вместе с Сомовым, в пользу жены и братьев Дельвига. Инициатива издания «Северных цветов» принадлежала книгопродавцу Слёнину, с помощью которого Бестужев и Рылеев издавали в 1823 и 1824 гг. ПЗ. Подготовляя к печати третью книжку ПЗ, Бестужев и Рылеев отказались от услуг Слёнина. Слёнин, чтобы не лишиться доходов от издания, задумал создание нового альманаха, редактирование которого предложил Дельвигу (А. И. Дельвиг. Полвека русской жизни. Воспоминания. М.—Л., 1930. стр. 76). Предложение Слёнина Дельвигу было сделано в то время, когда в Вольном обществе любителей российской словесности произошло размежевание и группа умеренных литераторов — Воейков, Дельвиг и Плетнев — отошла от декабристской группировки. Согласие Дельвига редактировать новый альманах следует понимать как стремление противопоставить его декабристскому изданию. «Северные цветы» еще до своего появления в свет были восприняты в литературных кругах как альманах, соперничающий с ПЗ. «Литературные листки» Булгарина, где появилось первое сообщение о готовящемся издании «Северных цветов», желали успеха новому альманаху и выражали уверенность, что «это соперничество нисколько не повредит Полярной звезде» (Лит. листки, 1824, № 4, стр. 150). Сам Бестужев писал Я. Н. Толстому в Париж: «Г-н Слёнин и Дельвиг издают на 25 год „Северные цветы“, точно то же, что и наша „Звезда“: это спекуляция промышленности. Им завидно, что в три недели мы продали все 1500 экземпляров — посмотрим удачи!» (Русская старина, 1889, № 11, стр. 376). Непосредственно перед появлением «Северных цветов», 15 декабря 1824 г., Бестужев и Рылеев послали в журналы объявление, в котором сообщали, что ПЗ выйдет с некоторым опозданием (своевременный выход ее в свет был задержан наводнением 7 ноября, во время которого часть отпечатанных листов погибла), а также обращали внимание публики на то, что новый альманах «Северные цветы» «вступает в непосредственное соперничество с Полярной звездой» (Московский телеграф, 1825, Прибавление к № 1, стр. 13). Дельвигу удалось собрать в своем альманахе произведения почти всех сотрудников ПЗ; некоторые из них, например Баратынский, Жуковский, с большей готовностью стали печататься в «Северных цветах», чем в альманахе Бестужева и Рылеева. Материальный успех ПЗ мог оказаться под угрозой. Денежная сторона издания заботила Рылеева и Бестужева тем более, что они платили своим сотрудником гонорар, чего не делал Дельвиг О беспокойстве издателей ПЗ по поводу издания «Северных цветов» можно судить по письмам Бестужева к Вяземскому. 28 января 1824 г. Бестужев писал: «Надеюсь, что Вы нас *выручите теперь из беды:* у Вас выходит *четверогранный альманах* ‹Мнемозина›, у нас Дельвиг и Слёнин грозятся тоже *Северными цветами* — быть банкрутству, если Вы не дадите руки». 17 июня 1824: «У Дельвига будет много хороших стихов — не надо бы и нам, старикам, ударить в грязь че-

лом, а это дело господ поэтов» (Лит. наследство, т. 60, кн. 1, АН СССР, М., 1956, стр. 213—214, 220). Письмо Бестужева от 20 сентября 1824 г. позволяет судить об активной борьбе издателей «Северных цветов» против ПЗ: «Из копии письма нашего к Воейкову увидите Вы, каков он человек; но если узнаете низкие пружины, заставляющие его действовать, то подивитесь и пуще ничтожной зависти и корысти человеческой. План „Северных цветов" им начертан и недаром, это уже и он сам говорит, но, чтобы подорвать нас, употребляет он все средства. Мутят нас через Льва с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в „Звезду" им и Козловым, научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно. Одним словом, делают из литературы какой-то толкучий рынок. Вследствие этого однако ж мы весьма бедны стихами — выручите нас, князь, попросите у Ивана Ивановича ‹Дмитриева› о том же — иначе мы должны будем отложить издание до времен более благоприятных, чем нынешние, хотя и не хочется сойти с поля без бою. Слёнин, конечно, имеет все денежные выгоды на своей стороне, ибо сам продавать будет, а выгоды брать ни за что, ни про что, заплатив только треть Дельвигу за торг чужими стихами. Следств‹енно› ему с полгоря давать лучшее издание; но мое мнение — взять простотой, коли сущность хороша, и потому даже не хочется и виньеток делать» (там же, стр. 223—224). «Северные цветы» появились на четыре месяца раньше ПЗ. Альманах открывался программной статьей Плетнева «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах», которая, как правильно отметил рецензент «Северной пчелы», была «антиподом» критических суждений Бестужева (о статье Плетнева см. стр. 838—840 наст. изд.).

Северный архив — журнал «истории, статистики и путешествий», основанный Булгариным; выходил с 1822 по 1828 г., а с 1829 г. слился с «Сыном отечества». В 1823—1824 гг. Булгарин, по примеру Воейкова, в качестве «приложений» к «Северному архиву» выпускал «Литературные листки».

Сибирский вестник — ежемесячный, потом двухнедельный журнал, издававшийся в Петербурге в 1818—1824 гг. известным историком Сибири, горным инженером Григорием Ивановичем Спасским (ум. в 1864 г.). С 1825 г. переименован в «Азиатский вестник». В журнале печатались сведения по истории, этнографии и археологии Сибири.

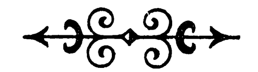
Соревнователь просвещения и благотворения. Труды Вольного общества любителей российской словесности. Издавался с 1818 по январь 1825 г. и был органом Вольного общества любителей российской словесности или, как оно еще называлось, Общества соревнователей просвещения и благотворения. Общество соревнователей, возникшее как одна из периферийных просветительных организаций Союза благоденствия, являлось литературным плацдармом декабристов и сыграло значительную роль в подготовке декабристских кадров. Декабристы определяли направление журнала «Соревнователь просвещения», это отражалось на выборе статей, тем и на их идейном освещении. Журнал был связан с обществом и организационно: он издавался на средства общества; кроме того, печа-

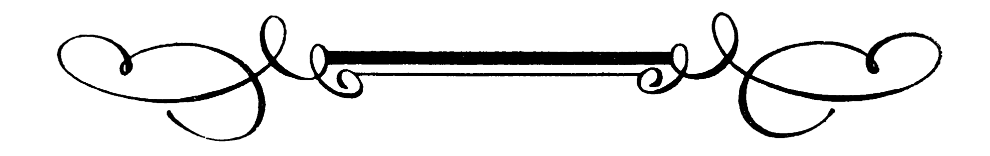
тавшиеся в журнале произведения обычно обсуждались на заседаниях общества. Так, например, при отходе Дельвига и Плетнева от декабристской группировки в обществе официальным поводом к разрыву послужила рецензия Плетнева на первую книжку ПЗ, напечатанная в «Соревнователе» (см. «Библиографию», № 10) без предварительного обсуждения. Рецензия обсуждалась на заседании общества и была названа «клеветнической», несмотря на то, что общий тон рецензии был благожелательным. Однако в ней недостаточно была подчеркнута политическая тенденция альманаха, а издатели ПЗ были заинтересованы в том, чтобы обратить внимание читателей прежде всего на вольнолюбивые «гражданственные» произведения альманаха. Эту задачу должен был, конечно, осуществить «Соревнователь просвещения», официальный орган Вольного общества.

Сын отечества — еженедельный «исторический, политический и литературный» журнал, основанный в 1812 г. Н. И. Гречем (см. стр. 904 наст. изд.) и издававшийся им до 1840 г. В 1820—1821 гг. близкое участие в издании журнала принимал А. Ф. Воейков (см. стр. 899 наст. изд.). С 1825 г. соредактором Греча стал Ф. В. Булгарин (см. стр. 897 наст изд.). Вначале журнал был посвящен главным образом событиям Отечественной войны и носил полуофициозный патриотический характер. По окончании войны был реорганизован и расширил свою программу. С 1817 по 1825 г. был связан с Вольным обществом любителей российской словесности. Постоянное участие в журнале литераторов-декабристов и близких к ним писателей делало «Сын отечества» наиболее влиятельным и передовым журналом тех лет.

Revue Encyclopédique (Энциклопедическое обозрение) — журнал, издававшийся в Париже в 1819—1835 гг. и заключавший в себе обширный отдел иностранной корреспонденции, в частности хронику петербургской культурной жизни. Эта хроника, по-видимому, велась русским, хорошо знавшим литературные новости столицы. Так, например, в февральском номере журнала за 1821 г. напечатано первое в зарубежной печати известие о Пушкине.

St.-Petersburgische Zeitschrift — журнал, издававшийся в 1822—1826 гг. писателем и переводчиком, впоследствии известным составителем словарей и учебных книг Евстафием Ивановичем Ольдекопом. Выходил еженедельно. Помимо художественных произведений и критики, в журнале печатались оригинальные и переводные статьи по истории, географии, естественным наукам.





IV. БИБЛИОГРАФИЯ ОТЗЫВОВ НА «ПОЛЯРНУЮ ЗВЕЗДУ» В ЖУРНАЛАХ, ГАЗЕТАХ И АЛЬМАНАХАХ 1822—1832 гг.

«Полярная звезда» на 1823 г.

1. П. Несколько замечаний на книгу Полярная звезда. — Вестник Европы, 1823, ч. 127, № 2, стр. 134—139.
2. И—е. О взгляде на старую и новую словесность в России. — Вестник Европы, 1823, ч. 127, № 2, стр. 139—147.
3. К‹нязь› Ш‹аликов›. — Дамский журнал, 1823, ч. 1, № 1, стр. 37—39.
4. К. Полярная звезда, карманная книжка на 1823 год. — Русский инвалид, 1823, №№ 4, 5, 6, 7 (6, 8, 9, 10 января).
5. ‹Сообщение о награде, полученной издателями›. — Русский инвалид, 1823, № 13, 17 января.
6. Несколько слов о прозаических сочинениях, напечатанных в Полярной звезде. — Русский инвалид, 1823, № 61, 62 (14, 15 марта).
7. ‹Сообщение о выходе в свет›. — Русский инвалид, 1823, № 304, 24 декабря.
8. Полярная звезда. — Северный архив, 1823, ч. 5, № 3, стр. 293—294.
9. Булгарин Ф. Краткое обозрение русской литературы 1822 года. — Северный архив, 1823, ч. 5, № 5, стр. 406—407.
10. Плетнев. Полярная звезда. — Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. 21, кн. 1, стр. 97—116.
11. ‹Сообщение о скором выходе в свет›. — Соревнователь просвещения и благотворения, 1823, ч. 23, кн. 3, стр. 341.
12. ‹Сообщение об издании›. — Сын отечества, 1822, ч. 82, № 48, стр. 84—86
13. ‹Объявление о продаже›. — Сын отечества, 1822, ч. 82, № 52, стр. 286—287.
14. Ж. К. ‹Н. И. Греч›. Письма на Кавказ. — Сын отечества, 1823, ч. 83, № 1, стр. 17—18.
15. Ж. К. ‹Н. И. Греч›. Письма на Кавказ. — Сын отечества, 1823, ч. 83, № 3, стр. 111—114.
16. Бестужев А. Ответ на критику Полярной звезды, помещенную в 4, 5, 6 и 7 нумерах Русского инвалида 1823 года. — Сын отечества, 1823, ч. 83, № 4, стр. 174—190.

17. Жандр. Разговор от Полярной звезды. — Сын отечества, 1823, ч. 84, № 9, стр. 64—72.
18. Т‹олстой› Я‹ков›. Письмо к А. А. Бестужеву. В Москву. — Сын отечества, 1823, ч. 84, № 12, стр. 223—229.
19. Жандр. Беда от правды. — Сын отечества, 1823, ч. 84, № 14, стр. 310—312.
20. Т‹олстой› Я‹ков›. Беда от неправды. — Сын отечества, 1823, ч. 85, № 15, стр. 32—35.
21. Жандр. Вопросы вместо ответа. — Сын отечества, 1823, ч. 85, № 16, стр. 83—86.
22. Т‹олстой› Я‹ков›. Ответы на вопросы. — Сын отечества, 1823, ч. 85, № 17, стр. 124—128.
23. Ж. К. ‹Н. И. Греч›. Письма на Кавказ. — Сын отечества, 1823, ч. 85, № 20, стр. 259, 265, 266.

«Полярная звезда» на 1824 г.

24. ‹Сообщение о выходе альманаха›. — Благонамеренный, 1824, ч. 25, № 4, стр. 76.
25. Мотыльков. Страждущий поэт к издателю Благонамеренного. — Благонамеренный, 1824, ч. 25, № 5, стр. 343—351.
26. Владелец своего альбома. Еще об альбомах. Письмо к издателю Благонамеренного из Георгиевска. — Благонамеренный, 1824, ч. 25, № 10, стр. 222, 225.
27. П—ъ И. Еще несколько слов о Бахчисарайском фонтане не в литературном отношении. — Благонамеренный, 1824, ч. 26, № 9, стр. 178.
28. Корниоль М. ‹Корниолин-Пинский М.›. Полярная звезда, карманная книжка на 1824 год. — Вестник Европы, 1824, ч. 133, № 1, стр. 53—57; № 2, стр. 114—121; № 3, стр. 205—218; № 4, стр. 287—298; ч. 138, № 24, стр. 312—314.
29. Н. Д. ‹Ответ на замечание в № 6 «Сына отечества» по поводу отзыва М. Корниолина-Пинского о Полярной звезде›. — Вестник Европы, 1824, ч. 133, № 3, стр. 241—242.
30. П—ъ И. Еще несколько слов о Бахчисарайском фонтане не в литературном отношении. — Дамский журнал, 1824, ч. 6, № 9, стр. 122.
31. Литература. — Лит. листки, 1824, ч. 1, № 1, стр. 27—29.
32. Литературные новости. — Лит. листки, 1824, ч. 1, № 4, стр. 149—150.
33. И....в Ф. Ответ молодого книгопродавца старому на статью последнего под заглавием «Еще несколько слов о Бахчисарайском фонтане не в литературном отношении». — Лит. листки, 1824, ч. 2, №№ 11 и 12, стр. 420, 426.
34. О Бахчисарайском фонтане не в литературном отношении. — Новости литературы, 1824, кн. 8, № 13, стр. 11.

35. ‹Сообщение о продаже Полярной звезды в Москве по повышенной цене›. — Русский инвалид, 1824, № 29, 4 февраля.
36. К. Полярная звезда, карманная книжка, на 1824 год. — Русский инвалид, 1824, №№ 49, 52, 53, 56, 59, 67, 73, 78 (26, 27, 29 февраля, 1, 5, 8, 17, 22, 28 марта).
37. К. Северные цветы, новый альманах на 1825-й год. — Русский инвалид, 1824, № 293, 11 декабря.
38. С‹омов› О. Полярная звезда, карманная книжка на 1824 год. — Соревнователь просвещения и благотворения, 1824, ч. 25, кн. 1, стр. 20—41.
39. Полярная звезда на 1824 год уже поступила в печать... — Сын отечества, 1823, ч. 89, № 44, стр. 178.
40. ‹Объявление о продаже›. — Сын отечества, 1824, ч. 90, № 51, стр. 228—229.
41. Греч Н. Нечто о нынешней русской словесности. — Сын отечества, 1824, ч. 91, № 2, стр. 66—80.
42. Аристотелид ‹М. М. Корниолин-Пинский›. Статья, присланная из Москвы. — Сын отечества, 1824, ч. 91, № 6, стр. 267—278.
43. Аристотелид ‹М. М. Корниолин-Пинский›. Еще статья из Москвы. — Сын отечества, 1824, ч. 92, № 10, стр. 123—132.
44. У‹шаков› В. Господину издателю Русского инвалида. — Сын отечества, 1824, ч. 93, № 15, стр. 20—30.
45. Аристотелид — Рыцарь экзаметра и Кавалер от Полярной звезды ‹М М. Корниолин-Пинский›. И еще статья из Москвы. — Сын отечества, 1824, ч. 93, № 16, стр. 72—85.

«Полярная звезда» на 1825 г.

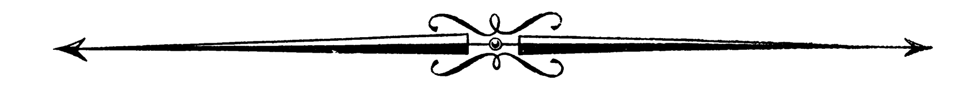
46. Альманахи на 1825 год. — Библиографические листы, 1825, № 13, стр. 182.
47. Бестужев А. и Рылеев К. Объявление. — Благонамеренный, 1825, ч. 29, № 1, стр. 44—46.

    То же. — Лит. листки, 1824, ч. 4, № 23 и 24, стр. 180—181; Московский телеграф, 1825, ч. 1, Прибавление к № 1, стр. 13; Сын отечества 1825, ч. 99, № 1, стр. 111—112.
48. ‹Объявление о продаже в Москве›. — Вестник Европы, 1825, ч. 140, № 6, стр. 160.
49. Белугин Пилад ‹М. Дмитриев›. Несколько слов о мыслях одного критика о комедии Горе от ума. — Вестник Европы, 1825, ч. 141, № 10, стр. 108.
50. Полевой Н. А. Обозрение русской литературы в 1824 году. — Московский телеграф, 1825, ч. 1, № 1, стр. 87.
51. Книжные известия. — Московский Телеграф, 1825, ч. 1, Прибавление к № 1, стр. 9—10.
52. А. ‹Н. А. Полевой›. Полярная звезда на 1825 год. — Московский телеграф, 1825, ч. 2, № 8, стр. 320—336.

53. Полевой Н. Обозрение критических и антикритических статей и замечаний на Московский телеграф, помещенных в Дамском журнале, Вестнике Европы, Сыне отечества, Благонамеренном, Северной пчеле, Полярной звезде, Северном архиве и писанных — князем Шаликовым и г-ми Бестужевым, Н. Мгл..., М. Дмитриевым, Булгариным, Карниолином-Пинским, Усовым, Ертовым, А. Ф., Ж. К., Д. Р. К., —вым, и проч. — Московский телеграф, 1825, ч. 4, Особенное прибавление к № 13, стр. 43—64.
54. Известия о России и русской литературе, помещаемые во французских журналах. — Московский телеграф, 1825, ч. 4, № 16, стр. 360—361.
55. <Свиньин П.>. Письмо к князю Н. А. Цертелеву. — Отечественные записки, 1825, ч. 22, № 61, стр. 293, 294.
56. Свиньин П. Записка издателя Отечественных записок к Мих. Я. Толстому в Москву от 25 ноября 1825 года о разных новостях и воспоминаниях петербургских. — Отечественные записки, 1825, ч. 24, № 68, стр. 455.
57. Гр<еч> Н. <Рецензия на «Северные цветы»>. — Северная пчела, № 3, 6 января, стр. 3.
58. Полярная звезда уже печатается... — Северная пчела, 1825, № 26, 28 февраля.
59. С<омов>. Полярная звезда, карманная книжка на 1825 год. — Северная пчела, 1825, №№ 40, 41 (2, 4 апреля).
60. Булгарин Ф. Замечание на статью, напечатанную в 13 нумере Московского телеграфа под заглавием: Особенное прибавление и проч. — Северный архив, 1825, ч. 16, № 16, стр. 351, 360—361.
61. Литературные новости. — Соревнователь просвещения и благотворения, 1825, ч. 30, кн. 1, стр. 106—107.
62. Д. Р. К. Четвертое письмо на Кавказ. — Сын отечества, 1825, ч. 101, № 9, стр. 67—80; № 10, стр. 195—216.

«Полярная звезда» на 1823, 1824, 1825 гг.

63. <Объявление о продаже по 25 р. за экземпляр>. — Московские ведомости, 1832, № 5, 16 января.
64. С. П. Литературные надежды. — Московский телеграф, 1826, ч. 7, № 2, Отдел 2, стр. 112.
65. <Рецензия на альманахи «Урания» и «Северные цветы»>. — Московский телеграф, 1826, ч. 8, № 8, Отдел 2, стр. 357.
66. Аристарх Заветный <М. П. Бестужев-Рюмин>. Нечто об альманахах. — В альманахе: Северная звезда, 1829, СПб., 1829, стр. 3.

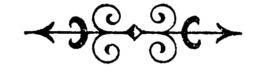


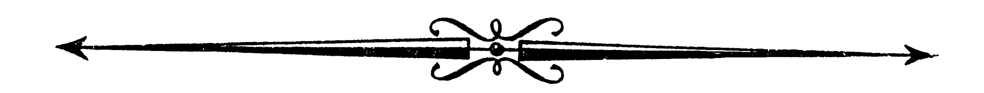
V. ПЕРЕВОДЫ ИНОСТРАННЫХ ТЕКСТОВ

Стр.

42. Суровый долг, налагаемый обязательствами, навеки остается основой для этого здания, но только кротость и доброта приносят радость в пустой дом обитателя. Зейме. (*Немецк.*).
59. Подобно царю поешь. (*Греч.*).
92. Катерина, княгиня Орлова, рожденная Зиновьева, 19 декабря 1758, скончалась 27 июня 1781. (*Франц.*).
92. Член Большого совета г-н ... г-н Ландманн. (*Немецк.*).
93. Собирайте коров (*франц.*) в стадо (*немецк.*).
95. Женевского герба. (*Франц.*).
96. Приступ (штурм). (*Франц.*).
97. Здесь родился Жан Жак Руссо 18 июня 1712. (*Франц.*).
157. Французы, поляки, всё квартиры да квартиры. Вот беда! (*Немецк.*).
160. Кстати. (*Франц.*).
161. Я так тебя люблю! (*Франц.*).
174. Новый мост и мост искусств. (*Франц.*).
175. Чудачества маркиза дю Брюнуа. Париж. (*Франц.*).
187. Кто идет? -- Русский парламентер! — Стой! (*Франц.*).
199. *В Веберовой книге:* Преобразившаяся Россия... (*немецк.*) в Штелиновой Истории танцевального искусства в России (*немецк.*) *и, наконец, в книге* Письма английской леди, которая провела несколько лет в России. (*Англ.*).
204. «Большое счастье, государыня, для нас, женщин, что вы стали кавалером только на нынешний вечер: иначе вы были бы чересчур опасны». — «В таком случае, — отвечала императрица, — вы, конечно, первая стали бы предметом моего поклонения». (*Франц.*).
282. Хлоя, ты бежишь от меня наподобие лани. (*Латинск.*).
312. Крайности сходятся. (*Франц.*).
313. Модная мастерская (букв.: моды и платья). (*Франц.*).
325. О, доныне жестокая. (*Латинск.*).
335. Большой Ганс, малый Ганс. (*Немецк.*).
341. *Его называют* Королевский нос. (*Немецк.*).

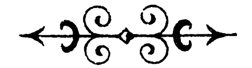
374. Осужден! (*Немецк.*).
383. Кто там? (*Немецк.*).
389. Да здравствует Наполеон! Браво, браво, господин Софрон. (*Франц.*).
418. Старайся в тяжелых обстоятельствах сохранять присутствие духа и т. д. (*Латинск.*).
447. Мне снился сон, который был не совсем сном. Байрон. (*Англ.*).
516. Полезное с приятным. (*Латинск.*).
516. Будь здоров. (*Латинск.*).
529. Я пишу в спешке, и если на листе окажется пятно, то это не то, что кажется, потому что мои глаза горят, но они сухи, в них нет слез. Байрон. (*Англ.*).
531. Любовь — дамам, почет — храбрецам. (*Франц.*).
559. Перевал Ротентурм. (*Немецк.*).
560. Старик был весел. Он насвистывал, напевал, улыбался и резвился, как ребенок. (*Немецк.*).
564. Г-жа дю Шатлэ. (*Франц.*). Его ум везде, а сердце здесь. (*Франц.*).
564. Г-жа Сталь. (*Франц.*).
564. «Вероятно (*спросил он меня*), вы идете в Кларан ради г-на барона д'Этанж и его дочери. Я покажу вам место, где когда-то стоял их дом» — «Разве вы читали эту историю?» — «Да, это занимательно, как роман, хотя всё — истинная правда!» (*Франц.*).
565. Шильонский узник. (*Англ.*).
566. Пещеру Госсе. (*Немецк.*).
567. Бог моя надежда. (*Латинск.*).
600. Не слоновая кость и т. д. (*Латинск.*).
659. Ветер и волна унесли их клятвы. (*Латинск.*).
661. Саксония, где растут красивые девушки. (*Немецк.*).
681. Больше не молись; отбрось все угрызения совести; на голову ужасов нагромозди еще ужасы; пусть твои поступки заставят рыдать небо и изумляться всю землю, ибо ничто другое не приведет тебя скорее к проклятию, чем это. Шекспир. (*Англ.*).
689. Милостивыми панами. (*Польск.*).
741. Твоя песнь, что звучит в моей душе. Петрарка. (*Итальянск.*).

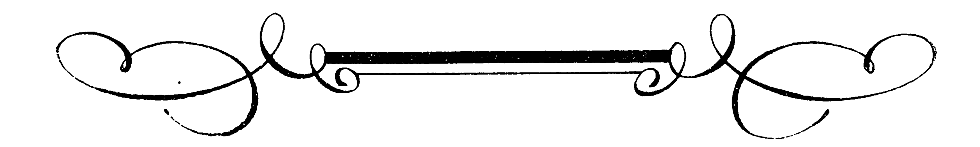




УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] В указатель включены имена, встречающиеся в настоящем издании, и произведения, напечатанные в ПЗ.





СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТЫ

Страницы
Текст Коммент.

«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» НА 1825 г.

Страницы
Текст Коммент.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА,

ИЗДАННАЯ А. БЕСТУЖЕВЫМ и К. РЫЛЕЕВЫМ

*

Утверждено к печати
Редакционно-издательским советом
Академии наук СССР

*

Редактор издательства *А. Л. Лобанова*
Художник *М. И. Разулевич*
Технический редактор *М. Е. Зендель*
Корректоры *Э. А. Кацман, Е. Я. Лапинь* и *Н. П. Яковлева*

*

Сдано в набор 28/VII 1960 г. Подписано к печати 1/XI 1960 г. РИСО АН СССР № 8—137В. Формат бумаги $70 \times 92^{1}/_{16}$. Бум. л. $31^{3}/_{4}$. Печ. л. $63^{1}/_{2}$=70.78 усл печ. л. Уч.-изд. л. 51.61. Изд. № 996. Тип. зак. № 778. Тираж 5000.

Цена 33 р., с 1 января 1961 г. 3 р. 30 к.

Ленинградское отделение Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. Издательства Академии наук СССР
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
942	5 снизу	Головнив	Головнин
945	8 „	«М<илостивы>	«М<илостивые>
970	13 сверху	за счет	на счет
970	8 снизу	«St-Petersbourgische	«St-Petersburgische
972	8 „	родоночальница	родоначальница
986	4 сверху, левый столбец	866	886
991	14 сверху, левый столбец	256	246

23 руб.

с 1/I 1961 г. 2 р. 30 к.